ФЕДОР ГЛАДКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ВОСЬМИ ТОМАХ

•

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ СЕДЬМОЙ

ВОЛЬНИЦА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Примечания Б. Я. Брайниной

ВОЛЬНИЦА

I

С высокой пологой горы я увидел внизу, в широкой лощине, сказочный мир — множество белых домов с зелеными и красными крышами, церкви с высокими колокольнями, прямые улицы в садах, а дальше — необъятный сверкающий простор. Это был Саратов и Волга. Мать сидела на возу вместе со мною и тоже не отрывала глаз от нарядного города.

— Матушки, домов-то какая тьмуща, церквей-то! Как это люди-то здесь живут? Чай, как в лесу, заплутаешься и не выберешься. А река-то! Конца-краю не видать... С баушкой Натальей, покойницей, в Саратове я не была: мы все больше по селам да маленьким городкам ходили. А она здесь жила в людях. Много рассказывала об этом Саратове, а я вот увидела — и в глазах все кружится...

Глубоко внизу громоздились одинокие многоэтажные корпуса, за ними — куча деревянных изб, очень похожих на деревенские, а среди них опять белые каменные дома. Поразили меня высоченные, выше колокольни, трубы, из которых бурными облаками поднимался дым. Слева надвигались на город отвесными обрывами горы.

По зеркальному разливу Волги плыли огромные белые дома, а за ними — черные длинные амбары с домиками на крыше. Это было настоящее чудо. В первое мгновение мне показалось, что пароходы и баржи реют в воздухе, и было трудно поверить, что

они плывут по реке. Мать тоже смотрела на них, как завороженная.

Отец шел с Миколаем Подгорновым, склонив голову к плечу, и делал вид, что ничему не удивляется: ведь он уже был здесь: зимою в извозе, и Саратов для него — не темный лес.

А Миколай развязно говорил, как бывалый человек, с вывертами, с присвистом, с плутоватым примигиванием и хохотком:

— Вот он, вольный городок Саратов! Нигде нет такой «золотой роты» и жуликов по Волге, как в Саратове. У меня дружки здесь есть — балык с медом! Я тут работал на паровой мельнице. И в Астрахани я свойский человек. Погуляем, Вася!

Но отец отводил глаза в сторону и недружелюбно ворчал:

— С галахами, с пропащими людями, нам хлеб-соль не есть. Как кормились, так и будем кормиться честным трудом.

Миколай презрительно пошлепал его по спине:

— Эх ты, чучело огородное! Покатают тебя шариком да пустят кубарем, тогда и узнаешь, чего кочет хочет. Тут нашего брата вахлака учат буквально. Без обращения ты — чурбак. Это не деревня: тут народ вольный. И пробку выбьют, и водку выпьют. Слыхал пригудочку-то? «Вольный город наш Саратов! Нет вольней там прокуратов». Возьмем билеты на пароход, на любой: на «Самолет», на «Волжский», на «Зевеке» — и в трактир пойдем. Я к дружкам тебя поведу.

Отец смотрел в сторону и старался отделаться от Миколая шутками:

— По трактирам я не охотник ходить, в карты не играю, вина не пью. Иди — может, с дружками-то своими последний пятак пропьешь.

Но Миколай принял слова отца как завистливую похвалу и, похохатывая, зачванился:

— У меня везде дружки по Волге: народ отпетый. Тут я — как рыба в воде. А в деревне — как рак в назьме. Сам наезжаю к родителям: по этапу-то зазорно шататься. Эти чертовы порядки — нож вострый.

А баба что? Баба в городе — обуза, чего ей в городе делать? Баб на мой скус в городе — хоть пруд пруди. Сейчас я с дружками так поверну, что никакая сила меня в деревню больше не затащит. Меня в Астрахани в сыщики зовут.

Отец опасливо оглядывал Миколая, но делал вид, что сочувствует ему:

— Что ж, игровое дело... ежели башку не сшибут.

Он вскочил к нам на телегу и встревоженно пробормотал:

— Ну и балаболка, ну и жулик! Ни стыда, ни совести... безотцовщина. Отбился от дома-то и в галахи попал. Сыщик! Пропадешь с ним ни за копейку.

Мать натянула платок на глаза и враждебно поглядела вслед Миколаю, который догонял свой воз.

— Уж как я боюсь-то его! И дома он, как пес, на баб бросался...

Терентий, Парушин сын, который вез нас на своем возу, таращил глаза на переднюю телегу и ворчал в густую бороду:

— Вот бы кого в волости-то выдрать, да при всем народе, бродягу! И стариков бросил, женёнку с детишками. Отцу ни гроша не шлет — детишки голы-босы, а сам при калошах, шляпка на башке, — фу-ты, ну-ты, ноги гнуты!

Мы медленно спускались с пологой горы, и город рос, громоздился передо мной каменными домами, вышками и церквами с золотыми и синими луковицами. И эти дома, похожие на дворцы, и даже деревянные избы казались огромными и загадочными. Телеги наши оглушительно грохотали по каменной мостовой бесконечной улицы, а навстречу нам плавно и мягко бежали черные блестящие пролетки с толстыми кучерами. У ворот стояли бородатые мужики в белых фартуках — дворники. По тротуарам шли нарядные женщины и мужчины. Одеты они были странно, не по-нашему: мужчины — в кургузых и длинных пиджаках, в черных и белых шляпах и белых рубашках, с черными платками на груди, завязанными в пышный узел. Но особенно поразили меня женщины: у них сзади, под платьями, тряслись какие-то

пухлые подушки. Я засмеялся и крикнул, показывая рукой на этих невиданных уродин:

— Глядите-ка, вот чудо-то! Бабы-то какие! Чего это у них назади трясется?

Смеялись и отец с Терентием, а мать ахала, пораженная не меньше, чем я:

— А, батюшки! А, светыньки! Стыдобища-то какая! Неужто все бабы так ходят?

Отец авторитетно разъяснил:

— Это в городе тюрнюр называется. Все барыни так ходят.

Мы долго ехали по каменной улице с высокими белыми домами, с садами во дворах. Нас перегоняли новенькие пролетки с аккуратненькими лошадками или верховые, тоже не виданные мною никогда: парни в лаковых сапожках и штанах в обтяжку, а девки в черных длинных юбках и шляпках плошкой. На перекрестках стояли белые городовые с оранжевыми шнурами от шеи до пояса.

Мать с лихорадочным возбуждением глядела во все стороны и не переставала ахать. А отец делал вид, что его ничто не удивляет, что на все эти чудеса ему наплевать. Он о чем-то калякал с Терентием, но я не слышал ни одного слова. Мое внимание привлекла высокая вышка, обитая досками, похожая на гриб. Наверху медленно ходил маленький человек и глядел на город.

Проехали мимо большого сада, а потом стали спускаться вниз.

В конце улицы над домами опять засверкала необъятная река, а по ней в разные стороны плыли лодки с белыми парусами. Навстречу нам, напирая на хомуты и опустив головы, лошади с натугой тащили телеги, нагруженные мешками, ящиками, бочками, пузатыми плетушками и решетами. Сквозь дырявую материю видны были ядреные кисти винограда и алые помидоры. По спуску мы съехали на широкий берег, тоже загроможденный ящиками, мешками, толстыми рогожными кулями и целыми кучами арбузов и дынь. С берега к огромной барже с домом наверху, похожим на букву «покой», поднимались

дощатые настилы. Под домом толпился народ, а по настилам, сгибаясь, под тяжестью страшенных ящиков, шагали с пристани один за другим мужики в длинных холщовых рубахах и в лаптях, а с берега на пристань тащили на спине по три тугих мешка. Где-то в стороне заревел пароход, визгливо откликнулся другой, а на соседней пристани уныло, со вздохами. взвывала толпа:

— И-йох, да и-йох!..

Пахло нефтью, дынями, пылью и гнилой рыбой. Гул, грохот и крики людей, как на сходе, ошарашили меня, и я долго не мог опомниться. Все пугало, угнетало меня и вместе с тем привлекало жуткой суетой.

Было жарко, воздух горел солнцем, и желтая пыль дымной мутью окутывала весь берег. Волга сверкала ослепительной метелью солнечных вспышек, разливаясь до горизонта. Пристани одна за другой далеко тянулись вправо и влево. В стороне, тесно прижимаясь к барже, стоял розовый двухэтажный пароход с навесом наверху, и высоко, за красивой стеклянной будочкой, дымила труба. На боках розового парохода играли волнистые зайчики.

Мы остановились неподалеку от сходней и сбросили с телег наши узлы и сундучки. Терентий оживился, он как будто обрадовался, что свалил нас со своего воза: торопливо расцеловался с отцом и матерью, вскочил на телегу и поехал обратно в гору. Миколай сразу же убежал куда-то, весело крикнув на ходу:

— Ждите меня, не шевелитесь! Я сейчас узнаю, когда пароход прибежит. А то давай деньги, Вася, — билеты куплю.

Но отец отмахнулся, а Миколай засмеялся и быстро зашагал по сходням.

— Ловкий какой! Деньги ему дай... Дурака нашел! Сейчас же побежит к своим галахам и пропьет все до копейки. Сразу видать, куда лыжи направил!

И в самом деле, Миколай пропадал до второго гудка.

Отец, как и всегда, форсисто и уверенно пошел на пристань и не возвращался долго, а мы с матерью

сидели на своих узлах и не скучали: она, как и я, смотрела на береговую суматоху, на реку, на толпы людей, и в глазах ее светились тревожная радость и испуганное любопытство.

Подошел к пристани белый, нарядный, с золотым блеском пароход. По сходням хлынула густая толпа народа с узлами, сундучками, с чемоданами... На берег съехалось много пролеток и телег. Люди суетливо бросали на них свой багаж и уезжали по дороге в гору.

И вот мы на пароходе. Поместились на полу, у стенки машинного отделения, в свалке узлов. Люди сидели здесь плечом к плечу. Было душно, пахло нефтью, маслом, пылью, по́том, портянками и махоркой. За дощатой стенкой что-то пронзительно шипело, а рядом с нами стоял медный бак, который часто завывал и со свистом выбрасывал пар. За углом машинного отделения грузчики тащили что-то очень тяжелое и ревели: «И-йох, да и-йох!.. Да еще-о... да раз-зо-ок!..» Рядом с нами сидел сухонький старичок с жиденькой, словно выщипанной, бородкой. Он ел арбуз с хлебом, усмехался и невнятно бормотал. Потом протянул мне красноискристый ломоть и приветливо закивал головой, показывая желтые зубы.

— На, поешь арбузика, паренек! Сладкий арбузик, сахарный... Я их без ошибочки беру: сам на бахчах летом греюсь.

Я нелюдимо отшатнулся от него.

— Не надо... не хочу я. У нас у самих есть арбуз-то...

— Негоже от угощенья отказываться: добра гнушаться — с людями не знаться.

Отец с любопытством последил за стариком и поощрительно ткнул меня в бок.

— Возьми, коли дедушка дает. Скажи: «Спаси Христос!»

Я нерешительно взял ломоть из крючковатых пальцев старика и пробормотал: «Спаси Христос!» Арбуз был действительно сахарный и ароматный, и я ел его, захлебываясь от обильного сладкого сока.

— Спаси-то спаси, да духа не гаси. А? — Старичок подмигнул и отрезал себе еще ломоть. — Вот то-то, паренек. Это запомни. Это — одна заповедь. И другую держи в памяти: есть один закон совершенный — закон свободы. Это апостол Яков сказал. Храни эти слова на многие дни. Потом взвесим, сказал дедушка Онисим. Это меня зовут Онисимом-то.

Он поглядел на отца зоркими, обличающими глазами.

Отец подозрительно покосился на него, надвинул картуз на брови и стал ощупывать вещи.

Старик вдруг легко вскочил на ноги и засеменил по узкому проходу. Отец проводил его глазами и встревоженно проговорил:

— С вещичек-то глаз не сводите. Спать будем по череду. Старичишка невнятный. Бродяжка. Ишь какой словоохотливый! Может, шайка у него... Не успеешь оглянуться — догола разденут.

С другой стороны от нас сидел лохматый и бородатый мужик с выпученными глазами, а рядом с ним — баба с грудным ребенком, болезненная, морщинистая, с покорным лицом. Мужик резал на ломти красный арбуз и жадно поедал его, заливая соком бороду. Он отрезал большой ломоть и подал бабе, но она, с тупой болью в глазах, огрызнулась:

— Отстань ты от меня, Маркел, ради Христа! Сердце у меня почернело... с ума схожу... Сорвались сослепу. Не знай куда... на чужу сторону. Ведь и галка знает, куда летит и где сядет.

— А ты будя, Ульяна! — низким басом прогудел мужик. — Не пропадем! Везде люди, везде народ. Это трава по ветру летит и в буерак падает, а человек свое место ищет. — И он общительно обратился к отцу: — А ты, земляк, тоже с семейством-то за счастьем едешь?

Отец умственно закатил глаза под лоб, подумал, усмехнулся, самолюбиво подобрался и загадочно ответил:

— Счастье — не за горами, не за плечами, а там, где воля человеку. Ищите — и обрящете, толцыте — и отверзется.

Мужик поднял густые брови и вытаращил глаза.

— Вот это по мне! А бабы этого не чуют. Бабы что куры: ничего им не надо, окромя двора да нашести.

Опрятная старообразная женщина с седыми, гладко причесанными волосами, со строгим недеревенским лицом, худым и бледным, сидела на чемодане за мужиком и читала какую-то толстую книгу. Она исподлобья поглядывала и на мужика и на отца и прислушивалась к ним. Один раз она встретилась со мной глазами и улыбнулась. И от этой ее улыбки мне стало почему-то очень приятно. После этого я долго не отрывал от нее глаз и ждал, когда она мне улыбнется еще раз. И она действительно еще раз улыбнулась мне и поманила к себе тонким пальчиком.

— Ну-ка, мальчуган, иди сюда: я тебе покажу что-то интересное.

Но я застеснялся и стыдливо потупился.

— Ну, чего ты дичишься? Надо быть смелым и любопытным.

Мать засмеялась и виновато пояснила:

— Еще не опомнился... Ничего не видал... Всё ему еще диво. А хороших людей и сроду не встречал.

Женщина с ласковой суровостью упрекнула ее:

— Как это не встречал? Хороших людей везде много. Я слушаю вас и вижу: вы тоже ведь хорошие люди. Мечтаете о лучшей жизни. Народ наш — чудесный народ. Я с ним всю жизнь прожила, знаю его. Ну-ка, иди, иди сюда, молодой человек! Стесняться не надо: кто робеет, того бьют.

Отец, польщенный словами женщины, толкнул меня под бок.

— Ну, иди! Съедят тебя, что ли?

И самодовольно, щегольским тоном, похвалился:

— Он у нас грамотный. Гражданскую печать читает бойко.

Я неловко встал и почувствовал, что руки у меня лишние, а голова болтается беспомощно.

Женщина усадила меня рядом с собой и взъерошила мои волосы.

— Ишь кудрявый какой! Весь в золотых колечках.

Мужик слушал женщину, широко ухмылялся и крутил лохматой головой. Даже по измученному лицу Ульяны прошла светлая волна. А мать забылась, как от хорошей песни. Отец с любопытством смотрел на женщину и соображал что-то, потом недоверчиво спросил:

— А ты, барыня, кто будешь-то? Едешь не с господами, а с простонародьем. Чудно как-то!

Она с гордой скромностью ответила:

— Я, дорогой мой, не барыня, и с господами мне не по дороге. Я — учительница, живу в деревне, в глуши. С молодости безвыездно в деревне. И ты напрасно надо мной смеешься: народ наш хоть и грязный — в рабстве его держали, — зато душа у него чистая. Я от господ не часто слыхала такие слова, какие ты сейчас сказал: ищите — и обрящете, толцыте — и отверзется.

Мужик словно услышал что-то очень забавное; он взмахнул руками и засмеялся:

— Вот это грохнула! Как палкой по башке. Вовек не забуду... Как тебя звать-то, баушка, чтобы имечко в памяти держать?

Женщина отшутилась:

— Ну, зови хоть Варварой. Да и рано мне бабушкой быть: мне и сорока пяти нет. Вот твоей Ульяне, наверно, лет тридцать, а тоже постарела от трудной жизни.

Она развязала стопку книг, вынула одну, цветастую, и сунула мне в руки. У меня закружилась голова от неожиданного счастья: таких нарядных книг я не видел никогда. «Руслан и Людмила», — прочел я и прижал книжку к груди.

— Ну-ка, прочитай немножко, а я послушаю: может быть, тебе эта книжечка не по зубам.

Угроза лишиться этой ослепительной книжки сразу воодушевила меня: я смело и самоуверенно раскрыл ее и крикнул:

— Я и Псалтырь много раз читал, и Пролог, и Цветник! Про капказского пленника, «Песню про купца Калашникова» и Кольцова «Песни».

— О, да ты, оказывается, совсем начитанный! Ну-ка, ну-ка!

Хоть я и переживал в эти минуты прилив дерзкого желания доказать ей, что я сильный в грамоте и все отлично понимаю, но четкие строчки книги расплывались, ускользали, я спотыкался, старался их поймать и собирал слова по буквам.

— Не торопись, голубчик. Поспешишь — людей насмешишь, и тебе будет стыдно. Надо каждое слово спокойно, осторожно глазом и умом вбирать в себя. Взял, втянул его, осмыслил — тогда и произноси уверенно... Так и людей постигай. Не суди о них с первого взгляда, а то впросак попадешь, и будет нехорошо. Ну, иди читай, а что не поймешь — у меня спроси.

Я, возбужденный, вспотевший, возвратился на свое место. Мать, тоже взволнованная и счастливая, уткнулась вместе со мною в книгу.

А отец, считая себя выше побалушек, вдумчиво и умственно говорил о чем-то с мужиком. На учительницу он больше не обращал внимания, а может быть, по привычке хотел показать ей, что хоть она и образованная, но все-таки — баба, а баба в мужских делах ничего не смыслит.

Ульяна раскачивалась с ребенком у груди, и темное, измученное лицо ее опять застыло в скорби.

Пароход дрожал от грохота и людского движения. Неподалеку от нас наверх шла лестница, и по ней поднимались и сходили хорошо одетые господа. Носильщики в белых фартуках тащили туда чемоданы и мешки, стянутые ремнями. Дамы, в маленьких шляпках на лбу, потряхивая турнюрами, вели на цепочках беленьких собачек. Это были люди какого-то другого мира — странно-приторного, чужого, непонятного.

Где-то далеко играла гармония с колокольчиками и визгливо пели девки. Я стал перелистывать книжку и увидел картинки. Потрясенный ими, я весь ушел в другую жизнь — в жизнь мечты и сказки. Мать прислонилась головой к моему плечу и тоже не отрывала глаз от картинок.

А на площадке палубы артель грузчиков дружно завывала с натугой и вздохами:

— И-йох, да и-йох!..

Я не заметил, как прибежал прыткий старичок, только услышал его скрипучий голос и лукавый смех.

— Сколь ни толкуй, работнички, сколь своего житья-бытья ни обдумывай, а жизни не перегонишь — ее не взнуздаешь. Песня-то что с людями делает, ай-ай! Глядел — не нагляделся. Тяжко им, пудов по сорок тянут. А вот песня чудо творит — как перышко этот груз летит... То же и на корме: поют, пляшут, веселятся. А за кормой, над пучиной, чайки летают, белые, как кипень. Слеза меня прошибла от такой благодати. Ах, как человек духом возносится! Сим человек светел, а мало кто сие приметил.

Ни отец, ни мужик, ни Ульяна не слушали его, не слушала, казалось, и учительница, но, не отрываясь от толстой книги, с затаенной улыбкой поглядывала на него исподлобья. Мать уставилась на него сияющими глазами и жадно слушала его.

— Гляжу я на тебя, дедушка, и думаю: везде-то ты был, весь-то свет исходил...

Старичок подмигнул ей, и бороденка его затряслась от смеха.

— Мне вот шесть десятков, а ножки — крепенькие. Всю Россию исходил, все пути-дорожки измерил. И у моря холодного был, и в Сибири был, и горы Капказские измерил, и на море Хвалынское каждый годок, как птица, перелетаю. Человеку негоже к одному месту прикипать: у него дух крылат, он умом богат. Много ему на свете дано, а лет жизни мало: успей, человече, все переглядеть да передумать. Кто есть на земле счастливей человека? Никого.

Очевидно, он мог говорить, не умолкая, целый день, словно не в силах был сдержать своих волнений и удивления перед тем, что видел.

Отцу он не нравился, и недоверие к нему не угасало. А мужик глядел на Онисима и кряхтел от смутного беспокойства. Отец не вытерпел и язвительно спросил Онисима:

— А ты, дедушка, работал когда-нибудь аль только одно и делал, что бродяжил?

Старичок не обиделся и охотно, доверчиво ответил:

— Без труда человек — не человек, а червь.

— А какое у тебя рукомесло-то?

— Я, дружок мой, все ремесла знаю, во всяком деле силы свои испробовал: и швец, и жнец, и на дуде игрец... А сейчас время приспело — на рыбные ватаги плыву: икру готовить. Там я — икряник, в полях — бахчевник, в городах — столарь, а в деревнях — шерстобит. Люблю поющую струну и волны морские.

Учительница отложила книгу и улыбнулась старику.

— Ты что же это, Онисим, и признавать меня не хочешь?

— Ай-яй-яй! Голубка моя сизокрылая! Варварушка! Как же это я, слепой сыч, не приметил тебя? Ай-яй, побелела-то как! Ведь я тебя, орлица моя, чай годов десять не видал.

Он бойко вскочил и бросился к ней, досадливо качая жидковолосой головой и хлопая руками по бедрам.

Но учительница спокойно, с насмешливой улыбкой осматривала его с головы до ног и журила:

— Не изменился ты, Онисим: такой же говорун и непоседа. За эти годы, должно быть, всю Россию изъездил.

— Я, Варварушка, и в могилу упаду походя. Некие люди совестят: «Покой своей старости дай, Онисим!» — «Человек, говорю, не чурбан, чтоб лежать да гнить. Он, человек-то, еще в утробе матери беспокоен. Покой — для покойников. А ведь я каждый день солнышко встречаю».

Учительница встала, и они пошли по узкому проходу, за вороха клади, оба сухонькие, маленькие, странные.

Мужик захохотал.

— Чудеса в решете... Народ-то какой распорядительный! Хозявы!

Отец убежденно подтвердил:

— Незаконный народ. Он — ерстик, всему отрицается, а она — средь людей чужая. Не иначе, барских кровей. От таких народов держись дальше да оглядывайся.

— Заковыристый народ, верно! — согласился мужик и опять захохотал.

Мать смотрела куда-то вдаль и будто думала вслух:

— Люди-то... как неправдашные... как с того света. И кто знает, что мы только с тобой, сыночек, увидим...

Оглушительный, до боли в ушах, до дрожи в теле, заревел гудок парохода, — ревел долго, и этот рев проглотил и грохот тяжестей, и крики людей, и шум суматохи.

И когда он умолк, сразу зазвенела в ушах тишина, и я некоторое время чувствовал себя в пустоте. Вдруг где-то недалеко завизжали девки, кто-то разудало закричал и заругался. И сразу же залилась звонким, чистым, разливным перебором гармония с колокольчиками.

Явился Миколай, хмельной, с задранным картузом, с осовелой ухмылкой. Пришел он под руку с приземистым парнем с закрученными усишками, с маленькими колючими глазами. Грязная рубаха его была заправлена в брюки, а на ногах — опорки.

— Вася! — развязно закричал Миколай. — Плыви один, я здесь остаюсь. Где мои багажи? Дружков закадычных встретил — сто сот стоят. На мельницу Шмита поступаю, низовым. Работа чертова: мешки таскать. Зато и заработаешь... Вот он, мой старый товарищ. Не гляди, что он малорослый: мешки, как варежки, бросает, а вино порет стаканами.

Они забрали сундучок и пузатый мешок Миколая и ушли, пьяно ухмыляясь. Отец встретил и проводил их молча, с холодным презрением в глазах.

— Пропащий народ. Шарлоты. Такие в два счета карманы очистят. Им бы только трактир, да притон, да драки. Сразу видно, что дружок-то — золоторотец.

Мать радостно вздохнула:

— Вот уж добро какое — ушел! Словно камень с плеч свалился.

Мужик гулко засмеялся.

— Бесшабашная братия! Доки! Завей горе веревочкой... Бабу-то он в деревне бросил, что ли?

— А зачем ему баба? Этого добра и тут много.

Мужик крякнул и закрутил головой.

Я начал вслух читать свою нарядную книгу. Мать прильнула ко мне и стала слушать с изумленной улыбкой.

II

В первые часы я не мог подняться с места: чувствовал себя ничтожной пылинкой в этой густой свалке узлов, тюков, ящиков и в людской суматохе. Люди сидели и лежали, срастаясь плечами, спинами, ногами, прибитые к своей рухляди. По узкому проходу между стенкой машинного отделения и служебными каютами непрерывно проходили один за другим и навстречу друг другу матросы в кожаных картузах, какое-то начальство в белых кителях, с сердитыми лицами, и пассажиры с жестяными чайниками в руках.

За стенкой грохотали и пыхтели машины и с каждым их вздохом пароход тяжело и плавно толкала вперед какая-то огромная сила. Он мне казался живым: он дышал, сопел, вздрагивал, напрягался и время от времени покрикивал кому-то: «Э-эй!» Я отважился вскарабкаться на рогожный тюк и взглянуть в нутро машинного отделения, вцепившись в медную решетку окна. Внизу, в огромной яме, взмахивали сверкающие серебром страшенные, сокрушительно тяжелые рычаги, похожие на богатырские руки с крепко сжатыми кулаками. Они вцепились в такие же блестящие и пугающие толстые валы и вертели их с грозным напряжением. И когда я увидел глубоко внизу малюсенького человечка в синей блузе, с паклей в руках, мне стало жутко: как он, такой беспомощный, может ходить спокойно среди этих страшилищ и не бояться их убийственных взмахов? Так

стоял я долго, заколдованный горячим, невыносимо могучим движением, таким неотразимым и легким, не чувствуя себя, позабыв обо всем на свете. Это было чудо, прекрасное, подавляющее, пленительное и таинственное. Когда меня оторвал от этого зрелища отец, я сразу почувствовал себя изнуренным и разбитым.

— Пойдем, сынок, по пароходу прогуляемся. Волгу поглядим.

Мать вязала чулок и невнятно разговаривала с Ульяной, а Ульяна по-прежнему качалась вперед и назад с ребенком на руках. Ребенок иногда слабенько и жалобно покрикивал — вероятно, был болен.

Старичок свернулся калачиком и спал, похрапывая. Коричневое обветренное лицо его и во сне усмехалось лукаво. Серая реденькая бородка казалась лишней и смешной. Мужик тоже спал, уткнувшись лицом в свернутую поддевку. Длинные ноги в лаптях он протянул через проход и, должно быть, не слышал, когда матросы пинали его сапогами. Учительница по-прежнему сидела, низко склонившись над толстой книгой.

Мы прошли через просторную площадку, которую мыли матросы странными метлами из целого снопа тоненьких веревок. Они подходили к борту, бросали метлу на бечевке в реку и вынимали ее, жирную от воды. И опять шли мы по узенькому проходу. Но здесь люди уже не валялись на полу, а громоздились на двухэтажных нарах.

— Нам бы вот тут ехать-то, — робко сказал я отцу. — Тут хорошо, просторно. И столы есть.

Отец мягко и охотно разъяснил:

— Дурачок! Это третий класс, а мы в четвертом. Тут за места дороже платить надо. А первый да второй — наверху. Там господа едут, купцы да дворяне.

— А нам туда можно... погулять-то?

— Туда нас не пускают. Господа брезгуют, когда к ним поднимается чернядь.

Это меня не удивило и не обидело, — ведь и у нас в деревне так же: мужиков на барском дворе в дом не пускали, с ними разговаривали с крыльца, а мужики

должны были стоять и в дождь и в снег перед крыльцом без шапок. Мы, мужики, «чернядь», обязаны знать свое место. Начальство в белых кителях может орать на нас, как на баранов. К этому мы привыкли и принимали за должное. Значит, везде одинаково: господа и богатеи — наверху. У них и одёжа и лица иные: это люди не нашей породы, как существа другой, неизвестной мне жизни: и тело другого цвета, и походка странная — зыбкая, кошачья, и речь особая, и пахнет от них приятным духом. Они вызывали во мне и страх, и жадное любопытство, и удивление, и бессознательную враждебность.

Хотя народу на корме тоже было много, здесь все же открывалось воздушное приволье. Предвечернее небо дымилось лиловой пылью, а пепельные спокойные облачка далеко, над луговой стороной, над синими перелесками, длинные, разорванные по краям, казались усталыми и грустными. Над кормой, на короткой мачте, подвешена была белая лодка вниз носом, и она казалась очень легкой и красивой. Река, разливная, широкая, блистала зеркалом, и низкий берег слева мерцал песком и яркой зеленью травы. А за кормой рыжей пеной кипели водовороты и уплывали назад, вздымаясь и ныряя в глубоких волнах. И вправо и влево эти волны широко и густо расходились во все стороны, блистали небом и темной глубиной. Высокие глинистые и известковые обрывы правого берега отражались в сияющей глади реки оранжевыми струями, а ближе и дальше рвались в плывущих к берегу волнах на пылающие клочья и вихри. Над пенистыми волнами летали розовыми вихрями чайки, падали на волны и, едва касаясь кипящей воды, трепетали крыльями, торопливо взлетали вверх с жалобными криками. Пораженный, я не отрывал глаз от этой невиданной красоты и забыл обо всем. Время от времени пароход раздольно вскрикивал встречному пароходу: «Э-эй!..» Этот задорный крик разносился всюду по широкому простору реки, и чудилось, что и высокие обрывы, и зеленые ущелья, и эти густые, маслянистые волны далеко за кормой поют протяжную и разливную песню.

И песню эту, могучую и вольную, вдруг подхватила звонкая саратовская гармония, такая же разливная и молодая. Переборы играли причудливыми переливами, рассыпались серебром и колокольчиками. Потом гармония вздыхала густым напевом, в котором слышны были и слезы тоски, и крики надежды, и бунт беспокойных желаний. Гармонист сидел на тугих рогожных тюках и со строгим раздумьем смотрел вдаль, на реку, а около него теснились парни, одетые по-городскому — в стареньких пиджаках и штиблетах, в дырявых шляпах, бритые и с пухом на щеках. Перед ними на полу стояла бутылка водки и валялись объедки воблы. Один из этих парней схватился за голову, закачался, вскрикнул в отчаянии и запел с рыданием в голосе:

Сердце ноет... Эх, счастья нету...
Ох, я поеду д'кругом свету...

Гармонист как будто не слышал тоскливой жалобы товарища: он застыл в суровой думе и изливал ее в звенящих звуках и вздохах басов. А товарищ его горестно покачивался и после перебора опять вскрикнул и застонал в отчаянии:

Ах, догорай, моя лучина!
Улечу я д'на чужбину...

Все эти сбитые в кучи люди, в кафтанах, в лаптях, в смятых картузах, босые и в лохмотьях, мужики и бабы, словно завороженные, смотрели на гармониста и его товарища и улыбались смущенно и растерянно. Только крупный старик в суконной поддевке, с красным, потным лицом и окладистой бородой в рыжих и седых клочьях, старательно ел красные ломти арбуза и пронзительно-тоненьким голоском вскрикивал:

— Он, господь-то, отец наш небесный, грозен и справедлив в гневе своем. Вот они, бездольные да неурядистые люди-то! Х-ха, глядите-ка! Винцо, гармошка, беструдье... Бродят шалопутами по свету, беспокоят хороших людей... Эх, без-за-конники!

Парень, который пел со слезами тоски в голосе, выпрямился и впился в старика злыми глазами.

— Ну, ты... живодер! Сколько в Саратове краденого набрал? А сейчас в Царицыне упакуешь да в Астрахани на татарском базаре спустишь? Жри свой арбуз и молчи, а то за бортом поплывешь...

Старик смущенно и плутовато усмехнулся и сокрушенно покачал головой.

— Рече безумний: несть бог. Зане рекомо бысть: не послушествуй на друга своего свидетельства ложна. Все увязли в грехах, как в тине. И почто так много бродяжит вредных людей?

На него уже не обращали внимания, и гармонист вдруг сдвинул шляпу на затылок, оглядел народ озорными глазами и заиграл плясовую. Парень вскочил на ноги, вскинул руку, вцепился в шею, другою оперся о бедро, гулко топнул рваным штиблетом и лихо взвизгнул:

— Эх, братцы, други вольные!.. Жизнь наша — копейка, а судьба — злодейка. Пляши — не тужи, дави живодеров!

И под рассыпчатые переливы гармонии и звон колокольчиков начал ловко оттопывать четкую дробь своими штиблетами. Неожиданно вскочила молодая бабенка с зовущими глазами, вызывающе уставилась на него и низким голосом крикнула:

— Эх, мальчишка милый! Пойдем, что ли, назло праведникам!

За кормой бурлила вода и длинным следом, в водоворотах и пене, уплывала назад, зыбкие волны расходились к берегам, играя клочьями неба и тьмы. Высокие красные обрывы в оползнях медленно плыли мимо, а направо река блистала пламенем и разливалась до горизонта. Там, очень далеко, чернела маленькая лодочка, а на ней стоял неподвижно человек. Под глинистой кручей, у самой воды, шли один за другим маленькие люди и тянули на веревке лодку, а на лодке мужик в красной рубашке отталкивался длинным шестом. Далеко позади волны от нашего парохода выкатывались на берег снежными сугробами.

Наверху визгливо залаяла собачонка. За белой решеткой стоял толстый человек с узенькой бородкой и женщина с высоко взбитыми волосами. Она держала на цепочке белую лохматую собачку с черным носиком. Собачка смотрела на плясунов, подпрыгивала и брезгливо лаяла.

Пароход крикнул раскатисто: э-эй!.. Где-то недалеко ответил ему другой, встречный пароход: у-ух!.. И немного погодя прошел мимо нас розовый гордый красавец, бурля красным колесом воду и отбрасывая назад всклокоченные волны. За розовой проволочной сеткой стояли и прохаживались господа. Две барыни махали белыми платочками. И опять — заливистый крик нашего парохода, и опять ему откликнулся другой, и мы обогнали черные огромные баржи с домиками на палубе, с большущими рулями, похожими на ворота, а потом — длинный пароход с белым поясом на черной трубе. Он с натугой тянул на толстом канате эти баржи и изо всех сил шлепал колесом по воде.

Меня потянул за рукав отец, и мы пошли обратно. На носу народу было меньше. Здесь сбились в кучу татары в тюбетейках, и все вместе бормотали что-то, не слушая друг друга. Два старика с реденькими бородками стояли на коленях и покачивались, умываясь ладонями. Высокий матрос в кожаном картузе, похожий на дядю Ларивона, длинным шестом мерил глубину и мычал после каждого взмаха, вытаскивая шест из воды:

— Два с по-ло-виной!.. Три-и!.. Под табак!..

Волга вдали разливалась так, что не видно было низкого берега, только в туманце синели полоски лесных зарослей. А справа зеленели горы в ущельях и узких долинах, и снова отвесные красные и известковые обрывы. И там, в мерцающем блистании реки, снова чернели толстобокие баржи и дымили трубы пароходов. Дул свежий ветер, свистел в ушах, и было приятно чувствовать его упругий напор. Пахло землей, травами и рекой. У стенки борта четверо городских парней с угарными лицами играли в карты, а рядом с ними, закинув руки за голову и

прислонившись к стенке, смуглый парень с черной шерстью на щеках и подбородке задумчиво пел вполголоса:

Отцовский дом спокинул я,
Травой он за-арасте-от...

Песня была печальная, и мне казалось, что парень вздыхает, тоскуя, и на глазах у него слезы. Мне тоже стало грустно. Должно быть, этот парень пережил какое-то горе и уехал из родного дома куда глаза глядят. Может быть, и ему так же жалко было покидать родные места, как и мне свою деревню, где остались тетя Маша, Кузярь, где лежит в могиле бабушка Наталья, где мерцает на солнце широкая лука и играет милая речка внизу, под глинистым обрывом.

В эти минуты я почувствовал отца маленьким и настороженным до робости и как-то сразу заметил в нем новую, неожиданную черту: он мягко и ласково брал меня за плечо, прижимал к себе и говорил странным голосом — виноватым, улыбающимся. Мне было как-то неловко слушать его и ощущать прикосновение его руки: словно он, защищая меня от чужих людей, сам растерялся в этом людском месиве, вырванный из привычной деревенской жизни. Там были надежные, обжитые устои, были родные поля, взгорья, буераки, лука, дороги и тропки, по которым твердо и уверенно шагали ноги даже в темные ночи, и шабры, которые были так же близки, как родня. Там прожитый день незаметно угасал в спокойном сне, а новый день был похож на минувшие, и в этой привычной смене дней все чувствовали себя спокойно и знали свое место и свой долг. А здесь, на палубе парохода, люди, выброшенные из сторонних деревень, покорно сбились в кучи, чужие друг другу, и плыли в неведомый край, на берега Каспия, искать удачи, не зная, что их ожидает в будущем. Но будущее — это надежда, которая всегда полна манящих обещаний.

Отец и с матерью стал держать себя иначе: он ни разу не прикрикнул на нее и не смотрел исподлобья, с гнетущей злобой в ожесточенных глазах, как это было в деревне. В голосе его зазвучала неслыханная

раньше добродушная глухотца, лицо посветлело. Мать он уже не называл Настасьей, а звал легко и игриво: Настёнка.

— Сейчас к пристани подходим, Настёнка. Пойдем, арбузик и дыньку купим, колбаски. А Федянька посидит здесь, покараулит. С места не сходи, сынок, да поглядывай, как бы не подошел галах.

А когда они возвращались с покупками — с арбузом, с колбасой, с белым калачом, пахучим и ноздристо-пухлым, — он первый кусок хлеба и колбасы протягивал матери.

— Держи, Настёнка!..

Ночью я сквозь сон видел, как он заботливо поправлял на ней одеялку и, поднимаясь на локте, осматривался, все ли в порядке.

Это было так ново и неожиданно для меня, что я сначала опешил и с боязливой недоверчивостью глазел на него, как на чужого. Он заметил мое изумление и смущенно засмеялся.

— Ты чего, сынок, уставился, как сыч? Чай, мы не дома: мы сейчас сами по себе, сами для себя.

А лицо матери совсем стало девичьим, и в глазах долго не угасала радостная растерянность. Страх перед отцом сохранился во мне как инстинкт, и я никогда уже не мог его вытравить до конца. По-прежнему я боязливо молчал и ждал окрика или обычного щипка за волосы. Про себя я объяснял эту странную перемену в отце тем, что мы — среди чужих людей, и отец, как самолюбивый человек, хочет показать себя с лучшей стороны: он, мол, не бирюк, а человек «урядистый».

Лицо матери зарумянилось, посвежело, глаза горячо заблестели, и в них засветилась своя, задорная мысль. Вероятно, душа ее всегда пела, но песню давно придушили дедушка и отец, и она затаилась глубоко внутри. А сейчас, на пароходе, от нечего делать вышивая по канве, мать пела вполголоса хорошие, задушевные песни. Характер у ней был легкий, общительный, и с первого же дня к ней прилепилась Ульяна. Угрюмое ее лицо прояснилось и подобрело. Все время они шушукались или болтали вполголоса

о своих бабьих горестях. А Варварушка больше молчала, читала свою толстую книгу и что-то писала карандашом в тетради. Но вдруг захлопывала книгу и говорила с матерью и Ульяной тоже вполголоса, слушала их с задумчиво-строгим лицом.

Старичок где-то пропадал, а возвращался весело взволнованный, улыбающийся, ахал, удивленно качал головой и садился на пол, чтобы только успокоиться. Но долго сидеть или лежать не мог: он прислушивался к гулу, к суматохе, к многолюдному говору и крикам, к потрясающей работе машин и, обеспокоенный, быстро вскакивал и семенил куда-то спорыми, прыткими шажками. Когда мы с отцом проходили по пароходу, я видел Онисима то на корме, то на носу, то на парах третьего класса. Среди мужиков или мастеровых он разговаривал, посмеиваясь и покачивая головой. Должно быть, он успел уже ко всем присмотреться, ко всем подойти и узнать, кто куда едет, что оставил позади и чем озабочен.

Однажды бородатый матрос с дерзкими глазами схватил его мимоходом за плечо и крикнул:

— Опять ты, Онисим, калика перехожая, сума переметная, побрел вниз по матушке по Волге? Грач ты перелетный! Сколь годов я уже плаваю с тобой?

Онисим засмеялся и откликнулся по-свойски:

— А ты, Кирюша, годы не считай, а радуйся, что мы с тобой в добром здоровье и благополучии. Течет Волга неистощимо, как жизнь человеческая, и мы с тобой, Кирюша, — ее дети родные. Таких, как мы с тобой, неунывных, она любит.

Матрос раскатисто хохотал.

— Когда ты, Онисим, угомонишься, в грехах покаешься?

— Человека угомон не берет, Кирюша. Мне каяться не в чем: на мне нет грехов. Грехи, Кирюша, в духоте да сырости живут, как плесень, а плесень-то покрывает одни гнилушки.

— Люблю тебя, Онисим: от тебя и старость бежит, как от смутьяна.

— Живая-то душа не стареет, Кирюша.

Часто уходила с ним учительница и долго не возвращалась. Муж Ульяны — Маркел — кивал на них лохматой головой и усмехался:

— Старичок-то всем кум и сват. А с учительницей они, не иначе, фальшивые деньги делают.

Но мать следила за Онисимом с пристальным любопытством, и по глазам ее я видел, что он ей нравится. А Онисим с ласковой улыбочкой чаще говорил с ней, чем с мужиками.

— Приедешь в Астрахань, Настя, сейчас же на ватагу нанимайся. Город Астрахань — грязный, неуютный, и деревенскому человеку там жить обидно: народ там колобродный, аховый, базарный, отчаянный. Ты с мужем-то на Каспий поезжай — к Гурьеву, к Эмбе, на промысла. Огро-омадные там ватаги! Трудно там, работка тяжкая, зато — в артели: есть с кем и поплакать и поплясать. А на миру и горе — вполáгоря, и сердце с сердцем скипается. Труд-то ведь, Настя, везде для рабочего человека не праздник: труд-то везде нам в убыток. Не на себя трудишься, а в чужую мошну слезы льются.

Он вдруг постукал пальцем по книжке, которая лежала у меня на коленях, и с колючей насмешкой в прозрачных глазах неодобрительно проворчал:

— А ты все читаешь да читаешь, малец? Хм! Млад годочками, а читает! Только ведь больше человечьей мудрости не вычитаешь. Читай-то читай, да не зачитывайся, а то забудешь о людях, оторвешься, как теленок от стада, и заплутаешься. Заплутаешься — и волки съедят. Походил бы по пароходу, послушал бы разных людей да Волгой полюбовался...

— Меня одного ходить не пускают, — с обидой пожаловался я ему. — А я уж не маленький — все вижу и понимаю.

Мать встревожилась и ревниво обхватила меня рукой.

— Разве можно одному-то? Гляди-ка, что везде делается! Затопчут, в воду столкнут, а то тюками раздавят.

Варвара Петровна встала, взяла меня за руку и подняла с насиженного места.

— Мы пойдем с ним наверх, а то здесь одурь берет: и машины грохочут, и пар шипит, и духота.

Книжку я бережно положил матери на колени и, потрясенный неожиданной радостью оттого, что сейчас смогу подняться наверх, где гуляют господа, вскочил, задыхаясь от сердцебиения. Мать проводила меня с ласковой завистью в глазах: ей тоже хотелось пойти с нами наверх. Когда я встречал ее взгляд — беспокойный, спрашивающий и покорный, — я всегда чувствовал жалость к ней: почему в глазах ее, широко открытых, ожидающих, не угасает грусть? Они грустны даже тогда, когда она смеется.

Варвара Петровна уверенно открыла дверь и толкнула меня вперед. Я в страхе прижался к стенке, словно передо мной оказалась пропасть. Блестящие латунные перильца и молчаливая пустота наверху словно отшвырнули меня назад.

Мы поднялись наверх и очутились в ослепительно чистом коридоре с ковровыми дорожками, с блестящими стенками и дверями. Воздух здесь был легкий, ароматный, странно пустой. Эта пустая тишина и невиданная чистота и блеск как будто встретили меня с барским удивлением и настороженностью. Впереди, на носу, в открытую дверь виден был длинный стол под белоснежною скатертью, а на нем играли лучистыми переливами сказочно богатые хрустальные кувшины, блюда, бокалы, и растения раскидывали в стороны огромные листья. Оттуда вышла женщина в белом фартуке и белой кружевной наколке. Она строго посмотрела на нас и легкой походкой пробежала мимо.

И вдруг я ощутил свои босые грязные ноги, пропитанную потом пунцовую рубашку и бумазейные портчишки. Мне стало страшно: вот выйдет какая-нибудь барыня с турнюром и крикнет брезгливо: «Ты зачем сюда пришел? Долой отсюда, вниз, к своим галахам!..»

— Отчего ты застыл, Федя? — улыбаясь, окликнула меня Варвара Петровна. — Привыкай. Тебя никто не тронет. Выйдем сейчас на воздух и обойдем вокруг парохода. Вся Волга перед тобой откроется.

Я едва отодрал ноги от скользкого пола и пошел рядом с Варварой Петровной, пришибленный и растерянный. Как-то вышло само собой: я вцепился в ее пальцы и долго не выпускал их. А она, тощенькая, в поношенном городском платье, гладко причесанная, с бледным лицом, с небоязливыми, задумчивыми глазами, шла смело, твердо, немного сутулясь.

— Какой ты дичок, Федя! Деревня твоя — далеко позади. Теперь у тебя новая жизнь. Надо ее брать с бою, а не подставлять ей спину. Ты ведь не трусишка, вижу. А здесь некого бояться: тебя никто и не заметит. Внизу-то опаснее: там разный народ, и пьяные и озорники.

Словно на крыльях взлетел я в воздушное царство. Меня ослепил свежий блеск парохода: стены, пол, сетчатый парапет сверкали на солнце зеркальными отблесками, а небесная гладь реки бежала очень далеко, к высоким красным обрывам и бархатно-зеленым ущельям, оползням и долинам, где ютились избушки с тесовыми крышами — маленькие, кукольные, точно сделанные из щепочек. На песчаной полоске прыгали крошечные ребятишки. Лошадка, похожая на жука, тянула по дороге тележку с бочкой, а мужик, меньше меня ростом, шел рядом с вожжами в руках. От берега плыла лодка, и весла взмахивали, как ножки водолюба. И горы, и обрывы, и деревенька, и лодка медленно уплывали назад. Белые чайки вихрями носились над рекой и над нами, повизгивали надрывно, и я улавливал только трепет их крыльев. Гряда зыбких волн катилась к берегу и далеко позади вскипала пенистыми гребнями. Лодка взлетала носом вверх, проваливалась, опять прыгала вверх, как цевка. Внизу, под моими ногами, глухо шлепали колеса. Пароход был живой, горячий: он дышал и плыл по широкому разливу реки, как огромная белая птица. Впереди река безбрежно блестела вплоть до края неба, и там тоже дымили пароходы и чернели баржи, как плавучие хутора, а навстречу, разрезая воду и отбрасывая ее в стороны пенистыми волнами, крылатый, играя колесами, в каскадах брызг, несся навстречу такой же белый пароход. Он приветствовал

нас веселым криком «э-эй», и белый человек вышел на бортовой мостик и помахал флажком. Таким же раскатистым криком ответил ему и наш пароход. И от этих разливистых криков река казалась еще величавее и раздольнее. Я чувствовал ее живой, а себя — легким, как пылинка.

По палубе прохаживались или сидели на скамьях и в плетеных креслах господа, бегали в коротких портчишках наголо остриженные мальчишки и — в кургузых платьишках — девчонки. Один парнишка размахивал веревочкой и прыгал через нее, и это показалось мне дурацкой, не мальчишечьей игрой. Он вдруг наскочил на меня и, враждебно оглядывая, крикнул барским голосишком:

— Ты зачем сюда заявился?

Варвара Петровна упрекнула его, качая головой:

— Ай-яй-яй! Какой невоспитанный мальчик!

— Долой отсюда, чумазый! — скомандовал парнишка, но на него лениво прикрикнул господин в очках и в соломенной шляпе:

— Отойди прочь, Вова!

Здесь, хоть и под защитой Варвары Петровны, я чувствовал себя так же, как на барском дворе или в дверях кладовой и на пороге лавки Стоднева. Как маленький мужичок, я нес в себе ту же приниженность и боязнь перед господами и начальством, как и мой отец, как и любой наш сосед. Поэтому окрик барчонка я воспринял как естественное выражение господского презрения ко мне, мужичишке, который дерзко посмел выползти из смрадной гущи «черняди». Я прижимался к Варваре Петровне и не отпускал ее руки. А она шла смело, не обращая внимания на бар, и ободряла меня:

— А ты не бойся! Чем ты хуже этих ребятишек? Вся разница в том, что ты — из деревни, бедный, а они — городские и богатые. Зато ты хоть и малыш, а трудился, даром хлеб не ел. Подрастешь, многому научишься, многое поймешь и вспомнишь, о чем я тебе сейчас говорила. Только о книжках не забывай: есть очень хорошие и умные книги. Я говорю это

тебе потому, что ты любознательный, ты опытнее, чем эти барчата. Правда-то на твоей стороне.

Хотя сложные вопросы человеческих отношений были вне моего понимания, я чувствовал в словах Варвары Петровны что-то общее с проповедью Микитушки о правде.

— У нас Микитушка тоже о правде рассказывал. А Митрия Степаныча, мироеда, лжой обзывал, Митрий-то Степаныч и брательника своего в острог отправил: деньги фальшивые ему подбросил. Ну, а Микитушку становой забрал. А Луконя-слепой от правды-то своей дурачком сделался.

Варвара Петровна с удивлением взглянула мне в лицо и растроганно засмеялась.

— А-а, вот ты до каких мыслей додумался! Деревенских парнишек рано жизнь уму-разуму учит.

Она говорила со мной как с ровней, а не как с малолетком, и я радостно чувствовал себя рядом с нею старше своих лет. Свои мысли она высказывала так, как будто говорила вслух сама с собой, но я знал, что она беседует со мною. Так же, вероятно, разговаривала она и со своими учениками, когда бывала в их гурьбе. В ней я чувствовал что-то общее с бабушкой Натальей.

Снизу со звоном взвились рассыпчатые трели гармонии, и вслед за ними с разудалыми стонами и задушевной болью очень красиво запел низкий девичий голос. Несколько человек поднялись с диванчиков и пошли к корме.

Тот же гармонист сидел уже на ящике, окованном железом, и, закинув голову назад, как слепой, играл причудливые переборы. И та же молодая бабенка с горящими глазами и скорбными морщинками над переносьем, но с задорной улыбкой пела, когда гармонист переходил к запевке:

Ах, Волга, Волга,
Ты плещешь вольно...
Ох, любила час я,
А сердцу больно...

Сидела она на тугом мешке из дерюги, вскинув руки за голову. Из-под цветистого полушалка выби-

вались темные пряди взбитых волос. Круглое лицо ее, со вздернутым носом, румяное, умоляюще уставилось на гармониста. Те же парни в стареньких шляпах не обращали ни на кого внимания и оживленно переговаривались. А когда гармонист опять заиграл запевку, бабенка закачалась из стороны в сторону, закрыла глаза, и мне показалось, что лицо ее побледнело.

Ах, только Волга разольется...
Эх, Волга матушка-река-а!
Д'сердце радостью забьется...
Эх, да за-аливает берега-а...

И вместе с перебором призывно закричала речитативом:

Ах, милый мой!
Ой, где ты, где ты?..
Ну, отзовись ты
Хоть с того света!..

Парни с отчаянием людей, которым негде преклонить голову, пропели разудало:

Прощай, последний
Мой день ненастья!
Пойду с матаней
Искать я счастья...

Бабенка смотрела на них пьяными глазами и дразнила их голосом, хватающим за душу:

Ах, милый мой, да
Напьемся браги...
Бежим на Волгу
Да на ватаги...

— Ах, как наш русский человек умеет петь!.. — вздохнула Варвара Петровна и со слезами на глазах поглядела вдаль, на широкий разлив реки. — И не просто поет, а переживает: всю свою душу выкладывает.

Бородатый старик, в распахнутом сюртуке, в картузе, с жирным красным лицом, с опухшими от перепоя глазами, прорычал:

— Эй вы, безотцовщина! Ветрогоны! За то, что душу разбередили, хватайте!.. Нате вам, черти безродные!

Он бросил вниз несколько бумажек.

Гармонист и парень с молодухой не встали, а только взглянули наверх и вразнобой, неохотно крикнули:

— Покорнейше благодарим, Прокофий Иваныч!

— Узнали, черти перелетные... хо-хо?

— Да кто же вас не знает, Прокофий Иваныч? Самый первый воротила на Волге...

— Люблю их, галахов! Самый веселый и душевный люд. Дерзкие умники! Ни с кем так не гулял я, как с этакими шарлатанами. Ничего не признают: ни матери, ни отца, ни барина, ни купца. Пойду к ним — в Царицыне кутить будем.

Он, не стесняясь, грубо толкнул барыню, отшвырнул спиною господина в пенсне, и, рыхло переваливаясь, пошел по палубе, поскрипывая дорогими сапогами.

— Это — Пустобаев... — почтительно забормотали около меня. — Рыбопромышленник. Несметно богат. Когда кутит, вся Астрахань ходуном ходит. Промысла у него по всей Волге и Каспию. Тысячи людей на него работают. Сам губернатор перед ним навытяжку стоит.

Барыня, которую толкнул Пустобаев, злая от оскорбления, брезгливо проворчала:

— Это возмутительно!.. Пьяный дикарь! Безобразие!

Господин в пенсне, нервно подхватывая черный шнурок, ехидно засмеялся:

— Ну, а мы, благородная интеллигенция, не только его не осадили, а склонили перед ним выи.

— А почему? — вытаращив глаза, спросил его господин в чесучевом пиджаке и соломенной шляпе. — Почему, позвольте спросить? А потому, что он обязательно съездил бы меня по морде. Или схватил бы за шиворот и сбросил вниз...

— Нет-с, не потому, — весь вздрагивая от нервного возбуждения, перебил его господин в пенсне. —

Не поэтому, уверяю вас. Нет-с, это владыка нашего времени — господин капитал... Это так-с, так-с...

Варвара Петровна потянула меня за рукав, и мы пошли по другой стороне парохода — на нос. Дул прохладный встречный ветер и трепал мои длинные кудри. Но на легкой зыби реки четко и глубоко отражалось небо и белые рваные облака. Песчаная полоска берега мерцала так далеко, что сторожевой столб казался тоненькой палочкой. За зеленой бахромой лозняка синела на горизонте длинная полоса лесов. И чайки, которые сидели на песчаных отмелях и роились над берегом, чудились белыми пушинками одуванчика. Все — и этот голубой разлив реки, и это небо, и дали, и пароход — казалось огромным, необъятным, воздушным, полным напряженного движения. Это был новый мир, о котором я не читал ни в одной сказке и не слышал ни от бабушки Натальи, ни от Володимирыча. В их рассказах чужая сторона, большие дороги и села ничем не отличались от нашей деревни и столбовой дороги, по которой мы ехали на телеге в Саратов. И люди были такие же домашние, как и у нас в Чернавке. А здесь жизнь бурей вырвалась на волю и несется куда-то в безвестную даль.

На правом берегу отвесные обрывы в оползнях и обвалах уходили назад, один другого выше. Потом они вдруг исчезали, и открывалась широкая зеленая долина в лесах и большое село с белой колокольней. На берегу маячила двухэтажная голубая пристань, а на ее палубе ворошились люди.

III

Вечером, когда тускло зажглись на стенке желтые спиральки в стеклянных пузырьках и многие пассажиры уже храпели, Варвара Петровна встала со своего чемодана и позвала мать:

— Пойдем-ка погуляем с тобой, Настя, наверху, а то ты совсем здесь увяла.

Отец сидел, обхватив колени, и разговаривал о деревенских делах с Маркелом, который лежал на спине рядом с Ульяной.

— Я похожу, Фомич, маненько, а то всю голову разломило... — робко обратилась мать к отцу.

Он недоверчиво смерил взглядом Варвару Петровну и неодобрительно покосился на мать.

— Иди... только не задерживайся. Здесь — всякий народ.

— Да ты уж, Василий Фомич, доверь ее мне, — пошутила Варвара Петровна. — Охраню ее от всякой напасти. А уж ежели вы на ватаги едете, так ей придется самой о себе заботиться, на своих ногах стоять. Артель робких не жалует.

Отец хотел показать себя перед нею учтивым, понимающим, как надо держать себя с образованными людьми: он тряхнул кудрями, многозначительно усмехнулся и переливчатым голосом ответил:

— Мы сызмала привычны к толчкам да пинкам, Петровна. Хуже худого не будет, а хорошее в душе хороним и сберегаем себя от лукавого, от мирского греха.

— Со своей чашкой, Василий Фомич, далеко не уйдешь. — Варвара Петровна засмеялась. — Разобьют ее — обмирщишься.

— Я богу верю, а не зверю.

Маркел захохотал, встряхивая большое свое тело.

— Говорок! Верь-то верь, да на верес — дверь. Лезь в подворотню, Вася. Из подворотни ползти вольготней. У мужика — хребет крепкий: хоть трещит, да дюжит.

— Вот я и говорю, — подтвердила Варвара Петровна. — Не ползти, а на ногах держаться надо. Хоть лежачего и не бьют, зато мнут.

Она ласково провела ладонью по спине матери и подтолкнула ее вперед. А лицо матери улыбалось от смущенной радости. Пошла она очень легко, прихорашиваясь, ощипываясь, оглядывая себя, и видно было, что она стыдится своего деревенского вида.

А меня все время привлекали невиданные пузырьки лампочек с раскаленными завитыми прово-

лочками: это было тоже чудо. Я знал только горящую лучину, восковую свечку, коптящий моргасик и керосиновую лампу, которая висела над столом в избе. Но красный накал тоненькой проволочки в стеклянном шарике — огонек, который появился неизвестно откуда и неизвестно как, совсем околдовал меня. Я не отрывал от пузырька глаз и следил, как дрожит в нем красная, пушистая от огня ниточка.

Маркел поднялся на локте и поглядел вслед Варваре Петровне и матери. Отец тоже смотрел в их сторону: он был польщен участием учительницы.

— Еще молода бабенка-то моя, а на всю деревню отличалась. Другие — как колоды, а она — аккуратная, чистоплотная, говорит — как поет. Да и в семье у нас все этакие урядистые.

Маркел пропустил слова отца мимо ушей и ткнул пальцем вслед женщинам.

— Барыня не барыня, и на бабу несхожа. Ни пава ни ворона. По умственности ученая, а по обычаю вроде как с чернядью. Словно как бы у народа в няньках живет.

Он опять распластался на своем тряпье. Отец и тут хотел показать свое превосходство над Маркелом:

— Есть у нас такие чудаки баре — в народ идут, народ жалеют. Для души. Вот рядом с нами — богатеющий помещик Ермолаев, Михайло Сергеич. Ни в чем мужику не отказывает, по избам ходит, и обращение ласковое: «Мужички! Мужички!» Не такой, как другие, собаки. А то вон в Дубровке есть тоже Малышевы. Сергей Андреич и Лександра Семеновна... тоже баре. Только с мужиками и знаются. За народ в Сибири страдали.

Маркел заколыхался от смеха.

— За народ!.. Милостыньки я им не подам и в батраки не пойду за семишник. Тут, голова, неспроста: не та собака злая, которая лает, а та, которая тишком да молчком за портки цапает. Они, ласковые-то баре, для души льстивые: не заметишь, как под шумок охомутают. У нас тоже такой благодетель ока-

зался: земля — божья, мужички, труд — ваш, а нас уважь!.. Да так опутал, что из году в год полдеревни по миру ходят.

— Ну, Малышевы-баре не такие...— запротестовал отец и упрямо насупился.— Малышевы за мужика — горой, а Ермолаевы — не мироеды: всегда — по закону. Жаловаться на них грех.

— Ты, Вася, мне не перечь! — рассердился Маркел и даже сел от волнения. Он схватился за бороду, и в глазах его сверкнула злоба.— От этаких ласковых бар я насилу ноги уволок. Все под метлу вымели: и избу, и скотину продали, и из коробья все выгребли...

Ульяна завозилась и заплакала:

— Будет тебе сердце-то надрывать, Маркел...

Маркел взмахнул рукой и ударил кулаком по коленке.

— Коли ты барин — бей в зубы! А об себе думать — моя забота. Не жалей меня, не причитай: «Мужичок-беднячок, бессчастный дурачок!» Этот жалельщик, как поп, проповедовал: «На клочках своих вы, мужички, животы надорвали, и ни хозяину корка, ни коню солома. Вот вам мои угодья — берите их и пашите миром, и свои наделы — в один со мной удел. Все — обчее, и я вам — ровня». Плакал, плакал, жалел да жалобил, всем горы золотые сулил. На счетах щелкал, целыми возами каждого счастьем наделял. Ну и подсек: ни земли, ни избы, ни скотины. Я-то, спасибо, убежал да еще кое-кто подался, а там народ сейчас за колья хватается — барина-то громить будут. Несдобровать... Куда пойдешь? Кому скажешь? Ты меня не жалей! — заорал он и опять сел с бешенством в глазах.— Ты меня, по своему положению, в харю бей. А я тебе сам могу ножку подставить и свое урвать. А то: «Мужичок-милачок...» Да я не мужичок и не милачок, а рассукин сын камаринский мужик.

Он отмахнулся, завертел лохматой башкой и осторожно лег рядом с Ульяной.

— Ну, молчок, Ульяна! Прорвало меня маненько. Будя! Лежи! Была бы сила да мощь у Маркела — он

всегда у дела, он и плотник, и шорник, и друзьям угодник.

Отец молча, с опаской поглядывал на него и затаенно усмехался в бородку. Тяжелый и сильный Маркел стеснял его своим бунтом: отец не любил и сторонился опасных людей, словно они грозили зашибить его. Они слишком много занимали места, и слишком много у них было размашистой силы. Маркел напоминал дядю Ларивона, а дядя Ларивон не щадил никого в минуты бешенства. Это были люди не сродные отцу: он и боялся и презирал их. Тревожил его и Онисим — юркий старичок. Этот неугомонный непоседа жалил его своими пронзительными улыбочками и непрошеной словоохотливостью. Он посматривал на отца в прищурочку, сбоку, по-птичьи, тряс жиденькой бородкой и как будто издевался над ним: я, мол, насквозь вижу тебя, Вася, с первого разу понял, какой ты есть человек, и по нраву твоему слова свои дарю — бери да помни. Мне занятно было наблюдать за искорками, играющими в его свинцовых глазках. Казалось, что вот он сейчас вскочит, и у него завиляет сзади собачий хвостик, как у чертика. Недоверчивый к людям, отец возненавидел Онисима: не потому ли, что этот старичок сразу разгадал его и каждый раз бесцеремонно, но ласково бередил его душу?

Он явился в тот момент, когда Маркел с бешенством рассказывал, как его обобрал барин. Очутился он около меня незаметно, словно выполз откуда-то из рухляди, из-за ящиков и тюков, которые громоздились вдоль стенки машинного отделения. Причмокивая, прикряхтывая, он вынул из мешочка недоеденный арбуз и, покачивая жидковолосой головой, ловко отрезал ломоть.

— Как от бездолья-то человек кружится! Ай-яй-яй! А ведь человек может гору сдвинуть — сила-то какая у него! И выходит, други мои, что нет разбегу человеку, ежели он даже ниточкой к приколу привязан. Глядит он на прикол и думает, бедняга, что вся сила — в этом приколышке. Радоваться ты должен, Маркел, что с прикола с испугу сорвался:

свободный стал, и сила при себе. Оно верно, и со свободой совладать надо: свобода-то даром не дается. Так-то, друг мой, камаринский мужик! А вот Вася легче тебя, оглянулся — и поскакал играючи.

Отец огрызнулся, отводя от него глаза:

— Аль ты оракуль, что меня, как арбуз, взрезаешь?

Маркел, пораженный, сел и ошалело уставился на Онисима.

— Бьет под самый пах, Вася. Гадай дальше, Соломон-волшебник!

Онисим с улыбочкой ел красный ломоть арбуза, выковыривая ножичком черные семечки и остренько поглядывая на отца и Маркела.

— А тут, Вася, и гадать нечего: по простоте своей вы оба на виду. Маркел, как лошадь, тащил свой воз безропотно. Вот сорвался с прикола — дальше хомута не уйдет. А ты, Вася, кудрявенький, ходишь иноходчиком — шиковатисто: себя любишь показать, как богатенький. Ты — как колобок: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел... побегу по свету за вольной жизнью». А что с колобком-то приключилось?

Отец пренебрежительно усмехнулся и разгладил пальцами свои кудри.

— Старый ты человек, а шутоломишь, как ряженый. При уме да сноровке — человеку везде место.

— Верно, Вася, жизнь наша такая: от сумы да от тюрьмы не отказывайся. У всякого таракана своя щелка есть. А вот ты в своей щелке-то не усидел. И место-то как будто насиженное, от рождения данное. А выпрыгнул. Чего бы это?

Маркел почесал свою волосатую голову обеими руками и злобно засмеялся:

— И рад бы на родном месте сидеть, да вот чебурахнули. Куда только головой угодишь?

Отец, обняв колени, покачивался вперед и назад и, усмехаясь, отмалчивался.

— Вот оно как, — строго сказал Онисим, колюче поглядывая на отца и Маркела, точно заранее знал судьбу каждого из них и знал, что ожидает их в

будущем. — Видали, сколь народу-то намело? И этак на каждом пароходе, из года в год, изо дня в день... Выброски человечьи — боговы объедки. И каждый кричит и кружится по-своему: одни мычат, другие рычат, а всякие прочие и плачут и пляшут... Человек горем потеет, бедой одевается. А я вот обмозолился, хожу наг и бос и не желаю ни дома ближнего, ни скота его, ни кнута его...

Отец насмешливо отозвался:

— Бездольному псу и нищий — хозяин. А ты хоть и хвалишься вольностью, а батрачишь бесперечь. Тебе и покрасоваться-то нечем.

Маркел под говорок Онисима захрапел, обхватив огромной рукой Ульяну. Изнуренная больным ребенком, она спала с открытым ртом, и старообразное лицо ее, исполосованное скорбными морщинами, омертвело в глубоком сне. Ребенок уже не плакал и лежал около нее неподвижно, прикрытый грязной рухлядью.

Глухо грохотали и чихали машины за стеной, всюду рокотали голоса, слышались пьяные выкрики и песни, трещал и барабанил потолок под шагами гуляющих на верхней палубе, и мне казалось, что красные спиральки лампочек дрожат от этих торопливых и веселых шагов и от рыхлой поступи каких-то тяжелых людей. Может быть, в топоте над моей головой слышны и шаги матери и Варвары Петровны... Хорошо бы подняться к ним наверх и побежать навстречу ветру да смотреть в ночную даль, в безбрежный разлив речной тьмы, в россыпь красных, зеленых и желтых огоньков, в таинственную жизнь, полную неведомых чудес.

Книжка лежала у меня на коленях, но я не читал ее: я угорел и изнемог от пережитого. Я дремал, но не мог уснуть: меня тревожили, как бред, и сказочные видения «Руслана», и путаница новых впечатлений, и ощущение сильного движения парохода, и, глубоко подо мною, грохот и свист машин, волшебно живых и жутких.

Вернулась мать с Варварой Петровной — свежая, веселая, румяная, словно в бане вымылась.

— Красота-то какая!.. Раздолье-то!.. Так бы всю ночь там, наверху, и пробыла... Душа-то, как голубка, воркует...

Варвара Петровна ласково засмеялась ей, как ребенку.

— Трудно тебе, Настя, будет с такой нежной душой, а чувствую: не замрешь ты, не отупеешь — пострадаешь да в песне горе изольешь...

Она вздохнула с грустной задумчивостью, пристально поглядела на мать и заключила словами песни:

Хорошо тому на свете жить,
Кому горе-то — сполáгоря:
Ведь тоска-то слезьми моется,
Бедованье песней тешится...

В эту ночь я проснулся от причитаний Ульяны и какого-то гнетущего беспокойства. Было душно, пахло нефтью и сыростью, голова ныла от грохота машин и свиста пара. Люди лежали всюду кучами, в лохмотьях. И далеко и близко орали детишки.

Ульяна стояла на коленях и, рыдая, покачивалась вперед и назад с ребенком у груди. Мать уговаривала ее и пыталась взять ребенка, но она отталкивала ее простоволосой головой.

— Не дам!.. Не трог меня, Христа ради!.. За какие грехи, господи, наказываешь?.. Всю жизнь мучилась — свету божьего не видела... Ничего не осталось — пошли по чужбине горе мыкать... А тут и последнюю кровинку отнял господь...

Маркел сидел на корточках и глядел на нее кровавыми белками, не зная, что делать. Он крутил и трепал пальцами бороду, встряхивал взлохмаченной своей головой и, как виноватый, упрямо гудел:

— Чего же сделаешь, Ульяна!.. Воля божья... Куда же денешься?..

Отец спал или притворялся, что спит, чтобы не ввязываться в чужие дела. Впрочем, я заметил, как он украдкой дернул мать за сарафан и сердито кашлянул. Но она даже не оглянулась и что-то тихо бормотала Ульяне, обнимая ее и прижимаясь щекой к ее лицу. Варвара Петровна причесывалась и со строгим

спокойствием посматривала на Ульяну. Потом она связала свою постельку, затянула ее ремнями, завернула книги в бумагу и завязала их веревочкой. Она только один раз властно приказала Онисиму:

— Ты, Онисим, распорядись как надо. Мы с тобой оба сойдем на берег. Я буду с Ульяной, а ты с Маркелом пойдешь хлопотать... Ну, да не мне тебя учить — сам знаешь.

Онисим юрко вскочил на ноги и требовательно, без обычной улыбочки, заторопил Маркела:

— Ну-ка, ну-ка, мужик, сряжайся скорее! Сейчас к пристани причалим. Выйдем на берег и все обрядим до другого парохода. Ну-ка, дай я тебе подсоблю...

И он начал распоряжаться, как хозяин, подталкивая Маркела кулаком в спину и в бок. Маркел послушно стал связывать свою рухлядь, кряхтя и вздыхая:

— Одна беда без другой не бывает: беда беду погоняет... Бог обидел, а черт верхом сел. Эх, житье-бытье! Продрал бельмы — и за вытье.

Варвара Петровна шепнула что-то матери и поцеловала ее. Мать села на свое место, обняла меня и, вздрагивая, крепко прижала к себе. Я шепотом спросил ее:

— Это что за беда у них?

Она лихорадочно прошептала мне в ухо:

— Ребеночек у Ульяны умер. Хоронить его надо — вот на берег и сходят. Ты молчи. Нельзя, чтобы люди узнали, а то взбулгачутся.

Отец лежал по-прежнему безучастно и неподвижно, натянув поддевку на голову.

Наверху, где-то далеко, разливно звенела гармония, с разудалым отчаянием заливались песни и глухо барабанил плясовой топот каблуков.

Среди пассажиров, мужиков и каких-то голодранцев началась тревожная возня. Две старухи с монашескими лицами, в черных платках, сколотых булавкой под подбородком, с угрюмым страхом косились в нашу сторону и бормотали басовито и враждебно. Мужики спали, только двое поднялись один за другим, пошли босиком за нуждой, разморенные сном.

Весь оборванный галах, с сизым, отечным лицом, сел, опираясь на руку, и с безумными глазами пьяницы угрожающе прохрипел:

— Собирай монатки, борода, — и на берег!

Ульяна по-прежнему стояла на коленях, спиной к проходу, и качала мертвого ребенка. Она уже не рыдала, а молча смотрела в одну точку и, должно быть, ничего не видела и не слышала. Маркел с остервенением захлестывал веревкой тюк, опираясь на него коленкой.

Мне было страшно — страшно мертвого младенца на руках Ульяны, страшно какой-то зловещей тайны, которая ушибла людей, словно внезапно посетил нас невидимый призрак, которому нет имени. Я не отрываясь смотрел на Ульяну, и мне чудилось, что от нее исходит странная духота, которая проникает в самое сердце. И я видел, что и мать переживала то же угнетающее чувство: ее лицо будто похудело и стало бледным, а глаза остановились на Ульяне в жутком ожидании. Но Варвара Петровна по-прежнему сидела спокойно, задумчиво-строго и молчаливо. А Онисим с веселой юркостью возился вместе с тяжелым и растерянным Маркелом над его пожитками.

— Вот сейчас на пристань сойдем... А ночком опять сядем на пароход и побежим вниз... Была бы душа жива да сила-здоровье. Хоть и спотыкается человек и падает, а все-таки встанет и пойдет своей путей. Хоть и плутает во тьме, а к солнышку выйдет. Выйдет! И из родничка живой водицы напьется.

— Эй ты, старый козел! — угрожающе крикнул галах. — Чего ты там сулишь... солнце в торбе да воду в решете?

Онисим оглянулся и просверлил его своими пронзительными глазками:

— Не тебе, дружок, не тебе — нету: ты и так богатый.

— Чем же это я богатый для тебя? — насмешливо придирался галах.

— А тем, дружок, что вору все открыто — и карман и майдан, живи — не тужи, а умрешь — не вздохнешь.

— Пускай я для грабителей вор, а таким, как ты, сивый козел, я полтинники под ноги бросаю, хо-хо!

— А кому ты мои полтинники бросал, Башкин, когда вытащил у меня сорок монет на фарфосе, на бережку, под весенним солнышком? Ну, и не обижайся. Не касайся чужого горя: младенец-то сильнее тебя.

Варвара Петровна сурово прикрикнула на Онисима, глядя на него темными глазами:

— Онисим, замолчи! Ты сам тревожишь людей.

Онисим послушно сел на свое место и затряс бороденкой от немого смеха.

— Правды, Варварушка, не угомонишь, а душа — не курица: крылышки ей не свяжешь.

Галах долго и молча глядел на Онисима одурелыми глазами пьяницы, потом встал, разболтанно подошел к старику и угрюмо прорычал:

— Сорок твоих монет получишь. С пьяных глаз вышло. А сейчас поиграть с тобой захотел.

Онисим отмахнулся от него:

— Иди, иди, Башкин. Мне денег не надо. Меня ограбить нельзя, я неразменным рублем живу. Иди-ка, иди, дружок, не мешай матери в ее горести.

Маркел с безумными глазами рванулся к галаху и со всего плеча ударил его по уху, галах грохнулся на пол. Пассажиры невозмутимо лежали на своих пожитках.

— Ты это что делаешь, Маркел? — вдруг властно крикнула Варвара Петровна. — В тюрьму захотел?

Маркел тяжело дышал, раздувая ноздри. Онисим подбежал к галаху, ощупал его грудь и лицо и, успокоенный, подхватил Маркела под руку и посадил его на пухлый узел, туго перевязанный веревкой.

— Ничего... оглушил маненько. Сейчас очухается. Так вот сослепу и гибнет человек. Затмится ему, освереет — и пропал...

Маркел молчал, ворочая белками, как не в своем уме. Варвара Петровна гневно посматривала то на лежащего галаха, то на Маркела. Мать в ужасе обхватила меня обеими руками, и я слышал, как у нее

глухо стучало сердце. Галах поднялся на руки и отполз на свое место.

Этот маленький мертвец был наглухо завернут в лоскутную одеялку, а Ульяна прижимала его к груди, но он стоял перед моими глазами, голенький, восковой, окоченевший.

В душевном угнетении, я заснул бредовым сном и не слышал, как пароход причалил к пристани и как Онисим и Варвара Петровна сошли вместе с Ульяной и Маркелом на берег.

Проснулся я, как после угара: с головной болью, с тяжестью в теле, с беспокойством в сердце. По-прежнему грохотали и пыхтели машины и толкали пароход при каждом вздохе. Направо, сквозь чадный дым, врывалось на палубу солнце. Там слышно было бурное кипение воды, всплески волн и визгливые крики чаек. Пассажиры хлопотливо ворошились среди своих пожитков — готовились к выходу и были взволнованы ожиданием. Вчерашний галах с сизым, опухшим лицом сидел на голом полу и тянул водку из горлышка бутылки. Мать как будто обрадовалась, что я проснулся, и улыбалась мне глазами. Отец надевал поддевку и весело торопил меня:

— Вставай проворней, сынок, пойдем на пристань, купим чего-нибудь. А потом мы с матерью пройдемся. Сейчас к Царицыну причалим.

Он повел меня к умывальнику на открытом борту и даже сам отвернул кран. Меня ошпарило, ослепило солнце. Вообще отец стал относиться ко мне ласково и мягко, и я часто ловил на себе его зеленоватые самоуверенные глаза. Но мне непонятна была перемена в поведении матери. Ни забитости, ни молчаливой обреченности уже не было в ней. Она будто выздоровела, а в глазах хоть и осталась дымка печали, но они блестели теперь нетерпеливым любопытством и мечтательным лукавством. Да и к отцу стала относиться без боязни. Вышивая по канве и тихонько напевая песенку без слов, она вдруг ни с того ни с сего посмеивалась и шутила:

— Купил бы ты мне, Фомич, яблочков на пристани... страсть поесть охота!

Он снисходительно ухмылялся и отшучивался:

— Не хочешь ли медку с калачом?

— Да и медку бы... Чай, я пять холстов Митрию Степанычу продала: ты, чай, богатый.

И когда пароход причаливал к пристани, отец, к моему изумлению, приносил в карманах красные яблоки и хвастливо бросал их в подол матери.

— На, держи! Пятак десяток. У нас такие гривенник мера. А медку уж в Царицыне куплю.

Мать растроганно упрекала его, краснея:

— Ну чего ты, Фомич, деньги-то зря бросаешь? Чай, я нарочно...

А отец смеялся, довольный своей выходкой, и наслаждался смущением матери.

— Ну, ешь, лакомись! Не оглядывайся, не щурься — тятенька-то далеко остался. А то бы он за этот пятак шкуру мне спустил.

И самодовольно важничал:

— А теперь меня не достигнешь — отрезанный ломоть. Пускай сам с сыновьями спину гнет да в извоз ездит. Вот в Астрахани в извозчики наймусь — как на картинке щеголять буду. А тебе платье с тюрнюром куплю.

Мать с веселым негодованием отмахивалась от него.

— Уж сморозит, Фомич! Чего это я тюрнюром-то трясти буду? Чай, умру со стыда... Я лучше на ватагу поеду.

Отец поражал ее, посмеиваясь над ее ужасом:

— На ватаге-то все бабы в штанах в обтяжку ходят — вот красота-то!

Мать в притворном страхе махала на него руками и жалобно хныкала:

— Да не пугай ты меня, Фомич! Это, чай, охальницы какие-нибудь.

— Без штанов там нельзя, — авторитетно замечал отец. — Поедешь — и на тебя напялят.

Она тихо смеялась, закрывая лицо вышиваньем. Но я видел, что ей совсем не страшно, что ей эта диковинка занятна, а с отцом она только играет.

В таком легком и беззаботном настроении плыли до самой Астрахани. Хотя мне и приятно было видеть отца и мать веселыми, но я не доверял отцу: его недобрые глаза, упрямые шишки над бровями, привычная форсистость и любование собою, как умственным и красивым мужиком, который может неожиданно, если не угодить ему, разозлиться и ударить мать, а меня схватить за волосы, — все это держало меня настороже, и я замыкался, молчал, смотрел на него исподтишка, уткнувшись в книжку, которую подарила мне Варвара Петровна. Я часто смотрел на четкую надпись на чистом листе бумаги: «Читай, учись, Федя, будь честным, хорошим человеком, всегда стремись к знанию. Книга — лучший товарищ в борьбе за правду. Ищи и добивайся счастья, как Руслан. Не забывай меня». И эти красивые слова волновали меня до слез. Когда я перечитывал их, мне казалось, что и сам я стал другим, не тем, каким был в деревне. В душе рождалось какое-то смутное беспокойство: невнятная мечта, немые порывы, и я слышал внутри себя мерцающее пение. А может быть, где-то далеко играла гармония и пели грустно-разгульные запевки те городские парни и озорная женщина, которых я видел на корме. Я нес в себе давнишнюю любовь к музыкальным переживаниям, привитым мне и в моленной, и матерью с бабушкой Анной, и девичьими хороводами.

Эту песенность я и сейчас чувствовал в матери, в ее опечаленных улыбчивых глазах, в ее молоденькой хрупкой фигурке. Мне чудилось, что и думает она песнями и причитаниями, но отец не слышит, не ощущает их и никогда не услышит. Перемена ее была только пробуждением от кошмара, который давил ее многие годы. Мне и теперь было жалко ее: она и радоваться-то отвыкла, словно еще была больна, и смех ее был странно придавленный, как будто вынужденный. А когда она внезапно свежела и в глазах ее сверкали прозрачные ручейки, она вздрагивала и озиралась. В ней еще трепетал душевный надрыв, который ощущался и в дрожании рук и в тревожной задумчивости.

Когда пароход подошел к царицынской пристани, плотно сбитая толпа стояла на палубе и нетерпеливо напирала на перила. На нее орали матросы и отталкивали плечами тех, кто одурело рвался вперед.

Сверху, с гармонистом и дерзкой бабенкой, свалилась разудалая компания парней. Купец Пустобаев, высокий и жирный, с опухшим лицом, с растрепанными полуседыми волосами, властно шагал на толпу. Не останавливаясь, он хрипло рявкнул:

— А ну-ка, Костя, гаркни!

И гармонист гаркнул во всю глотку:

— Расступись, сырая вобла, сам хозяин идет! Шапки долой и башки под мышки!

И он оглушительно заиграл на гармонии, позванивая колокольчиками.

Толпу словно разрезало плетью, и она сразу отхлынула в обе стороны. Все эти чапанники, лапотники и лохмотники угодливо закланялись, заулыбались, покрикивая друг на друга:

— Подайся, ребята! Дай дорогу! Пошире, ребята!.. Сам идет! Сколь тыщ народу кормилец!

А Пустобаев вел под руку веселую бабенку, шагая угнетающе грузно, как владыка. На мостках он остановился, оттолкнул ее и осовело оглядел сдавленных людей. Взвизгивали и плакали бабы, кричали младенцы. Пустобаев засунул руку в карман, вытащил горсть серебра и бросил вправо и влево на волосатые головы. Началась свалка: и мужики, и бабы, и парнишки, падая друг на друга, отшвыривая один другого, ползали по полу, вырывали добычу друг у друга. Валялись на полу мешки, сундучки, сумки, тюки, люди спотыкались, падали на них и опять вскакивали.

Пустобаев стоял на сходнях и, уткнув толстые руки в бедра, широко разинув рот, трясся жирным телом.

— Ох, дураки дубовые!.. Ох, скотина безмозглая!.. Черви поганые! Вот так братья во Христе!

Хохотали и матросы у перил, хохотала толпа на пристани. Кто-то из стоявших позади людей крикнул, заикаясь от гнева:

— Эй, ты... боров жирный! Как не стыдно над людями издеваться! Взбесился от жиру-то...

Пустобаев перестал смеяться и медленно повернулся на этот гневный голос. Его заплывшие глаза еще смеялись, ноздри раздувались, но лицо потемнело.

— Это кто там лает из подворотни? Выходи! Говори прямо в лоб!

— У тебя, ваше степенство, лоб дубовый: его не пробьешь словами.

— Выходи, не бойся, погляжу на тебя, как на диковину. Меня еще никто не хлестал так смело. Выходи, полюбуюсь на тебя, обличителя!

Но тот же голос ехидно оборвал его:

— Из-за тебя, живоглота, не хочется в остроге сидеть. Ты ведь и губернаторов за шиворот хватаешь.

Мимо нас сердито прошел высокий капитан во всем белом и, расталкивая людей, остановился перед Пустобаевым.

— Прошу вас, господин Пустобаев, не делать беспорядков на моем пароходе. Народ вам не забава. Будьте любезны удалиться на берег.

И, повернувшись спиной к Пустобаеву, строго набросился на какого-то черноусого человека в белом кителе:

— Вы кто здесь? Дежурный помощник? Как вы смели допустить этот кавардак? Да еще зубы скалите? Матросы, пропускайте пассажиров! Проходите на пристань, господин Пустобаев, на пароход вы не будете допущены.

— Тишка! — взвыл Пустобаев. — Кто тебя в люди вывел? Сколько лет ты у меня шестеркой был?

— Я вам не Тишка, господин Пустобаев! — спокойно, с гордым достоинством оборвал его капитан. — Я здесь командир парохода. А вы для меня такой же пассажир, как и другие.

Толпа ринулась вверх по сходням и вышвырнула Пустобаева с его парнями и бабенкой на пристань. Скоро он появился на балконе второго этажа и зарычал оттуда, похохатывая:

— Тихон! Капитан! Люблю смелых людей. Молодец, капитан! Я тебя когда-то прогнал за твою дерзость... а знал: цены тебе нет. За твою правду я тебя в шею выгнал, потому правда мне твоя — во вред и убыток. Где честно, там тесно. Тебя и отсюда выгонят. Вот скажу кому надо, и — ффу! — нет тебя.

Капитан уже добродушно открикивался ему снизу:

— Вы до такого самоунижения не дойдете, Прокофий Иваныч. А за честность и правду вы меня уважаете.

— Выплюнь свою правду, капитан. Ты — слуга, а слуга не правде служит, а хозяину. Твоя правда — волчий билет. Погибнешь, болван.

— За правду напрасно не гибнут, Прокофий Иваныч. Правда драку любит.

— А толк-то какой? Ни пользы, ни славы... Лучше уж турманом жизнь прочертить.

— Разгул, Прокофий Иваныч, совести не убивает, только ум мутит, а с похмелья голова болит.

— Гуляй с нами, Тихон. Бабенка тут под руку попалась... Эх, ядреная, змея!

— Не могу, Прокофий Иваныч. Долг прежде всего: пароход без меня сирота.

— Ух, будь все, анафема, проклято! У тебя долг, а у меня что? У меня — почем селедка и балык...

Больше я не слышал их голосов: мы с отцом вышли на пристань, потом спустились по другим, очень длинным сходням на берег. Пассажиры с мешками на плечах, бабы с ребятишками, старики и старухи, похожие на странников, хорошо одетые господа, носильщики в белых фартуках — вся эта вереница людей торопилась на берег. А на пологом съезде, под крутым откосом, стояли пролетки и фаэтоны. Извозчики в синих, пухлых поддевках сидели на козлах и ласковым фальцетом покрикивали:

— Пожалте-с, пожалте-с! Прокатим с шиком! Прикажите-с!

И лихо подкатывали к господам. Баре садились важно, чопорно, а носильщики укладывали чемоданы и узлы на другую пролетку. Когда мы с отцом проходили по песчаному берегу к базару, где кучами ле-

жали арбузы, а на лотках — огромные белые караваи, жареные куры, яйца, колбасы, огурцы и всякая всячина, я увидел, как несколько извозчиков с перепуганно-жадными лицами рванулись вперед, нахлестывая лошадей кнутами. Все они остановились и загалдели перед Пустобаевым, которого окружали парни с парохода. Он поднял бабенку под мышки, бросил в фаэтон и сам легко вскочил вслед за нею. На два других фаэтона сели его собутыльники. Извозчики с треском поскакали вверх по булыжному съезду. Отец остановился и долго смотрел вслед извозчикам с завистливой улыбкой.

IV

В Астрахани мы с матерью сидели на берегу около пристани, на своих пожитках, а отец ушел в город к какой-то Ма́нюшке, искать у нее приют. Воздух горел солнцем, небо было синее, бархатно-мягкое, было жарко, знойно, душно, пахло воблой и нефтью. Волга показалась мне здесь безбрежной, ослепительно-зеркальной, и далеко, на той стороне, в туманце, сизые сарайные постройки будто потонули в воде. На реке по одной, по две чернели громады барж. По мерцающему разливу шустро бегали маленькие пароходики и взмахивали веслами крошечные бударки. Белые паруса выпукло надувались и медленно плыли неизвестно куда. Всюду над рекою, трепеща крыльями, вихрями летали чайки и визгливо плакали. А над городом, на горе, головокружительно вздымался ввысь, в горячую небесную синеву, белый собор, сверкающий золотыми куполами. Под желтой зубчатой стеной толпились длинные каменные казармы, грязные лабазы, дощатые сараи и деревянные избы. Густо и глухо гудели колокола, и воздух дрожал от их разнотонного звона. На нашем белом пароходе заунывно выла толпа: «И-йо-ох да и-ой-ох!» Грохотали по мостовой телеги, нагруженные рыхлыми ворохами серебристой воблы, бочками, ящиками и корзинами, зашитыми сверху белым полотном. По обе

стороны и позади нас сидели на своих пожитках бабы и мужики, плакали младенцы и играли белоголовые ребятишки.

Матери было грустно сидеть среди чужих людей, таких же бездольных, выброшенных из деревни на неприветливую чужбину. Она молчала, опираясь подбородком на ладонь, и думала о чем-то тревожно и растерянно. Мне было скучно ждать отца и больно от какой-то смутной тоски. Думалось о деревне, где все было близко, мило и привычно: она пела в душе, зеленела лукой, смеялась речкой, лепетавшей в разноцветных камешках, пахла свежей соломой на гумнах. Вспоминались проводы на меже — слезы Маши и бабушки Анны, завистливые глаза Кати и Сыгнея и одиноко бегущий по полю Кузярь. А здесь — неприветливая каменная мостовая, воняющая рыбой, оглушающий грохот телег и чуждое бормотание татар в длинных балахонах и тюбетейках на бритых головах. Дальше — таинственный город, грязные лабазы и этот похоронный звон. Вот мы сидим здесь с матерью и молчим, ожидая неизвестного: куда мы пойдем? где станем жить? Отец и мать будут уходить на работу, а я один затеряюсь среди чужих людей, в городской глухомани.

Вечером, когда Волга пылала пламенем заходящего солнца, а белый величавый собор раскалился докрасна, приехал отец на телеге, веселый, довольный, хлопотливый. Он сразу начал хвастаться:

— Павел Иваныч встретили меня, как родного. «Будешь, говорит, ездить у меня на пролетке, а я постариковски — хозяйствовать. Семью Фомы Селиверстыча уважаю: все — работники, все росли в старой вере, неизбалованные. Такой, говорит, работник, как ты, мне позарез нужон. А здесь народ аховый, беспутный: все норовит украсть, выручку в карман положить... пьяницы... хозяйское добро не хранят. Возьми, говорит, телегу, забирай жену и всю свою хурду-мурду, будешь жить во флигельке. Там одна старушонка живет, рыбу вялит, провоняла весь двор. Выгоню ее. А вы покамест с Манюшкой поживете. В тесноте, да не в обиде».

И, рассказывая, отец расторопно хватал то узел, то мешок и клал их на телегу. Мне понравилось, что он отстранил мать, когда она хотела помочь ему. Сначала он посадил на телегу ее, а потом помог влезть и мне. Я никогда еще не видел его таким великодушным и заботливым. Посветлела и мать, поглядывая по сторонам. А на телеге я совсем успокоился: отец, как и в деревне, подгонял лошадь вожжой и чмокал губами. Телега трясла нас, похрамывая на колдобинах. Избы с конечками, со ставнями и тесовыми крышами по обе стороны кочкастой улицы, с лужком и какой-то колючей, злой травой у дощатых заборов были такие же, как в деревне. Собор остался позади, но я даже спиной чувствовал его громаду и золотое сверкание его связанных вместе главок. На краю города избы были старенькие, приземистые, и везде на окнах висели занавесочки, а на подоконниках — цветочки в плошках. На одной из таких улиц из подворотен выскочили пестрые собаки и с лаем и воем бросились на нашу телегу и на лошадь. Отец с веселой злостью хлестал их ременным кнутом и смеялся, когда удавалось ужалить особенно нахального пса.

Мы остановились перед воротами маленького трехоконного домика. Отец скрылся за калиткой и загремел во дворе засовом. Я успел заметить справа, за избами, колокольню с синей луковицей, а в конце улицы, в мутной дали, — черные низкие сараи, крытые камышом. Над ними размытым облачком маячил бурый дом. Позже я узнал, что в этих сараях коптят рыбу.

Мать слезла с телеги и с оторопью пошла к калитке. На крыльце избы стоял бородатый мужик в синей вышитой рубахе, в жилетке, в сапогах. Рядом с ним стояла тощая женщина с желтым, морщинистым лицом, тупым, застывшим, келейным. Кубовая юбка и холщовый фартук показались мне грязными и очень поношенными. Налево, в открытых воротах каретника, виднелись оглобли и облучки двух пролеток. В глубине двора ушла в землю по самые оконца старенькая избушка. Сбоку, перед избушкой, на слегах бахромой висела рыба. Воздух был смрадный,

протухлый, и мне сразу же стало тошно. Мужик сошел с крыльца по-хозяйски степенно и остановился поодаль от телеги. Мать поклонилась ему и пропела:

— С добрым здоровьем, Павел Иваныч!

Потом обернулась к женщине и тоже низко поклонилась.

— Здорово, Офимья Васильевна! Низкий вам поклон от сродников.

Павел Иваныч не ответил на поклон, а только буркнул нехотя:

— Добро пожаловать!..

А женщина молча поклонилась и поднесла фартук к глазам.

— Ну, распрягай, Василий! — распорядился Павел Иваныч. — Телегу поставь на место, за каретник, лошадь отведи в конюшню. Хурду свою отнесите во флигель. Потом приходите чай пить.

И он медленно пошагал к крыльцу, не оглядываясь.

Потом, уже с крыльца, спросил:

— Сколько лет парнишке-то?

— Десять годков, Павел Иваныч, — с услужливой торопливостью ответил отец.

— Ладно. И ему найдем работу.

Он сразу же мне не понравился: чем-то напоминал нашего старосту Пантелея. Особенно неприятны были жесткие, как проволока, волосы в бороде, мясистые губы и маленькие недобрые глаза, спрятанные в опухших синих веках.

Мать застыла на месте и пугливо озиралась. Она, вероятно, тоже почувствовала хозяйскую неприветливость и жесткий нрав Павла Иваныча.

Из избенки с плаксивым криком выбежала маленькая женщина, а за ней — девочка моих лет.

— Милые вы мои!.. Сроднички дорогие! — с жалкой радостью кричала женщина. — Настенька! Вася! Радость-то какая!.. Дунярка, дочка, привечай гостей-то!..

Она бросилась на шею матери и заплакала. Заплакала и мать. А девочка обхватила меня за шею и

стала целовать и в губы, и в щеки, и в глаза и тоже кричала, причитая:

— Кудряшок-то какой! От тебя соломкой пахнет... Чай, мы тоже с тобой сроднички.

И так же бойко, с причитаниями, бросилась к матери:

— Здорово, тетенька Настя!.. Радость-то какая! А у мамыньки сердце чуяло: вчера два раза ножик с вилкой нечаянно на пол роняла. Вот оно и есть — нечаянные гости.

А Манюшка, низенькая, с крошечным лицом, как у ребенка, простоволосая, со слезной улыбочкой, кидалась ко мне, потом опять к матери и задыхалась от счастья:

— Родные вы мои, сладкие вы мои! Как это вас господь надоумил к нам приехать? Тетушке-то Анне я ведь родная племянница. Как ее здоровье-то? Дядюшка Фома, чай, такой же домовитый да рачительный. Как это он вас отпустил-то? Знать, не к добру да не к славе сейчас в деревне-то... Ах, ангел мой беленький! — вцепилась она в меня, истекая нежностью. — Кудерышки-то как вьются! Вырос-то какой большой! Ну, идите, идите к нам в горницу! Настенька, давай, девынька, добро ваше в избенку перетаскаем. Идите, идите в горенку! Дунярка, веди гостей-то!

Рыжеволосая босоногая Дунярка схватила меня за руку и потащила к своей избушке.

— У нас с мамынькой — вольготно. Мы с ней чалки крутим. Это воблу на них нанизывают и на вешала подвешивают. Крутим, крутим и песни поем.

Избушка была очень старенькая, с гнилой тесовой крышей. Маленькая дверь в сенцы тоже была гнилая и дырявая и пронзительно визжала в петлях. В сенцах так смердило гнилой рыбой, что я задохнулся и у меня закружилась голова. В полумраке гирляндами висела растерзанная рыба.

Мы вошли в маленькую светлую и чистенькую комнатку. На белых стенах были приклеены бумажки от карамелек, фотографии в тоненьких рамочках. На передней стене, между окнами, висел

длинный жгут из мочальных веревочек, а на полу лежал ворох мочал, свернутых в толстые мотки. Налево, у стены, стояла старая деревянная кровать, покрытая лоскутным одеялом. У старинной иконы богородицы и большого медного осьмиконечного креста в переднем углу теплилась лампадка. В этом же углу был стол, покрытый серой деревенской скатертью, а на нем стояла посредине деревенская солоница в виде саней с причудливо вырезанной кареткой.

— Вот в какой горнице мы с мамынькой живем! — похвасталась Дунярка. — Страсть я люблю нашу комнату убирать! Погляди-ка, какие картинки! Это я все по улицам насобирала.

Она взволнованно подбежала к кровати и над изголовьем ее потрогала пальцами маленький колокольчик, привязанный к гвоздю. Колокольчик залился птичьими трелями.

— Видишь, какой звоночек миленький! Уж больно я люблю песни петь, а он мне подзванивает. Сроду ни у кого не найдешь такой радости. Ты не подходи к нему, он чужих не любит. А привыкнет к тебе — и сам будешь играть с ним.

— Я тоже пою: в моленной пел и сам всякие песни знаю.

— Господи! — заликовала Дунярка. — Да ты и говоришь, как поешь, голосочек тоненький. Да мы с тобой бесперечь петь будем.

Она пристально уставилась на меня своими голубыми глазами и вдруг чихнула и крикнула: «Ах!» Потом чужим голосом учтиво сказала:

— Чихирь в уста вашей милости!

И сразу же с улыбкой прозвенела, кланяясь и гибко приседая:

— Красота вашей чести!

Я очарованно смотрел на нее и смеялся. Она мне нравилась все больше и больше.

В комнату ввалился отец с большим узлом, перетянутым веревкой, потом мать с Манюшкой, которые внесли сундук. Манюшка юлой закрутилась по комнате и закудахтала:

— Вот тут, направочко, вы и устроитесь. Кроватки нету — на татарском купите, когда деньжонок накопите. А то, может, и Павел Иваныч из сарая ублаготворит. — И она по секрету прошептала: — У него в сарае-то всякого добра очень даже много. Уж такой рачитель да такой скупой, что мышь не проберется и воробей ничего не выклюнет. Только лошади у него как барыни: сытые, статные. Дóма-то у него все в отрепьях ходят. А сын Тришка совсем от дому отбился. С отцом на ножах.

Мать приложила конец платка ко рту и села на скамейку, как больная. Упавшим голосом она спросила:

— Чего это здесь у вас, тетя Маша, смрад какой? Тошно-то как!..

Отец помолился на икону, как полагается по обычаю, поклонился Манюшке, Дунярке и стенам и проговорил торжественно:

— Здорово живете! Мир дому сему!

Манюшка тоже поклонилась ему и истово пропела:

— Подите-ка, гостенечки дорогие! Не обессудьте! Чем богаты, тем и рады.

И уже обычной скороговоркой затараторила:

— Это тут — через сени — старушонка живет. Рыбу вялит. Уж так-то все сплошь провоняла — моченьки нет. Павел Иваныч ругмя ругает ее, все выгнать грозится, а спроть рубля с полтиной и его крутой характер смиряется. За копейку удавится. Лошадки-то гладки, а семья впроголодь мается. В моленной вздыхает, стихиры поет, а за злато-сéребро душу продаст и бога обманет.

И вдруг с испуганным лицом замахала руками и захныкала:

— Матушки мои, да чего же это я с ума-то схожу от радости? Дунярка, самовар ставь скорее да в лавочку беги — кренделей купи!

Отец щеголевато, как-то бочком, протянул к ней руку и с достоинством запротестовал:

— Ты, Марья Васильевна, не хлопочи: Павел Иваныч сейчас на чай приглашал. Не траться зря. Мы и так стеснили тебя.

Манюшка изобразила ужас на лице, бросилась к нему и к матери и замахала руками.

— И думать не думайте! И в душе не держите! Да чтобы братец угощение сделал — сроду не поверю. Васенька дорогой, Настенька! Ведь это он только так, для виду. И не ждите. А ежели позовет, так от нечистого: сам же потом из твоего заработка высчитает. Сейчас он только и ждет, что я его с Офимьей приглашу. За кусок сахару он у тебя голову отгрызет. Берегись, Васенька, как бы он тебя не обидел. А приветил он тебя за простоту: от свежего человека, от деревенского, легче легкого клок оторвать. Работника-то своего он долго мытарил, да тот начал с ним — зуб за зуб. Ты сейчас ему в самый раз и попался.

Отец недоверчиво усмехнулся:

— Ну что зря толкуешь, Марья Васильевна! Меня никаким пóбытом не проведешь: я всякие виды видывал. Это он для негожих людей прижимистый, а я — работник по чести.

Манюшка огорченно качала головой и охала:

— Ох, Васенька, Васенька! Вот он тебя почистит... Кто-кто, а я-то уж его лучше всех знаю. Нет у него ни милости, ни благости.

Мать со страхом смотрела на отца и на Манюшку и тревожно лепетала:

— Не ошибись, Фомич, не заставь маяться. Тетя Маша от сердца слово мóлает. Как бы слезы лить не пришлось.

Отец самолюбиво надвинул на лоб картуз и вышел из комнатки.

Манюшка села рядом с матерью, прижалась к ней плечом и показалась мне совсем малюткой — не больше Дунярки. Она стала расспрашивать мать о сродниках в деревне: о нашей семье, о шабрах, о том, чьи девки замуж вышли, чьи бабы родили, кто — дома, кто уехал нá сторону. А когда мать с грустью и вздохами рассказывала о смерти Агафьи Калягановой, о неизлечимой болезни Олены Юленковой, Манюшка заплакала, затосковала, но я чувствовал, что она плачет с удовольствием и поражается

новостями неискренно — не потому, что она больно переживает эти события, а потому, что любит по-деревенски поскорбеть и украсить себя слезами. Матери хотелось повопить, но она не решалась: ежели Манюшка не завопила, значит в Астрахани это не принято. Когда же мать рассказала о смерти бабушки Натальи и сама заплакала, Манюшка стала причитать:

— Господи, господи! Пресвятая владычица! Бесчастная какая Натальюшка-то! Всю-то жизнь маялась, радости не знала и сиротой с душенькой рассталась. Уж такая она была ласковая да сердцем к людям приветливая — такой и на свете не сыщешь. А вот мучилась, и проводить было некому... Чай, сердце у тебя, Настенька, на клочки изорвалось... Ларивон, братец-то, один у вас с Машаркой утешитель: у него ведь тоже сердце-то бабье.

Но когда мать осудительно заметила, что он когда-то продал ее, как овцу, а сейчас пропил и Машу Максиму Сусину за Фильку, Манюшка с изумленным негодованием закачалась, схватившись пальцами за край скамьи:

— Ах злодей, ах душегуб! Всегда-то он был зверь лесной: не щадил ни отца, ни матери... А по шабрам стон стоял от него, от разбойника окаянного. Машарка-то, чай, ума лишилась... Ну-ка, в какую семью попала! Максим-то свою бабу до смерти затерзал и ее загубит...

Оказалось, что у Манюшки все сродники в деревне, и о каждой избе она знала всю подноготную.

Дунярка проворно выхватила из-за печки маленький красный самовар и засеменила к двери. В сумеречных сенях нас проводила глазами зловещая старуха и глухим басом пробормотала:

— Мало одной крысы, явился еще галашонок. Кто у меня рыбу песком забросал, Дуняшка? Погоди, подкараулю — ноги тебе переломаю.

Дунярка дерзко огрызнулась:

— Ты меня не трог, чтобы не каяться...

— Вот терплю-терплю, Душка, да и пущу на тебя порчу-корчу... — грозно пробурчала старуха, и мне

почудилось, что у нее вспыхнули глаза, как у кошки. Она напомнила мне сказочную бабу-ягу.

Дунярка вызывающе засмеялась и выбежала во двор. Смрад мутил меня до дурноты. Почему эта жуткая старуха возится с такой отравной тухлятиной? Неужели ей самой не противна ее работа?

Двор был небольшой, длинный и узкий. В задней части, за флигелем, чернели кучи навоза, заросшие лопухами и колючками. Напротив — деревянная конюшня, а перед ней — плоская телега, на которой мы приехали. Дальше — каретник. А между хозяйским домом и флигелем голый пустырек с развешанными на веревках рубахами и подштанниками. В каретнике гудел угрюмый голос хозяина, а ему угодливо отвечал голос отца:

— Работника-то я выгнал, — сердито басил хозяин. — Вор! Гляди, ежели ты хоть гривенник утащишь — раздену и на улицу выброшу.

— У меня этого не будет, Павел Иваныч, — обидчиво и учтиво запротестовал отец. — Мы в семье росли в благочестии.

— Благочестие... Знаю я, какое благочестие! Фома-то ваш редкий извоз не мошенничал.

— Извоз-то, Павел Иваныч, и довел батюшку до нетей. А у меня этой весной лошади пали от голодухи.

— Толкуй с досады на все Исады! Иди лошадей почисти! Помой да продери щетками, да опять помой.

Отец засуетился:

— Я сейчас, Павел Иваныч, все сделаю: и лошадей вычищу, и пролетки помою. Меня понукать не придется: я — сам хозяин.

— Хозяин... Вы — хозяева под арапником. Не запиваешь?

— У нас в семье сроду этого не было, Павел Иваныч.

— Знаю. Да сейчас дети-то пошли неслухи да своевольники. А я вот болею — запоем мучаюсь. Поработай с недельку, поезди — красненькую дам на обзаведение.

Дунярка стояла у самовара и с любопытством прислушивалась к голосам в каретнике. Она раза

два погрозила мне пальчиком, и лицо у нее стало острое и зоркое, как у кошки, которая подстерегает мышь. На улице заныл унылый голос, словно человек плакал в горести:

— Эд-да-а!.. у-ы, эд-да-а!..

Голос медленно приближался и задыхался от отчаяния. Дунярка испуганно ахнула, взмахнула руками и бросилась в сени. Она выскочила оттуда с двумя ведрами, сунула одно мне в руку и со всех ног побежала к воротам.

— Беги, беги за мной! Не отставай! А то уедет — без воды останемся.

Я пустился вслед за нею, погромыхивая ведром. Нечаянно я налетел на хозяина и уткнулся ему в живот головой. Он охнул и рявкнул:

— Черт те дерет! Чей это парнишка-то? Сейчас же высеку!

Отец вытаращил глаза и рванулся ко мне, чтобы схватить за волосы.

— Ить, дьяволенок. Виски выдеру! Взбесился, что ли?

Но я опрометью ринулся в сторону.

Дунярка ждала меня у калитки и заливалась хохотом.

— Как ты его головой-то!.. Ой, умру со смеху! — И вдруг с комической ненавистью в глазах прошипела: — Так ему и надо, жирному борову! Он и работника заездил и тетеньку Офимью...

На улице уже близко ныл водовоз:

— Эй, во-оды-ы, во-оды-ы!.. Ба-бы, выходите... с ведром, с корчагой... по одной да ватагой. Во-оды-ы!..

Недалеко, на кочкастой дороге, стояла лошадь, запряженная в одноколку с пузатой мокрой бочкой. Седой маленький старик суетился позади нее и шутил с бабами, которые толпились, погромыхивая ведрами. Они тараторили и смеялись. Из калиток трехоконных домишек торопливо выбегали девчата, женщины и парнишки. Улица гремела и визжала ведрами. Дунярка подбодряла меня:

— Ты не отставай! Я сразу проскочу вперед, а ты — за мной. Ругаться будут — не бойся. Я их всех

переору, а локти у меня — вострые. Я спорить не люблю, а смелостью беру. Меня никто еще не перехалил.

Она юркнула в толпу и потащила меня за собою. Женщины и девчата закричали, затолкали ее и больно сдавили меня своими бедрами. Кто-то шлепнул ее по голове, а мне досталось несколько толчков в спину. Но Дунярка пронзительно открикивалась:

— Я раньше вас дожидалась! Вы еще дома возились, а я уже с ведром бежала. Я свою череду никому не уступлю...

В этой суматохе кто-то пролез вперед, кого-то оттолкнули назад и забыли о нас. Дунярка подставила свое ведро под тугую хрустальную струю воды из бочки и вырвала у меня ведро. А старик хитренько ухмыльнулся, подмигивая, и бормотал, покачивая головой:

— Эх, бабы, бабы! Народ вы сполошный! Всех напою, всем хватит. Волга-то вон какая большая! Я — богатый, богаче всех. Я — как Мосей-пророк: рванул затычку, и живая вода серебром льется. Подставляй ведерко, водичка запоет с присвистом, с поговоркой.

Он балагурил с бабами добродушно и бойко, и его молодые глаза под седыми бровями хитренько посмеивались. А Дунярка быстро делала свое дело: она налила до краев оба ведра, сунула в руку старика медяшку и подтолкнула меня:

— Бери! Тащи скорее! — И с притворной лаской пропищала: — Ты, дедушка, бородой-то как святой — вылитый домовой.

Бабы и девки смеялись. Вероятно, здесь, на улице, встреча с водовозом была для них желанным развлечением в их серой и скудной жизни.

Все хохотали, озоровали словами, вода прозрачной струей лилась в ведро и тоже смеялась.

Когда мы несли полные ведра, Дунярка плутовски поглядывала на меня.

— Я сроду череды не жду. Хоть сто баб будь — всех обману и раскидаю, всех прошью, как иголка. Гляди, Федяшка, да у меня учись. Будешь стыдиться

да робеть — затуркают, да тебя же, дурачка, и засмеют. Гляжу я на тебя, и зло берет: больно уж ты смирный, словно боишься, что тебя выпорют...

Необъятный гул, печальный и мягкий, наполнил улицу и воздух до самого неба, и земля под моими ногами задрожала медленно замирающей волной. Я невольно поставил ведро на землю, и меня будто подхватило, как пушинку, и легко понесло куда-то вверх к небу, в лиловый вечерний простор. Опустила свое ведро и Дунярка. И опять гулко и необъятно прокатилась новая глубокая волна.

— Это ударили в монастыре, — задумчиво сказала она и показала на синюю колокольню, которая виднелась над крышами домов.

Туда же оглянулись и женщины, стоящие около водовоза. Некоторые из них торопливо тыкали себя щепотью в переносье и в грудь.

Дунярка вдруг спохватилась и подняла ведро.

— Скорей, скорей, Федя! Самовар надо ставить да на стол собирать! — с ласковой тревогой крикнула она и быстро зашагала к воротам, отгибаясь вбок от тяжести ведра.

Я старался идти спокойно и ровно, чтобы показать, что я — сильный и привычный к тяжелой работе.

Покрывая звон, запел высокий голос, протяжно, с переливами, с улыбочкой и молодой грустью:

— Кре-энде-ли-и... виту-ушки-и... рассы-ыпчатые су-ушки-и... продаю-ю по полушке!..

Дунярка опрометью бросилась навстречу этому голосу с криком:

— Погоди, Федя, я кренделей куплю!

Из-за угла вышел высокий парень в белом фартуке, с корзинкой на голове, полной кренделей. Несколько женщин из толпы тоже заторопились к нему. А он, будто не замечая их, шел зыбко и пел красиво, с упоением:

— Кре-эндели-и... виту-ушки!

Манюшка была права: хозяин сам пришел к нам в комнату со своей Офимьей. Черный платок туго стянут был у нее под подбородком и сколот булавкой.

Она похожа была на убогую келейницу. Сначала она показалась мне дурочкой, забитой и отупевшей. Но потом я заметил, что хозяин поглядывал на нее с опаской и отворачивался. Офимья была сестра Манюшки, но на нее совсем не похожая. Манюшка звала ее сестрицей, а Павла Иваныча братцем и постоянно льстила им, ухаживая за ними с притворной преданностью.

Заходило солнце, и в открытые окна видны были вытянутые облачка, пепельные сверху и ослепительно-золотые снизу, а воздух во дворе — лиловый. На столе, покрытом белой скатертью, выбрасывая пар, кипел красный самоварчик с маленьким чайничком на конфорке. Посредине стола кучкой лежали желтые крендели, в стаканах вкусно желтел прозрачный чай, рядом с блюдечком лежали снежно-белые кусочки сахара. Павел Иваныч, с жирно причесанными волосами, с жесткой пестрой бородой, в красной рубашке и синей жилетке, сидел в переднем углу. Рядом с ним на узком краю — Офимья, а по другую сторону от Павла Иваныча — отец, тоже в жилетке поверх такой же красной рубашки, кудрявый, с учтивой улыбочкой на обветренном лице. Бороду он расчесал в разные стороны, думая, вероятно, что от этого будет приглядным и почтенным. Манюшка, без платка, с узелком волос на затылке, одетая по-городски, хлопотала у самовара, беспокойная, гостеприимно-счастливая. Рядом с нею сидела мать, в полушалке, повязанном на волоснике и сколотом булавкой под девичьим, пухлым подбородком. Она надела белую кофту-разлетайку с нарядно вышитыми рукавами. Мы с Дуняркой устроились как раз перед самоваром на узком конце стола, и я жадно пил пахучий чай из блюдечка, посасывая сахар и обжигая губы и язык. Я был счастлив, что нет дедушки, что мне уже нечего бояться его окриков и грозной ложки в его жилистой руке. Здесь, в опрятной горенке, мать чувствует себя вольготно, и чистота Манюшкиной квартирки ей нравится.

Павел Иваныч из деревни уехал давно. При «крепости» он был конюхом на барском дворе, остался там и после «воли». Он любил лошадей, знал их породы

и умел укрощать и объезжать их без кнута. Лошади привязывались к нему и откликались на его голос. Он нежно ласкал их, любовно разговаривал с ними, недоброе лицо его улыбалось им. В деревне прозвали его Жеребком. Когда барское хозяйство пришло в упадок и управляющий стал разгонять дворовых, Жеребок с барского двора уехал в Астрахань. Здесь, в калмыцких степях, он купил лошадь, а у казаков — дроги и стал работать на пристанях. Манюшка потом сплетничала, будто он прикопил деньгу нечистыми делами: крал рыбу, икру и всякую всячину и сбывал краденое на базаре. Через несколько лет Павел Иваныч разжился: купил этот дом, приобрел хороших лошадей, три пролетки и стал вместе с работниками выезжать «на биржу». Одно время он размахнулся — сделался «лихачом» и обслуживал купечество. Астраханские кутилы не обходились без него, и он пристрастился к вину. Зарабатывал он много и набивал карман ассигнациями. Потом он стал пить запоем целыми неделями. Другие лихачи оттеснили Павла Иваныча, и его стали забывать. Если бы не Офимья, он пропил бы и лошадей, и пролетки, и все хозяйство. Когда он буйствовал, она связывала его веревками, поила всякими настоями, держала взаперти, доводила его до истощения. Потом отвозила в баню, парила его до потери сознания и дома отпаивала квасом.

Жеребок сидел за столом, трезвый, опухший, с угоревшими глазами, и приглядывался к отцу, будто изучал его, как новую лошадь. На остальных он не обращал внимания.

— Фома — старик крепкий, хозяйственный. Он за семью держится. Сына, да еще большака, зря не отпустил бы. Чего это ты из дому удрал? Аль спроть отца бунт поднял?

Отец с тонкой улыбкой, потирая глаза, почтительно ответил:

— Не́ при чем жить, Павел Иваныч. На осминнике не прокормишься: на один ломоть десять ртов. Ты сам хорошо знаешь. А в извозе и лошадь надрывается, и убытки...

— Лошадь кормить да холить надо! — назидательно проворчал Жеребок. — А вы, черти назёмные, шкуру с нее дерете. Лошадь лучше человека. Мне и работник такой нужен... чтобы он лошади был ровня. Лошадь мне верная слуга. А люди, работники мои, норовят залезть мне в карман, а к лошади — в кормушку. И выходит: кто есть человек? Вор.

— Господи, страхоту-то какую говоришь ты, братец! — пропела Манюшка, всплеснув руками. — Чай, обидно, братец. Сердце даже заходится...

Павел Иваныч искоса взглянул на нее заплывшими глазами, подняв одну бровь, и отвернулся с презрительным равнодушием.

— Все — воры, — с угрюмым упорством повторил он и уткнулся бородой в отца, который слушал его молчаливо. — Каждый человек — вор. Сын ворует у отца, отец — у купца, а прислуга — друг у друга. Молимся: господи, благослови! А в мыслях: что плохо лежит — лови. Знаю, и ты, Василий, вор, ну только держись: замечу — башку оторву. Ты еще молокосос: по крошке клевать будешь, чтоб с голоду не сдохнуть. Да я тебя вышколю, я тебе заместо отца буду.

Офимья вдруг подняла голову, повязанную кокошником, и повернула мертвое лицо на мужа.

— Будет тебе грешить-то, Иваныч! — сказала она с монашеским смирением. — Не успел человек во двор войти, а ты уж — вор. Так убить человека можно. Ты сам норовишь с человека десять шкур содрать. А сына на улицу выгнал.

Жеребок поежился и крякнул, но не разгневался, а только угрюмо огрызнулся:

— Пускай сам себе жратво добывает. У меня у самого сума кусочка просит.

Отец, красный от стыда и обиды, обливаясь потом, с занозой в горле пробормотал:

— Я, Павел Иваныч, никогда не был вором. Мы в строгости жили. А ежели бы рука соблазнилась, топором бы ее отрубил.

— Толкуй с досады на все Исады! Я сам под барином жил, сам с мужиками бородой связан. Знаю, каким крестом крестишься. Хорошо, что от тебя не

ладаном, а назьмом воняет. Такой ты мне и нужон. Машарка! — вдруг крикнул он с свирепым удальством, вскидывая пеструю бороду и сверкнув звериными глазами. — Машарка! Посылай Душку за полштофом!..

Манюшка подобострастно вскочила, ахнула от испуганной радости и лихорадочно стала рыться у себя в карманах.

— Дунярка, беги, милка! Одна нога здесь, другая там! Скажи Ермилычу, чтобы в долг полштофа дал. Ах, господи, владычица, и где это у меня гривенник-то запропастился?

— На мой счет! — рявкнул Павел Иваныч. — Скажи: Павел Иваныч велел.

Дунярка бойко вскочила и плутовато уставилась на Манюшку.

— Я все скажу, мамынька, я сумею...

И она бросилась к двери.

Офимья выпрямилась, и скорбный голос ее простонал угрожающе:

— Машка! Не смей! С глаз прогоню!

Манюшка заметалась, замахала сухими ручками, как крыльями, и захныкала:

— Да я всей душой, сестрица... Гостенечки-то у меня какие! Чай, сердце повеселиться хочет. Аль беда какая? Уж не обессудь, братец: сестрица не велит.

Павел Иваныч отвернулся, закряхтел и стал тереть ладонью грудь. Отец отмахнулся и встревоженно запротестовал:

— Я этого не примаю, Павел Иваныч: не по нутру мне.

— Для тебя я, что ли? — хрипло засмеялся Павел Иваныч. — Эх ты, корыто немыто! Я сам свое брюхо улещаю. Хочу — угощаю, хочу — на пол лью...

А Офимья спокойно, не поворачивая к Манюшке головы, с прежней суровой скорбью проворчала:

— Знаю, Марья, какое у тебя сердце веселое. Плясать любишь. Допляшешься...

— Сестрица милая! — запричитала Манюшка с восторженными порывами. — Офимьюшка родная!..

Аль мы не дети одной матери? Аль ты не знаешь, какая у меня душенька светлая? Для сродничков-то я — как голубка сизокрылая.

— Голубка... Душенька... — с угрюмым смирением упрекнула ее Офимья. — Я знаю, как голубка сизокрылая за штофами да полштофами летает. А я только горе мыкаю. Погоди, я тебе крылья-то твои обломаю...

Павел Иваныч схватил отца за кудри и повернул его лицом к себе.

— Бабы — куры-дуры. А я тебя испытать хотел, Василий. Не примаешь вина — хвалю. Значит, меньше красть будешь и больше хозяина почитать. А по выручке увижу, какой ты есть добытчик.

Он толкнул его плечом и, промычав: «Ну-ка, пусти!» — вышел из-за стола.

Тяжелый, рыхлый, но богатырски сильный, он, не оглядываясь, вышел за дверь и грозно зарычал в сенях:

— Ты у меня весь двор провоняла! Лошади и пролетки смердят. Седоки нос воротят, говорят: «На пролетке вы мертвяков возите». Долой со двора с твоей падалью! Чтобы завтра же тебя не было!..

Старуха бормотала что-то непокорно и зло. Только одно слово ворвалось в комнатку: «живодер!» И от этого в комнатке стало будто темнее.

Отец молча надел картуз и вышел.

Женщины начали говорить о деревне: расспрашивали мать о бабах, о старухах, а мать оживилась, охотно передавала все мелочи нашей недавней деревенской жизни. Лицо ее раскраснелось, глаза засияли, и голос звенел, вздыхал, словно она причитала без напева. Офимья молчала и тупо смотрела в стену, словно в столбняке, а Манюшка опять ахала, охала, всплескивала руками, покачивала головой, вытирала слезы, с жадным любопытством смотрела матери в глаза и улыбалась.

А я сидел перед самоваром и с наслаждением пил желтый чай из блюдечка, посасывая кусочек сахару. Дунярка толкала меня ногой и локтем, поглядывала на меня с лукавой насмешкой и шептала:

— Ну, дорвался до чая... кутенок курносый! Не пил, что ли, этого добра? Уж два стакана выдул... вот умора-то!.. Пойдем на двор, поиграем.

В открытые окна густыми волнами вливались стоны церковных колоколов.

V

Наша улица на окраине города была похожа на деревенскую: те же деревянные избы с карнизами, с резными наличниками, с воротами под двускатным навесиком. Дощатые заборы были высокие, с шипами из гвоздей. В каждом дворе лаяли цепные псы: на ночь их спускали против воров. Здесь жили дрогаля, легковые извозчики, мелкие лавочники и ютились в мазанках и стареньких флигелях рабочие местных ватаг, грузчики, лоточники, швейки, поденщики — местная и сезонная голытьба. Улица была широкая, злая от зарослей колючей травы, с узенькими — в две доски — тротуарчиками. В дождливые дни земля превращалась в грязное, бурое месиво, непрохожее и непроезжее. Даже женщины носили сапоги, чтобы одолеть переходы через улицу и переулки. А в знойное время земля засыхала каменно-твердыми кочками, седыми от налетов соли, и казалась покрытой инеем. Это был унылый, неприютный поселок, пропахший гнилой рыбой, отбросами и дымом коптильных заводов. И ни одного деревца, ни одного палисадничка не зеленело в серой мути улицы и угрюмо-однообразного ряда старых изб. Днем улица была пустынной, безлюдной, а ночью погружалась в сон. Фонари стояли только на углах переулков, и по вечерам я видел, как в один и тот же час шел с лестницей на плече серобородый кривой старичок. Он приставлял лестницу к фонарю, прочищал пузырь волосатым пыжом и зажигал лампу. Ее огонек одиноко и скучно теплился за мутным стеклом фонаря и не отбрасывал никакого света. И мне казалось, что этому сиротливому огоньку страшно среди глухой вечерней мглы. Когда я прислушивался к городу, мне чудился

невнятный шум, похожий на далекий ливень. Только гулко мычали гудки пароходов где-то очень далеко.

Отец каждое утро, еще затемно, уезжал на блестящей пролетке и возвращался ночью. В длинном пухлом кучерском армяке с широкими плечами и задом в сборках, в черной шапочке банкой, он сидел на облучке чужой и важный, вытянув руки и делая вид, что натягивает ременные вожжи, чтобы сдержать горячего бегуна. Но лошадь была смирная, похожая на Офимью, и совсем не думала рваться вперед. Отцу нравилось ездить на пролетке, и он держался на облучке форсисто: расчесывал бородку на две стороны, сидел напряженно, понукал лошадь пронзительным чмоканием, а сдерживал ласковой фистулой: «Трр!..» Хозяин провожал каждый его выезд, стоя на крыльце, и одобрительно мычал, упирая на «о»:

— Хорош! Добро! Только лошадь не загони. Ты больно-то не форси, не старайся: бери двугривенный, а вези на пятак. Только славу соблюдай: седок любит, чтобы извозчик на червонного валета смахивал. Работник-то до тебя был рохля, вахлак, пьянчужка, никогда больше трешницы не привозил, а тебе и пятишны мало. Ежели так будешь работать, опять рысака заведу — в лихачах будешь. В Астрахани Павла Плотова все купечество знает.

Отец, польщенный, усмехался и хвастался перед хозяином:

— Я, Павел Иваныч, на свадьбе аль на масленице красивше всех в поездах ездил: весь народ любовался. И лошадь меня любит, так и веселится, так и прядет ушами. А едешь — селезенка у ней так и ёкает.

— Толкуй с досады на все Исады! Езжай с богом!..

Хозяин позевывал, лениво сходил с крыльца и отворял ворота. Отец истово крестился и выезжал на улицу. Павел Иваныч запирал ворота длинным засовом и, сутулясь, уходил опять в горницу.

Несколько раз являлся уволенный им работник, который до отца ездил на пролетке. Это был низкорослый, волосатый, в рваном пиджаке, в залатанных брюках, весь пропыленный человек с угарным крас-

ным лицом, с грязной бородой. Он подходил к крыльцу и требовательно тянул:

— Эй ты, хозяин! Павел Иванов! Покажись, что ли! Где ты там спрятался? Эй, мужик!

Выходила Офимья и бесстрастно спрашивала:

— Ты что это людей тревожишь, Евсей? Аль душа не на месте?

— Офимья Васильевна! Ведь без ножа вы меня зарезали... За три месяца не заплатили. И на меня же начет вышел. А я ли не работал вам?

— Ничего я не знаю, Евсей-батюшка, — уныло отвечала Офимья. — Не это у меня на уме. Ты уж с самим считайся. Богу бы молился, а не шатался бы, не грешил бы зря.

Евсей срывал бесцветный и пропотевший картуз с головы и жаловался:

— Офимья Васильевна, ты женщина правдивая. Слова от тебя дурного не слыхал. А кровь-то мою зачем пьешь? Три месяца трудился. Куском хлеба корили... и зажилили мои трудовые. Да сундучок мой в залог задержали. Мне молиться нечего: я чужого не брал. А вы раздели меня, обездолили.

— Не греши на меня, Евсей! — равнодушно гудела Офимья и пристально смотрела на него бездумными глазами. — И так греха много. Замучились от грехов-то. Не знаю, как отмолить их. И ты вот... Голод-то голод, а выпимши.

— С горя, Офимья Васильевна, от обиды... Отдайте, Офимья Васильевна, мои кровные — тринадцать целковых! Не отдадите — новому работнику мослы поломаю, а то... Ну, да попомните меня!

Выходил Жеребок с поленом в руке и молча спускался с крыльца, угрюмый, тяжелый, с дикими глазами. Евсей юрко кружился около Жеребка, хитро скалил зубы и нахально покрикивал:

— Какой ты хозяин, Павел Иванов? Ты середь дня людей раздеваешь. Где мои кровные денежки? Ты не махай поленом-то — все равно не попадешь... а полено о двух концах. Поленом не отделаешься. Жив не буду, а свое выдеру! Гляди, Павел Иванов, как бы не покаялся.

Он ловко отстранялся от взмаха хозяина и смеялся ему в лицо. Потом расторопно бросился к калитке и быстро захлопнул ее за собой. Хозяин, озверевший, тяжело и грузно шагал обратно к крыльцу.

А на улице мстительно орал Евсей:

— Грабители! Кровопийцы! Одна богу молится, а другой с чертями водится. Жеребок! Не забывай, как ты артельщика-то напоил да ограбил его, пьяного... да как артельщик через тебя удавился. Не миновать тебе подлой смерти, Жеребок!

Офимья крестилась широким крестом и уходила в горницу. В открытые оконца флигелька высовывались Манюшка и мать и с любопытством следили за скандалом.

Мать испуганно звала меня домой, но мне было очень интересно наблюдать за взрослыми людьми, и я притворялся, что не слышу ее голоса. Вот и здесь, в Астрахани, такие же люди, как и в деревне: и здесь люди обижают друг друга, и здесь они делают какие-то страшные дела. И мне слышались стоны бабушки Анны: «Со знатным не тянись, с богатым не борись». Силу богатых я уже достаточно видел и чувствовал: она — беспощадна. Жеребок выгнал за ворота Евсея, голого, босого, и прикарманил у него заработанные деньги и последнюю рубашку. Евсей же только попусту орет на улице и грозит Жеребку отомстить, а Жеребок спокойно уходит в горницу, зная, что галаху Евсею ничего не остается, как беситься и орать. Я тоже возненавидел хозяина — возненавидел еще с того часа, когда он за столом у Манюшки обидно говорил с отцом, называл его вором и стращал содрать с него шкуру. А сейчас я уже твердо знал, что не Евсей был вором, а сам Жеребок, что, несомненно, он ограбил какого-то артельщика.

Дунярка, веселая после одного из таких скандалов, подпрыгивая, бежала ко мне с растрепанными волосами.

— Иди-ка, Федяшка, что я тебе скажу... Пойдем за конюшню, там у меня своя фатерка есть.

И она потащила меня на заднюю часть двора — за конюшню. В углу у сизого забора, в зарослях ко-

лючек и рогатого дурмана, лежали на земле примятые мочала, а на деревянной стене и на досках забора приклеены были разноцветные бумажки от конфеток и этикетки от винных бутылок. В самом углу стоял ящик, покрытый газетой, а на нем красиво расставлены были фарфоровые осколки чайных чашек и самый настоящий маленький самоварчик. Над столиком висел осколок лампадки на зеленой медной цепочке, надетой на палочку.

— Видишь, какая у меня горенка! Я до тебя жила здесь одна — богу молилась да танцевала. А сейчас я тебя потчевать буду. Чихни! — приказала она.

Я чихнул. Она сделала замысловатый поклон и пропела:

— Чихирь в уста вашей милости!..

Я сконфуженно молчал. Она топнула босой ногой и строго сдвинула брови.

— Ну, отвечай! Как надо говорить? Поклонись, прижми ручку к груди и обходительно скажи мне: «Красота вашей чести!..»

Мне не понравилось это кривляние: оно было непонятно и фальшиво. Что такое «чихирь»? То, что чихается? Почему этот «чихирь» — в уста, а не в нос? И почему я должен обязательно сказать: «Красота вашей чести»? Что это за «красота» и какой «чести»? Я чувствовал себя одураченным и смешным. И в тот момент, когда я увидел в ее глазах озорную насмешку, я взбесился и перевернул ногою ящик с осколками посуды.

— Ер-рун-да это у тебя... дураковина...

И пошел обратно с достоинством серьезного парня.

Дунярка закричала мне вслед:

— Ты это что наделал, а?.. Дурак!

Но я невозмутимо шагал к флигелю и делал вид, что мне наплевать на ее возмущение. Она подскочила ко мне и впилась в мою руку острыми ногтями.

— А ну-ка, погоди! Ты чего это разбойничаешь? Я работала-работала, а ты смеешься надо мной, как диварвар.

Лицо ее побледнело, нос стал остреньким, а глаза жгучими.

Я отшиб ее руку и пошел дальше. Вдруг она с робкой лаской прижалась ко мне.

— Ты, Феденька, меня не обижай. Мы ведь с мамынькой-то сироточки, защитить нас некому. Чем это я тебе досадила? Ну, давай помиримся. Пускай наши и не думают, что мы с тобой поругались.

Глаза ее заливались слезами. Я был обезоружен, и мне стало ее жалко.

— Давай, Феденька, не разлучаться. Вместе, бок о бок, чалки сучить будем и песни петь. Я много песен знаю. А потом с тобой по городу гулять будем: я всю Астрахань вдоль и поперек исходила... И по Кутуму пройдем, по Большим Исадам, по главной улице... Персияне там курагой торгуют. У собора татар много. В Александровский сад пойдем — к пристаням. Вечером там музыка играет.

Она растрогала меня и жалобным голосом, и ласковой доверчивостью, и просьбой не разлучаться с нею. И совсем покорила меня своими умоляющими глазами, которые улыбались сквозь слезы.

— Мы с мамынькой очень несчастные, — дрожащим голосом сообщила она. — Да ведь и вы бессчастные, Феденька. А как же? Мамынька говорит: от счастья не бегут, а счастье догоняют.

Она говорила, как взрослая, много пережившая, много видевшая женщина, говорила убеждающе, с грустным раздумьем. В эти минуты она была очень похожа на свою мать: и голос был такой же надрывный, и такая же дрожащая улыбка, и та же нетерпеливая готовность исполнить все, что от нее хотят.

С раннего утра, после того как отец уезжал на «биржу», мы крутили чалки. На полу лежали две кучи желтых мочал: одна — наша, другая — Манюшкина. И крутили мы попарно: я с матерью, а Манюшка с Дуняркой. У каждого из нас был свой крючок в стене, и счет чалок был свой. Мы вытягивали из атласно-желтого жгута длинные мочалки и вешали их пучком на гвоздь, а потом снимали по одной ленточке, надевали на крючок и сучили то одну, то другую половинку и быстро свивали их веревочкой. Работали мы посотенно: пятак за сотню.

Мне эта работа была не в диковинку: еще в деревне я часто сучил суровую дратву для подшивки валенок и привык крутить ее быстро и прочно. Но делать дратву сложнее: надо скрутить нитки, сделать ровную веревочку, прогладить ее, просмолить, а потом хорошо провощить — сделать гладкой и скользкой. Крутить же чалки было легко, приятно, весело. Стояли жаркие прозрачные дни сентября, а мочалки в пыльных лучах солнца искрились шелком. Я стоял рядом с матерью и старался изо всех сил перегнать и ее и Дунярку.

— Не торопись, сынок, а то устанешь, — уговаривала мать и поглядывала на меня с довольной улыбкой.

— Ничего не устану, — с досадой протестовал я и ревниво следил за Дуняркой, за ее ловкими руками и танцующими движениями.

Манюшка восторженно-плачущим голоском мурлыкала:

— Помощничек-то какой расторопный у мамыньки! Светленький-то какой да горяченький!

И ее нос краснел от умиления, а зоркие и кроткие глаза ласкали меня.

Дунярка заботливо предостерегала:

— Ты, Феденька, не труди ладошки-то. Не накидывайся, не жадничай, а то занозишь их — и мозоли будут. — И с упреком вскидывала лицо на Манюшку. — Зачем ты его, мамынька, подмасливаешь? Ему исподволь привыкать надо. Ведь у него и сноровки-то нет.

И она легко, по-птичьи, подлетала ко мне, как-то неощутимо вырывала из моих рук мочалки и показывала, как надо осторожно сучить их ладонями, чтобы не натереть мозолей.

И все-таки в первый же день я больно натрудил себе ладони. Кожа горела, как от ожогов, и покрылась водянистыми пузырьками. Но я был очень доволен: мы с матерью за весь день навили шестьсот чалок. Значит, мы заработали с нею по пятиалтынному.

— Уж какой ты ловкий да переимчивый, Феденька! — охала Манюшка. — Ведь вот вы какие гамаюны с мамынькой!

Она подошла к куче наших чалок и ревниво стала перебирать их.

— Шесть сотен ведь — мало ли! И это в первый же день! Дунярка, гляди, как бы они не перегнали нас.

Я хотел тоже порыться в их чалках, чтобы сравнить, кто навил больше и лучше. Но Манюшка заслонила их собой и повернула меня за плечи.

— Чужое считать грех, Феденька.

— А ты зачем, тетя Маня, у нас пересчитала? Может, это ты меня сглазила, может я руки-то намозолил от завидущих глаз.

Мать испуганно схватила мои руки и наклонилась над воспаленными мозолями.

— Ну зачем ты надрываешься? — с печальным укором сказала она, и в глазах ее я увидел боль. — Ведь я же унимала тебя... Как ты завтра работать-то будешь?

Сначала я хотел похвастаться своими мозолями, но когда встретил насмешливое соболезнование в глазах Дунярки и опечаленное лицо матери, я вырвал руки и спрятал их за спину.

— Вот еще... невидаль какая! Чай, дома-то сколь этих мозолей было!..

Я заметил, что Манюшка с Дуняркой насучили больше нас, и мне было обидно и непонятно, зачем Манюшка старается скрыть свой ворох чалок: она торопливо и как бы невзначай набросила на них старенький платок. А Дунярка подцепила меня под руку и потащила из комнаты.

— Пойдем на дворе поиграем, а то замучились. Я тебе руки рыбьим жиром натру, у Степаниды-яги возьму.

Но я вырвал руку и враждебно осадил ее:

— А ты зачем таишься, сколько вы чалок насучили? Мы свои чалки не закрывали. Наши-то пересчитали, а свои прячете. Аль боитесь, что я украду у вас? Я не вор, а вор тот, кто скрытничает да таится.

Я так возмутился, что задохнулся от сердцебиения. Это недоверие к нам с матерью оскорбило не столько меня, сколько мать. Ни ее, ни меня никто еще так не обижал в деревне. Пусть нас били, пусть мать доводили до «порчи», но никто и никогда не прятал от нас своего добра и не считал нас нечистыми на руку. Впервые я переживал этот внезапный взрыв внутренней бури. Дунярка побледнела от испуга и смотрела на меня широко открытыми глазами, а Манюшка взмахивала руками и, пораженная, кричала что-то плачущим голосом. Мать рванула меня назад и повернула к себе. Ее лицо застыло от изумления, и она пристально ощупывала меня потемневшими глазами.

— Осатанел ты, что ли, сын? — тревожно спросила она, словно я не буйствовал, а опасно заболел. — Что же мне делать-то с тобой?

За спиной плаксиво, как нищенка, причитала Манюшка:

— Да что это такое? Владычица! Ведь ребенок еще, а карахтерный какой! Наставлять надо его, Настенька. Надо, чтобы он обходительный был. Ты, миленький, средь чужих людей живешь, надо кланяться им да почитать. Вон моя Дунярка с людями-то, — как пчелка, ласковая. А ты с твоим карахтером, Феденька, пропадешь. Тут с тобой сразу тесно стало. А надо так, чтобы людям от тебя приятно было, чтоб тебя не замечали, а услужливость видели. Будь подрушничком — будет и подружье. Обиды с улыбочкой сноси, а гордыню под ножки клади. У нас нет голоса: мы подголоски.

Мать, расстроенная, толкнула меня в плечо:

— Слышишь, что ли, как тебя тетя Маня уму-разуму учит?

— Слышу, — буркнул я угрюмо.

— Ну, так иди к ней и покайся. Ведь она нас приютила. Нам надо в ножки ей поклониться.

— Не пойду!

Я рванулся к двери и выбежал на двор. Под вешала́ми Степанида-яга тяжело шоркала своими разбухшими ногами в высоких резиновых калошах. Как всегда, она басовито бормотала что-то сама с собою.

Из открытых окон комнаты причитал голосок Манюшки, а кроткий голос матери виновато оправдывался. Дунярка надорванно крикнула: «Мамынька, милая, не казнись!..» И вдруг отвердевший голос матери решительно прозвенел: «Нет, Марья Васильевна, бить я его не буду... Мы и так биты-шиты да стеганы...»

Я обошел вешала и на другой стороне, у навозника, лицом к лицу встретился со старухой. Она стояла в рыбьей гуще и улыбалась мне полынными глазами. Две седые косички, связанные тряпочкой, свешивались на плечи. Парусиновый фартук был густо пропитан жиром и рассолом, и в разных местах соль шершавилась рыжими пятнами. Я уже привык к смраду, и Степанида не казалась мне такой зловещей ягой, как в первые дни.

— Ну что, мышонок? Замяукала кошка, а ты — наутек? Храбрый-то какой!

— А мне нечего перед ней каяться, — враждебно надулся я. — Пищит, как нищенка, и все прячет да таится...

Старуха пристально смотрела на меня и слушала внимательно, растирая усмешку изуродованными, в болячках, пальцами.

— Вот ведь беда какая! А ты и расстроился? Долго ли обидеть человека-то... — У нее что-то забурчало и захрипело в горле. Она смеялась. — Взъерепенился! Заноровился! Обиделся! Тушкан тоже, должно, обижается, ежели за ним собака гонится. Худо, паренек, худо! Не обижаться надо, а так расплачиваться, чтобы на душе вольготно было.

— Воровать, что ли? Аль тоже в ихних вещичках копаться? Скажешь тоже!

Лицо ее оживилось, а глаза помолодели. Она поманила меня искалеченным пальцем.

— Ну-ка, ступай сюда! Не съем. Не бойся, я добрая, даром что уродина. — И хрипло закашляла от смеха. — Это меня черти в аду такой красавицей зажарили. Вот работища-то чего с человеком делает! — Она потрепала меня по плечу. — Хитрить умеешь? Нет? А в дураках оставлять? Тоже нет? Ну, вот и

улепетываешь в обиде. Я ведь и сама такая была: обижалась-обижалась, плакала-плакала, а когда за ум взялась, было уж невмоготу — калекой стала. Ты ее, Машку-то, разок-другой перехитри, — она сама хитрая, — чтобы она дурочкой себя увидала, ну и скиснет. Ты у Душки поучись, она всякого вокруг пальца обведет.

Говорила она необычно — не так, как говорили другие женщины. Ее голос и слова дышали мстительной злобой, но в грубом и дряблом голосе слышалось раздумье. Удивила она меня своей словоохотливостью. Встречал я ее каждый день, но она держалась обособленно, враждебно и всегда что-то невнятно бормотала. Мы часто видели ее в темных сенях, где густо висела разделанная рыба, но видели только ее спину в грязной рубахе без рукавов и две седые косички, связанные тряпочкой. Манюшка и Дунярка называли ее «ягой» и «ведьмой» и боязливо шептали: «Так и ждешь, так и дрожишь от страху: того и гляди сглазит аль порчу нашлет...» Но сейчас она оказалась не такой жуткой, какой чудилась раньше. Передо мной была не забитая и отверженная старуха, а упрямый, отстаивающий право на жизнь человек. В ней чувствовалась сила и оскорбленная гордость, — поэтому, вероятно, и к людям в нашем дворе она относилась с высокомерием.

— Тятяшка-то у тебя фертиком ходит, как в зеркало глядится. Таким нет удачи. А мать — ушибленная. Должно, били ее кому не лень...

Я с охотой сообщил ей:

— Она мертвенького скинула и стала беситься. В семье она за всех ворочала. Отец-то все на ней вымещал.

Степанида покачала головой и погрозила пальцем:

— А ты не хвались материной бедой. Не тот хорош, кого бьют, а тот, кто сдачи дает. Будь я сейчас молодой, уж я показала бы себя! Мать-то, верно, на ватагу поедет? Замордуют ее, такую. Я двадцать лет там маялась. И вот — без рук и без ног. А за милостыней не пойду. Меня рыба-то и до могилы не оставит. Я мастерица. Рыба меня любит.

Она захрипела от смеха и с натугой пошла от меня в гущу висевшей рыбы.

После этой встречи со Степанидой совсем иными стали казаться мне и Манюшка и Дунярка — маленькими, ничтожными. Их торопливая суета, певуче-вкрадчивые слова и ласковые улыбки были неприятно-приторные, наигранные. Манюшка не только не сердилась на меня, а встретила нежным кудахтаньем. Она сидела за столом и вышивала разноцветным шелком бархатный подрушник. За этой работой она сидела каждый день — готовила подарок «часовенной общине». Дунярка сидела рядом с ней и бисером шила лестовку. Она статилась, как взрослая девка, и улыбнулась мне, как ребенку. Мать продолжала сучить чалки, и по ее согнутой спине и судорожным движениям рук видно было, что она утомилась. Я взял ее руку и посмотрел на ладонь. Она была кроваво-красная, покрытая серой чешуей.

— Больше не надо, мама. Наработалась. Без рук останешься.

Она растроганно посмотрела на меня и виновато запротестовала:

— Нельзя, милый: завтра надо отнести урок-то. Не отнесу — работу потеряем.

— Бросай — и все! — настойчиво крикнул я. Мне было больно видеть, как она трет обожженными ладонями шершавую мочалку. — Бросай! Завтра я чуть свет встану и докручу.

— А у самого мозоли-то какие! Ты уж не крути, а то кожу до крови сдерешь.

Манюшка заахала:

— Ах, батюшки-светы! Сыночек какой заботливый! Как мамыньку-то свою жалеет!

Мать встряхнула своими ладонями и подула на них.

— Вот гляжу я на вас с Дуняркой, тетя Маша, и вспоминаю, как мы с матушкой-покойницей по чужой стороне да по людям скитались. А ничего — жили, работали, не гневили бога. Были люди и плохие, были и хорошие. Хоть бы еще так-то пожить! Плохое забывается, как пыль сбивается, а хорошее всю жизнь

в сердце светится. — Она села на лавку и устало прислонилась к стене. Глаза ее стали глубокими и лучистыми. — Вот и сейчас... не знай, что будет и что станет... Может, и невмоготу придется. А все-таки — вольные птицы. Нет уж кнута батюшки-свекора, нет над тобой его власти. Словно крылья выросли, и хочется подняться и полететь.

Манюшка расчувствовалась:

— Тетушку-то Наталью я, Настенька, страсть любила. Поговоришь с ней — как на солнышке погреешься. Когда я овдовела, она же меня сюда, в Астрахань, проводила. И я вот... не каюсь, что из деревни улетела. И воробей не живет без людей. Хоть он и по зернышку клюет, а сыт бывает и не жалуется. Спроть ласки да услужливости, Настенька, и злодей не устоит.

Мать сидела неподвижно. Может быть, она думала о прожитой жизни, а может, мечтала о несбыточных радостях или о близких днях желанных перемен.

— Нет, Марья Васильевна, — грустно отозвалась она на житейскую мудрость Манюшки. — Нет, не к сердцу это мне. Устала я от обид да от услужливости, истосковалась от покорности. Хочется так пожить, чтобы не пропала зря моя молодость. Пускай слезами изольюсь, да зато душа взовьется в раздолье.

— Дай тебе, господи, Настенька! — прохныкала Манюшка, склонившись над шитьем. — Только счастье-то да радость мошками перед тобой летают. Хочешь — лови их, как ласточка, а то грызи свою косточку.

Мать не ответила: кажется, она и не слышала, что говорила Манюшка.

VI

Утром вставали мы затемно. Пока мать ставила самовар, варила на очаге картошку и готовила помидоры и огурцы для стола, отец задавал корму лошадям, подмазывал пролетку и чистил свой кучерской

армяк. По деревенской привычке я тоже вставал вместе с отцом и матерью. Манюшка с Дуняркой еще нежились на своей скрипучей деревянной кровати: им нечего было торопиться — свой урок с чалками они выполняли без надсады. Лежа на постели, Манюшка любила рассказывать сны. Она и сны свои рассказывала так же словоохотливо, как говорила целый день о всяких пустяках. Отец относился к ней шутливо и недоверчиво, как к дурочке, и это ей нравилось.

Часто отец прокатывал нас с матерью по городу до Исад. Мы выходили раньше минут на десять и ждали его квартала за два в переулке, чтобы не увидел хозяин и не вычел за наш проезд лишний двугривенный из жалованья отца. Мы зыбко покачивались на рессорах, и я испытывал ненасытное блаженство всю дорогу до Кутума. Мать замирала от наслаждения, и на лице у нее не угасала улыбка.

Когда улица полого спускалась вниз, лошадь бежала рысью, а отец сдерживал ее тоненькой фистулой: «Трр, дурак!..» А когда поднимались вверх, колеса вязли в песке, и лошадь выгибала спину от натуги. Домишки мне казались очень уютными, обжитыми, безмятежно спокойными, и мне хотелось зайти в эти надежно огороженные дворы, в эти дома и посмотреть, какая там скрывается насиженная жизнь. В оконцах мелькали лампадки перед иконами — красные, зеленые, синие, — мне казалось, что эти лампадки неугасимо теплятся уже многие, многие годы. На всех оконцах висели занавесочки, и на них появлялись и исчезали пепельные тени. По деревянным тротуарчикам торопливо шли женщины с корзинками, все в одну сторону — на рынок, на Исады. Знакомый парень-крендельщик, в белом фартуке с большой корзиной на голове, шагал навстречу по доскам тротуара и заливался утренним петухом: «Крендели, витушки... свежие, горячие...»

Звонили по всему городу колокола — пели, выли, стонали печально, уныло, а на них задорно покрикивали издали гудки пароходов. Впереди огромно и легко взлетала к небесной синеве прозрачно-белая

башня собора с букетом главок, и оттуда плыл, потрясая воздух, густой, вздыхающий гул.

По грязной набережной Кутума шли женщины с корзинками, рабочие в бахилах и какие-то голодранцы с опухшими лицами, трещали и скрипели телеги, нагруженные ящиками, ленивой трусцой бежали скучные лошаденки, запряженные в старенькие пролетки. На гнилой заводи Кутума стояли борт к борту лодки, баркасы с тонкими мачтами. На том берегу, перед черной пастью крытого рынка, кишела густая толпа.

Отец останавливался около мостика через Кутум, и мы с сожалением спрыгивали с пролетки. Спрятанный в широком и длинном армяке, странно чужой, он вынимал из кармана серебрушки и медяки и молча совал их в руки матери. Пронзительно чмокая, он шлепал вожжами по крупу лошади и, не оглядываясь, уезжал на «биржу».

Это был уже центр города. Здесь все дома были кирпичные или каменные — одноэтажные, двухэтажные, длинные, грязные, прижатые друг к другу. Много было безоконных лабазов, с огромными замками на дверях, окованных железом. Много было лавок, трактиров. Особенно поражали меня открытые лавки с выставленными наружу горками ящиков, набитых курагой, кишмишом, черносливом, инжиром. А внутри каждой лавки сидел бесстрастный персиянин в черной феске, с коричневой бородой и кирпично-красными ногтями. На тротуарах толпились татары в тюбетейках и быстро тараторили все вместе.

На набережной длинным рядом стояли ларьки-«обжорки», где дымились железные печки, а на них клокотали огромные кастрюли с кипящим борщом, рубцами и кишками. Толстые бабы в засаленных фартуках, с красными лицами, с нахальными глазами, орали во все горло:

— Вот рубцы, сычуги, щи наварные! Щи — пятак, гусёк — три копейки!

За столами сидели и голодранцы, и извозчики, и татары. Тут же бродили мужики со сбитнем и пирожники, от которых очень вкусно пахло жареным

постным маслом. Я брал у матери семишник и покупал горячую, пропитанную маслом, ноздристую лепешку и поедал ее с наслаждением. На этот семишник я имел право, потому что он был заработан мною. Мы ходили внутри рынка, душного, бурлящего толпами женщин. Шорох ног, крики, чавканье топоров по костям, звяканье весов, удушливый запах мяса, зелени, помидоров, рыбы — все это ошеломляло меня, и я очень боялся потеряться в густом людском месиве. Но мать ловко пробиралась к прилавку, бойко покупала кусок мяса или живого судака, быстро перебегала к зеленным рядам, брала помидоры, огурцы, картошку, расторопно перебегала к хлебному ряду и клала в корзинку полкаравая ноздристого белого калача. У нее возбужденно блестели глаза, лицо румянилось, и она чувствовала здесь себя, как в праздничном хороводе.

Я впервые был в такой огромной толпе. Она ворошилась и кипела, как рожь на рассевáх, душила, затягивала в самую гущу и отрывала меня от матери. Женщины с озабоченными лицами толкались плечами, а мужчины с праздным любопытством искали что-то по сторонам, пятились или оттирались куда-то вбок и исчезали, втянутые в людоворот. Все как будто топтались на месте, но я с ужасом чувствовал себя затерянным, проглоченным этой удушливой, кипящей массой. У меня кружилась голова, и казалось, что мы никогда не выберемся из этого омута. Высоко, за переплетами металлических перекрытий, синела стеклянная крыша, и стаи голубей, хлопая крыльями, летали под стеклами, садились на клетки перекрытий и ворковали. Роями проносились воробьи, шарахаясь во все стороны.

Обратно мы шли другой дорогой: переходили мостик через Кутум выше Исад. Было еще рано, и люди на нарядных улицах с кудрявыми деревьями вдоль тротуаров встречались редко. Богатые особняки, белые, опрятные, с тюлевыми занавесками, казались необитаемыми. Только дворники в холщовых фартуках, с бляхой на груди, размашисто подметали метлами булыжную мостовую перед своими домами.

Всюду дымилась рыжая пыль. Звон колоколов волнами плыл по городу. Для меня все было ново, интересно и таинственно-чуждо. И здесь пели крендельщики с корзинами на головах, проезжал с мокрої бочкой, грохоча колесами по мостовой, старик водовоз и выл жалобно: «Воды-ы, воды-ы!..» Один раз мы встретили здесь нашу старуху Степаниду. Она тяжело передвигала свои разбухшие ноги и глухо басила: «Рыба, рыба, балыку!..» На нас она даже не взглянула.

Идти по пустым улицам, где наши шаги отзывались эхом, было приятно. За каменными и дощатыми заборами густо зеленели сады, и оттуда пахло цветами. Навстречу нам по одному, по два быстро шагали рабочие, пропахшие рыбой. Мать обычно наряжалась во все праздничное. Правда, и юбка, и кофта, и полушалок у нее были деревенские, но она умела одеться как-то приглядно, красиво, со вкусом. Лицо у нее становилось не обычным, не будничным, а светилось затаенной улыбкой. Она будто любовалась собою и знала, что миловидна, что походка у нее легкая и мягкая.

Я любил ходить по этим тихим утренним улицам, которые полого спускались в низину и поднимались на песчаные бугры, любил встречать людей, торопливо идущих на работу с узелками в руках, любил обгонять веселого крендельщика с корзиной на голове. Занятно было перекинуться озорными словечками с подростками, гурьбой бегущими на работу. Они угрожающе таращили на меня глаза и кричали, посмеиваясь:

— Эй ты, Ванька-малої, деревенщина!.. Мамкин хвост!.. Рви ему, ребята, кудри патлатые!

А я враждебно открикивался:

— Галахи! Шарлоты!

Но никак я не мог привыкнуть к турнюрным барыням, которые, семеня, тащили в руке длинный подол своего платья. Крошечные шляпки на высоко взбитых волосах так были нелепы, что я всегда фыркал от смеха. Я видел, что матери приятно было идти свободно под зелеными шапками подстриженных

тополей, мимо богатых и нарядных особняков с большими зеркальными окнами и кисейными занавесками.

Однажды, когда мы проезжали через базар, на подножку пролетки вскочил высокий парень в черной шляпе, надвинутой на ухо, с квадратным костистым лицом, пыльно-бледным, с острыми скулами и веселыми глазами. Мы с матерью испуганно шарахнулись от него, а он засмеялся. Отец тоже испугался и угрожающе поднял кнут.

— Ну, чего струсили? Неужели я такой страшный? — спросил парень посмеиваясь.

Отец сконфуженно засмеялся.

— Вот шарлот! — пошутил он смущенно. — Ты, как вор, из-за угла, словно оглушить норовишь. — И он пояснил матери, указывая на парня: — Это Триша. Трифон Павлыч, сын хозяйский.

— Блудный сын родителя-грабителя, — смеялся парень, — лишенный наследства и проклятый в сем веке и в будущем. Давайте познакомимся. Я свободный мальчик и люблю якшаться с людьми, с такими особенно, с которыми сердцем столкнуться можно. Человек я веселый, живу холостяком, с хлеба на квас, а грешу для своего удовольствия. Ну-ка, Вася, подъезжай к моему шалашу. Я ждал тебя: захвачу вещички, и ты подвезешь меня до Кутума.

Отец поежился и, подозрительно озираясь, с натугой пошутил:

— С тобой еще греха не оберешься...

— Это почему же, Вася? Разве я на преступника похож?

— Узнает Павел Иваныч — беда будет.

— А тебе какое дело до твоего седока? Мало ли кого ты возишь! Может, каждый день доставляешь грабителей и убийц на мокрые дела... А я будто до сих пор считался сыном твоего хозяина... и как-никак тоже власть над тобой имею, а? Вот то-то же, знай наших! — И он опять засмеялся. — Но папашу своего я с удовольствием отвез бы на Балду и свалил в омут.

Отец сердито огрызнулся:

— Ты хоть при парнишке-то зря не трепал бы языком...

— Ничего, пускай учится ценить людей по достоинству. Да ведь он и без меня, должно быть, знает, какой негодяй твой хозяин. По глазам его вижу.

Мать съежилась и отвернулась от него, а мне было интересно слушать: он мне нравился своим злобным отношением к нашему хозяину.

— Он, старый черт, не чует, что я богаче его в миллион раз, — с веселой ненавистью говорил Триша. — Я живу своим трудом: я — наборщик, в типографии работаю. У меня друзей-товарищей — не пересчитать. А он деньги и дом грабежом нажил. Одно хорошее дело сделал — меня выгнал из дому. Да я и сам от стыда давно от дому отбился. Ведь наша улица всю подноготную про соседей знает. Ну и просветили меня.

Он опять засмеялся и с неожиданным добродушием пошутил с матерью:

— Ты чего скорчилась, Настя? Не бойся: я парень свойский. Приглядишься ко мне — полюбишь. Я иногда к Манюшке, к святой кошке, захожу. Она любит с девчатами и молодыми бабенками похороводиться. Вот я при первом же случае и нагряну к вам в гости. Преподобная грешница... Ее вся Астрахань знает: все дома облазила. И то хорошо, что ее за копейку купить можно — с охотой навредит и услужит.

Мы остановились перед маленьким деревянным домиком с воротами под тесовым козырьком. Триша спрыгнул на ходу с подножки и скрылся за калиткой. Мне бросилась в глаза его длинноногая сутулая фигура в очень поношенном пиджачишке, кургузом для его роста, в узеньких брючках и стоптанных штиблетах. Но что-то в этом парне было привлекательное, жгучее и приятное, и я уже крепко был уверен, что он правдивый, прямой, открытый и хочет дружить с нами.

Отец обернулся к нам и предупредил:

— Ежели кто из вас сболтнет, что я к нему заезжал, языки вырву... Связал меня черт с ним. Прямо за горло схватил. Не знаю, как отбояриться. Буду по другим улицам ездить.

Мать робко, со страхом, пролепетала:

— Он какой-то злой, Фомич. Чего-то у него сердце горит.

Отец со свистом плюнул на землю, щелкнул кнутом по колесу и прикрикнул на мать, как кричал, бывало, в деревне:

— Молчи, дура! Без тебя не знают! — И неожиданно решил: — На ватагу поедешь. Здесь тебе болтаться нечего. А чалки да мочалки — это от безделья рукоделье.

Отец сидел на козлах, толстый, в кучерском армяке, а голова, маленькая и смешная, в жесткой шапочке. Он смотрел в репицу лошади и говорил неприветливо и повелительно, как в деревне. Я наблюдал за матерью и не мог разгадать ее: в лице застыло покорное отчаяние, но в глазах вспыхивала радостная надежда.

Триша выбежал из калитки с толстой церковной книгой и иконой в фольговой ризе, плохо завернутыми в газету. Он бесцеремонно столкнул меня с места и сел рядом с матерью, положив книгу и икону на свои острые колени.

— А ты молодой человек, примостись у меня в ногах: ты, как таракан, можешь устроиться в любой щелке. Привыкай передвигаться в любом положении и в любых условиях — пригодится. Трогай, Вася!

Отец с удивлением поглядел на необычные вещи Триши и на него самого и задергал вожжами. Я присел на корточки в ногах у матери. Когда лошадь привычной ленивой рысью затрусила по улице, отец обернулся к Трише и с уважением пощупал глазами толстую книгу в кожаном переплете с деревянными крышками и нарядную икону.

— Это чего у тебя, Триша? Аль писание читаешь?

— Хорошая книга, Вася, ценная, — сердито ответил Триша. — Пролог. Ей двести лет. Рукописная, лицевая. И икона древняя, только риза новая. Это родовое. Мамаша меня благословила, для души спасения. Куда везу-то? Не твое дело. Ты не сыщик, а извозчик. Впрочем, так и быть, откроюсь: сейчас эти

старинные книги и иконы полиция отбирает, а моленные закрывают. Вот для сохранности книги и прячу.

Отец, не оборачиваясь, подтвердил:

— У нас тоже в деревне моленную закрыли. Только книги-то да иконы из запечатанной избы вытащили. Начальство чуть умом не рехнулось. Ничего нигде не тронуто, а когда сняли печати, отперли — остались одни голые стены.

Он засмеялся, с удовольствием вспоминая эту проделку мужиков.

— Ловко провели начальство, молодцы! — похвалил Триша.

Он подхватил меня под мышки и широко улыбнулся, пытливо вглядываясь в мои глаза. В горле у него хрипело и булькало, и дышал он тяжело, утомленно, со свистом. Глаза его были серебристо-серые, с насмешливой искоркой, пронзительно-умные. Эта его улыбка как будто говорила мне: «А ну-ка, дай я тебя проверю: что ты есть за человек?»

Он спрятал ношу под ноги, а меня толкнул к себе на колени. Они были костлявые и острые, и сидеть на них было неудобно. Вдруг он с приятельским добродушием наклонился к матери и ласково сказал:

— Очень он на тебя похож, Настя: такой же запуганный.

Мать вздрогнула от этой неожиданной его задушевности.

— А ты не ворожи — молод еще ворожить-то. Кто тебя знает, что ты за человек: на тебя дома-то как на ворога глядят.

— Да я и есть для дома ворог. А как же быть-то? Отца я ненавижу, и дом его ненавижу. Ты мне об отце-матери не говори, а то рассержусь. Весь город на крови стоит и кровью обжирается. Я как-нибудь расскажу вам, чем здесь люди живут и как человечиной промышляют.

Мы выехали на набережную Кутума и повернули не к тому мосту, на котором обычно высаживал нас отец, а налево, куда молча и требовательно указал Триша. По самому краю тянулся обжорный ряд, и

бабы, красные от огня мангалов, с уполовниками в руках, зазывали толпящихся прохожих. Густой частокол мачт, похожих на веретена, едва заметно шевелился на фоне горящих облаков. Пахло щами, рыбой, помидорами и вареными кишками.

— Стой, Вася! — с дружеской теплотой сказал Триша и поманил рукой крупного краснобородого человека в длинной парусиновой рубахе и высоких сапогах.

Соскочив с пролетки, он ткнул рукой в книгу с иконой. Человек взял их, и оба они пошли вниз по сходням к бударке. Отец чмокнул губами и ударил лошадь кнутом. Она рванулась, но отец озлобленно задергал вожжами, и лошадь круто повернула назад. Отец погнал ее вдоль улицы.

— Шарлот! — пробормотал он. — Жулик! Пропадешь с ним. Не иначе, как в шайке работает. Я уж который раз отвожу его с багажом: то чемодан, то детский гробик, а то вот книга эта да икона. Надо хозяину сказать, а то свяжут.

Мать вдруг выпрямилась и с необычной горячностью устремилась к отцу.

— И не моги, Фомич! Не бери греха на душу! Сразу же нас хозяин на улицу выбросит. Ничего ты не знаешь и ведать не ведаешь. А то еще полиция нагрянет... затаскают. Да как бы еще Тришины-то дружки тебе не отомстили. Лучше другой стороной езди.

Отец воткнул в нее злые глаза, и я в ужасе увидел, как он взмахнул кнутом, чтобы ударить мать. Но кнут тихо опустился, и отец глухо, с хрипотцой, выругался.

— По другим улицам буду ездить. Отважу его, шарлота.

Каждый день с раннего утра мы с матерью крутили чалки, но догнать Манюшку с Дуняркой так и не сумели. Они вдвоем зарабатывали полтинник, а мы — только копеек тридцать. Мне казалось, что мы не отставали от них, что Манюшка работает медленнее матери. Она несколько раз бросала работу и убегала к Офимье помочь по кухне. Часто я встречал лукавую улыбку в глазах Дунярки и слышал ее зло-

радный голос: она трунила надо мной озорной песенкой:

Что ты, милый мой, не весел —
Крендель на ухо повесил?
Не будь, милый, дурачком,
Протри глазки кулачком.

Она весело издевалась надо мною. Это меня очень злило, и я однажды бросился на нее с кулаками. Но мать схватила меня за руку и прошептала в ужасе:

— Да ты что это... с ума сошел? И пальцем не моги ее тронуть!..

Дунярка сказала с задорным смехом в глазах:

— Ежели бы маменька не пожалела вас, вы бы в сарайшке ютились. А вы у нас полкомнаты заняли. На ширмочка́-то всякий горазд. Ну, да мы свое возьмем — не мытьем, так катаньем.

Мать покраснела и виновато посмотрела на нее.

— Хорошо, что сказала, Дунюшка, а я и не догадывалась. Что у большого на уме, у малого на языке. Мы уж заплатим вам. А поживем недолго: на ватагу поедем. Отец-то наш где-нибудь уголок найдет.

Я кипел от возмущения, и сердце колотилось в груди так, что в ушах звенело. Я впервые слышал, как Дунярка нагло унижала нас, словно мы были нищие бездомники. В деревне не только девчонки, но и парни не смели сказать старшим ни одного грубого слова: они должны были покорно молчать и не перечить им, и никому из нас в голову не приходило огрызаться на людей старше нас годами. Дунярка ошарашила меня, и я стоял, как дурачок. Я чувствовал, что лицо у меня судорожно кривится и покрывается липкой паутиной.

И вдруг я с острой болью в сердце почувствовал, что здесь — другой мир, другая жизнь, другие люди, не такие, как в деревне, что я здесь чужой, беззащитный и простота моя, как и неопытность и простодушие матери, — смешна.

Вот Дунярке хоть и десять лет, а она не только со мной, но и с матерью моей держится независимо и считает себя умнее и опытнее нас. И я решил отомстить ей при первом же случае.

Мать замолчала на целый день и, как больная, крутила чалки со слезной печалью в глазах. А обед варила во дворе, на мангале, как-то боязливо, с оглядкой. Когда она выходила из комнаты, то звала меня с собой: должно быть, опасалась оставить меня с глазу на глаз с Дуняркой, чтобы я не отколотил ее. Я чистил картошку, резал капусту, но больше сидел без дела рядом с матерью и скучал. Однажды я не вытерпел и пошел в комнату. Мать с испугом окликнула меня:

— Куда ты? Не ходи! Греха еще натворишь. Она ведь я́дочка: чего-нибудь набедокурит, а на тебя свалит. Я боюсь ее больше Манюшки.

— Ничего не будет. Я пойду чалки вить.

Но в комнату я так и не попал: хозяин рычал с крыльца:

— Парнишка! Ты! Дармоед! Иди сюда!

Я понял, что он зовет меня, но хотел юркнуть в сени. Мать в ужасе крикнула:

— Аль не слышишь? Беги к нему скорее!

Ноги у меня стали тяжелыми, и все тело пронизали жгучие иголки. Я боялся и ненавидел хозяина. Его сила и власть казались мне чудовищными: он мог мгновенно схватить меня и раздавить в своем кулаке или походя растоптать сапогом. Он смотрел на меня тяжелым, леденящим взглядом.

— Ни за что не пойду, — лепетал я. — Не хочу. Он пьяный, удушит меня...

— Стой! — хозяин крепко зажал свою бороду в огромной пятерне. — Стой, мальчишка! Иди сюда! Я с тобой разговаривать желаю.

— Не пойду! — в отчаянии крикнул я. — К тебе я не нанимался!

Около меня очутилась мать. Она вздрагивала, задыхалась и шептала:

— Не беги, сынок, а то он взбесится!

Хозяин грозным шагом подошел к нам и уставился на меня осоловелыми глазами. Но в глубине зрачков играл смех.

— А ну-ка, какие это слова ты мне сказал? Не нанимался, говоришь? Это ты смело сказал. А кому ты

сказал? Мне — хозяину. Ты еще щенок, а уже стреляешь дерзкими словами. Щенку вырасти надо, чтобы барбосом быть, а барбоса и того на цепь сажают. А тебя еще мать под юбку хочет спрятать. Давай ухо — драть буду.

Его рука неотразимо потянулась ко мне. Я отпрянул назад.

Вероятно, в глазах у меня он увидел не только страх, но и ненависть: он пристально рассматривал меня, поднимая то левую, то правую бровь, и забавлялся моей мальчишеской строптивостью. Он теребил пальцами пеструю бороду и шевелил длинными косицами усов. И когда я увидел бледное лицо матери с умоляющими глазами, я бессознательно бросился к ней и заслонил ее собою.

— Уйди, мама, уйди отсюда! — задыхаясь, крикнул я со злым отчаянием. — Он еще убьет тебя...

— Так, правильно! — хрипел хозяин с пьяным упрямством. — Двое дерутся, третий не лезь. А уши я тебе должен нарвать обязательно. Хозяину дерзить не моги! Раз твой отец у меня в батраках, ты тоже мой слуга. А вот ей, матери твоей, велю пятки мне чесать — и будет чесать. Раз отец твой в вольницу пошел, он мне весь до требухи предался. У вольницы нет своей воли. Я вас в свой двор загнал, хомут надел — значит, вы в моей власти.

Я схватил мать за руку и рванул ее за собой. Она, вероятно, сама обезумела от ужаса и побежала к флигелю рука в руке со мною. Хозяин рычал, как зверь, и топал вслед за нами своими сапогами. С порога я на мгновение увидел, как Офимья пятилась перед хозяином в нашу сторону, высоко поднимала руку с двуперстием и укрощала его плавными взмахами. В комнате мать упала на скамью, откинулась к стенке и, с посиневшим лицом, судорожно затряслась.

В этот момент неожиданно вошла Степанида. Грязная, вся в лохмотьях, пропитанных жиром и солью, она улыбалась необычно мягко, по-бабьи жалостно. Она подошла к матери и стала молча гладить ее по голове, по плечам, по спине.

— Ты не пугайся, милка: он сюда не придет — меня боится. Ишь ты, как зашлась-то! Сердце-то как бьется! Я все его грехи знаю. Сейчас черти душу его полосуют... вот он и бесится и дуреет от запоя. Одна у него защитница — Офимья: она крестом да молитвою его обмывает, а он весь просоленный злодействами-то. Соль-то постоянно и проступает... Сын от него отступился, врагом стал, а я вот живу бок о бок с ним и терзаю его, проклятого. Он давно бы убил меня, да совесть не убьешь. Вот он на свеженьких-то, на беззащитных, и набрасывается, как беззубый волк.

Она не переставая поглаживала мать своей изуродованной рукой, и лицо бабы-яги таяло, нежнело, а в тусклых глазах светилась ласковая теплота.

Эта старуха как-то незаметно покорила меня: я не отрываясь смотрел на нее и слушал ее голос. В ней чувствовал я большую силу и знал уже, что она никого не боится, ничему не удивляется.

На дворе пискливо повизгивала Манюшка, брехала и гремела цепью собака и буянил хозяин.

Офимья не опускала двуперстия и плавно делала широкий крест. Желтая, сухая, она молча наступала на мужа, молитвенно-сосредоточенная, строгая.

Степанида зашаркала рваными калошами по полу. С порога она обернулась к матери и требовательно махнула рукой.

— Ты, Настя, ко мне приходи: я тебя вылечу. Никого и ничего не бойся. Со зверями жить — клыки точить, а не скулить.

— Не могу я, тетушка. Не такая уродилась...

— Моги! — хрипло прикрикнула на нее старуха. — Ты не в гости сюда приехала, а продаваться богачам. Тут умеют рыбу ловить: далеко да глубоко невод забрасывают. Попадешь сдуру в сети — одна у рыбы судьба: на плот и под нож. А в вольницу пошла — умей воли своей хозяйкой быть. Я цену-то этой воли знаю: гляди, какая я стала. Вот она, наука-то, какая!.. Кромешная здесь жизнь: ходи да оглядывайся. Без меня к подрядчицам не суйся: закабалят — и не распутаешься.

VII

Отец приезжал с «биржи» поздно. Он выпрягал лошадь, задавал ей корму в конюшне и при тусклом фонарике мыл пролетку. Потом входил к хозяевам и отдавал выручку Офимье. Домой он приходил усталый, молчаливый, ужинал угрюмо.

Я уже знал, что отец замыкался в таком гнетущем молчании только после унизительных обид. Значит, у него были какие-то неприятности с хозяевами. Рядом, за другим столиком, сидели Манюшка и Дунярка и, по обыкновению, вышивали нарядные коврики и полотенца и нанизывали бисер на бахромки и кисточки. Обе они, как всегда, были легкие характером, жизнерадостные и говорливые, и отец никак не расстраивал их своей тяжелой нелюдимостью. Не стесняясь, они тихонько напевали любимую песенку: «На берегу сидит девица, она шелками платок шьет...» Или вперебой безмятежно выкладывали друг дружке впечатления дня, смеялись и над хозяином и над соседками, которые ссорились около водовоза. Дунярка с веселым простодушием хвасталась, как она смело и храбро брала в лавке хлеб, чай и сахар в долг: отвесит ей хозяин, а она заберет с прилавка и, уходя, крикнет: «Завтра расплачусь, — нам тоже должны!» Манюшка рассказывала о том, как ее любят и привечают в «хороших домах», как барыни без нее не могут обходиться и тоскуют по ней и как она развлекает их своими разговорами.

— Им ведь, барыням-то да купчихам, не то дорого, что дорого, а что любо. Скучно им, сердешным: делать-то нечего, торопиться некуда. Сидят себе, как клушки на яйцах, и томятся. Конфетки да варенье приелись, собачки да книжки надоели, в гости ездить лень... Ну и не находят места от тоски... А я уж знаю, в какой час к какой голубушке явиться. Придешь, запоешь ей про красоту ее да про то, чего не бывает, да чего ей не хватает, она и разнежится. «Манюшка, говорит, милая, какая ты счастливая! От тебя так и пышет радостью. Ты, говорит, как птичка вольная, в солнышке купаешься». А я говорю: «Чужа ласка —

сироте пасха, милая барыня. Бедный человек и солнышку рад. Нам с дочкой ничего не надо, опричь вашей милости. А вы, говорю, барыня, — раскрасавица, в счастье да довольстве, как в саду цветете. И скатерть у вас самобранка, и все-то у вас исполняется, как по щучьему велению». А уж она стонет, она жалобится: «Не в богатстве счастье, а в исполнении желания...» — «А вы, говорю, пожелайте — и исполнится. И нет ничего, говорю, приятней и радошней, как любовь. На вас все засматриваются, и не одно сердце тоскует. И знаю я, кто по вас страдает да сохнет...» Ну и начнешь ей мечтания наводить. Глядишь, она, милая, без меня уж шагу шагнуть не хочет. То туда меня, то сюда — с записочками, с порученьицами — к артистам, к купчикам, к художникам.

Дунярка слушала мать с жадными глазами и не дышала.

Отец брезгливо косился на Манюшку и угрюмо шептал матери:

— А ты слушай ее больше: она наболтает с три короба. Пропадешь с ней... Набор на ватаги начинается — готовься. Я здесь останусь, а ты с парнишкой уедешь на сезон — до лета.

Я уже не раз замечал, что Манюшка посматривает на него исподтишка быстрыми, опасливыми взглядами хитрых глаз. Но в этих ее притворно-умильных глазах поблескивали колючие искорки. На насмешки отца она не обижалась, а делала вид, что ей приятны его шутки.

— Я божья вдова, Вася. У меня и душа — голубка легкокрылая. И людям приятно, и мне радостно. Я ведь к людям-то страсть какая прилипчивая!

Отец усмехался:

— Чего и говорить, доходная статья. Туману напускать на людей — нелегкое дело. А лучше тебя на этот счет мастерицы нет.

Манюшка восторженно пела своим нежным, сердечным голоском:

— И какой ты, Васенька, умный да доходчивый! Мне одна купчиха-пароходчица часто говорит: «Ты,

Манюшка, жизнь мою украшаешь: живой водой меня поишь, а я словно пьянею». Я к ней очень даже вхожа: от тоски ее лечу. А грусть-тоску прогнать — это, Васенька, не всякому дадено. Меня богородица на это таланом наградила.

И этот ее «талан» очень тревожил отца: он опасался за мать. Его насмешки и шутки были враждебно-едки и обидны. Но Манюшка льстила ему:

— Уж какой ты, Васенька, умственный да правдивый! Да таких людей на свете мало! Счастливее Настеньки и женщины нет: муж-то какой дорогой — и не пьет, и не балуется, и о семье заботливый, и в людях-то разборчивый...

Отец смешно подтягивался, закатывал глаза под лоб и самодовольно улыбался. Забывая о своей вражде и презрении к Манюшке, он хвастался:

— У нас в роду нет уродов: красивше наших парней в округе нет. А здесь, в Астрахани, никто из извозчиков чище да подбористее меня не ездит. Торговый народ меня уж хорошо знает и прямо зовет: «Фомич, подавай!» А ежели за извозчиком парнишек присылают, так парнишки-то прямо ко мне садятся: «Фомич, гони! За тобой хозяин прислал!» Я больше всех зарабатываю. И мне завидуют.

Манюшка ахала, всплескивала руками:

— Ах, матушки! Какой ты, Васенька, удачливый! Ты, чай, и себя не забывай: прикопишь — свою пролетку заведешь. Умному человеку бог помогает.

Но отец высоко таращил брови и с обиженным достоинством обрывал ее:

— Я от хозяина деньги не таю: отчитываюсь до копеечки. Павел Иваныч даже в удивленье входит: «Ты у меня, Василий, фармазонный рупь: из гроша алтын выжимаешь. Другие работники половину не зарабатывали. А все оттого, что ты лошадь да чистоту блюдешь. А чего своруешь — тому меру знаешь». Ну, я, конечно, встаю и режу ему: «Я, Павел Иваныч, в жизнь ничего чужого не брал, а у тебя — на жалованье. И заповедь соблюдаю: не пожелай елика суть ближнего твоего...» А он орет на меня: «Толкуй с досады на все Исады! Я сам был вор. Воруй в обычае

с умом, чтобы другим не в убыток. А ежели в убыток — сумей концы прятать». Чудной человек: никаким пóбытом не верит, чтобы люди не крали.

И он смеялся над упрямством хозяина.

Манюшка поощряла его:

— Павел-то ведь жадный, Васенька: он и у самого себя норовит подметки рвать. Свое-то всякому дорого: с походом не взвешивают, а без натяжки и аршином не меряют. Павел сам тебе свои карты в руки дает. Уж помяни мое слово: через годик в смазных сапогах да при калошах щеголять будешь. Астрахань, Васенька, смелыми да дошлыми живет.

Тонкая, хитрая, пронырливая, Манюшка хорошо знала людей и умела играть на их слабостях и страстях. Дуреющие от безделья и скуки барыни и купчихи нуждались в шутихах, в живых и расторопных сводницах, в пряных грешках и блудных забавах. И Манюшка была самой необходимой принадлежностью в этих «хороших домах». В этой своей роли она не видела ничего зазорного и унизительного: словно она родилась для этого и находила в этом единственную радость и смысл своей жизни. Отец не огорчал ее своим тяжелым характером: она очень быстро поняла его слабости и своим льстивым восхищением его честностью, умом, степенностью и «подбористым» видом подхлестывала его самолюбие и всегда приводила в благодушное настроение.

Мать благодарно говорила ей по утрам:

— Уж не знаю, как за тебя молиться, Марья Васильевна, какую свечку богу ставить! Чудом ты каким-то Фомича исцеляешь.

А Манюшка кудахтала, растроганная и счастливая:

— Человеку-то ведь, Настенька, немножко надо: возвеличь его — он воскреснет и сам лучше станет. А Васенька-то любит погордиться да почваниться. Хоть за душой у него и нет ничего, а принарядить ее охота. Зачем же ему в добром слове отказывать? Ведь всякому человеку хочется перед людьми чем-нибудь отличиться. А радости-то у людей очень даже мало, Настенька. Нет радости — так надо ее выду-

мать. Выдумать-то ее совсем легко, только сердце для этого нужно легкое да приветливое.

Должно быть, ей доставляло большое удовольствие выдумывать радости для людей.

VIII

Однажды в воскресенье к нам во флигель пришли приятельницы Манюшки: Раиса, Мара и Люба. Мара и Люба — девушки, а Раиса — замужняя. Она была высокая, крупная, держалась уверенно и гордо. Лицо у нее было белое, с густыми бровями и тонким носом с горбинкой. Она поразила меня сразу же, как появилась с подругами у нас в комнате. Вошла она, как хозяйка, зорко оглядела всех, небрежно толкнула губами Манюшку и Дунярку, а мне подала руку.

— Здравствуйте, отрок!

А на мать посмотрела пристально, вопросительно и молчаливо, словно опасалась обидеть ее. Потом заявила решительно:

— К тетушке Степаниде пойду — слабость к ней имею. Мудрая старушка. Хоть и смрад разводит, а душа — сад ароматный.

Такое сравнение показалось мне нелепым, и я засмеялся, не сводя с нее глаз. Она удивленно подняла брови, потом строго сдвинула их к переносью.

— Что смешного я сказала, отрок? — И вдруг сама усмехнулась, прикладывая пальцы к губам. — А пожалуй, верно — смешно: в душе — аромат, а разводит смрад. Но ты, родной отрок, поживи, узнай людей — и не такие смешные слова услышишь.

И она ушла, красивая и статная.

Манюшка с упоением ставила на стол крендели, колбасу, белый калач, пирожки с картошкой, а Дунярка, с новой красной ленточкой в косичке, в шелковой юбке и батистовой кофточке, звенела чайной посудой и расставляла ее по краям стола. Она любовалась ослепительно вычищенным медным подносом, мечтательно брала с подоконника плошки с цветами и, как святыню, ставила их на середину стола. Она

так была занята этим серьезным делом, заботливо поджимая губы, что ее веснушки, казалось, шевелились и ползали на лице, растревоженные ее волнением.

А Манюшка нежно кудахтала:

— Гостенёчки дорогие! Милые вы мои! Люблю-то я как вас! Молодые-то вы какие! Радость-то вы какую приносите! Словно солнышко в комнатке у нас играет. — И с огорчением и тоской в лице жаловалась: — Только вот сестрица Офимья страмит меня за это удовольствие: «Я вот молюсь, говорит, смерть у меня в доме-то, а у тебя — пляс да веселье. Лестовка у меня из рук валится, и злоблюсь я, грех еще больше на душу мне наводишь. Нет чтобы вместе со мной канун отстоять богородице... Гляди, Марья, беда-то ведь не дремлет...» — «Меня, говорю, Офимьюшка, богородица простит: она ведь тоже радость любит. Неспроста мы ей молитву творим: «Богородица-дево, радуйся... благословенна ты в женах...»

Гостьи смеялись.

Мара, черненькая, маленькая, с завитым чубиком, с горячими карими глазами и вздернутым носом, вертелась по комнатке, поправляла волосы и говорила грудным, задорным голосом, широко и звучно упирая на «а»:

— Афимья — карга. И Жеребок и она друг другу под стать: он — волк и алкоголик, а она — ханжа. Вот и сын от чахотки помирает. Не семья, а чума. Этот дом все на версту обходят. Ох, и хочется это чертово гнездо раскидать... или сжечь дотла!..

Манюшка в ужасе взмахивала руками.

— Да что это ты, Марочка! Да как это у тебя язык-то поворачивается? Да у меня сердце обмирает от такой страхоты. Милая ты моя, птичка золотая! Ведь у тебя карахтер-то легонький: ты как чаечка на солнышке летаешь, а такие черные мысли в голове носишь... И не говори мне этого — с ума сойду.

Мать сидела в сторонке отчужденно, застенчиво, наблюдала за гостями с растерянной, застывшей улыбкой и не знала, что делать, — не то уйти из комнаты, чтобы не мешать компании, не то помогать Ма-

нюшке в ее гостеприимных хлопотах. А я сидел в заднем углу на кипе мочал и перечитывал «Руслана и Людмилу». Почему-то мне хотелось ее читать по праздникам, под звон колоколов. В будни я прятал ее, а читал растрепанные книжки без начала и конца. Эти книжки я покупал у краснолицего и краснобородого лавочника за семишник. У него на прилавке они лежали беспорядочной кучей. Он отрывал из книжек листы и делал из них фунтики. Тут были повести о разбойниках, о каких-то заморских рыцарях, о дурацких похождениях пошехонцев. Хоть я и хохотал над их глупостью, но мне было обидно за мужиков, которые в этой книжке изображались безнадежными остолопами.

Раиса очень понравилась мне своей гордой повадкой, и я был уверен, что она никого не боится и никогда не даст себя в обиду.

Мара же совсем не замечала ни меня, ни матери. Она казалась мне не настоящей, как и ее странное имя. И смеялась она без охоты.

Люба, молоденькая, щекастая и губастая, с большим узлом золотых волос на затылке, с зелеными глазами, вся цветастая, в бесчисленных сборках, лоскутках и брыжжах на юбке и на кофточке, все время готова была захохотать. Ее глаза ловили каждое движение и Манюшки, и Дунярки, и Мары и искали в них что-то смешное и забавное. Пухлая грудь ее колыхалась от нетерпения. Когда Манюшка в ужасе от слов Мары села на лавку, сложив руки ладошками, Люба заливисто захохотала и долго не могла успокоиться. Но ей хотелось еще смеяться, словно смех для нее был неутолимой потребностью. Мара лизнула свой палец и поднесла его к ее лицу.

— На, потешься над этим смеюнчиком.

И Люба действительно смеялась над ним до слез. Дунярка дернула свой колокольчик, и он залился весело и раскатисто. Люба взвизгнула от изумления, вытаращила глаза и беспомощно откинулась к стенке. Лицо ее страдальчески исказилось. Захохотала и Мара, не отрывая от нее глаз, смеялась и Манюшка, сложив крестиком руки на груди. Мать тоже

смеялась. Она конфузливо закрывалась концом полушалка. Когда все прохохотались, Мара с мокрыми глазами серьезно прикрикнула:

— Замуж тебе надо, Любава, а то бурлишь зря, как самовар!

Потом она нацелилась на мать и, с озорным блеском в глазах, подошла к ней. Пристально, с лукавым удивлением, осмотрела ее голову и ткнула пальцем в рубец от повойника.

— Зачем у тебя эта шишка? У нас здесь такой хомут не носят. Засупонили тебя, а ты терпишь, дуреха. Ну-ка, я приведу тебя в человеческий вид.

Она хотела снять с головы матери платок, но мать в ужасе откинулась к стене и отбросила руки Мары.

— Да разве можно? — залепетала она. — Да, чай, меня Фомич-то убьет... Разве бабе хорошо без волосника ходить.

— Вот так дуреха! — изумилась Мара и схватилась за голову. — Такой дурехи я еще не встречала. Эх ты, маланья — голова баранья!

Люба всплеснула руками и опять залилась хохотом.

Но Мара уже не смеялась, а отвернулась обозленная.

Манюшка вскочила со скамьи и ласково погладила Мару по плечу.

— Ты, Марочка, не конфузь Настеньку: она еще не огляделась, не свыклась с нашим народом. В деревне строгости: женщине там ходу нет. Там ее за человека не считают. Так она и сжилась и с кулаком и с волосником. Ты уж, Марочка, пожалей ее да приласкай: ведь бабы-то ласки там не видят.

И, как опытная и находчивая хозяйка, просеменила к матери и обняла ее.

— А ты, Настенька, не расстраивайся: женщины наши — хорошие. Они по себе знают, как людям жить трудно, как они мучаются. Они трудом живут, а каждая копейка у них слезой моется. Хоть с виду-то они и вольные, да вольность у них мозольная. Ну, озорничают немножко и грубиянят. Без этого здесь затон-

чут, затуркают. Марочка к тебе не со зла, а от сердца подошла.

Мара поправила прическу у зеркала.

— Мы хорошие, когда пляшем да плачем. Без вольности и не полаешься, а драться каждый день с подлецами надо. Повойник с бабочки я сдеру: он душу у меня выворачивает. Собака на цепи — не зверь, а баба в повойнике — не женщина.

Эта Мара казалась мне жгучей, как крапива. Она жалила каждым словом и каждым взглядом. Ее развязность и порывистые движения, самоуверенность и напористость подавляли мать, а меня как будто забивали в угол. Я возненавидел эту Мару, которая распоряжалась здесь размашисто, самоуверенно, как у себя дома. Манюшка рядом с ней казалась смешной и жалкой: хотя она и гостеприимно хлопотала и вся пылала от праздничной радости, но совсем не похожа была на хозяйку. Только Дунярка не отрывала от Мары восторженных глаз. Я видел, что ей самой хочется быть такой же: она невольно делала озорное лицо и терлась около нее, повторяя ее движения. А когда Мара заметила, как Дунярка влюбленно следит за нею, она засмеялась и прижала ее к себе.

— Ну что, Душка-полушка, нравлюсь я тебе?

— Ух, Марочка! — задыхаясь, взвизгнула Дунярка. — И сказать не могу... Страсть нравишься! Уж такая ты интересная, такая шиковая! Прямо — краcота вашей чести!

Но Мара с шутливым недовольством оттолкнула ее.

— Ну, тебе еще рано завидовать. Ты еще от горшка два вершка. Тебе еще расти да расти... Ты вот лучше похохочи вместе с Любавкой. Покажи ей пальчик.

Люба как будто ждала этого момента: она вся затряслась от хохота.

— Видишь, какая это заводная машинка? Она хохочет и тогда, когда слезы льет. Сидит в ней чертик и щекочет ее.

Этот беспричинный хохот Любы и страдальческое ее лицо, красное от напряжения, тревожили меня странным своим беспокойством.

Мы сидели с матерью в заднем углу, как чужие в своем жилье. В пухлой деревенской юбке, в белой кофте-разлетайке, в шерстяном цветистом полушалке, повязанном на повойнике в виде кокошника, мать чувствовала себя одинокой, беспомощной, отверженной. Я же с обидой чувствовал, что над нами потешаются, что Люба хохочет, видно, не потому, что ей пальцы показывают, а потому, что мы с матерью кажемся ей смешными своей деревенской нелюдимостью и дикостью. После того как Мара наскочила на мать, она уже больше не замечала ее. И Дунярка тоже не желала видеть меня, словно стыдилась, что в их чистенькой комнатке сидит деревенский вахлачок. А мне хотелось вскочить и крикнуть им:

«Чего вы охальничаете? Хуже мы вас, что ли? Мы у себя дома, а вы в угол нас загнали. Вы не гости, а бесчинницы!»

Я и мучился от нашего отчуждения, и переживал неиспытанные волнения. Эти новые люди ворвались к нам так беззастенчиво, что я сразу был захвачен их смелостью и размашистой вольностью. Я никогда еще не видел таких напористых девчат и такой женщины, как Раиса, — уверенной в себе, сильной и знающей себе цену. И я чувствовал, что мать переживает то же самое: ей было тягостно от своей привычной бабьей пришибленности, но к этим людям влекло ее острое любопытство.

Вошла Раиса с кипящим самоварчиком, поставила его на медный поднос. Самовар клокотал, пыхтел, шипел, выбрасывал пар кверху и в стороны и выплескивал воду из-под крышки. Манюшка в ужасе бросилась к нему с чайником и горестно закричала:

— Дунярка, дочка, что же это ты самовар-то проглядела? Раисочку заставила трудиться!

Но Раиса спокойно и твердо отстранила ее, взяла у нее чайник и заварила чай.

— Сейчас — я хозяйка, тетя Маша. Рассаживайтесь, где вам нравится. Мара, на место! Не красуйся перед зеркалом, краше не будешь, так и останешься черненькой. И не озоруй. Вижу, опять выкинула ка-

кой-нибудь фортель. А Люба знает свое дело — хохотать: ишь, как развезло ее!

Люба зашлась хохотом, отмахиваясь от Раисы обеими руками. Но Раиса строго уставилась на нее.

— Ну-ка, замолчать!

И, к моему удивлению, Люба сразу же оборвала хохот и сконфузилась. Но лицо ее все еще дрожало от мучительной судороги.

Раиса подошла к матери и осторожно взяла ее за руки. Она улыбнулась ей тепло, дружески, зная, что мать тоже улыбнется и доверчиво подчинится ей. Красивая фигура ее, в пышной серой юбке, очень длинной — до самого пола, в снежно-белой кофте с крылышками, была гибкая, сильная, властная.

— Пойдем-ка, Настя, к столу, сядешь вместе со мной. Не стесняйся: ведь ты у себя дома, а на девчат не обижайся. Они не лучше тебя, а кой в чем и хуже. Знаю, что Мара тебя немножко потревожила. Она озорует не со зла, а от тяжелой молодости. Она на форпосте работает, на селедке. Гнет спину целую неделю, а в воскресенье хочется повольничать — свое взять, себя показать.

Мать робко, с надломом в голосе сказала:

— Да я ничего... Она — девушка: поиграть охота.

Раиса кивнула головой на Мару.

— А ты видела, какие у нее руки-то? Просоленные, в ранках. А Люба девушка безобидная. Она однажды вместе с воблой в чану искупалась и с тех пор хохочет. Может, это и хорошо, что хохочет. Она сейчас дома работает — швейка, на плот больше не ходит, боится. Ну вот, люби их и жалуй. А о себе не буду говорить — самая простая баба... правда, с характером немножко. Не даю себя в обиду и люблю себя больше всего на свете. Впрочем, и хорошую работу люблю, когда душа поет.

Не переставая говорить, она подвела мать к столу, села у самовара и посадила ее рядом с собой. Мать как будто проснулась от нудного сна, и лицо ее посвежело, а в глазах заиграли огоньки. Она подняла голову и засмеялась:

— Как чудно-то: словно я с тобой всю жизнь — подруга. Сразу сердцем скипелась.

— Вот и хорошо, — согласилась Раиса и стала разливать чай. — Верь мне, не обманешься. Вот тоже тетка Степанида — вернее и правдивее человека нет, — Раиса повернулась ко мне и удивленно подняла шелковые брови. — А ты чего в угол забился, отрок? Читать сейчас не время: люди занятнее, чем книжка. Не хмурься. Иди-ка сюда: я ведь знаю, что я тебе нравлюсь.

Она так была красива, что я не мог оторвать от нее глаз. Про нее так и хотелось сказать: «А сама-то величава — выступает, будто пава...» Должно быть, таких женщин, как она, в песне называют «белыми лебедушками». Она не рисовалась, не играла, не кичилась, а вся была теплая, ясная, пригожая и очень простая, словно не собою гордилась, а всеми нами, как старшая сестра. Мне все в ней нравилось: и белое лицо, и голубые глаза, умные и проницательные, в длинных ресницах, и густые брови, точно вышитые гладью, и точеный нос, и упрямые губы, дрожащие от улыбки, и открытая высокая шея, которая ни перед кем не согнется... Ее проникновенный и задушевный взгляд был неотразим. Но странно, он не смущал, не подавлял, а привлекал к себе, и мне хотелось с радостью смотреть в ее милые глаза. Впервые я ощутил в сердце сладкую боль и непонятную печаль, и мне почему-то хотелось заплакать. Я послушно встал и, не отрывая глаз от Раисы, подошел к ней с книжкой в руках.

Она положила свою руку на мое плечо и всмотрелась в меня.

— Не родись счастливым, а родись кудрявым... Какие золотые у тебя стружки! И глаза как у младенца. Толстогубенький, курносенький. Значит, красоту любишь, отрок. А таких и я люблю. Будем друзьями. Я тоже книжками увлекаюсь. Что это у тебя?

Я растерялся и выпалил слова, которые я часто повторял про себя:

— Людмила... моя прекрасная Людмила! Руслан и карла Черномор...

Должно быть, это вышло у меня неожиданно забавно, потому что все засмеялись очень весело, от души. Но я не смеялся, не смеялась и Раиса и смотрела на меня пытливо, понимающе. Она взяла у меня книгу и полюбовалась ею и вблизи и издали, потом открыла ее и прочитала надпись Варвары Петровны.

— Какая хорошая женщина писала! Слова-то какие! Эту книжечку ты храни, отрок, до возрасту лет. У меня тоже книжки есть. А муж мой — машинист на пароходе. Он раньше во флоте служил. У него много разных альбомов, всякие страны и люди. А книжку твою я тоже читала. Скажи-ка по правде, — лукаво прищурилась она, — кого это ты Людмилой-то назвал? Уж не меня ли?

Я храбро поднял голову, но промолчал.

Мара встряхнула своим чубиком и возмущенно крикнула:

— Бормочут там какую-то чепуху! Брось, Раиса, с парнишкой возиться! Совсем даже не интересно. Бери гитару — споем.

Но Раиса вздохнула и поставила передо мной чашку чаю.

— Что же... верно, пожалуй, отрок. Все мы Людмилы, пленницы... Рвемся на волю... Может, и вырвемся когда-нибудь. Надо только, товарки, драться, чтоб не мордовали и душу не уродовали всякие черноморы.

Она встала из-за стола, взяла гитару с кровати Манюшки и села на табуретку, посреди комнаты. Лицо ее стало строгим и задумчивым. Она глядела в окно невидящими глазами и провела пальцем по струнам. Бархатно вздохнул грустный звон. Запели высокие струны, застонали басы, и нежным перезвоном затрепетал печальный напев. Все замолчали. Кто-то вздохнул, а Люба надорванно ахнула. Мать изумленно раскрыла глаза, и у нее задрожал подбородок. Мне показалось, что она сейчас заплачет, но лицо ее застыло в мерцающей улыбке. Манюшка склонила голову и подставила кулачок под подбородок. Дунярка с лукавым смехом в глазах подмигнула мне и непоседливо завозилась на месте, уткнув руки в бока:

погоди-ка, мол, скоро плясать будем... Но мне была противна ее нетерпеливая возня, и я был доволен, когда Мара стукнула ее пальцем по лбу и прошептала: «Не егози, коза!» Глаза у Мары с мольбой смотрели на Раису. Я же сразу замер и только чувствовал, как по телу струилась приятная истома, а сердце сжималось от желанной печали. Такой музыки я еще не слышал никогда, и пение гитары охватило меня, как неожиданное счастье. Звон струн был туманный, нежный, вздыхающий: звуки порхали, переплетались, стонали, смеялись и плакали, и мне чудилось, что все пело — и стены, и солнечный воздух за окнами, и посуда на столе, и все лица, и весь я, до самых глубин, которых до сих пор никогда еще не ощущал в себе.

Раиса сидела суровая, с горячими глазами, и белое лицо ее, казалось, побледнело еще больше. Голова ее, увенчанная золотыми косами, завязанными в плотный узел наверху, немного откинулась назад, а сильная фигура застыла во властном спокойствии. И вдруг, подавшись вперед, она оглядела всех ласково-строгими глазами, сияющими из-под длинных ресниц, и запела низким, очень тихим голосом, глубоким и сердечным:

Что так жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?

Мара положила голову на руки и грустно вторила ей:

Или сердце забило тревогу,
Что лицо твое вспыхнуло вдруг?

Раиса переглянулась с ней, кивнула головой и сдвинула брови. Она прислушалась к струнам, потом вскинула голову и с печальной усмешкой тревожно спросила густым речитативом:

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..

И взмахнула правой рукой, требуя, чтобы пели все, но крикнула Маре угрожающе:

— Сердцем, сердцем, Мара!.. Счастье почуяло сердце...

А Мара откинулась назад и закрыла глаза.

Люба вся устремилась к Раисе, и глаза ее утонули в слезах. Дрожащим голосом она вторила Маре:

На тебя заглядеться не диво...

Дунярка с веселым задором закричала, покрывая голоса:

Полюбить тебя всякий не прочь...

— Дунярка! — в тревоге прикрикнула на нее Раиса, словно Дунярка оскорбила ее своим веселым голосишком. — Не смей шалить! Ты еще куклёнок... Молода!

И в раздумье, как будто раскрывая свою душу, вздыхала:

Поживешь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна и легка...

Мара опять уронила голову на руки и закачалась из стороны в сторону, а Люба словно плакала:

Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдешь мужика...

Струны гитары вздрагивали и плакали под пальцами Раисы, а она поднимала и опускала голову, словно сама изливалась в звоне струн.

— Эх, Раиса! — крикнула вдруг Мара и ударила ладонью по столу. — Пускай жизнь наша — мачеха, пускай она терзает нас... черт с ней!.. а я свое возьму... Молодость свою собакам не отдам... Кровью изойду, а счастье свое найду...

Раиса оборвала игру и положила руку на струны. Они задребезжали и задохнулись.

— Ах, Мара, дорогая, где оно, это счастье? И кто может сказать, что такое счастье? Оно тройкой пролетело мимо...

Мара с злым убеждением и жгучими огоньками в глазах рванулась к ней.

— Это ты... ты можешь сказать. Ты — умная и сильная. Тебя не сломит ни вражда, ни нужда. Ты не

дашь себя связать и растоптать. Ничего и никого ты не боишься. Ты молодая, красивая, а все вынесла — и сиротство, и ватаги, и беззащитность, и мужское разбойство, а стала еще сильнее да краше. Вот оно, счастье-то! Да рядом с тобой, родная моя, я словно заново родилась... а ведь чуть было не умерла...

Раиса улыбнулась про себя и медленно повернула голову к Маре.

— Что такое счастье для женщины, Мара? Ничего ей не дано, и нет у ней своей дороги. Любовь? Семья? И в любви она — пленница, и в семье — раба. Во всем она беззащитна. Вот Настя из деревни приехала в волоснике, а бабий волосник — это значит: ты подвластна мужу и чужой семье, и с тобой что хотят, то и делают. А у нас в городе лучше, что ли? Нет у нас ни воли, ни голоса — в плену, в кандалах. И на каждом шагу стерегут тебя волки: ты — только ихняя добыча. Сожрут тебя или искалечат, ты же и будешь виновата. И остается только кричать: будьте вы прокляты и будь проклята ваша жизнь!

Она ударила по струнам, и они зазвенели с гневом и болью. Глаза ее оледенели и стали недобрыми.

— Да, я умная. Знаю. И в этом моя беда. Дураку и в каторге спится, а умному и на воле — ад. Одно надо: стоять крепко на своих ногах, быть настороже с дубинкой в руках и не давать себя в обиду, хоть бы это стоило жизни. Ненавидеть! Драться!.. А радость искать в работе — в работе по душе. Она, работа-то, одна дает силу. Тогда и песня поется хорошо.

— У тебя — муж... любит тебя, — с завистью простонала Мара. — Он — друг дорогой... И я тебя люблю и умереть за тебя готова... И уваженье у всех к тебе... и боятся тебя...

Манюшка слушала, умильно улыбаясь и подпирая подбородок кулачком.

— Милые вы мои! Красавицы вы мои! Да кто вас не любит-то? Все в вас души не чают.

— Не любят! — крикнула Мара и опять стукнула ладонью о стол. — Никто не любит, тетя Маша, а боятся... Раисы боятся.

Мать не отрывала глаз от Раисы, словно привороженная, и думала о чем-то мучительно и трудно.

Дунярка непоседливо вертелась на месте и хлебала чай. Но вдруг крикнула обиженно:

— Ну, пейте чай-то, родненькие, да танцевать будем!

Но и на этот крик не обратили внимания.

Раиса засмеялась ярко, сочно и показала белые зубы.

— Вот это самое и есть, Марочка. Заставить себя бояться — и есть наша сила. — И вздохнула. Лицо ее стало жестким. — А добиваться этого очень тяжко. Надо муштровать себя, характер свой закалять. И ночи бессонные, и слезы в три ручья... Заставь себя не плакать, а ненавидеть. Ты говоришь: муж — друг. Нет, Мара, редко у женщины бывает муж — друг.

И она опять стала перебирать струны гитары. Они запели нежно и бархатно.

— А как же, Раисонька, ненавидеть-то?.. — притворно изумилась Манюшка. — Нам жить бы надо кротко, ласково. Надо бы помягче да податливей. Может, ненавидеть-то — нож для нашего сердца?

— Ответила бы я тебе, Машенька, да лучше меня ответ тебе даст вот он, наш дорогой Трифон.

И она кивнула головой на входящего Тришу. Ее лицо вспыхнуло, а глаза сверкнули радостью. Триша вошел так же независимо и нестеснительно, как и она, и ярко улыбнулся. Он повесил черную шляпу на гвоздь и приветственно потряс руками. Одет он был в серый костюм, хоть и поношенный, но хорошо проглаженный. Под широким, чисто выбритым подбородком пухлым узлом был завязан черный платок. Но лицо было костлявое, серое, больное, а глаза горели лихорадочно, взволнованно, словно он только что пережил какое-то потрясение.

— О чем идет спор? — спросил он, пытливо оглядывая всех лихорадочными глазами. — Впрочем, краем уха слышал. Тетя Маня, как ей полагается, проповедует кротость, смирение и собачью покорность. Она и умрет ласковой кошкой. А нам выпало на долю драться. Вот и дети растут: они должны

жить не так, как их отцы и матери. Теперь без драки и по улице не пройдешь.

Манюшка трусливо съежилась и стала как будто еще меньше: Триша, вероятно, давил ее своим прямым и непримиримым характером. Он говорил весело, добродушно, но в его глуховатом, вздыхающем голосе чувствовалась насмешливая злость. Он сел на край скамейки, рядом с Раисой, и быстро обменялся с ней горячим взглядом.

— Эх, хорошо выпить чайку, Раиса, из твоих рук! Ты умеешь меня потчевать.

— Я люблю тебя потчевать, Трифон, — каким-то новым, звенящим голосом сказала Раиса. — Ты ведь кровный мой друг навсегда.

Он засмеялся и, принимая от нее стакан чаю, пропел тихонько:

Распашу я, молода младенька,
Землицы маленько, —
Я посею, молода младенька,
Цветику аленька...

— Пока пашется да сеется — и песня лучше поется, и легче дышится. — Он сказал эти загадочные слова с шутливой беззаботностью, но тихо, себе под нос.

Раиса строго взглянула на него и улыбнулась вздыхая.

— Да, каждый несет свой крест...

Триша дружелюбно посмотрел на девиц и пошутил:

— Ну, а ты, Марочка, все еще продолжаешь видеть волшебные сны?

— Не твое дело, — огрызнулась она и обожгла его своими черными глазами.

— А мне хочется, девочка, чтобы сны-то твои наяву были. Раиса на этот счет волшебница.

Мара почему-то озлилась:

— Ах, какой хороший! Мне сны-то, может, дороже всего. А Раиса мне милее такая, какая есть.

Триша опять засмеялся.

— Чего же ты, Люба, не хохочешь? Смотри, какие штуки откалывает Мара-то!

Но Люба не смеялась: должно быть, она боялась Триши. Она густо покраснела и с натугой ответила:

— Мара хорошая. А с тобой я только кадриль умею танцевать, а не разговаривать.

— Ну что ж, потанцуем, Люба.

Манюшка пищала умоляюще:

— Да ты кушай, Тришенька! Вот пирожков возьми, вареньица... Ведь ты гостенечек всем нам дорогой.

Триша шутил:

— Ты, тетя Маня, всех одинаково ласкаешь — и купца, и моего отца. И всем одни и те же песенки поешь. Жизнь ты свою проживешь легко, без зазрения совести.

— Я всем, Тришенька, приятная. Никто меня не корит, и для всех у меня доброе слово найдется.

— Да и я тебя не корю, тетя Маня. Чтобы так жить, как ты, надо уметь. Ты большая искусница. — Он оторвался от чая и выпрямился с озабоченным лицом. — Сейчас у биржи и у рыболовецких контор — страшенные толпы. Кажется, никогда еще в Астрахани не было столько народу. Каждый пароход выбрасывает сотни семей. И всё мужики. Бегут из деревень. Наши рыбники и подрядчики руки потирают: задаром люди нанимаются, и каторга их не страшит. А сколько народу остается без работы! Как цыганы, таборами сидят на своих лохмотьях — и на берегу, и на улицах, и на пустырях. Много больных. Боюсь, как бы холеры не было. Здесь она постоянная гостья.

Раиса с тревогой взглянула на мать и строго сказала:

— Вот и Настю муж на ватагу отправляет. Не на радость едет.

Люба вдруг в ужасе устремилась к матери:

— И не езди, и не моги, Настя! Пропадешь. Я вся дрожу, когда думаю о ватаге.

— Да, радости мало... — раздумчиво сказал Триша. — Уж раз попал в этот ад, считай, что человек изуродован. Каждый, кто завербован туда, уж себе не принадлежит: раб, жертва...

Мара встряхнулась и покраснела от возмущения,

— Какого черта вы панихиду поете! Не бойся, Настя! Везде хорошо. Я тоже — на плоту. Один черт, что на море, что на Балде. Вот они, мои девичьи руки!

И она протянула красные, дубленые руки в язвах:

— А я вот не хочу, чтобы меня изуродовали, как Степаниду. Я уж и так стала волчихой.

Триша искоса взглянул на ее руки и сердито накинулся на нее:

— Волчиха-то волчиха... а вот руками-то жалуешься. Клыки надо показывать, а не раны на руках. Таких рук много, не удивишь. Мне бы еще своей чахоткой похвалиться! Каждый день двенадцать часов свинцом отравлялся... с четырнадцати лет... да побои, да надсада, да голоданье. Кому и что мы можем доказать? Драться надо. Ненавидеть и драться! И не затравленными волками, а скопом — плотной стеной.

Раиса спокойно, даже как-то равнодушно, сказала:

— Мы только что об этом говорили, Трифон...

— Говорить — мало, надо делать...

— А я баб бунтую, — зло откликнулась Мара.

— Я как-нибудь к вам в гости на плот приду, — пообещал Триша с той же затаенной усмешкой.

Мать сидела испуганная, растерянная, словно эти люди оглушили ее.

Манюшка и тут забеспокоилась, как сердобольная утешительница:

— А ты не убивайся, Настенька. Будешь с людями ласковей — люди-то пожалеют. А перед лаской и демоны, как воск, тают.

Триша с серьезным лицом подтвердил:

— Тетя Маня и сатану умеет заставить голубем ворковать. — И обратился к матери, как близкий знакомый, который хорошо знает ее характер: — Верно, не пугайся, Настя. В деревне тебе жилось тоже не сладко. Ты только забита немножко, а нрав у тебя живой. На ватаге тебе, может быть, будет свободней: народу много — свой брат, рабочий. И помогут в трудный час, и защитят от обиды. Народ наш

хороший. Хоть и злой и отчаянный — вольница, а за товарища горой стоят. Да и полезно тебе там пожить и поработать: конечно, помучишься, да кой-чему и поучишься. Только приглядывайся да смелее будь. В обиду себя не давай. Я бывал там... и бываю иногда... Очень интересные люди.

Мать вдруг встрепенулась и с неожиданным возбуждением и яркой надеждой в глазах засмеялась.

— А я ничего не боюсь. Хуже-то ведь не будет. И работы я не страшусь. По чужой стороне мы с матушкой-покойницей много походили да потрудились. А на ватаге-то хоть вольной птицей поживу...

Раиса погладила ее по плечу и со строгим лицом похвалила:

— Ну, Настенька, я за тебя спокойна. Не пропадешь. Только не забывай, что сказал Трифон. Он очень славный парень. Я ведь тоже на ватагах бывала, да по моему характеру ужиться там не могла. Перед отъездом я тебе ватажную одежду скрою. Ну, а теперь давайте-ка кадриль станцуем. Дунярка совсем стосковалась.

— Наконец-то! — засмеялась Мара. — Тут хочется побеситься, а Трифон душу за загривок хватает.

Триша тряхнул головой и весело засмеялся.

— Дай тебе волю, Марочка, — ты сама в загривок вцепишься.

Дунярка выскочила из-за стола, залетала по комнате и начала бойко отставлять в углы табуретки, а когда мы встали со скамьи, мигом отодвинула ее к задней стенке, к куче мочал.

— Танцевать, танцевать, танцевать!.. — кричала она, прыгая от радости. — Уж как я люблю танцевать-то — страсть! Нас шестеро, я — в кавалерах, а мамынька — дама...

— Не шестеро, а четверо, — распорядилась Мара. — Как же без музыки? Раиса будет играть на гитаре. Дамы — Люба с Дуняркой, а кавалеры — я с Трифоном.

Раиса так же, как и раньше, заиграла на гитаре, как будто для себя: она ни на кого не глядела, а

сидела, строго задумавшись. Пары стали одна против другой и с озабоченными лицами, зыбко, на дыбышках, подбежали друг к другу, а потом опять попятились назад. Потом кавалеры схватили дам и начали вертеться, потом закружились, сцепившись руками, потом менялись местами. Дунярка старалась больше всех и даже подпевала: «Светит месяц над рекою...» Триша изгибался, подтопывал, щелкал пальцами и повелительно бормотал какие-то непонятные мне слова. Его с охотой слушались. Люба уже не хотела смеяться, а с тревогой в глазах следила за другими, и мне казалось, что она очень боялась ошибиться. Мара стала похожа на Раису: сразу как-то выросла, гордо закинула черноволосую голову и смотрела на всех высокомерно.

Манюшка, должно быть, тоже была охотница потанцевать: она все время улыбалась, непоседливо возилась на месте, делала ручками какие-то узоры и причитала:

— Милые вы мои!.. Красота-то какая!.. Как ласточки порхают... Господи, хорошо-то как!..

А мать сидела, завороженная, с широко открытыми, изумленными глазами, и вся светилась. Я никогда не видел, чтобы так красиво танцевали люди: в их упругих и плавных движениях была невиданная мягкость, словно люди плавали по воздуху, и кружились попарно, и переплетались руками в хороводе, и приближались, и удалялись, и пролетали мимо друг друга, и взмахивали руками, как крыльями. Колоколом развевались длинные и широкие платья в бесчисленных сборках, а ноги рисовали на полу сложные узоры.

Когда протанцевали несколько фигур, Триша отошел в сторону и закашлял. Он повернулся к нам спиной и кашлял с одышкой, сплевывая в платок. Раиса смотрела на него с гневным состраданьем, а Мара с виноватой усмешкой. Люба испуганно села к столу и в ужасе шептала:

— Ему не надо танцевать... нельзя ему танцевать... Я знаю... он задохнется...

И вдруг плаксиво засмеялась.

— Ну-с, конец танцам! — заявила Раиса и встала, положив гитару на кровать.

Но Триша быстро повернулся и с мучительной улыбкой, горячей и задорной, запротестовал:

— Почему же, Раиса? Мы еще потанцуем. Я отдыхаю с вами, и мне очень радостно. Впрочем, выйдем-ка на минутку: мне надо сказать тебе кое-что... Да и нехорошо здесь — смердит.

Раиса с прежней строгостью объявила:

— Нет, нет, Трифон. Тебе здесь нельзя оставаться. Я провожу тебя.

Она подала ему шляпу, накинула на плечи себе пелеринку и взяла его под руку.

— Пройдемся и поговорим по дороге. А вы, девочки, меня не ждите. Можете оставаться или уходить. Захвати гитару, Марочка. К вечерку придете ко мне. Спасибо, тетя Маня, за гостеприимство.

И Раиса с Тришей вышли из комнаты. Когда они проходили мимо окон, я видел, как Раиса прижимала к себе руку Триши и он говорил ей что-то с жестким лицом, торопливо и настойчиво.

Мара с угрюмой усмешкой запела тихонько:

Сегодня, в час разлуки,
С тобой, мой дорогой...

— Ну, поехали с орехами, Любава!.. Пойдем на Волгу — на лодке покатаемся.

Манюшка в панике закудахтала:

— Да что же это... девчатки?.. Да куда же вы?.. Так мы и не потанцуем? А уж как хочется мне повеселиться-то с вами, милуши мои!..

Мара зло засмеялась:

— Двое приходят на свиданье... не то на любовное, не то на секретное. А мы для них покрышкой служим. Ах, для Раисы я на все пойду! А Трифон — хитрый, скрытный: не знаешь, о чем он думает.

Люба возмутилась и густо покраснела.

— Триша очень даже хороший человек. Я знаю, о чем он думает... и жизни не жалеет...

Они расцеловались с нами и ушли. В комнатке стало вдруг пусто и скучно.

IX

Как-то вечером отец вошел в комнату в своем толстозадом кучерском кафтане и, раздеваясь, сообщил с довольной усмешкой:

— Ну, Настёнка, подписал контрак на девять месяцев. Шестьдесят рублей в срок. Поедешь в море — на Жилую Косу. Завтра отвезу тебя к подрядчице. Она скажет, когда поплывете. На большие промысла нанял, на Пустобаевские. Это того купца, который деньги в народ бросал.

— Господи, в море! Даль-то какая! — ужаснулась мать. — Аль поближе-то нельзя?

— На ерека́ на зиму не нанимают. Я нынче как раз подрядчицу прокатил. Она тоже меня выбирает. Еще издали орет: «Фомич, подавай!..» — Он засмеялся, вешая на стену балахон. — Толстуха, как бочка, а дерет глотку на всю улицу: «Фомич, катай меня по городу во весь дух, чтобы барыни глядели да от зависти лопались! А прикатишь чертом к конторе — подпишешь контрак на свою бабу». Я и постарался. Вся лошадь в мыле — легко ли такую бочару катать!

Мать слушала его со страхом и с непонятной мне радостью в глазах. Ей, должно быть, жутко было ехать одной куда-то в море, на какую-то Жилую Косу, пугало ее и незнакомое слово «контрак», словно отец продал ее черту и подписал этот таинственный «контрак» своей кровью, как в сказке. Но вспышки радости мне были тоже понятны: она вырвалась из деревенской неволи, из-под гнета дедовой семьи и живет новой жизнью, встречается с новыми людьми, которые сами устраивают свою судьбу, а сейчас и она будет вольная. Хоть отец и не бьет ее теперь, но случись с ним какая-нибудь поруха — он взбесится и сорвет на ней свою злость. И я всегда смутно сознавал, что она не любит его и готова уехать на какую угодно каторгу, лишь бы отдохнуть от этого человека.

Она молча слушала его, молча его кормила, а он был доволен. Он, по-видимому, думал, что ей трудно расставаться с ним, что она боится ехать одна в не-

известную даль, но ведь его воля — закон, который должен выполняться покорно и безгласно. Он не спрашивал ее, хочет ли она, неопытная, беззащитная, закабаляться на какую-то ватагу, у черта на куличках, и не боится ли она пропасть на чужой стороне вместе со мною. Это было не в обычае мужика: испокон веку положено ему распоряжаться жизнью жены и детей. Кто же считается с бабой, и где это видано, чтобы у бабы была своя воля? Зачем же тогда бабе надели волосник? Его, самосильного мужика, дедушка держал в подчинении — не терпел никакого своеволия и не давал слова сказать поперек. Отец сам страдал от унизительного бесправия. Но он все-таки мужик — у него свой норов. А жизнь теперь иная: теперь человек волен распоряжаться сам собою и жить так, как он находит для себя выгодным и необходимым. Теперь в деревне тесно и неуютно и на каждом шагу можно споткнуться и запутаться в тенетах, как Ларивон или Юленков, или сломать хребет, как Серега Каляганов. Но отцу и в голову не приходило, что у матери может быть свой ум, свои мечты, свои желания. Если он и допускал, что есть бабы умные и крепкие характером, как Паруша, то считал их уродливым исключением: значит, муж дурак и тряпка — не сумел взять бабу в руки. Он был убежден, что умнее и «учетистее» его нет никого в деревне, да и здесь, в городе, едва ли кто-нибудь сравняется с ним по разуму. А мать он считал не выше ребенка и совсем не слушал, когда она осмеливалась что-нибудь сказать.

— А чалки больше не крути! — приказал он и покосился на угол, где лежала куча мочал и свернутые в жгуты чалки. — Мочала передай Марье Васильевне.

— Чай, я сам докручу, — обидчиво напомнил я о себе. — Я в день этот урок сделаю.

Мать благодарно улыбнулась мне, а отец, задумчиво пощипывая бородку, не ответил на мой возглас, а обратился к Манюшке, высоко поднимая брови:

— Я тебя не стесню, Марья Васильевна: только ночевать буду, а обедать — в харчевне.

Манюшка поджала губы и жалобно запела:

— Я очень даже радошна к людям, Васенька. А Настенька такая душенька, такая услужливая, что на ладошке носить ее хочется. Только ведь я — женщина, Васенька, а ты мужчина. Что люди-то говорить будут об нас с тобой? Я вдова и, как голубка, чистая.

Отец закатил глаза под лоб и усмехнулся.

— Чай, голубка-то высоко летает да крылышками хлопает, Марья Васильевна. Сколь в нее грязью ни бросай — не достанешь. А она знай себе воркует...

— У тебя, Вася, и на извет есть ответ. Ежели, Вася, слава какая будет, уж пожалей — защити меня.

Отец таял от ее ласковых слов.

— Ведь про тебя, Марья Васильевна, и так слава идет по городу: перед тобой все двери открыты. Все купчихи тебя на руках носят. Уж ежели насчет защиты — не у меня, а у тебя ее просить надо.

Рано утром мать уехала с отцом и не возвращалась целый день. Манюшка тоже исчезла куда-то, принарядившись по-праздничному. Я крутил чалки до вечера и был очень доволен, что выполнил весь урок. Мне хотелось встретить радостное удивление в глазах матери. Дунярка крутила свои чалки, не отставая от меня, и посматривала в мою сторону с насмешливой злостью. Я не ел — работал без перерыва: еще вечером я решил сам перевить все чалки. Мочала жгутиками лежали в углу и в первые часы как будто не убывали. Я повесил два мотка на гвоздь и без перерыва вил чалки одну за другой. К обеду пучки убавились наполовину, и мне стало почему-то работать легче. Я был рад, что мать не приходила, и, охваченный бурным воодушевлением, без устали крутил золотые веревочки несколькими взмахами рук. Дунярка сварливо ворчала что-то, пела песенки, но я не слушал ее. Она не выдержала и выбежала из комнаты. А когда я закончил работу и связывал чалки в пучки, она ревниво жаловалась:

— Ну и окаянный ты, Федяшка! Хотела я тебя перегнать, да замаялась. Ты лучше и прытче меня стал крутить. Гляди-ка, и свой и материн урок сде-

лал! Хотела я с тобой днем по Астрахани погулять, да ты меня разозлил: дай, думаю, его до надсады доведу... А ты как на крыльях летел. Ну-ка ладони-то, чай, в мозолях?

Но мозолей у меня не было: я уже научился крутить легко и удобно, да и руки у меня были грубее, чем у Дунярки, — деревенские руки.

Она смешно присела, подняла юбчонку пальцами и тонким голоском жеманно пропела:

— Чихирь в уста вашей милости!..

И сейчас же ответила другим, вкрадчивым голосом, тоже приседая:

— Красота вашей чести!

Я смеялся: очень у нее выходило все легко и занятно, словно не играла она, а делала так, как надо. Лицо у нее было серьезно, руками взмахивала красиво, а в голосе было что-то «благородное», как у наших барчат.

Завизжала калитка, и впорхнула Манюшка, во всем черном, как монашка. Даже лицо свое она сделала благочестивым и сладким. Должно быть, она была у кого-то из настоятелей или «часовенных» попов: к купчихам она ходила в дареных обносках.

— Мы, мамынька, с Федяшкой гулять сейчас пойдем — на пристани, в сад.

— Душенька, а как же с шитьем-то? Завтра я посулила отнести лестовки-то.

— Я и так целый день работала, — разозлилась Дунярка. — Сколь мозолей натрудила! Шей сама, ежели тебе надо, а я отдыхать хочу. Я на твоих попов не подряжалась работать.

— Душка, Душка! — в ужасе захныкала Манюшка. — Это матери-то! Да у меня и иголка из рук выпадет...

— Скажи Настеньке, чтобы не беспокоилась, — с прежней независимостью говорила Дунярка. — Я гривенник взяла: может, куплю чего. Музыку пойдем слушать, пароходы поглядим. Я уж и так из-за чалок да шитья света божьего не вижу.

Этот бунт Дунярки мне понравился: она не слепо подчиняется своей матери, а умеет пользоваться

свободой. Сейчас она даже сильнее Манюшки — не потому, что озорует и хочет от рук отбиться, а потому, что работает не меньше и не хуже матери, что знает себе цену и имеет право распоряжаться своим отдыхом, как ей угодно.

Дунярка с тем же решительным и строгим лицом и сдвинутыми бровями махнула мне рукой и повелительно крикнула:

— Пошли, Федяшка! Чего стоишь?

Я подчинился ей с удовольствием: в эту минуту она показалась мне сильной и самостоятельной девчонкой, которая знает город и нигде не потеряется. Она была налегке, в одном стареньком платьишке, голенастая, а я — в деревенской рубашке и босой.

На крыльцо вышла скорбно-угрюмая Офимья, с желтым лицом и ожесточенными глазами.

— За что наказуешь, господи? За какие грехи казнишь?.. Хоть бы знаменье какое явил, господи!.. А ты все бродишь, Машка, подолом трясешь. Хоть бы сестру-то пожалела. Зачтет, зачтет это тебе богородица! Иди, беспутная, помолимся, хоть по лестовке отстоим. Да пойдем с тобой Павла-то мушиным настоем напоим: хоть нутро-то его продерет.

Мы с Дуняркой выскользнули из калитки и пошли не по тем улицам, по которым ходил я с матерью, а свернули направо, в переулок, и очутились на задворках, где широко и далеко расстилался песчаный безлюдный пустырь, заросший колючками и дурманом. Вдали густо зеленели сады и виноградники, а над садами взлетала белая колокольня. Там глухо и печально гудел большой колокол. К церкви, скрытой в садах, прыгал на костылях вдоль виноградников одноногий человек.

— Это — кладбище, — пояснила Дунярка. — Туда только одни нищие да старушонки ходят. А поп там старенький, да еще хромой и кривой. А дьячок пьяница и с нищих по пятаку собирает.

Она и этот забытый угол хорошо знала.

— Я с этим дьячком полаялась. Очень я сады да зелень уважаю, по могилкам люблю прогули-

ваться. У паперти только одни нищенки да уроды толкаются и ругаются бесперечь. А мне страсть интересно, когда они друг дружку охалят. Смехота! Подходит ко мне дьячок-то — этакий козел пьяный — и мычит: «Давай пятак, нищенка, на ширмака у меня не постоишь!» А я ему кукиш в нос. «Ты, говорю, сам хуже нищего, медяки с убогих собираешь». Он — за мной, а я виляю меж нищими. Смехота! Наскочил он на одну старушонку, и оба растянулись. Всласть я тогда нахохоталась.

Шла она по зарослям колючек и дурмана, по волнистому песку уверенно: должно быть, привыкла шататься по этим местам, как по своему двору. Она стала еще живее, наслаждаясь свободой.

— А ежели здесь озорники нападут? — забеспокоился я, вспоминая, как опасно было мне ходить одному по деревне.

Но она беспечно отмахнулась и затанцевала по песку.

— Аль боишься? — насмешливо упрекнула она меня и самодовольно подмигнула. — Меня тут никто не тронет: свои своих не обижают. Однова хотели на меня наброситься, да я им оплеух надавала. Только ведь все мальчишки-то — по́ людям. А в праздники они дома отсыпаются аль на Кутуме пропадают, на Балде тоже — чилим собирают. Мы пойдем с тобой к кремлю, а потом в городской сад: там люди нарядные и музыка. Душа моя — нарядные люди! Там — танцы. Сразу человек сто танцуют. А у музыкантов трубы золотые, как жар горят.

Далеко по пепельному песку тянулись один за другим грязно-рыжие верблюды, задирая кверху маленькие головы на индюшиных шеях. Шагали они тяжело, медленно, грузно. Этих верблюдов я встречал и на набережных Кутума, важных, но покорных, и они всегда казались мне смешными своею чопорностью и задумчивой невозмутимостью.

Задворками и колючими переулками мы неожиданно вышли на грязную улицу. Здесь были только длинные лабазы и каменные стены. Меня оглушил грохот тяжелых телег по булыжной мостовой.

Они ехали навстречу друг другу — и пустые, и нагруженные ящиками, рогожными тюками, бочками, пузатыми плетушками и серебристыми ворохами сухой воблы. Широкие двери лабазов были открыты, и около них толпились люди. Грузчики носили на спинах по нескольку ящиков и рогожных кулей и в лабазы и из лабазов. Всюду орали дрогаля и по-хозяйски покрикивали юркие распорядители в пиджаках, шляпах, с бумажками в руках. Дунярка чувствовала себя уверенно и свободно: она, должно быть, часто бывала в этих местах и знала здесь каждую улицу и переулок. Я с оторопью озирался по сторонам, жался к стене от напиравших на тротуар лошадей и от ломовых извозчиков в длинных холщовых рубахах без пояса. Дунярка, вероятно, нарочно повела меня по этим смрадным теснинам, загроможденным возами, лошадьми и татарами, чтобы полюбоваться, как я буду ошарашен этой толчеей. И я видел, что она была довольна. Казалось, что из этого грохота и гвалта невозможно было выбраться.

— Ну и завела тоже! Возов я, что ли, не видал? — запротестовал я и невольно схватил ее за руку.

А ей было приятно, что я у нее ищу защиты: она задорно поглядывала на меня и посмеивалась.

— Аль боишься? Здесь всегда так, с утра до ночи. Татары только кричат да лаются, а хорошие люди — и ребятишек не обижают.

Дунярка небоязливо шла по узенькому тротуарчику и, не выпуская моей руки, ловко пробиралась через толпу грузчиков и ломовиков у открытых ворот лабазов, чувствуя себя свободно и уверенно, словно на своей улице.

— Эх, ты... а еще парень! — насмешничала она надо мною. — Это тебе — не деревня: тут гляди да гляди...

Я опомнился и забунтовал:

— Я, чай, не слепой. Аль лошади-то мне в диковинку? Только татары-то у нас кошек давят да шкуру с дохлых лошадей сдирают.

Дунярка рассердилась:

— Ваши-то татары — бродяги, а эти работают. Лучше наших татар нет работников. А марушки — бабы ихние — приветливые: угощать любят. Мы с мамынькой к ним на Ямгурчев в гости ходим.

На этой каменной, тесной улице стоял тяжелый запах навоза, конского пота, шерсти, гнилых фруктов, вяленой рыбы и селедки. Казалось, что и грязные стены пропитались этим смрадом. Небо над нами было мутное, ржавое: должно быть, над городом плавала пыль, красная от заходящего солнца. Мне было душно в этом каменном городском ущелье, в лошадиной и людской толкучке, и чудилось, что я попал в страшную ловушку, из которой выбраться трудно. Здесь все было для меня ново, неприютно и враждебно.

Дунярка дернула меня за руку и бойко свернула за угол кирпичного лабаза. И сразу передо мной распахнулся необъятный простор Волги. Я даже остановился, ослепленный оранжевым пламенем, полыхающим на безбрежном разливе реки. Другого берега не было видно, только очень далеко темнели в тумане крыши каких-то сараев и деревянных домиков. А по огненному простору в разных местах стояли огромные черные баржи с домиками на палубах, бегали маленькие пароходики. И всюду летали чайки, падали в воду и опять взвивались кверху. Здесь, у берега, у грязных пристаней, стояли двухэтажные нарядные пароходы и выбрасывали из широких, скошенных назад труб ленивый дым. Дунярка стояла, приплясывая, и нетерпеливо махала мне рукой.

— Ты чего это разомлел-то? Словно тебя побанили. А я люблю по городу ходить. Мне очень даже нравится, где люди суетятся да где артелями работают. Сердце радуется, словно на игрище.

Но тяжелая работа грузчиков и ломовиков совсем не была похожа на игрище: они таскали на спине огромные тюки, опоясанные железными полосами, пузатые рогожные кули и, сгибаясь под их тяжестью, с налитыми кровью лицами и выпученными глазами, шагали неустойчиво, словно по узкой и зыбкой доске.

Правда, те, которые возвращались за новым грузом, обливаясь пóтом и тяжело дыша, переругивались и шутили с товарищами, но веселья у них я не замечал. Одно меня захватило — этот артельный дух: все они как будто старались перегнать друг друга и как будто показать, что они не боятся любой тяжести и знают, как с ней обращаться, чтобы не надсадить себя.

Так мы долго стояли у причала одной пристани. К ней прижимался розовый пароход. Он словно отдыхал от многодневного пути. По длинным пологим сходням, широким, как улица, вереницей сходили крючники с такими большими ящиками, что под их тяжестью они казались карликами. Ящики покачивались на их спинах и медленно плыли вниз, на булыжную площадь. Навстречу шагали вверх, перегоняя друг друга, «порожние» грузчики с заспинниками. Волосы и бороды у них были растрепаны, дышали они запаленно и перекликались друг с другом. Один из них, лохматый и бородатый, шел неустойчиво, как пьяный, встряхивал головой, сбивая пот с лица и бороды, а товарищи его хохотали и хлопали его по спине. Один грузчик, молодой, весь коричневый от загара, с нахальными глазами, орал во все горло:

— Ну, мужик! Развезло, как мертвого... Это, брат, тебе не поле пахать, не рожь молотить... Ребята! Штоф водки на стол: деревня город угощает! Помаялся, а в трактире в науку возьмем: наука даром не дается. Он пузом берет, а кости — вразброд.

Мужик не обращал на него внимания и шел тяжело, как больной. Это был Маркел, с которым мы ехали на пароходе. Должно быть, он только что вошел в артель крючников, но без привычки, не зная, как носить тяжести, ослабел и упал духом. Это забавляло грузчиков, и они подтрунивали над ним с добродушной жестокостью.

Угрюмый бородач, с выпученными белками, прохрипел что-то молодому и взял под руку Маркела. Дунярка потянула меня за рубашку.

— Этот мужик — наш знакомый, — сказал я, отшибая ее руку. — Мы вместе с ним из Саратова ехали. У него ребенок умер на пароходе.

— Аль мало таких людей-то? — фыркнула она. — На всех не наглядишься. Чего тебе от него надо? Шагай, а то одна уйду. Чего ты без меня делать-то будешь?

Ее угроза укротила меня, и я неохотно поплелся на площадь, оглядываясь, не идет ли Маркел с грузом на спине.

— Ох, и людей тут надорвалось!.. — поучала она меня. — Без привычки начнут горячиться — ну, и сломают хребет-то. Ведь без сноровки и курицу не унесешь. А эти, другие-то, богатыри, что ли? С грыжами ходят, а ноги как бревна. Нет хуже этой работы: не доживя веку, умирают.

Она все знала и все видела. Я удивлялся ее опытности, самостоятельности и смелости: она ничего не боится и не опасается, что ее могут обидеть какие-нибудь озорники.

Через каменные переулки, мимо вонючих лабазов и трактиров, мы вышли на толкучий базар перед старинной стеной кремля. Собор за стеною взлетал недостижимо высоко, и золотые его главки сверкали в закатных лучах невидимого солнца, как свечи. Я задирал голову, ловил в мерцающей вышине эти главки, и у меня начинала кружиться голова. Чудилось: сказочно высокая башня падает на меня гнетуще и плавно.

На базаре лениво толкался народ. Тут были и рабочие, и оборванцы, и мужики с бабами деревенского вида. Юрко бегали парнишки, пыльные, с обветренными лицами. Никто ничего не покупал, но все озабоченно высматривали всякую дребедень, рассыпанную на парусине: ржавые замки, дверные ручки, гвозди, чайную посуду, старенькие самоваришки, ржавые топоришки и молотки, кучи медных крестиков, пучки разноцветных ленточек, веревки, иконки, изношенные пиджаки и штаны, кучи картузов, сапог и штиблет. В толкучке продавали одежду, рубахи, ремни и кошелки из ча́кана. И люди щупали эти

обноски, прицепивались, перебирали рухлядь на песке, торговались, спорили и переругивались. Стоял мутный гомон и шорох. И мне казалось странным, зачем бездельно и бесцельно толчется здесь народ, прислушивается, приглядывается ко всему и с любопытством сбивается в плотные кучи.

Привлекла меня серебряная гайка, которая лежала у моих ног, поодаль от кучи гвоздей, шурупов, винтов и всякой ржавой мелочи. Старый татарин с жиденькой седой бороденкой, в тюбетейке, сидел, поджав ноги калачиком, и сонно качался вперед и назад, сипло напевая песенку. Около меня толкался народ, и песок кипел от множества сапог, опорков и лаптей. Дунярка стояла рядом со мною, словно охраняла меня от этой душной толпы, которая шевелилась, кишела, но как будто оставалась на месте. И это ленивое, бесцельное топтание расслабляло меня. Сверкающая гайка привораживала, словно играла со мною. Я бессознательно наклонился, взял ее и зажал в руке. Татарин по-прежнему качался и пел свою песенку с закрытыми глазами, а мне совсем не думалось, что меня могли схватить за шиворот и избить, как воришку. Дунярка вытащила меня из толпы и на песчаном бугре перед облезлой стеной кремля лукаво улыбнулась.

— А ну-ка, покажи, Феденька, чего это ты в кулаке-то зажал...

Я разжал пальцы, и шестигранная гайка засверкала серебром.

— Ведь вот ты какой ловкий-то! Хорошо, что татарин не хватился, а то бы нас с тобой пошлепали. И как это ты решился?

Она с жадными глазами выхватила у меня гайку и, любуясь ею, стала перекатывать с ладони на ладонь, словно она обжигала ею руки.

— Красивая какая, словно камень драгоценный!

А я стоял перед нею, замирая от ужаса: ее обличающая улыбка и ехидно-ласковый голос ошарашили меня. Только в этот момент я почувствовал, что я — вор. Я никогда не воровал, никогда ничего не брал

тайком: в нашей семье, строгой и благочестивой, воровство и всякая утайка считались тяжким грехом.

А я вот стащил у татарина-старьевщика гайку — взял ее потому, что она приманчиво сверкала своими отполированными гранями. Я не хотел украсть, а схватил ее бессознательно, как игрушку, не таясь, словно малый ребенок.

Мимо лениво проходили по лиловым песчаным буграм мужики и бабы, оборванные и беззаботные. Прошла ватага парнишек, но нас они даже и не заметили. На колокольне прозвонил маленький колокол, и я почему-то вспомнил, что он звонил уже не один раз. Черные окна колокольни смотрели на меня мрачно и пристально, как-будто спрашивали грозно: «Ты зачем это сделал?» Мне трудно будет вынести глаза матери, полные печального упрека...

Дунярка перекатывала гайку с руки на руку и не отрывала от нее глаз.

— Ты чего с ней делать-то будешь? — спросила она завистливо. — На что она тебе?

Я чувствовал, как лицо мое плаксиво улыбалось.

— Пойдем назад — я брошу ее татарину. На кой она мне?

Дунярка испуганно шагнула от меня и спрятала руки за спиной. Глаза ее стали колючими.

— Да ты с ума спятил, Федяшка! Разве это можно? Ведь он с тебя шкуру сдерет. И думать не думай. Крикнет татарин-то: «Вор, вор! Держи его!» — от тебя и косточек не останется. А она, гайка-то, и копейки не стоит. Татарину и в ум не придет, что гайка у него пропала. — И с умоляющей ласковостью пропищала: — Ты ее мне подари, Феденька: я ее на свой столик поставлю. Это солоничка будет.

С освобождающей радостью я вздохнул.

— На кой она мне? Возьми! Только спрячь ее, чтобы я совсем ее не видал.

— Не дорог подарок — дорога любовь!.. — крикнула Дунярка и неожиданно поцеловала меня. — Ведь и я люблю тебя, Феденька, и буду любить веки вечные. Уедешь ты на ватагу, а я тосковать буду да только об тебе и думать.

А в сердце у меня была тоска, и мне чудилось, что Дунярка издевается надо мною и дразнит меня: «Вор! Вор!..» Словно нарочно, она поглядывает на гайку и перекатывает ее на ладошке. И люди, которые идут по песчаному взгорью, подозрительно оглядывают меня и угрюмо бормочут. Два мужика и баба, пьяненькие, одетые в лохмотья, с безнадежной беззаботностью кричали, не слушая друг друга, обнимались, целовались и растроганно стонали:

— Ежели пропадать, Тимоша... ежели пропадать — так всем вместе пропадать...

— Не хочу пропадать, кум! И воры живут... Везде воры... Хоть неводом их лови...

Я похолодел, у меня зазвенело в голове. От страха я судорожно схватил за руку Дунярку.

— Пойдем скорее, а то я один убегу...

Огромный удар большого колокола в соборе встряхнул землю и будто подбросил меня в воздух. Не помня себя, я побежал по пустырю. Далеко, где-то впереди, над крышами домов глухо простонал другой огромный колокол. В красном огне заката и небо и воздух душно дымились пылью. Где-то очень далеко загудел пароход. И опять потряс воздух удар соборного колокола. Дунярка вцепилась мне в плечо и крикнула:

— Ну, куда ты сорвался? Взбесился, что ли? Погоди-ка!

Она выскочила вперед и загородила мне дорогу: острые, знающие глаза ее смеялись.

— Эка невидаль какая — гайку у татарина стащил! Да она, может, сама ему надоела. Я что хошь могу украсть. У лавочника я и конфетки и айву краду. Я однова связку кренделей стащила.

— Я не вор, — задыхаясь, бунтовал я, отталкивая ее. — И не думал воровать... А ты и у нас чалки крала.

Она смеялась, потешаясь надо мною, и пристально колола меня озорными глазами, словно впервые увидела во мне что-то потешное.

— Да ты куда приехал-то? Деревенщина! Тут все воруют. Хозяин наш, Жеребок, — из воров вор. Чай,

все знают, как он артельщиков обобрал. А работников своих как обдирает! Видал, как Евсей его на всю улицу охалил? Он и отца твоего до ниточки обдерет. А купцы-то... только кровь и выжимают. Поедете с матерью на ватагу — голы-босы вернетесь. Степаниду вон извели: всю жизнь работала, а хуже нищенки. Да ежели бы мы с мамынькой не клянчили да не воровали, мы давно бы околели.

Звон колоколов, густой, необъятный, волнами плыл по городу, и я всем телом ощущал струнную их дрожь. Сиреневые облачка низко над Волгой ослепительно горели снизу оранжевым огнем, а над ними небо было синее, мягкое и теплое. Верхушки высокой башни собора и могучей колокольни раскалились докрасна. Видно было, как в сводчатой звоннице под тяжелым раструбом колокола медленно раскачивалась черная дубина языка.

Дунярка порывисто отвернулась от меня и, щеголяя, гибко пошла по песчаной площади к улице, кудрявой от зелени. Домов за деревьями не было видно.

— В сад пойдем гулять! — крикнула Дунярка. — Иди рядом со мной да улыбайся...

Но на душе у меня было тягостно, и голос Дунярки казался противным. А она, как нарочно, подбрасывала сверкающую гайку и ловила ее то одной, то другой рукой. Косичка ее с красной тряпочкой елозила по шее, как живая. Мне уже не хотелось идти в сад: как-то вдруг я почувствовал, что я очень устал. Мне было грустно и тянуло домой. Сейчас мать ждет меня и беспокоится, как бы со мной чего не случилось в городе: ведь я ушел один впервые со двора, а Дунярка, хоть и разбитная девчонка, от озорников первая убежит.

X

В саду по аллеям бродили говорливые ватаги парней и девчат. Медленно прохаживались барыни с собачками на цепочках, гуляли или сидели на скамьях парочки. На взбитых волосах барынь крошечные

шляпки торчали у самого лба. Парни тоже были в разноцветных шляпах и одеты в пиджаки и в какие-то кургузые курточки. Шагали и мужики с бабами и детишками за руку. На площадке, с большой клумбой цветов посередине, толпилась молодежь около крикливых девчат, которые продавали цветы. За клумбой стояла высокая клетка, и там на стульях сиялп золотом большие и маленькие трубы. Дунярка нырнула в тесную толчею около цветочницы, худенькой большеглазой девушки, которая металась то к одному, то к другому покупателю и щебетала, сверкая зубами. Парочки отходили с розочками или гвоздичками и, улыбаясь, нюхалп их. Дунярка потолкалась немножко в говорливой толпе и выскользнула с цветком в руке. Хвастливо усмехаясь, она небоязливо помахивала им перед своим носом.

— Вот и я с розочкой, — зачванилась она и, подражая девчатам, зашагала как-то вертляво п гибко. — Страсть люблю с цветами прогуливаться! Ах, какой аромат!

Я угрюмо спросила ее:

— Это ты купила цветок-то?

— Ах, Федяшка... Какой ты христосик! С тобой и гулять-то стыдно. Ты сам бы мне цветочек достал, как кавалер. А ты вйньгаешь. Не ругайся со мной: в саду это неприлично.

И, обмахиваясь розочкой, гордо дернула головой и отвернулась. А я приставал к ней:

— Значит, украла? Говори: украла?

— Отстань от меня! — озлилась она, и лицо ее стало острым. — Я гулять с тобой не желаю. Ты верблюд. Я богаче тебя: я с деньгами.

Она юркнула в густую толпу, которая сгрудилась около карусели. Поблескивая, переливаясь искрами, карусель крутилась под музыку шарманки. Девчата, парни и мальчишки сидели на раскрашенных конях и с одурелыми улыбками проносились перед толпою. Я бросился за Дуняркой, но она мгновенно исчезла в человечьей тесноте.

Проскальзывая между туго сбитыми людьми, я не замечал ни толчков, пи пинков. Я пробрался к самой

карусели и на минуту застыл, ослепленный блеском и переливами искр на летающих тряпках и захваченный быстрым круговоротом коней с седоками. Шарманка курлыкала глухо и устало, и музыка была совсем не веселой.

Дунярки нигде не было, и мне стало страшно: она бросила меня, я один в этих незнакомых местах, среди чужих людей. Я даже не знаю, как называется та часть города, где мы живем.

Стало смеркаться, небо на западе заметно помутнело и стало похоже на далекое зарево. Покрикивали пароходы на Волге — и близко и далеко. Гул колоколов замолк, и я слышал только неясный говор гуляющих, смех девчат и шорох шагов. Не то от страха перед неведомыми дебрями города, не то от бессознательного стремления к самозащите, я торопливо выбрался из толпы и, озираясь, с крепко сжатыми кулаками, побежал по аллее назад, к выходу. Дунярки и здесь не было. Я оглянулся, и мне показалось, что она пробежала через аллею. Я остановился и поискал ее глазами, но она не появлялась, и я решил, что она мне только померещилась. Я ненавидел ее в этот миг, и если бы она подбежала ко мне, я надавал бы ей тумаков. Я знал, что наша улица находится в восточной стороне города, на самой окраине, но где она, эта окраина, — я не мог указать: город весь уходил от Волги на восток.

В саду грянула музыка, и фиолетовый воздух, и дома в зелени, и люди, которые шли парами и группами к воротам сада, — все как будто вздрогнуло и встряхнулось. Пролетела через площадь густая стая галок, шарахнулась к собору и растаяла. Я впервые услыхал такую музыку, металлически звенящую, как будто заиграл весь город, с глухими вздохами и буханьем, и почувствовал себя малюсеньким, как муравей. Казалось, что она подбросила меня в воздух и могучий вихрь понес меня куда-то ввысь и вдаль. Сколько времени я стоял, потрясенный музыкой, — я не знал: я забыл, что нахожусь один в незнакомом месте, среди чужих людей, что мне надо бежать — спасаться из этого нагромождения домов и лабиринта

улиц. Очнулся я в тот момент, когда на меня нагрянула шайка босоногих чумазых парнишек и с насмешливым любопытством окружила меня со всех сторон. Кто-то ущипнул мне руку, кто-то дернул за волосы, кто-то ткнул кулаком в бок. Я замер от ужаса.

— Ой, гляди, какой лохматый барбосик! — засмеялся один, а другой деловито предложил:

— Давай, ребята, окрестим его в нашу веру.

Мальчишка без передних верхних зубов схватил меня за рубашку на груди. Я отшиб его руку и надрывно крикнул:

— Не лезь, шарлот, я тебя не трогаю!

— Бей его, ребята! — весело закричали другие, и кто-то оглушил меня кулаком по голове.

Но вдруг все парнишки шарахнулись в стороны: худощавый парень в шляпе смеялся глазами и махал на них палкой.

— Ах вы негодяи! Зачем вы на него напали? Ишь, герои какие! Оравой на одного шиша...

Он подошел ко мне и взял меня за плечо.

— Почему ты один? Заблудился, что ли?

— Я с девчонкой пришел, а она меня здесь бросила.

Парень возмущенно покачал головой, но глаза его смеялись.

— Ведь вот какой неверный народ эти девчонки! Сначала заманила, а потом бросила. Где ты живешь-то?

— И знать не знаю.

— Вот тебе раз! Ну, хоть укажи рукой, откуда пришел-то.

Я указал прямо перед собою и вдруг вспомнил о кладбище и о Балде.

— Ага! — обрадовался парень. — Это уже лучше. Но ведь кладбище и Балда не там, куда ты указывал, а левее. От кладбища до Балды далеко.

Он взял меня за руку и повел по площади, потом остановился и, наклонившись к моему плечу, показал палочкой налево.

— Вот иди сначала по этой улице, а потом у церкви свернешь направо. Там спросишь, где к кладбищу пройти. Валяй! Не боишься? Не робей, держись смелее! Из деревни, что ли, приехал?

— Саратовские мы...

— Ага, земляк мой, значит, — засмеялся парень. — Ну, ежели ты саратовский, значит не пропадешь. Где это саратовские пропадали? Сколько тебе лет-то?

— Десять.

— Ого, самостоятельный парень! Держи кулаки наготове — пробьешься куда хочешь. Главное — не робей. А встретишь вот такую ватагу, как эта шантрапа, прямо держи голову и требуй: «Вы здесь дома, а я приезжий. Помогайте мне хоромы мои найти!» Храбро валяй, кудряш!

Он потрепал меня по плечу и опять засмеялся.

— Ну, прощайте! — благодарно сказал я, ободренный его участием.

— Прощай, прощай, саратовский!

Я побежал по дороге, оглядываясь на моего неожиданного покровителя. Он смотрел мне вслед, взмахивал палочкой и ободряюще кивал головой.

По улице шли навстречу парни с девчатами, скороговоркой болтали и смеялись. С лестницей на плече лениво прошагал старик фонарщик, попались одна за другой две женщины с мокрыми ведрами на коромысле. Смеркалось, воздух был синий и прозрачный. На улице было тихо и сонно. Кое-где у калиток сидели на скамейках женщины с усталыми лицами и задумчиво разговаривали. Они провожали меня равнодушными глазами, но, кажется, не видели меня. В трехоконных деревянных домиках вспыхивали огоньки. На Волге время от времени неохотно гудели пароходы. На углу стояла низкая колокольня со множеством серых колоколов в широких проемах. Эти черные проемы похожи были на широко разинутые рты с оскаленными большими и маленькими зубами. На углу, у каменного столба ограды, я остановился и оглянулся назад, и мне опять почудилось, что недалеко промелькнула Дунярка. Я хотел было побежать ей навстречу, но она исчезла. Завернув за угол, я очу-

тился в пустынной улице, которая уходила куда-то в бесконечную вечернюю мглу. В разных местах сонно тявкали собаки. Мне стало жутко в этой пустой, как будто нежилой улице, и я больно почувствовал себя одиноким и покинутым. Шел я долго, не встречая ни одного человека, и все время ожидал, что из подворотни выскочат злые псы и загрызут меня, и никто не выйдет, чтобы спасти меня от собак. Но псы, вероятно, тоже спали, а те, которые тявкали, не желали подниматься и тратить время на преследование одинокого парнишки.

Я торопился, иногда бежал, спотыкаясь о гнилые обломки досок на тротуаре, улица была глухая, заросшая колючками. На углу одного переулка играли вперегонки несколько мальчишек и девчонок, мои ровесники. Они звонко кричали и смеялись. На меня они и внимания не обратили. Парнишки были в рубашках без пояса, девчонки — в одних балахончиках. Из раскрытого черного окна пронзительно кричала женщина:

— Агашка, иди домой, непутевая! Сейчас же, а то отец ремнем пригонит!

— Сейча-ас! — беззаботно откликнулась одна из девчонок и продолжала бегать.

На меня налетела, задыхаясь, патлатая девчонка, а ее с разбегу облапил парнишка. Они хохотали и дышали запаленно. Вдруг они оба уставились на меня и враждебно шагнули назад.

— Ты откуда пришел? Чего здесь тебе надо?

Я дружелюбно ухмыльнулся и робко спросил:

— Мне к кладбищу надо... живу там...

— Это на кладбище-то? — в ужасе взвизгнула девочка, а парнишка прохрипел, как простуженный:

— На кладбище только мертвецы живут. Сгинь-пропади, нечистая сила!

К нам подбежали и другие мальчишки и девчонки. Одни сгрудились поодаль и недоброжелательно оглядывали меня, как нежданного чужака, другие с озорным любопытством скалили зубы.

Вихрастый парнишка, засунув руки в карманы штанов, враждебно толкнул меня плечом.

— Ты откуда взялся? Кто тебя просил ходить по нашей улице?

Первый парнишка срывающимся голосом прохрипел:

— Он с кладбища... к мертвецам идет... может, он сам мертвец...

Я миролюбиво улыбался.

— Потерялся я. Мне домой надо, а дороги не знаю.

— Не знаешь дороги — так не ходи. Проучить тебя надо. Давайте, ребята, дадим ему взбучку.

Он угрожающе сдвинул брови, вырвал руки из карманов, поплевал в ладони и сжал кулаки. Глазастая девочка с косичкой хвостиком, в короткой юбчонке, оттолкнула локтем косого, шлепнула другого парнишку и по-хозяйски крикнула:

— Не лезьте, дураки! Видите, мальчишка заплутался. Он вас просит выручить его из беды, а вы, как собаки, на него набросились.

Но косой подскочил ко мне и ткнул меня кулаком в грудь. Я схватил его руку и его же кулаком ударил его по лицу.

— Не трогай меня! — разозлился я. — Я на кулачках умею драться: зашибу.

Косой с растерянным изумлением ухмыльнулся, вытер рукавом нос и посмотрел на рубаху, нет ли на ней крови.

Девчонка подхватила меня под руку и, расталкивая ребятишек, повела дальше по дощатому тротуару. Косой хрипло погрозил сзади:

— Ну, помни, бродяга: появишься здесь — живым не уйдешь.

А девчонка обернулась и сердито открикнулась:

— Тебе самому сопатку расквасили. Грозить-то и дурак умеет, а ты сумей человеку в беде помочь.

Должно быть, девочка была самостоятельная и опытная — такая же, как Дунярка, и в голосе чувствовалась умная воля, уверенность в себе и знание жизни. Конечно, у себя дома она — тоже сила и не хуже матери справляется с хозяйством. Из открытого окна опять крикнул нетерпеливый голос женщины:

— Агашка, тебе говорят — иди домой! Сколько раз тебя звать надо?

— Сейчас! Иду! — открикнулась моя провожатая и засмеялась. — Ужинать мать зовет. Она без меня и на стол не соберет. Больная. А папаша меня и пальцем не трогает. Он на мамку рукой махнул, на меня только и надеется. Ну, так вот, соколок: иди по этой улице до конца, упрется она в монастырь, ты у монастыря-то сверни налево. А там иди-иди — и выйдешь на пустырь. За пустырем и будет кладбище. — Она протянула мне руку и опять засмеялась. — Прощай! А здорово ты нашему косому нос утер!

Я пожал ей руку и растроганно пробормотал:

— Спасет тебя Христос... Я сроду тебя не забуду...

— Да ты чего? — захохотала она. — Монах ты, что ли? Христа-то зачем впутал? У меня папаша говорит, что Христом-то обманщики да пройдохи промышляют. Надо говорить: спасибо!

— Ну, спасибо. Только у нас в деревне так не говорят: спасибо-то — к бесу.

Пораженная, она шлепнула ладошками и захохотала.

— Потешный ты какой! Тебя и слушать-то интересно. Ежели у нас здесь будешь, спроси Агашу Щукину, меня все здесь знают. В гости заходи.

Я уже знал дорогу к дому: мы не раз ходили с матерью по улице, где тянулась длинная стена монастыря. Синяя колокольня была видна из нашей улицы.

Теперь я шел уже уверенно и бойко и чувствовал себя вольготно, словно выбрался из густого леса после долгого блуждания. Казалось, что за это время я стал старше, сильнее и смелее. Теперь я уже не пропаду в городе, и он уже не страшен своей громадой, запутанными улицами и жуткими расстояниями. Я уже твердо знал, что где бы ни очутился — все равно найду дорогу. Здесь тоже есть задиристые парнишки, которые нахально лезут драться, но они уже казались мне смешными: не нужно только робеть и показывать свою беспомощность, а дерзко наступать на них и держать кулаки наготове. И, вспоминая о последней встрече с ватагой ребят, я смеялся: как

я ловко смазал этого забияку его же кулаком! В городе, оказывается, есть и хорошие люди. Парень в шляпе — добрый и веселый, похожий на Тришу. Он, должно быть, любит петь песни, а в сад шел, чтобы потанцевать под музыку. А вот Агашка сразу вошла в душу, как родная. Она не бросила бы меня, как Дунярка: увидела, что я один и беззащитен, что я плутаю по незнакомым улицам, где на меня могут напасть драчуны, и сразу же кинулась мне на помощь. Если бы я попросил проводить меня до самого нашего двора, она пошла бы со мной охотно, несмотря на крики матери. А Дунярка думает только о себе и любуется собою. Она извивается змейкой и усмехается ядовито-ласково. Зачем она скрылась от меня? Должно быть, хотела отомстить — наказать меня за то, что я напал на нее за цветок, который она украла у цветочницы. А может быть, она стеснялась ходить со мной в саду? Ведь она была городская, а я — вахлак деревенский; она вертелась, ломалась, вскидывала голову и нюхала розочку, как барышня, а я глазел на все, как простачок, да и одет был по-деревенски — в пунцовой поношенной рубашке с поясом из мочалы, в портках, а волосы острижены в кружок. Она привередливо посматривала на меня в саду, фыркала и учила, как надо ходить, как разговаривать, как обращаться с ней, а я злился, мне было противно ее кривлянье. Ясно, что она хотела поиздеваться надо мною: пускай, мол, поплутает по городу, пускай, мол, один добирается до дому, ежели не хочет слушаться.

Но я в этот день открыл одну важную для себя истину: хотя город и большой и много в нем улиц и переулков, где можно легко заблудиться, хотя людей тут — тьма-тьмущая и все они чужие, неизвестные и не похожие на мужиков, но они как будто не видят друг друга, и в то же время им приятно гулять толпами. Парни не цапали зря девок, и они не визжали и не корчились в их руках. Здесь, в саду, каждый как будто старался быть пригляднее и лучше, и толпы шли вереницами навстречу друг другу, своей сторонкой, не толкаясь, не озорничая, а если люди задевали плечами один другого — извинялись и даже кланялись

друг другу. Правда, парнишки и здесь враждебно задирали новичков, как меня, но в саду и они были смирные и переставали замечать друг друга. В деревне парни и мужики любили натравливать ребятишек на драку и любовались их возней. А здесь совсем чужой человек разогнал ораву озорников и участливо разговаривал со мною, да еще рассказал мне, как найти дорогу к тому месту, где я живу.

Когда я свернул на свою улицу и в фиолетовых сумерках увидел свои ворота с двускатным козырьком, неожиданно обняла меня за шею Дунярка. Она радостно засмеялась.

— А я, Федяшка, нарочно от тебя скрылась-то. Не от сердца, не со зла, а чтобы поглядеть, какой ты в беде гораздый.

Я сбросил с себя ее руки и оттолкнул ее.

— Не подходи ко мне, трещотка! Я с тобой больше не дружу. Я тебе не кутенок, чтоб ты мордовала меня.

Но она не обиделась и смотрела на меня с лукавой игрой в глазах.

— Да чего ты злишься-то, Федя? Я тебя сейчас еще больше полюбила и прямо за тебя в огонь и в воду полезу. Ежели бы ты голову-то потерял да заметался от страху, я сразу бы к тебе бросилась.

Я мстительно усмехнулся и съязвил:

— Да на кой ты мне нужна-то? Ты только прыгала всю дорогу, как собачонка. А я не маленький и не в лесу: у меня и глаза, и кулаки, и язык есть. Эка, подумаешь, беда какая! Заведи меня куда хошь — я дорогу найду и никого не боюсь. А ты еще куклами тешишься.

И я победоносно пошел через дорогу к воротам, форсисто склонив голову к плечу, как отец.

Дунярка подбежала ко мне и, задыхаясь, схватила меня за руку.

— Ой, Феденька, как я прогадала-то! — виновато затараторила она. — Не сердись ты на меня, размиленький! Будешь сердце на меня иметь — разнесчастная буду и исплачусь вся. Чай, я это любя сделала,

думала: вот, мол, он упадет духом, позовет меня — а я тут как тут перед ним. А ты вон какой! И с озорниками сладил, и с людями обошелся... И шел-то как резво, словно червонный валет! А я в дурах осталась. Давай, миленький, помиримся.

XI

Никогда еще я не видел мать такой веселой, беспокойной и хлопотливой. Глаза ее стали еще круглее, в них играла затаенная радость и что-то похожее на переливы воды в родничке. Утром она нарядилась и, прихорашиваясь, бегущей походкой ушла в город. А мы с Дуняркой сидели за каретником, и я учил ее читать. Она необычно робко и виновато слушала, как я называл буквы, тыкая в них пальцем, и строго приказывал ей повторять их за мною. Когда она ошибалась и забывала их, я сердился, и она в отчаянии лепетала:

— Беспонятная я какая! Буквы-то у меня, как мухи, летают, и ни одну не поймаешь. А ты их, как бисер, перебираешь и слова говоришь. Чудо-то какое!

Я видел, что Дунярке скучно, что ей хочется играть и выдумать что-то новое, интересное и беспокойное. Она непоседа, любит толкаться среди людей, горячо хватается за работу и соревнуется в быстроте и со мною и со взрослыми. Она жадно слушает россказни Манюшки и очень живо изображает барынь и купчих и передразнивает их, как будто не мать, а она проводила с ними время. И это выходило у нее так хорошо, что мы покатывались со смеху, а Манюшка кудахтала:

— Актерка ты, Душка, чистая актерка. Ну прямо они у тебя всамделишные! Ежели бы они увидали... ух, в обморок бы упали! — И с притворным недовольством совестила ее: — Не делай этого... не греши, Дунюшка. Они благо нам делают, а ты их на смех поднимаешь.

И я удивлялся, почему Дунярка запоминает всякую чепуху, замечает в людях их смешные и забавные стороны и в танцах сразу подхватывает самые сложные

движения, а ни одна буква не держится у нее в голове.

Мать пришла с покупками, веселая, праздничная, и похвалилась мне:

— Все купила, что надо: и коленкору и бумазеи. И тебя наряжу. Отец сам выбирал и денег не жалел. К Раисе пойдем.

Я даже подпрыгнул от радости.

— Нынче же пойдем... сейчас же!..

Из-под вешалов вышла Степанида, тяжело волоча больные ноги, и с угрюмой усмешкой ткнула в бумажный сверток кривыми пальцами в шрамах.

— Ну вот и кандалы себе купила. Ты бы крылышки-то не распускала, голуба, а то и перышки общипают и косточки поломают.

Мать беззаботно засмеялась:

— А я, тетушка Степанида, и думать не думаю. Хуже не будет. Я — как лозинка: гнуть гнули, а не сломали. Я все невзгоды вынесу, никакой работы не боюсь, всякие беды переживу, зато на вольной волюшке, сама за себя в ответе.

— Эта вольная-то волюшка вот до чего меня довела! — прогудела Степанида и шлепнула себя ладонью по лицу и по ноге. — А была не хуже тебя — красивая девка и плясала разудало. Я к чему тебе говорю? К тому, чтобы ты ощетинилась, чтоб ко всякому лиху готова была. Ежели бы ты хвост поджала да захныкала, я бы тебе и слова не сказала. Поезжай! Без страха поезжай, только держись крепче и обиду никому не спускай. Пореветь захочется — озорничай, помыкать будут — на рожон лезь. К артели будь поближе. Там озорников да озорниц любят. Раиса тебе тоже добрый совет даст. Сейчас люди по-новому думают. Она вон красоту-то сберегла. Умная, крепкая бабенка. Она и Тришу в люди вывела: галахом был — спасла. А сейчас он души в ней не чает.

У матери дрогнуло лицо и глаза помутнели от слез. Она рванулась к Степаниде и неожиданно поцеловала ее.

— Ты — как мать мне, тетушка Степанида: и приветила, и позаботилась. Век тебя не забуду.

Степанида улыбнулась, но веки у нее набухли.

— А ты, Настя, сердцу своему воли не давай. Деревню-то свою забудь. Тут такие мухи, как ты, сами к паукам в тенета летят. Целоваться не лезь — губы вырвут и зубы выбьют.

— Уж не ты ли, тетушка Степанида? — растроганно засмеялась мать. А Степанида пошлепала ее по спине и сразу же оттолкнула от себя.

— Парнишку вот своего береги!.. — сердито пробасила она. — Он такой же, как ты, доверчивый. Его вон и Душка вокруг пальца обводит.

— А я, тетка Степанида, и тебя обведу, — откликнулась Дунярка из своего уголка и хвастливо захохотала.

— Знаю. Хоть и хвалю за характер, а под руку попадешься — не помилую.

После обеда мы с матерью пошли к Раисе. Она жила недалеко от Волги, в деревянном доме на высоком кирпичном фундаменте, с красивыми вырезными наличниками. Во дворе был настоящий сад. Яблони были осыпаны восковыми яблоками, маслянисто синели сливы, покрытые седой пыльцой. По обе стороны высокого крыльца на клумбах перед окнами пылали цветы. Развертывались тугие розы — красные, белые, розовые... Пахло пьяняще приятно. В саду, в холодке, на скамейках сидели женщины с младенцами, а на дорожке перед ними играли хорошо одетые мальчики и девочки. В открытое окно высунулась из-за кружевной занавески гладко причесанная Раиса.

— А-а, Настя пришла... и ты, отрок! Ну, ну, пожалуйте в горницу!

Она в окне показалась мне такой же гордой, как и у нас в комнате. Пока мы поднимались на крыльцо, она сама вышла навстречу.

— Ну как, отрок? Нравится тебе наш двор?

— Цветов-то! — пораженный, крикнул я, не отрывая глаз от клумбы. — Я сроду этого не видал.

— Благодать-то какая! — пропела мать, вздыхая. — Словно в раю.

Раиса, довольная, с наслаждением оглядывала и сад и цветы.

— Люблю жизнь украшать. Я и квартиру себе нарочно такую выбрала. Долго искала. И на хозяина такого напала — на садовода. Цветники я сама сделала. Лучше цветов нет ничего на свете: они — как музыка для души, как сказка для глаз. И каждый цветок смеется по-своему. Как ты думаешь, отрок? В садах Черномора было хуже, чем здесь. Там хоть и пышно и волшебно, но сердцу не мило. В неволе и цветы не веселят. А здесь хоть и маленький уголок, простенький, тихонький, да на свободе.

В широком цветистом капоте, подпоясанная шелковой веревочкой с кистями, Раиса взяла мать под руку и повела в комнату. Тяжелая корона волос на голове переливалась золотом. Нет, она не была похожа на Людмилу: это была Царевна Лебедь.

Комната была простая и светлая, оклеенная розовыми обоями. Всюду — и на окнах, и на скамеечках — стояли в плошках и зеленых кадушечках цветы и настоящие деревца с крупными восковыми листьями. Дверь в другую комнату завешена длинной лиловой занавеской, с бахромой, сияющей, как ковыль. На стенах висели картины в рамах. Одна из них большая: по широкой реке плывет нарядная лодка, впереди гребут веслами мужики, а посредине, развалившись, сидит богато одетый человек. Он задумался: должно быть, тоскует. Перед ним полулежит красивая девушка с длинными косами, в широких штанах до самых щикотолок.

— Это Стенька Разин с персидской царевной, — объяснила Раиса. — Слышал ты когда-нибудь о Стеньке Разине, отрок?

— У нас о Стеньке рассказывали, — похвалился я. — Это — разбойник. Купцов на Волге грабил.

— А вот и нет, отрок, — строго оборвала меня Раиса. — Степан Разин за народ с барами дрался. Он мужиков поднимал, и народ шел с ним против помещиков, чтобы землю у них отобрать и крепость уничтожить. А разбойником помещики его называли. Здесь, на картине, он бездельником и кутилой нари-

сован. Он не такой был: он был простой, бесстрашный человек и свободу любил. Он и жизни своей не пожалел, чтобы свободы добиться.

И она вдруг хорошо улыбнулась матери.

— Знаю, знаю, зачем пришла. Садись к столу и выкладывай свое добро. Ты не стесняйся, душа моя: ты — у своих людей, а не у богатых родственников. Люди-то близки по труду да по чувствам, а не по крови. Я ведь тоже с детских лет день и ночь в работе была: и в няньках, и в мастерских, и на ватагах... Знаю, чего стоит слеза и кусок хлеба.

— А ведь как себя выдержала да охранила! — с недоверием и изумлением вздохнула мать. Она несмело опустилась на стул около стола, покрытого блестящей клеенкой, и положила сверток на коленки. — Ты как-то не похожа на простую женщину. А в селе у нас тебя за барыню бы посчитали.

— Да чем я хуже барыни? А чем любая барыня лучше тебя? Надо, Настя, уважать себя и знать, что ты своим трудом живешь и этих барынь кормишь. Ты богаче их всех. Знаешь поговорку? Один с сошкой, а семеро с ложкой. Ну давай, развертывай свое добро.

Она спохватилась и виновато взглянула на меня. С простенькой этажерки она взяла очень большую книгу и положила на диванчик.

— Иди-ка, отрок, посмотри этот альбом: тут много всякой всячины — разные страны, города и люди. Это муж мой, когда на военном корабле плавал, всякие фотографии да картинки собирал.

Я сел на диванчик и приятно закачался на пружинах. На таких диванчиках я еще ни разу не сидел — и в первые минуты почувствовал себя так же неловко, как на верхней палубе парохода, когда я очутился там вместе с Варварой Петровной. Здесь все блестело чистотой, и вся комната кудрявилась зеленью и цветами. Воздух был легкий и пахучий. Желтые гнутые стулья с плетеными сиденьями, как решето, искрились золотом, на стенах висели фотографии и картины в нарядных рамах. На большой этажерке стояло много книг, и толстых и тоненьких, а рядом с ней висела на синей

ленте знакомая гитара. Мне даже почудилось, что она едва слышно прозвенела своими струнами. Вся эта чистота и приятный уют были для меня новы, но очень приятны, потому что это была комната Раисы — такая же светлая, простая, красивая и гордая. Я привык жить в душной грязной избе, с телятами и ягнятами, а у Манюшки — в свалках мочал и чалок, в рухляди постелей и одежды; хотя у нее было опрятнее, чем в нашей деревенской избе, но смрад гнилой рыбы пропитал и вещи и нас самих. А вот здесь я сразу почувствовал, что люди могут жить чисто, радостно, окружать себя цветами, играть на гитаре, быть красивыми и не бояться господ, а Раиса сама похожа на благородную и не уступит барыням ни видом, ни разговором. Мне хотелось, не отрываясь, смотреть на нее и любоваться ею, как сказочной Василисой Премудрой: у нее и волосы — как золотая корона, и фигура ее — высокая, стройная, гибкая, и белое лицо, и шелковые брови, и умные, проникновенные глаза в лучах черных ресниц. И я украдкой поглядывал на нее, когда она плавными движениями рук раскидывала на столе белое полотно и изучала взглядом рост матери. И опять как и в тот день, когда я увидел ее впервые, мне было и радостно и грустно смотреть на нее.

— Ну, отрок, нравится тебе наш альбом?

Я сконфузился и пробормотал:

— А я еще не глядел...

— А ты погляди, потом поговорим. Увидишь, какие есть замечательные места на земле, какие странные люди...

У матери горели щеки, а глаза переливались горячей влагой. Она пылко вскрикнула:

— Гляжу я на тебя, Раисонька, и в ум не возьму: как это ты красоту свою соблюла?

Раиса усмехнулась и, не отвечая, прошла в другую комнату легкими шагами молодой девушки. Мать смотрела ей вслед завистливо и уважительно. Я перелистывал альбом, как слепой: ни одной фотографии не видел и не помнил, какие картинки открывались передо мной. Перед глазами у меня стояла

Раиса, и я ждал, когда она опять появится из-за занавески. Я не утерпел и прошептал:

— Какая она... Раиса-то!

Мать рассеянно обернулась ко мне и вздохнула. Она едва ли слышала мой восхищенный шепот.

Раиса, бело-розовая, появилась с ножницами в руке, и комната стала как будто еще светлее. Певучим, глубоким голосом она проговорила:

— А все дело в том, Настя, что надо бороться за свое достоинство. Как бы это сказать тебе получше? Ну, вот у вас в деревне баре да богачи считают народ чернядью — людьми, которые на них должны работать, а они — властвовать да наслаждаться, потому что у них знания и деньги. А мужики живут, как скоты, во тьме, в грязи. У нас, в городе, тоже не лучше: и голодные, и без работы часто маются, а кто работает — света божьего не видит. Женщины совсем уж несчастные — и под мужем ходят, и под хозяином. Нас с детства к такой доле приучали. Я ведь тоже горя намыкалась пока выросла. Мать у меня на ватаге умерла. А отец стал пьянствовать, с работы его прогнали... так и потерялся в босой команде. Мне уж самой пришлось за жизнь драться да счастье искать. И я тоже чуть не пропала. Да вот своим умом дошла, и хорошие люди помогли. Благородство-то не в том, что ты барствуешь да в золоте купаешься, а в том, что ты трудишься. Все в жизни делается трудом — все, до чего ни коснись. Вот мне и помогли понять, что я-то — не хуже, а лучше любой барыни да жирной купчихи. Я и решила, что я хозяйка в жизни, что не они, а я должна гордиться собой, что правда-то на моей стороне. Вот эта правда очень мне по характеру пришлась. Я вольницей жила, бездомницей и очень дерзко с людьми вела себя. Мне и небо в овчинку было. Ну, а тебе вот трудно придется: ты больно смирная, приучили тебя к послушанию, и боишься всех. До того тебя довели, что страшно тебе и волосник снять. Мне Мара рассказывала, как ты чуть в обморок не упала, когда она руку протянула к твоему волоснику. Ты думаешь, что бабе на роду написано рабой быть — всем служить, ходить под

кулаком и молчать до гроба. А я по-другому научилась думать. Нам, бабам, должна быть особая честь. Мы — не только работницы, но и матери. Ох, сколько я тебе наговорила!.. Ежели ты хоть чуточку поняла меня, и то уж хорошо. Поживешь, пострадаешь — сама многое узнаешь и вспомнишь, что я сказывала... Ты со Степанидушкой калякала?

— Строгая она, да и говорит больно страшно.

— А как же? Старушка много страшного пережила, поэтому и говорит страшно. А на ватагу не отговаривала тебя ехать?

— Посылает: «Обязательно, говорит, поезжай! Только, говорит, умей за себя постоять!..» — «А чего я могу, чего смею?» — «Смей!» — говорит.

— Правильно говорит Степанидушка — знаю ее.

— И вот к тебе послала: «Раиса-то, говорит, лучше меня на путь наставит. Я, говорит, урод, а она, Раиса-то, по-новому думает».

Раиса звонко рассмеялась.

— Ой, хитрая какая да ядовитая!.. Ишь ведь как над нами, молодыми, потешается! Ты ее не знаешь, Настя. Она такая умная да бывалая — любо-дорого поговорить с нею. Каждого человека насквозь видит. Ведь это она меня на ноги поставила и уму-разуму научила: она меня еще девчонкой за волосы схватила да из трущобы вытащила. Я с ней и на ватагах была, и жила вместе с ней. Для меня она — вторая мать. И в школу меня отдала, кормила-поила, ремеслу выучила. А уж гордая какая! Хотела я ее к себе взять, а она ногами на меня затопала: «Не смей, говорит, меня за нищую считать! Я сроду, говорит, на чужой шее не сидела...» Она и Тришу из ночлежки вызволила и к труду приспособила.

Мать слушала ее с жадным любопытством, словно Раиса открывала перед нею новый мир.

— А Степанида сказала, что это ты Тришу-то спасла.

Раиса спокойно и серьезно согласилась:

— И я поработала над ним: мы вместе росли. Но без Степаниды я ничего бы не сделала. Она нас обоих опекала. А теперь он мастер хороший в типографии.

И в газете пишет. Его все боятся и готовы со свету сжить. А это ему нравится: чем ни больше бесятся и рычат на него, тем он веселее становится.

— Да как же это? — ужаснулась мать. — Да ежели заушат? Ведь не доживя веку сгибнет.

Я оторвался от альбома и подхватил слова матери:

— У нас в селе Петрушу Стоднева ни за что в каторгу угнали, а Микитушку избили всего и тоже в Сибирь услали. И ни слуху об них, ни духу. Оба за правду стояли. Как их ни мучили — ни один не отступился.

Раиса с удивлением раскрыла глаза и уставилась на меня, позвякивая ножницами.

— Да ты, отрок, оказывается, и об этих делах можешь рассуждать...

Я обидчиво возразил:

— Маленький я, что ли? Я дома-то всякую работу делал. И знаю, как у нас в селе люди живут.

Раиса засмеялась и опять пристально поглядела на меня.

— А мне и невдомек. Сидит мальчик и альбом перелистывает. Думала занять его картинками, чтобы не скучно было. Оказывается, он со мной тоже беседует да еще выражает совсем недетские мысли. А теперь — уговор, мой дорогой отрок: ежели кто-нибудь у тебя спросит обо мне или о Трише — ни слова, а то... видишь эти ножницы?.. обязательно отрежу язык. Я злая и мстительная.

Но я уже был счастлив, что она говорила со мною, и весь загорелся от волнения. Мать сердито мигала мне, чтобы я замолчал, но я даже вскочил с дивана и решительно проговорил:

— Я сам знаю, тетя Рая. Ты мне не грози: ножницами-то полотно режут, а не языки. А за тебя я в огонь и в воду полезу.

Она ахнула, уронила ножницы и подбежала ко мне, раскинув руки. Мне почудилось, что я ослеп от блеска ее чудесных глаз. Она обняла меня и поцеловала. От нее пахнуло теплым ароматом.

— Милый ты мой, свежий ты мой мальчик! Ты прости меня за глупые слова... Верно, по-дурацки у меня вышло с ножницами...

Она звонко засмеялась и кинулась к матери.

— Настя, гляди-ка, сын-то твой... ведь он влюбился в меня...

Мать, польщенная, смотрела на меня растерянно и тоже смеялась.

Моя вспышка угасла сразу: мне показалось, что Раиса надо мной смеется, что она смотрит на меня как на дурачка. Но мне было хорошо на душе и почему-то хотелось заплакать. Я сел опять на диван и уткнулся в альбом.

— Ты не обижайся на меня, отрок. Я просто не знаю деревенских ребят. Они, оказывается, взрослее и зрелее наших городских подростков. Спасибо за науку. Хорошо бы тебя в школу определить. Может, на ватаге и удастся. На Жилой Косе промысла большие. Школа там есть, знаю. Ты уж позаботься о нем, Настя. — Она внимательно оглядела меня и опять засмеялась. — Ну, так что же такое — эта правда-то? — спросила она с лукавой игрой в глазах.

Я никогда не забывал ни о Микитушке, ни о Петруше Стодневе. Они жили совестливо и не боялись ни барина, ни мироеда Митрия, ни начальства. Они хотели, чтобы всем было хорошо. А за это их скрутили и заковали в кандалы. Я ненавидел станового, старосту Пантелея, попа, барчат, и они до сих пор снились мне в страшных снах. Я уже понимал, почему погиб Серега Каляганов, почему пил и буйствовал дядя Ларивон и почему издевались сельские власти над бабушкой Натальей. Все это совершалось на моих глазах, я сам переживал эти события. И вот сейчас, когда Раиса спросила меня о правде, забавляясь моими недетскими словами, я с обидой пробормотал, чувствуя, как давит меня ее ласковая сила:

— Ты сама знаешь... а надо мной смеешься...

— Милый! — сказала она с упреком в голосе. — Я и не думала над тобой смеяться. Верно, и я знаю, какой правды люди хотят. Ты еще мал, многого не понимаешь. Вырастешь — сам увидишь, где правда находится и как ее добыть.

Альбом был большой, толстый, и на каждом листе его с обеих сторон налеплены были фотографии и цветные картинки. Тут стояли матросы на борту корабля, матросы на берегу, какие-то города, морской прибой, голые чернокожие люди, незнакомые деревья, какие-то города с огромными домами, которые громоздились один выше другого. На берегу моря — гора, и из вершины ее поднимается дым, как из трубы. А тут — как застывшее море — пески, и среди них шагают один за другим верблюды. Какие-то каменные шалаши, как горы, подымаются ввысь из этих увалов песка, и у такого же каменного полкана с бабьей головой в платке стоят малюсенькие матросы и скалят зубы. И везде среди этих разных людей, чужих по облику, и голых, и в длинных рубахах, без порток, красуется бравый, горбоносый матрос с черными усами, закрученными колечками, и густыми бровями, которые срослись у переносья. Он улыбается, смотрит на меня, как будто хвастаясь: «Вот я где побывал, вот какие чудеса видел!»

Я перелистывал альбом и с начала и с конца — и не мог насмотреться. Передо мною открывался огромный волшебный мир, который не мерещился мне даже в сказках. Земля, оказывается, бесконечно велика: и моря, и снеговые горы в облаках, и безбрежные пески; и неожиданные города с церквами, похожими на надетые друг на друга колокола, с деревьями, как высокие папоротники; и люди, черные, как вымазанные сажей, голые, страшные, как черти, и плосколицые, с крошечными глазками, в балахонах, в шлыках, с длинными косами; и женщины, закутанные в белые холсты с головы до ног; а рядом с лошадьми — длинноухие полулошадки-полутелята, и слоны с будками на спинах...

Это был какой-то ненастоящий, выдуманный мир, далекий, мерцающий, как сон. Но бравый матрос с усиками стоит твердо в своей полосатой рубашке, в бескозырке, в широких штанах и, опираясь рукою на огромного идола, бесшабашно улыбается. Сказочные видения блекнут и превращаются в самую обычную людскую суету. Китайцы с косами, в длинных

кофтах,— такие же смешные, как на чайных коробках Перлова, которые рядком стояли на подоконнике у Манюшки.

— Муж мой редко бывает дома,— услышал я опять голос Раисы. Звякали ножницы, разрезая материю, шуршал коленкор, и белые руки Раисы плавно, быстро, уверенно летали над столом.— Он все время проводит на пароходе. Приходит домой на сутки, на двое, когда возвращается из рейса. Как видишь, удобный муж. Мы не мешаем жить друг другу. Человек он хороший, заботливый, не грубиянит, любит меня и холит, и я его очень уважаю. Одна у него беда — пьет. Раньше отбоя не было от его дружков. Надоело мне это, я и сказала: «Больше этого безобразия, Матвей, не будет. Ни одной капли не выпьешь, пока ты дома. Эти дни ты со мной должен проводить и слушаться меня. А если не посчитаешься со мной, уйду от тебя — и поминай, как звали». Он у меня кроткий, послушный и все готов для меня сделать. Ну и вожу его всюду — и в театр, и в цирк, и в сад, и играю ему на гитаре. Приглашу Мару, Любу, Трифона — поем, танцуем; глядишь — разойдется, размахнется и сам в разных фокусах себя показывает. И только иной раз поклянчит: «Раисочка, дай одну рюмочку — душа горит». А я его лаской казню: «Значит, ты меня, Матвей, не любишь? Крепкое слово — это душа, Матвей».

Я слушал ее спокойный, певучий голос сильной женщины — и представлял себе, как большой матрос с усиками робко просит ее дать ему рюмочку водки и смотрит на жену с боязливым ожиданием. Мне и смешно было слушать эти откровенные слова Раисы, и обидно за нее: зачем она вышла замуж за пьяницу? Ведь она не любит этого матроса — чувствую, знаю, что не любит... Ее ведь некому было выдать насильно за немилого, как мою мать или тетю Машу? Значит, она сама вышла за него. Если она его не любит — значит обвенчалась с ним, чтобы найти спокойный угол и спрятаться за спиной матроса. Мне было грустно, и ныло сердце от недоброго чувства к ней: она как будто обманула меня. И я уже ненавидел этого

развязного матроса с самодовольной улыбкой, который стоял перед моими глазами, расставив ноги в широких штанах и прислонившись спиною к ногам страшенного идола.

Как будто отвечая моему настроению, мать простодушно удивилась:

— Ты — вольная, сама себе хозяйка, Раисонька, а вот не нашла себе человека по сердцу... Ведь тебя за косы за него не тащили...

Раиса выпрямилась, и брови ее сурово сдвинулись к переносью.

— Он — хороший человек, никому не делает зла, верный товарищ. Я его очень уважаю. У всех ведь есть слабости. Сошлась я с ним по доброй воле и по охоте. Если бы я не вышла за него, он, может, и пропал бы. А сейчас я из него человека сделала.

Она бросила ножницы, и они сердито звякнули, потом быстро свернула коленкор и обрезки и подвинула к матери.

— Вот и все. Сошьешь сама — работа не большая. А теперь идите: ко мне сейчас люди придут.

Она подошла к этажерке и стала сосредоточенно перебирать книжки. Ее лицо вдруг повеселело, глаза заулыбались.

— Я сделаю тебе подарок, отрок. Будешь читать эту книжечку и вспоминать обо мне. Я люблю, когда обо мне хорошо помнят. Вот, «Робинзон Крузо» называется. Человек непобедим в своем труде, он делает чудеса и нигде не пропадает со своим умом и руками. Читай и учись у этого Робинзона, как быть сильным, упористым и добиваться всего, что тебе дорого.

Я жадно схватил книжку, перелистал ее и увидел картинки. Потрясенный, я ткнулся лицом в капот Раисы и пробормотал сквозь слезы:

— Спасибо, тетя Раиса!.. Я никогда тебя не забуду.

Она засмеялась, взяла меня за голову и поцеловала.

— Любишь меня?

— Да еще как!..

— Знаю, что любишь. Меня не любить нельзя. Меня или любят, или ненавидят. Серединки нет. Будешь писать мне письма с ватаги?

— Я адреста не знаю.

— Надо говорить: адрес. Я тебе свой адрес на книжке напишу.

Она выдвинула ящик у стола, вынула несколько конвертов и тоненькую пачку бумаги и вложила в книжку. Настрочила карандашом на книжке несколько слов и карандашик сунула мне в руку. Потом подошла к матери и поцеловала ее.

— Ну, Настя, не робей!.. Найдешь время, приди проститься. На ватаге держись поближе к хорошим людям — в обиду тебя не дадут. Только от деревенских привычек тебе придется отстать: и волосник снимешь, и бессловесную бабью покорность стряхнешь. Ну, прощай! Давай руку, отрок!

До самой калитки я шел, беспрерывно оглядываясь на Раису. Она стояла на крыльце, высокая, сильная, гордая, и улыбалась. На улице, у ворот, мы столкнулись с Тришей и с каким-то угрюмым парнем. Триша втолкнул парня в калитку, а сам задержался, зорко оглядывая улицу из-под полей шляпы. Мать поздоровалась с ним. Он сначала не узнал ее, а потом обрадовался, схватил ее за руку и засмеялся.

— А-а, Настя! Значит, на ватагу собралась? Может быть, и я на Жилую Косу приеду. Иногда бываю там.

Он юркнул в калитку и со всего размаху захлопнул ее.

XII

На стареньком, грязном пароходике, густо набитом народом, нас перевезли на огромную баржу, которая чернела на середине Волги, глубоко погружаясь в струистое марево реки. На барже стоял серо-голубой домик. Толстенная мачта была складная, и верхняя ее половина лежала на выпуклой крыше домика. Когда наш пароход пришвартовался к барже, ее просмоленная горбатая палуба в пузырях, проши-

тая трещинами, оказалась ниже палубы парохода, и люди с узлами и сундучками спускались по крутым сходням, осторожно и боязливо. Бородатые матросы на пароходе скалили зубы и подбадривали нас:

— Шагай веселей, народ! Не гляди по сторонам! Там, на ватаге-то, заставят и по водам ходить.

Я уже привык к этим угрозам: они казались мне такими же обычными, как присловья и ругательства. Мать, согнувшись под тяжелым тюком на спине, с узлом в руке, бойко сбежала со сходней. Я, тоже с узлом на спине, семенил за нею, и мне было смешно смотреть на нее, как она ловко и юрко обгоняла других баб и мужиков, неуклюже и боязливо, словно ощупью, спускающихся вниз по скрипучим доскам. Бабы, навьюченные поклажей, повизгивали, а мужики, подгибая коленки, шагали неохотно, натужливо, как будто их насильно гнали, как арестантов. Их встречал краснобородый мужик в сапогах с широченными голенищами, завернутыми вниз, и в кожаном картузе. Загоревший, с сизым облупленным носом, он щурил свои маленькие глазки и хрипло покрикивал, махая то одной, то другой рукой:

— Держи на корму! Шагай на нос!

Он задержал прищуренные глаза на матери и строго буркнул:

— Одна, что ли?

— Одна... с парнишкой вот.

— Клади багаж здесь вот, у каюты. Стряпать умеешь?

— Я все умею... и стряпать, и стирать, и песни петь...

Он почему-то надвинул кожаный картуз на брови. Его глаза хоть и спрятаны были в прищурке, но почудились острыми и ледяными.

— Как звать-то? Настасьей, говоришь? Эх, Настасья, ты Настасья, отворяй-ка ворота! — Он оттолкнул мать к стене грязно-голубой избушки. — Нам будешь служить — команде. Я старшой здесь, лоцман. И стряпать будешь, и стирать, и песни играть. — И опять заорал свирепо: — Куда прешь? Держи на корму!

Худощавый парень с насупленными бровями, с черными усами, одетый по-городски, в пиджаке и брюках навыпуск, с гармонией под мышкой, вел под руку молоденькую красивую женщину, чисто одетую, с белым лицом и весело вздернутым носом. Позади них шла с тугим тюком в руке крупнотелая девка в белом платке, низко опущенном на глаза. Мне показалось, что она плакала. Парень подмигнул лоцману и, тихо разговаривая с женщиной, пошел по палубе к носу, а девка шагала за ними, тяжело, рыхло, как слепая.

Люди с пожитками все еще спускались со сходней и разбредались в разные стороны. Это были бородатые деревенские мужики с женами. Много было одиночек. Все были какие-то измятые, усталые — не то с дороги, не то от того, что долго томились на пристанях и площадях города и толкались в толпе таких же безработных бедолаг перед конторами рыбопромышленников, где ловкие жулики — подрядчики и подрядчицы — терзали их изо дня в день посулами, отказами, предлагали гроши, а потом опять сбивали цены, потому что пароходы выбрасывали новые толпы. Но баржа была огромная, и люди как будто затерялись на ней. На носу народу было мало: должно быть, лоцман посылал туда по выбору. Но на широкой кормовой палубе люди сбились в сплошную груду. Они сидели на своих узлах, тюках и сундучках и уже ели арбузы, дыни и помидоры. Где-то ругались мужики и визжали бабы, где-то беззаботно хохотали девки, где-то выли песни пьяные голоса. Пахло нефтью и дынями, а от раскаленной смолистой палубы несло знойным жаром и горячей смолой. Мать, грустная и тревожная, сидела на толстом узле и молчала, думая о чем-то, подпирая лицо ладонями. У меня болела голова и сердце ныло от смутной тоски. Вот мы сидим сиротливо и не знаем, куда поплывем и что ожидает нас в будущем.

Отец сбросил с пролетки узлы, растерянно ткнулся бородой в наши лица и опять вскочил на козлы: нельзя бросать лошадь одну. Он смущенно улыбнулся и крикнул с надломом в голосе:

— Ну, вы там... как-нибудь... приживетесь. Не ты первая, не ты последняя. Везде люди живут... Хуже не будет. Деньги зря не трать и себя оберегай. Строго себя держи, чтобы у меня и в мыслях не было... И парнишку пристрой, чтобы не избаловался. Ну, с богом!

Он ударил лошадь кнутом, и пролетка задребезжала по камням мостовой. Какой-то толстый усатый человек в белом пиджаке, в белой шляпе махнул палкой отцу.

— Извозчик! Подавай!

Не оглядываясь на нас, отец круто повернул к этому человеку и подобострастно пригласил его:

— Пожалте, барин! Куда прикажете?

Человек грузно влез на пролетку и упал на сиденье. Пролетка запрыгала на рессорах, и человек ткнул палкой вперед. Мать смотрела вслед пролетке, и лицо ее вздрагивало от сдавленных слез. Она вздохнула, встретилась с моим взглядом и отвернулась, словно испугалась, что я догадаюсь о ее тайных чувствах. И опять я понял, что она не любит отца и рада своей свободе, о которой она мечтала давно.

Лоцман на ходу распахнул дверь в избушку и глухо приказал:

— Тут будешь с парнишкой помещаться. Проворней очищай место.

И он ощупал мать тугими глазами. Я схватил ее за руку и прошептал:

— Не входи туда, мама. Лучше пойдем к людям.

Она тоже была встревожена, но старалась бодриться.

— Ну, чего он нам сделает? Чай, он не зверь. Мы и так на людях. А тут спокойнее: одни с тобой будем.

Она подхватила затянутый веревкой узел и скрылась в темной пустоте комнаты. Так же бойко выбежала обратно и подхватила два других узла поменьше.

А я стоял с нудной болью в сердце и, сжимая зубы, изо всех сил старался сдержать слезы. Эта черная пустота, зияющая в открытой двери, показалась мне зловещей пастью, как на лубочных картинках,

которые изображали адского дракона, пожирающего грешников. Стоял я, застывший от тоски, и голос матери чудился мне далеким и чужим. Должно быть, ей понравилось в избушке: когда она выбежала на палубу и огляделась, лицо у нее довольно улыбалось. Она пытливо посмотрела на меня.

— Ты чего это столбом-то стал? Радоваться надо, что в хороший угол угодили, а ты, как отец, бирюком глядишь.

Она подтолкнула меня к двери, но я сам оттолкнул ее руку и, должно быть, взглянул на нее как-то необычно: в глазах ее мелькнул испуг и беспокойный вопрос.

Я не заметил, как отчалил пароход, как разошлись люди в разные стороны, а видел только широкую спину коренастого человека и красные космы его бороды. Зеркально-голубая ширь Волги густо струилась перед баржей в водоворотах и сплетающихся потоках. Весь разлив необъятной реки казался выпуклым и переливался радужными вспышками, как пленка мыльного пузыря. Далеко у пристаней стояли белые и сиреневые пароходы, и из низких, широких труб их клубился бурый дым. Белый собор взлетал высоко над густой грудой домов, сверкающий букетом главок, гордо реял в воздухе, легкий, стройный, упругий, и казался чужим, случайным в этом грязном и смрадном городе. Налево жирно чернели нефтяные пристани в переплетах толстых трубопроводов. Всюду белыми вихрями кипели чайки. Но почему-то грустно было смотреть на эти крылатые вихри: казалось, что птицы были легче своих крыльев и изнывали от утомления, а крики их были похожи на стоны и плач.

Лоцман повернулся ко мне и усмехнулся в прищурке. Красно-кирпичное лицо его с раздутыми щеками вдруг подобрело, и он проурчал добродушно:

— Ну-ка, Настя, начинай кашеварить. Пришлю тебе сейчас человека — получишь у него продукты. — И цыкнул на меня, притопнув широченным сапогом: — А ты чего нос повесил? Пошел в избу — ма-

тери помогай! Картошку чисти, посуду мой, пресную воду носить в кухню будешь. Еще неграмотный, поди?

— Я книжки читаю... и гражданские и божественные.

Он одобрительно промычал:

— Вот это добро. Может, и мне что прочитаешь. Не для души спасения, а для потехи разума. В спасенье у меня нужды нет: я сам в силе.

Он взял меня за шиворот и втолкнул в открытую дверь. Но рука его была не злая: я почувствовал не грубый толчок, а ласковую шутку. Он даже немного прижал меня к себе, а в комнате пошлепал по спине.

— Ты, Настя, здесь как дома располагайся. Работа немудреная — накормить троих мужиков. И сама с парнишкой сыта будешь. Ты бабенка неиспорченная, скромная — вижу. И парнишка небалованый. Особливо хорошо — чтец. Я ловец по ремеслу, а ловцы — честный, правильный народ. Они — как на войне: жизнь у них на ребро поставлена.

Он говорил словоохотливо, наставительно, и густой бас его гулко рокотал в каюте. Должно быть, ему было приятно говорить с молодой, неопытной и доверчивой женщиной, которая слушала его с почтительной готовностью. Это был уже другой человек — не тот страшный и грубый лоцман, который швырял людей направо и налево: в обветренном, суровом лице его шевелились добрые морщинки, и даже в свинцово-жестких глазах светились теплые искорки.

— В море всяко бывает: оно и раздольем, и солнышком ласкает, а то и штормом казнит. Меня пять раз с друзьями по морю носило — в штормы, в пургу... А вот жив-здоров. Задумываться над своей судьбой надо. На моих глазах сколь моих товарищей погибло — и посуду разбивало, и льдины дробило. Об этом тоже целый ро́ман написать можно. А я вот и смерть видел и с бурями боролся, но только себя да людей лучше узнал, кровью плакал, и душа стала мягкосердой. Слезы и лошадь льет, а жизни не жалеть за товарища, окромя человека, никто не может.

Мать не сводила с него глаз. Сначала так же, как и я, она увидела в нем свирепого распорядителя,

который будет помыкать ею, как батрачкой. Но вдруг оказался он простым и отечески заботливым человеком и как-то сразу раскрыл себя перед нами. У матери затрясся подбородок. Я рванулся к ней с судорогами в горле, а она рухнула на колени и поклонилась в ноги лоцману.

— Дай тебе господи доброго здоровья за приветливое слово, за добрую душу. Я этого и от родных людей не слыхала, кроме матери-покойницы...

Я был совсем ошарашен и стоял, не отрывая от нее глаз. Не поклон ее потряс меня — она сделала это легко и привычно, как обряд, — а необычная и внезапная встреча с лоцманом. Тревога и страх не угасали во мне: как-то не вязалась доброта лоцмана с его угрожающей внешностью. И мне было неприятно, когда мать поклонилась ему в ноги и растроганно благодарила его за приветливость. Я бросился к ней и подхватил под мышки, совсем не думая о том, хватит ли у меня сил поднять ее.

— Не надо, мама! Вставай! Чай, мы не нищие...

— От хорошего человека, Феденька, доброе слово — дар, а в ножки ему за это поклониться — не позор. Поклонись и ты.

Я угрюмо насупился и отошел в сторону. Впервые я почувствовал мучительный стыд за мать. Доброта сильного, оказывается, очень дорого оплачивается: она требует унижения и покорности.

Лоцман покачал головой и пожурил мать, как ребенка:

— Негоже, негоже делаешь, Настя. Мальчишка правильно говорит. Слово от сердца — не подаяние. Человек должен крепко на ногах стоять и не давать себя в обиду. Падать на колени легко, трудно вставать. На ватагах людей не жалеют, а милости на коленях не вымолишь — раздавят. Там каждый сам за себя.

И он, тяжелый и могучий, вышел из избушки легко и быстро, хотя ноги его в сапогах с широкими раструбами казались очень толстыми и неповоротливыми.

Мать, потрясенная какой-то мыслью, мяла свои дрожащие пальцы. Она смотрела в открытую дверь

на густой разлив реки, на далекие домики, лабазы и пристани, и я видел, как колыхались складки кофты на ее груди. Потом она задумчиво подошла ко мне и прижала к себе.

— Вот мы, сынок, и одни... потерялись в чужих людях, как в дремучем лесу. Как жить-то будем? Совсем отрезаны от родных и сожителей. Вот и вольность пришла, а она страшнее беды: мы — как птички в клетке. Воля-то сиротам — как неволя: без защиты, без родных людей. Всякий может обидеть. Только на себя надейся да берегись всяк час. И тебя потерять боюсь.

Я обхватил ее за поясницу и, едва сдерживая слезы, надрывно крикнул:

— Да ни за что мы не пропадем! Чай, нас не волкам бросили. Работать будем. Я тоже вместе с тобой буду работать. Мне только Раису жалко... да Дунярку... прямо сейчас бы убежал к ним...

А мать с грустной надеждой замечтала:

— А может, сынок, и счастье найдем. Ведь человек не знает, где счастье ему навстречь летит...

Она опамятовалась и всполошилась:

— Давай-ка, сынок, избу-то приберем, а то здесь как в хлеву. Придет сюда опять лоцман аль кто еще — и скажет: «Что это вы прохлаждаетесь? Даром вас, что ли, в хоромы-то впустили?»

И она хлопотливо заметалась по комнате, засматривая во все углы. На бегу она подхватила веник, вынула из-за плиты грязные тряпки, клочья пакли, загремела ведром с длинной веревкой. Ее лицо оживилось, повеселело, глаза заиграли радостью.

— Батюшки, грязища-то какая! Чего они тут делают-то? Словно нарочно и сор и нечисть сюда тащат. Ах мужики проклятые! Вот басурманы-то!

Ее страсть к чистоте доводила ее до самозабвения: она могла целый день чистить, убирать, мыть, стирать пыль и уряжать избу неожиданно искусно: то, бывало, развесит полотенца с выкладью на косяках окон, то зимой над картинками и на зеркальце пристроит золотые веночки из соломы, а летом — пучки

цветочков, которые походя соберет на усадьбе и в загуменье. И когда изба как будто засветится, она станет посреди комнаты и, улыбаясь, тихонько запоет песенку. Ничего сладостнее она не находила в своей ежедневной тяжелой работе по дому, как горячие заботы о чистоте.

Вот и здесь, в этой избе с ворохами сора на полу, с корками арбуза и дыни, с рыбьими костями на длинном столе, с грязными чугунами и посудой на плите, мать живо забеспокоилась, заторопилась, заахала и, подоткнув подол юбки, бойко смела со стола объедки, мгновенно смахнула веником грязь с плиты и стала быстро подметать пол. Около топки лежали дрова, и она походя положила их в печку, нашла где-то спички и затопила плиту.

— Ах, беда-то какая! — воскликнула она. — Воды-то нет! Беги, сынок, вытяни на веревочке ведерко. Нет, боюсь, упадешь через край-то. Сама сбегаю. Воды бы нагреть, посуду вымыть, стол да скамьи пропарить да ножиком проскребать, а то у них наросло на досках-то с полвершка.

Но я сам загорелся от волнения матери и уже бежал с ведром в руке на палубу, к борту баржи. Мне стало вдруг весело, и как-то по-новому заиграл в струях на водоворотах безбрежный простор Волги. Как будто на огромных крыльях плыли по реке белопарусники. В синем небе реяли облачка — ковры-самолеты. И впервые я почувствовал, как поет Волга: это был глубокий и раздольный гул, и в этом гуле стонали далекие напевы больших толп: «О-йох, да и-йо-ох!..» Казалось, что эти стонущие напевы несет в себе Волга, и они вырываются из мутной пучины в разливных водоворотах и в тяжелом ее течении. Словно она на своем бесконечном пути по России впитала в себя и горе и радости сел и городов. Вот здесь, недалеко от моря, она, густая, как масло, медленно плывет в дымную даль, сливаясь с мутным небом на горизонте, и не может вместить в себе всей громады течения: она разливается по песчаным степям, как море. Может быть, в этом бездонном гуле слышались печальные крики чаек, песни рыбаков на

белопарусниках. И когда я бросил ведро на веревке за борт, мне почудилось, что Волга сердито отшибла его в сторону и оно тихо поплыло на боку вдоль просмоленного борта баржи. Я снова бросил ведро, но оно по-прежнему кособоко колыхалось в водоворотах.

Большая волосатая рука, загорелая дочерна, вырвала у меня веревку, бросила ведро в воду и дернула его вбок. Ведро кувырнулось вверх дном, задрожало и потонуло, потом вынырнуло и, разбрызгивая воду, легко взлетело вверх, на палубу. Около меня стоял длинноносый мужик с кудрявой бородкой, в таких же сапогах раструбами, как у лоцмана, в кожаном картузе и улыбался мне во весь рот.

— Вот как надо черпать-то, дружок. Ты ведро-то подсеки, оно и захлебнется, тут и тащи его. Ты, выходит, кашеваркин сынишка будешь? Вот и ладно. А я принес матери свежей рыбы и пшена. А сейчас за дровами с ней пойдем. До Жилой-то Косы — плыть да плыть.

Он нагнулся, чтобы взять ведро, но я вцепился в дужку и оттолкнул его руку. Улыбаясь, он подмигнул мне и положил широкую руку на мое плечо.

— Ну, валяй, тащи, ежели сам взялся. Как имечко-то твое? Федор, значит? Сурьезное имя. А меня зовут Корней, — он засмеялся. — Корнил сам не ел — купцов кормил.

— А зачем купцов кормил? — озадаченный, спросил я его.

— Так уж дело поставлено: работаешь густо, а в кармане пусто. Купец всего тебя промыслит и чашку-ложку оближет. За то он и промышленником называется.

Мать стояла перед плиткой и косарем соскребала с нее нагоревшую грязь. Хлопотала она с удовольствием. Я не успел поставить ведро с водою около плиты, как она быстро подхватила его и вылила в котел, вмазанный в печку.

— Беги еще за водой, сынок: воды-то много надо. И пол мыть, и посуду парить, и обед варить...

Корней следил за нею и улыбался.

— Ты уж больно кипятишься, Настя. Дело — не к спеху. Не торопись — спотыкаться будешь. Пойдем за дровами, покажу, где они лежат. И приварок там же.

Мать торопливо одернула сарафан, поправила платок и засмеялась.

— А я очень даже люблю, чтобы дело в руках горело. У меня уж такой карахтер: не одно, а все дела в одночасье делаю. Хорошо тогда и рукам и сердцу...

Корней неодобрительно покачал головой и надвинул кожаный картуз на брови.

— Управители таких на ватаге любят. Да только народу это не сходно. А с народом надо идти в ногу и жить сообща. Заторопишься — одна останешься.

— Я работаю, как мне хочется. Без работы-то я бессчастная: больная бываю.

— Эх, хорошая баба!.. — откровенно восхитился Корней и крякнул от удовольствия. — Жалко только тебя: молоденькая, неопытная.

Он пошел к двери, прихрамывая и отбрасывая в сторону левую ногу. Мать выбежала вслед за ним и на бегу прихорашивалась, поправляла платок на голове. А мне было грустно: зачем она хорошится перед Корнеем? Зачем хвалится своей работой и хочет показать, что работница она — лучше всех? Она перед лоцманом хорошилась, а теперь перед этим хромогим словно наряжается. Нечего набиваться своей готовностью угодить им: она хороша и без угодливости.

Я вышел с ведром на палубу и ревниво поискал глазами мать, но она с Корнеем скрылась, очевидно, за углом домика. За бортом вода взрывалась водоворотами и бурно разливалась в разные стороны, вскипая пеной, со звоном и шумом, и мне чудилось, что она играет, смеется и манит к себе, как живая. Водовороты уплывали, а на их месте взрывались и огромно растекались другие, сталкиваясь друг с другом, разрывая друг друга, клокоча и бушуя, взлетали фонтаном и плескались в просмоленную стену баржи. Воздушный простор дрожал, как марево, и сливался с блистающим простором реки. Радужные пятна и

ленты играли на воде, дышали, потухали, вспыхивали, и казалось, что Волга, необъятная, как небо, величаво разряжена драгоценными самоцветами. Очень далеко, на горизонте, мерцали пристани и какие-то сооружения, похожие на строительные леса, чернели баржи, отдыхали белые пароходы, толпились маленькие домики и длинные казармы, громоздились свалки неразличимых грузов на берегу. И все это не отражалось в кипящих струях, в водоворотах и зыби, а плескалось, бурлило вьюгой черных, белых и голубых пятен в вихрях солнечных вспышек и ослепительных искр.

Я застыл у борта с ведром в руке, охваченный восторгом и смутной грустью. Все было необъятно и воздушно, и я чувствовал себя невесомой пылинкой в этом сказочном просторе.

Очнулся я от хриплого крика лоцмана за моей спиной:

— Готовься, ребяты! Сейчас прибежит пароход.

Я бросил ведро за борт и зачерпнул воду так, как учил меня Корней. Ведро потонуло, и я стал тянуть его за веревку. Но когда оно вынырнуло из воды, я почувствовал, что вынуть его не могу. Кое-как я дотянул его до борта, но подхватить дужку не было сил.

— Хоп!

Ведро вылетело из-за барьера и опустилось на палубу. Передо мной стоял высокий кудрявый человек в плохоньком картузе, в длинной синей рубахе, подпоясанный ремешком, белолицый, румяный, с густой русой бородкой, которая подковкой охватывала его щеки и подбородок. Он смотрел на меня пытливо и обличительно строго, но золотистые глаза его лукаво смеялись.

— Ну, взялся за гуж, да не очень дюж, курносый? Давай-ка вместе водоливами будем.

Я хотел поднять ведро, но он отстранил мою руку, подхватил его и неожиданно закружил колесом перед собою. Сделал он это так легко и ловко, словно ведро было пустым.

Я глядел на него и смеялся. Засмеялся и он, довольный своим фокусом. Зубы у него были белые и

крупные, а глаза прозрачные и играли задором. Я сразу почувствовал, что он никогда не злится и нет у него в душе недобрых мыслей и мстительных обид.

Он быстро, словно играючи, отнес ведро в каюту и вылил воду в котел. Потом выбежал опять на палубу, бросил ведро за борт и легким взмахом вышвырнул его вверх. Так он с веселым смехом в глазах налил полный котел воды, а потом ведро с водою поставил на стол. Мне чудилось, что и мокрое, блистающее ведро тоже отвечает ему улыбкой.

Мы вышли на палубу и остановились у борта. Он снял картуз и поглядел на небо и на Волгу. Разливно, раздольно заиграла гармония серебряными трелями со звоном колокольчиков.

— Играть-то какой мастер! — простонал он, морщась, как от боли. — Ну и гармонист! Вся река стоит... Эх, ты-ы!.. — Он прислушался, крякнул и махнул рукой. — Вот оно, мастерство-то! С любовью мастерство! Словно человек на крыльях летает. Смотри, какие чудеса мастерство-то делает! Без человечьего мастерства для души свободы нет. Я вот бондарь... тоже мастер, клепки да обручи, топорик да скобель, и стружка, как золото. А слушаю вот гармонию-то — и сердце играет. Я тоже за работой песни пою. Когда приедем, приходи ко мне в бондарню — не налюбуешься.

— Я со своим топориком к тебе приду, — похвастался я.

— О? Ну так я тебя научу обручи набивать. Подмастерьем моим будешь. Зови меня дядей Гришей — Григорий Петрович Безруков, значит. Безруков-то Безруков, а руки — вот они! Золотые руки — хвалюсь не для тебя, а для совести.

Он пошел на нос баржи — туда, где разливалась гармония. Высокий, с широкой спиной, в плохоньких сапогах, шагал он легко, щеголевато и размахивал руками, играя пальцами. Я посмотрел на безбрежную Волгу, на блистающую ее зыбь — и думал о пережитых встречах. Почему женщины на берегу — Степанида, Люба, Раиса — так пугали нас с матерью и так

угрожающе говорили о людях? А вот здесь, на барже, эти люди тоже поплывут в море, они тоже — ватажники, но не обидели нас, не оглушили грубым окриком. Они только непривычно новы и совсем не похожи на мужиков, которые грудились на корме.

XIII

Мы плыли вслед за буксирным пароходом, который тянул нас на толстом и очень длинном канате, и мне казалось, что чумазый пароход был страшно далеко — не меньше, чем за версту. Он плыл впереди, как огромная серая утка и, растопырив крылья, бил концами их по воде, а вода бушевала и убегала назад к нашей барже двумя волнистыми дорогами. Баржа грузно утопала в густой, теплой воде, а волны мягко плескались в ее жирные бока. Позади, за кормой с диковинным рулем, похожим на ворота, и длинным бревном-воротилом, привязанным веревками к бортам, кипел широкий взбаламученный след.

Мимо едва заметно и очень далеко плыли песчаные берега и отмели с поселками, плоты на сваях и лабазы, сонные баржи и легкие белопарусники. Плыли навстречу буксирные пароходы, которые тащили за собою нефтеналивные баржи. Впереди густо зеленели кудрявым кустарником и зарослями камыша острова, и Волга растекалась и вправо и влево. Наш пароход поворачивал в широкий проток, но и он разливался так же безбрежно, как сама Волга. Я бродил по палубе и не отрываясь смотрел на эти унылые острова, на далекие песчаные степи в лиловой дымке, на блистающие протоки и озера в мерцающих маревах. Все эти пустынные картины казались мне сказкой, которую скучно и сонно рассказывала мне моя маленькая жизнь. Вот по песчаным прибрежным волнам лениво, с натугой шагают один за другим бурые верблюды и несут на своих горбах какую-то кладь или везут за собою арбу на громадных колесах. С реки проходили через палубу волны свежей прохлады, а с желтых песчаных бугров и морщинистых равнин

в зеленых клочьях колючей травы налетал сухой и душный зной, едкий от обжигающей пыли.

Я бродил по барже от кормы до носа. Солнце горело в голубой раскаленной вышине, и смола на палубе плавилась, лопалась, словно кожа огромного жирного чудовища на огне, и прилипала к моим босым ногам.

Люди тесной грудой сидели и лежали на своих пожитках и томились от жары. Все они казались мне грязными, пыльными, как нищие. В одном месте патлатые и бородатые мужики играли в чумазые карты, хохотали, ругались. С веселой злостью в глазах бородач, стоя на коленях, хлестал пучком карт по красному носу другого лохматого бородача. Кое-где в кучах тряпья мужики и бабы деловито и строго ели красные ломти арбуза или желтые, как масло, дыни. Среди этой тесно сбитой людской толпы находился бывалый человек, который самодовольно рассказывал что-то, а его с любопытством слушали мужики. Кто-нибудь из них тыкал пальцем в его грудь и, хитренько усмехаясь, вскрикивал:

— Ты, мил человек, об карсаках не бай... и об неводах не калякай... Нас работой не испугаешь. А людей разных — татар этих аль персияшек — и мы видали. Ты о харчах скажи. Да и бахилы вот — свои аль хозяйские?

— На бахилы не зарься! — весело откликался человек. — На бахилы не хватит силы. Походишь и в опорках.

Мне больше нравилось наблюдать людей на передней палубе. Там народ подобрался разбитной, и всегда стоял оживленный говор и смех. На самом носу торчал толстый просмоленный пень, обмотанный канатом, и этот канат, дрожа и поскрипывая, с жутким напряжением уползал в воздух, к далекому пароходу. Свернутые канаты, как бочки с набитыми сплошь обручами, туго свитые из множества бечевок, стояли рядом с деревянными тумбами. Огромным железным крестом лежал якорь у борта, а около него — куча ржавой цепи. Здесь я постоянно видел бондаря Гришу, который словоохотливо разговаривал

с соседями. Гармонист в шляпе набекрень, в пиджачишке, и краснощекая женщина с озорной усмешкой в голубых глазах сидели на скамьях за стареньким скрипучим столиком, который они ухитрились где-то достать. Крупная курносая девка с застывшим лицом, их подруга, неподвижно сидела на палубе, обхватив руками колени, и тупо смотрела на опущенное бревно мачты, которое лежало узким концом на полукруглой крыше избы. Гармония с медными пуговками ладов и серебряными колокольчиками всегда стояла, как ларчик, на столе, и мне казалось, что она живая: вот сейчас встрепенется и поползет цветастыми мехами в руки парня. Приходил сюда и Корней, как свой человек, садился за столик рядом с гармонистом. Он вынимал из кармана кожаных штанов манерку с жестяной кружечкой на горлышке, и они вместе с гармонистом молча выпивали по одной чарке.

— Григорий! — сердито звал он бондаря, но тот отрицательно качал головой.

Женщин Корней никогда не угощал и совсем не обращал на них внимания. Но подруга гармониста свысока посматривала на него и дразнила низким певучим голосом.

— Корней — пенек без корней... надеть на тебя шляпу — будешь чучело. Угостил бы меня да поцеловал в сахарные уста.

Здесь же сидели на тугих узлах или чаще всего стояли у борта две девушки: одна — высокая, чернобровая, с дерзкими глазами и выпуклым лбом, другая — белокурая, худенькая, с нервным лицом, остреньким носиком и крепко сжатыми губами. Их называли «хохлушками». Высокая — Галя, худенькая — Оксана.

Лоцман сюда не заглядывал: он имел дело только со своей артелью.

Мать начинала хлопотать около плиты с раннего утра, нетерпеливая, взволнованная, а я помогал ей: чистил картошку и рыбу, мыл посуду, подметал пол и приносил из трюма дрова. Приходил Корней и, улыбаясь, говорил шутливо и по-свойски:

— Ну-ка... на помочь я пришел к твоему водоносу, Настя.

— Да я уж сама, Корней, за водой-то бегаю: не под силу ему... да и боюсь, как бы за борт не упал.

— Ну, так к себе в водоносы принимай. Вижу, больно уж хлопочешь сгоряча. На ватаге тебя, такую, рыба слопает.

Эта шутка Корнея впервые вызвала у меня оторопь: из моря сплошными косяками выбрасывается на берег рыба и алчно впивается в мать, которая приманила ее своей горячей хлопотней. Она впивается в ее ноги, руки, громоздится вокруг нее трепещущими кучами, растет живым, судорожным серебристым курганом и хоронит ее в своей холодной прожорливой массе. Шутка Корнея была, вероятно, по сердцу матери: она беспечно улыбалась ему и отвечала весело:

— А я за работой песни люблю петь. Никакая рыба не съест, а плясать будет.

Так каждый день с утра Корней носил воду в кухню, наливал котел и ставил полное ведро на стол. Мать варила щи из солонины или уху, пшенную кашу и жарила картошку. К обеденному часу я мыл мокрой шваброй пол, начисто протирал стол и нарезал в глиняную чашку помидоров, огурцов, луку и поливал постным маслом. Лоцман Карп Ильич всегда шел к столу первым, за ним Корней и Балберка. Они были рыбаки, и им, как опытным мореходцам, поручено было вести на промысел баржу, доверху нагруженную товарами для хозяйской лавки, инструментами для плота, железом, солью, мукой, клепками, обручами. Все это было доверено Карпу Ильичу, и он держал себя как хозяин: строго, с достоинством приказывал, а за обедом не позволял болтать попусту. Все они казались мне необыкновенными, загадочными существами, которые таили в себе страшную силу, неведомую другим людям. Все они были похожи друг на друга: ходили в кожаных бушлатах и картузах, шагали тяжело, лица у них были жесткие, бородатые, глаза твердые и зоркие. Неразговорчивые и как будто равнодушные друг к другу, за столом они больше молчали, а когда перекидывались пустыми словами,

думали о чем-то своем, и слова не отвечали их мыслям. Они никогда не вспоминали о своих рыболовных походах и не жаловались на пережитые бедствия, но с матерью шутили неумело и громоподобно смеялись, когда она робко пятилась назад. Я видел, что она нравилась им; глаза их добрели, они любовались ее бойкой расторопностью, певучим, приветливым голоском, гибкой ее фигуркой и какими-то необычными для бабы праздничными движениями. Она ставила на середину стола глубокую глиняную чашку с жирными щами или ухой и перед каждым услужливо клала деревянную ложку.

Карп Ильич приказывал, как глава семьи:

— Настя, чего стоишь? Садись к столу, кушай. А ты, курносый, подсаживайся к Яфимке — к Балберке: он моложе всех. И будем мы как колокола на колокольне — от благовестного до малинового.

Мать почтительно статилась и распевно отказывалась:

— Чай, мы свой черед соблюдаем, Карп Ильич. Кушайте на здоровье. Вот накормлю вас, а там и мы сладкие остаточки поедим.

Карп Ильич с сердитой лаской хрипел:

— Садись, коли велят! У нас — артель, и ты с сыном в артели. Это свое деревенское покорство брось, забудь его. Здесь народ дерзкий, вольница. Вот и свои бабьи путы с головы сдери. Садись смелей со мной рядом.

Рыбаки раскатисто хохотали.

— Плыви, шемая, к осетру!

Но Карп Ильич как будто не слышал ни выкрика, ни хохота. Так же поучительно он говорил, приглашая мать взмахом руки:

— Видала бабенку-то с девкой и парня с гармонией? То-то. Они и перед самим хозяином с шиком пройдут, себя покажут. Их не тронь. Тоже вот и хохлушки. Не девки, а крапива.

Мать стеснительно садилась рядом с Карпом Ильичом, а я — с Балберкой, молодым, толстогубым парнем, с темным пухом на щеках, с маленькими острыми глазами и вздернутым носом. Нижняя челюсть

у него была квадратная, широкая и сильная, и, когда он ел, она почему-то трещала у него. Роста он был небольшого, но голова была крупная, а уши торчали, как крендели. Со мной он не разговаривал и не замечал меня: вероятно, ему было обидно, что лоцман сажал меня рядом с ним. С этого часа он норовил ущипнуть меня или, желая показать, что он шутит, очень больно трепал за волосы. Как-то я не выдержал и ткнул его кулаком в подбородок. Корней захохотал и подзадорил меня:

— Ловко поддел судака под жабры! Не давай спуску!

Но мать разволновалась и рассердилась:

— Да ты с ума сошел, бесенок! Чего это с тобой сделалось? Сейчас же уйди из-за стола и глаз не показывай!

Она так разволновалась и покраснела от стыда, что у нее выступили слезы. А я крикнул в отчаянии:

— А чего он щиплется да нос оторвать хочет!

Корней захохотал во все горло. Балберка усмехался, играя озорными глазками. Но Карп Ильич хладнокровно и испытующе посматривал то на меня, то на Балберку. И когда я встал, сдерживая слезы, чтобы выйти из-за стола, он рукою приказал мне сесть.

— Ты, Настя, не выходи из себя, не обижай мальчишку. Балберка оказался трусом — вредит под столом, из-под полы. Мальчишка ему при всех, без боязни, сдачи дал. Вот он, малолеток-то, и доказал тебе, Яфимка, что ума у тебя меньше, чем у него. А драться за столом да на старшего нападать — у нас не позволено. Нынче ты Балберку ударил, завтра Корнея, а послезавтра меня. Ты, Федор Стратилат, должен ко мне за праведным судом обращаться. А чтобы вперед неповадно было, вот тебе наказанье: нынче вечером читать мне будешь.

Балберка по-прежнему ел с аппетитом, усмехался и играл глазами. Корней посматривал на меня с лукавой улыбкой и одобряюще подмигивал.

— С этого дня я его рядом с собой сажать буду, Анику-воина. Хороший рыбак из него будет.

— Нет, — сурово возразил Карп Ильич, — он с Балберкой сидеть будет: пускай поучатся друг у друга, как надо вместе жить и как вражду дружбой сделать. Вражда отдаленьем сильна, а дружба — близостью. Недаром я тебя, Яфимка, Балберкой назвал: поверху плаваешь — пробкой.

А мать, красная, с горячими глазами, надломленным голосом говорила:

— Я и не знаю, чего это с ним сделалось. Никогда он даже слова дерзкого старшим не говорил, а сейчас и кулаком замахал.

Корней смеялся и подмигивал мне.

— Ничего, Федяшка, не робей. Обиды не затаивай, а всегда сдачи давай. Эка, какого барбоса смазал! Смелей живи, милок, да по-своему. Большие-то хотят, чтобы малыши были такие же, как они, заранее хотят, чтобы они седые да покладистые были. А у детей — свой норов. Своя болячка больнее, а свой кулак надежней.

— Ну, давай помиримся, — снисходительно сказал Балберка с прежней ухмылкой.

Он смотрел в свою ложку и как будто не слышал, что говорили Корней и Карп Ильич. Я уже заметил, что он ни на кого не смотрел и как будто пропускал мимо ушей даже приказания лоцмана, хотя выполнял эти приказания точно. С виду ленивый, он болтал длинными руками и будто занят был только своей думой, которую никак не мог додумать. И всегда кривил рот от усмешки про себя, и в маленьких глазах его, сдвинутых к носу, поблескивали острые иголочки. Мне казалось, что он забавляется только своими мыслями, а то, что происходило около, совсем его не интересовало.

Однажды он, проходя по палубе, неожиданно притиснул меня плечом к стене надстройки и засверлил зрачками.

— Ну что, боишься меня? То-то, вижу... Меня все чуют. Издали глаза пялят. Меня недоноском считают, а я ловчее всех.

Он говорил правду: я вспомнил, как поднимали якорь на барже. Четверо матросов, напирая на

рычаги, вставленные в чугунную голову ворота, наматывали на его туловище ржавую цепь. Цепь скрежетала и ползла медленно, как чудовищная многоножка, позванивала, прыгая по зубцам. С ворота цепь собирал и со звоном укладывал в круглый ворох Балберка. Когда из-за борта показалась мокрая голова якоря с толстым кольцом, матросы осторожно, толчками, стали вытягивать его могучее тело на палубу. В тот момент, когда якорь уже перевалился через борт, явился Карп Ильич и, не взглянув на матросов, прошел мимо, к носу, — проверить, готов ли канат к спуску. Якорь с грохотом упал на палубу под испуганный рев матросов:

— Берегись!

Карп Ильич кубарем кувырнулся в сторону вместе с Балберкой. Пассажиры дружно захохотали. Лоцман вскочил на ноги и рявкнул:

— Это какой шарлот дурака валяет? Голову сорву!

Балберка стоял около него, озираясь, без обычной ухмылки, без картуза, серый от потрясения.

— Ежели бы я не успел, дядя Карп, ты без ног бы остался... а то и пополам перешибло бы. Видишь, якорь-то куда брякнулся?

Пассажиры уже не смеялись, а вместе с матросами бросились к Карпу Ильичу. Кто-то подал ему картуз, кто-то стирал с его кожаного пиджака сор, кто-то сочувственно кряхтел:

— Ну, счастлив твой бог... Экая махина! Вдрызг бы раздавила! А мы думали: что за представление? Ну и молодчина парень — молоньей метнулся!

Карп Ильич молчаливо взял картуз, старательно надел его, отряхнулся, смахнул пыль с пиджака, сурово оглядел испуганных матросов и спокойно посоветовал:

— Надо, ребята, глядеть да рассчитывать. Вы — не из трактира. Давно ли с посуды-то на берег сошли?

Матросы смущенно оправдывались:

— Чай, не впервой якоря-то тянем.

— То-то, что не впервой... — спокойно согласился

Карп Ильич. — А глаза да сноровку в трактире пропили?

— Прямо невдомек, как это случилось...

Карп Ильич пошел своим тяжелым шагом назад. На Балберку он не взглянул и не сказал ни слова. А он, Балберка, напялив на лоб картуз, пошагал к якорю. В глазах его опять играла пронзительная усмешка.

Второй случай был смешной. Как-то во время обеда из-за плиты выбежала большая крыса. Она нахально и неторопливо пробежала вдоль стены, волоча свой грязный хвост и поблескивая злыми глазами. Мать в ужасе вскрикнула, но крыса не испугалась. Балберка отшвырнул меня и мгновенно, как по воздуху, пролетел через комнату и грохнулся на пол. Крыса шарахнулась обратно, но вдруг исчезла под телом Балберки и завизжала. Корней хохотал, смеялся и Карп Ильич. Все перестали есть и, задыхаясь от смеха, следили за возней Балберки. А он неторопливо встал и, раскачивая мертвую крысу за хвост, брезгливо бормотал:

— Ишь, сволочь поганая! Не звали в гости — так сама явилась. Вот нахальная тварь!

Он вынес ее из комнаты и бросил за борт. Мать выскочила из-за скамьи, схватила ковш и зачерпнула воды из котла. Когда явился Балберка, она крикнула ему:

— Иди сюда, Яфим: руки мой! Мылом, мылом погань-то сгони!..

Корней шлепнул ладонями и решительно объявил:

— Ловко, ничего не скажешь! Зверобой! Побежим в море — будешь тюленей в Каспии ловить... по своему новому способу — брюхом.

Карп Ильич с серьезным видом заметил:

— А я еще думал кота взять на баржу. Куда тут коту-то до Балберки! Знаменитый крысолов!

Они опять захохотали. А Балберка мыл руки мылом и мычал хвастливо:

— Спроть меня никто не поспорит... Я не то ли что крысу задавлю да за борт выброшу, я и хозяина кувырну в Волгу, так что он и не заметит...

— Ну, перед хозяином-то ты, хвастун, на задних лапках будешь плясать, — хитро подмигивая, обличил его Корней. — Мы перед хозяином-то все молчим да пузу его кланяемся.

— Пузо — это пузырь, — самодовольно болтал Балберка. — Давайте на спор: я на его пузе, как на барабане, поиграю. И он же мне полтинник подарит.

Карп Ильич сердито выпучил глаза и угрожающе поглядел и на Корнея и на Балберку. Он прохрипел как будто равнодушно, но наставительно:

— Чего болтаешь, молокосос! Хозяина надо уважать: он нам работу дает.

Корней в тон ему подхватил:

— Разувает, раздевает и кусок хлеба изо рта дерет. Ты, Карп Ильич, двадцать годов у него горб ломаешь. Во льдах, в штормах смерть видал...

— Мало ли что я видал, — согласился Карп Ильич. — А крысолову рано еще над хозяином глумиться. Пускай с мое послужит.

— Пускай послужит, — засмеялся Корней. — Хозяин еще больше брюхо отрастит.

Я слушал этот их разговор, и мне было непонятно. почему Карп Ильич защищает хозяина, которого я видел пьяным на пароходе и который озорничал с народом, а потом поехал кутить в Царицыне с вольной бабенкой и забубенными гуляками. Я видел, что Корней не согласен с ним и не почитает хозяина, а Балберка даже изображает его смешным уродом.

И вот когда Балберка прижал меня к дощатой стене, я сначала окрысился, ожидая от него какой-нибудь каверзы. Но он вдруг обезоружил меня своим дружелюбием:

— Дурачок, чего ты ершишься? Ты меня не бойся. Это хорошо, что ты сдачи даешь. Я ловкий и никогда нигде не пропаду. Никто меня голыми руками не возьмет. Я — не муха: никто меня не прихлопнет. А ежели я тебя дразнил, щипал да за нос хватал, так это я для того, чтобы тебя проверить, какой ты нравный. Мать у тебя ловкая, а ты на что годный? Ну и

вижу: карахтер у тебя горячий. А теперь мы с тобой дружить будем. Пойдем, я покажу тебе, какие у меня разные принадлежности.

Большой своей рукой он подцепил меня под локоть и толкнул в дверь другой половины избы. Комната была такая же, как и кухня, но пустая; на полу лежали кошмы, а на них — клетчатые одеяла и грязные разноцветные подушки, а у стен стояли зеленые сундучки, обитые жестью. К окну был приставлен стол, на стене висела на гвозде жестяная лампа. В углу, на полочке, стояла иконка в фольговой ризе, засиженной мухами. Вокруг стола стояли старенькие табуретки. По стенам развешаны были черные кожаные бахилы, жутко похожие на удавленников. Здесь было тихо, глухо и пахло пылью и рыбой.

Балберка почему-то погрозил мне пальцем. В глазах у него уже не играли ехидные искорки: в них застыла тревога и ожидание. Лицо его было очень серьезно, строго, словно в этой комнате таилась какая-то опасность.

Он со звоном открыл сверкающий жестью новый сундучок и махнул мне рукой. Внутри сундучок был перегорожен дощечками на несколько колодцев: в одном лежали свернутые сетки и блестели, как живые, рыбки в пучках веревочек, в другом тоже рыбки, похожие на птиц — со сложенными крыльями, в третьем, самом большом, стояла чайка, а в четвертом кучей лежали куклы — парни, девки. Он выхватил откуда-то белую птичку и бросил ее к двери. Птичка бойко вспорхнула и стала летать по комнате, кружиться, метаться и взад и вперед, и вверх и вниз. Балберка следил за нею с радостной улыбкой и в восторге вскрикивал:

— Ага, так-так!.. Ну-ка, ну-ка, выше, к потолку!.. Не убейся, дурашка!.. Ну, да тебя не учить летать-то.

И вдруг она неожиданно села ему на руку. Он хвастливо засмеялся, бережно погладил ее и положил обратно в сундучок.

— Э-эх, ты-ы!.. чтоб тя тута-а!.. — пораженный, вскрикнул я и невольно бросился к сундучку. — Да как она летает-то?

Но он осторожно и настойчиво отстранил меня от сундучка и захлопнул его.

— Нельзя. Сроду не скажу. Это я сам додумался. Ежели скажу — все пропало. В секрете-то все дело. В том-то и загадка. А ежели загадки не будет — не будет и интересу. Надо, чтоб человек диву дался. Тогда и башке работа. Я страсть не люблю, когда люди снулые: только небо коптят да скуку наводят. Видишь, какое у тебя лицо-то стало хорошее. А мне от этого и самому вольготно. Ты гляди, что я тебе еще покажу.

Он вынул чайку, порывисто взмахнул ею, и она мгновенно расправила крылья. Кургузенький хвостик ее зашевелился.

— Это уж — большая. Я ее пущаю только один на один. С ней еще возни много: инóместо она не слушает меня. Она у меня будет долго летать и высоко подниматься, когда ежели ветерок. А сейчас она еще не сотворилась.

Он положил ее на старое место и вынул связанный пучок кукол. Но меня привлекли сверкающие рыбки — такие же, как плотички в нашей речке Чернавке.

— Это — обыкновенное дело, — отмахнулся от меня Балберка. — Этой блесной я рыбу ловлю. А вот эти молодцы да молодки сейчас плясать пойдут, а то они совсем стосковались. Я их взаперти держу уж сколько дён... Ну, ребята, выходи! И гармониста подхватывай! Приударьте хорошего трепака, чтобы баржа ходуном заходила!

Мне почудилось, что куклы сами собою выскочили из сундука и попрыгали на пол. Я заметил только, как Балберка, став на корточки, зашевелил пальцами над куклами, а они с гармонистом в середине беспокойно зашевелились, подталкивая друг друга. Потом в кружок выбежали парень и девка и стали перебирать ногами, взмахивать ручками, изгибаться, крутиться. Гармонист стоял в кругу, играл и тоже приплясывал. Когда один парень начал плясать вприсядку, вся толпа закружилась, замахала руками. Началась общая пляска. Я смотрел на эти куклы — и

видел их живыми. И потому, что они веселились и плясали, как живые, это было так забавно и увлекательно, что я хохотал до слез. И Балберка смеялся, пошевеливая пальцами, и не отрывал глаз от своих людишек. В комнате было одно окошко с пыльными стеклами, а в углах сгущался вечерний полумрак. Мне хотелось увидеть, на чем держатся куклы и как Балберка распоряжается ими. Ясно было, что все эти фигурки — на ниточках, но ниточки совсем не были видны, как я ни старался поймать их глазами. Мне особенно было удивительно, что каждая кукла вела себя по-своему: она не повторяла движений других, а плясала и махала руками, как ей хотелось.

— А теперь они попарно танцевать желают, — серьезно пояснил Балберка. — Гармонист-то польку заиграл. Гляди, как кавалеры благородно кланяются барышням.

И он губами заиграл польку. Парни жеманно поклонились девкам, а девки гордо задирали головки. И мне вспомнилось, как Дунярка, поднимая платьишко пальцами, изгибалась в красивом поклоне и пела: «Чихирь в уста вашей милости!..»

Я задыхался от хохота и никак не мог оторвать глаз от этого захватывающего зрелища.

Парни подхватили девчат и закружились парами, не мешая друг другу, минуя друг друга, перебирали ножками в такт музыке.

— Ну, браво, браво! — похвалил их Балберка и строго приказал: — Поиграли, и довольно! Идите по домам! Делу — время, потехе — час.

Он сгреб кукол в пригоршню и бережно положил их в сундук. И опять я не видел, чтобы он снимал нитки с пальцев. Это было загадочно, и я долго не мог успокоиться. А он, довольный и счастливый, смеялся. Это был совсем другой человек — не тот, которого я видел за столом и за работой: чудилось, что лицо его светилось, а в глазах сияло радостное раздумье.

— Ну, как, брат? Здорово я разбередил тебя?

— Сроду не забуду! — в сильном возбуждении крикнул я.

Должно быть, этим своим волнением я умилил его: он снял картуз, засмеялся, взъерошил сбитые в войлок волосы и вытер кожей картуза пот со лба.

«Он тоже как маленький, — с удовольствием подумал я. — С ним водиться хорошо. Я у него выпытаю, как такие игрушки делать».

В углу я заметил красивую коричневую рогатину. Ее металлический наконечник блистал серебром и остро вонзался в пол, а наверху, на другом конце, длинной петлей висел ремень. Я подошел и хотел поднять ее одной рукой, но она оказалась тяжелой. Почудилось, что она задрожала у меня в пальцах. Балберка, должно быть, увидел испуганное удивление на моем лице и с гордостью похвалился:

— Это — моя работа. Я сам ее сделал, выточил из дубовой слеги. Она сто лет служить будет.

— А зачем она тебе? Чай, ты не старик... — озадаченно снасмешничал я. — А на льду с ней играть, так ты уж большой.

— Чудачок ты, барашка-кудряшка!.. Да разве с рогатиной играют? С этой рогатиной я с Жилой Косы до Астрахани да обратно на чунках сколь раз летал. Тыщи три верст покрыл. Управляющий только меня кульером и посылает. Лучше меня на чунках — на салазках — никто не ездит. А потом — ну-ка! — в мороз, в непогодь полети-ка по морскому льду... Хоть кому страшно. Ведь до Жилой-то от Астрахани — почитай пятьсот верст. Сейчас вот, перед осенью, мы на барже ползем, а зимой лед здесь — аршин толщины. Вот я и лечу по льду на чунках. Стою на них и промеж ног рогатиной этой себя подталкиваю. Вот так, смотри! Дай-ка мне рогатину!

Польщенный его приказанием, я радостно схватил рогатину и хотел подбросить ее кверху, но она оказалась для меня очень тяжелой, словно железная. Я храбро поднял ее перед собою и дрожащими от напряжения руками поднес Балберке.

— Молодец! Не уронил — сладил! — похвалил он меня, и никогда я, кажется, не был так счастлив, как от похвалы этого неуклюжего парня. — Эта штуко-

вина, барашка-кудряшка, сто сот стоит. Такой рогатины нигде в округе не сыщешь.

Он легко подкинул ее и перебросил с руки на руку, потом ткнул между ног и, выбросив руки с рогатиной, наклонился, воткнул наконечник в пол и сделал вид, что порывисто оттолкнулся вперед.

— Вот как! Видел? Я лечу на чунках быстрее ветра. За мной однова волки гнались... Куда там! Я — круто в одну сторону, да в другую, а они — кувырком, да шерстью лед подметают... А тут еще друг дружку стали грызть от досады. Без отдыха летишь от поставы к поставе — целых пятьдесят верст... И остановиться нельзя: хватит морозом да пронижет ветром — пиши пропало. А тут без передышки — легко. Махай себе рогатиной, а чунки сами летят по чистому льду аль по накатанной дорожке, промеж вешек. Красота! Все сияет, и бел-кипень снег, и ты — словно птица в небесах...

Он изгибался, взмахивал рогатиной и вдруг всматривался в меня невидящими глазами и крепко сжимал зубы. Нижняя широкая челюсть его становилась костистой и выпирала под ушами бледными шишками.

XIV

Рано утром я выбежал на палубу — и, пораженный, застыл, прижавшись к косяку двери. Всюду блистала зеленая вода. Она сливалась с небом, и чудилось, что наша баржа плывет в воздушной безбрежности. Только рядом за бортом волны густо плыли длинными грядами, одна за другой, и убегали назад. Небо было глубокое, мягкое, и солнце, которое только что вынырнуло из воды, выплеснуло в море потоки ослепляющего света. Пароход впереди казался маленьким, а канат, опадающий в середине и скользящий по взбаламученной воде, был похож на очень длинную нитку. Бурый дым из трубы относило в сторону, и он грязным облаком расплывался и оседал далеко в море. Широкая кипящая дорога текла от парохода навстречу барже, а от колес расходились

в обе стороны волнистые ленты, которые разреза́лись тяжелой зыбью. Эти зеленые маслянистые валы зыби ползли вдоль баржи, и атласные горбы их заглядывали на палубу. Баржа глубоко утопала в воде и не чувствовала толчков этих волн, а мне было жутко смотреть на бескрайный и бездонный океан зеленых блистающих волн, и я чувствовал себя пылинкой на этой просмоленной щепке, которую может каждую минуту захлестнуть страшное море. Воздух был пустой: ни одна птица не летала над морской зыбью. И на барже было пусто и сонно: люди лежали и на корме, и на носу неподвижно, и нельзя было отличить их от мешков, узлов и грязного хлама. Вдруг я увидел недалеко в волнах лысую мокрую голову и покатые плечи черномазого уродца. Он поднимался и опускался в волнах и смотрел на нашу баржу выпученными глазами, с сердитым удивлением. Оглядевшись по сторонам, он быстро юркнул в воду. И тут впервые я ощутил особый запах ветерка — пахло рыбой, гнилой травой и чем-то терпким и свежим, как весной во время ледохода.

Прошел мимо Корней и подмигнул мне.

— Ну, вот тебе и море. Видел, как на тебя таращил глаза тюлень-то? Здесь их немного, а больше всего — там, далеко, на-полдень. Хорошо в море-то? Вольготно?

— Нет. Одна вода. Страшно.

— Ну? Это ты не привык.

На волнах опять закачался мокрый уродец и опять уставился на нас.

— Вон он опять! Какая рыба-то чудная!.. — И я бросился к борту баржи. Но тюлень опять юркнул в глубину.

— Они, тюлени-то, — не рыба. Видал морду? Они на собаку похожи, а живут только в море. Страсть любят поглядеть на пароходы и на всякую посуду. Мы на них каждую зиму охотимся: на льду их бьем.

— А как охотитесь-то, дядя Корней? Расскажи.

— Ну, это, брат, долгий разговор. Гляди-ка, народ-то... — он кивнул головой на людей, лежащих вповалку, и опять подмигнул мне. — Зарылись с головой.

Многие и глаза поднять на море боятся. Полевой народ, пахари. А на ватагах маются, как мухи в тенетах. Эх, люд бездольный! Расползаются, как тараканы перед пожаром, — ищут благостей да радостей, а попросту — куска хлеба. Думают, что в рай плывут, а на самом-то деле — как вобла в неводе.

— Нас и в Астрахани стращали, и ты вот пару поддаешь, дядя Корней. А я совсем не боюсь. Везде люди живут, — вспомнил я фразу, которую слышал не раз от взрослых. — Вы-то вот с дядей Карпом не пропали ведь. Зачем люди стращают друг друга? Разве это хорошо?

— Чего хорошего, — согласился Корней и сплюнул через зубы. — Верно — стращают, любят стращать. Мне самому хочется страх нагонять. Зачем? Хоть ты мал, а спрашиваешь строго. Может, стращают-то слабых да робких. Робких да слабых у нас не любят, как нищих. А храбрый да сильный работы не боится: он себя в обиду не даст. Ему сам черт не брат. И ты, значит, не боишься? — подмигивая, спросил он и засмеялся.

Он потер большими руками свои бока и сжал кулаки. Я уже заметил у него эту привычку: он будто всегда чувствовал около себя какую-то опасность и, зорко озираясь, готов был ко всякой неожиданности.

— Это хорошо, что не боишься. Бояться ничего не надо. Боятся того, чего не знают. Ребятишки боятся бирюков, боятся темноты, разных пугал, бабы — пьяных мужьев да чертей, а старики — домовых. А вот этот народ — неизвестности. Вот они и лежат, как бараны со связанными ногами. Мать-то у тебя тоже беззаботная: хуже, говорит, не будет, на земле, говорит, все человеку по силе. Ничего!.. Надо жить смелее. Это только трусу всегда страшно да трудно, а смелому и трудное кажется легким. Я тоже когда-то боялся. А сейчас мне все нипочем. Мы с Карпом и штормы пережили, и смерть видали, во льдах и в пучине замерзали, а вот только умнее стали да покрепче сбились. Ну, походи по барже, привыкай к морю, к людям присматривайся...

На корме одни спали, другие, полулежа, опирались на локти и с боязливым изумлением смотрели на море. Иные лежали, как больные, и жаловались друг другу:

— И головы поднять не могу: небо да вода. Страхота! Сердце заходится!

— И не говори: мутит и мутит. Все нутро переворачивается. Неспроста говорится: кто в море не бывал — страха не видал.

Одна баба, надвинув платок на глаза, качалась вперед и назад и плакала. Слезы текли по ее щекам крупными каплями. Мужик в лаптях и в синей домотканой рубахе, взлохмаченный, жидкобородый, тянул ее за рукав рубахи, понукая лечь, и уговаривал:

— Да бу-удет тебе!.. Аль воды не видала? Вода и вода... Привы-ыкнешь! — И виновато усмехался. — Привы-ыкнешь! И в аду, говорят, привыкают. А коли поплыли по своей воле — с собой счет веди. Ложись — и боле ничего.

Но баба продолжала качаться и плакать.

Я подошел к борту и сразу с ужасом отскочил назад: зеленая, гладкая волна вздыбилась передо мною, прозрачная, жуткая, огромная, и мне почудилось, что она хотела броситься на меня, смыть с баржи и проглотить. Но она уж отхлынула дальше, а на место ее хлынула другая. Далеко на таких же упругих и гладких волнах кое-где поднимались и опускались усатые морды тюленей. На носу кто-то пронзительно свистнул, несколько человек захохотало, и кто-то задорно выкрикнул:

— Эх, как тюлени-то мне обрадовались! Узнали старого знакомого.

Эти юркие и забавные уродцы с собачьими мордами, сверкая на солнце мокрыми головами, пристально глядели на нашу баржу и будто потешались над черной махиной.

На носу звонко заиграла гармония. Вчерашний гармонист, коротко остриженный, с черными усиками, стоял у борта и, подняв гармонию к щеке, широко растягивал мехи. Серебряные трели и звон колокольчиков встревожили всех, кто спал и просто лежал на

палубе. Люди поднимали головы, садились, и опухшие от сна лица свежели и улыбались. Курносая девка сидела на одеялке, обхватив коленки, и равнодушно смотрела на музыканта, а подруга гармониста, гладко причесанная, опрятная, с таким же как раньше бодрым и веселым лицом, подошла к нему и прислонилась к его плечу. Но он будто не заметил ее и не оглянулся. А я не мог понять, зачем он стоит у самого борта, глядит на морскую зыбь и играет так заливисто и призывно. К ним подошел и Гриша-бондарь, с растрепанными кудрями, с веселым любопытством в глазах, потом еще двое заспанных мужиков в красных рубашках без пояса. «Хохлушки» тоже подбежали к борту. Они ходили рука в руку и не разлучались, словно боялись потерять друг дружку.

Я подбежал к гармонисту и уже ничего не видел, кроме цветастых мехов гармони и тонких пальцев, которые быстро прыгали по медным пуговкам ладов. Эти разливные трели и напевы были чисты, звонки, как детские голоса. Колокольчики позванивали вместе со стоном басов, и гармония смеялась и плакала. Женщина задушевно запела:

Я молодая, да старо горе...
Ах, улечу я да чайкой в море!..

Она шагнула в сторону от парня, прислонилась к стенке борта, вскинула голову и забросила руки на шею. И пока парень играл сложный заливистый перебор, она охнула, а потом призывно, с гневным порывом пропела:

Только сердце злее стало...
Ох, я страдала, да не пропала.

Гриша-бондарь поворошил мои волосы и засмеялся.

— Гляди-ка, что делается... Умора! Тюлени-то... на гармонию выплыли. Видишь, как слушают?

Недалеко от баржи выныривали тупорылые, усатые тюлени и качались на волнах. Они пристально уставились на нас и, небоязливо толкаясь друг

о друга, глянцевые, повернулись к нам. Вдали в разных местах часто выныривали одинокие уроды, скрывались и опять появлялись, уже ближе.

— Страсть как любят музыку! И пенье обожают, особливо когда поют женщины. Умора! Прямо как дети. Обо всем забывают и уже без опаски тормошатся.

Надутые, как пузыри, тюлени колыхались на волнах, и мне казалось, что им очень хотелось подплыть вплотную к барже и прыгнуть на палубу. Но близко они не подплывали, а некоторые даже пятились назад и исчезали в воде. Их морды были так серьезны и по-собачьи настороженны, что я неудержимо смеялся про себя. Пароход буровил воду своими колесами, спрятанными в пузатых кузовах, и, покачиваясь, плавно поднимался и опускался.

Там, на корме, под железными дугами стояло несколько человек в парусиновых рубахах, видно было, что они смеялись. Вдруг пароход заревел густо и могуче — так, что у меня задрожало в груди. И в тот же миг все тюлени скрылись под водой, как растаяли.

— Эх, Харитоша! — вздыхая, сказала женщина гармонисту. — К тюленям, что ли, броситься? Видишь, какие они вольные и беззаботные?

Парень сосредоточенно думал о чем-то своем, и смуглое, сухое лицо его с плотно сжатыми губами казалось неподвижным и безучастным. Во всей его сухощавой фигуре было что-то недоброе, опасное, самоуверенное.

На жалобы женщины он не ответил, только скривил рот в усмешке. А Гриша-бондарь, румяный и добродушный, засмеялся и, поблескивая белыми зубами, весело крикнул:

— Тебе, Анфиса, воздуху надо больше, а ты в воду хочешь броситься. Ты на земле крепко стой да умей размахнуться. Некие бабы, как ты, атаманшами были.

Молодой мужик с растрепанными волосами и смятой бородой, заворачивая портянку на ноге, с насмешливым пренебрежением пробасил:

— Да где это ты видал, чтоб баба атаманом была? Во сне, что ли, привиделось? Баба ни в жизнь командиром над мужиком не будет.

Анфиса брезгливо оглядела мужика.

— Да таким раскорякой, как ты, и командовать зазорно. Куда ты годишься? На тебе только воду возить.

В толпе захохотали, а Гриша громче всех. Мужик тоже смеялся, лукаво поглядывая на Анфису. Только гармонист по-прежнему думал о чем-то своем, да девка сидела, обхватив руками колени, и покачивалась вперед и назад.

— Вот тебе и атаман налицо! — радостно крикнул Гриша и пошлепал Анфису по лопаткам.

Она отбросила его руку и сдвинула брови, но глаза ее смеялись.

— Я не лошадь, а ты не калмык. Не набивай мне цены. Я лучше тебя цену себе знаю. — И ласково обратилась к девке: — Не качайся, Наталья. Не баюкай тоски. Тоска не знает сна: она злостью тешится.

Она упала на скамью и ударила кулаком по столу.

— Играй скорее, Харитоша, а то у меня сердце закатилось. Не тюленям, а мне играй. Тюлени для жиру живут, а у меня от музыки душа бунтует. Одна утеха — озорничать хочется и смеяться. Только ты мне — радость, мальчишка: никого ты не боишься и ножом ходишь среди людей. А перед игрой твоей и враги-недруги головы клонят. Что мне богатство, что мне муж ненавистный, миллионщик! Выдали меня насильем, а в цветах, под фатой да в карете словно меня хоронили. И заперли меня, как в склепе. А вот вырвалась же на волю!

Харитон сел рядом с нею, невозмутимо сосредоточенный, весь какой-то жгучий. Он обнял Анфису, крепко прижал к себе без всякого стеснения и поцеловал ее взасос. Она охнула и с блеском счастья в глазах обхватила его шею гибкими руками. Он бесцеремонно разнял ее руки и сказал с ласковой угрозой:

— А ведь муж-то твой, Анфисочка, пронюхает, на каком быстролете мы удрали. И, мое почтение,

прибежит на своей шкуне и пришвартуется к нашему борту. Задача: куда мы с тобой скроемся? Поймает он свою птичку и опять посадит в клетку.

Я ожидал, что Анфиса замрет от страха и будет умолять Харитона спасти ее. Но она не испугалась и даже отодвинулась от него.

— Мой муж — ты. Ты меня и защитишь, если сумел оторвать от него. Он меня никогда не увидит.

Харитон кривил губы и рассеянно смотрел в морскую даль.

— Я тебя не насиловал, дорогая Анфиса. А драться с твоим мужем охоты не имею.

Анфиса побледнела и сразу как-то осунулась. Руки ее, белые и красивые, дрожали, судорожно переплетаясь пальцами. Мне показалось, что она сейчас заплачет и забьется в отчаянии или бросится на Харитона и начнет его бить. Но она вдруг успокоилась, вздохнула и тихо засмеялась.

— Я и без тебя сумею собой распорядиться и найти свою судьбу.

Гриша-бондарь конфузливо отошел в сторону и сел рядом с мужиком, который возился с портянками. Многие еще спали под клетчатыми одеялками. Несколько мужиков умывались у борта, поливая друг другу воду из ковша, и смеялись.

А я сидел на свернутых канатах и не мог оторваться от Анфисы и Харитона. Я чувствовал, что нехорошо глазеть на людей, когда они заняты своими душевными делами, что я хоть и малолеток, но могу стеснять их, и они прогонят меня, как непрошеного свидетеля. И все-таки я сидел и не отрывал от них глаз: какая-то непонятная сила притягивала меня к этим двум незнакомым людям, таким необычным, поразившим меня с первой же встречи с ними.

Анфиса напоминала мне Раису и белым лицом, и бровями, которые разлетались крылышками, и волосами, лежащими высокой золотой короной. Одета она была не так, как вчера, а чисто, аккуратно: юбка — черная, кофта синяя, с высоким воротничком до круглого подбородка и до самых щек с ямочками. Она мучительно улыбнулась и вместе с Галей и Оксаной ото-

шла от стола. Они сели около Натальи. Оксана долго всматривалась в ее лицо, потом заговорила с нервной горячностью.

Харитон засмеялся и проводил ее лукавой игрой в глазах.

— Анфиса! — позвал он ее с радостной дрожью в голосе. — Родная! Иди сюда, иди ко мне! Никакому черту не отдам тебя.

Подошел Гриша-бондарь и, всматриваясь в Харитона с добродушной улыбкой, признался:

— А я, брат, думал, что ты это всерьез... Хотел уж без приглашенья оглушить тебя. Разве так гоже с женщиной обращаться?

Харитон усмехнулся и закрутил головой.

— Скучно, Григорий, и нет душе отрады. Куда плывем? Куда бежим? Не убежишь от супостатов. Скучно, друг. Не хочется жизнь свою продавать за копейку. Я свою честь имею. Анфиса — такая же. Анфиса, иди сюда, голубка!

— Ты ее, голова, не тревожь. Пускай немножко отдохнет. Сядем-ка, потолкуем с тобой. Ты на какую работу-то едешь?

— Мне работа — не забота. Я и кузнец, и слесарь, и судоделец, и бондарь — на все руки мастер. Только начинаешь во вкус работы входить, а тут холуй и погонщик хозяйский тебе норовит в зубы дать. Пошлешь его подальше за можай и все противно делается: и работа не мила, и сам себе готов морду бить. Полаешься с холуями да с хозяевами — и на улицу. Остается одна отрада — гармония, души моей утеха. С Анфисой мы давно в любви живем. Она у матери — одна. В модной мастерской работала — хорошая портниха. Видишь, какая она статная? Держит себя не хуже барыни. Идет по городу — как звезда сияет, все на нее глаза пялят. Вот купец один, хлеботорговец и пароходчик, кутила, скандалист, на всю Волгу известный — Бляхин, и облюбовал ее. Подослал к матери всяких баб да монашек. Ну, и продала она ее этому блудодею и пьянице. — Харитон заскрипел зубами, схватившись за голову. — Продала, ведьма... А чтобы девка не убежала, караулили ее

монашки и бабы. А потом ее быстрым манером — в церковь.

— А ты-то где был, голова еловая? — вознегодовал Гриша. — Рохля ты, а еще на все руки мастер! Гармонист!

Харитон жгуче уставился на него и ответил:

— Не было меня в городе. Я у этого же прохвоста Бляхина шкуну в артели для его похождений заканчивал. Выходит, что шкуну-то готовил для новобрачных. Приехал я в город — и к Анфисе, а она уже в купеческих хоромах госпожой Бляхиной манежится. Я голову потерял, запил и в полицейском участке отоспался, избитый весь, разутый и раздетый. Вышел босяк-босяком, и не стыдно: все равно жизнь искалечена. В сердце — огонь, и себя не жалко. А в мыслях одно: или я Анфису вырву из лап Бляхина, или убью их обоих и себя. Справился я маленько, в разум вошел, призанял у друзьев деньжонок и приоделся. Купил новую гармонию — старую-то украли, когда пьянствовал, — и стал каждый день прохаживаться мимо бляхинского дома. Иду с товарищами и заливаюсь на все мехи. Ничего не вышло: ее и к окнам не подпускали. А кончились эти мои прогулки конфузно: подскочили ко мне городовые и утащили в часть: не смей его степенство беспокоить! Бешеный я стал, на себя не похож. И мысли пошли бешеные. Решил я стакнуться с шайкой молодцов — мастеров-налетчиков. Нападем, мол, как разбойники, на дом, я утащу Анфису, а они сделают свое дело. С неделю мы мерекали, как бы это без шума и гама устроить и концы спрятать. Пока они головы ломали, — пожива-то для них была примечательная, — помог мне случай своего добиться. Шел я по набережной, мимо Больших Исад, вижу, стоит пара рысаков, а в карете Анфиса с какой-то старой каргой, вся в кружевах да в шелках. Тут меня и ударило. Я — к ней. «Скорей, говорю, прыгай, Анфиса! Бежим!» А кучер вытаращил глаза и обжег меня кнутом. Схватил я с дороги горсть песку да в рожу и ему и карге. Анфиса выскочила из кареты и рука об руку со мной — в толпу, в Исады. А позади визг, рев, суматоха. Притаились мы на

Балде, у дружка в лачужке. А Бляхин всю полицию на ноги поставил. У старухи все перерыли, облавы в разных местах провели, а о самосадках на Балде и не догадались. И слухи пошли: озверел Бляхин, зачертил во всю горькую, перебил посуду и зеркала в ресторанах, всех баб и девок из своих лабазов по городу, как баранье стадо, гнал, а сам издали на коляске ехал и бросал в них помидорами. Злость свою срывал, мстил за Анфису. «Всю землю, говорит, перекопаю, весь город в прах разорю, а найду Анфису, или живую, или мертвую». Сыщиков поднял — тыщи посулил. А меня обещал в Волге утопить или в полиции на части разрезать. Но тут же во все горло хвалил: «Молодец, говорит, парень! И я бы, говорит, на его месте так же сделал. За смелость хвала ему, а за дерзость казню». На эту баржу мы нарочно открыто в толпе прошли — незаметно. Здесь ребята свои, не выдадут.

Гриша поглядывал на Харитона и на Анфису и почему-то смеялся, когда Харитон рассказывал о самых тяжелых моментах своей истории, а когда описывал проделки Бляхина и похищение Анфисы, хмурился, крутил кудрявой головой и крякал.

— А где вы девку эту подцепили, Натку-то? — спросил он равнодушно. — Чего-то она больно мается. Все время качается и накачаться не может.

Харитон сорвал шляпу с головы и бросил ее на стол. Хоть он и усмехался, но глаза его наливались злобой.

— Ее в лабазе изнасильничали. Девка здоровая — не сразу сдалась. Потом в Балду бросилась и хотела утопиться. Я в это время случился и спас ее. А сейчас она от нас отчалить не может.

Гриша и тут засмеялся.

— Эх, ты... чего жизнь с людьми-то делает! — И вдруг тяжело накрыл своей тяжелой ладонью руку Харитона. — Ну, вот что, голова. Ежели погоня будет, можешь с Анфисой и не прятаться. А прибежим на Жилую, в бондарню иди: со мной вместе работать будем. У меня, кроме этого, планы на тебя есть.

— На меня люди всегда с планами, как с капканами. А я совсем не желаю в планы да в капканы лезть. Я и сам свою волю имею.

— Ну, в этот план ты, голова, сам полезешь. Я о союзе говорю.

— В союзники при всяком разе готов.

— Так вот башкой думай, а не гармоньей. — Он обернулся, увидел меня и изумленно поднял брови. — А ты чего здесь торчишь? Рано еще тебе такие сказки слушать. Много будешь знать, голова треснет. Иди-ка, иди отсюда!

Харитон пытливо посмотрел на меня.

— Пускай учится: может, и ему пригодится. Да он, поди, уже много кой-чего знает. По глазам вижу.

Но я пошел вдоль борта к себе на кухню. Я не обиделся на Гришу: я уже знал, что взрослые очень не любят, когда их слушают ребятишки. Почему это? Может быть, потому, что они стыдятся своих поступков, встречая детские глаза, как укор? А может быть, потому, что боятся, как бы дети не поняли их по-своему и не заразились разрушительной болезнью познания? А может быть, просто потому, что мы, подростки, живем себе на уме и для взрослых — слишком строгие судьи? Я благодарно улыбнулся Харитону, когда он говорил в мою защиту и когда встретил знающий его взгляд.

Я шел вдоль борта и смотрел в море. На зеленых спинах плывущих волн ослепительно пересыпались солнечные искры, а вдали разливалась длинная сияющая полоса. Тюлени выныривали далеко и, вглядываясь в нашу баржу, быстро исчезали. Приземистый пароход легко поднимался и опускался на волнах, покачиваясь из стороны в сторону.

Меня догнал Гриша, потрепал по голове и засмеялся:

— Аль рассердился на меня? Ты не обижайся. Я это любя. Тут дело-то такое, что тебе не нужно вникать в человечьи глупости. Плохое-то как зараза: оно и хорошего человека дурманит. — Он остановил меня и с пытливой строгостью в глазах предупредил: — К Харитону с Анфисой ты пока не подходи.

Они не в себе. В бегах они сейчас, думают, что от людей убежать можно. А куда от людей убежишь? Где люди, там и закон. А закон-то наш — как хомут для одра, как коршун для цыплят. Закон везде человека найдет. Он для Анфисы — удавка, а для ее мужа-богача — волшебная сила. А в море этот закон за бортом: он на земле сила, где люди за оградой живут, а у моряков свой закон: на бога не надейся — сам не плошай.

Рассуждения Гриши были понятны мне: я уже и в деревне хорошо узнал страшную силу закона. Жертвой этого закона была тетя Маша, которую, как лошадь, продали в ненавистную семью и которую староста вместе со свекором и Филькой через все село вели с позором, когда она убежала от мужа. Этот закон заковал хорошего парня Петрушу Стоднева, когда он восстал против своего брата-богача. Я рассказал об этом Грише горячо, с надсадой, с дрожью в голосе и, должно быть, растрогал его. Он ласково и грустно засмеялся.

— Ну, думки-то у тебя не ребячьи. А поживешь — не то увидишь, дружок. И самому пострадать придется. На ватаге-то люди разные, не такие, как в деревне: там люди к земле не привязаны, им нечего терять. Есть там и забубенные головы, есть и бараны, а есть и товарищеский народ. Управители и подрядчики хуже волков. Им нужно из рабочего люда все соки выжимать. А выходит по закону так: рабочему человеку везде худо, и нет ему нигде защиты. Россия наша не мать нам, а злая мачеха.

Но по лицу его, белому и румяному, с русой молодой бородкой, и по глазам его, веселым и прозрачным, как ключевая вода, не было видно, что он измучен и измордован этим жестоким законом, что из него выжаты все соки. Это был здоровый, сильный и радостный человек. Он ласково, с улыбкой любовался морем, облаками, солнышком и смеялся тюленям, что качаются на волнах. Он был близок и понятен мне, потому что держался со мною как ровня и говорил так же, как со взрослыми, — не покровительственно, не свысока, а как с самостоятельным парнем, который его

понимает и внимательно слушает. Может быть, он говорил больше сам с собою, может быть, видел во мне доверчивого слушателя, а не избитого жизнью человека, который на людей смотрит настороженно.

Пресную воду он носил матери из трюма с охотой, тоже весело, с неугасающей улыбкой, играючи. Он шутил с матерью походя, и в кухне становилось вольготно, легко и беспокойно; и огонь горел в печке веселее, и кастрюли и чугуны как будто оживали, а мать светлела: опечаленные глаза ее вспыхивали изумлением, и она смеялась, как девушка. Она с пристальным любопытством следила за ним, и я видел, что ей было приятно, когда врывался к ней Гриша, и ей самой хотелось быть веселой и радостной.

— И чего это ты такой бойкий да разбитной, Гриша? — удивлялась она, любуясь им. — Словно и горя ты никогда не видал, словно всегда тебе было хорошо.

— А чего тужить-то, Настя? — смеялся он беспечно. — Ежели горевать от всякой обиды да тягости — скрутит тебя кручина в три погибели. От этого заболеешь и, не дожив веку, умрешь. А я умирать не хочу, здоровья даром не отдам и никому не поддамся. Солнышко и мне светит и говорит: не робей, Григорий! Для меня ничего лучше нет, как работой тешиться. Она всякую дурь да боль выгоняет. А когда любишь свою работу, да еще в артели — работа-то в руках играет. Ведь ты и сама, замечаю я, в работе играешь. Горе-то весельем выгоняй: гнут тебя, а ты не поддавайся.

Однажды он так разошелся, что подхватил мать своими ловкими руками, начал крутить ее по комнате и легко вскидывать, как девочку. Она смеялась, отбивалась от него, но ей была приятна игра Гриши. И мне было тоже приятно смотреть на эту их игру и самому хотелось ввязаться в их возню. В нем бурлила горячая жизнь, и тело его требовало движений. Должно быть, и в работе своей он такой же горячий, и я верил ему, что работа играет и смеется у него в руках. Должно быть, всякие огорчения и обиды отлетают от него, как щепки от топора.

XV

В сумерки около Харитона собиралась толпа. Он играл на гармонии и все время задумчиво молчал, словно сам прислушивался к своей игре. Ночь наплывала на нас со всех сторон, горизонт гас, туманился, море сливалось с небом, и оттуда тяжело и густо двигалась мгла. Ленивые волны упругими горбами проходили мимо барж и без всплесков уплывали назад.

Жизнь на барже была спокойная, молчаливая, дремотная. Люди обычно проводили время на своих пожитках, ели, спали, разговаривали. Кое-где играли в засаленные карты, кое-где мужики натужно спорили о чем-то или сонно напевали заунывные песни. В этой водяной и воздушной безбрежности мы — одни, и если море взбунтуется, забушует, волны, как звери, бросятся на нашу баржу и швырнут всех этих людей с их пожитками за борт или зальют водою баржу, — она захлебнется и потонет, тяжелая, грузная, неповоротливая. Я долго смотрел на небо, чтобы не видеть этой наплывающей тьмы, и мне было легче. Я видел знакомые созвездия, которые мерцали надо мною еще в деревне: вот семизвездный ковш, вот яркий крест, а прямо над головою переливается радужными вспышками, улыбается мне и что-то попрежнему шепчет знакомая яркая звезда. Мне было утешительно и приятно смотреть на них: они словно следили за мною и провожали меня, как родные. Они улыбчиво мерцали, ободряли меня: «Не бойся! Мы каждую ночь с тобой...» Вправо, за черной тенью парохода, мутно краснел низко над водой разбухший и сонный месяц. От него в далекой мгле и близко на волнах растекалась широкая огненная дорога, которая колыхалась, разрывалась на клочья и рассыпалась искрами. И эта угрюмая луна и огненно-кипящая дорога казались мне волшебными и тревожными. Я видел, как Балберка поднимал на веревочке фонарик к излому мачты и прикручивал конец веревочки к железному крюку. Потом деловитыми шагами шел вперевалку мимо и будто совсем меня не замечал.

Музыка манила к себе молодых мужиков и баб. Они толпились вокруг стола и слушали сначала молча и несмело, а потом робко просили Харитона сыграть плясовую. Харитон молчал и угрюмо перебирал басы, тихо наигрывая какую-то протяжную песню. Толпа пересмеивалась и невнятно переговаривалась, терпеливо и уважительно слушая задумчивые стоны гармонии. Тут стояла и мать, не отрывая широко раскрытых глаз от Харитона и его гармонии, и слушала, как завороженная. Она тянулась к столу, незаметно пробиралась к гармонисту с застывшей улыбкой. Анфиса сидела на скамье, тоже задумчивая, закинув руки за голову, и смотрела на небо. Гриша, опираясь локтями о стол, подбодрил музыканта веселым говорком:

— Ну, что задумался, служивый? Гляди, сколь народу-то навалило! И так все без дела стосковались, а ты еще душу туманишь. Ведь всем хочется встряхнуться. Приударь-ка, милок, да погорячее!

И Харитоша действительно приударил. Он вскинул гармонию и оглушительно заиграл серебряный перебор, зазвонил колокольчиками и сразу перешел на плясовую дробь. Чудилось, что этот размашистый и задорный речитатив засверкал, завихрился над палубой и стаей птиц разлетелся по морю. Мне даже показалось, что толпа ахнула и засмеялась.

Гриша озабоченно вышел из-за скамейки и без обычной улыбочки, строго приказал:

— Раздайся, народ!

И взмахами руки оттеснил всех назад, потом остановился на пустом месте, встряхнул кудрявой головой, прижал ладони к груди и, высоко подняв локти, выбросил ногу вперед и зыбко заколыхался. Он требовательно всматривался в толпу, словно искал кого-то, потом взвизгнул и притопнул сапогом. Кто-то не утерпел и жалобно закричал:

— Гришаня, мужик! Душа радошная!.. Оглушил, милок... Эх, разударь, волгарь!..

Я слышал, как взволнованно дышали люди, нетерпеливо напирали друг на друга и как-то странно постанывали. Вдруг Гриша рванулся к толпе и вы-

нернул мать. Она как будто ждала этого и с застывшей улыбкой плавно пошла дробным шагом вокруг Гриши. А он, словно потрясенный изумлением, всматривался в нее некоторое время, потом схватился за голову и в отчаянии крикнул:

— Да что же это такое, братцы мои? Да как это она, такая цыцарочка, попала в нашу ватагу?.. А? Друзья-товарищи, успокойте мое сердце!

Толпа задрожала, зашевелилась, закричала разноголосо, а некоторые женщины взвизгнули, как от щекотки. Гриша вскинул голову, подбоченился, завертелся на месте, а потом пошел за матерью, ладно и четко отбивая под гармонию дробь каблуками и подошвами. Это был уже не тот Гриша-бондарь, рассудительный и спокойный человек с ясной, умной улыбкой, с пристальными глазами цвета морской волны. Сейчас он мне казался буйным весельчаком, которому все трын-трава. Он выделывал залихватские коленца, изгибался, подпрыгивал, приседал и вертелся на каблуках, как волчок, потом внезапно подхватывал мать, кружил ее вокруг себя, а она испуганно вскрикивала. В тесно сбитой толпе люди, захлебываясь от восторга, покрикивали, покрякивали, заливно смеялись и, заражаясь буйной пляской, нетерпеливо перебирали ногами, подергивали плечами, словно пьяные. Я еще никогда не видел мать такой задорно-смелой. Робость и молчаливая пришибленность ее вдруг исчезли, словно она вырвалась на свободу и сразу же охмелела от вольного простора.

Я восхищался и гордился ею. Ее пляска захватила меня, мне хотелось, чтобы ей завидовали и засматривались на нее.

Гармония звонко заливалась, рассыпалась серебром. Харитон встал и сам стал притопывать и, показывая белые зубы, встряхивал головой. Толпа уже готова была броситься в пляс: все кричали наперебой, махали руками, грохотали сапогами о палубу. Гриша разгорячился еще сильнее, он высоко подпрыгивал и падал, раскинув руки, как птица. Мать извивалась, кружилась, и сарафан ее поднимался и раздувался колоколом.

Вдруг она с отчаянным криком сорвала платок и волосник с головы и наотмашь бросила на стол.

Что-то оборвалось у меня внутри, и я, как в угаре, отошел в сторону.

Ко мне подошел Карп Ильич и повел меня за плечо к каюте.

— Пойдем-ка, парешок, ко мне. Здесь тебе никакой пользы нет. Там у меня книжки есть в сундучке. Сколь годов вожу их с собой, а читаю по складам, да и то в год раз. А охота! Рыбаком всякий может быть и привыкнет в море бегать. А книжку неизвестный человек пишет, редкий человек, с великим даром. Такие люди — как святые: они есть на земле, а их не достигнешь. Ну, есть из них пророки, наставники — всяких тайн хранители, а есть блудословы — всякие дерзости сочиняют, небылицы в лицах. Ты сам-то чего читаешь? Годочки у тебя еще малые: любишь, поди, сказки да складки, да почуднее потехи...

Мне жалко было уходить от веселого хоровода: хотелось посмотреть, как пляшет Анфиса, кто из мужиков выбежит ей навстречу и кто кого перепляшет. Анфиса привлекала меня своей статностью и миловидностью, и я думал о ней весь день: она — буйная, с вольным характером и любить хочет по-своему. Выдали ее насильно за богатого купца, одел он ее в шелка и стал катать в дорогой коляске, а она убежала к Харитону — не позарилась на барское житье. В ее судьбе было общее с тетей Машей, и нравом она такая же крутая, только как будто веселее и радостнее. Харитон казался мне странно жгучим, и я был уверен, что они страдают, но виду не показывают. И если бы муж Анфисы погнался за ними и накрыл их, они живыми в руки не дались бы. Их судьба похожа была на сказку: их история напоминала «Руслана и Людмилу», но Харитон не был похож на Руслана, а Анфиса была непокорная и вольная — не такая, как глупенькая Людмила, которая соблазнилась нарядами у Черномора.

Я оглядывался на возбужденную весельем толпу, ловил звенящие перезвоны гармонии, но шел с Карпом

Ильичом охотно: он сразу покорил меня обещанием показать свои книжки.

Вдруг налетел на нас гулкий порыв ветра и взвизгнул где-то наверху. Месяц был разорван длинным облачком, далеко внизу лежал на море грязно-седой туман. Дым из трубы парохода быстро относило в сторону и сразу же бросало вверх и рвало в клочья. Карп Ильич остановился и поглядел вдаль.

— Да. Морянка заиграла. Она в это время ласковая. Это хорошо: у Жилой Косы ближе к берегу подойдем.

Он оглушительно свистнул и подтолкнул меня в дверь.

— Иди-ка в каюту, а я сейчас вернусь. Не бойся, это всегда здесь бывает. Подует ветерок, поволнуется море и опять затихнет. Облачишки легонькие, шутейные.

Но двери я не затворил, а остановился на пороге. Ветер затих, но в море замерцали барашки, и чудилось, что они сами светились зеленым огнем. На носу звенела гармония и раздавался топот пляски. К Карпу Ильичу подошел Корней, а за ним приковылял Балберка. Они невнятно поговорили о чем-то вполголоса, но я ничего не понял, только услышал новые для меня слова: «вахта», «драить», «зюд-вест». Когда Корней и Балберка пошли к корме, Карп Ильич сказал спокойно, как-то по-домашнему:

— Вы там, ребята, народ не спугните. А тех, плясунов, совсем не тревожьте.

— Знаем, не впервой,— обидчиво проворчал Балберка, а Корней шлепнул его по спине и захохотал.

Карп Ильич захлопнул дверь и мягко погладил меня по плечу. Над столом тусклым пузырем горела лампа, и желтый язычок пламени сверху похож был на лопаточку. На полу лежала черная кошма, а на ней три одеяла и три красные подушки. Знакомый сундук Балберки поблескивал серебряной оковкой.

— Ты, парешок, не думай ни о чем, не бойся. Мы на барже-то, как на острове. Такую толстуху никакая волна не берет. Наш буксир покачается на волнах, как мартын, а мы спать будем, как дома. Нам,

рыбакам, доводилось не раз в бурю, в пургу на льдине отрываться. Несет ее шторм, ломает по кускам, и деться некуда, и защиты никакой. А то в осенние бури швыряет парусники, как гречишную шкурку в кипятке, тут уж только на себя надейся, как бы из драки черта с богом выскочить. Я уже двадцать годов на рыбачьих посудах бегаю — от Эмбы до Дербента, от Бирючей Косы до Кара-Бугаза. И нет того года, чтобы со смертью не дрался.

Позабыв о своей робости, я нетерпеливо крикнул:

— А как дрался-то, дядя Карп? Расскажи!

Должно быть, ему понравился мой горячий порыв, и он, всматриваясь в меня, встряхнул бородой, усмехаясь.

— А книжки-то как же, читалец?

— Книжки-то, чай, не уйдут, дядя Карп. А я тебя близко-то вижу только за едой. С маленьким со мной ты ведь не калякаешь.

Он бросил кожаный картуз на стол и удивленно поднял клочкастые брови. Умные и тугие глаза его играли лукавой улыбкой, а в красной бороде при тусклом свете лампочки мерцали искорки.

— Я вот тоже, когда был твоего возрасту, у отца выспрашивал, как да что... Он тоже рыбак был. И семья наша и село — со Стеньки Разина рыбачили. И все помнят, как наши предки в Стенькиных да Пугачевых вольных ватагах с ворогами дрались. Ежели душонка у тебя заиграла от моего разговора, моряком будешь. Аль тебе не страшно?

— Знамо, страшно, да хочется.

На крыше что-то загрохотало, а пожарные ведра, которые висели оторочкой снаружи над окном, задребезжали и зазвякали. Ветер засвистел за окном и с гулом забушевал вокруг избы. Что-то глухо шлепнулось перед окном на палубе и хлынуло ливнем. Стекла залило водой, и пузырьки струйками потекли вниз. Потом опять стало тихо, но гул ливня стал сильнее. Я понял, что это волны бьются о борт баржи. Мимо окна пробежало несколько человек, где-то далеко закричали испуганные голоса. Но звон гармонии не прерывался.

— Ничего! — добродушно утешил меня Карп Ильич. — Это море пляшет под Харитонову гармонику. Играет он ретиво.

Он стал на корточки перед своим сундучком и со звоном отпер его, но крышки не открыл, а сел на нее и кивнул в сторону гармонии.

— Вот такой же лихой гармонист в третьем годе в море погиб. И не заметил, должно, как сгинул — по-геройски, богатырем. Вспомнишь о нем — душа плачет, и зависть берет: какие меж нас отважные да неизведанные люди есть! Наша артель тогда на Чечени, на острове, работала. Моряки — природные, дружные, хожалые. Исстари так положено: на берегу веди себя как хошь — вольничай, пей, буйствуй, хоть самому черту рога ломай, а уж когда в море, на посуде — о себе забудь, обо всем забудь: ты только для артельного дела, ты в артели — в едином теле, для всей артели, для товарища жизни не жалей. Так и поговорка у нас сложилась: один в море — не рыбак, без артели — не моряк. От этой артели остались только я да Корней. Балберка только в прошлом году к нам пристал, парнишка безбоязненный, с большой выдумкой. Так вот, ранней весной было, в буйное время. Удача-то день на день не приходится: на рисковое дело идешь. Мы, моряки, люди привычные: бежишь в море при всякой погоде, отказаться — чести лишиться, от моря отрешиться. После этого в море не побежишь — не примет море. Море — не простая вода: море — живое. Побежали мы на паруснике на соседнюю банку. Семеро нас было: четверо — природные моряки, трое — морские пасынки, только по году солились в морской воде. Четвертый из нас, моряков, еще холостой, картина-парень, силач, гармонист был знаменитый. Со своей гармонией и в море не расставался. А гармония у него отменная была: сам в Саратов ездил, и мастер ему по его указке ее делал. Звук у нее был колокольный, чистоты дивной и на версту кругом сердце людям тревожил. А в море тюлень вокруг нашей посуды кишел, как заколдованный, — бери его голыми руками, и не заметит.

Карп Ильич сидел на сундучке, опираясь локтями о колени, и смотрел на свои большие руки, опутанные набухшими жилами. Мне казалось, что он совсем забыл обо мне: зачем я ему, маленький подросток, который еще не может подняться выше детской игры и у которого слова взрослого, да еще такого морского волка, как Карп Ильич, не могут умещаться в головенке? И я видел, что он говорил не со мною, а с самим собой, и если чувствовал меня около себя, то воображал, может быть, какого-то таинственного собеседника, внимательного, мудрого, как его собственная тень. За окном свистел ветер, грохотали волны о борта баржи, близко и далеко перекликались голоса, и звенящие переборы гармонии то громко и четко бились о стекла окна, то относились ветром в море и лепетали едва слышно. Глухо и дрябло завыл пароход, но Карп Ильич только отметил спокойно:

— Знак даст, чтобы ребята на руль становились.

— Ты, дядя Карп, не уходи, а рассказывай.

— Рассказываю. Ребята и без меня знают, что надо делать. Это не шторм, а свежий ветерок. Не бойся.

— Я не боюсь, только больно непривычно.

— Вот и привыкай. Надо ко всему привыкать, чтобы вместо страха душа веселилась. А это тогда с человеком бывает, когда он с открытой грудью спроть всякой грозы идет и знает свое дело до тонкости. Ну, и море надо постигнуть, а это не всякому дано.

— А чего было-то, дядя Карп? Как гармонист-то сгинул?

— Какой ты скорый! Мы со штормом боролись целые сутки. У меня до сего часа сердце кровью обливается, а ты хочешь, чтобы я тебе в минуту мою быль рассказал. Да. Так вот, выбежали мы в море в штормовую погоду. Парусник наш старый был. Хозяин денег на разгул не жалел, а посуду держал до тех пор, пока она не развалится. И жизни людские не жалел: человек, мол, сам о себе должен заботиться. С морем мы сжились. Море нас еще младенцев соленой волной своей крестило да нянчило. Мы все его

повадки, весь нрав знаем: и веселость его, и гнев его. Оно и щедро и благостно, нещадно и свирепо. Судно, как чайка, по шквалам гуляет и рыбы — улов богатый. Бывало и посуду искалечит, и по неделе на этой щепке швыряет, а все же на берег выбросит. То же и на льдинах бывало. А в этот раз жестокое было море. Вышли мы из заливчика с беспокойством: моряна поднималась. Ну, да ведь не впервой выбегаем в море. При свежей моряне и посуда веселится — стрелой летит, только на руле будь хорошим кормчим. Вижу — и дружки мои тоже тревожатся, а гармонист шутит: «Я, говорит, немножко погодя, когда штормик разбушуется, раздольную песню ему заиграю». Посуда была хоть и старенькая, хоть и кряхтела и поскрипывала, а ходом резвая была, руке послушная. Ныряет она по волнам, со шквала на шквал перелетает, а парусок пузырем надувается. Как-то и на душе стало легче: море играет, шквалы через палубу хлещут, как будто с виду никакая беда не грозит. А знаю: не миновать беды. Небо — грозное, черное и будто на нас оседает, издали словно гора надвигается. Назад повернуть нельзя: приказ у нас выполняется строго, да и в обычае ловцов не было, чтобы от моря драпать. Мне, лоцману, приходилось с каждым шквалом хитрить и на сноровку свою надеяться. Ведь только лоцман за жизнь человечью в ответе. В этот час обо всем передумаешь. Корней у меня подручным был. Парень он железный. Как сейчас вот, так и в бурю спокойный и ладный бывал, будто и страха никакого не ведал и никакой опаской не тревожился. Ходит заботливо, трубочку посасывает, а глаза каменные. Скажет слово, скомандует — улыбнется, и от улыбочки этой на душе свежее. И вот, когда темнеть начало и посуду стало бросать с горы на гору, парусок приспустили, чтобы посуду по ветру чайкой держать. А Корней и говорит мне: «Шторм на девять баллов, лоцман. Сейчас крушить начнет. Видишь, какая стена несется? Сиди на руле сам, а я уж с командой буду. Нашему гармонисту до гармонии своей не добраться». И в первый раз увидел, как он трубку изо рта вынул и в карман спрятал.

«Держи, говорит, круче — наперерез ветру — к косе. Ежели справишься, Ильич, — а тебя и морской бог слушается, — как-нибудь до банки доползем... Только руль береги — без руля пропали». — «Знаю, говорю, не учи!» — «Потому, говорит, намекаю, что лучше моего знаешь». И сам этот руль оглядел да ощупал. А когда отошел да оглянулся на меня — сердце у меня заныло и душа заледенела: в глазах-то его улыбочка, как топор, блеснула. Повернул я к берегам, под острый угол шторму. А кругом — черная, лохматая тьма, и нет воздуха — шквалы и ливень. Не успел Корней с ребятами парусок убрать — сорвало его, как тряпочку, и швырнуло в море. Посуду кувырнуло бортом в волну, и даже я, опытный лоцман, чуть было за борт не улетел. Страшенный шквал накрыл палубу, и, как сейчас вижу, вместе со шквалом полетели за борт два человека. А на палубе одни плашмя лежат, как раздавленные, другие за мачту держатся, третьи рвутся в кубрик. Вот тут и случилось это самое. Стало бросать посуду, как щепочку, и ничего, кроме воды и тумана, не видно. Ураган такой был, что, кажись, никогда такого не испытывал. Посуду так бросало, что палуба в воде скрывалась. И грохот, рев, гул кругом, как в аду. Вижу сквозь туман и ливень — возятся ребята, и вдруг задрожал весь корпус посуды, затрещало что-то, словно ударились мы о скалу, а потом подбросило кверху и завертело волчком. Мельком заметил, как срезало мачту, и она, как палочка, шлепнулась о палубу, в щепки разнесла кубрик. Тут же швырнуло ее в сторону. Корнея я уже не заметил, только померещилось, что ползают около мачты двое, словно их прищемило, и они никак освободиться не могут. А когда еще рвануло посуду и накрыла ее волна, почувствовал я, что руля моего уже нет — разбило его вдребезги. Посуду уже стало кувыркать, как чурку. Бросился я к ребятам, к мачте. Вижу, лежат трое под мачтой и меж ними Корней: ногу ему прищемило. А двоих придавило поперек тела. Только гармонист возится поодаль под мачтой, а она качается, дышит, потом стала подниматься. И крик слышу, такой надсадный, хриплый:

«Выползай, ребята!» Корней за обломок мачты уцепился, а двое так и не пошевельнулись. Держит гармонист мачту на спине, дрожит весь, ноги расползаются, и хрипит: «Братцы, спасайся! Тащите ребят-то, а то не выдержу». Я схватил одного за ноги и рванул в сторону, а другого не успел. Мачта грохнулась, а гармонист рядом с ней, и кровь у него, гляжу, горлом хлынула. А в это время ринулся опять на нас шквал, как водопад, и положил посуду на борт. А когда она опять стала на киль, на палубе уже ничего не было — ни мачты, ни кубрика, ни снастей, ни людей. Волны, как горы, с разных сторон вскидывают нашу посудинку, ввысь и в пучину бросают. Так мы с Корнеем и держались вместе за обломок мачты до утра, покамест всю посуду нашу не порвало по всем швам. У Корнея ногу раздробило — видел? До сих пор припадает. «Мы, говорит, Карпуша, как вместе морячили, так вместе в обнимочку и помрем. А ежели спасаться думаешь — сам-один на воде держись: обо мне не заботься — без ног я плохой пловец и моряк». И на что уж крепкий парень, а застонал. «Нет, говорю, Корней, мы еще поживем и по морю побегаем. Нас море-то побережет». И подлинно, вера у меня в душе была: не погибнем, жить будем и хоть вплавь, на обломках, а доберемся до берега. Посуду нашу всю измочалило, обшивку, как лучину, драло, а потом, когда шторм-то стихать стал, посуда наша ко дну пошла, я с Корнеем долго еще нырял с обломками в руках. Он сильно ослабел, и у меня было одно беспокойство: как бы он не захлебнулся и не утонул. В такой час не о себе думаешь, а о товарище: кажись, сам бы погиб, лишь бы товарища спасти. Должно быть, так нашему брату моряку положено. Гармонист-то живота своего не пожалел, чтобы товарищей своих от смерти вызволить: ну-ка, мачту-то — такую махину — поднять! Не думал он, что сам себя губит. Поднять-то поднял, а сломался, все нутро порвал: смертью за это заплатил.

Я слушал Карпа Ильича, сдерживая дыхание. Рассказывал он с натугой, словно ему не хотелось

вспоминать об этом событии или он считал, что такие приключения — самое обычное, будничное дело. Но я видел, что он до сих пор вспоминает пережитое с волнением: глаза его встревоженно блестели, он теребил бороду, и она казалась раскаленной при огне лампы. Временами он чутко прислушивался к себе и судорожно поводил плечом. Коренастый, мускулистый, он, казалось, томился тяжестью своего тела. Но в те минуты, когда он говорил о богатыре-гармонисте, поднимающем упавшую мачту, чтобы спасти товарищей, он беспокойно выпрямился и словно хотел соскочить с сундучка. И тут же смущенно улыбнулся. Передо мною раскрывался новый, огромный мир, где обыкновенные люди совершают необыкновенные дела. Вот он, Карп Ильич, в кожаной одежде, грубо сколоченный, тяжелый, с красной бородой; вот припадающий на ногу коренастый Корней, приветливый, с доброй улыбкой; вот, как живой, передо мною великан-гармонист, должно быть, веселый певун. Эти люди — какой-то другой породы, способные только на необычайные подвиги, живущие только борьбой с бурями. Вспомнились слова Карпа Ильича о зимнем буране и о льдинах, на которых уносило рыбаков в море. Кругом бушуют такие же страшные волны и до самого неба — ураганы снега. Ничего не видно, кроме белых вихрей, а на льдине, которая несется по черному всклокоченному морю, сбились в кучу несколько человек, обреченных на гибель. Волны захлестывают этот белый островок, ломают его, рвут на части, а ураган засыпает снегом людей. И нет им спасения. Вздрагивая от ужаса, я пролепетал:

— А как же, дядя Карп, на льдинах-то?.. Как вы спасались-то?

В каюту ввалился Корней и с обычной улыбкой добродушно спросил:

— Это какого же по счету парнишку ты растравляешь, Карп? Что это за охота мальчат бунтовать?

Карп Ильич усмехнулся, подхватил пальцами бороду и покрыл ею лицо до самых глаз.

— О гармонисте нашем да о тебе рассказывал. К слову пришлось. А это ему в науку. Весь век помнить будет. Пускай знает, какая цена есть дружбе. Только в нашем ловецком деле верность крепится.

Корней оживился, ударил себя по бедрам и сдвинул картуз на затылок. Глаза его вспыхнули, но лицо сурово ожесточилось.

— Мы с тобой, друг мой Карпуша, кровью в верности нашей связаны. А умрем в один час — в обнимку. Мы ведь клятву дали Герасиму. — Он шагнул ко мне и строго приказал, указывая на Карпа Ильича: — Ты дядю Карпа не забывай, а чего он внушает — в уме держи. Он, дядя Карп-то, два раза меня от смерти спасал. Однова на льдине — сам чуть не замерз, а меня отогрел. А вдругорядь в этот самый шторм...

Карп Ильич встал и угрюмо набросился на Корнея:

— Ты молчи, Корней! Ты да я, да мы с тобой... Ежели мы будем попусту болтать да разбирать, кто кого спасал, одна только канитель будет, одна неразбериха. А вот ты запиваешь да в драку со мной лезешь, за это я тебя уж не один раз к мачте привязывал.

Корней обмяк и стыдливо замигал глазами. Лицо его дрожало от виноватой улыбки.

— От тоски это, Карпуша... Сам знаешь... Душа ноет... В неоплатном я долгу перед тобой... — И вдруг опамятовался, встряхнулся и засмеялся. Обычным, деловым голосом доложил: — Ну, шутки в сторону, а хвост набок. Чего я пришел-то? Нас догоняет шкуна. Мчится на всех парах. Уж не Бляхин ли с ума сходит?

Карп Ильич спокойно надел картуз, огладил ладонями свой бушлат и пристально поглядел на Корнея.

— Иди-ка, скажи ребятам, чтобы на баржу ни одного человека не пускали. Не давать пришвартоваться. А кто посмеет ворваться на борт — бросай в море.

— А ежели это Бляхин?

— Он! — уверенно подтвердил Карп Ильич.

— А ежели сам ворвется?

— В море! — отрезал он хрипло.

Корней озадаченно крутил головой.

— Сроду не был в такой переделке... будто и не ловецкое это дело...

— Это моряцкое дело. Не мне говорить, не тебе слушать.

Оба они забыли обо мне и вышли из каюты.

XVI

На палубе была уже ночная тьма, и холодный, мокрый ветер метался вдоль стены избушки, глухо гудел, взвизгивал, качал развешанные над окном ведра, а они, толкаясь, дрябло звякали. На носу уже не слышно было ни гармонии, ни голосов: должно быть, люди разбежались по своим местам. Небо было черное, густое и тяжелое. Волны хлестали в борт баржи и вихрями взлетали вверх. Эти вихри и всплески тускло вспыхивали в призрачном мерцании фонаря на мачте. Толпы косматых волн мчались к барже, напирали друг на друга и клокотали бурунами и пеной. Необъятная тьма казалась живой, зловещей и неслась к нам с гулом, с шумом ливня и порывами влажного ветра.

Желтая звездочка фонаря вздрагивала и мигала на переломе мачты, словно ей тоже было жутко в этой взбаламученной тьме. Впереди маячили огоньки на пароходе; они плавно поднимались и опускались, летая из стороны в сторону: пароход качало. Позади, за невидимой кормой, так же качались и летали вверх и вниз три огонька: красный и зеленый, а высоко над ними — желтый.

За бортом с грохотом взорвалась большая волна, взлетела вверх и шарахнулась на палубу вихрем брызг. Мне стало страшно. Мать стояла на пороге кухни и кричала испуганно:

— Куда ты запропастился, неудашный? Я бегала по всей барже — искала тебя... Сердце у меня зашлось.

Я сделал вид, что мне нисколько не жутко, и задорно похвалился:

— Мы с Карпом Ильичом в каюте калякали. А тут Корней пришел да сказал, что за нами шкуна вдогонку бежит. Вот она! Видишь огоньки-то?.. Уж близко.

Мать порывисто повернулась к корме и стала всматриваться во тьму. Платка на голове и волосника у нее не было, а косы она закрутила в узелок на затылке. И от этого голова у нее стала маленькой и чужой. Мимо прошел Гриша, без картуза, но в длинном пиджаке. Кудри его трепал ветер.

— Иди-ка, Настя, к Анфисе, — озабоченно сказал он. — К себе в кухню ее уведи. Черт его гнет, дармоеда! На своей новой шкуне форсу задает.

И он почему-то засмеялся. Мать заволновалась и загорелась от любопытства.

— Неужели это за Анфисой погоня-то?

— Нет, за месяцем: видишь, он спрятался за тучку, — пошутил Гриша. — А всего проще — купец хочет свою шкуну Анфисе подарить. Иди-ка проворней! Нет, уж лучше я тебя провожу, а то ветром в море унесет.

— Вот еще! Я, чай, сама... Аль я листочек осиновый?

Мать я чувствовал очень чутко с ранних лет: вероятно, ее нервный трепет отзывался во мне с той безумной ночи, когда она в припадке «порчи» выбежала из избы на мороз и призраком носилась по лунно-снежной луке. Мне казалось, что я всегда прислушивался к ней, следил за каждым ее движением и знал, что́ она переживает каждый час. Вот и сейчас я почувствовал, как по телу ее заструилась судорожная дрожь. С широко открытыми глазами она озиралась и хваталась за сердце. Она еще раз с тревогой взглянула на огоньки за кормой и побежала по палубе на нос. Порывом ветра и шквалом брызг ее отшибло к стенке домика, но она совсем этого не заметила. Вдруг она рванулась назад и крикнула:

— Парнишку-то, Гриша, побереги! Как бы в море его не унесло. Захлопни его в кухне, Гриша, милый!

Гриша с пристальной улыбкой смотрел ей вслед и молчал. Не замечая меня, он пошел дальше, к корме, прищелкивая пальцами. Волосы его рвал ветер и взбивал кудрявым руном.

— Дядя Гриша! — крикнул я, подбегая к нему. — Я — с тобой. Чего я один в кухне-то делать буду?

Не оборачиваясь, он далеким голосом отозвался:

— Ладно. Держись бок о бок: вместе сильнее будем.

Из-за борта летели брызги и мокрая пыль. Небо тяжело и непроглядно чернело очень низко и, казалось, опускалось до самого моря, только кое-где в прорывах мерцали искорки звезд и сейчас же гасли. Мы с Гришей прошли к черным теням у правого борта. Хриплый басок Карпа Ильича спокойно и благодушно наставлял:

— Баграми его отгоняйте! Бросят чалку — руби ее. Возьми топор, Балберка. А ежели рваться на баржу будут — в кулаки. Я этого кутилу знаю: на все пойдет, везде куролесить привык, чтобы все перед ним прыгали, как лягушки.

Карп Ильич с Корнеем и Балберкой пристально следили за шкуной. Харитон стоял поодаль, заложив руки за спину, без шляпы. Волосы его трепал ветер и сбивал их на лоб. Он пристально глядел на огоньки шкуны, которая чернела уже близко и легко качалась на волнах. Балберка нетерпеливо взмахивал топором и заикался от смеха.

— Ишь как режет волну носом-то! Аккуратная посудинка, — барыня! Только ей не по морю мотаться, а в Кутуме гулять да по ерикам.

Карп Ильич ласково, но властно приказал Харитону:

— Иди-ка отсюда в сторону, браток. Тебе здесь покамест нечего делать.

Харитон, не оборачиваясь, ответил ему:

— Знай свое дело, Карп, а меня не трогай.

Но Карп Ильич так же мягко и властно потребовал:

— Добром говорю: уходи. Ты сейчас здесь — вредный. Не теряй ума. Мы, кажись, друг друга по-

нимаем. Когда будешь нужен, сам крикну по-хозяйски.

Харитон, сжав кулаки, пошел широкими шагами на нос. А Карп Ильич будто помолодел и стал выше ростом.

Шкуна выскочила как-то сразу из темноты и, качаясь на волнах, с шумом, со вздохами, со свистом пара, почти впритирку подошла к нам. Из маленькой трубы ее толчками вылетал дым. На нас пахнуло нефтяной теплотой. Это было небольшое, стройное суденышко, неразличимой темной окраски. Под парусиновым навесом, у самого борта стояли плечом к плечу матросы в кожаных куртках и картузах. Все были молодые и коренастые. Поодаль от них держался за поручни нестарый человек с одутловатым лицом, с русой квадратной бородкой, в кожаной шляпе, похожей на башлык. Он зорко и угрюмо осматривал нашу палубу и по-хозяйски, надтреснутым голосом кричал:

— Матросы! Готовь багры! А на борт — с кастетами!

А Карп Ильич с веселой строгостью скомандовал в свою очередь:

— Багры рубить! Матросов встретить поморяцки!

— Эй ты, морда! — забеспокоился человек в кожаной шляпе и весь перегнулся через поручни. — Да ты знаешь, кто я? Я тебе шею сверну, болвану!

Карп Ильич усмехнулся и спокойно, с достоинством ответил:

— Для меня ты в море сейчас — разбойник, а с разбойниками у нас разговор короткий. — И он по-свойски предупредил матросов, которые стояли с баграми в руках: — Советую добром, ребята: не ввязывайтесь не в свое дело: берегите свою честь. А кастеты вам не помогут: мы ведь народ просоленный, всякие виды видали. Кто Карпа-ловца в Астрахани не знает?

— А я раздавлю тебя, ловец-подлец, — вдруг успокоился человек в кожаном башлыке. Мне показалось, что он пьяный. — Ты кто такой, чтобы

распоряжаться? Я прикажу связать тебя и бросить ко мне на шкуну, чтоб сдать тебя полиции в Астрахани. Как ты посмел принимать на борт беглянку с бродягой?

— Я здесь хозяин и перед тобой не в ответе,— очень веско ответил Карп Ильич.— А вот ты там, за моим бортом, для меня — ворог.

— Я — Бляхин. Чувствуешь?

— Ты Бляхин — в Астрахани, а здесь в море,— просто арбешник.

Бляхин вдруг растерялся. Должно быть, он не ожидал такой встречи от людей на барже: он привык наводить страх и видеть подобострастие и покорность. Слово его было законом для всех, он повелевал тысячами людей. Вероятно, он тоже кричал и топал ногами на городских властей, как и купец Пустобаев, о нраве которого я слышал на волжском пароходе. И вот здесь, на барже, Бляхин встретил внезапный и смелый отпор. Он беспомощно поглядел на своих спутников и ударил кулаком по золотистым поручням:

— Матросы! Прыгай на баржу! Рожи коверкайте этим идиотам! Обыскать все места и закоулки! Проучить это вахлачье, чтобы запомнили на всю жизнь, как супротивничать Бляхину!

На палубу прыгнули два человека в кожаных куртках. Корней, Гриша и трое молодых мужиков схватили их за руки, и я услышал буханье кулаков, кряканье и задушливые ругательства. Балберка рубил топором багры, на него наскочил матрос, который спрыгнул со шкуны. Балберка замахнулся на него топором, но к нему подскочили два человека от руля и оглушили матроса кулаками. Он бросился к борту и с отчаянной решимостью перепрыгнул обратно на шкуну. Один за другим кувырком полетели на шкуну и двое в кожаных куртках, но уже без картузов.

Карп Ильич с угрозой предупредил Бляхина:

— Вот что, купец Бляхин: всякий, кто осмелится сюда прыгнуть, нырнет в море.

Бляхин задыхался от бешенства.

— Ну, так я сам ворвусь на твою брюхатую посудину. Воровать и увозить чужих жен?.. Я сам ее поймаю.

— И тебя к тюленям отправим.

— Меня? Бляхина? И ты, гнида, посмел со мной пререкаться?

На нашей палубе уже сбилась толпа мужиков. Одни смеялись и выкрикивали:

— Пускай прыгает, наплевать! Мы ему бока-то намнем: нам не впервой на кулачках драться. Хоть потешимся малость.

Другие испуганно бормотали:

— Тут греха не оберешься, робяты. Не ввязывайтесь! Он — по закону... Наше дело — сторона... Мы же в ответе будем...

Замелькали над головами багры, шесты, и кто-то надсадно крикнул:

— Нажми, ребята! Дружно!

Шкуна плавно отпрянула от баржи, поднимаясь и опускаясь на волнах. Бляхин уже не бесился больше: он стоял молча, с угрюмым упрямством в одутловатом лице, и видно было, что он тяжело дышал. Его власть и сила столкнулись с дружной силой простых людей, вольных рыбаков. Над ним смеялись эти люди, а Карп Ильич со своими подручными держали себя независимо и уверенно.

Шкуна вдруг рванулась вперед, к пароходу, ныряя в волнах и поднимая позади себя фонтаны воды.

Она растаяла во тьме и слилась вместе с пароходом в одно размытое пятно. Но вскоре она оторвалась от парохода, сделала крутой оборот и опять с шумом и плеском подплыла к нашей барже. При тусклом оранжевом накале спиральных ниточек в стеклянных шариках Бляхин с сумасшедшим лицом и растрепанными волосами ломал поручни и бил по ним кулаками. Он рычал и задыхался.

Я ждал, что он со своими помощниками сам бросится к нам на баржу. Когда я смотрел на Карпа Ильича, твердого, спокойного и веселого в своей суровости, и на Гришу, который забавлялся бешенством Бляхина, люди на шкуне уж больше не

казались мне страшными. Я верил, что наши моряки к барже ее не подпустят.

Гриша говорил, посмеиваясь:

— Толстосум-воротило хотел, должно, капитана обратать. А капитан-то, видно, морячок бывалый: знает, чем море дышит.

Карп Ильич с довольной усмешкой подтвердил, не отрывая глаз от шкуны:

— Наш капитан вырос на море. У него и команда отборная. Он и разговаривать не будет со всякими бродягами и гуляками.

Шкуна опять заскользила вдоль борта баржи впритирку, и Бляхин надсадно заорал:

— Кто тут лоцман? Выдавай беглянку!

Карп Ильич скомандовал:

— Багры! Дружно!

В шкуну воткнулось несколько багров, и она опять стала отходить от баржи.

— Лей бензин на их колымагу! Зажигай паклю и бросай туда же! — Бляхин кричал уже сорванным голосом и метался вдоль борта: — Анфиса, беги сюда!.. Беги, а то сгоришь на этом гнилом корыте!..

Неподалеку от нас шлепнулись о палубу, разбрасывая брызги, два выплеска, и нас обдало удушливой бензинной пылью. Но клочья горящей пакли рвануло ветром в сторону. Один из них упал в море, а другой отшвырнуло обратно под парусный навес шкуны. Там поднялась суматоха. Толпа мужиков заметалась по палубе баржи, завизжали бабы. Но наши рыбаки стояли твердо на своих местах и молчали. Длинные багры угрожающе направились против шкуны, которая старалась приблизиться к нам, но бултыхалась на волнах и отходила все дальше и дальше. Бляхин, как безумный, орал:

— Капитан! Тарань их, прохвостов! Ломай обшивку!.. Не сожжем, так потопим их, как тараканов...

— Не буянь, купец! Нас угрозами не возьмешь. Ты в чужой дом ворваться хочешь, а хозяева не из робких: ничего не выйдет, купец. На море мы сильней тебя. Честью говорю: уплывай-ка домой на своей

шкуне, а то расславим по всем ватагам, и на смех тебя поднимут по всей Волге.

Но в это время на баржу опять полетели клочья горящей пакли. Ветер швырял их за борт, и они, вспыхивая, гасли в воде. Один клочок все-таки попал на палубу, и его понесло вдоль борта. Но Балберка быстро настиг огонь и стал топтать пылающие обрывки пакли.

Толпа мужиков и баб бросилась к борту, озлобленно закричала и угрожающе замахала кулаками:

— Башку сорвать надо, душегубу!.. Пускай подплывет, мы ему все кости переломаем. Ишь бороз пьяный! Он и вправду поджигать норовит... Робяты! Айда за поленьями! Круши их, арбешников!..

И как будто в ответ на этот истошный крик, мимо нас пролетело полено и брякнулось в овальное окно неподалеку от Бляхина. Зазвенели разбитые стекла.

— Бей, ребята, не жалей! Открываем сраженье! Круши супостатов! Они нас огнем, а мы их дубьем...

Поленья полетели одно за другим под веселые крики мужиков. Бляхин и его дружки, нагнувшись, побежали под парусный навес и скрылись за углом каюты. Поленья летели, кувыркаясь в воздухе, и бухали по стенкам и окнам каюты. Шкуна отплывала все дальше и дальше, а вслед ей летели поленья под хохот толпы.

Карп Ильич и Корней сердито закричали вперебой:

— Не бросать поленья! Марш на свои места! Довольно баловаться!

Неожиданно подбежала к борту Анфиса, растрепанная, с искаженным лицом. За ней прибежала мать. Харитон тоже подошел к борту. Голос Анфисы зазвенел твердо и гневно:

— Кузьма Назарыч, силой меня не возьмешь. Я вам не жена и не была женой. Я не продажная, Кузьма Назарыч. И не взять вам меня.

Бляхин выскочил из-под навеса и протянул к ней руки.

— Анфисушка! Все твое... все мое богатство... Топчи меня, как собаку, только не уходи... только пожалей... — И вдруг заревел исступленно: — С кем убежала? На кого променяла меня? На бродягу... Вернись! Все забуду... Озолочу тебя, осыплю драгоценностями... Вся Астрахань будет перед тобой ползать и лизать твои ноги...

— Для вас мой Харитон — бродяга, Кузьма Назарыч, а для меня — краса, месяц ясный. Вашего богатства мне не надо: оно проклято, слезами, кровью полито. А я как работала, так и буду работать. Свобода дороже всего на свете. Уезжайте сейчас же, Кузьма Назарыч, не позорьте себя!..

Она круто повернулась и пошла обратно.

Бляхин будто омертвел, когда услышал выкрики Анфисы. Он смотрел на нее как оглушенный. Но когда она скрылась за углом нашей избушки, он осатанело захрипел сорванным голосом:

— Ах, так? Ну так я тебя из-под земли достану! С полицией по этапу приволоку. Закон — на моей стороне.

Харитон смеялся и выкрикивал:

— Толстосум, светило волжское... а дурак. Разве умный человек в море скандалить поедет? Удирай скорее, а то твой пароходишко утонет от стыда. Над тобой смеются даже твои холуи.

И он захохотал во все горло.

Бляхин, словно пьяный, зашатался, завыл, и его подхватили под руки люди в кожаных куртках.

Шкуна задымила, зашуровила водой, широко обогнула баржу и быстро скрылась во тьме.

XVII

Наша казарма — длинный сарай, построенный из камыша, обмазанного глиной. Этот сарай тянется вдоль улицы, дальше идут такие же сараи. Окна только с одной стороны — на улицу, маленькие и пыльные. Внутри казармы к стенам примыкают нары в два яруса. Верхние и нижние нары густо забиты

постельками и всякими пожитками. В этой казарме помещаются семейные и холостые женщины — девчата и одинокие молодухи. Направо от входа — дверь в комнату подрядчицы. Эта комната чистая, светлая, просторная, с кисейными занавесками на окнах, с «астраханской» мебелью. Подрядчица — толстая баба с красным лицом, с маленькими бесстыдными глазками и крошечным носиком, который прячется в разбухших щеках. Мне было смешно. когда эта толстуха с широчайшим трясущимся задом, с разбухшей грудью и маленькой головой, с пучком волос на затылке бегала очень проворно, беспокойно и задиристо орала, как торговка на базаре. Все звали ее в лицо Василисой, а за глаза — «бочарой» и «бандурой».

К передней стене примыкала огромная печь с широкой плитой сбоку, с котлом, вмазанным в боров, и с лежанкой позади. Около печи возилась с утра до ночи кашеварка Матрена Даниловна — тетя Мотя — с заплаканным от дыма лицом. У нее болели ноги, и она отдирала их от пола с большим трудом, тяжело переваливаясь с боку на бок. А она была еще не старая.

Ночью, когда люди приходили с работы, в казарме была бестолковая толчея. За длинным столом мест не хватало, и люди ужинали на нарах, а когда ложились спать, нары сплошь покрывались одеялами и шубами. Была смрадная духота: пахло рыбьими внутренностями, гнильем и дымом.

Нас с матерью тетя Мотя поместила над печью, на верхних нарах, в углу. Забраться туда было нелегко: сначала нужно было с края нижних нар впрыгнуть на боров, с борова — на лежанку, а с лежанки — в свое гнездо. С плиты несло жаром, ржавой воблой, казанским мылом: на плите всегда стояли огромные бадьи, в которых кипятилась грязная одежда резалок и плотовых рабочих. Приварок (вобла, постное масло и пшено), который получали рабочие и работницы из хозяйской лавочки, сдавался тете Моте, и она стряпала общий «обжорный» обед для всей казармы. На плите в другом котле

всегда кипел «калмыцкий» чай. Хлеб выдавался из хозяйской пекарни — черный, кисло-горький, тяжелый и противно-липкий. Каждый день я слышал, как работницы на плоту и на дворе пели рыдающими голосами:

На ватаге, на Жилой,
Вода горька, хлеб сырой.

Действительно, вода здесь была горько-соленой, она привозилась в бочках из колодцев. Сырой пить ее было нельзя, ее кипятили только с прессованным чаем. Но и к этому напитку было очень трудно привыкнуть: он отзывался веником и тухлым яйцом. Как благодеяния и небесной милости ждали мы дождя. После дождя я с тетей Мотей и кое-кто из работниц бежали с ведрами к колдобинам и ямам и торопились вычерпать грязную воду из этих луж на улице (во дворе всюду лежала соль) и слить ее в кадушки, стоящие на углу казармы. Когда вода отстаивалась, ее выливали в котлы и в ушат, который стоял в закутке у печи, где помещалась тетя Мотя. Из этого ушата воду пили наперебой.

Гриша-бондарь, как некурящий, расположился в нашей казарме — на нижних нарах, под нами. Наташа — на верхних, около нас. Харитон с Анфисой спрятались в запечном кутке. Они решили поселиться отдельно. Карп Ильич и Корней с Балберкой поселились в другой, соседней, казарме вместе с холостыми рабочими.

Гриша и здесь был такой же веселый, как и на барже, и так же хорошо улыбался.

— Вот как по-доброму вышло! — радостно сказал он, когда устроил свое гнездо. — Третий год на своем месте. Даниловна никому, кроме меня, этой норки не отдает. И с вами, Настенька и Федя, тоже близкие шабры. Тут и Харитоша с Анфисой — рукой подать. Народ мы не робкий: ежели случится... а тут всяко случается... мы уж сумеем постоять друг за друга.

И я видел, что мать тоже была довольна, что он рядом с нами. Мне казался он очень ясным, открытым, душевным, и я верил каждому его слову, верил

его улыбке и жизнерадостной его походке сильного, уверенного в себе человека. Эта моя вера в его неодолимость и неломкую его волю, тоже ясную и веселую, укрепилась во мне после одного события, которое произошло в первый же день нашего вселения. Перед обедом в казарму вошли белобрысый, пучеглазый приказчик с бумагой в руках и подрядчица. Они оглядели нары хозяйским взглядом, потом подрядчица, рыхло колыхаясь при каждом шаге, задрав жидковолосую голову, прошла к столу и горласто крикнула:

— Встать! С нар долой! Все — на ноги!

Приказчик ухмыльнулся, скосив усы.

Все начали сползать с нар и становиться в ряд. Оксана и Галя заняли места в дальнем углу, против входа. На крик подрядчицы они даже не обернулись и не двинулись с нар. Харитон с Анфисой скрывались за печью. Гриша подошел к столу и сел на скамью, поглядывая на приказчика и подрядчицу с веселым недоумением, словно видел их в первый раз.

Подрядчица бойко и легко поворачивалась в разные стороны, будто собиралась плясать. И было противно смотреть на ее жирное тело, которое вертелось и тряслось так проворно и порывисто, что казалось, оно, как надутый пузырь, сейчас же подскочит к потолку. Я вспомнил, как отец возил ее на своей пролетке по Астрахани и как она кричала ему на всю улицу: «Катаї меня чертом, чтобы все барыни лопнули от зависти!..» Вот и здесь, в казарме, она держит себя как хозяйка и нахально поблескивает своими заплывшими глазками. Ведь всех нас она купила на рыбной бирже, и все мы теперь на девять месяцев — ее живая собственность. Правда, она дала только по пять рублей задатку, остальное будет выплачивать помесячно по шесть рублей шестьдесят шесть копеек.

Спрыгнули со своего верхнего этажа и мы с матерью и встали рука в руку у борова печи. Гриша подмигнул нам и одобрительно кивнул головой: не бойтесь, мол, держитесь смелее!

Подрядчица взъярилась на Галю и Оксану и ткнула в их сторону рукой.

— Курбатов, вытряхни отсюда этих крыс! Они чего-то с первого же разу нахальничают.

Гриша засмеялся и спросил:

— А чем они тебе помешали, подрядчица?

Она круто повернулась к нему и затрясла отвислыми складками на мясистых щеках.

— А ты чего тут развалился, как в трактире? Кто ты такой здесь?

— Человек. И не в трактире, а в своей квартире. Да и люди не верблюды. Распоряжайся на работе вместе с плотовым, а не здесь. Зачем людей торчком поставила?

Приказчик и Василиса пропустили мимо ушей возражение Гриши. Они долго и нудно осматривали покорно стоящих у нар мужиков и баб, подходили то к одним, то к другим и щупали их руки, осматривали пальцы и тыкали в ребра и животы.

Когда приказчик подошел к нам с матерью и повернул ее за руку кругом, а потом протянул к ней свою лапу, она, к моему удивлению, отшибла его руку и гневно нахмурилась.

— Это твой мальчишка? — сердито спросил он, щелкая меня пальцем по лбу и делая страшные глаза.

— Чай, не чужой, — обиженно ответила мать, и я увидел, что у нее задрожало лицо от оскорбления.

Приказчик пошевелил усами в усмешке, пристально рассматривая ее, защемив пальцами подбородок. Она в ужасе отшатнулась от него и поставила меня перед собою, словно я мог защитить ее от этого длинного человека в кожаной куртке.

Гриша вскочил с места, схватил приказчика за шиворот и, не угашая улыбки, тихо, внушающе сказал ему:

— Ты для чего сюда приставлен? Смотрины устраивать или людей по урокам расставлять? Ежели к этой женщине еще раз пристанешь, я тебе шею сломаю. Помни.

— Ну, и ты помни, бондарь, — глухо, с ненавистью в глазах, так же тихо пригрозил Курбатов

и, будто ничего не случилось, повернулся к закутке перед печью и шепнул что-то подрядчице.

Гриша широко улыбнулся и с удивлением оглядел толпу.

— Чего вы, други милые, торчите? Лезьте в свои гнезда и больше никаких. Распорядителей тут много — замордуют.

Курбатов ухмыльнулся, и глаза его выпучились еще больше.

— Смутьянишь, бондарь... Управляющий не похвалит тебя за это.

— Знаю, знаю тебя, наушника, — засмеялся Гриша. — Только со мной играть тебе невыгодно.

А подрядчица сварливо выкрикивала:

— Эй, вы! Кто это там за печкой прячется? Выходи сюда, показывайся! Какие-то приблудные появились. Кого ты, кашеварка, укрываешь? У меня приблудников да бродяжек не бывает. Я по контрактам людей вербую. Ну, выходи, винись! Ого, да там двое полюбовников! Сразу вижу — меня не проведешь: беглянка.

Приказчик насупился, вытянул шею и, отрубая каждое слово, будто малограмотно читал бумагу, лаял:

— После... обеда... все... на двор... Каждому дам... урок... на плот...

Из закуты вышел Харитон с гармонией под мышкой, смело просеменил к Василисе, притворно поклонился ей и пропел голосом нищего:

— Секи повинную голову, госпожа подрядчица. Сама ведь ты, мученица, от любви страдала. Чего же нам сейчас, бессчастным, делать-то? Перемени гнев на милость.

Должно быть, ей понравился Харитон и польстил ей своим наигранным смирением. Она захохотала и хлопнула себя по бедрам.

— Вот так прокурат! Ловкий какой, душегуб! Люблю таких пройдох. Ты где это подхватил такую кралю? Обязательно у мужа украл.

Харитон стоял, понурившись, как виноватый, притворно кроткий и беспомощный.

— Такое дело, госпожа подрядчица, — вздохнув, согласился Харитон. — Обязательно украл бы, да она сама от именитого купца Бляхина упорхнула.

Подрядчица, пораженная, разинула рот, ахнула и взмахнула руками.

— Так это она?.. Так это он из-за нее всю Астрахань на дыбышки поставил? Гос-споди! Дай-ка, герой испанский, на нее поглядеть-то. Как это можно здесь держать ее! Ей хоромы нужно предоставить. Вдруг ежели прилетит сюда сам... а она, пожалуйте, — в грязище, в духотище, с мужланами, с бабищами...

Но приказчик сделал строгое лицо, погладил усы, уставился на Харитона, покосился на запечек и что-то начал царапать карандашиком на бумаге.

— Посторонних лиц, да еще беспачпортных... бегунов разных... строго запрещается держать в казарме. Сию же минуту эти безвидные должны оставить помещение.

— Это супруга-то купца Бляхина безвидная? — заорала на него подрядчица. — Да ты с ума спятил! За эти слова Бляхин с тебя шкуру спустит. Иди, дурачина, поклонись ей да прощенья попроси.

Гриша весь трясся от молчаливого хохота и лукаво поглядывал на Харитона. Но Харитон притворился, что не замечает бондаря. Он вдруг вскинул гармонию и оглушительно заиграл какой-то залихватский, дробный перебор, наступая на подрядчицу. Сначала она испугалась, а потом раскисла в блаженной улыбке.

— Гармонист-то... батюшки! Фокусник-то какой! Ну, недаром за тобой купчиха увязалась. Да я сама бы за тобой, таким, на край света убежала. Ох, какие мы слабые, женщины! Долго ли соблазнить нашу сестру!

Она так расчувствовалась, что глаза ее, спрятанные в жирных мешках, заискрились слезой.

Харитон оборвал игру и медленно начал приближаться к приказчику, впившись в его лицо злыми глазами. Приказчик настороженно окинул его с головы до ног и ухмыльнулся. Но Харитон медленно,

шаг за шагом, теснил его вдоль стола, пронизывая обжигающими глазами, а потом помотал пальцем перед его носом.

— Вот какой короткий с тобой разговор. Понял?

Одни уже сидели на нарах, другие залезали наверх. Мы с матерью тоже поднялись в свой темный угол.

Подрядчица вдруг всполошилась и схватилась за голову.

— А ведь, пожалуй, беды наживу... Как это беглянке-то потакать? Да ведь Бляхин меня, как мокрицу, раздавит. Кто это привел их сюда?

Гриша встал и ясными, хорошими глазами уставился на нее.

— Я их привел. Вместе с ними плыли от самой Астрахани. Тебе, подрядчица, придется на работу их принять: он — мастер на все руки, она — портниха, но лихая на всякую работу.

— А кто будет голову подставлять?

— Я. Да их голыми руками не возьмешь. А именитый купец их пальцем не тронет.

— Не ты ли купцу-то помешаешь? — заколыхалась от смеха подрядчица и вдруг разбушевалась: — А управляющий? А полиция?

— У него пачпорт есть, а про нее молчать надо. Ты и Курбатову накажи, чтобы язык за зубами держал.

Но Харитон и Анфиса прошли мимо них отчужденно и гордо и направились с узлами к выходу. Подрядчица проводила Анфису алчными глазами. Гриша бросился за ними, изумленный и встревоженный:

— Вы куда это, друзья?

Анфиса, не оборачиваясь, весело ответила:

— Пойдем на горку, поищем норку.

Гриша взял их обоих под руки и вышел с ними из казармы.

Подрядчицу словно подхлестнули кнутом: она, подбоченившись, загорланила:

— Ну, загнала я вас сюда, в пески, — бежать вам некуда! Запрягайтесь сейчас же в работу:

горячее время — путина. Обеда сейчас вам нет: еще не заработали.

Она подошла к нарам у противоположной стены и рванула клетчатое одеяло. Раскосмаченная женщина, худая, с лицом в красных пятнах, лежала тяжело дыша, должно быть в жару.

— Эй ты, корова! Ишь разлеглась, как дома... На работу пора. Какая от тебя выгода?

Больная едва слышно пробормотала сквозь стоны:

— Моченьки моей нету... Рада бы, да все нутрё сгорело... Знамо, я тебе в тягость... Какой от меня толк-то? Может, умру скоро...

Тетя Мотя подошла к нарам, оттолкнула плечом подрядчицу и опять покрыла одеялом больную.

— Горячка у нее. И не ест, и не пьет. Не мешай душе ее маяться.

— Ну, ты... коряга! — заорала подрядчица. — Знай свою кашеварню!

Но тетя Мотя заботливо покрывала одеялом больную.

В полдень ввалилась толпа женщин, молодых и старых, в коленкоровых, очень грязных штанах, и рассыпалась по казарме с криком и смехом.

— Новых приволокли!..

— Ой, девки, теперь в казарме не продохнешь: как воблы в чану...

Все торопливо копошились на своих нарах, подбегали к плите со своими чашками и ложками и становились в очередь. Тетя Мотя безмолвно наливала каждому из котла ковшиком на деревянной ручке мучную похлебку из воблы. Так же торопливо женщины бежали к столу, кусая на ходу черный хлеб, похожий на колоб. Я смотрел на эту толпу женщин в узких штанах, в разноцветных кофтах, перетянутых в талии, в платках, сколотых булавкой под подбородком. В духоту казармы эти женщины принесли запах сырой рыбы. На штанах у них поблескивала перламутровая чешуя. Мать сидела неподвижно, поджав под себя ноги, и смотрела застывшими глазами в одну точку. Я чувствовал, что ей

тяжело и страшно, что эта казарма, тесно набитая людьми, — наша неволя: уйти отсюда некуда, всюду пески и море. Люди здесь чужие друг другу, и таким побитым жизнью, как мать или как Наташа, которая лежит по соседству с нами, трудно будет привыкать к жестокому равнодушию людей, к обидам и самоуправству подрядчицы и приказчика. Вон лежит женщина в горячке, и никто не замечает ее, никто не подходит к ней, а она мечется в жару и стонет. Только тетя Мотя как будто жалеет ее, но и она ничем не может помочь ей, да и сама едва двигает больными ногами. Очевидно, нужно быть такими же отчаянными и смелыми, как Оксана и Галя или как Гриша с Харитоном. И мне вспоминались слова Степаниды и Раисы: «Будь смелее, Настя, не робей: робкими да покорными на ватаге рыбу кормят». Даже Анфиса, вольная, сильная, рядом с Харитоном, — и та, должно быть, испугалась этих людей, обреченных на беспросветную кабалу, и этой охальной подрядчицы с пучеглазым приказчиком.

Около тети Моти толпились женщины в штанах, с чашками и ложками в руках. Вокруг стола плечо в плечо сидели работницы, хлебали из своих чашек деревянными ложками болтушку и вылавливали разваренные обрывки воблы с костями. Ели и на нарах и стоя у печи и стола. Мужчин было мало: это были возчики, конюхи, солильщики — семейные. Отдельно от всех, на нижних нарах, перед печью, хлебал похлебку рослый чернобородый кузнец Игнат в кожаном прожженном фартуке и с закопченным лицом. Рядом с ним, скорчившись, сидела очень худая женщина с болезненным лицом. Даже узкие штаны у нее казались пустыми и плоскими, а кофта висела на узеньких плечах тряпицей. Кузнец ел молча и угрюмо, а жена его все время бормотала что-то надрывно, словно боролась со слезами. Но он, очевидно, уже привык к этому и не обращал на нее внимания. Все женщины — и пожилые и молодые — казались мне одноликими: на всех были одинаковые штаны, заправленные в шерстяные чулки, на всех были одинаковые кофты с перехватом на пояснице.

Впрочем, девчат можно было отличить от замужних и холостых женщин по платкам, лихо вздернутым к затылку и завязанным узлом под подбородком, да по вертлявости и задорно звонким голосам. Пожилые женщины сидели устало и задумчиво, переговаривались тихо и невнятно. Но одна рябая, крупнотелая, высокая женщина с черными широкими бровями по-хозяйски бросала взгляды в разные стороны, будто искала тех, к кому можно придраться.

Она облюбовала Оксану и Галю, которые, не стесняясь мужчин, надевали на себя белые штаны с привычной ловкостью.

— Новый красный товар прибыл. Сразу видно, что хохлушки: хорошатся, как индюшки.

Ее соседка, пожилая женщина, бледная, длиннолицая, с глубоко занавшими глазами, кротко укорила ее:

— Будет тебе, Прасковея, людей-то бесславить!.. Приветить бы их, а ты — на рога... Посовестилась бы, постыдилась бы...

Прасковея насмешливо оборвала ее:

— Чай, я не старуха, чтобы совеститься. У тебя, верно, преподобная Улита, грехов-то много, ежели ты грустишь да молишься от стыда. Стыд бабью красоту съедает, старушка. Стыдливых у нас сушат, как воблу, и солят, как селедку.

Галя охотно откликнулась на насмешку Прасковеи:

— Ты, кацапочка, не задавайся: хоть и длиннонога и чернброва, а по годам — не потянуть волам. Не быть макитре глечиком.

За столом и на нарах захохотали. Но Прасковея невозмутимо смотрела на «хохлушек» с пристальным любопытством и улыбалась:

— Девки — по мне, сразу видать. Они и побунтовать не прочь. Хожалые! Настоящие ватажницы!

Смеялись девчата и все, кто был помоложе. Посмеивались и «хохлушки», натягивая штаны.

Все торопливо хлебали болтушку и жадно жевали черный хлеб, который издали казался мокрым. Кое-кто подходил к плите со своими чугунками и сково-

родками: в чугунках варили мучной кисель, а на сковородках жарили в говяжьем сале ломтики хлеба. Кузнечиха тоже тормошилась у плиты. Кузнец лежал на нарах, и у него смешно торчала кверху борода. Рядом с ним неподвижно лежала девочка моих лет, с желтыми волосами; она была, вероятно, больная.

Прасковея, большая, стройная, вальяжно прошла к Оксане с Галей и сразу же по-свойски засекретничала с ними. К моему удивлению, они встретили ее с радостными улыбками. Улита, похожая на монашку, опустилась на колени впереди стола, между печью и нарами, закрестилась, забормотала молитвы и стала тыкаться головою в пол. Кузнечиха раза два, словно не нарочно, толкнула ее ногой, когда проходила к своим нарам.

— Ишь место прохожее выбрала! Только под ногами и ползаешь... Ты и богу-то, верно, до смерти надоела, как нам.

Но Улита, не смущаясь, с истовой набожностью крестилась и кланялась в пол.

Мать по-прежнему сидела с застывшими глазами. Я бережно потрогал ее за плечо и спросил, не заболела ли она, но она не пошевельнулась и не ответила.

Подрядчица вышла из своей комнаты и закричала:

— Эй вы, новые! Кончайте переодеваться! Выходите на двор! Выйдете на двор — становитесь в ряд: уроки будем давать, наряжать на работу. Живо!

Всюду, на нижних и верхних нарах, заворошились женщины: затрепыхались сарафаны, замелькали белые штаны. Одни переодевались бойко, привычно и, спрыгивая на пол, форсисто прохаживались, приплясывая, посмеиваясь и оглядывая себя. Другие неуклюже, сконфуженно натягивали на ноги штаны, втискивая в них сарафаны и юбки.

Мать словно проснулась от выкрика подрядчицы и обожгла меня своими странно вспыхнувшими глазами. Она улыбнулась мне, не видя меня, и прошептала:

— Иди... вниз иди!.. Туда... чтобы я видела тебя.

Наташа переодевалась медленно, нехотя, молча, прислушиваясь к себе. Она была как слепая. С матерью она не перекинулась ни одним словом и об Анфисе будто совсем позабыла.

Гришу я в этот день не встречал.

XVIII

Так началась наша жизнь на Жилой Косе.

Стояли солнечные дни начала октября. Небо было мягкое, голубое, близкое и казалось очень теплым. Воздух был сухой, звонкий и зеркальный в далях. Море ослепительно сверкало вдали и за желтой рябью песчаной отмели чудилось призрачным. И среди этой ослепительной россыпи искр и вспышек огромная черная баржа грузно лежала на боку, как мертвая туша гигантского чудовища, выброшенного бурей из морских глубин. Толстые ребра торчали из зияющих пустот на приподнятом боку, а на палубе, в тени, переплетались какие-то обломки, покрытые солью, как инеем, и твердым знаком прилипал к корме скосившийся руль. Эта полуразрушенная баржа манила меня к себе своей таинственной заброшенностью и жуткой пустотой утробы. Очень далеко на горизонте реяли белые рыбачьи паруса. Казалось, они застыли на месте, греясь на солнце. Над морем трепетали вихри чаек.

Казармы нашего промысла стояли в конце песчаной улицы поселья, а за ними золотыми сугробами и застывшими волнами расстилались до самого горизонта пески, мерцая маревом, и мне чудилось, что где-то недостижимо далеко сияют и волнуются голубые озера и реки. На этих буграх и сугробах яркими пятнами зеленели тугие пучки каких-то кустарников и колючей травы. Эта жесткая злая трава росла всюду — и на улице, и на дворе, и даже на камышовых крышах казарм и сараев. И странно было видеть, как среди этих пустынных песков по склонам барханов ползало стадо овец: оно исчезало, опять появлялось, и одинокий человек в рыжем балахоне и

остроконечной ушастой шапке, с длинной палкой в руке, шагал впереди плотно сбитого гурта, потом останавливался и застывал, как призрак, в этой мертвой пустыне или поднимался на курган, садился на его вершине и качался вперед и назад.

Каждый день по этим пескам шагали один за другим задумчивые верблюды. И низко над курганами кружились коршуны.

Через улицу, за длинным дощатым забором, раскидывался широчайшим двором наш промысел. Со стороны моря он был открыт и пологим склоном спускался к прибрежному песку. Направо, примыкая друг к другу, тянулись лабазы с камышовыми стенками, а за ними пластался широкий плот под двускатной камышовой крышей на столбах в четыре ряда. Между столбами стояли скамьи и на них сидели лицом друг к другу резалки в штанах, с багорчиком в левой руке и с ножом — в правой. Они проворно выхватывали багорчиком из трепещущей серебристой кучи рыбу, бросали ее на скамью и мгновенно потрошили ножом. Молоки сразу же сбрасывали в деревянный ушат.

Дальше, за плотом, двор был ровный и чистый, а за этой площадкой под прямым углом друг к другу стояли два деревянных дома: один нарядный, с резными наличниками и верандой, другой попроще, с двумя высокими крылечками. В нарядном доме жил управляющий промыслом, сухощавый человек в золотых очках и с острой бородкой, с обвисающими усами под тонким, острым носом. Он ходил в коротком сюртучке и черной шляпе и смотрел через очки как-то вбок. Лицо его было холодно-равнодушно, а когда встречались ему рабочие и работницы и кланялись ему, он не отвечал на их поклоны и не замечал людей. Я ни разу не слышал его голоса и не видел, чтобы он приходил на плот: говорили, что он брезгует глядеть на рыбу и не выносит ее запаха. Но почему-то его все очень боялись, а подрядчица, которая обычно орала на плоту, подгоняя резалок и ругая их за разговоры, шикала на всех, бегая вдоль скамеек,

когда видела вдали управляющего, и говорила шипящим голосом, с ужасом в глазах:

— Сам... сам идет... Тиш-ше!.. Молчать!..

А резалки злорадно посмеивались, что управляющий ее видеть не может и велит ей стоять у порога конторы, когда она приходит по делам.

За открытыми воротами, на береговом песке, стоял на сваях другой такой же плот, а по обе стороны от него, на взгорочке, лежали борт о борт лодки. Этот плот оживал, когда ветер пригонял море до самого взгорка и под плотом с шумом плескались волны, а лодки одевались парусами и веселой толпой сплывали куда-то вдоль берега, скрываясь за песчаным бугром, а потом опять появлялись, полные живой рыбы. Они окружали плот, и рабочие сетчатыми черпаками выбрасывали из лодок рыбу на плот. Подплывали и широкие, утонувшие до самых бортов прорези — лодки, худые, как решето, рыба кишела в них сплошной массой.

Улица тянулась далеко к центру поселья и обрывалась широкой площадью. Там над камышовыми крышами торчала серо-голубая колокольня. По береговой стороне улицы примыкали друг к другу промысла разных хозяев, а по другой стороне тянулись длинные казармы и дощатые заборы. Поселок был большой, но в центр его я один не ходил — боялся драчунов и собак. Только позднее, в воскресенье, мы прошли с матерью на базар, который кишел народом. Здесь были хорошие деревянные и глинобитные дома с раскрашенными ставнями, с занавесками и цветами на окнах, с двускатными крышами над воротами. По обе стороны площади красовались две пятистенные избы с высокими крылечками. На карнизе одного крыльца врезана была вывеска с надписью: «Школа», а на другом — «Волостное правление». Я долго оглядывался на школу и с завистью думал: «Почему другие парнишки учатся, а мне нельзя?..» Я сказал матери, чтобы она отвела меня к учителю, но она испуганно ответила:

— Рази можно? И думать не думай! Тут богатые учатся. Нам с тобой сейчас купить бы маслица,

пшенца, капустки бы аль картошки... а денег-то и нет. На руки-то гроши будут выдавать, а на остальное в лавке товаром забирай. А что в лавке-то? Та же вобла да постное масло... Ну, чай, сахар, мука ржаная... Как жить-то будем?

Да, нужда заставляла и меня думать, как заработать хлеб и на свою долю: матери выдавали хлеб и воблу на одного человека. На базаре она продала сверток захваченного с собой холста, чтобы прикупить говяжьего сала, муки и пшена. Я твердо решил пойти к Грише и попросить его пристроить меня или в бондарню, или на плот.

Но пока что я болтался без дела: мне, малолетку, не находилось места среди взрослых. Их работа была тяжелой, требовала сноровки и физической силы. В рыбаки я не годился, как не годилась для обработки мелкая рыбешка, которая выбрасывалась обратно в море или кучами гнила на берегу. В бондарне все были мастера, сильные ребята, которые одной рукой бросали бочары в штабели. Они легко играли разными топорами — изогнутыми и прямыми — и на своих башкастых станках работали скобелями, как фокусники.

В лабазах в два ряда зияли широченные круглые ямы — деревянные чаны, глубоко врытые в землю. В полусумраке сараев эти огромные дыры чернели, как пропасти. В чанах длинными шестами со скребками на конце двое рабочих размешивали тузлук — крепкий соляной раствор. Соль подвозили на тачках, сбрасывали ее в чан, где бурлила под мешалками и кипела пеной грязная жидкость. Рабочие бегом гнали с плота тачки с воблой и сбрасывали ее в тузлук. Живая рыба корчилась, судорожно извивалась и быстро сваривалась в этом жгучем растворе.

В первые дни я наслаждался свободой, как чайка. Я никому не мешал и не нужен был никому. И за эти дни узнал все виды работ на промысле. Вот здесь, в лабазах, я мог бы и мешать тузлук и солить рыбу. Но на меня орали и тачечники и солильщики, как только я подходил близко.

Работа начиналась с шести часов утра и продолжалась до семи вечера. На обед давался перерыв на один час. Я вставал вместе с другими: мой ребячий утренний сон прерывался суетой в казарме, говором, грохотом чугунов на плите, зычным криком подрядчицы.

От ночной духоты болела голова, и я чувствовал себя отравленным. Мать, с опухшим лицом, как больная, торопливо натягивала штаны и кофту и казалась мне несчастной. Наташа тоже копошилась в одежде с натугой и с тоской в глазах. Она по-прежнему молчала и тяжко думала о чем-то своем.

Все наскоро пили «калмыцкий» чай с остатками вчерашнего хлеба — «сусло из веника», как шутили работницы, — и с ножами и багорчиками выходили из казармы.

На дворе женщины толпились вокруг приказчика и подрядчицы. Предрассветный воздух был свежий и мягкий. Очень четко скрипели колеса на улице, где-то на соседних ватагах пели женщины. Звенели молотки в кузницах. Как шум прибрежных волн, шелестели соляные мельницы. И, несмотря на запах свежей и соленой рыбы, в воздухе пахло морем и особым, непередаваемым ароматом утра. Эта белоштанная толпа женщин шевелилась, толкалась плечами, невнятно переговаривалась, раздавался девичий смех, и казалось, что все пустятся сейчас плясать в многолюдном хороводе. Мужчины из нашей казармы и из соседнего барака расходились по двору, по лабазам, в бондарню, на укладку рыбы в тару. Резалки шли на плот, а остальные — на подвозку рыбы с Эмбы и на помол соли здесь же, на дворе. Мельницы стояли среди влажно-серых курганов соли. Днем ее кристаллы поблескивали на солнце перламутром. В заднем углу двора дымилась кузница, и кузнец в кожаном фартуке брякал железом, ругался, и на фоне бушующего в горне огня его черная фигура казалась огромной и крылатой.

На плоту мать сидела на скамье вместе с Марийкой, маленькой девушкой, которая с виду казалась смирной, боязливой, но глаза ее, красивые, голубые,

с длинными ресницами, хитренько улыбались, и видно было, что она всегда себе на уме. Миловидное личико ее, задорно курносенькое, с пухлыми губами, очень привлекало меня. Я любил смотреть на нее, и она постоянно ласкала меня сияющими взглядами. Как опытная резалка, которая работала на этом промысле два года, она сама выбрала мать, — вероятно, потому, что обе были маленькие, хрупкие и лицом похожие друг на друга. Может быть, своей нежностью, мягкостью, нервным беспокойством и мольбой в доверчивых глазах мать пленила ее, и она решила, что нашла себе подругу по душе.

В пролетах между рядами столбов и скамей лежали кучи живой рыбы, которая корчилась, трепыхалась, подпрыгивала, раскрывая красные жабры. Рабочие подвозили на тачках и сбрасывали в разных местах новые кучи рыбы: она всюду сверкала своей серебристой чешуей. Карсаки в остроконечных шапках багорчиками на длинных черенках считали рыбу, скидывая ее в другую кучу рядом: «Бэр! икэ! ушэ, турт!» Этот их счет я запомнил быстро вплоть до ста, повторяя за ними странные, неслыханные слова. В длинных верблюжьего цвета балахонах эти скуластые люди с жиденькими бороденками, с узенькими влажными глазами очень мне понравились: они двигались неторопливо, мягко, сосредоточенно и казались мне добрыми, кроткими. Приказчик орал на них походя и обязательно давал кому-нибудь из них оплеуху безо всякого повода. И они безропотно сносили эти обиды. Я ненавидел приказчика, злился на карсаков за их покорность, и мне хотелось выхватить багор у потерпевшего и ударить им приказчика. Должно быть, он видел, как я негодую, и, сворачивая рот на сторону, целился в меня щелчком или старался неожиданно схватить за ухо. Я злобно отшибал его руку и, сдерживая слезы, от бессилия кричал:

— Цапля! Журавль! Не трог меня, а то покаешься...

Вероятно, это выходило у меня потешно: резалки хохотали, повизгивая от удовольствия, а приказчик

скалил крупные желтые зубы. Плотовой, коренастый, краснолицый мужик, с черной бородой, похожей на войлок, с пьяными, опухшими глазами, в длинном стеганом пиджаке, в высоких рыбачьих сапогах, в картузе, надвинутом на глаза, мычал на приказчика:

— Связался верблюд с таранкой... чертило лихопутное! А ты, люденок, не вертись тут, не мешай! И без тебя здесь много всякого отброса.

Его боялись не только резалки, но и приказчик с подрядчицей. Когда он проходил по плоту, закинув волосатые руки за спину, с опущенной головой, и косился на резалок и тачковозов, они съеживались, будто ждали от него кулака. И верно, он приказывал и вразумлял не словом, а кулаком. Я не раз видел, как он, казалось бы тупой и равнодушный, проходил между рядами скамей, минуя карсаков и тачечников, и вдруг кулак его будто сам собою вылетал из-за спины и сшибал шапку с рабочего. Насупившись, с козырьком, надвинутым на нос, этот тяжелый человек молча тыкал пальцем в пол, подгребал сапогом рыбу или растирал подошвой слизь на полу и шагал дальше. Это значило, что рыбу разбрасывать нельзя, а слизь надо смыть водой. Однажды он ткнул кулаком двух пожилых резалок и так же молча показал пальцем на скамью, запачканную молоками. Женщины заплакали, с лихорадочной торопливостью схватили ведра и стали смывать грязь со скамьи. Подрядчица кубарем подлетела к ним, раздутая, с синим от ярости лицом, и, брызгая слюной, дико заорала:

— Ах вы подлюки чертовы! Дождались самого плотового! Хлеб-то жрете, а работаете через пень-колоду... и не работаете, а варакаете. Это — не рыба, а грязища. На урок вам по полторы тысячи дается, вы и над тыщей кряхтите, заварзы.

Женщины молча всхлипывали, склонившись над скамьями. Наташа сидела вместе с благочестивой Улитой. Она тоже была опытная резалка. Работала она как будто медлительно, но споро. Лицо у нее было неподвижно, словно ничего она не видела и не

слышала. С Улитой она не разговаривала, да и в казарме на нарах лежала как немая.

На участливые вопросы матери она отвечала удивленным взглядом. Только однажды, когда мать спросила ее, не больна ли она, Наташа твердо и резко ответила:

— Здоровее да сильнее меня здесь никого нет.

Как-то плотовой остановился перед Улитой, ткнул толстым пальцем в ее руку, перевязанную грязной тряпицей, и хотел толкнуть ее кулаком. Наташа вскочила и схватила его за локоть.

— Рукам воли не давай, плотовой! — сказала она требовательно и спокойно.

Плотовой от неожиданности попятился и с изумлением уставился на нее из-под козырька.

— Чего это? — спросил он озадаченно, словно самого его оглушили ударом. — Здесь — вобла, снулятина... И вдруг — щука зубастая... Откуда? Из какого омута?..

Он отошел с обычным равнодушием и ленивой развальцей. Так же бойко подлетела Василиса-подрядчица и задребезжала:

— Это как же ты посмела-то? С самим плотовым сцепилась, а? Еще не ученая, да?

Наташа так же спокойно отбила ее наскок:

— Руки коротки, подрядчица. Отойди от греха.

— Я тебя, гадину, оштрафую. Охалиться со мной хочешь?

Наташа медленно повернула к ней лицо и пристально посмотрела на нее. Плотовой сейчас же вернулся, молча взял Василису за плечо и усмехнулся.

— Ты, бабья ошибка, прочь отсюда. Мои следы не топчи. Ежели услышу, что девку эту обижать будешь, весь жир твой выдавлю.

А Наташа по-прежнему работала, далекая от всего, сосредоточенная в себе. Улита покорно и смиренно причитала:

— Охрани тебя владычица от злой руки. А восставать-то не надо бы, дева... Не нам их судить. Я вот помолюсь за них, мне и легко будет.

Наташа не слушала ее.

— Вот молодец девка! — в восторге вскричала Марийка. — Я бы так не могла — молоденькая очень: меня плотовой-то пальцем перешибет.

Мать была потрясена и улыбалась растерянно.

Прасковея, которая сидела с Оксаной, с грохотом бросила на скамью багорчик с ножом, стремительно прошла мимо подрядчицы к Наташе. Ни слова не говоря, она крепко поцеловала ее и так же молча пошла обратно, будто не замечая Василисы. Этот случай так взволновал весь плот, что резалки только и толковали об этом весь день.

Запевались горестные песенки. В одном конце жаловались:

На ватаге девки вянут:
Подрядчицы жилы тянут.

А где-то в стороне смешливо глумились над собою:

Больно, девки, слабы мы!
Нас деньгой не балуют.
Сделают нас бабами —
И платком не жалуют.

Мне очень хотелось взять багорчик у карсака, чтобы откидывать по счету рыбу в кучу у скамьи матери, но я боялся плотового и приказчика: вдруг кто-нибудь из них подойдет ко мне и треснет кулаком по спине или по шее. Но мне казалось, что я не хуже карсака буду поддевать багорчиком рыбу и отбрасывать ее в кучу около скамьи. И карсака мне было жалко: не столько мне достанется, сколько ему. Работал здесь багорчиком Карманка — очень приветливый, с реденькими волосенками на подбородке, в длинном балахоне. Встречал он меня сморщенной улыбочкой и ласково кивал головой. Его смешное имя нравилось мне: в нем было что-то очень простенькое и игрушечное.

Я никак не мог привыкнуть к работе резалок. Она вызывала у меня отвращение. Лежит рядом со скамейкой скользко-холодная серебристая куча рыб, которые корчатся, извиваются, поднимают жабры, выпрыгивают из кучи и бьются об пол. Мать и Марийка

безжалостно пронзают их багорчиками и мгновенно разрезают, так же мгновенно выскребают внутренности и скидывают ножом в ушат. Потом режут наискось спинки и отбрасывают, уже мертвых, обезображенных, в другую кучу. Руки у Марийки и матери выпачканы кровью и слизью. А они будто не замечают ни своих рук, ни рыб, и их проворные движения, повторяемые тысячи раз, совершаются сами собою. Я смотрел на других резалок (а их было на плоту не меньше сотни), и всюду мелькали в моих глазах быстрые взмахи багорчиков и ножей, полет рыб и белые ноги, обнимающие скамейки. И сгорбленные фигуры женщин, и их лица, скучные и отчужденные, казались мне неживыми, как у заводных кукол. И я чувствовал, что запевки резалок, сидящих за этой однообразной и противной работой по двенадцать часов, похожи были на крики отчаяния, на плач, на призыв о помощи. Но эти вздохи и рыдания освежали их лица: глаза вспыхивали волнением и какой-то внезапной мыслью. Эти запевки заражали и пожилых женщин, и все наперерыв пели, подбирая новые складные слова, часто острые, терпкие, злые, мстительные, в которых они выражали свою боль, свой гнев и проклятья безрадостному труду. А потом перекидывались шутками, начинался общий беспорядочный разговор — вспоминали прежние дни, облегченно хохотали, а такие, как Прасковея, кричали на весь плот:

— Товарки! Девки! Не унывайте! Не вешайте носа! Живи не тужи, веселись назло лиходеям! Выгоняй горе злостью, а сердце утоляй весельем.

И каждая пара резалок с наслаждением вставала со своей скамейки, подхватывала полный молоками ушат за концы палки, просунутой в дырки ушков, и вскидывала их на плечи. Женщины покачивались на ходу, разминая застывшие члены, и через двор шли за ворота, в жиротопню — к дымящей на прибрежном песчаном кургане печи, от которой несло смрадом рыбьего жира.

Карманка долго не давал мне своего багорчика, хотя и хотелось ему удружить мне. Он робко озирался и шептал:

— Ой, плотовой ругат! Приказчик бить зубам будет... Годи, коли шайтан их угонит.

И вот однажды, когда на плоту ни плотового, ни приказчика, ни Василисы не было, он радостно сунул мне свой багор и прошептал, хихикая:

— Считай, малок! У меня свой счет, у тебя свой счет. Оба-два — одно.

Я выхватил у него багор и, повторяя его движения, подцепил рыбу острым крючком на конце черенка и откинул в кучу у скамьи.

— Бэр, икэ, уш, турт, бис...

Карманка был очень доволен и морщился от улыбки.

— Якши, якши, малок!..

Однажды я так увлекся этой Карманкиной работой, что бойко, как заправский счетчик, гордый своей ролью рабочего, перекинул больше двухсот штук. Я считал уже вслух, распевно и звонко. Марийка смеялась и подбодряла меня:

— Ну и работничек! Ах, какой ловкий! Как это у тебя весело да ладно выходит! И нам вольготнее работать!

Мать тоже смеялась и любовалась мною.

Мы не заметили, как к нам подошел плотовой с закинутыми за спину руками. Из-под надвинутого картуза смотрели на меня хмельные глаза в кровавых белках. Он похож был на старого пса, который с любопытством смотрит на играющего щенка и усмехается усами. Я замер от ужаса и мельком увидел, как побелела мать и втянул голову в плечи Карманка. Но плотовой тяжело и медленно вынес свою чудовищную руку из-за спины и поворошил мои волосы.

— Ладно, ладно, не бойся, люденок! Расторопно считаешь. Мал золотник, да дорог. Курбатов! Дать ему в руки багор — пускай трудится. А Карманке засчитать всю работу.

Но все-таки не утерпел и ткнул его кулаком в грудь. Карманка от поощрительного толчка пошатнулся и попятился на шаг, хотя и преданно морщился от улыбки.

— Это чей мальчишка? — спросил плотовой с угрюмым благодушием.

Мать встала и дрожащим голосом виновато ответила:

— Это мой, Матвей Егорыч. Работать все рвется, без работы оставаться не любит.

— Твой-то твой, а вот он смелее тебя. Ну, чего дрожишь, как колючка на ветру? Мать должна за свое дите стоять, как волчица. У меня тоже такой вот вертун. В школу ходит.

Плотовой отвернулся и грузно пошагал вдоль плота, заложив руки за спину и уткнув бороду в грудь.

Плотовой — это грозная, неограниченная власть хозяина на плоту. Приказчик и подрядчица — его холуи. Подрядчица доставляет работниц и отвечает перед плотовым за исполнительность и мастерство навербованных ею женщин. Она берет подряд на подбор и доставку на промысел многолюдной ватаги резалок и укладчиц, солильщиков и икряников, и выжимает из них все силы за двенадцать часов ежедневной работы. Если работницу или рабочего свалила болезнь и они в жару метались на нарах, за такой прогул с них вычитался их дневной заработок. Больных не лечили. Их кормили товарищи, а ухаживала за ними тетя Мотя. Приказчик каждое утро распределял людей на работе, следил за порядком, за ходом всех видов работ, за их непрерывностью. Доставленная на одноколках или в моряну на лодках рыба сортировалась, пересчитывалась, развозилась на тачках к скамьям резалок, обработанная рыба отвозилась в чаны для засолки. Так проходила работа в осеннюю путину — в те дни, когда мы поселились на Жилой Косе.

Подрядчица распоряжалась своими ватажницами, как ей хотелось: это были ее рабыни. Она могла выбросить из казармы всех, по ее мнению, нерадивых, она вычитала с больных за каждый прогульный день и не выдавала положенный паек. И все дышали лютой ненавистью и к подрядчице, и к приказчику, и к плотовому. Но эта ненависть была задавлена

страхом перед самовластием плотового и подрядчицы. Каждая женщина дрожала за свою судьбу: вдруг чем-нибудь не угодит им или заболеет — и будет обречена на голод или на безработицу.

Узнал я это из разговоров работниц в казарме, и потом был свидетелем событий, которые произошли поздней осенью — в бурю, в холод и непогоду.

Когда плотовой распорядился выдать мне багорчик, мать со страхом в глазах поманила меня к себе и, озираясь, прошептала:

— Беги скорее отсюда! Замают тебя. Приказчик-то вцепится в тебя и измываться будет.

— Да ничего! — радостно утешал я ее. — Мне хочется. Чай, мне за работу-то платить будут.

Марийка лукаво засмеялась, но сказала сердито:

— Кто это тебе сказал, что платить будут? Они рады, что лишнего карсака не наймут, а деньги себе в карман положат. Ты не знаешь, какие тут волки! Уж ежели сунут тебе багор — и отдохнуть не дадут. Беги-ка отсюда, пока не пригвоздили тебя этим багром-то.

— Вот еще! — запротестовал я. — Маленький я, что ли? Я, чай, не сробею. Увидят они, как я работаю, похвалят, тут я им и скажу: я не хуже Карманки работаю, — давайте мне жалованье.

— Ух какой ты прыткий, герой! — опять засмеялась Марийка. — Вот погляжу ужо, как ты воевать будешь!

— Уходи, уходи! — нетерпеливо шептала мать. — Беды с тобой не оберешься...

Карманка морщился от улыбки и одобрительно кивал мне остроконечной бараньей шапкой.

В эту минуту приказчик крикнул издали, потрясая багром:

— Мальчишка! Эй! Беги сюда, бери багор! Будешь здесь считать рыбу.

— Вот! — упала духом мать. — Видишь, до чего достукался? Теперь там тебя затуркают.

Но я уже бежал к приказчику вприпрыжку, довольный, что получу свой урок, как самосильный

работник. Курбатов ткнул мне в руки багор и свирепо оглядел меня.

— Благодари плотового, Матвея Егорыча: внимание обратил. А ты, чай, и считать-то не умеешь. Тут на скамью две тыщи надо.

— Я еще больше умею, — храбро похвалился я. — Тыщу-то я без отдышки просчитаю.

Приказчику, должно быть, показалась забавной моя смелость: он вытаращил на меня налитые смехом глаза, и в них увидел я какой-то злой задор. Такую злинку в глазах я замечал у наших деревенских парней, которые стравливали нас, малолеток, на драку. Этого Курбатова я возненавидел еще в первый день, когда он обидел мать. Чувствуя, что он хочет сделать мне какую-то каверзу, я попятился от него с багром в руках и опасливо нахмурился.

— Ну, начинай, шемая! Вот тебе косяк рыбы, отсчитывай ее к скамье Прасковеи-Пятницы. Рыбу будут подвозить на тачках. Я проверю, как ты считаешь. Только знай: я тебе не только ни копейки не заплачу, а и этого вот судачка не дам. Тебя никто не нанимал: ты сам по охотке напросился. А отвечать за урок должен как заправский мужик.

Я поплевал на ладони и стал перекидывать рыбу из судорожно кишащей кучи к скамье Прасковеи. А она и Оксана поглядывали на меня и посмеивались. Курбатов стоял, подкручивая и подергивая желтые усы, и следил за моим багром.

— Ты зачем, мальченыш, цену нам сбиваешь? — строго упрекнула меня Прасковея. — Кто тебя надоумил поперек артели идти? Урок-то труда стоит, а труд награды просит. Брось багор и беги: они на даровых работников охочи, как судаки на шемайку.

А Оксана мечтательно пропела:

— Ах, как я побежала бы с тобой, хлопчик, моряну встречать! И зачем тебе рыба? Этот дылда тебе хребёт поломает.

Она махнула ножиком в сторону Курбатова. Приказчик погрозил ей пальцем.

— Не грози, пугало! — озорно осадила его Прасковея. — Верблюд видом страшный, да дурашный,

Но я не слушал их: мне нравилось считать рыбу багорчиком. А багорчик плотовой распорядился дать мне, как Карманке, который работал здесь, должно быть, давно. Он издали смотрел на меня и поощрительно кивал своим колпаком, и я чувствовал, что он подружился со мной, что он радуется моей смелости, что в этой его доброй улыбке готовность помочь мне и обещание не дать меня в обиду. Он что-то внушал матери и тоже улыбался ей, кивая головой. Но когда к нему обернулся Курбатов и показал ему кулак, Карманка испуганно согнулся и начал быстро работать багром. А я уже знал, что Прасковея с Оксаной заинтересовались мной, что им любопытно следить за моей прыткой работой, что они и потешаются и любуются мною. Только подрядчица сварливо забубнила, брезгливо оглядывая меня:

— На плоту-то я людями распоряжаюсь. Ежели плотовой этого щенка в расчет мне подсунет, я с матери взыщу.

Сначала я опасливо следил за приказчиком, который задумал сделать что-то нехорошее со мною. Но потом так увлекся переброской рыбы багорчиком из кучи в кучу, что приказчик и подрядчица как-то размылись и исчезли и я их больше не ощущал около себя. Когда я оглянулся, они стояли далеко в задней части плота, около низкого борта огромного чана. В разных местах резалки надрывно распевали запевки. О чем-то бормотали Прасковея с Оксаной. Я не слушал их, считая уже вторую сотню. К моим босым ногам вдруг ринулся густой поток живых судаков, они забились на полу, извиваясь и подпрыгивая, скользкие, холодные, с разинутыми зубастыми пастями. Волосатый мужик в длинной рубахе уже откатывал тачку обратно, а старик татарин в тюбетейке на бритой голове катил другую тачку живой рыбы. За ним напирал на ручки тачки третий, молодой парень, курносый и губастый. Он с насмешливым изумлением вытаращил глаза и разинул рот.

— О! Три одра на одного комара. Завалим тебя рыбой, затянет тебя трясина, а резалки тебя обрабо-

тают, как судака. Что за умора — комары в ход пошли?

Оксана весело блеснула глазами и засмеялась.

— Этот наш хлопчик бросает рыбу — как танцует, а считает — как поет.

Прасковея улыбнулась мне ласково, притянула за руку и шепнула:

— Ты не очень-то старайся. Приказчик хочет над тобой потешиться. Ему, лоботрясу, от скуки нечего делать, как над безобидным поиздеваться. Ты считай ни шатко ни валко, чтобы из силенки не выбиться.

И она уже не казалась мне грубой и взбалмошной бабой, которая задирает каждого, кто ей попадется. И вдруг она прижала меня к груди и со слезами в глазах выдохнула с болью.

— Милый мой! У меня был такой же мальчик, как ты, и такой же кудрявенький. Умер здесь, в казарме. В третьем году сгорел в горячке. Приварил меня к своей могилке в песках. Ты не думай, родненький, что я злая. Я это за него да за свою жизнь мщу всей этой ватажной сволочи. Всех я их, кровососов, ненавижу... и житья им не дам!

— Прасковея! — испуганно прошептала Оксана. — Идут, щучьи морды...

Приказчик защемил мне пальцами ухо и дернул к себе.

— Кому багор дали?

В первое мгновенье я очень испугался, а потом инстинктивно ударил его пинком между ног. Он охнул, вырвал у меня багор и замахнулся им, бледный от бешенства. Я услышал истошный крик матери и увидал, как Прасковея вскочила со скамьи и вцепилась в его руку.

— Моего сына сожрали, и этого хочешь растоптать? Не дам! Живодеры чертовы!

Прибежала мать и, с помертвевшим лицом, с безумными глазами, потащила меня за руку. Оксана сидела, усмехаясь, и спокойно резала судака. Резалки со всех сторон плота смотрели на нас с любопытством и тревожным ожиданием.

Марийка встретила меня сдержанной усмешкой и, работая багорчиком и ножом, пошутила:

— Ну, мальчик с пальчик, наработался? Ты, оказывается, и подраться охочий. Хорошо, что тебя Прасковья выручила: она с горя ничего не боится. Этого тебе приказчик не спустит, а матери из-за тебя придется попрыгать, как рыбке на сковородке. Ну да все-таки молодец!

Потемневшие и лихорадочные глаза матери смотрели пристально и странно, словно не узнавали меня.

Целый день до темноты я бродил по прибрежному песку. Он расстилался широким и ровным полем и, мерцая, сливался с блистающей полосой моря у горизонта. Небо было бездонно-синее, кроткое, родное, будто оно пришло сюда вместе со мною из деревни. И воздух был такой чистый и прозрачный, что на далеких песчаных курганах отчетливо видны были ветки мелкого кустарника и ярко-зеленые колючки. На одном из курганов стоял коричнево-пестрый коршун и лениво чистил клювом свои крылья. А по дороге между курганами скакали лошади, запряженные в одноколки с широкими ящиками на колесах. Белоштанные девчата сидели впереди на ящике, свесив ноги, и, подпрыгивая на ухабах, шлепали лошадей вожжами. Это возили с ерика рыбу на промыслы.

С моря дул свежий ветер, теплый и влажный. Далеко над морем реяли чайки. Мертвая баржа попрежнему лежала на боку, огромная и таинственная. Направо за нашим промыслом, перед поселком, на таком же золотом песке бегали мальчишки и голенастые девчонки. И я видел, что они играли радостно и самозабвенно. А я иду по сыпучему песку к морю, такой же покинутый, как эта баржа, и у меня нет товарищей. На плоту я хотел работать с охотой и облюбовал работу по своим силам и по душе: мне нравилось размеренное перекидывание рыбы. Там, на плоту, много людей, и каждый делает свое дело привычно, ловко, без передышки — все и каждый связаны друг с другом, одна работа зависит от другой: резалки попарно колышутся на скамьях, и руки их проворно повторяют одни и те же движения и багор-

чиком и ножом; счетчики, такие, как Карманка, бросают им рыбу багром бойко и без промашки; рабочие подвозят на тачках и выплескивают вдоль плота все новые, блистающие серебром кучи живой, трепещущей рыбы; подбегают другие рабочие с тачками, подгребают широкими черпаками обработанную рыбу и увозят ее в лабазы. На плоту много суеты, движения, всюду — говор, песни, смех. Я добился и своего багра, и своего урока, но приказчик хотел только поиздеваться надо мною: мой трудовой порыв он превратил в потеху.

В этот день я не обедал: противно было думать о еде, о людской толчее и духоте в казарме. Ненавнсть к приказчику и подрядчице гнала меня дальше от промысла. Невыносимо было встречаться с ними, да и опасно: я чувствовал, что такие люди, как приказчик или Василиса, привыкшие властвовать над подневольными людьми, не спустят отпора и самозащиты. От них постоянно надо ждать внезапной расправы. Я никому не мешал и был рад удружить всем, мне хотелось поработать в общей артели, а меня сразу поймал на этом плотовой и думал помытарить Курбатов. Ведь я видел, как он приказал рабочим подвозить рыбу на тачках только ко мне. Он хотел поиграть со мною. Значит, здесь с работницами и рабочими один разговор — толчки плотового, грубая брань, удары багра Курбатова и охальные окрики подрядчицы. И люди сносят это потому, что боятся, как бы их не выбросили с промысла на нищенство и бесприютность. Астрахань далеко, а здесь — море и сыпучие пески без конца и края. Все работают от темноты до темноты, не разгибая спины, и только в час обеда срываются со скамеек, бегут с плота на двор с криками и начинают кружиться и плясать. И я вижу, что кружатся они и пляшут, сбиваясь в толпу, не потому, что им весело, а потому, что болят спины, затекли ноги и одеревенели руки — надо размяться, разогреться, подышать свободно. Под плясовые выкрики все идут к воротам, в казарму и тормошатся, взмахивают руками, толкая друг друга, извиваются в пляске.

Вечером тоже долго работали при тусклых фонарях, и на плоту в полумраке резалки шевелились, как призраки. А когда дробно и долго заливался колокол — конец работы — и на скамью падали багорчики и ножи, наступала тишина короткого ожидания, и вдруг чей-то голос требовательно запевал:

Госпожа наша подрядчица!

И все подхватывали с нетерпеливой настойчивостью:

Ах, не пора ли шабашу нам давать,
Шабашу давать, на ужин отпускать?

Все вскакивали с мест, чувствовалось, что эти женщины сейчас свободны и ни плотовой, ни подрядчица не в силах заставить их дольше работать. Их песня разносилась по двору уверенно, в ней звучал смех уставших, но сильных в своей сплоченности женщин:

Наши щи приустали, кипучи,
Нашу кашу во полон взяли,
Чашки, ложки воевать пошли.

И, не дожидаясь разрешения подрядчицы, все скопом, с ножами и багорчиками в руках, выходили на двор и толпою направлялись к воротам. Тут они уже не боялись ни плотового, ни Василисы, ни Курбатова, чувствовали себя вольно и распоряжались собою, как хотели. Так же, как и в обеденный перерыв, они начинали кружиться, прыгать, с хохотом и визгами шлепать друг друга, обниматься, бороться, плясать. Песня не угасала до самой казармы, и слова ее, дерзкие и озорные, выкрикивались с разудалым вызовом:

Все пойдемте щи да кашу выручать —
Чашкам, ложкам воевать помогать...
Плотовому обломаем кулаки,
А с приказчика сдерем-сорвем портки.

Улита сокрушенно трясла головой и стонала:

— Ах, охальницы, ах, безбожницы! И страху-то у них нет... И наказанья-то не боятся, отчаянные...

Но и сама не могла сдержать улыбки.

Поводырем впереди, приплясывая, выкрикивая самые озорные и терпкие слова, всегда шла высокая, небоязливая Прасковея.

XIX

На плот я не ходил несколько дней: опасался приказчика и Василисы. Я видел их в казарме каждый день утром и вечером, но там я сидел на своих нарах — наверху — и смотрел вниз, как скворец из скворечницы. В полумраке я перечитывал свои книжки — «Руслана» и «Робинзона». Каждый раз, как только я открывал страницу, мне улыбались милые лица Варвары Петровны и Раисы. Книжки оживали в моих руках и говорили голосами этих женщин. Я встречал и Руслана и Робинзона, как своих друзей: я сроднился с ними, любил их, и мне иногда казалось, что это я сам в доспехах скачу на коне, сражаюсь с богатырями и побеждаю Черномора или, одетый в козью шкуру, вольно хозяйничаю на острове, доблестно расправляюсь с людоедами и освобождаю Пятницу. Черномор и людоеды превращались то в купца Бляхина, то в плотового, то в приказчика, Наина — в подрядчицу, а Людмила — в Анфису, в Наташу, в мать или сразу во всех женщин в казарме. Меня накрывала необъятная волна сказочных видений и уносила в волшебный мир мечты. Я наслаждался свободой Робинзона и бродил с ним по острову, среди густых зарослей невиданных деревьев, где нет ни плотовых, ни приказчиков, ни подрядчиц. Всюду играет солнце в пахучей листве деревьев, поют птицы и разговаривают со мной попугаи, похожие на цветы. Но особенно очаровал меня Руслан, непобедимый витязь. Музыка стихов наполняла мою душу напевами неслыханной красоты и таким волнением, что часто я вскрикивал и стонал от потрясения. Меня будила тетя Мотя.

— Аль ты заболел, Федяша? Ведь от этого нашего хлеба-то да сухой воблы и верблюд занедужит.

Но я торопливо успокаивал ее:

— Нет, тетя Мотя, я ничего... Это я книжку читаю.

— Да что это за назола какая, книжка-то твоя? А ты брось ее — дай-ка я в печке ее сожгу. Видишь, какая от нее вереда!

— Сроду не дам! — негодовал я. — Книжки-то эти к иконам надо ставить, — вспомнил я слова швеца Володимирыча.

Больная женщина на нижних нарах металась в жару и нудно стонала. Тетя Мотя подходила к ней, давала ей пить, накладывала на голову мокрую тряпицу и со скорбным лицом садилась рядом с нею.

Каждый день я заходил в бондарный корпус на плотовом дворе. Это был длинный сарай, который тянулся до половины двора. К нему примыкал склад клепок и обручей, похожий на плот: под камышовой двускатной крышей на столбах громоздились штабели досок и пучков тонких, распиленных вдоль пополам палок для обручей. В просторной мастерской без потолка и в переплетах перекрытий, в ворохах кудрявых стружек, среди клепок и бочар, возились бондаря в холщовых фартуках: одни из них сидели на своих станках и щелкали башкастыми тисками и скоблили клепки и обручи, другие тесали изогнутыми топорами трости, третьи набивали обручи, и ладный плясовой стук вторил бойкой суетне мастеров. И обязательно меня встречала разливная песня молодых задушевных голосов. Бондаря славились как хорошие песенники, их любили за веселый нрав и шутливость. Да и лица у них были как у лихачей-кудрявичей — ясные, жизнерадостные, и держались они дружно и независимо. Резалки часто ходили к ним в казарму послушать и попеть с ними песни и поплясать под гармонию.

Когда я входил в этот размашистый простор сарая с высокими и широкими окнами в частых переплетах, меня встречала буря грохота, визг пил, тяпанье топоров, барабанный бой молотков и многоголосый говор, смех и песни.

Гриша, кудрявый, белолицый и румяный, еще издали встречал меня улыбкой и кричал:

— А-а, Васильич нагрянул! Топорик-то свой принес? Что же это ты, братец мой? А я тут уже расславил, что ты у меня подмастерьем будешь. Ну, как твои дела?

Я рассказывал ему о своей незадачливой работе на плоту, о том, как Наташа вцепилась в руку плотового, как Прасковея помешала Курбатову ударить меня багром. Гриша смеялся, словно ему было очень забавно слушать эти новости. Он подмигивал Харитону, а тот понимающе поглядывал на меня и усмехался.

— Значит, он тебя за волосы, а ты ему в пах? Ловко. Хвалю, что не заплакал и дёру не дал. А Натку я знаю, она сейчас такая злая, что себя не пожалеет. Даже Анфиса удивляется: совсем другая стала Наташка.

Я спросил его, где они живут с Анфисой. Он переглянулся с Гришей и, озираясь, сказал неприветливо:

— Живем и дышим, ходим по крышам.

Гриша резал уторы в собранной бочаре и, как нарочно, громко шуркал своим инструментом по клепкам. Вдруг он оборвал работу, наклонился ко мне и испытующе-строго предупредил:

— Ты, Васильич, про Анфису — молчок. Играть играй, книжки читай, а друзей не замай. Догадался, о чем говорю?

— Чай, не маленький, — обиженно протестовал я.

— То-то! Потому и калякаю с тобой, Васильич, что ты догадливый.

Я уже давно уразумел смысл таких предупреждений: молчание — неотразимое оружие в борьбе и самозащите.

— Ты, дядя Гриша, не говори. Я — опытный. А в решето воду не льют, — вспомнил я чьи-то слова. — Самосильных в зыбке не качают.

Гриша засмеялся и потрепал меня по плечу:

— Гляди, Харитон, какой у нас Васильич-то... житейский парень!

Харитон уже улыбался мне тепло и доверчиво.

— Чую.

Он встряхнул мою руку и серьезно сказал:

— Вот у нас с тобой и полюбовный союз. Когда можно будет, приходи с Григорием в гости. Анфиса рада будет с тобой покалякать. А сейчас мы живем, как мыши под полом: того и гляди какой-нибудь шкодливый кот заберется.

И он стал уверенно и ловко обрубать пластину для обруча. Двумя-тремя ударами топора он сделал защепы, связал обруч, надел его на бочару и осадил обухом. А Гриша опять зашоркал своим уторником по внутреннему краю бочары. Мне не удавалось разговаривать с ним в казарме, хотя он не забывал посмотреть на наши нары и по-дружески крикнуть мне:

— Мое почтение, Васильич!

Обычно он приходил с работы позднее всех и не садился ужинать за стол, а брал ломоть хлеба, густо посыпал его крупной солью, шептался о чем-то с тетей Мотей у плиты и брал из ее рук кружку калмыцкого чаю. Иногда он походя перехватывал мать, оттеснял ее в сторону и о чем-то горячо разговаривал с ней, а она смотрела на него широко открытыми глазами и вся светилась. Улыбка долго не угасала у нее в глазах. Гриша вскоре уходил из казармы и возвращался поздно ночью, когда уже все спали.

Как-то встретил я на плотовом дворе Карманку. Он вез тачку с икрой в лабаз. В своем длинном балахоне и сыромятном колпаке он казался смешным и чужим здесь.

— Зачем не шел на плот, малый? Не бойся — никто не тронет. Не дадим обидам.

Этот добрый карсак всегда трогал меня своей незлобивой и детской простотой. Его беззащитность, благодушная покорность и кроткая необидчивость на толчки плотового и приказчика, на их брезгливое презрение к нему и к другим карсакам и возмущали меня и возбуждали жалость к этим терпеливым людям. И странно, в их мягких и кротких лицах и узеньких живых глазах я видел какую-то непонятную мне мудрость. Его обещание не давать меня в обиду рассмешило меня: как он может защитить меня, если сам не в силах защищаться?

— Тебя самого, Карманка, обижают. Плотовой-то тебя кулаком угощает, а ты ему шею подставляешь.

Карманка лукаво щурился.

— Пускай тыкат: ведь шеям да спинам — открытый. Сердцам — закрыта, душам прячем. Правдам живем, правдам свое бером... Погоди-ка... Наш народ умнай. Ты — храбрай. На плоту бабы за тебя дракам идут, а у карсак душам играт.

Мне нравилась его безмятежность и умная жизнерадостность. Он не унывал, не чувствовал себя затравленным. В нем таилась какая-то своя устойчивая сила, своя правда и неомраченная вера в человека. Его бесчисленные морщинки постоянно играли ласковой улыбкой, словно он видел во мне и в женщинах что-то очень хорошее, неугасающее, и радовался, как ребенок. И было странно видеть эту теплую улыбку в то время, когда работницы и рабочие надрывались, чтобы выполнить свои уроки, — ведь каждой из них нужно было обработать до двух тысяч рыб, а каждому рабочему подвезти сотни тачек. И мне казалось, что Карманка видел в лицах резалок и тачечников особую живую силу, о которой они не догадывались, но которая ему была ясна и понятна.

Эта встреча с Карманкой как будто вылечила меня от гнетущей подавленности и тоскливой оторопи перед приказчиком и подрядчицей.

Однажды я пошел со своим «Робинзоном» на берег. Недалеко от ворот промысла, на песчаном обрывистом бугре, покрытом колючками и жестким кустарником, стояла закопченная печь жиротопни. Она постоянно дымилась. Рядом с ней громоздились пузатые бочки. Жиротоп Ермил — тоже закопченный и пропитанный жиром старик, с длинным черпаком в руках, плаксиво морщился от дыма и переливал из бочки в бочку густой, как мед, рыбий жир. Я не мог привыкнуть к смраду жиротопни, который разносился по берегу, и бегом проносился через это отравленное место на золотую песчаную гладь прибрежья.

В этот день я заметил, что море — совсем недалеко и волны белыми барашками бегут к барже и бунтуют вдоль ее днища. Волны мчались из туманной

дали, кипели пеной и широким наплеском обливали песок. Направо, за береговым плотом, бежали по песку мальчишки и девчонки, перегоняя друг друга, и весело кричали и смеялись. Они неслись прямо к барже — должно быть, как я, встречать море. А с моря вместе с волнами дул ветер, теплый, упругий, в пряных запахах морской воды. Над морем и над песчаными далями летели стаи белых облаков. По песку ползли навстречу мне пепельные тени. А я, завернув выше колен штанишки, с книжкой в руке бежал по мягкому, рассыпчатому песку и чувствовал себя легким и крылатым. И мне чудилось, что я — Робинзон, что баржа, лежащая на боку, разбитая и израненная, — мой корабль, с которого я смыт волнами и выброшен на берег.

Я повернул к барже, чтобы пристать к бежавшим ребятишкам и, задыхаясь от беспричинной радости, смеялся и солнышку, и облакам, и ветру. Вот они передо мною — дикари, я сейчас настигну их, испугаю, и они бросят одного — вон того маленького человечка, которого тащит за руку парнишка побольше, а я захвачу его и назову Пятницей. Но вдруг я задел за что-то ногою и с разбегу брякнулся в песок. Я хотел вскочить, но на меня упал и перевернул на спину мальчишка. Не успел я очухаться, как он оседлал меня и надавил кулаками на грудь.

— Живота или смерти?

Поджарый, большеголовый, коротко остриженный, он злорадно впивался в меня острыми глазами. Должно быть, изо всех сил догонял меня, потому что дышал запаленно. Я ткнул его кулаком в губы. В глазах его вспыхнуло изумление. Я вывернулся, обхватил его шею и прижал к себе. Мы яростно начали бороться, катаясь по песку. Он задыхался и старался схватить меня за горло. Но я оказался сильнее его: мне удалось сесть на него верхом и прижать руки его к песку. И как он ни извивался, как ни старался обмануть меня — ничего у него не выходило. От этого он слабел еще больше. Глаза его наливались отчаянием. Он вдруг обмяк и словно проснулся; пристально вглядываясь в мое лицо, он как будто недоумевал,

почему очутился подо мною и почему я, незнакомый парнишка, сижу на нем, прижимая его руки к песку.

— Живота или смерти?

Раздувая ноздри, он молчал и продолжал рассматривать меня с удивлением. На губах у него была кровь. Вдруг он улыбнулся и примирительно проговорил:

— Сдаюсь. Ты — ловкий и не трус. Будем дружить.

Но я не доверял в таких острых положениях мальчишкам: обычно они коварны. Чтобы проверить его, я еще сильнее прижал его руки к песку и сказал:

— Докажи, что ты не обманщик.

— Ну вот еще! Раз я сказал, значит верно. Я всегда держу свое слово. Я буду лежать и рук не подниму, а ты вставай. Сам увидишь.

Я быстро вскочил на ноги и стал смахивать с себя песок. Он немного полежал, а потом встал и с той же хорошей улыбкой протянул мне руку.

— Мир и дружба!

Я встряхнул его руку и тоже сказал с горячим порывом:

— Мир и дружба! — И спросил удивленно: — Откуда ты взялся?

Голос у него был немного хриплый, как будто простуженный, но теплый, искренний.

— А я пришел из школы и побежал моряну встречать. Вижу, незнакомый мальчишка. Дай, думаю, проучу его: какое он имеет право по нашему берегу бегать? Ну и припустился за тобой. Да ты чей, откуда?

— Тутошний, из казармы. А ты откуда? Я тебя никогда не видал.

— Ну, сказал тоже!.. Я на промысле-то живу давно: не помню даже, когда сюда привезли меня. Мой папаша плотовой здесь.

Он сразу стал мне неприятен, словно в нем я увидел отражение его отца. Невольно я отшагнул от него.

— Ты что надулся?

— А то... Твой отец на плоту кулаком карсаков да резалок туркает.

— Ну так что? У него должность такая.

— Это бить-то — должность?

— Ну да! — убежденно крикнул парнишка. — Чтоб боялись все, чтоб все хорошо работали. А то норовят хозяину поменьше, а себе побольше.

Это было уже вранье: я знал, что работницы и рабочие не могли взять себе ничего, а трудились с раннего утра до позднего вечера не разгибая спины. Как же это резалки и рабочие могли обирать хозяина? И как это они могли работать меньше, чем им задано по уроку? Парнишка явно клеветал и на работниц и на карсаков. Свои небылицы он болтал, должно быть, с чужих слов. Он оскорблял не только резалок, мать и Карманку, но и меня самого, потому что я был неотделим от них и сам едва не испытал на своей спине ударов багра.

— Ты дурак! — возмущенно крикнул я, сжимая кулаки. — Твой отец только и ищет, кого бы припаять кулаком. И приказчик такой же злой: он хотел и меня багром огреть, да я его пинул. Ты не был на плоту и ничего не знаешь.

Он побледнел и в первый момент не знал, как отразить мое нападение. Глаза его то таращились на меня, то щурились, веки болезненно дрожали.

— Как ты смеешь ругать моего отца! — угрожающе проговорил он, наступая на меня и засучивая рукава. — Он начальник над рабочими! А тебя раздавит, как таракана.

Я уже ненавидел его, как врага.

— Ну, нечего языком трещать. Столковались! — вызывающе крикнул я и засучил рукава. — Мне, брат, не впервой тузить таких хрульков, как ты.

— Я тоже, брат, не один раз давил таких клопят, как ты.

Он даже посинел от злобы, глаза его обжигали меня.

— Ха, сам признался, что клопобой! — ядовито засмеялся я. — У тебя смелости хватает только на клопят. Твоего отца не побоялась и Наташка: за руку его схватила. У него кулак-то только на прибитых гораздый.

— Не смей хаять моего отца! — крикнул он с искаженным от бешенства лицом и затопал босыми ногами. Он замахал кулаками передо мною, но я отшиб их.

— А ты не смей хаять резалок и мою мать! Становись! Готовь кулаки-то, клопобой!

Я стал перед ним с кулаками наготове, как, бывало, в деревне, а он набросился на меня, как слепой. Я увернулся от него, и кулаки его замахали в воздухе. А когда он хотел повернуться ко мне, чтобы опять ринуться на меня, я с размаху ударил его по щеке. Мой кулак, должно быть, оглушил его: в глазах у него вспыхнул испуг, а сухощавое лицо задрожало. Он стал извиваться около меня, и в какой-то момент ему удалось толкнуть меня в грудь, а я, как опытный боец, бил наверняка. Он был старше и выше, но драться не умел и махал кулаками зря. Лицо его покрылось пятнами от моих ударов. Раза два он больно ударил меня по голове и по плечу. Я тоже рассвирепел и, уже не рассчитывая ударов, бросился на него всем телом. Мы вцепились друг в друга, забарахтались и шлепнулись в воду. Нас накрыла холодная соленая волна. И в тот же момент я услышал вокруг себя кипение и плеск воды, которая мчалась на нас, как большая река.

— Моряна нагрянула! — крикнул парнишка. — Бежим скорее к берегу! Она, знаешь, как несется? Сразу же нахлынет и проглотит.

Он схватил меня за руку, и мы побежали обратно к промыслу. Вода неслась бурно, волны уже прыгали и пенились выше колен, а позади подгоняли друг друга, перекатывались и клокотали брызгами и пеной. Волны, зеленые, прозрачные, обгоняли нас, звенели, смеялись, торопили сами себя, вскипали и рассыпались брызгами и пеной. Ветер упруго подгонял нас и посвистывал в ушах. Нижняя часть баржи уже погружалась в воду, и волны хлестали в ее израненный бок, взлетали вверх, сверкали радужными вспышками и исчезали в черных проломах. Чайки с натугой летели навстречу солнечному ветру, падали, взвива-

лись кверху и визгливо перекликались: «Девки-и! Товарки-и!..»

Мне стало вдруг легко и радостно на душе, и я, перегоняя зеленые волны в кружевах пены, перепрыгивал через них и смеялся. Смеялся и парнишка. Он сжимал мои пальцы и покрикивал:

— А здорово дерешься... и бежишь здорово! Будем дружить... Дураки мы с тобой: дрались и забыли, что у нас был мир. Наддай сильнее! Видишь, где моряна-то? Далеко уже удрала. Надо ее перегнать. Ежели не перегоним, волны нам в спину будут хлестать.

— Пусти руку-то! Давай вперегонки! Вот так вода! Вот так чудо! Откуда только она хлынула? Словно живая.

— Ну да, живая! Это же море! — убежденно кричал парнишка, стараясь перекричать шум и плеск волн. — Не живое-то не рвется к берегу. Видишь, какое оно многоголовое? Видишь, как оно рты разевает и зубами играет?..

— Да ведь это в сказке чудища-то многоглавые, — возразил я неуверенно. — В сказке-то есть и другое: тридцать витязей прекрасных выходят из волн, а с ними дядька их морской...

— Ну, это где-нибудь там, а у нас здесь — просто: мчится на берег прорва чертей, когтями в песок впивается, и грызет, и гложет...

Я не возражал ему: может быть, он видит то, чего не могу по новости видеть я. Может быть, черти в деревне иные, чем здесь, в море. Очень возможно, что эти косматые волны — на самом деле страшные чудовища.

— Мы сдружились с тобой, — нетерпеливо кричал парнишка. — А ежели сдружились, значит давай зваться. Меня зовут Гаврюшкой, а тебя?.. Ого! Сразу заподлицо: Федяшка — Гаврюшка... без обреза. Ну, и знай, с этого дня мы связались: мои товарищи ученики все узнают, что мы — два сапога пара. Ты ловкий драться. Подучишь меня, тогда мы—атаманы.

— А ты мне показывать будешь, как ты в школе учишься?

— Это пустяки. В два счета. А вот в пески поход сделать — это я понимаю... А то вон в баржу пробраться... В нее никто еще не отважился залезть.

— Я книжки читать люблю, — возразил я. — Вот у меня в казарме «Руслан и Людмила», да вот эта — «Робинзон Крузо».

Но «Робинзона» в руках у меня не было. Я забыл о нем, когда схватился с Гаврюшкой, и мы, должно быть, затоптали книжку в песок. Мне было больно от этой потери: я любил эту книжку как бесценный подарок Раисы. Я рванулся назад, но навстречу мне бежали волны в барашках и окатывали меня брызгами, словно торопили меня: «Скорее беги на берег!»

Гаврюшка тащил меня за руку и испуганно оглядывался.

— Не видишь, что ли, слепота? Волны-то уж выше колен. Бежим скорее! Беда, ежели шквал нахлынет: свалит и в море утащит. Один раз я чуть не утонул: так же вот замешкался недалеко от баржи — хотел в брюхо ей залезть, а моряна-то тут как тут... Я — бежать, а волны-то быстрее меня. Ну и свалил меня один шквал. Насилу спасся. Море, должно быть, никого не допускает до баржи-то. Там обязательно клад есть... Сокровища заколдованные...

Я бежал уже с трудом, вприпрыжку, и вода казалась мне густой и липкой. Волны мчались далеко впереди, играя ослепительно белой пеной на солнце. Они неслись на желтый песок, сталкивались, взрывались брызгами, и чудилось, что эти снежно-белые толпы резвились, прыгали, хохотали, шумели, как ливень, разбегались по широкой дуге прибрежья и обмывали пески снежной пеной. До сухого берега было недалеко, но море уже бурлило в сваях пустого плота и в свалке лодок на песчаных буграх. Гаврюшка бежал впереди меня и беспокойно оглядывался на волны. Он, вероятно, еще не мог пережить недавнего страха перед озорными шквалами. Но мне было весело и совсем не страшно. Я впервые в жизни видел это чудо: почему море, которое блистало очень далеко, вдруг ожило, забеспокоилось и неудержимо полилось на берег? Что его взбудоражило, какая сила забушевала

в нем и заставила его залить эти пески, как в полую воду? И мне чудилось, что волны смеются, смотрят на меня множеством зеленых глаз, по-мальчишечьи дразнят меня и зовут играть с ними, хватая за ноги. Они плещут в меня брызгами, звенят колокольчиками и переливаются птичьими голосами. Глазам было больно от ослепительных вспышек солнца, и пронзительные искры метелью летали всюду, мерцали, трепетали и рассыпались радужной пылью. Я забыл о своем «Робинзоне», забыл о своих пережитых невзгодах, забыл обо всем: я вдруг очутился в сказочном мире — в мире неожиданных видений, волшебных перемен, где сияющие пески и живое море — без конца и края, и небо тоже живое, как море, с белыми облачками — коврами-самолетами. Ветер, теплый и упругий, ласково треплет мои волосы и срывает пену с убегающих волн. Он пахнет солодом и подсолнухами. Я впервые переживал минуты счастья, когда небо так близко — на взмах руки, когда хочется взлететь чайкой, реять над морем и встречать бесконечные толпы волн, нарядных, как девушки в троицын день, украшенные зеленью и цветами.

Я очнулся в ту минуту, когда почувствовал, что ноги мои погружаются в горячий, сухой песок.

Гаврюшка шлепал меня по спине и смеялся, приплясывая.

— А мы все-таки перехитрили чертову моряну-то — ускользнули от ее пасти-напасти. Она только что просыпалась — потягивалась да позевывала. Черти-то морские во-он где крыльями машут да пасти разевают — там, где небо с морем сходится. Бывает так, что озлится море и начнет махать через двор, через плоты — на улицу. По улице и по дворам на лодках ездят. Папаша тогда веселый бывает, сам на лодке с шестом носится и всегда меня с собой берет. Один раз он поплыл со мной в бондарню. Я на лодке один остался, а пока он в бондарне-то распоряжался, я, не будь плох, шест в руки — и давай по двору гулять... Слышу, папаша орет: «Эх ты, мореход! Держи сюда бударку-то. За то, что ты, говорит, смелый — хвалю, а за то, что без спросу поплыл — уши нарву». Ну, я

и стал сгоряча бударку толкать. Ослеп от страху да к воротам нос направил. А тут шквалы один другого злее налетели и давай мою бударку, как щепку, бросать. Не помню, как к папаше подплыл. Увидел только, как он вцепился в борт, повернул кормой к лесенке и вскочил, как молоденький. Жду, вот он сейчас мне выволочку даст, а он кричит: «Ну, Гаврюшка, раз взялся за шест, толкай в мужскую казарму, через улицу, на соляной двор! Надо гнать рабочих, клепки и чаны спасать — колья вбивать, ограду делать». Ох, и ловко я тогда с радости катал его! А он сидит, смотрит на меня и только бородой со смеху трясет.

Я стоял на горячем песке, усеянном пестрыми ракушками, и смотрел на наплески воды неподалеку от нас: эти наплески шаг за шагом покрывали песок, ползли все дальше и дальше на берег, а песок, легкий, как пыль, плавал на приливных всплесках, как чешуя. Ветер дул уже порывами и толкал меня назад, дальше на берег. И вот вода уже опять облила мои ноги, словно прогоняла со своего пути. Я стал отступать, пятиться назад, но потоки и наплески обгоняли меня. Гаврюшка смеялся и отшибал от себя воду, а она как будто сердилась и хватала его за ноги.

— Ух и злые они, черти! Ты не гляди, что они ластятся да лижутся, как щенята. Проморгал — враз тебя облапят и уволокут в море. Они только с бударкой ничего сделать не могут: на бударке я как чайка поплыву навстречь, только дай мне весла в руки...

Мне смешно было слушать его хвастовство: он трусливо улепетывал от наплесков маленьких волн, а грозился плыть на лодке в открытое море, навстречу бушующим шквалам.

Вся песчаная даль, которая уходила к горизонту, где море сияло узкой полоской, теперь неоглядно блистала приливом, и волны в кудрявых барашках бежали всюду к берегу. Мы с Гаврюшкой пятились от широких взметов воды, а они плавными порывами настигали и перегоняли нас.

И вдруг я заметил, что баржа, которая мертво лежала на боку, выпрямилась, повернулась носом

навстречу ветру, и корма ее с огромным рулем медленно поплыла в сторону: с носа баржи спускалась толстая цепь и погружалась в воду. Дыра чернела, как диковинная рана, обнажая три бурых ребра. Я застыл, пораженный этим новым чудом, и не чувствовал, как волны обливают мои ноги. Гаврюшка, отбегая от воды, был уже далеко и кричал, махая рукою:

— Скорее беги, удирай! Невзвидишь, как волна-то тебя с ног свалит. Эх, вот бы сейчас на бударке к барже-то!.. Побежим к плоту — там тоже вода. Пока добежим, вода до лодок доберется. Может, на наше счастье, бударочку с веслами найдем...

А я стоял и не мог оторвать глаз от баржи. Мимо нее, облизывая старые доски, догоняя друг друга, неслись волны. На моих глазах произошли удивительные перемены. Когда я бежал к барже по щербатому песку, баржа лежала на сухом месте, а сейчас там волнуется море. Оно плещется и здесь, недалеко от песчаных бугров и крутых обрывов. Жиротопня дымится на высоком песчаном кургане. Старик жиротоп, молчаливый, с больными ногами и плачущими глазами в разбухших веках, весь пропитанный рыбьим жиром, машет нам своим длинным черпаком и что-то кричит, встряхивая закопченной бородой.

Меня ударил холодный шквал и швырнул в воду. От неожиданности и студеной волны я заорал и хотел вскочить, но другая волна с грохотом накрыла меня, потом подбросила кверху, и я захлебнулся соленой водой. Волна хлынула на берег, и я очутился на песке, который смывался в море. С рубашки и штанишек ручьями стекала вода. Дрожа от холода, я хотел побежать к Гаврюшке, который прыгал на песке и скалил зубы от хохота. В этот момент зеленая волна опять с ревом толкнула меня и облила до плеч, но я удержался на ногах. И когда она понеслась дальше, я увидел растрепанную книжку, листы которой веером колыхались в воде. Я успел схватить ее и, убегая от волн, бросился со всех ног к Гаврюшке. Это был мой «Робинзон». Он, как и положено ему, не утонул: волны выбросили его на берег.

Я пустился бежать на промысел — домой в казарму, чтобы переодеться. Гаврюшка хохотал и плясал от удовольствия. Когда я пробежал мимо него, он крикнул мне требовательно:

— Сейчас же прибегай сюда, как переоденешься! Я ждать буду. К лодкам пойду, поищу бударку с веслами.

Дед-жиротоп махал мне черпаком и мычал что-то невнятное. Он смеялся.

Перед воротами меня догнал Гаврюшка и схватил за руку.

— Я тоже с тобой, только не через двор, а вдоль забора и по улице. На дворе увидит папаша и прогонит домой.

Он настойчиво потянул меня за руку, и мы побежали по песчаным сугробам вдоль глухого забора из камыша, виляя между колючек и голых кустарников. Я ежился и дрожал от прилипшей к телу мокрой рубашки и противно клейких штанишек. От ветра они были холодные, как лед.

— Ну и чудной ты сейчас! — смеялся Гаврюшка.

Его сухощавое и бледное лицо разрумянилось, а широко открытые глаза осматривали меня с веселым участием. Я сейчас только заметил, что лицо его — в мелких рябинках. Да и рябинки были задорны: лицо от них казалось приглядным и умненьким. И я чувствовал, что он с этого дня будет самым желанным моим товарищем. В нем было что-то общее с Кузярем, но он был мягче, рассудительнее и как будто не горазд на выдумки и злые шалости.

XX

Когда мы вбежали в казарму, меня обдало душным теплом, и я вдруг почувствовал усталость и приятную лень. Тетя Мотя, как обычно, возилась у плиты, а больная бредила и судорожно искала что-то на себе желтыми костлявыми руками. Молчаливая и, казалось, безучастная ко всему, тетя Мотя оберну-

лась и неожиданно кинулась ко мне с ужасом на обожженном лице.

— Матушки мои! Вот так рыбак!.. Без бахил рыбу ловил да штанами неводил. Лезь скорее на нары-то да переменись — окоченел весь. Я чаем вас с Гаврюшей напою. Морячки вы мои несоленые, балберочки легонькие!..

Гаврюшка смеялся.

— Это он с моряной вольничал, а она его отшлепала и кувырком бросила.

Тетя Мотя наставительно предупредила меня:

— Ты нашей моряне-то, рыбачок, поклонился бы: она наша кормилица. Глупый ты еще—весь земляной.

Гаврюшка залез вместе со мной в темное и тесное наше гнездо и оторопело застыл, озираясь.

— Ну и живете вы! Чай, тут задохнешься. В этом логове и повернуться негде: сиди по-карсачьи — ноги калачиком, или лежи да в потолок плюй. И темнота, не видать ничего.

Больная женщина застонала и стала сбрасывать с себя одеялку. Она металась, раскидывала руки, бормотала что-то непонятное, вскрикивала и мычала, задыхаясь. Тетя Мотя подошла к ней с кружкой в руке, влезла на нары и осторожно подняла ее голову. Она поднесла кружку к ее рту, а потом положила на лоб больной мокрую тряпку.

— И пожалеть-то некому, бессчастную... — вздыхая, жаловалась она. — Так наша сестра и гибнет... и сгорает, не доживя веку... Не тоскуй, Маланьюшка! Муки-то наши — облачки наши. Владычица знает, кого приголубить да радостью обрадовать.

Я переоделся, и мне стало так тепло, что запылало все тело. Гаврюшка слушал тетю Мотю, следил за нею, и я видел, что его угнетала и душная, смрадная казарма, загроможденная нарами с постельным тряпьем, и больная, которая металась в горячке, и тетя Мотя, похожая на тронувшуюся.

— Пойдем отсюда... — с жалкой улыбкой прошептал он и спрыгнул на боров. — Я больше не могу... Узнает мамаша, что я был здесь, и заскулит. Как это ты живешь здесь? Я дня бы не выжил.

Он растерянно и беспомощно озирался, словно нечаянно попал в западню и не знал, как выбраться из нее. А я вдруг почувствовал, что я опытнее и сильнее его: ведь я жил в этой казарме не один день и буду жить много дней, потому что это наше логово — наш приют, куда загнал нас хозяин и где сторожат нас его надсмотрщики — приказчик и подрядчица.

— А где бы ты посоветовал мне жить-то? — насмешливо спросил я его. — Аль у себя приветишь?

— Ежели бы папаша разрешил, я к себе перетащил бы тебя, — горячо ответил Гаврюшка, но сразу же виновато оговорился. — Может, папаша-то не прочь бы, да мамаша на глаза себе из ваших никого не пускает. Она не велит мне даже близко к казарме подходить. А на плот и папаша не разрешает.

— Ну, так сам суди, — внушительно заключил я. — Ты живешь в горнице, а я вот — на нарах в казарме, ты в школу ходишь, а мне нельзя, у тебя отец — распорядитель, а моя мать — резалка. Какой я тебе товарищ? Узнает отец, что ты со мной связался, лупцовку тебе задаст. Ты лучше со мной не водись, а то моя мать кулаков не оберется.

Гаврюшка густо покраснел и бурно запротестовал:

— Ну да, как же! Так я и поддался... Мы с тобой дружить будем сами. Приключения будем делать. А папаша говорит, что смелых любит.

Я положил «Робинзона» на горячий боров печи, чтобы он просох, и спрыгнул на пол. Гаврюшка, бледный, с блуждающими глазами, уже стоял у двери, ожидая меня. Тетя Мотя возилась с больной женщиной и забыла о нас. Но когда я был уже на пороге, она повелительно позвала к себе меня и Гаврюшку и потащила свои больные ноги к печи. Гаврюшка нетерпеливо подмигивал мне из-за порога и настойчиво махал рукой: удирай, мол, скорее, да и мне невтерпеж!

А тетя Мотя уже шла к нам и протягивала две ржаные лепешки. Лицо ее было по-прежнему неподвижно и угрюмо-покорно.

— Нате-ка, орлятки, поешьте мое печенье, — прогудела она ворчливо, но я уже знал, что этой своей

ворчливостью она выражает сердечность и ласку: — Где он там, Гаврюша-то? Поди-ка, поди-ка, паренечек! Не побрезгуй моей стряпней-то. Угощенье от души — слаще меда-сахара.

Гаврюшка стоял в сенцах и со страхом глядел на нее: должно быть, она казалась ему зловещей колдуньей или бабой-ягой. Меня забавлял и злил его страх. Я засмеялся и потянул его за руку.

— Ну чего ты трусишь? Чай, не кулак тебе сует тетя Мотя-то, а горячую лепешку. Я и то твоего отца не боюсь.

— Я сказал тебе: отца не тронь! — враждебно крикнул он и рванул свою руку. — Тронешь еще раз — насовсем раздружимся. Мой папаша хороший. Это ничего, что он пьет. А когда пьет, он всех жалеет. Лучше пойдем, а то все лодки цепями прикуют.

Тетя Мотя вышла в сени и хотела погладить по голове Гаврюшку, но он в ужасе отскочил в сторону. Я засмеялся.

— Ах вы, дети боговы! — проворчала она и сунула лепешки мне и Гаврюшке. Он молча и послушно взял лепешку, похожую на подошву, и растерянно улыбнулся. — Все дети боговы, да отцы-матери убогие. У меня вот тоже был такой же, как вы, паренечек, да утонул... здесь и утонул... в моряну... Не углядела, не порадела, вот и несу скорбь свою в наказанье.

Лицо ее по-прежнему было неподвижно и безучастно. Говорила она о своем сынишке, как о чужом мальчике, и мне казалось странным, что она никак не выразила своего горя — не взволновалась и не всплакнула.

Гаврюшка не вытерпел и сердито крикнул:

— Ну, я ждать тебя не хочу... Для меня каждая минута дорога. Лодки-то вытащат — все пропало.

А тетя Мотя, как нарочно, обняла меня одной рукой, а другой погладила по волосам.

— Я папашу твоего, Гаврюшенька, давно знаю: вместе на ватагу приехали. Молодой-то он был веселый, легкий, всем был защитник и никого не боялся. А вот сломился и запил. У него тоже печаль на сердце. — И вдруг схватила меня и Гаврюшку за плечи

и строго спросила: — Это вы куда собрались? Про какие такие лодки толкуете? Уж не кататься ли норовите на лодке-то? Нет, Гаврюшенька, не пущу... Разве мыслимо, в моряну-то? Да вас так же море похитит, как моего Костю. Не пущу и не пущу!

Мы перемигнулись с Гаврюшкой и рванулись из сеней на двор. За воротами мы пробежали улицу и, прижимаясь к забору плотового двора, юркнули в узенький проход между забором и копнами камыша, который привезли сюда для крыши нового сарая. Потом завернули за угол забора и очутились на маленьком дворике с землянкой, похожей на деревенский «выход». На нас кубарем налетела пестрая собачонка и залилась тоненьким голоском, но узнала Гаврюшку и сконфуженно завиляла хвостом. Мы выбежали на берег с другой стороны прибрежного плота. Здесь лодок было очень много на берегу, и они плотно прижимались бортами одна к другой. Море уже кипело всюду, и волны с прибойным шумом обливали прибрежный песок.

Гаврюшка вскочил в лодку и выбросил весла.

— Бери! Мы сейчас ее столкнем! Поддевай под киль!

Веслами, как рычагами, мы сдвинули лодку с места и толчками стали спускать ее по сыпучему песку. Так как песок сам осыпался с крутого спуска, лодка послушно скользнула вниз и поползла к воде, поворачиваясь с боку на бок, когда волны били в ее корму. А когда бударка начала покачиваться на волнах, Гаврюшка бросил в лодку свое весло и победоносно крикнул:

— Есть! Весло кидай в лодку и прыгай!

Он вскочил на нос, как фокусник, перелетел на середину и, упираясь веслом в песчаное дно, быстро оттолкнул наше судно от берега.

— Садись рядом со мной и берись за весло! — приказал Гаврюшка, всунув весло в развилку уключины.

Я сел рядом с ним и хотел так же устроить свое весло в развилке, как он, но в уключину оно почему-то не вошло. Гаврюшка засмеялся.

— Эх ты чучело! Тоже, в Робинзоны лезет, а не знает, как веслом распорядиться...

Он мгновенно вложил мое весло в уключину и сразу же показал, как надо держать его и грести. Я виновато молчал, сознавая его превосходство, но совсем не хотел, чтобы он проявлял на мне свою власть. Если я никогда не плавал на лодке и не держал в руках весла, это еще не значит, что я не могу быть моряком: ведь я сразу же понял, как укреплять весло и как им работать. Правда, сначала я махал веслом вразнобой с Гаврюшкой, и лодка виляла в разные стороны. Он заорал и вытаращил на меня злые глаза:

— Враз надо! Деревня, лапотник!

— Я не лапотник: у нас лаптей не носят. А ты не ори, а лучше показывай!

— Показывай! — передразнил он меня, успокаиваясь. — Я — не учитель, а моряк и должен приказывать, а не показывать. Ну, начинай: раз! Не черпай воду веслом, выше поднимай! Раз!

Лодка поплыла, поднимаясь и опускаясь на волнах, а они плескались о борта, и брызги били мне в затылок и шею, как горох. Берег уползал от нас все дальше и дальше, и барашки волн убегали позади очень быстро и весело, словно играли и смеялись.

Я наблюдал, как действует веслом Гаврюшка, и старался в точности повторять его движения. Заметил я, что он, вцепившись в ручку весла, делал правильный круг, словно вертел своими руками невидимый обод колеса — к себе изо всех сил, а от себя понизу, легко и быстро. Сначала у меня это невидимое колесо вертелось толчками и рывками, лопатка весла бороздила воду и сталкивалась с волнами. Я скоро утомился и перестал грести. Лодка от взмахов Гаврюшки круто повернула в сторону и боком взлетела на волну.

Он рассвирепел:

— Какого черта! Греби! Ежели не можешь, давай мне весло: я сам буду грести.

Но я оттолкнул его и с ожесточением закрутил свое весло. Мне было завидно, что Гаврюшка раз-

меренно и, казалось, свободно орудовал своим веслом. Он посматривал на мои руки с сердитой усмешкой.

— Ровнее! Не торопись! Вместе! — командовал он со строгостью бывалого моряка.

Но весло было длинное и тяжелое, и как он ни старался щеголять своим мастерством, ему тоже было очень трудно. Когда тянул к себе ручку весла, он привскакивал, лицо его искажалось от напряжения. Мне он нравился этим своим упорством, и я чувствовал, что ему по душе моя храбрость и готовность разделить все трудности и невзгоды плавания.

Мы уже были далеко от берега, песок мерцал на солнце, а плот будто плавал вместе со сваями и колыхался в разные стороны. Да и весь промысел и поселок сдвинулись с места и качались, как огромная качель. Волны били в нос лодки, подбрасывая ее, толкали из стороны в сторону, корма взлетала вверх и падала вниз. Зеленые волны весело убегали назад, играя пеной и кипящими гребешками. Гаврюшка оглядывался на нос и озабоченно вскрикивал:

— Уж, почесть, полпути проплыли! Не робей! Не горячись, не надсаживайся! Береги силенки-то, а то заштопорим и не доберемся. Можно бы и отдохнуть, да боюсь, как бы за нами погони не было. Надо доплыть до баржи, пока рабочие к лодкам не нагрянули.

Я тоже оглядывался на баржу, и мне казалось, что она очень далеко, на самом горизонте. Над нами и около нас носились чайки на своих тяжелых крыльях.

— Ну, мы уже далеко уплыли, — задыхаясь, заявил Гаврюшка. — Черта с два нас поймаешь... Отдыхай! Волны не страшны. Это не буря, а свежая моряна. Покачаемся, как в зыбке, передохнем — и опять за весла.

Я с удовольствием бросил весло и сразу почувствовал, как я устал и как гудели мои руки. Пот заливал глаза и большими каплями смачивал губы. Мне вдруг стало жутко: мы одни среди моря, волны толпами бежали на нас и бултыхали нашу бударку.

Ветер налетал порывами и отгонял лодку назад вместе с волнами. Они уже не хлестали в борта, а мягко журчали, плавно покачивая нас. Воздух ослепительно горел солнцем, и море пылало вихрями искр. Баржа, огромная, облезлая, с полуразвалившимся домиком на палубе, туго натягивала толстую ржавую цепь и медленно поводила своей кормой с рулем, похожим на ворота. В проломе с разорванными краями, между бурыми ребрами, чернела глубокая тьма.

Гаврюшка дышал запаленно, лицо его тоже обливалось потом. Он захлебывался слюною, но улыбался радостно. Рубашки у нас были мокрые и прилипали к телу. Ветер, хоть и теплый, дул мне в спину и в бока ледяными струями.

Я охотно признал Гаврюшкину доблесть, но утешал себя тем, что научусь так же уверенно плавать на лодке и встречать на ней моряну, как настоящий рыбак. Вспомнились Карп Ильич, Корней, Балберка — природные моряки, вспомнилось, как лоцман предсказывал, что я обязательно буду моряком.

— Побегу с работниками в море, — ошарашил я Гаврюшку. — Они меня возьмут с собой на посуде. С Карпом Ильичом, с Балберкой...

Гаврюшка насмешливо выпятил губы.

— Эка невидаль! У нас и бабы бегают с рыбаками в море. Нет, ты попробуй-ка побежать на бударке под парусом... да чтоб так — для приключения...

— Это зачем? — заспорил я. — Для какой надобности? Там — дело: рыбу ловят. А ты чего будешь добывать? У рыбаков-то приключения самые страшные: у них и посуду буря разбивает, и на льдинах их уносит... А Балберка такой выдумщик, что диву даешься: он и птицу делает, которая летает, у него и плясуны есть, которые сами пляшут... А на чунках носится по тысяче верст.

— На чунках и я летаю. Вот придет зима — сам увидишь. А кто это — Балберка?

Я торжествовал. Гаврюшка хоть и делал вид, что его нельзя удивить, но слова мои произвели на него впечатление: то, что знал я, для него было новостью,

Вдруг он спохватился и заволновался:

— Берись за весло! Гребем! Нас здорово отнесло...

И сразу же побледнел и вскочил на ноги и чуть не упал. Лодка так закачалась, что волна хлестнула через борт и окатила нас обоих. Я очень испугался и крикнул:

— Садись! Еще утонешь с тобой, дураком...

— Погоня за нами! — заорал он в отчаянии. — Видишь, люди на берегу... и лодка отчалила. Гребем изо всей силы! Черта они догонят!

Я тоже хотел встать, но лодку так ударило волной, что я упал на Гаврюшку. Он отшвырнул меня, ткнул кулаком и свирепо скомандовал:

— Бери весло, греби! Чуть лодку не перевернул, курдюк. Тебе не в море плавать, а на верблюде качаться.

За нами действительно плыла бударка. В ней сидели два человека: один махал веслами, а другой был на корме. В длинный нос лодки хлестали волны, разбрасывая брызги, и она взлетала и падала. Мы нажали на весла и, подпрыгивая на сиденье, гребли изо всей силы. Потому ли, что я очень испугался этой погони, или потому, что меня заразила озорная дерзость Гаврюшки — переспорить тех, кто догонял нас, — я с бурной надсадой загребал своим веслом и не замечал, как весло ладно взмахивало и погружалось в воду одновременно с веслом Гаврюшки. Он часто вскрикивал, смеялся, и эти его вскрики и смех подстегивали меня. Я никогда еще не испытывал такого злого восторга, как в эти минуты. Мне уже не страшно было людей, которые гнались за нами: они были далеко, и мне казалось, что мы плывем быстрее их. Человек, сидящий на корме, угрожающе махал нам рукой.

— Ага, пардону запросили! — торжествовал Гаврюшка. — Нажимай, Федяха! Не рвись, а качайся. Маятник не устает, и качель легко качается, только подталкивай...

Он оглядывался на нос и, задыхаясь от изнурения, подбодрял и меня и себя:

— И баржа близко... вот она! Нам бы скорее к пролому успеть, а там мы спрячемся.

Но лодка неумолимо приближалась к нам. Там на веслах сидел один человек и взмахивал ими сильно, уверенно и неторопливо. А я уже натер мозоли на своих ладонях, и руки мои без привычки ослабели: весло казалось огромным и очень тяжелым. Я с отчаянием чувствовал, что теряю последние силы и слезы судорогой перехватывают горло. Волны хлестали в нос и борт сильнее, и каждый их удар подбрасывал лодку высоко вверх и отшибал назад. Гаврюшка тоже изнемогал и задыхался. Его лицо искажалось плаксивой злобой. Но он все еще храбрился и надсадно покрикивал:

— Гони вовсю! Не робей! Докажем им, что без боя не сдаемся...

Вдруг он перестал грести, и от моих взмахов веслом лодка повернулась боком к волнам. Ее так сильно качнуло, что я упал на Гаврюшку, а весло вырвалось у меня из рук и выскочило из уключины. Гаврюшка оттолкнул меня и упавшим голосом сообщил:

— Это папаша на лодке-то. А все из-за тебя, верблюд: и в казарме пыхтел, и со старухой лясы точил.

— Да она не ко мне, а к тебе привязалась, — отразил я его упрек. — Я тебя с собой не тащил, сам навязался.

— Я думал, что с тобой приключение сделаем. А ты срезался: не гребец ты, а снулый рыбец.

— Да ты первый весло бросил, — озлился я. — Ты и срезался. А сейчас совсем струсил, когда отца увидал.

— Это я струсил? — взъярился он, вскакивая с сиденья. — Вот сейчас увидишь, как я струсил.

Волна опять вздыбила и качнула лодку, но он удержался. Скулы и подбородок его обострились, губы посинели, но глаза были горячие.

Мое весло прыгало на волнах позади лодки, но Гаврюшка как будто не видел его. Его весло, как подбитое крылышко, качалось вдоль борта.

Лодка плотового нагнала нас очень быстро. Плотовой на ходу подхватил мое весло и, когда рабочий, молодой парень с веселым смехом в глазах, схватился за наш борт, бросил весло к моим ногам. Парень уже улыбался во весь губастый рот и лукаво подмигивал нам. А плотовой, пристально всматриваясь и в Гаврюшку и в меня, с угрюмым равнодушием приказал:

— Ну-ка, покажите руки!

Мы послушно подняли ладони, но плотовой, не глядя на них, так же равнодушно сказал:

— Скачите сюда. На весла не годитесь. И кожа тонкая, и кишки порвали. Сначала прыгай ты, Гаврило, а потом поможешь переползти этому люденку.

Гаврюшка упрямо сдвинул брови и неторопливо перелез в лодку отца. И я впервые заметил, что лицо его очень похоже на лицо плотового: оно стало таким же угрюмым и замкнутым, как у отца. В глазах плотового вспыхнул насмешливый огонек, и лицо его, суровое и жесткое, заросшее черными волосами, помолодело и прояснилось. Он вскинул голову и усмехнулся, и в этой усмешке я уловил что-то похожее на благодушное удивление. Я перемахнул в его лодку, опираясь на руки, как обычно я перекидывался в деревне через низкое прясло.

Каким-то внутренним чутьем я почувствовал, что плотовой относится к нашему приключению снисходительно, что наш смелый поход на лодке его забавляет.

Рабочий накинул чалку на нос нашей лодки и сел за весла. А плотовой посадил нас перед собою на доску и переводил свои зеленые насмешливые глаза с одного на другого.

— Ну, так кто же из вас заводило-то?

Гаврюшка угрюмо, но твердо ответил:

— Это я, папаша.

— Знаю, что не свалишь на другого и правды не боишься. А зачем улестил этого люденка?

Мне очень хотелось, чтобы плотовой и на меня взглянул так же одобрительно, как на Гаврюшку, и я с отчаянной готовностью крикнул обиженным голосом:

— Он не улещал меня: я сам с ним сдружился!

Плотовой даже не взглянул на меня и пропустил мимо ушей мои слова. Он пытливо смотрел только на Гаврюшку и задумчиво теребил бороду. Его опухшие глаза и смеялись, и пытливо ощупывали сынишку. За спиной плотового качалась наша лодка, словно сочувствуя нашей неудаче.

— А морячить-то куда вы собрались, воробьи-герои? — совсем уж добродушно спросил он и с живым любопытством наклонился к нам обоим.

Гаврюшка с прежним угрюмым достоинством ответил:

— На разбитый корабль... сокровища искать... Никто ведь не знает, что там находится.

Глаза плотового налились слезой, и он затрясся от хохота.

— Корабль! Сокровища! Ах вы окаянные!.. Что выдумали! Дурачки вы, меня бы спросили, какие там сокровища. Пустота там и гнилушка — вот и все сокровища. Эх вы, людяты-молодяты! Ну а если бы бударку-то у вас перевернуло?.. Вот и ручонки отмотали, до крови натерли... а этот воробей даже весло в воду уронил. Ведь потонули бы.

Гаврюшка с негодованием запротестовал:

— Это ты, папаша, помешал нам. Если бы вы не бросились в погоню и не напали на нас, мы бы обязательно свое дело сделали. Со штормом-то мы сладили и лодку держали по курсу. Баржа-то была уж рядом.

Плотовой сделал серьезное лицо и крикнул парню досадливо:

— Слышишь, Степан? Ведь, пожалуй, мы с тобой ошиблись: напрасно спасать их побежали. Думали, ребятишки-то, мол, барахтаются по малости лет и лодку у них уносит в море, — а они, оказывается, вон на какие подвиги пошли... А? Степан?

Парень, ухмыляясь, крикнул сочувственно:

— Народ мозговитый, удалой, Матвей Егорыч, ничего не скажешь. С приключениями.

— Чего же ты меня не вразумил, ротозей?

— Да ведь Матрена-то сколь страху нагнала! От

нее голову потеряешь. А я уж в море увидал, как они корабль свой вели. Красота!

Мы сидели, как пленники, оба маленькие, жалкие, усталые, с пораненными ладонями, которые горели, как ошпаренные кипятком. Гаврюшка сидел хмурый и смотрел на волны, а они играли на солнце своими барашками и бежали к берегу быстрее нас. Раза два он толкнул меня локтем в бок, и я понял, что он не примирится с нашей неудачей, что свое путешествие мы все-таки совершим не нынче так завтра, что падать духом нечего, что нужно верить в свои силы.

— Да, гребцы-воробцы... — бормотал задумчиво плотовой. — Сокровища... корабль... А выходит — прах и пыль в брюхе гнилой баржи. Хороши мечтанья в отрочестве и в молодости! И получается: жива душа во младой юности, а в годах и старости — одна гнилушка, хлам. Но душа-то, выходит, — бессмертна: горит, тлеет, как головешка, а сердце обжигает. — Он закрутил головой и засмеялся. — И людишки этакие беспокойные появились, неуловимые... хоть и догадываюсь об них...

Он опять засмеялся про себя и, напряженно думая о чем-то, остановил свои глаза на моем лице, но, кажется, не видел меня. Вдруг он сурово спросил:

— А почему ты с плота сбежал и рыбу не считаешь? Я же приказал выдать тебе багор.

Я протестующе и обиженно надулся.

— Меня приказчик за волосы да за ухо схватил, а я его пинул промеж ног. Он хотел меня багром ударить, а Прасковея заступилась.

Плотовой перевел глаза на Гаврюшку, кивнул на меня и ткнул пальцем в мою сторону.

— Гляди, с каким ты зверенком связался. Он и меня, пожалуй, пинать будет.

Гаврюшка неожиданно засмеялся и поощрительно взглянул на меня.

— Курбатову так и надо, папаша: я бы ему тоже дал пинка.

— До тебя он не смеет пальцем дотронуться, а этот щенок — подневольный. Он должен по положению все сносить и покорствовать.

Гаврюшка совсем осмелел и возмущенно заспорил:

— Чай, он, папаша, не наемный: это его мать в неволе, а он свободный.

Плотовой исподлобья щупал нас своими пронзительными глазами и теребил толстыми пальцами бороду. Потом вдруг задрал голову и опять затрясся от хохота.

— Пинул... Это Курбатова-то? Этого пса-то поганого? Ух, уморил, люденок!

Смеялся и Гаврюшка. Парень тоже скалил зубы и подмигивал.

— Ну, он, этот Курбатов, тебе, герой ненаемный, житья теперь не даст. Что ты делать-то будешь?

— А я не дамся. У нас, чай, артель. Один Гриша-бондарь чего стоит!

Плотовой потешался надо мною, а мне было тяжело переносить его хохот, словно он безжалостно терзал меня, как беспомощного кутенка. Но мне было ясно одно: Матвей Егорыч любил Гаврюшку за его удальство и озорные подвиги. Он не только не побил его за опасную нашу проделку, но благодушно с нами разговаривал, словно поощрял нас на новые приключения. Понятным мне был и рассказ Гаврюшки о своей храбрости, когда он в наводнение самолично плавал на лодке в сильный прибой на дворе. Матвей Егорыч любовался им и хвалил его за правдивость. А правду в человеке я уже в деревне оценил, как мужество и бесстрашие, и мне самому всегда хотелось быть сильным правдой, как Руслан, как Калашников, как наш Микитушка или Петруша Стоднев, и быть таким радостным и светлым, как бабушка Наталья, как швец Володимирыч или Гриша-бондарь.

XXI

Лодка с разбегу врезалась в песчаную мель, но волны кипели и хватались своими широкими лапами за гладкие осыпи песка. Степан спрыгнул в воду и, вцепившись в борт, потащил бударку дальше, на сухой берег. Дно зашоркало по песку, заскрипело,

завизжало, и нос бударки задрался кверху. Мы с Гаврюшкой слезли друг за другом, а за нами легко и молодцевато, несмотря на свое грузное тело, спрыгнул и плотовой.

Не оглядываясь, я побежал к промыслу, но грозный окрик Матвея Егорыча сразу остановил меня.

— Стой, шемая! Куда подрал? Шагай обратно! — Он подтолкнул Гаврюшку в спину и набросился на него: — Как должен с товарищем обращаться, который вместе с тобой делил трудности и неудачи? Вместе самовольничали, вместе и ответ должны держать.

Его красное лицо с тугой, как войлок, бородой насупилось и стало таким, как на плоту, — жестоко-равнодушным и мрачно-тупым. Оно не обещало ничего хорошего. Но Гаврюшка будто и не заметил перемены в отце: он засмеялся, подбежал ко мне и взял за руку.

— Пойдем сейчас к нам. Не улизнешь. Тебя и под нарами найдут. Папаша велит тащить тебя в гости.

У меня похолодело в животе, и я с ужасом почувствовал, что попал в ловушку. Всю дорогу до двора я шел покорно, молча, как в чаду, ожидая расправы. Что-то болтал Гаврюшка, что-то плотовой приказывал Степану, но я ничего не понимал. Не смея поднять голову, я все-таки мельком увидел, как резалки на плоту смотрели на нас с любопытством; мать вскочила со скамьи и растерянно следила за мною.

На высокое крыльцо я взбирался с натугой. Ноги дрожали, и мне хотелось закричать от отчаяния. Я озирался и трепетал, как пойманный звереныш, — ловил момент, чтобы рвануться в сторону и пуститься наутек. Но Гаврюшка держал меня за руку, а позади шел угрюмый плотовой, и под его ногами трещали ступеньки лестницы.

Меня втолкнули в темную прихожую, а потом — в просторную, светлую комнату с прозрачными занавесками на окнах, с круглым столом посредине, покрытым блестящей клеенкой. Желтые гнутые стулья стояли и вокруг стола и вдоль голых стен. К дощатой

перегородке прижимался диван, а за ним, в углу у окна, на тонконогой этажерке кучками лежали книжки.

— Мать! — сердито крикнул Матвей Егорыч. — Дай-ка нам закусить. Гаврило гостя заполучил. Я их обоих в море в бударке захватил.

Он бросил картуз на стул и показался еще приземистее и грузнее, но лицо его вдруг стало простым, добродушным, домашним. Волосы у него оказались кудрявыми, с techинкой. Около хмельных глаз дрожали мелкие морщинки.

— Это как — на бударке, да еще в море? — сварливо откликнулась женщина из-за перегородки. — За такие вещи ремнем надо, шалопая этакого. А ты, отец, с пьяных глаз потешаешься.

— Папаша! — удивленно засмеялся Гаврюшка. — Смотри, как он испугался. Он думает, что ты его бить будешь.

Матвей Егорыч не обратил внимания на слова Гаврюшки и дружелюбно прохрипел:

— Выходи-ка в горницу, мать, да приголубь храбрых моряков. За сокровищами плыли, только я их в плен взял. А вижу, душенки у них играют. Душу убить нельзя, мать, а ушибить можно.

— С таким отцом, как ты, сын галахом да разбойником будет. И сейчас уж с ватажной чернядью связался.

— Марфа! — вдруг рявкнул плотовой. На лбу у него надулись жилы, а глаза озверели. Он судорожно вытянулся и дико уставился в перегородку.

— Я иду, Матюша, иду... — сразу же заворковала женщина за перегородкой. — Не волнуйся, не бесись...

В комнату вошла полная, румяная женщина в шелковом клетчатом платье, с кольцами на жирных пальцах. Она плавно прошла мимо стола к двери и улыбнулась мне с той фальшивой лаской, с какой подкрадываются к озорнику, чтобы выпороть его. Я не вынес этой ее улыбки и насупился. Притворно нежным голоском она спросила Гаврюшку:

— Почему ты, Гавря, очутился с ним в лодке, да еще в моряну? Ведь если бы не отец, он утопил бы

тебя. Разве нет у тебя товарищей из хорошей семьи, кроме этого мальчика из ватажной казармы?

Эта женщина презирала не только меня, но и мою мать и всех резалок, которых считала существами низшей породы, недостойными даже приближаться к ее крыльцу. И мое появление здесь, в светлой, просторной горнице, возмутило ее, как несуразный приход босяка из трущобы. Как я ни привык к таким людям, я всегда чувствовал обиду за свое унижение, и невольно во мне вспыхивали протест и озлобление против них. И теперь мне вспомнились слова Варвары Петровны на верхней палубе парохода: «Знай, что ты выше этих бар и богатеев...» Вспомнилась и Раиса, которая говорила матери: «А чем ты хуже этих благородных?» Вот и сейчас я ощутил, как лицо мое стало вдруг горячим и сердце забилось от оскорбления. Я встал со стула и с судорогами в горле пошел к двери. На ходу сказал срывающимся голосом:

— Я к нему не лез, он сам ко мне привязался. Хоть мы и сдружились, да ежели ему нельзя со мной водиться, я и без него обойдусь.

— Какой дерзкий мальчик! — изумилась женщина. — С кем же ты дружбу заводишь, Гавря?

Я хотел юркнуть в дверь, но в этот момент меня обхватил сзади Гаврюшка и крикнул пронзительно:

— Не смей уходить — не пущу!.. А мамаше стыдно... Смотри, папаша, что она наделала...

Я вырывался из его рук, но он изо всех сил тащил меня назад.

Матвей Егорыч смотрел на нас с прежним благодушием и трясся от смеха. Он взял меня за плечо и повел к столу.

— Эх, от вас, людята, без вина будешь пьяный! Мать! Марфа Игнатьевна! Угощай вольницу: не мы их, а они нас высекли. Храни честь смолоду, Гаврила! Обнимись с ним на верность!

Гаврюшка бросился мне на шею и сжал цепкими руками. Я тоже обнял его, но не удержался и всхлипнул.

— Вот это еще лучше: дружба слезой сваривается на всю жизнь...

Он был растроган: в его хмельных глазах я увидел слезы.

— Папаша! — благодарно крикнул Гаврюшка. — Без тебя у нас ничего бы не вышло. Ты очень умный и все понимаешь.

— Поживи с мое, помучайся, надорви сердце — поневоле от дум затоскуешь...

Мы опять сели к столу, а Матвей Егорыч прошелся по комнате, остановился перед своим стулом и уставился на нас со строгой насмешкой в глазах.

— А теперь отвечайте: как вы посмели самоуправничать да беззаконничать? Вы захватили чужую лодку — раз, не спросились — два, людей взбулгачили — три. А потом бы вдруг утопли — четыре. И выходит по всем статьям, что вы пошли спроть закона. А слыхал, Гаврило, как мать-те по закону этому тебя судит? То-то! И тебе, и мне, и этому люденку возбраняется жить самовольно: куда тебя прилепили — не дрягайся. Я — на плоту, ты — под подолом матери, а он — на нарах в казарме. У каждого свой закон, как у верблюдов.

— Закон — загон... — засмеялся Гаврюшка, слушая с интересом отца. В глазах его играло лукавство. — Но мы же — не верблюды, папаша, а люди.

— Вот! Законы пишутся для людей. У верблюдов — загон, а у людей — закон. А закон — против вольников. Он простой: замри и стой, живи не как хочется, а как велят.

Гаврюшка бойко возразил:

— Мамаша нас судит, а сама только и гадает на картах, скоро ли управляющихой будет.

Плотовой нахмурился и рванул усы и бороду. Он грозно засверлил глазами Гаврюшку.

— Дурак! Я запрещаю тебе говорить так о матери. Вольничаешь!

Гаврюшка смутился и так покраснел, что посерели рябинки на лице.

— Ты же сам, папаша, требуешь, чтобы я говорил правду и ничего не скрывал.

Плотовой задвигал красными белками, запыхтел и тяжело сел на свой стул.

— Дерзило! Не всякая правда напролом бьет. И не всякая правда пользительная. Правда — как рыба-сырец: ее надо обработать. Сырой ее есть не будешь. Пойми: сегодня ты над матерью смеешься, а завтра меня на смех поднимешь, на всех старших плевать будешь. За одну правду хвалят, а за другую бьют.

Матвей Егорыч смотрел в стену рассеянным взглядом и, казалось, внезапно забыл о нас. Говорил он не с Гаврюшкой, а сам с собою, словно жаловался на болезнь, которая мучает его давно. Гаврюшка сморщил лоб и не сводил с отца изумленных глаз, как будто отец ударил его, а он не знает, за что. Матвей Егорыч стукнул мохнатым кулаком по столу, и мне почудилось, что он простонал:

— Надо быть мастером правды, хозяином правды... верблюды!

Гаврюшка завозился на стуле, и в глазах у него показались слезы обиды.

— Папа! А правда, что ты кулаком бьешь карсаков и резалок?

Матвей Егорыч вздрогнул и с хмурой угрозой уставился на Гаврюшку. Он помолчал, попыхтел и затеребил жесткие волосы бороды и торчащих усов. Густые брови его зашевелились и уползли на лоб, а глаза вдруг заиграли веселым огоньком.

— Это кто тебе сказал?

— Вот Федяшка говорил. Мы с ним из-за этого подрались.

Матвей Егорыч перевел на меня глаза, и они придавили меня к стулу. А кулак его лежал на столе и дышал, сжимаясь и разжимаясь.

— Ну? А еще что ты ему сказал, люденок? Не бойся, говори! Не гляди на мой кулак: он — не для детей. Ты можешь сдунуть его, как рыбью чешую. Говори!

Но у меня все замерло внутри, и во рту так стало сухо, что язык плотно прилип к деснам. Я смотрел на плотового, прикованный к его багровому лицу, и с ужасом чувствовал, что судорожно улыбаюсь.

А Гаврюшка тыкал меня в бок и со злорадным нетерпением требовал:

— Ну, говори, ежели правда! — И вдруг засмеялся: — Ага, соврал!

Я никогда не врал — у нас это считалось грехом, — и крик Гаврюшки возмутил меня. Я даже вскочил со стула и с дрожью во всем теле проговорил:

— Я сам видал.

Матвей Егорыч усмехнулся в бороду, но сурово приказал:

— Подойди сюда!

Я невольно пошагал к нему вокруг стола, и мне казалось, что я с трудом отдирал ноги от пола. Я ждал неизбежного: вот подойду к нему, и он схватит меня за волосы или за уши и начнет шлепать своей убийственной ладонью. Но я ощутил мягкую его руку, которая заворошила мои волосы.

— Не струсил — это хорошо. Кулаки пускаю в ход, верно. И за руку меня девка схватила, тоже верно. Но судить меня ты не можешь: судья должен знать, почему одни люди так себя ведут, а другие — по-другому: одни лямку тянут, другие на них ездят. А вы с Гаврилой еще комары. Подрастете, поломаете свои горбы, попадете под аркан, поплачете, побеситесь и станете, может, хуже, чем я. Мне этих кулаков досталось вдоволь. Вижу скота бессловесного, который моему кулаку поклоняется, — бью и бить буду. Вцепись зубами в этот мой кулак — и мне по зубам! Тогда я, может, сам тебе поклонюсь! Я сам всю жизнь к Марии тянулся, а попал к Марфе. Это я из евангелья: там Христос с Марией душу отводил, а Марфа житейская орала на них и помоями обливала. Иди! Садись на свое место!

Многих слов плотового я не уразумел, но смысл его речи был мне понятен. В Матвее Егорыче я чувствовал что-то общее с дядей Ларивоном. Этот его угрюмый хмель и странный бунт против какого-то скотского загона — все это я уже слышал когда-то. Но Матвей Егорыч был похож на больного, который не знает своей болезни, или на слепого, который

попал в грязь и не может из нее выбраться. В нем я угадывал добрую душу, а эта душа корчится, как рак в куче рыбы, и зарывается еще глубже.

Марфа Игнатьевна принесла на подносе судака в помидорной подливке и четыре стакана кофе с молоком. Она поставила передо мною тарелку с вилкой и улыбнулась мне с приветливостью сытой, вальяжной хозяйки, которая даже перед мной, приблудным парнишкой, хочет показать свое превосходство матери «хорошего» семейства.

— Ну, закуси с нами, мальчик, полакомься. Ведь тебе в казарме такое блюдо и не снилось. И кофе, верно, никогда не пробовал. У тебя кто мать-то? Резалка?

Я заупрямился и промолчал, уткнувшись в тарелку с рыбой, которая сразу одурманила меня своим ароматом. Но я сделал вид, что этот чудесный кусок, словно поданный на скатерти-самобранке, совсем меня не привлекает: меня парализовала и брезгливая снисходительность Марфы Игнатьевны, и деревенская привычка не прикасаться к чужой пище, пока не попотчуют несколько раз.

— Ешь! — подтолкнул меня Гаврюшка и насадил на свою вилку кусок судака. — Чего ты нахохлился?

— Не хочу я... — не поднимая головы, пробурчал я.

— Нет, хочешь. Вот и соврал, ага!

Мне было тягостно: мучительно хотелось поесть судака, облитого пахучей приправой, но подавляла сытая, вальяжная женщина. А Гаврюшка еще больше заставил меня спрятаться в себя: он обличил меня во лжи, но спорить с ним я не мог. Конечно, я врал, но эта ложь была только деревенским приличием, которое принято было в нашей семье, в мужицком быту. Гость, который садится к столу с первого приглашения, считался неучтивым.

Когда Марфа Игнатьевна поставила передо мною тарелку с рыбой и положила вилку, белые, пухлые пальцы ее показались мне очень недоброжелательными. По рукам я как-то бессознательно научился

определять характер человека: есть руки добрые, сердечные, которым сразу доверяешь; есть хитрые, притворные, вкрадчивые; есть злые, враждебные, от которых хочется отодвинуться; а есть — сытые, брезгливые, неприветливые. У Марфы Игнатьевны были руки и притворные и брезгливые. Когда же я украдкой взглянул на ее лицо, такое же белое и пухлое, с дряблыми отеками на щеках, с улыбочкой, которая не хотела улыбаться, — я увидел, что эта женщина гнушается мною, считает меня поганым, что она терпит меня в своей горнице только потому, что я по дурацкой случайности оказался под покровительством Матвея Егорыча. Если бы я пришел только с Гаврюшкой, она выгнала бы меня, а Гаврюшку обругала за дружбу со мною. Я почувствовал, что она не «простая», не из «черняди», а, должно быть, из купчих, из среды тех людей, которые к рабочим людям относятся, как к скотине.

Гаврюшка толкал меня локтем и подбодрял:

— Ну, ешь! Чего ты бычишься?

Матвей Егорыч косился на меня из-под волосатых бровей и усмехался.

— Марфа Игнатьевна, — с добродушной строгостью приказал он, — налей-ка мне стакашку! Сухая ложка рот дерет.

Марфа Игнатьевна приложила к вискам пальцы и сделала скорбное лицо, но глаза ее стали острыми, а углы рта опустились.

— Не налью! — тихо, с ненавистью сказала она и опустилась на стул в своем пышном шелковом платье. — Не налью, Матвей: ты и без моей помощи налил себя до краев.

Матвей Егорыч будто не слышал ядовитого голоса Марфы Игнатьевны: он ткнул рукой в мою сторону и угрюмо предупредил:

— Знаю: хоть и хочется лопать, а в горло не лезет. Понимаю. Однако и за чужим столом смелость нужна, как и на лодке в моряну... — И так же добродушно потребовал: — Встань-ка, Марфа Игнатьевна, и налей рюмашку перед закуской ради прежней любви богатой девицы к кудрявому рыбаку, славному

разбойничку в лицедействе. Помнишь, как я играл Степана Тимофеевича Разина? Эх, времечко было! Слеза дрожит, и сердце стонет.

Эх ты, Волга, мать моя кормилица!
Не отдам тебе себя, добра молодца.
Не волен я в своей волюшке:
Роковая моя судьба — воля народная.
А отдам я тебе драгую любовь —
Драгую красу — царевну персицкую...

Он уронил свою растрепанную голову на руки и свирепо застонал.

Гаврюшка бросил вилку и, пораженный странной скорбью отца, неожиданно засмеялся. Мать поднялась, с отвращением фыркнула и поплыла к двери.

— Глаза бы на тебя, потерянного, не глядели... Гавря! Иди уроки учи! Отец тебя на добро не наставит.

Матвей Егорыч вдруг встал и спокойно, но властно сказал:

— Марфа! Что я говорю? Исполняй!

К моему удивлению, Марфа Игнатьевна необычно юрко повернулась и с трусливой улыбкой забормотала:

— Матвей Егорыч, родненький! Садись, не надрывай сердца-то! Господи, как бы опять беда тебя не посетила...

Гаврюшка сидел застывший и бледный, словно оглушил его какой-то внезапный удар. А Матвей Егорыч стоял, потрясенный, и тяжело дышал. Лицо его исказилось болью, борода дрожала, но он улыбался.

— Да, Гаврило... ржешь надо мной. Смейся! Смеется и Мария, а Марфа расфуфырилась. Ни Стеньки, ни персиянки! У вас с люденком — сокровища. Где сокровища? На разбитом корабле... на разбитой барже! А там — только хлам, тлен, гнилушки!..

Он медленно сел, озираясь, жуткий, но кроткий, похожий на безумного. Я встал и опрометью выбежал на двор. Так я и не полакомился янтарно-вкусным куском судака у Гаврюшки.

XXII

Вечером, когда резалки сбросили свои штаны, вымылись и надели юбки, Прасковея, похожая на цыганку в своем цветистом платье, вскочила на боров печки и неожиданно выросла перед нашими нарами. Мне показалось, что вся она улыбалась — и круглыми, смелыми глазами, и крупным ртом, и всем сильным своим телом. До сих пор она не интересовалась матерью — должно быть, считала ее слабенькой, покорной и смирной работницей, которую легко ушибить одним шутейным словом. А шутки она бросала грубо, с размаху, как озорница, но я чувствовал, что за этим озорством она прячет неутихающую боль. Я не раз видел, как у нее вздрагивали углы рта и глаза на мгновение озарялись какой-то неожиданной, обжигающей мыслью. Только на эту боль она никому не жалуется и, вероятно, считает унизительным показывать свое горе. И мне приятно было, что мать тоже следит за Прасковеей с завистливым любопытством и ей очень хочется подружиться с нею. Марийка, девчонка дружелюбная, не обижалась на грубые шутки Прасковеи и говорила матери:

— Прасковею я очень даже люблю. Я с ней уже два года работаю и знаю ее. Она озорная и ничего не боится. За товарок готова на рожон лезть.

И вот сейчас, когда Прасковея с широко открытыми глазами, расцветающая своим платьем, склонилась грудью на край наших нар, мать как будто испугалась: она застыла с кружкой чаю в руке, но глаза ее вспыхнули радостным изумлением. У нее была одна слабость: она любила привечать людей и была счастлива, когда товарки обращались к ней с какой-нибудь даже пустячной докукой — за иголкой, за кусочком говяжьего сала или просили перевязать руку, изъеденную солью.

Но Прасковея обратилась не к ней, а ко мне:

— Ну и греховодник! Ну и бедокур! Сколько дел сегодня наделал — и в моряну на бударке пустился, и плотового с панталыку сбил, и в дом плотового пробрался, и на плоту из-за тебя переполох... Плото-

вой-то над Курбатовым вдоволь натешился: обесславил его при всем народе, как ты саданул его. Ты зачем это плотовому нажаловался?

— Я не жаловался, — ответил я запальчиво. — Я и плотовому сказал, что он кулаком дерется.

Мать упавшим голосом пролепетала:

— Да ты с ума сошел! Да как это у тебя язык-то повернулся? Ведь теперь мне из-за тебя житья не будет... пропадать придется... выгонят! С голоду в песках умрем...

Прасковея засмеялась и потрепала меня за волосы.

— Ну и озорник! Ну и отчубучил! — Она схватила меня за плечи, рванула к себе и чмокнула в обе щеки. — Охальник какой, а? Ну, что же плотовой-то тебе ответил?

Ободренный поцелуями Прасковеи, я с гордостью похвалился:

— Он сказал мне, что я — смелый, и хорошо, что правду говорю. Мы с Гаврюшкой сначала подрались, а потом сдружились, с ним вместе и на лодке поплыли.

Мать разгладила кошму на нарах и с жалобной лаской пригласила Прасковею сесть, но Прасковея отмахнулась от нее, а потом схватила ее за руку.

— Нет, ты гляди, как он храбро за нас дерется. Ведь кого — плотового не побоялся!

— Это мы вместе с Гаврюшкой ему всё высказали, — поправил я ее. — С Гаврюшкой мы здорово сдружились. А Матвей Егорыч сказал, что бьет тех, которые молчат, как рыбы. Он очень хороший. А тетя Мотя сказала Гаврюшке, что отец-то его был веселый и за всех заступался. А теперь запоем пьет.

— Ну, всю подноготную узнал! — опять засмеялась Прасковея. Руку матери она не выпускала, а мать, счастливая, нежно сжала ее крупную кисть другой рукой. — А ты, Настя, чего дрожишь? Чудная ты какая! Словно у тебя по волоску выщипывают, а тебе кричать хочется, да боишься. А ты расправь крылышки-то: ведь тебе взлететь охота. Распахнись

вовсю. За меня держись. Мне терять нечего, а себя я дорого ценю. Одно у нас плохо: все в разные стороны глядят и в свою шкуру прячутся.

Мать, подозрительно поглядывая на резалок, которые копошились на своих нарах, переговариваясь, наклонилась к Прасковее и торопливо проговорила:

— В чужой-то семье сколько я горя перемыкала, Прасковея милая! Девчушкой еще меня просватали. И с первого же дня оглушили. Свекор-то — строгий, самодурный: ни пикни, ни повернись; работищей замучили, а муж кулаками ласкал. И всем угоди, всем услужи. А ведь я веселая, радошная; и солнышко люблю, и к людям привязчивая, и попеть и поплясать охоча. И душу бы людям отдала...

— Вижу, — сердито оборвала ее Прасковея. — Только эта твоя душа, как еж, в узелок свернулась. Привыкла страхом дышать.

— А как же быть-то? — с робкой надеждой спросила мать.

— А так. На меня гляди, ничего не бойся. Сдачи давай. Орет подрядчица — сама на нее ори и держись с ней и с приказчиком так, словно их и нет около тебя. Они только забитым да робким страшны. Видала, как Наташка-то плотового за руку схватила? Вот это девка! Только и она сама не своя... безумная какая-то...

Наташа лежала неподвижно и смотрела в потолок. Она и сейчас была глуха к словам Прасковеи, которая не стеснялась говорить о ней громко. И я догадывался, что Прасковея нарочно говорила о Наташе, чтобы разбередить ее. Но Наташу неожиданно пробудил я, а не Прасковея. Я помнил рассказ о ней Харитона и жалел ее. А однажды ночью я проснулся от ее стонов и невнятного бормотанья. Она задыхалась в ужасе и металась, разрывая рубашку на груди. При мерцающем свете привернутой висячей лампы я видел, как лицо Наташи исказилось болью. Я подполз к ней, потряс ее за плечо и натянул на нее одеялку. Она посмотрела на меня с изумлением и вдруг прижала мою голову к груди. Сердце ее билось гулко и толкалось мне в щеку. И в тот миг я почув-

ствовал, что полюбил ее. Слова Прасковеи о Наташе показались мне обидными, и я возмутился:

— Ничего она не безумная. Ежели бы с тобой, тетя Прасковея, случилась такая беда, ты тоже с ума бы сошла.

— Батюшки мои! — поразилась Прасковея, всплеснув руками. — Он и Наташкину судьбу знает. Скоро состаришься, паренек.

Наташа порывисто поднялась на локте и, как в угаре, уставилась на Прасковею.

— Ты меня не задирай, Прасковея, а то обожжешься. Я безумная для себя, а вот ты не знаешь, что делать со своей тоской. Только форсишь.

А Прасковея необычно мягко и задумчиво ответила:

— Я не для форса поднялась сюда, Наташенька, а с заботой. И на меня ты не сердись. Федяшке-то с Настей сейчас житья не будет: Курбатов поедом их съест, будет играть, как кот с мышками. Подрядчица — волчиха, а ходит перед ним собачкой. Хоть она и ненавидит его, а в угоду ему надумывает всякие подлости. Обо мне говорить нечего: я ему сама морду набью — опытная. А вот тебе, Наташа, тоже туго придется. На таких, как ты, они мастера охотиться. Им нужно, чтобы все снулой рыбой были. Плотовой не в себе: пьет без просыпу, и его обводят вокруг пальца. Мы — беззащитные: все резалки только в свой мизинец глядят. Нас хоть много, а каждая — сама по себе. А будь мы друг с дружкой связаны да друг за дружку держались — мы их плясать бы под свою дудку заставили, они и пикнуть бы боялись. Раз такое дело — давайте кучкой держаться: мы трое, да Марийка, да мои товарки Оксана с Галей. Вот уж нас и шесть. А к нам и другие пристанут.

— Чего же мне делать-то, Прасковея? Куда я пойду с парнишкой-то, ежели выкинут меня?

— Не выкинут. Какая им выгода работницу гнать? Они постараются из тебя все соки выжать. Да и парнишку в работу запрягут: раз приказал плотовой ему всучить багор, Василиса и рада этому — даровой работник. Говорю, Настя, со мной плечо

в плечо держись — не пропадешь. Делай то, что я делать буду. И смелее, озорнее будь. Скажи хоть словечко, Наташа.

Наташа угрюмо отозвалась:

— Мне нечего терять: я давно все потеряла.

Прасковея радостно вспыхнула, засмеялась и протянула к ней руку.

— Наташенька, родненькая, да ты не только ничего не потеряла, а сильнее всех стала. Уж ежели ты что потеряла — так единственно страх. Ведь ты гора сейчас.

— Федяшку с Настей я в обиду не дам, — глухо отозвалась Наташа и натянула на голову одеяло.

Рядом с Прасковеей внезапно вынырнул Гриша-бондарь. Мать будто ждала его и вся засветилась от радости. А Прасковея насупилась и съехидничала:

— Хороши парни в бондарне, да в любови все коварны.

Гриша стал рядом с нею и с беззаботной веселостью обнял ее, прижимая к себе.

— А резалки — словно чалки: слабы чалки из мочалки. Уж на песню и я отвечаю песней. Ты ведь моя старая товарка — знаешь, какой я гораздый людей действом да песней завлекать.

— Да уж досыта знаю, — недоброжелательно усмехнулась Прасковея. — Сколько дур от тебя сердце надорвали, сколько слез пролито! Даже я очумела — назолу приняла, да вовремя опамятовалась.

— Аль я тебя нарочно завлекал, товарка? Представляю я в лицах да пою для души, а людям от этого — радость. Вижу, как люди словно в огне горят и за мной куда хошь пойдут, — тогда я сам не свой бываю. Чем же я коварный?

Прасковея отодвинулась от него и с недоброй усмешкой огрызнулась:

— Ты зубы мне не заговаривай, бондарь. Да и рыбок на свою блесну не лови. Я уж хорошо знаю, какой ты кудесник.

Мать с пугливой тревогой глядела на Гришу, но слова Прасковеи больно задели ее, и в ее глазах

я увидел ревнивый огонек. Должно быть, ей показалось, что Прасковея нарочно порочит Гришу, чтобы вызвать у нее недоверие к нему. Но Гриша не обиделся и не тушил своей хорошей улыбки. Мне было неприятно слушать Прасковею: в ее голосе я почувствовал мстительную злость. Я не утерпел и пылко вскрикнул:

— Дядя Гриша вовсе не кудесник! Кудесники — колдуны. А какой он колдун? Ты, тетя Прасковея, его не бесславь.

Гриша захохотал и даже голову закинул от удовольствия. Он схватил меня за руку и потряс ее:

— Покорно благодарю, Васильич! Вот какой верный друг у меня, Прасковея! Мы с ним пуд соли съели.

Мать тоже засветилась от смеха. Она встретилась с глазами Гриши, и в лице ее я впервые заметил какую-то страшную игру, не виданную раньше никогда. Прасковея тоже улыбнулась, и ее красивые пристальные глаза следили за моим лицом.

— Мамаша-то крадучись живет. А сынишка без оглядки на рожон рвется.

— Как ты же... — пошутил Гриша, не переставая смеяться.

— Уж какая есть, — сердито обрезала его Прасковея.

Гриша сразу стал серьезным и сказал ей строго:

— Такая ты мне и нужна.

— С каких это пор? — съязвила Прасковея.

— Давно любуюсь на тебя, — так же серьезно ответил Гриша. — А сейчас такое время пришло, что ты можешь весь свет перевернуть.

— А, батюшки! — притворно поразилась Прасковея. — Вот уж думать не думала, какая я есть сила — воду месила!

Тетя Мотя проковыляла к больной и потрогала ее ноги через одеяло. Она отступила на шаг, прислушиваясь и приглядываясь к ней. Потом с необычайной торопливостью влезла на нары, подняла одеяло и некоторое время всматривалась в лицо женщины. Бережно, словно боясь разбудить боль-

ную, она сползла с нар и тяжело потащилась к печи. Опираясь рукою о ее стенку, она пробралась к нам и позвала Гришу. Он наклонился к ней и сразу же отпрянул с тревогой в глазах.

— Вот что, товарки, — сердито сообщил он. — Малаша-то умерла. Матреша говорит, что она уж и застыла. Такая судьба уготована и другим в этой яме.

Он спрыгнул с высокого борова на пол и прошел к нарам умершей. Но соседка ее, Улита, уже благочестиво крестилась и, отвернув одеяло, ощупывала костляво-серое лицо, грудь и плечи женщины. Другая соседка — беременная Олена — с измученным лицом, тоже захлопотала над покойницей. Ее муж, солильщик Гордей, молчаливый, с красно-сизым лицом, лежал невозмутимо, будто смерть соседки была обыденным случаем. В казарме уже все были встревожены и испуганы. Люди сразу замолкли, притаились и зашептали. Мать порывисто рванулась с нар и оттолкнула в сторону Прасковею.

— Вот так слабенькая! — смущенно пробормотала Прасковея. — Вот так тихоня! Да она может мужика свалить.

Мне стало жутко, словно казарма наполнилась призраками — той таинственной силой, которую чувствуешь только нутром. Мать подбежала к нарам умершей и остановилась, словно не могла перешагнуть через какую-то преграду. Пристально вглядываясь в неподвижное тело женщины, наполовину открытое, она с усилием, точно ощупью, приблизилась к краю нар. Тетя Мотя на натянутой веревке развешивала дерюги и клетчатое одеяло.

Прасковея со сдвинутыми бровями слезла на пол и пошла к своим нарам, к задней стене, мимо сидящих плечом к плечу женщин и девчат. Мужчины разговаривали вполголоса.

Гриша прошелся по казарме, заложив руки за спину, поглядывая исподлобья на сидящих женщин и мужчин, угнетенных смертью давно болевшей товарки. Хотя все привыкли к ее стонам и бреду и, может быть, знали, что она скоро умрет, эта смерть поразила их, как внезапная беда. Кузнечиха необычно

услужливо помогала тете Моте за занавесками, и голос ее стал покорным и кротким. Мать хлопотливо возилась над телом покойницы, а Улита и Олена сразу подчинились ей: она бойко приказывала что-то, говорила не переставая, и руки ее ходили ходуном. Она вся трепетала от нервного возбуждения.

Гриша поворошил свои кудри и остановился под лампой у стола.

— Вот какое дело, други мои... Человек умер! Болел, мучился человек, сгорел и умер. Бросили человека. Полечить бы надо женщину, а тут, на промыслах, и больницы нет, и никакого леченья нет. А ведь с любым из нас может приключиться несчастная статья, ну и сгибнешь, как собака. Да еще голодом заморят, за ноги с нар стащат. Ну-ка, скажите, кто из вас без штрафов работал?

Прасковея сидела вместе с Оксаной, которая с ужасом глядела в сторону покойницы. На вопрос Гриши Прасковея враждебно ответила низким голосом:

— Без штрафов я в этот сезон работала да моя пара — Оксана.

— Счастливые, — улыбнулся Гриша. — Угодили подрядчице.

Прасковею взорвали слова Гриши: она вскочила с нар и с искаженным от гнева лицом рванулась к нему.

— Ты меня, бондарь, не дразни! Сам знаешь, почему штраф ко мне не прилипает. У нас с подрядчицей свои счеты. Могилка-то моего ребенка горит.

У нее задрожал подбородок и голос сорвался. А Гриша спокойно подтвердил:

— Знаю. Вот и Малашина могила будет гореть. У тебя — мука, а у других вот — скука. Бей их штрафами, и не охнут: привыкли. Думают, что так и надо. И гнить будут — не пожалуются, вот как Гордей.

Кузнец пробасил из своего логова:

— Вы, бондаря, — чистоплюи: у вас и работа воздушная и заработок верный. А я вот на весь промысел один. Ангел черта не понимает.

Гриша повернулся к нему и пренебрежительно отшиб рукою его слова.

— Ангелы ли, черти ли — все здесь каторжные жители. Ты с молотком, а мы с топором. У всех у нас одна судьба: и под штрафами и под страхами, из каждого жилы тянут и кусок хлеба отнимают.

В эту минуту тело покойницы сняли с нар ногами вперед. Улита с тетей Мотей взялись за ноги, а мать с Оленой подхватили ее под плечи и голову.

Из комнаты вышла Василиса, оглядела нары, остановила властные глаза на дерюге, за которой плескалась вода, и перевела их на Гришу. По привычке она уперлась руками в бедра.

— Смутьянишь, бондарь... Я тоже напомню тебе: в прошлом сезоне язык тебе здорово прищемили. Позабыл? Гляди, как бы и башку не потерял. Не мути людей, если не хочешь неприятностей. У меня не побалуешься.

Гриша молча шагнул к ней, пристально вглядываясь в нее.

— Ну-ка, сгинь отсюда! — сдавленным голосом цыкнул он на нее. — Еще одну женщину загрызла... Слышала? Могилы-то горят и сожгут тебя, дай срок: могилы мстят.

Василиса только ухмыльнулась и смерила Гришу взглядом с головы до ног.

— Не распоряжайся здесь, бондарь! Помни: смутьянам одно место — под замком.

Неожиданно с нар слетела Оксана с багорчиком в руке, как безумная бросилась к Василисе.

— Ты о моей сестре забыла, которую в петлю загнала?.. Так помни же о ней всегда!

Ее подхватил Гриша и вырвал багорчик.

— Не надо этого, Оксана. Не дури!

Василиса юркнула в свою комнату и заперла дверь на задвижку. Прасковея обняла Оксану и повела ее к нарам.

— Нашла время счеты сводить... С ума сошла, девка! Возьми ее, Галя, и успокой.

XXIII

Я стал опять работать на плоту. Рано утром, еще затемно, я вместе с толпою резалок, рядом с матерью и Марийкой, шел через плотовой двор на берег. Море уже несколько дней плескалось у самых высоких прибрежных песчаных обрывов, и зеленые волны, погоняя друг друга, росли, дыбились еще далеко от берега и, загибаясь жирными вершинами, кипели, пенились, обрушивались клокочущими водопадами сами на себя и с гулом ливня обмывали пологие песчаные осыпи. В рассветной синеве до розового горизонта море было всклокочено и неслось к берегу, как мохнатое стадо овец. Там, далеко, оно угрюмо чернело, а здесь, у берега, было мутно и грязно от взбаламученного песка и ила. Всюду вихрями кружились чайки и плаксиво пищали; словно обиженные. Они стремительно падали в волны и опять взлетали кверху. Баржа по-прежнему медленно и лениво разгуливала на своей ржавой цепи, поворачиваясь кормою с огромным рулем и вправо и влево. Дул влажный, теплый ветер, весь в запахах рыбы и водорослей.

Под плотом между черными сваями бушевала вода, и рыбачьи посуды, пришвартованные к площадкам плота, раскачивались и болтались, размахивая своими мачтами. Рыбаки в бахилах и кожаных картузах хлопотали на лодках, отталкивались шестами от плота, поднимали паруса. Прыгая на волнах, их посудины легко и быстро уплывали одна за другой наперерез волнам в кипящую морскую даль и скрывались за песчаными холмами. Пепельные облака, клубастые и тяжелые, неслись из-за горизонта на промыслы и улетали куда-то в пески, за промысловое поселье.

Раза два я встречал Корнея и Балберку, но они почему-то не узнавали меня. А когда я при второй встрече побежал к Балберке, он нехотя и неуклюже протянул мне руку и выпятил губы.

— Не забыл, как мы плыли на барже-то? — спросил он равнодушно. — А мы сейчас редко ночуем

в казарме: всё больше бегаем в море. Карп Ильич на Эмбе. А мы отсюда за рыбой бегаем. С Корнеем мы на разной посуде; и у него и у меня народ все сырой. Поклон-то Карпу Ильичу посылаешь, что ли?

— Мне бы самому с тобой к Карпу Ильичу побежать, — позавидовал я Балберке, — да на плоту вот работаю.

— Ну что ж, — одобрил он. — Конечно, работать надо. Без работы жить нельзя. Видал, рыбу считаешь. А какое жалованье положено?

— Может, и положат, а сейчас я без жалованья.

Он нахмурился и натянул картуз на лоб.

— Как это без жалованья? Ты требуй. Трудись для чужого дяди, будешь в накладе. На то и наука, сказала карасю щука. А с нами тебе бегать еще рано.

Он отвернулся от меня и смешался с рыбаками.

На плоту я считал рыбу у скамьи матери с Марийкой и сам записывал карандашиком на бумажке, которую сунул мне приказчик.

— По сотням записывай! — приказал он мне, ехидно прищуривая один глаз. — Четыре тысячи отсчитай. А урок тебе до вечера — двенадцать тысяч. Не таращи глаза. Кончишь здесь, пойдешь по своему ряду. Что, брат? Нарвался? Душа в пятки ушла? А ты думал, это игрушка?

Мать с испугом взглянула на меня и выпрямилась. Марийка сердито выпятила губы и подмигнула ей, потом повернулась ко мне и погрозила ножом. Глаза матери вспыхнули ненавистью, она побледнела.

— Ты, приказчик, не распоряжайся парнишкой-то! — крикнула она неслыханным для меня голосом — жалобным и злым. — Он тебе, парнишка-то, не подневольный. Он по охотке взялся: сколько ему захочется, столько и сделает.

Приказчик будто не слышал крика матери, только скосил глаза в ее сторону.

— Не подумай бросить багор и удрать — штраф на мать наложу. Да помни: за тобой долг остался. За то, что ты пинаешься, должон просить у меня

прощенья перед всем плотом. Это не сейчас, я погожу, а после урока. Тогда ты будешь посмирнее.

Марийка не утерпела и ядовито засмеялась:

— Ну, через край нагрозил! Кому мстишь-то, приказчик? Малолетку. А он сильнее тебя — свободный. Работать он бесплатно не обязан.

Приказчик ухмыльнулся и властно осадил ее:

— Ты, девка, молчи! Это тебя не касается. А за разговоры и пререкательства оштрафую, чтоб другим неповадно было.

Марийка вскочила со скамьи и с кипящими от ненависти глазами крикнула на весь плот:

— Подавитесь вы с подрядчицей этими штрафами! Нечего меня пугать!.. Уйди отсюда!

Приказчик вынул книжечку из кармана и молча отметил в ней что-то, помусолив карандашик. Это так тягостно подействовало на Марийку, что она, как побитая, села на скамью и низко наклонилась над лежащей перед нею рыбой. Наташа, которая сидела с Улитой на соседней скамье, даже головы не повернула, как глухая и слепая. А Улита сокрушенно качала головой и смиренно вздыхала.

Мать поманила меня пальцем, и я впервые увидел ожесточение на ее лице.

— Ты, сынок, не надрывайся. Брось багор-то! Иди куда хочется.

— Да, иди... а приказчик на тебя штраф наложит.

— Ну и наплевать. Не приходил бы сюда, ничего бы и не было. Видишь, какие из-за тебя неприятности?

Приказчик потянул меня за рубашку и буркнул:

— Ну, начинай! Нечего прятаться за материн подол. Приду — проверю, как работаешь.

Я рванулся в сторону и крикнул:

— Не трог меня! Я без тебя знаю свое дело!

Приказчик взглянул на меня, как большой пес на кутенка, и мне показалось, что у него насторожились и задрожали от удовольствия уши. В душе у меня бушевала буря. Кажется, я ненавидел приказчика всем телом. Я начал перекидывать

багорчиком рыбу из судорожно трепещущей кучи к скамье. Мать поглядывала на меня неостывшими глазами, и я отметил в ее лице что-то новое — какую-то радостную удовлетворенность, словно она своим бунтом против приказчика освободилась от той гнетущей прибитости, которая уже давно сковала ее волю. А Марийка смотрела на меня с улыбкой и одобрительно кивала головой: молодец, мол, здорово отшиб этого дылду, приказчика! Только один раз я увидел, как Прасковея, поймав мой взгляд, помахала мне ножиком. А я не отрываясь перекидывал рыбу из кучи в кучу и понемногу успокаивался. Мне хотелось показать всем, что я — работник, что я тружусь не хуже, чем взрослые, что я умею помогать моей матери и имею право на хорошую оценку своего труда. Вот придет Матвей Егорыч, увидит, что я работаю расторопнее Карманки и любого счетчика, он похвалит меня и скажет подрядчице, чтобы она положила мне жалованье, как равноправному рабочему, а Курбатову прикажет не обижать меня. И я перекидывал багорчиком серебристую рыбу, считая ее и по-карсачьи и по-своему, и наслаждался бойким ритмом, словно приплясывал под скороговорку песни. Скоро я забыл обо всем, а обида на приказчика растаяла уже на второй сотне. Но, считая крупную рыбу, я должен был отбрасывать в сторону мелочь — воблу, тарань, шемайку, которая не обрабатывалась. Мне казалось, что перекидывать рыбу легче и вольготнее, чем чистить граблями навоз или сучить чалки: когда я граблями толкал кучи сора, напирая на черенок животом, по ночам у меня болело брюхо, а когда крутил чалки, у меня застывали ноги и ломило спину от долгого стояния. Здесь же, на плоту, с багорчиком в руках, я чувствовал себя в непрерывном движении. Правда, я низко наклонялся над кучей рыбы, чтобы с размаху насадить ее на шип багра и швырнуть к скамье резалок, но зато я двигался и вправо, и влево, мог разгибаться и немножко отдыхать. Я долго не ощущал усталости: плясовой ритм и ровное дыхание радовали мое маленькое тело, и мне

хотелось не просто бормотать счет, а петь его и украшать переливами голоса. И я самозабвенно заливался знакомыми всем запевками и сам импровизировал причудливые песенки. На меня посматривали, улыбаясь, женщины со всех сторон и любовались мною. А мать с Марийкой смеялись. Мне тоже хотелось смеяться. Когда я обрывал свое пение, Марийка бросала на меня ожидающий взгляд и подбодряла:

— А ну-ка еще, Федя!.. Как у тебя это хорошо выходит!..

У меня вздрагивало сердчишко от счастья, и я на разные голоса и мотивы выпевал скучные и тусклые слова счета.

Проходила подрядчица и с недоумением поглядывала на меня.

К плоту подплывали парусники с прорезями. Рабочие в длинных блузах из мешковины сетчатыми черпаками выбрасывали на плот рыбу, и она, сверкая перламутром, прыгала, извивалась и билась на полу, хлопая красными жабрами. Подбегали рабочие с тачками, наполняли объемистые ящики и катили их в разные концы плота.

Мне очень хотелось посмотреть на прорези, где кишела рыба в воде, и на рыбаков, которые казались мне совсем другими людьми — не такими, как наши плотовые рабочие: они вели себя вольно, независимо, а приказчика и подрядчицу даже не замечали. Покрикивая и посмеиваясь, они отшвартовывались от своей прорези, брали на буксир порожнюю и, подняв паруса, убегали обратно в море, качаясь на волнах. Над ними кружились чайки и провожали их в кипящую даль.

Как-то я увидел на борту парусника Корнея и бросился к нему, волоча за собою багорчик. Корней стоял у мачты и сердито покрикивал на приказчика, который стоял на краю плота. Безрыбная прорезь обмывалась волнами перед площадкой, где серебрилась большая куча судорожно извивающейся и трепещущей рыбы, и мешала пристать прорези, которую пригнал Корней. Приказчик ехидно ухмылялся.

Корней, в бахилах, спокойно и внушительно бил приказчика тяжелыми словами:

— В другой раз я тебя, болвана, смахну в самую прорезь и отхлещу бечевкой. Ты только охоч с бабами валандаться. Где должен стоять порожняк? Я из-за тебя, лоботряса, лишний час теряю.

Курбатов с ленивой натугой пригрозил:

— Ты, рыбак, здесь не распоряжайся: своих законов не устанавливай. А то... у нас — живо: баграми да в воду...

Корней молча и решительно спрыгнул на прорезь и вскочил на плот. Он оттолкнул плечом Курбатова и по-свойски крикнул рабочим:

— Ребята, ежели рыба на плоту не нужна, я доставлю ее на другой промысел — на Эмбу. Приказчик мою прорезь не принимает. Говорите, как быть?

Курбатов, загребая плечом, подошел к Корнею.

— Отборную рыбу принимаю, а свою шемайку тащи обратно. Старый рыбак должен знать, чего от него на плоту требуют.

Корней набивал свою трубочку и проницательно поглядывал на Курбатова.

— Знаю, знаю, чего ты хочешь. Верно, я с тобой еще не рассчитался: должник перед тобой. Сейчас только, перед честным народом, зазорно зубы тебе крошить: как-никак — начальство. Да не хочется и Матвея Егорыча конфузить. Ты меня наказал уже на две посуды: принимал рыбу сортовую, а на поверку вышел брак. Трудовые мои в карман положил. Я это затаил, промолчал до случая. А ты обнаглел: ну-ка, мол, я этого хромого в дураках оставлю — не буду, мол, принимать у него рыбу-то, он и поклонится мне, как другие остолопы, исполу, мол, будет работать, за день. Аль не правда? Видите, ребята? — улыбаясь глазами, обратился он к рабочим и указал горящей спичкой на приказчика. — Не мне это вам говорить и не вам слушать. Вы меня очень даже отлично знаете, что души своей я черту не продаю. А он, по дурости, Корнея, старого рыбака, не разглядел. Горе его, что не на таковского напал. Я всякие виды видал, смерти в глаза смотрел и

знаю, чем человек хорош и чем он плох. Вот и зову вас в свидетели, пойдемте — поглядите: сорт у меня рыба или сор?

Он махнул рабочим рукой, приглашая их за собой, и хотел сойти по лестничке на прорезь, но Курбатов злобно заорал:

— Не сходить с места! Не ваше дело! Убирайтесь к тачкам! А ты, орясина, отчаливай со своей сортовой рыбой и выбрось ее в море. Такую дрянь я не принимаю и принимать не буду. Помни и думай!

Резалки со всех сторон смотрели на приказчика и Корнея и пересмеивались. Мать махала мне рукой и требовательно звала к себе пристальным взглядом и бровями. Но я делал вид, что не замечаю ее знаков. Мне очень интересно было наблюдать за приказчиком, который явно издевался над Корнеем.

Прасковея после похорон Малаши была молчалива и печально-сурова. Она и теперь не обращала внимания на ссору.

Все с любопытством следили за Корнеем и приказчиком, ожидая, что дело не обойдется без драки. Но Корней с озорным огоньком в глазах шагнул к Курбатову, схватил его за шиворот и без натуги потащил к краю плота.

— Ты здесь, шкура этакая, для порядка поставлен, а не для подлости. Убирай прорезь! Сам! И рыбу у меня примешь как первосортную. Ребята знают, какая мне цена. Я их заставлю сортировать.

Он обернулся к рабочим и дружески подмигнул им.

Рабочие скалили зубы, а пораженные резалки даже перестали работать. Василиса хлопала себя по раздутым бедрам и горланила:

— Что это за безобразие! Да как ты смел, шарлатан, скандал здесь устраивать? А вы чего глазеете, чертовки? Работать! Штрафа захотели?

А резалки, вероятно, чувствовали, что весь распорядок на плоту нежданно-негаданно полетел к черту. Они со всех сторон бежали к Корнею и сбивались в тесную толпу. Но кое-кто остался на своих местах, и среди них — Улита с Наташей и

Прасковея с Оксаной. Хотя Оксана, опираясь на свой багорчик, с удовольствием следила за Корнеем и приказчиком и смеялась, а Прасковея не отрывала своего лица от работы, я видел, что они любуются Корнеем и заранее знают, чем кончится этот скандал.

Несколько резалок неохотно пошли к своим скамейкам, оглядываясь с любопытством, но остальные густо толпились у края плота. Меня особенно поразила мать: она, не разгибая спины, целый день сидела верхом на своей скамье и поднималась только тогда, когда нужно было отнести вместе с Марийкой ушат с молоками на жиротопню. И я никогда не слышал, чтобы подрядчица ругала их за плохую работу или за ленивую возню. Работали они бойко, словно соревновались друг с дружкой: рыба трепетала у них на скамье, как живая, и багорчики и ножи играли в руках. Казалось, что руки их постоянно переговаривались, позвякивая ножами и багорчиками, и, подчиняясь их ритму, мать и Марийка подпевали им молоденькими голосами: то вскрикивали, поднимая головы и подзадоривая друг друга взглядами, то тихо и задумчиво пели грустную песенку. А сейчас обе бросили скамейку и оставили на ней свои ножи. Даже рыба осталась лежать на скамье с багорчиками в спинках.

Корней подвел Курбатова за шиворот к причалу прорези и спокойно приказал:

— Отчаливай и отводи дальше!

Приказчик корчился и отбивался от Корнея: он вертел головой и размахивал руками, но Корней крепко держал его сильной рукой. Рабочие в длинных парусиновых рубахах сбились в кучу и смотрели на расправу Корнея над приказчиком с таким же наслаждением и так же самозабвенно, как на пляску или на кулачных бойцов. Но в глазах их играла мстительная радость: вот, мол, нашелся смелый человек и проучил этого своевольного негодяя.

Приказчик задыхался от ярости и бессилия. А Корней, не повышая голоса, настаивал:

— Снимай чалку и отводи в сторону! Не задерживай посуду! За мной идет другая прорезь: не

сбивай череды! А будешь упрямствовать — брошу в море. Покупаешься, дурь-то и пройдет.

Бородатый тачковоз угрюмо подошел к причалу и хотел снять чалку с просмоленной сваи, но Корней отшиб его одним властным словом:

— Отойди!

Рабочий смущенно усмехнулся и беспомощно развел руками.

Кто-то насмешливо крикнул из толпы:

— Чего тебе надо, Соснов? Аль жалость обуяла?

Этот голос подхватила веселая резалка:

— Пожалел баран волка, да не вышло толка.

В этот момент Корней вскинул Курбатова вверх и бросил его в воду. Курбатов раскорякой пролетел позади прорези и исчез в мутных волнах, бегущих к берегу, а над ним взорвался кверху вихрь брызг и пены и разлетелся в стороны.

Женщины истошно закричали, кто-то из рабочих захохотал, кто-то осудительно заругался, и толпа шарахнулась к самому краю плота, чтобы увидеть, как приказчик будет барахтаться.

Он вынырнул, как тюлень, и, задыхаясь, кашляя, с разинутым ртом, со страхом в выпученных глазах, побрел к берегу, разгребая воду руками. Мутные волны подгоняли его и прыгали через его плечи и голову. Вода стекала с него ручьями. Толпа стояла молча и сдержанно смеялась. Корней с рабочими оттянули прорезь вдоль плота к внешнему углу, а рыбаки со своей прорези бросили чалки на плот. Курбатов вышел на берег, скорченный, жалкий, смешной, штаны плотно прилипали к ногам, из голенищ выплескивалась вода, пиджак прибит был к телу, и с него тоже лилась вода. Он яростно погрозил кулаком и широко зашагал по песку, к воротам промысла. Рыбаки в бахилах скалили зубы, а Корней с суровой деловитостью прошел через прорезь с кишащей рыбой на свою посуду. Двое рыбаков подтянули ее шестами к порожней прорези, пришвартовали к борту и подняли парус.

А на плоту встревоженно кричали резалки. Они стояли у своих скамеек и растерянно махали руками.

Мать с Марийкой тоже стояли с испуганными лицами и беспомощно озирались, не понимая, что случилось. Я побежал к ним и увидел, что ножей и багорчиков на их скамье не было. Они исчезли со скамей и других резалок, которые бросили работу и побежали потешиться скандалом между Корнеем и приказчиком. Женщины орали, как галки: одни злобно и требовательно, другие — плаксиво, жалобно, а иные смеялись и задорно повизгивали. Прасковея вскинула руку с ножом, выпрямилась и со злой насмешкой крикнула:

— Ну, чего вы, девки, тормошитесь? Пляшите, ежели стоите с пустыми руками! Ножи-то да багорчики ваши — у подрядчицы. Уж она штрафами набьет себе карман! Даром-то не ротозейничают.

Подрядчица стояла в задней, береговой части плота и, уткнув кулаки в бедра, смотрела на резалок окаянными глазами. Волны мчались на берег в кружевах пены. Кудрявые гребешки срывал ветер, а кипящие их взметы рвались вперед, клокотали и катились вниз, но сразу же таяли, расцветая белыми узорами пены. Ветер порывами носился по плоту и рвал платки с голов резалок. Он трепал холщовый халат подрядчицы в ее ногах, и раздутый ее живот и груди выпячивались, как огромные пузыри. Василиса тряслась от смеха, как властная самодурка, которая потешается над своей челядью.

— Ну, нагляделись, налюбовались на дурацкое представление? Где ваши ножички и багорчики? Правильно советует Прасковея: вам только остается, что плясать.

— Подавишься, подрядчица! — задорно крикнул кто-то из толпы резалок, и этот голос подстегнул всех женщин: они сбились в кучу, замахали руками и злобно загалдели не поймешь что.

Мне показалось, что они сейчас ринутся на Василису и начнут колотить ее или заставят убежать с плота. Но все стояли на месте. А подрядчица, уверенная в своей силе и власти, уже сварливо выговаривала, уткнувшись в грязную записную книжечку и отмечая в ней что-то огрызком карандаша:

— Вы еще неученые, неопытные, вы еще в кнутике нуждаетесь. Не привыкай к голоду смолоду — поблекнешь да увязнешь в долгах, как в песках.

Даже мне, парнишке, было понятно, что она радуется: вот, мол, выпал нежданный случай — в барышах осталась. Ножи и багорчики резалки выкупят дорогой ценой. Она охотилась за штрафом, как щука за шемайкой, и рыскала по плоту, хищно поглядывая по сторонам. Нет худа без добра: напоролся Курбатов по-дурацки на рыбаков, понадеялся на свой гонор, а побежали бабенки поглядеть на расправу с ним — и поплатились за это. Она показала себя умнее приказчика: и строгость свою проявила, и выгоду извлекла.

Резалки толпились перед подрядчицей и кричали, не слушая друг дружку. Мать застыла, взволнованная какой-то внезапной мыслью, пристально вглядываясь в подрядчицу потемневшими глазами. Я хорошо чувствовал жизнь ее глаз: они темнели и как будто вскипали, когда она переживала душевное потрясение и отдавалась внезапному бурному порыву. В ней просыпалась какая-то непонятная мне сила и порыв к невидимой цели, и она будто вырастала, напрягалась, обычная ее робость угасала. Только дрожь волнами проходила по ее телу да странная улыбка мерцала на губах. Марийка смотрела на нее с тревожным изумлением.

Резалки ругались, толкались плечами, порывались к Василисе и требовали свои ножи и багорчики. А подрядчица как будто не слышала их, перелистывала книжечку и мусолила карандашик.

Встревоженный матерью, я решил незаметно пробраться к куче ножей и багорчиков позади Василисы. Я прошел сторонкой мимо взолнованных женщин к столбу, около которого лежал ворох ножей и багорчиков. Подрядчица не заметила меня, а резалки не обратили внимания. Найти ножи и багорчики матери и Марийки в беспорядочной куче было трудно: надо было эту кучу украдкой разворошить за спиной подрядчицы и не всполошить работниц.

Хотя на черенках я вырезал буквы, но в большом ворохе таких черенков с отметками было много. Из-за столба я начал торопливо разбирать ворох, но под руку попадались только чужие ножи и багорчики. Подрядчица стояла перед столбом, прикрывая собою свою добычу. Она, должно быть, нарочно копошилась в своей книжечке, чтобы поманежить резалок — пришибить их и сделать покорными и смирными.

Среди торчащих в разные стороны черенков я увидел багорчик матери и рванул его к себе. Он зацепил за другие багорчики, и куча с лязгом расползлась в стороны. Василиса повернулась ко мне и заорала:

— Ты что здесь делаешь, щенок? Воруешь?

Мелькнуло передо мною ее разбухшее лицо. На мясистых губах пузырилась слюна. Я не успел спрятаться за столб: она схватила меня за волосы и потащила к себе:

— Как же ты смел подойти сюда и рыться в этой куче? Не воруй! Не тащи чужих вещей!

Она больно ущемила в своих толстых пальцах мои волосы и стала трепать их. Сначала я растерялся, и в глазах у меня завертелись и женщины, и столбы плота, и кучи рыбы на плоту, а море вспыхнуло, брызнуло и погасло. Кто-то из женщин пронзительно вскрикнул, где-то рядом рявкнул мужской голос. Я с ревом вцепился в пальцы Василисы и вырвал их из моих волос. Багорчиком матери я замахнулся на нее, но кто-то схватил меня за руку и потащил назад.

И тут я увидел, как от толпы оторвалась мать. Она шла с застывшим лицом, с закинутой назад головой — шла решительно, безбоязненно и как-то странно — вытянувшись, не колыхаясь, словно шагала по жердочке. Как слепая, она оттолкнула подрядчицу плечом. Вероятно, толчок этот был необычный: массивная Василиса отлетела в сторону и едва удержалась на ногах. Около матери стояла Марийка, бледная, с горячим блеском в глазах, а Наташа с ножом и багорчиком в руках наступала на под-

рядчицу и оттесняла ее в сторону. Тачковозы и карсаки с баграми в руках стояли поодаль и смеялись. Карманка тянул меня за руку, морщился от слез, от улыбки, покачивая своим сыромятным колпаком.

— Якши, якши!.. Злой какой! Айда казармам! Бедам будет...

Но я вырвал руку, с разбегу поднял свой багор, а материн багорчик сунул ей в руку.

Мать неслыханно чужим голосом — поющим, но призывно-радостным — крикнула:

— Девки-и, товарки-и! Идите сюда! Идите ко мне. Что наше — то свято.

Она разгребла ворох ногами, быстро нагнулась и сразу, без ошибки, взяла свой нож, потом выпрямилась и зазвякала им весело и звонко. Но лицо ее было чужое. Она была в припадке нервного потрясения, когда забывала себя и подчинялась какой-то непостижимой внутренней силе. Я боялся, что сейчас она упадет и потеряет сознание. Я подбежал к ней, поймал за руку и потащил к скамье. А она сказала обычным голосом:

— Ты чего испугался-то? Я ведь это к тебе кинулась, когда подрядчица тебя за волосы схватила. А тут, вижу, и резалки маются...

Но резалки не маялись: они с радостными криками устремились к ней и затормошились над разбросанными ножами и багорчиками, толкаясь, мешая друг другу, и убегали к своим скамьям. Марийка и Наташа возвратились последними. Наташа тяжело и спокойно уселась на свою скамью, а Марийка с ликующим смехом в голубых глазах позвякала ножиком о багорчик. Ей, должно быть, хотелось играть и озорничать.

На плоту опять началась обычная работа, но всюду еще шумели и смеялись женщины. Прасковея сидела с Оксаной и работала невозмутимо, словно то, что происходило на плоту, ее нисколько не тревожило. Мне казалось, что она была чем-то расстроена, а может быть, больна. Но Оксана, гибкая,

с тонким, словно выточенным лицом, лукаво поглядывала на нее и поблескивала зубами. А позади плота за столом сидела подрядчица и, навалившись на него грудью, царапала в своей книжечке все тем же огрызком карандаша. Ее губы судорожно сжимались и кривились, и она облизывала их острым языком. Мимо нее пробегали рабочие, подгоняя тачки с рыбой, и когда тачка пронзительно взвизгивала неподмазанными колесами, она с ненавистью в глазах провожала рабочего.

Я опять стал сортировать своим багром рыбу, отбрасывая воблу в одну сторону, судаков — в другую, сазанов — в третью. Я сначала не заметил настороженного молчания на плоту. Голос подрядчицы грозно гремел в этой тревожной тишине:

— Ну, вот и знайте раз навсегда: я законтрактовала вас не для того, чтобы вы вольничали. А за то, что вы бросили свои скамьи и работу оборвали да потеху себе устроили, сдеру с вас шкуру до нетей. Все, кто оставил скамьи, а на них свои ножи и багры, которые я отобрала, поплатятся штрафом на целый урок. Да и паек не получат. А вот чтобы проучить на добрую память новеньких, я для примера резалку Настасью оштрафую вдвое — за гаденыша парнишку и за то, что она самовольно отобранные инструменты разворошила и взбунтовала других дурех. Двойной штраф сдеру с Наташки, с этой коровы, которая дерзко меня толкать посмела, да еще за руку схватила. А кто я для вас? Я — хозяйка и могу распоряжаться вами, как хочу. Вот Улита да Прасковея с Оксаной и другие резалки свое дело не бросили — работали как миленькие, и свой и хозяйский интерес блюли. Ну, и не пострадали. Вот вам мой сказ. А сейчас догоняйте, штрафные, тех, кто убежал вперед.

Она победоносно оглядела весь плот. Резалки молчали, подавленные неожиданным наказанием, испуганно переглядывались, и руки их как будто сразу отяжелели и утомились. В разных местах сердито забормотали, и это протестующее бормотанье охватило весь плот. Кто-то обозленно крикнул:

— Подавишься, подрядчица!

Чей-то насмешливый голос возразил:

— Проглотит. Ей — не впервой. Чем ни жирнее, тем жаднее.

Мать с неугасающей улыбкой смотрела на Василису, спокойно, без всякого испуга.

В этот момент я увидел позади подрядчицы высокую фигуру Прасковеи, а рядом с ней Оксану и Галю. С веселым, но бледным лицом, с отчаянной решимостью в глазах Прасковея вскинула багорчик над головой и повелительно крикнула:

— Товарки, бросай работу! Ежели подрядчица ограбила вас на целый дневной урок, на какого же рожна вы трубить будете этот день? Урок-то вы все равно отработали бы, хоть и поглядели, как Корней долговязого детину в море бросил — и за дело бросил. Вот с Курбатова бы штраф-то надо содрать, чтобы не подличал, не мешал работе, а не с резалок. Все как один бросим работу и пойдем в казарму. Завтра выйдем по порядку, а ежели черт за ребро подрядчицу схватит — опять гулять будем. И ей же свой счет предъявим. Пускай сам управляющий судит, кто путину срывает.

— Да ты сдурела, чертова кукла! — заорала Василиса. — Как ты смеешь людей бунтовать? Пошла на свое место!

Она бросилась к Прасковее, но Оксана оттолкнула ее с озорной усмешкой.

— Не забывай, подрядчица, моих пощечин.

Прасковея зазвякала ножиком о багорчик — знак тревоги, — ей ответила Оксана, а мать со странным одушевлением и сосредоточенностью стала звякать пластинкой ножа о крючок багорчика. Плясовую трещотку отбивала и Марийка. Своим багорчиком я тоже с удовольствием бил в пол, и каждый мой удар бухал, как барабан.

И вдруг на всем плоту загремело, залязгало железо. Только Улита да беременная Олена с кузнечихой сидели на скамьях и продолжали работать, словно ничего не слышали, да карсаки невозмутимо

сортировали и считали рыбу на краю плота. С прорези тоже выбрасывали рыбу на плот полными черпалками. Тачечники остановились и глазели на резалок с недобрым удивлением и ругались. Их работа обрывалась сама собою: она была ни к чему, ежели резалки бросили свои скамьи.

Прасковея и Оксана с Галей пошли впереди, за ними — мать с Марийкой, серьезно и молча встала Наташа. Длинной толпой потянулись и остальные резалки. Остались на плоту только Улита, кузнечиха и беременная Олена. Они сидели в одиночку и каждая старалась спрятать свое лицо от других. Должно быть, им было совестно и зазорно сидеть здесь одним: товарки на них окрысятся, и в казарме им житья не будет. Олена натянула платок на глаза, а Улита с неизменной молитвенной кротостью продолжала работать споро и легко, как всегда.

Знакомый белобрысый парень, тачковоз, лихо, сквозь смех, крикнул рабочим на прорези:

— Кончай базар, ребята! Бабы с плота табуном подрали. Пускай рыба-то в прорези плавает, а то уснет. Закуривай!

Он, посмеиваясь, сел на тачку и вынул кисет.

Василиса стояла посредине плота и озиралась, теребя дрожащими руками кофту. С судорогами в лице она рванулась к оставшимся резалкам. Тачковозы стояли у своих тачек, свертывали цигарки, и видно было, что у них даже бороды смеялись. Из сумеречных ворот лабаза смотрели солильщики в парусиновых фартуках. На плоту стало пусто и угрожающе тихо. Несколько молодых рабочих пошагали вслед за резалками.

Василиса побежала за женщинами по бугристому песку, с руками на отлете, и мне казалось, что тяжелые бедра мешали ей бежать. Рабочие свистели ей вслед и хохотали.

Разрезая волны и разбрызгивая их в стороны, плыл к промыслу белопарусник с пришвартованной прорезью.

XXIV

Белоштанная толпа женщин шла через двор молчаливо, с ножами и багорчиками в руках, и никто из них не оборачивался на угрожающие крики подрядчицы, которая бежала в сторонке, обливаясь потом.

— Остановись, Прасковея! Не поздоровится вам за это... Полицию вызовем... Не сидели в тюрьме — посидите.

Но женщины шли, позвякивая ножами о багорчики, как под музыку. Прасковея шагала впереди, высокая, с уверенно закинутой головой, а около нее торопилась мать с застывшей улыбкой волнения. Я никогда не видел ее в таком потрясении: она, должно быть, переживала минуты ослепительной свободы и впервые чувствовала, что и она сила, что в этой горячей толпе она сейчас родилась заново и ей открылся какой-то новый мир счастья. Но в то же время в глазах ее вспыхивала неосознанная тревога, как у слепой, идущей по краю обрыва в толпе таких же слепых, как она.

Оксана шла об руку с Прасковеей и Галей, безмятежно, с обычной спокойной ясностью в глазах, будто ничего не случилось, будто женщины шли с плота в обычный обеденный час. А Наташа шагала грузновато, словно нехотя, молчаливая, угрюмая. Но когда она встретила мой взгляд, то неожиданно улыбнулась, и эта улыбка сразу сделала ее крупное лицо миловидным и добрым... Марийка все время была веселая, оживленная, оглядывалась на женщин и смеялась.

На надсадные крики подрядчицы Прасковея не обращала внимания. Только однажды она обернулась к женщинам и сказала с усмешкой:

— Пускай орет, пока не надорвется. Не ругайтесь с ней и ни слова не говорите. Передайте другим, чтобы скандала не было.

И женщины охотно, с удовольствием передавали приказание Прасковеи. А Василиса, вся красная,

мокрая от пота, тряслась сбоку толпы и, задыхаясь, кричала охрипшим голосом:

— Я знаю, кто смутьянит! Ишь, на штрафы изобиделись! Вот сейчас увидит управляющий, как вы бунтуете, и не пощадит: в момент выбросит с промысла. В последний раз вам говорю: поворачивайте назад!

Она остановилась, вытащила из кармана юбки платок и, вытирая лицо, побежала в контору.

Прасковея проследила за ней сердитым взглядом и вдруг засмеялась.

— Смотрите, товарки, как мы ее испугали: ног под собой не чует — на ровном месте спотыкается.

Когда мы проходили мимо бондарни, из черной пустоты мастерской вышел Гриша в парусиновом фартуке с нагрудником, с мелкими стружками в кудрях. Он помахал нам рукой и, поднимая с веселым удивлением брови, широко зашагал к нам.

Прасковея обернулась к толпе и подняла обе руки.

— Стойте! — по-мужски сильным голосом скомандовала она. — Стойте, не расходитесь, товарки!

Мать и Марийка тоже замахали своими багорчиками и ножами.

В распахе двора бондарни сгрудились мастера в фартуках и с любопытством смотрели на толпу женщин. Впереди стоял Харитон, сложивши руки на груди, с засученными до локтей рукавами. Смотрел он хмуро, как будто неодобрительно, но я издали видел в глазах его усмешку. Бондаря позади него смеялись и живо переговаривались между собою. Вероятно, к Харитону обращались с вопросами: он кивал головой и осаживал товарищей назад.

Женщины остановились и загалдели, не понимая, что случилось, потом хлынули вперед и окружили Прасковею с Гришей. Я тоже очутился рядом с матерью и Марийкой, стиснутый телами резалок, пропахшими рыбой. Все были в тревоге и нетерпеливо протискивались в середину. Обветренные лица с широко открытыми глазами мелькали передо мною. Одни смеялись, другие злились, иные озабоченно ждали чего-то, но все жадно прислушивались к го-

лосам Прасковеи и Гриши. С разных сторон раздавались истошные крики, но понять было трудно, о чем возмущенно и требовательно кричали женщины. Долетали только отдельные слова: «Штрафы!..», «Штрафы драли!..», «Грабители!..»

Гриша говорил с Прасковеей спокойно, засунув руки под нагрудник. А она отвечала ему короткими фразами, решительно, убежденно, но голос ее вздрагивал от возбуждения, а твердые глаза переливались горячей влагой.

Гриша с веселой рассудительностью посоветовал:

— Вы, женщины, покамест одни шуруйте! А надо будет — и мы не за горами. В обиду не дадим. А сейчас веди их, Прасковея, к конторе, к управляющему. Будут вас уговаривать да посулами улещать — не поддавайтесь. Требуйте, чтобы сразу же штрафы отменили и пайки не удерживали.

Прасковея волновалась: у нее дрожали руки, и она трудно вздыхала, упрямо сдвигала густые брови. Должно быть, ей приятно было и страшно вести за собою всю эту толпу женщин. Она сама взбудоражила их и невольно оказалась их вожачкой. Она переживала в эти минуты большое испытание, выдержать которое может только человек отчаянный, ожесточенный обидами и ненавистью к недругам.

— Пойдемте, товарки! К конторе идем! Все — за мной! Настя, Наташа, Оксана, держитесь ближе ко мне! Галя!..

Мать с Марийкой притиснулись к ней с одной стороны, а Оксана с Галей — с другой. Наташа с сосредоточенным лицом шагала позади них вместе с другими резалками.

Я чувствовал себя таким легким и радостно-свободным, что все передо мною горело солнцем и ликовало, как во время катания на масленице. Мне очень хотелось, чтоб на крыльцо выбежал Гаврюшка: он ошалел бы от удивления, а может быть, подбежал бы ко мне и стал допытываться, зачем пришла толпа и почему я участвую в этом приключении взрослых. Но он, вероятно, был в школе.

Толпа женщин еще не успела подойти к широкому крыльцу конторы, как из открытой двери вышел тщедушный, сутулый управляющий с больным лицом, с русой бородкой, с острым горбатым носом и недобрыми глазами. За ним тяжело переваливался с ноги на ногу Матвей Егорыч. Он был трезвый и угрюмый, но в умных глазах его я заметил смятение, словно его оглушил какой-то удар и он не может очухаться. Подрядчица, с красными пятнами на лице, осовелая, растерянная, бормотала что-то. Ее глаза прыгали из стороны в сторону, и она жадно ловила ими женщин, которые шли вперед. Толпа остановилась и как будто сконфузилась и заробела. Мне показалось, что многие резалки стали прятаться за спины товарок. Густой и плотной кучей все застыли перед высоким помостом крыльца. Прасковея тоже как будто смутилась и с тревогой в глазах озиралась по сторонам. Ни матери, ни Марийки я не видел: маленькие ростом, они исчезли за рядом голов в белых платках, а я стоял со своим багром поодаль от толпы.

Управляющий, будто нехотя, с холодным равнодушием оглядел гурьбу женщин и строго, с угрозой, спросил неожиданно гулким голосом:

— Почему вы бросили работу и самовольно ушли с плота? Разве вы не знаете, что в разгар путины нельзя прерывать дневной работы даже на час? Какой смутьян подбил вас на это?

Надорванный голос Прасковеи крикнул:

— Вот она, смутьянка-то, — рядом с вами стоит, управляющий!

Со всех сторон закричали женщины, и несколько рук взлетело над головами и протянулось в сторону подрядчицы. Управляющий повернулся к ней, но, должно быть, ему показался смешным ответ Прасковеи, и он улыбнулся.

— Это для меня новость: я и не предполагал до сих пор, что ваша подрядчица способна подбивать своих работниц на бунт. Каким же это образом произошло? Объясните. Говори ты! — он ткнул пальцем вниз, на Прасковею. — Я вижу, ты здесь — атаманша.

Прасковея взволнованно посмотрела по сторонам, как будто требуя поддержки у женщин, и, подняв голову, срывающимся голосом проговорила:

— Она и взбунтовала: штрафами взбунтовала. Она только и думает, как бы штраф содрать. А кому же задарма работать на нее охота? Вот и сегодня почесть всех дневного заработка лишила. А на Настю двойной штраф наложила за парнишку.

Подрядчица рванулась вперед и заорала:

— Не бросайте работы, мерзавки! Вас на плот пригнали не для потехи. Ишь, сорвались с места, чтобы поглазеть, как балбесы дурака валяют! Ну и поплатились. Дай вам волю, вы все вверх дном перевернете.

Управляющий с насмешкой в холодных глазах оглядывал резалок и костлявыми пальцами теребил бородку.

— Кто же это вам потеху такую устроил, что вы о работе забыли?

Смешливый голос Гали смело прозвенел:

— А рыбак Корней... Приказчик не хотел принимать у него рыбу — подачку хотел содрать, а Корней кувырнул его в море. Как тут не полюбоваться? Ведь Курбатов-то вылез, как мокрый кот. — И засмеялась.

Засмеялись впереди еще несколько женщин. Матвей Егорыч трясся от немого хохота.

Управляющий опять улыбнулся.

— А вы не утерпели и устроили ералаш?

— Да как же не поглядеть? — крикнула Галя. — Очень даже интересно, господин управляющий. Ежели бы вы на плоту были, тоже не утерпели бы.

Тут уже дружно захохотали все женщины. Но Прасковея повернула к ним сердитое лицо и сдвинула брови.

— Ну, так вот... — строго сказал управляющий, опираясь обеими руками о перила. — За зрелище платят. А за то, что вы бросили плот, смутьянов уволю.

— Взыскивайте не с нас, а с Курбатова, — смело перебила его Прасковея, — да вот с подрядчицы. За штрафы мы не будем работать.

— Не твое дело судить, с кого взыскивать! — закричала во все горло подрядчица. — Ишь обнахалилась, храбрая какая стала!

Управляющий строго взглянул на нее через плечо.

Прасковея осадила ее:

— Не лай, собака, не страшно. Ты своими штрафами Маланью уморила. Ты ее до могилы довела. — Потом повернулась к управляющему и небоязливо потребовала: — Прикажи, господин управляющий, штраф нынешний отменить, тогда и на плот пойдем. И чтобы она штрафами больше не баловалась. Она, вишь, какой жир штрафами накопила!

Этот ее негодующий и требовательный голос словно ударил резалок: они забудоражились, закричали, замахали руками; некоторые, посмелее, стали рваться вперед, расталкивая товарок. Матвей Егорыч стоял, заложив руки за спину, и смотрел на взбудораженную толпу с угрюмым любопытством и судорожно двигал клочковатыми бровями, словно не веря, что перед ним те самые женщины, которые сидели на плоту всегда безгласные, покорные и не смели поднять на него глаз, когда он проходил мимо. В кожаной куртке, в рыбачьих сапогах, в кожаном картузе, надвинутом на лоб, он казался металлическим, тяжелым. И я ждал, что он снимет свой картуз и, как у себя в комнате, станет вдруг добродушным, простым и улыбнется всем этим женщинам с лукавым огоньком в глазах. Но он стоял неподвижно, молча, бездушно.

Опираясь костлявыми руками о перила, управляющий крикнул примирительно.

— Идите, бабы, на плот, а мы тут разберемся!

Ему, вероятно, надоело возиться с женщинами: он болезненно поморщился, оторвался от перил и, повернувшись к Матвею Егорычу, приказал сердито:

— Разберитесь, пожалуйста, в этой суматохе. Ведите резалок на плот и там с подрядчицей договоритесь.

И, сутулясь, он направился к двери. Но его остановила своим криком Прасковея:

— Это как же, управляющий? Только это от тебя и слыхали?

Он усмехнулся, и у него странно перекосилось чахоточное лицо.

— А что же еще вам надо? Идите на плот, садитесь за работу, а там видно будет.

Прасковея гневно повернулась к толпе:

— Товарки, идем али не идем на плот-то? Они нас обдурить хотят. Ежели мы поддадимся, они еще больше терзать нас будут.

Женщины присмирели и сдержанно загомонили, растерянно оглядываясь друг на друга. Прасковея будто испугалась этой тишины и, бледная, смотрела на толпу в тревожном ожидании. Но Наташа твердо и решительно сказала низким голосом:

— В казарму пойдем, а не на плот. С чем мы на плот-то воротимся? Дурами, что ли, побитыми пойдем?

Ее голос погас в криках Марийки, Гали и матери:

— В казарму, девки!.. Раз башки подняли, не подставляй под нож. Управитель да подрядчица только дурачатся... Ишь судьи какие!

И они зазвякали ножами о багорчики. Толпа зашевелилась, закипели белые платки, и звякание ножей рассыпалось во все стороны.

Управляющего будто сильным ударом отшибло назад. Он даже поправил шляпу и передернул плечами. В глазах его уже не было хитренькой усмешки и брезгливой скуки: в них вспыхивало удивление, гнев, испуг и презрение.

— Оказывается, у вас атаманша опытная, — съязвил он пренебрежительно. — Тут уж не простая толкотня, а обдуманное действие — подпольная работа, подготовленная смута. Вот я сейчас вызову полицию, и она этой вашей атаманше и ее подружкам скрутит белые ручки.

Звякание ножей оборвалось, и толпа застыла, оглушенная властным и угрожающим голосом управляющего. Даже Прасковея растерялась и онемела. Некоторые женщины стали пятиться назад и прятаться за спины товарок.

Подрядчица ухмылялась, щеки ее лоснились от удовольствия, она рыхло топталась на месте.

— Ага, достукались! Нанижут вас на чалку, как воблу. Спасибо господину управляющему — подсек под корешок. Усмирят вас, дурех, за милую душу. А то ишь как на дыбы поднялись да ножами забрякали!..

Матвей Егорыч стоял по-прежнему угрюмый, с надвинутым на лоб картузом, и смотрел на толпу, заложив руки за спину. Но подрядчица будто хлестнула его по лицу своим криком: он тяжело повернулся к ней и свирепо вытаращил белки, потом склонился к шляпе управляющего и что-то зашептал ему в шею. Управляющий обозленно оглядел толпу, дернул плечом, строго пробормотал что-то и быстро исчез в распахнутой двери конторы. Матвей Егорыч оттолкнул подрядчицу локтем и снял свой кожаный картуз.

— Вот что я скажу вам, бабы... — Матвей Егорыч поворошил пальцами свои седеющие кудри и затеребил растрепанную бороду. — Насчет штрафов. Штрафы бывают разные: одни штрафы — на пользу промыслу, для острастки, для порядка, чтобы люди хорошо работали, другие штрафы — от дурьего ума и жадности.

Подрядчица затряслась от негодования и подскочила к Матвею Егорычу, но он осадил ее взглядом.

— Я вот штраф-то на тебя наложу, подрядчица: ты и работу сорвала, и улов погубила. Сейчас по твоей милости Курбатов без штанов сидит...

— Я, что ли, с него штаны содрала? — обиделась Василиса. — Он тебе, а не мне подчиняется.

Матвей Егорыч подмигнул женщинам и, встряхивая плечами от смеха, пояснил:

— Он-то мне подчиняется, а штаны ты ему починяешь.

Резалки захохотали, озорно вскрикивая, и уже не было в их лицах тревоги: все развеселились и посвежели. А Прасковея поблескивала зубами от усмешки и время от времени строго сдвигала брови, поглядывая на товарок: должно быть, она старалась внушить им, чтобы они не попадались на удочку.

К плотовому отнеслись терпимо, как к человеку пьющему, и помнили, что в прошлом он был в среде простых рабочих. Но слушали недоверчиво, как хозяйского распорядителя, и к шуткам его относились, как к хитрой уловке.

— А теперь я вам, девчата, вот что скажу.— Матвей Егорыч протянул вперед правую руку и зашевелил волосатыми пальцами, а левой бросил на голову картуз.— Сейчас, что ли, сказать аль на плоту? — Он лукаво усмехнулся и зашевелил бровями.— Однако сейчас надо вас подстрелить, чтобы вы меня сами не слопали. С вами сейчас надо быть хорошим охотником. Так вот, поведу я вас сейчас на плот...

Но резалки не дали ему говорить: заволновались, замахали руками и закричали не поймешь что.

— Ну, я так и знал! — Он затрясся от смеха и поманил женщин к себе рукой.— Штрафы разобьем на графы: в первой графе поставим Курбатова, во второй графе — подрядчицу...

— Чего, чего? — крикнула Василиса, упирая кулаки в бедра.— Ишь как ловко разграфил! Не ты нанимал работниц, не тебе и распоряжаться. Они мои — как хочу, так их и проучу. А твое дело — на плоту за порядком глядеть да за рыбой.

— Во второй графе — подрядчицу, — настойчиво повторил Матвей Егорыч, — за то, что работниц разыграла, арестовала ножи да багорчики и за них выкуп наложила. Курбатов рабочих взбулгачил, а подрядчица — резалок. Разыграли, как по нотам. С плота женщин согнали, а рабочие там толкаются без дела — скучно им без баб-то. Так вот какой оборот: подрядчица промысел в убыток ввела и весь порядок нарушила. А мне велено этот порядок восстановить и людей успокоить. Нам сейчас, в дни путины, играть не годится. Я вам прямо скажу: хозяину невыгодно в горячие дни скандалами заниматься. Рыба не ждет, а убытка никакой хозяин не потерпит. А я ведь хозяину служу: барыш ему обеспечиваю. То-то вот!

Это были неслыханные слова: они поразили не только резалок, но и подрядчицу. Матвей Егорыч

оглушил ее, и она стояла раскинув руки, с открытым ртом, без памяти. А резалки перешептывались, толкали друг друга плечами и, улыбаясь, не отрывали глаз от Матвея Егорыча. Прасковея хмурила брови и, обернувшись к резалкам, напряженно думала о чем-то. С каждым словом Матвея Егорыча она становилась все строже и задумчивее.

Под конец он ошеломил всех неожиданной выходкой. Он протянул руку в мою сторону и поманил меня пальцем:

— Эй ты, путешественник, иди-ка сюда! С багром иди! Не бойся.

Я весь похолодел, подчиняясь его властному голосу. Шел я как во сне, не сознавая, что происходит. Видел я только одного его, но чувствовал, что все женщины смотрят на меня с ожиданием и любопытством. Взбирался я по ступенькам крыльца трудно, словно нес на себе большую тяжесть. А когда остановился со своим багром перед Матвеем Егорычем и взглянул на него, встретил те же лукавые, пронизывающие глаза и добрые морщинки на висках.

— Ну что, милок, и тебя оштрафовали? Чем же ты платить-то будешь? Работал ты даром, для своего удовольствия, и не отставал от любого сортировщика. Чем же ты проштрафился перед подрядчицей?

Василиса опамятовалась и, вся красная и потная, забунтовала:

— Ну, довольно дурака валять. Я управляющему жалобу подам.

Матвей Егорыч положил руку на мое плечо и, не обращая внимания на возмущение подрядчицы, повторил свой вопрос:

— Так чем же ты перед подрядчицей проштрафился?

Я сконфуженно, но звонко ответил:

— А я у нее всю кучу ножей и багорчиков расшвырял. Резалки-то боялись подойти. А потом мама с Наташей подошли. Тут все и начали свои ножи да багорчики подбирать.

Матвей Егорыч строго прохрипел:

— За озорство, хоть и полезное, я наказываю тебя: работать на плоту запрещаю. Давай сюда ба-

гор! — Он взял у меня багор и оперся на него, как на падог. — А теперь скажи, правдолюб: пойдут сейчас со мной резалки на плот аль нет?

Я уже осмелел, а задорные лица резалок и испуганное ожидание в глазах матери подстегнули меня к дерзости:

— Не обманешь, так пойдут.

Я не помнил, как сбежал с крыльца и как очутился в руках Прасковеи. Она похлопала меня по плечу и сказала с необычайной для меня лаской:

— Молодчина-то какой! Лучше и не скажешь.

Матвей Егорыч сошел с крыльца и толкнул Прасковею в плечо:

— Ну, веди свою орду, атаманша! Я с тобой вместе пойду.

Прасковея отстранилась от него, вытянулась и помахала багорчиком.

— Товарки, пускай Матвей Егорыч всем скажет, что с этого дня штрафы с нас драть не будут. Тогда и пойдем.

Женщины закричали вразнобой и тоже замахали багорчиками. Матвей Егорыч поднял мой багор, обвел резалок своими жесткими глазами и пробурчал:

— Ладно. Утрясем как-нибудь.

— Ну, Матвей Егорыч... — впервые улыбнулась Прасковея, — твои слова мы запомнили. Пошли, товарки! Дайте дорогу!

Прасковея вместе с Матвеем Егорычем пошли сквозь толпу женщин, за ними мать с Марийкой, Наташа с Оксаной и Галей, а за ними повалили и остальные.

Подрядчица осталась на крыльце, мстительным взглядом проводила толпу и бросилась в контору.

XXV

На плоту опять пошла обычная трудовая жизнь. Путина была в разгаре, и дорог был каждый день, каждый час; парусники бежали по волнам к промыслам и от промыслов и буксировали прорези. С юга

дула свежая моряна, и волны весело неслись к песчаным берегам, играя белыми барашками. Вода плескалась и пела под плотом, вздыхая на песчаных отмелях. За далекими буграми, которые обрывались в море отвесными мысами, в устье Эмбы и по ерикам тоже разбросаны были промысла нашего хозяина, и туда вместе с рыбаками часто убегал Матвей Егорыч. События на плоту как будто отрезвили его: в первые дни он с утра до вечера смотрел за порядком, бодро распоряжался, весело подгонял тачковозов, и когда на глаза ему попадался кто-нибудь из них, лениво, с натугой толкающий тачку, он хватал его за шиворот, отталкивал в сторону и сам бегом, молодцевато катил тачку дальше. Рабочий сконфуженно бежал за ним и бормотал:

— А ты не балуйся, Матвей Егоров... Аль я не знаю своего дела?

— Дурак! Разве так, как ты, работают? Так только навоз возят. А работа любит, чтобы все поджилки тряслись, чтобы сердце горело. Дубина! Больше чтоб я тебя, такого, не видел! Прогоню на двор сор убирать.

И рабочие подтягивались, веселели, носились со своими тачками, покрикивая и торопя друг друга.

Он проходил по рядам резалок, шутил с ними, останавливался перед теми, кто работал быстро, ловко, легко — так, что руки их будто улыбались, — и мычал удовлетворенно:

— Ох, люблю расторопные руки! Красивей нет человека, когда он в работе. А работа песню любит.

Но он мрачнел, закладывал руки за спину, шевелил мохнатыми бровями и пронизывал острыми глазами тех резалок, которые возились над рыбой неряшливо, равнодушно, нехотя.

— И сами вы растрепы, и дети у вас будут недотепы. Кому работа в тягость, тот не знает радости и живет как колода. И себе не впрок, и людям в назолу.

Он уже не давал волю тумакам, а отходил, угрюмый и тяжелый, крякая в негодовании. Резалки как огня боялись этой его тяжелой угрюмости и осуждаю-

щих глаз, бледнели, лихорадочно торопились и стыдливо прятали лица от насмешливых глаз соседок.

Курбатов больше не появлялся на плоту: его отправили на маленький промысел в пески — на ерик. Говорили, что управляющий распек и подрядчицу, которая слишком зарвалась и не считается с интересами промысла: ее горячка со штрафами угрожает сорвать работу на плоту. Весь улов того дня мог бы пропасть даром, и всю массу мертвой рыбы пришлось бы выбросить на свалку. Штрафы, которые она рвала с работниц, сторицей пришлось бы сорвать с нее самой. Контора требует от нее бесперебойной работы, но для обеспечения такой работы и для того, чтобы больше не повторялась такая канитель, с этого дня все неурядицы с работницами и рабочими должны разрешаться администрацией. Подрядчица будто бы скандалила, что она не обязана подчиняться этому решению, так как ее хотят ограбить — лишить важной доходной статьи, но управляющий выгнал ее из конторы. Особенно же долго и горячо толковали в казарме о бурном столкновении управляющего с плотовым.

Рассказывали, что в обеденный перерыв Матвей Егорыч пошел в контору и не успел переступить порога, как управляющий вскочил с места и накинулся на него:

— Это кто вам позволил дурака валять с бабами у конторы? Вы им обещали с три короба и над подрядчицей перед ними измывались. Что же теперь будет? Бабьё взбунтовалось, явились смутьянки, произвели тарарам, бросили работу... Что это такое? Вместо того чтобы поддержать подрядчицу и в самом начале смугу подавить, вы струсили перед толпой бабенок и сами втесались в их ораву. Вы понимаете, что вы натворили? Ведь эта история разнесется по всем промыслам, и начнется везде кавардак.

Но Матвей Егорыч будто бы не растерялся и осадил управляющего:

— Вы, Константин Захарыч, кричать на меня еще молоды. Вы желаете, значит, чтобы эта жадоба путину сорвала? Ваше дело — сами отвечайте перед

хозяином. Как хотите, а я поставлен порядок соблюдать, чтобы работа шла честь честью.

Что у них дальше происходило — никто не знал, только в этот день Матвей Егорыч на плоту уже не появлялся. Почему-то я уже давно не встречал Гаврюшку: вероятно, он проходил из школы какой-то своей дорогой и не хотел дружить со мною. Должно быть, ему нагорело от матери, и она запретила ему показываться и на улице и во дворе. На плот пришел новый приказчик, Веников — молчаливый парень, который ни с кем не якшался, ходил с записной книжечкой и сам справлялся и у карсаков и у резалок, сколько отсчитано и отсортировано рыбы. От подрядчицы держался поодаль, а когда она развязно обращалась к нему, пожимал плечами и отходил от нее с замкнутым лицом. Порядок у него был хороший: работа шла бесперебойно, и рыбаки не мешкали у плота, резалки работали ровно и спокойно. И я видел, что Василиса возненавидела этого парня: все время следила за ним злыми глазами, ядовито усмехалась и иногда показывала кукиш за его спиной. Резалки начали судачить, что добром это не кончится: подрядчица от штрафов отказаться ни за что не согласится, а новый приказчик не даст ей устраивать каверзы.

Путина была горячая, рыбаки бежали чередой друг за другом, и уроки резалок были уже недостаточны для того, чтобы справиться с богатым уловом. Моряна пригнала и красную рыбу, хотя в осеннюю путину в этих местах красная рыба обычно попадается редко. Контора распорядилась работать на плоту при фонарях, а урок увеличила до двух с половиной тысяч рыб на каждую резалку. После ужина все опять должны выходить на плот, а шабашить — по звонку, в одиннадцать часов. Утром звонок дребезжал на нашем соляном дворе в шесть часов, и по этому звонку все выходили из казармы и на плот, и на помол соли, и в лабазы, и в мастерские. Значит, при новом уроке рабочий день должен был продолжаться семнадцать часов. На обед и на ужин вместе с отдыхом давалось два часа. За пятнадцать часов непрерывной работы разделка двух с половиной ты-

сяч штук — очень тяжелый труд. Пошел сазан да судак, разделка их требовала сноровки, навыка и быстроты. Чтобы выполнить этот урок, резалка должна была изготовить две-три рыбины в минуту. Разрезать сазана со спины, распластать его так, чтобы он казался атласным, чтобы при одном взгляде на него «слюнка потекла», как говорили резалки, — для этого нужно было знать особые приемы, научиться владеть своими руками и всегда держать нож острым, как бритва.

Подрядчица пришла поздно вечером и объявила о распоряжении конторы. Все отнеслись к этому равнодушно: в разгар путины со временем не считались, и люди работали не щадя своих сил и здоровья.

Но в такие горячие дни подрядчицы обычно изощрялись всякими мерами и способами обворовывать работниц и рабочих. Хотя в контрактах и обозначена была оплата дополнительных уроков, но поштучная расценка обработки рыбы оговаривалась разными условиями и обстоятельствами, и эти оговорки всегда развязывали руки и подрядчицам и конторе, давая возможность распоряжаться расчетом с рабочими по своему усмотрению. Контора увеличивала количество квитков в свою лавку, а подрядчица уменьшала оплату труда и душила вычетами за прогулы по болезни и штрафами.

Василиса взбудоражила казарму своей развязностью и самодовольством.

— Поскандалили, девчата, потешились, душеньки почесали... А теперь надо работать высуня язык. Вольничать некогда. Это по строгости говорю. А от сердца оповещаю: давайте работать без занозы. Ежели мне выгодно — и вам спокой.

Галя крикнула:

— Коли тебе выгодно — нам «со святыми упокой»!

Прасковея недружелюбно возразила:

— О твоей выгоде, подрядчица, заботиться мы не будем: ты сама охулки на руку не положишь. Конечно, наш спокой для тебя выгода. Ну а мы сами о своей выгоде да спокое позаботимся. Скажи-ка лучше: какая плата за сверхурочную тысячу?

Василиса вышла на середину казармы, уткнула руки в бедра и чванливо вздернула голову:

— Вы что же, торговаться со мной вздумали? Вот так новости! А контракты кто подписывал?

Прасковея хладнокровно поддела ее:

— Контрактов неграмотные не подписывали: за них чужие дяди расписались. А только там сказано: «по существующим расценкам». Какие же эти расценки? Мы и в прошлом годе воевали, и теперь без драки не обойдется. Давай уж лучше поторгуемся.

— Я со своими срочницами не торгуюсь, а распоряжаюсь ими. Контракт — это железная цепь, а этой цепью вы все ко мне прикованы. Какая же собака на цепи с хозяином торгуется?

— Вот это — настоящий разговор! — засмеялась Прасковея. — Собаки на цепи!.. Да ведь и собаки с цепи срываются, а люди цепи-то рвут!

— Нет, девка! У меня с цепи не сорвешься и цепи не порвешь. И бежать некуда, разве только к волкам. И цепи надежные, как тенета.

Прасковея сидела невозмутимо и не прерывала работы. Она только сдвинула брови и сердито щелкала наперстком. А Марийка с горячим переливом в глазах вскрикнула, как от боли:

— Да она, девки, гонит нас, как баранту!

Прасковея вскинула на нее строгие глаза и успокоила ее:

— Не фырчи, Марийка! Не твоя череда: не забегай вперед.

Марийка тяжело дышала, у нее тряслись руки, но она послушно склонилась над шитьем. Оксана загадочно улыбалась, у нее дрожал подбородок. Мать с тревожным вопросом в глазах смотрела на Прасковею и Оксану и ежилась от голоса подрядчицы, словно от ударов.

В казарме началась возня; и на нижних, и на верхних нарах свешивались ноги, встряхивалось какое-то тряпье, люди поднимались с постели и, ворча, садились на край нар. А подрядчица поворачивала щекастое лицо в разные стороны и властно распоряжалась:

— С завтрева на работу — в свой час. Шабашить — ночью по звонку. А ежели опять заводня какая появится да смута будет, из казармы выброшу, а то и полицию позову. У меня все сказано.

Кто-то из рабочих заскоморошничал:

— Ведь вот подумай, какая вещь: судьба-то, выходит, кобыла. Живи, Гаврило, не мыто рыло! Верти, Гаврило, хвост у кобылы. Махнет кобыла хвостом у рыла — тут тебе и могила...

Казарма задрожала от хохота. Мужики, встряхивая бородами, шлепали ладошками о колени или отмахивались друг от друга. Женщины повизгивали и толкались плечами.

К моему удивлению, молчаливая Наташа, обхватив столбик рукою, высунулась из тьмы верхних наших нар и сердито крикнула:

— Не сдавайтесь, товарки! За лишнюю тысячу на Волге полтину платят.

Подрядчица огрызнулась, посмеиваясь:

— Ну и поезжай на Волгу за полтинами. А у нас — море да пески.

Кто-то сипло засмеялся и закашлялся:

— Где черти играют в носки...

Кузнец из своего угла угрюмо пробасил ему в тон:

— А на кону-то — мы, дураки... А Василиса веселится.

Казарма опять загремела от хохота.

Мне уже давно знакома была удивительная особенность наших людей: в самые отчаянные моменты жизни, когда, кажется, ничего не остается, как опустить руки от безнадежности, человек веселеет от злости и начинает трунить и над собою и над другими. Все кажется ему смешным, а свое бездолье — забавным. Может быть, эта странная особенность характера русского человека была своеобразной формой самозащиты, а может быть, в этих жгучих шутках и смехе над собою таилась та жизнерадостная сила, которая делала человека неуязвимым.

В казарме стало как-то вольготнее и светлее, словно хохот освежил спертый воздух, насыщенный рыбным смрадом. Подрядчица не успела уйти к себе

в комнату: ее обступили и рабочие и работницы. Встал и лохматый кузнец. Он смотрел издали и, ухмыляясь, ругался густо, с мрачным удовольствием. Глухо бормотал что-то нелюдимый муж Олены, солильщик Гордей, оборванный, как нищий. Только Улита стояла на коленях на своей постели и усердно крестилась, молитвенно вглядываясь в угол за печкой. Трудно разобрать, о чем кричали и резалки, и тачковозы, и солильщики. А подрядчица с наглым блеском в заплывших глазах поворачивалась в разные стороны и нахально орала, как на базаре. Я схватывал отдельные выкрики, и злые, и задорные, и мстительные, и хлесткие:

— Она нашими полтинниками-то как чешуей оденется...

— Эх, на тачке бы ее да в жиротопню!

— Мы на своих полтинниках-то тачки возим, а на нас верхом скачут да пятками ребра считают.

— То-то и есть! Полтинники не пуговицы, их к штанам не пришьешь.

— Эй-ка, госпожа наша подрядчица! Мы к управляющему пойдем с челобитьем: пускай рассудит.

— Идите... хоть к самому черту: он вас багром в свой чан загонит.

Прасковея сидела, опершись локтем о край стола, и, сердито сдвинув брови, следила за этой суматохой издали. Оксана не угашала своей улыбки и слушала эти взбудораженные крики как забавную потеху. Но я видел, что она что-то знает и ждет неизбежной развязки. В ее худеньком красивом лице не было тревоги, и в загадочных ее переглядках с Прасковеей играли озорные искорки. Мать застыла в трепетном ожидании, и в широко открытых ее глазах горели нетерпеливые порывы. Так и казалось, что она вскочит с места и бросится в крикливую толпу.

Я уже давно привык понимать людей как невольников своего труда — и в деревне, и здесь, на ватаге, словно они и родились-то для того, чтобы выполнять безрадостную повинность. Я воспринимал эту тяжкую повинность как врожденную необходимость: люди труда живут для того, чтобы трудиться на хозяина,

на богача, а хозяева, как рыбопромышленник Пустобаев или как купец Бляхин, муж Анфисы, ничего не делают, а только распоряжаются. Наш хозяин — в Астрахани. Его никто не видит и не знает, а он имеет много рыбных промыслов и на Волге и на Каспии, его все боятся, и говорят, что он топает ногами на губернатора и перед ним трепещет полиция и всякое начальство. Он покупает на свои деньги не только дома, пароходы, баржи, промысла, но и людей. Сам он этим не занимается, а поручает купленным им людям или таким собакам, как наша подрядчица. Ежели нанялся на работу — сноси безропотно и обиды и побои, не возражай, когда на тебя навалившают уроки сверх силы, а благодари своих благодетелей — и хозяина и подрядчицу — за то, что тебе дали работу и не лишают куска хлеба.

Все это я хорошо знал и чувствовал: вместе с матерью и всеми этими работницами и рабочими я переживал их бесправие и беззащитность, их постоянное бездолье. К нам никто не приходил из образованных людей, похожих на учительницу Варвару Петровну, которая приветила меня и мать на пароходе. И только в те моменты, когда издевательства и гнет терпеть было невмоготу, люди будоражились, скандалили, но не знали, как постоять за себя.

Гриша стоял у порога в своем рабочем фартуке и, засунув руки за нагрудник, наблюдал за бестолковой перепалкой между толпой и подрядчицей. Прасковея вспыхнула и выпрямилась, когда увидела Гришу, но радости своей не выдала, сделав вид, что ей нет до него никакого дела.

Сольщик Гордей, всегда угрюмо-замкнутый, вдруг сорвался с нар с диким лицом.

— Подрядчица! Глянь, как ты рвешь мои полтинники... Друзья-товарищи, будьте свидетелями.

Задыхаясь от злобы, он на ходу стал стягивать свой рыбацкий сапог. Спотыкаясь и наступая другим сапогом на каблук, он вытащил ногу из голенища, сорвал портянку и поднял штанину выше коленки. Вся коленка была изрыта большой язвой. Но никто из рабочих и работниц не ужаснулся и не выразил ему

сочувствия. Некоторые отвернулись, некоторые поглядели на рану, а некоторые продолжали толковать о полтинниках. Только кузнечиха сварливо закричала на Гордея, протягивая свои завязанные тряпками руки:

— Ишь, чем хвалиться вздумал, солильщик! У тебя, что ли, у одного такая благость?.. Вот они, руки-то, — живого места нет...

Я невольно посмотрел на руки матери: они у нее стали дублеными, с коростами и ссадинами на коже. Такие же руки были у Марийки, а у Прасковеи — в шрамах и багровых пятнах.

Гордей все еще поднимал свою коленку перед подрядчицей и кричал:

— На! Любуйся! Вот чем ты нам платишь. Соль! Тузлук! Ревматизьма!

Подрядчица отмахнулась от него и пошла к своей двери.

Гриша снял картуз, встряхнул кудрями и прошел легким, молодцеватым шагом к столу. Он шепнул что-то Прасковее и хитро подмигнул ей. Мать с радостной надеждой ловила его взгляд, но он как будто не заметил ее, а по-дружески подмигнул мне.

Я догадывался, что Прасковея борется с собою, что она в сговоре с Гришей и, сцепив зубы, нетерпеливо ждет кого-то, поглядывая на дверь.

Гриша оглядел казарму.

— Что это у нас будто пыль поднялась? Как будто плясали, да не похоже... Али бы драка была?

— Как это — чего? — не утерпела Марийка. — Чай, всякому трудовая копейка дорога. А подрядчица нашу копейку прикарманивает...

— Тише, тише Мария! — ласково укротил ее Гриша, потряхивая рукою. — Мы сейчас все выясним, что к чему. Беда наша, что народ вы неграмотный. Чего ни напишут на бумаге, чего вам ни наколдуют скорописцы — всему верите. — Он с грустным сожалением засмеялся. — И выходит, что нас, дураков, как селедку в путину, — лови, да не надо. Лезем недуром в сети. Что ж, ежели деваться некуда — и в тузлук полезешь.

Он переглянулся с Прасковеей, нахмурился и споткнулся на слове.

Прасковея встала, прислонилась к столу и оглядела нары. Она побледнела и сразу будто осунулась. С надломом в голосе она сказала, сдерживая волнение:

— Вы знаете, товарки милые, мою тоску, муку мою. Вот здесь, в этой яме, сгорел мой ребенок... единственный... Это место для меня свято и проклято. У нас у всех одна судьба: ежели не будем вместе, не будем друг за дружку стоять — сожрут нас, всех по отдельности замучают.

Галя на всю казарму закричала:

— Не жаловаться, не надрываться надо, а по морде бить! Хлещи, чтобы тебя не захлестали!

Гриша взял за плечо Прасковею и сердито упрекнул ее:

— Не так говоришь, Прасковея. Все хорошо знают, что у тебя на сердце.

Прасковея оттолкнула его и, вздохнув всей грудью, улыбнулась, словно вдруг освободилась от гнетущей тяжести.

— Ты мне, Григорий, не мешай. Я и без тебя знаю, как с товарками калякать. Я им по-бабьи больше родня, чем ты.

— Мужики ли, бабы ли — под одно всех грабили, — сердито пошутил Гриша. — У каждого есть свои болячки.

Прасковея печально и гневно говорила, взмахивая рукой:

— Вот сгорела у нас Малаша. Кто виноват? Сами знаете. А вот у Гордея нога гниет. Кто его вылечит?

Она вышла на середину казармы и совсем спокойно, но жестко сказала:

— Меня уж ничем не устрашишь: я все страхи потеряла. Я на все могу пойти. Эта жиреха до сих пор в Астрахани красный фонарь содержит. Там у нее компанионка. То-то она хорошо знает, как с женщинами обращаться.

Подрядчица вышла из своей комнаты и с разъяренной улыбкой направилась к Прасковее.

— Ты, Прасковея, и меня поучи: больно уж прекрасно говоришь. Сначала торговаться захотела, а сейчас исповедуешься и шайку на бунт собираешь. Осмелела, когда бондарь, другой смутьян, заявился.

— Ежели тебе наука впрок не пошла, на себя пеняй, — серьезно ответила Прасковея. — А при нужде поучим и еще.

Василиса сложила руки на груди, как властная хозяйка, и с притворным добродушием пошутила:

— Вижу, вижу... веселый, игровой народ. Люблю разбитных людей. Одно плохо: гармошку бы надо, а вместо нее арапники мерещатся.

Гриша засмеялся и тоже сложил руки на груди. Он изобразил рубаху-парня и двинулся к Василисе, приплясывая на ходу.

— С моим удовольствием, подрядчица, — попляшем. Пускай тебе мерещатся арапники, а мне — гармошка. Кому что по душе. Вашу ручку-с!

Он сунул ей кулак под локоть и потащил к двери. Мне показалась игра Гриши очень потешной, и я рассмеялся, но в казарме было настороженно тихо. Василиса опешила, потом рванулась в сторону и замахнулась на него другой рукой.

— Болван! Как ты смеешь! Невежа!

В этот момент подскочила Оксана и с размаху ударила Василису по щеке.

— Вот тебе! Это — задаток за сестру...

Гриша подхватил Оксану под мышки и легко отнес ее к Гале.

— Что это такое? — крикнул он гневно. — Ты обезумела, девка!

Галя отвела ее к нарам.

Все, кто сидел за столом, вскочили на ноги. Оксана совсем спокойно сказала:

— Она знает, с кем имеет дело. Я казнить ее буду за сестру, которую она казнила.

Оксана будто оглушила Василису: подрядчица терла щеку и молчала. Вероятно, она испугалась, когда услышала мстительные слова Оксаны. Эта тощенькая нервная девушка поразила всех своей жгучей ненавистью к Василисе. Все почувствовали, что

между ними будет борьба не на жизнь, а на смерть. Василиса сначала застыла на месте, потом пошла к себе тяжелыми шагами.

Уже у самой своей двери пригрозила, задыхаясь:

— Ну и дуреха! Чем мстить вздумала... — И презрительно засмеялась. — Да я тебя вместе со всей шайкой в одну минуту сдуну. А уж горячие арапники похлещут вас досыта.

XXVI

— Ух, с каким почетом встречаешь ты меня, старого воробья, Василиса-краса! Арапниками! Ай-ай-ай!

Низенький, сухонький старичок, с умненькой улыбочкой на сморщенном лице, с татарской бородкой, легко вбежал в казарму и радостно заворковал:

— Ну, Василиса-краса, белые телеса! За какие грехи ты арапниками народ угощать собираешься?

— Не твое дело, — обрезала подрядчица и, толкнув его плечом, вышла из казармы.

Онисим потеребил бородку и кротко возвестил:

— Ай-ай-ай, как злоба-то да алчба людей озверяет!..

— И нас не миновал, Онисим, сверчок-старичок, — засмеялся Гриша. — Знаю, на всех промыслах смутьянил: разводил турусы на колесах, в свой рай манил. А у нас от твоей браги-будораги не захмелеют.

— Нас будоражить нечего, — пошутила Прасковея, — мы и так будоражные.

Онисим ласково пропел дребезжащим фальцетиком:

— Матреша! Где ты, милка моя? Приветь-ка меня по-бывалошному! Угости чайком калмыцким. А я тебе сахарку да сырку принес.

Тетя Мотя со слезами на глазах, тяжело передвигая ноги, шла к нему навстречу.

— Расхороший ты мой! И обо мне, убогой, вспомнил! И в воде-то ты не тонешь, и в огне не горишь, вековешный!

Он легко и юрко подскочил к ней, и они поцеловались троекратно, крест-накрест.

— Прими-ка гостинчик от старого шутейника, крепкого репейника, Матреша! — И погрозил ей сухоньким пальцем. — А убогость эта — не к лицу тебе наряд: душа-то у тебя — лазоревый цвет.

Прасковея не отрывала от Онисима сияющих глаз и слушала его с радостным любопытством. Он тоже ласково гладил ее по спине и ворковал:

— Частенько думал о тебе, Прасковеюшка-молодка... И все опаска беспокоила: как бы чего с тобой не случилось. Такие, как ты, молоньей сгорают. Эх, хорошая наша баба русская!

Он сел за стол и затеребил свою жиденькую бородку, с улыбкой оглядывая казарму и прислушиваясь к смутному говору.

Я очень хотел, чтобы он заметил меня, но, должно быть, я был такой маленький среди взрослых людей, столпившихся вокруг стола, что совсем был невидим. Подошел и огромный кузнец Игнат. Он скромно остановился поодаль от тесной кучки людей, у узкого края стола, рядом со мною, и молча сложил руки на груди.

Тетя Мотя плавно и почтительно поставила перед Онисимом кружку чаю и положила ломоть черного хлеба с кусочком сахара на нем. Как-то кстати у нее вышло: она погладила обеими руками плечи Онисима и прогудела с нежностью матери:

— Кушай, Онисимушка! Ты к нам каждый год приходишь, как месяц ясный в темную ночку.

Он с восторженным удивлением оглядел всех, кто стоял перед ним около стола.

— Благодать-то какая, ребятки! Душа-то какая неугомонная у русского нашего человека! Великая душа! Ай-ай, ходишь по стране — и по волжским просторам, и по уральским увалам, и по Днепру, — сколь богатства у нас, сколь красоты, сколь труда несет человек, сколь у него дум, одна другой докучливей да промысловатей, — диву даешься! И не о богатстве, и не о стяжательстве думает, а о подвигах ради правды да о земной благостыне. А вот рабством опутан чело-

век, и труд его мертвеет во власти золотого дьявола. И меня заушали и по этапам гоняли — везде люди правды взыскуют. Возвестишь им един закон, попранный стяжанием и алчбой, закон свободы, по слову апостола Якова, и — чудо великое! — готовы на руках тебя носить. А отчего это? Оттого, родные мои, что наш русский человек — простосерд и незлопамятен. Он — хозяин на земле, хоть и в железах. Не унывает, нет! И во тьме видит звезду свою. Любит свою родину-мать, кровную кормилицу.

Гриша ворошил свои кудри и хмурился. Видно было, что речь Онисима ему не нравится.

— Хозяин-то — в железе да в неволе да рабством опутан. Какой же он простосердый да незлопамятный? И где это она — родина-кормилица, Онисим? Эта родина — застенок. Как же я могу ее любить?

Онисим опять затеребил бородку и с упреком покачал головой.

— А ты, Григорий, люби ее, родину-то, в себе. Железами душу не закуешь: железы поверху бренчат, и ржа их поедает. Да ведь железы-то волей человеческой не столь куются, Григорий, сколь сбиваются. То-то! Вон кузнец на этом и стоит: он и кандалы по велению дьявола склепает, он же их по закону свободы и собьет. Вот он какой!

Онисим захихикал и ткнул пальцем в Игната, а Игнат добродушно пробасил:

— Я — такой: тебя бы с охоткой закандалил, чтоб зря не егозил на старости лет.

Кузнец словно подстегнул Онисима: старик встрепенулся, глаза его молодо вспыхнули, и он победоносно протянул руки к Игнату.

— А я легонький да крылатенький, кузнец. Никакие кандалы на мне не держатся.

— То-то ты меж людей — кулик, — угрюмо съязвил Игнат и пошел в свой куток.

— А ты весь черный, Игнатий, как бес в аду, и тяжелый, как твое железо. Вольный человек к месту не прикован: он свободой живет и всякой хурды-мурды отрицается. Человек воле своей — хозяин. Он — велик, а не кулик. Вот и я хожу по свету, как, бывало,

апостолы, и возвещаю неустанно: бегите из своих узилищ, не заботьтесь о куске хлеба, об имуществе, сбросьте цепи труда подневольного, предайте проклятию золотого дьявола и за мной следуйте!

Гриша смотрел на Онисима исподлобья и усмехался.

— Это куда же?

— Земля наша кормилица — без конца и края, Григорий, и красота ее неописанная. Везде она приветит и одарит человека. Счастье мое, правда моя — во мне.

Онисим, должно быть, привык, чтобы его слушали: он оглядывал нары и приветливо кивал головой каждому, кто подходил к столу.

— Человек един средь людей, и нет для него законов, опричь закона свободы. А законы стяжателей и законы стадные, артельные — узилища и плен. Я един, а всем любезен: вот и меня вы встретили да приветили, как друга родного. А сколь я на своем веку человечьих душ вывел из плена! Сколь ходит их по Руси, вольных да беспечальных!

Гриша недобрым голосом подтвердил:

— Верно, много по Руси шатается бродяг да бедолаг. Только не по твоему закону, а по закону дьявола.

Толпа резалок слушала Онисима, как праведника, но я видел, что никто не понимал его. А Прасковея молчала и думала, вглядываясь в него с тревожным вопросом и болью в лице.

Память детских и отроческих лет — цепкая и крепкая память. Этот вечер до сих пор ярко, во всех подробностях живет в моем воображении. Я встречал много на своем веку всяких проповедников и вольнодумцев, всяких отрицателей и мятежников, и они все казались мне людьми смертельно обиженными, уязвленными страхом и отчаянием. Все они — бегуны, вечные странники, беспочвенные мечтатели и бездельники. Труд они ненавидели, как каторгу, как рабство, и бежали от него всю жизнь, предпочитая умирать с голоду и блуждать по бесконечным дорогам страны под дождем и снегом или ютиться в трущобах и

ночлежках. Одни из них были мстительно озлоблены, другие равнодушно-тупы, иные, как этот Онисим, одержимы были неугасимой страстью соблазнять людей обещаниями безграничной свободы и внушать им презрение к труду, как к беспросветному тяглу и неизбывным страданиям. Все эти ватаги и скопища невольников — такая же тюрьма и насилие над человеком, как и каторжный загон. Надо бросить все — и семью, и всякий скарб, и заботы о завтрашнем дне — и бежать куда глаза глядят от всех законов и порядков и жить, как душе угодно, — говорил Онисим.

Он отразился в моей памяти как человек своеобразный и привлекательный. Его шутейность, веселая мудрость, присловьица и поговорочки покоряли многих, а некоторые, как тетя Мотя, любили его и видели в нем поддержку в своей безрадостной жизни. И мне он нравился, а мать очарованно глядела на него, как когда-то на пароходе. По своему малолетству я не понимал тогда, почему Гриша трунил над ним с враждебным раздражением, а кузнец грубо оборвал его и отчужденно ушел в свой куток. Может быть, Онисим говорил не так, не такими словами, но я хорошо помню все особенности его самобытной речи, его убежденный дребезжащий голосок и складные сочные его слова. Вспоминая о нем, я думаю, что он прожил большую и трудную жизнь, много видел людских страданий и привык прощать каждому и обиды и оскорбления. Несомненно, он превосходно знал людей и по-своему чувствовал их.

Прасковея вдруг изменилась в лице и, задыхаясь, словно ей тяжело было говорить, глухо и отчужденно сказала:

— Я тебя каждый день в мыслях носила, Онисим. Ты пригрел меня, сердце обнадежил, когда я от тоски по ребенку чуть руки на себя не наложила. За это тебе спасибо на всю жизнь. А теперь ты открылся мне: в разные мы стороны глядим, Онисим. Ум у тебя — безбольный, радостный, к людям не привязчивый, а у меня — злой. Тебя ветер носит, как птицу, а я прикипелась кровью к ватаге и зубами вгрызлась в своих ворогов. Наш стан, по-твоему, —

капкан, а по-нашему — дружья артель. В ней мы — сильные, потому что верные, и друг друга в обиду не дадим. В этом дружьем стане я человеком стала.

Онисим теребил бородку и неодобрительно посмеивался.

— Зря, зря я тогда не увел тебя с собой, Прасковеюшка... Теперь бы ты соколицей летала. А сейчас на родной могилке ты горем распятая.

Прасковея смело и горячо возразила:

— Нет, Онисим, могилка-то родная помогла мне силу да волю в себе найти и никакого страха не бояться. А сила да воля моя — в них вот, в моих товарках и товарищах. Счастье у нас с тобой разное. Не мешай нам — не обманывай людей, на журавлей не показывай. Смуту к нам не вноси, а то я стала отчаянная — с кулаками на тебя брошусь.

Она засмеялась, но смех ее смутил Онисима.

— Иди, Онисим, откуда пришел, а с такими речами больше к нам не заглядывай. Ну, а ежели заглянешь когда в другой раз — приветим, ежели с доброй душой на помощь угодишь.

Тетя Мотя с несвойственной ей торопливостью подошла к Онисиму и набросилась на Прасковею:

— Это с какой стати ты его коришь? Он ведь тоже не без защиты.

Резалки зашевелились, забеспокоились. Раздался смех, недовольные выкрики.

Прасковея вместе с Гришей отошли от стола к нарам за печным боровом и уселись там, перешептываясь.

В это время Оксана, раскосмаченная, с дикими глазами, подлетела к Онисиму и, закинув руки за спину, наклонилась к его лицу.

— Шутки шути, смейся, колдуй, старче, а я заставлю тебя удавить волчиху Василису, если сама первая не удавлю ее...

Все замерли и встревоженно уставились на Оксану. А она не кричала, не билась, но, бледная, говорила спокойно и беспощадно:

— Ты все знаешь, все видишь, дедок, и пришел к нам апостолом. Ведь так ты сказал? И не можешь

не знать, что твоя Василиса-краса в Астрахани дом с красным фонарем содержит. Это для твоей беглой души нипочем? А вот таких девчат, как Марийка, знаешь, как она обманом завлекала? К ней в лапы сестра моя Нюра попала, еще молоденькая, простенькая. А через неделю она, измордованная, с мертвой душой, повесилась. Я долго искала ее, как иголку в сору. И закопали ее неизвестно где, неизвестно кто. Вот она где, моя правда. Моя правда — страшная, смертная! И ты тоже, как эта вражина, пытаешься завлекать нас... Куда? В какие вольные края? Ведь нет же такого места, где не рыскали бы волки и коршуны. А я буду мстить — житья не дам этой убийце, доконаю ее... За сестру, за всех девушек, из которых она сосет кровь. Ну, что скажешь, апостол? Шутки шутить с нами и с веселой душой трусливо удирать за журавлями? А я скажу напоследок: молодец Гриша! И Прасковея хорошо сердце свое раскалила. Да, мы все — злые. А ты только хихикаешь, старче.

Потрясенные бешенством Оксаны, все молча проводили ее взглядами до самых нар. А Онисим словно обрадовался этому неожиданному взрыву неизжитого горя и жгучей ненависти Оксаны: он с остренькой улыбочкой поглядел ей вслед и, обличительно постучав пальцем по столу, весь встрепенулся и загорелся:

— Вот она, девушка-то, как надсадилась! Видите? Увязли, запутались, зарезались в своем плену, в неволе у золотого дьявола, дух угашаете... Проклятию рабство предаете, а сами смиряетесь. Злобствуете, в драку лезете, а дьявол-то сильнее вас: у него — и полиция, и арапники, и тьма-тем всяких слуг. Не в ватагах, не в скопищах спасенье... а отринуть все надо, отринуть и бежать из ада... идти вперед да вперед, мимо людей, сквозь людей, куда зовет единая власть в человеке — власть души.

Угрюмый, угрожающий бас Игната оборвал его поющий говорок:

— Ну-ка ты, пророк для сорок, долго будешь здесь балясы разводить да народ дурманить? Убирайся к черту, а то встану да за шиворот...

Но в эту минуту к Онисиму смиренно подошла Улита и поклонилась ему так низко, что голова ее скрылась под столом.

— Странничек божий! — умильно пропела она, как нищенка. — Радость всех нас, скорбящих! Возьми ты меня с собой, сироту, ради души спасенья!

Резалки изумленно уставились на Улиту, а Онисим вдруг вскочил, словно его ожгли кнутом, и взмахом руки опрокинул кружку с чаем, который рыжими потоками разлился по столу. Он весь затрясся от негодования.

— Ты чего это, баба, мне, как болвану, поклоняешься? В церковь иди болванам кланяться! На какой бес ты мне сдалась? Я покойниц с собой не ношу, а нищими брезгую.

Резалки оглушительно захохотали и стали разбегаться по казарме, взвизгивая и задыхаясь. Смеялись всюду и на нарах. Голос Гали злорадно зазвенел издали:

— Вот так красота, старче! Нашла себе старушка дружка. Вам только к лицу и бродить вдвоем да в обнимку, калики перехожие!

Онисим, отмахиваясь, торопливо засеменил к порогу.

— Мир вам и благодать, людие! Прощевайте и не обессудьте! Дьявол-то как радуется... цепи-то как гремят... ай-ай-ай!..

Казарма стонала от хохота. Тетя Мотя в смятении пошагала к двери, но у порога остановилась и медленно потащила свои больные ноги обратно.

XXVII

Утром, еще затемно, резалки торопливо пили чай, закусывая хлебом с солью, и ждали обычного дребезжащего звона колокола.

Мы с матерью ели горячую мучную болтушку с кусочком овечьего сала, брошенного в нее для вкуса. Я, как всегда по утрам, чувствовал себя нехорошо: болела голова, ныло сердце, хотелось плакать. Ядо-

витая духота казармы расслабляла и изнуряла меня, и я вставал угоревший, в лихорадочном жару.

Вечером все люди — и резалки и рабочие — бунтовали против подрядчицы, а сейчас, утром, они, как каторжники, опять готовились идти на плот и в лабазы. Гордей внимательно рассматривал свою гнойную рану. Сварливо ворчала кузнечиха, а кузнец, хмуро расчесывая бороду пятерней, прошагал к выходной двери. Только Марийка, с живым блеском в глазах, обжигаясь чаем, следила за каждым движением Прасковеи. Когда задребезжал на плотовом дворе колокол, мать легко слетела с нар на пол и подошла к Марийке. В белых штанах и короткой кофте она казалась совсем маленькой. Такой же маленькой чудилась и Марийка.

Колокол дребезжал долго и уныло, и все неторопливо выходили во двор. Тетя Мотя, как обычно, возилась у плиты.

Как и в прошлые дни, она и теперь забормотала безучастно:

— Бери-ка веник, Федя, подметай пол-то. Сначала стол вымой, кружки сполосни. Надо, милок, работать, доля наша такая. Ты еще не свой хлеб ешь. А надо бы тебе и самому зарабатывать по твоим годочкам-то.

— Да я на плоту работал, — с обидой возразил я. — Рыбу считал не хуже Карманки, а мне ни копейки не платили. Чай, даром-то на подрядчицу работать накладно. Мне, тетя Мотя, в школу хочется. Учился бы я там лучше всех.

Пораженная, она взмахнула руками и уставилась на меня, как на дурачка, который по неразумию сморозил неслыханную ерунду. Я никогда не видел, чтобы она смеялась или вспыхивала от возмущения: казалось, что она навсегда застыла в своем безучастии к людям. Даже события на плоту и стычки с подрядчицей не волновали ее: мало ли бывает всяких споров и раздоров на промысле!.. Я знал только, что у нее было когда-то большое горе — утонул сынишка, что от горя она сильно болела и чуть не умерла. Может быть, этот удар и ушиб ее на всю жизнь, и всякие людские заботы и беды уже не тревожили ее,

И я очень испугался, когда услышал ее смех и встретил ее изумленный и сердитый взгляд.

— Это чего ты выдумал-то, сазан? Где это видано, чтобы парнишки из казармы в школу ходили? Чай, мы не баре, не богатеи... нам положено не в науках вальяжничать, а работать, жить трудом под тяжелым крестом. Уморил ты меня, потешник! Кто это надоумил тебя, какой чародей?

Говорила она с благодушной снисходительностью к моей глупости, но дряблый ее голос и каждое слово душили меня, словно я неожиданно упал в глубокую яму и на меня обрушился обвал.

— А Гаврюшка-то... чай, он не лучше меня, а учится в школе-то. Я тоже книжки читаю... больше его прочитал.

Она трудно подошла к столу и подняла мою голову за подбородок.

— Свою судьбу не взнуздаешь, Феденька. Гаврюша тебе не ровня. Гаврюша наверху, при господах, а ты внизу, в черняди. Ты хлеб сырой да кислый жуешь, а он живет в горнице, и дух у них вольготный, сосной пахнет, на окнах-то кисея, а на подоконниках цветочки. Сама хозяйка как тыква круглая, лицом сдобная, на голове шелковую наколку носит. Купецкая была дочка. У них и в будни-то пироги да творогн, а у нас во все года вобла да вода. У тебя, милок, одна школа — работа сызмалу лет.

Она гладила меня по голове, щупала жесткими пальцами плечи и спину и щекотала шершавой ладонью мою шею.

Я вырвался из ее ласково-цепких рук, побежал в куток за печью, схватил помойное ведро и большим жестяным ковшиком стал торопливо вычерпывать из котла чайное месиво. Это бурое месиво я выплескивал ладонью на пол. А пока оно впитывалось в сор, я мыл горячей водой стол. Потом брал камышовую метлу и выметал сор из казарм в сени.

Иногда тетя Мотя наставляла меня печальным баском:

— А ты не горячись, Федюша, не перегоняй себя. Лениться не ленись, а сердцу воли не давай — надо-

рвешься. Нам с тобой торопиться некуда, а силы тратить попусту негоже: ты еще молоденький отросточек, а его сломать легко походя. Жизнь наша, милок, — как темная ночь, а мы — как овцы в загоне. Слыхал, что ли, как волки-то воют в песках? Жутко, душа обмирает... Вот она какая, наша доля!.. Копи силы-то, обуздывай карахтер-то — много тебе претерпеть придется. Только бы не ушибла тебя судьба да не искалечила...

Эти ее жалобы и наставления не пугали меня. Я уже много раз слышал такие пророчества, много раз стращали меня всякого рода опасностями, бедами и напастями, которые ждут меня в будущем. В деревне о них говорили дед, и бабушка, и мужики, стращали нас и Степанида и подружки Раисы в Астрахани. И мне это будущее представлялось какой-то неопределенной и жуткой мглой, которая кишит злыми чудовищами. Все говорили постоянно о жестокой судьбе как о зловещей бабе-яге, которая гонит людей помелом, как стадо овец, куда-то в неведомую юдоль страданий. Зачем? Почему? Кто обрек нас на такую долю? Почему мы — «чернядь» и почему мы должны терпеть и покоряться?

Я жалел тетю Мотю, но мне было неприятно и тяжко наедине с нею. Торопливо и бойко выполнял я свою обычную утреннюю работу по уборке казармы и убегал или на плот, или на соляной двор, где женщины крутили мельницы, или на берег, к морю, к веселым волнам, или в песчаную степь, к пепельным курганам, похожим на огромные сугробы.

Гаврюшку я не встречал нигде и, как ни подкарауливал его по утрам, когда он должен уходить в школу, и в полдень, когда ему было время возвращаться домой, никак не мог поймать его, словно он ходил в шапке-невидимке. Без него мне было тоскливо. Он все время стоял перед моими глазами, сухопаренький, с горячими глазами, и улыбался. Я спрашивал у тети Моти: куда он скрылся, по каким дорожкам ходит в школу и почему не хочет водиться со

мною? Но она равнодушно говорила не о нем, а о его матери:

— Больно уж Марфа-то Игнатьевна чванится! Ей зазорно, что Матвей-то Егорыч под началом служит: ей хочется, чтоб он сам хозяином был. Ведь она хороший дом бросила — купецкая наследница — и за ним убежала. А сейчас кается, и пилит, и шпыняет, и житья ему не дает: едем да едем к древнему отцу, падем в ноги да умилостивим его, умилостивим, вымолим благословение — он все свое состояние нам и откажет. В доме у них нерадостно: смута, чад, лиходенье. Сам-то — неуломный, гордый, чистосердый: не хочет честь свою толстосуму под ноги бросить: «Не продам, говорит, душу свою домовому. Я, говорит, не Адам в раю, а ты Марфа — не Евга. Меня златом-серебром не соблазнишь. Я, говорит, лучше сопьюсь али море вылакаю, чем сатане поклонюсь. Я сам, говорит, своему карахтеру хозяин. Я, как Стенька, в море тебя швырну аль в лабазе, как белугу, заморожу, а на колени ни перед каким идолом не стану». Он ведь в былые-то годы, когда разудалым рыбаком был, Стеньку в действе представлял. Слава о нем на все взморье шла. Из Гурьева прибегали любоваться им. А сейчас весь в вине сгорел — званья от него, доброго молодца, не осталось. Гаврюше-то очень даже горько живется: мать его взаперти держит, норовит по-своему обломать да к дедушке-богачу отвезти, чтобы в доме его рос. А он, Гаврюша-то, в отца — нравный, вольный, и в папаше души не чает.

В этих утренних разговорах тетя Мотя почему-то часто рассказывала о Матвее Егорыче и его семейной жизни. Я догадывался, что Матвей Егорыч оставил в ее душе какой-то неизгладимый след, что молодость ее, должно быть, связана с этим обрюзглым, запойным человеком. Как-то я спросил ее о муже: умер он или бросил ее, и почему она с сынишкой осталась на этой проклятой косе? Она вдруг начала сморкаться и судорожно пробормотала:

— Одинокая я, Федя, холостая. А мальчишечку своего... без мужа прижила... в девичьем грехе...

Может, за этот грех его и моряна похитила... Вот я и несу на себе это наказанье.

Я хорошо понимал, о чем говорит тетя Мотя. В мои ранние годы «девичий грех» не был для меня тайной. Отношения между мужчиной и женщиной открылись мне еще в деревне. Об этих отношениях не таясь говорили и в семье и на улице.

Я понимал скорбь тети Моти, но никак не мог согласиться с нею, что ее сынишка, мой ровесник, должен был утонуть за ее грех. Чем ребенок виноват, что родился? Почему он должен отвечать за ее вину? Но я знал одно — баба была всегда виновата и должна была терпеть и безмолвно покоряться насилию. Отцы продавали их, как овец, а мужья колотили ни за что ни про что и даже могли забить до смерти, как это сделал Серега Калячанов.

Но такие женщины, как Раиса и Прасковея, были для меня и для матери новыми — смелыми, гордыми, независимыми, и совсем не боялись ни мужчин, ни сплетен, ни пересудов, ни ватажной кабалы. И я тянулся к Прасковее, к Марийке, к Оксане, к Гале всем своим существом.

В эти осенние дни, по-летнему горячие, прозрачные, солнечные, я босиком раза два ходил в пустынные пески. По сыпучей, застывшей ряби, по сизым волнам и гребнистым сугробам шагал я со странным беспокойством в душе. Меня и пугали эти плисово-желтые сугробы и пологие холмы в осыпях, и манили своими загадочными маревами.

За нашим промыслом расстилался широкий и длинный пустырь, заросший жесткой полынью, лохматым бурьяном и злой колючкой. Пробираться сквозь эти свирепые заросли было очень больно: колючки жалили ноги, а рогатые коробочки дурмана впивались в штаны и щипали тело. Зато приятно было чувствовать мягкую россыпь теплого песка, когда я выбегал на золотой волнистый простор. Песок шевелился под ногами, хрустел, стекал назад, плескался и обсыпал мои ноги до щиколоток. Плоская спина наноса, исполосованная застывшей волнистой рябью, в перламутровых искорках, казалась твердой,

как лед, но при каждом шаге ступни мои утопали в мягкой ямочке. Я останавливался на этом зыбком взмете матовой волны и наслаждался неиспытанным ощущением: сухой песок шевелился, дышал, всасывал мои ноги и щекотал их, словно играл со мною. Мне было любопытно и жутко наблюдать за его странной судорогой, как будто он оживал подо мною.

Впереди до горизонта расстилалось оцепеневшее море воскового цвета, над ним мерцало зеркально-голубое марево. Огромные шквалы вздымались всюду, словно в тот момент, когда гребень должен был, клокоча, обрушиться вниз, он волшебно замер и отвердел навсегда. Под ними, на крутом взмете волны, четко вырезывались лиловые тени. Кое-где эти гребни будто таяли, осыпались, и застывшая пена сползала золотой пылью. А отсюда полого поднимались широкие спины других увалов, исполосованные мелкой рябью, в причудливых рисунках, как кружево, и бархатно выглаженные ветром. Казалось, эти волны когда-то неслись к морю, которое синеет вправо, играя белыми барашками. И я понял, что это степные ветры-суховеи сдували песок и гнали его поземкой на прибрежье. Я боялся подолгу останавливаться на этих горбинках и покатых полях: вдруг под ногами образуется воронка, песок закружится и засосет меня в бездонную свою утробу... Поэтому я шел словно по тоненькому льду. Гребни шквалов взлетали все выше и выше, и они напоминали мне снежные заносы, которые у нас в деревне вырастают до крыш, а на гумнах покрывают половёшки и поднимаются до шатра высоких копен. Эти гребни изгибались крутой подковой и спадали в обе стороны покатыми и гладкими боками с глубокой выемкой посредине. Такие подковы срастались своими склонами и беспорядочной толпой разбегались в разные стороны. Здесь песок был туго спрессован, и я никак не мог побороть соблазна взобраться на самую вершину подковы и идти по острому ребру дуги. Песок плескался здесь под ногами, но не осыпался, и мне очень хотелось посидеть или полежать на нем и за-

рыться в его ласковую, сыпучую теплоту. Я садился на это острое ребро с оторопью — как бы не скатиться в глубокую ямину, — но гребень расплывался подо мною, мягкий, как подушка. Я погружался в густую тишину и мертвую неподвижность, только в ушах звенела призрачно-тоненькая струнка, да глухо постукивало сердце. Воздух был такой прозрачный, что на соседних склонах подков четко переплетались следы маленьких зверьков и ветвистые отпечатки лапок каких-то птичек. Но ни зверьков, ни птичек нигде не было видно. Вверху воздух был небесно-голубой, а внизу переливался маревом и пылал оранжево-желтым и лиловым пламенем. Эти сказочные переливы света и эта бездонная тишина привораживали меня, и я сидел долго и неподвижно, забывая обо всем.

Я оглядывался на далекую голубую полосу моря в белых барашках и вихрях пронзительных искр, но прибоя волн не слышал, только тихий ветерок щекотал мне лицо и играл моими кудрями.

Вдруг на вершину дальнего кургана на широко распластанных крыльях опускалась большая птица. Она заботливо складывала их и отдыхала, гордо подняв голову. Потом чистила своим крючковатым клювом перья, поднимала одно крыло, потом другое, опускала их на песок и замирала в задумчивой неподвижности.

Ватажный поселок с плотами на берегу пропадал за взметами песков, только баржа маячила над их горбами, лиловая, странно легкая, словно реяла в воздухе. Эта одинокая птица, похожая на коршуна, эти мутно-желтые барханы с фиолетовыми оттенями во впадинах, эта бездонная небесная синева, пустая и оледеневшая, — все это было полно печали, и я чувствовал, как погружаюсь в безвольный покой и печаль. Я никогда еще не испытывал такого тревожного одиночества: смутный страх перед этим заколдованным миром угнетал душу. Какие-то неуловимые призраки блуждали в теснинах фиолетовых впадин и в маревых далях, и мне чудилось, что я нахожусь среди огромных могил, в которых погребены сказочные чудо-

вища. Зловещая птица с крючковатым клювом и тяжелыми крыльями алчно всматривалась в меня, как в добычу. Я вставал и опрометью бежал обратно к промыслу: там была милая человеческая жизнь, хоть и тяжелая, голодная, полная обид, — там веселый Гриша, небоязливая Прасковея, Оксана, Марийка, мать, Гаврюшка...

В одну из таких жутких минут я услышал надрывный плач где-то далеко в песчаных трущобах. Сначала мне почудилось, что это скорбно вопила женщина, которая прибежала сюда с промысла и спряталась здесь, чтобы наедине с собою выплакать свое горе. Голос переливался, стонал и вздыхал сквозь слезы, потом обрывался криком отчаяния. Я не мог понять, откуда доносился этот рыдающий голос: то он лился откуда-то из далеких увалов, то вскрикивал где-то слева в глубоких яминах, то скорбно дрожал позади меня, за гребнями подков. Я прислушивался, всматривался в гребни и осыпи, но снова всюду молчала пустая тишина. Мне померещилось, что какая-то тень промелькнула между крыльями соседней подковы и исчезла внизу. А налево, на вершине пологого взмета, показалась острая крылатая голова и опять скрылась. Мне стало страшно: думалось, что в этих пустынных яминах обитают какие-то загадочные существа, и я вспомнил, как по ночам воют волки в этой стороне. Их вой слышен был даже в казарме. Но когда я выбегал во двор, мне чудилось, что волки целой стаей бродят за камышовым забором, в бурьянном пустыре, и, надрываясь, ревут все вместе на разные голоса—уныло, жалобно, зловеще. Я не мог переносить этот жуткий вой и в ужасе убегал в казарму. И когда над гребнем подковы во второй раз мелькнула ушастая голова, я оледенел от страха: уж не волчья ли башка выглядывает из-за бархана? Уж не караулит ли меня зверь, притаившись за высоким наносом песка? Я пустился бежать по пологому склону, по кружевной ряби вниз, чтобы скрыться за крутыми осыпями от этой загадочной башки. Но как я ни старался спрятаться среди песчаных волн, вер-

шина бархана словно вырастала передо мною еще выше, и острая ушастая голова появлялась и исчезала все чаще, зорко следя за мною. Охваченный страхом, я бежал изо всех сил и в отчаянии чувствовал, что вязну в песке и песок осыпается, оплетает и засасывает мои ноги.

Я оглянулся и увидел наверху человека в балахоне верблюжьего цвета и в остром карсачьем колпаке с растопыренными ушами. Человек смотрел на меня сморщенным от смеха коричневым лицом.

— Ай-ай!.. — повизгивал он по-ребячьи. — Какой храбрый малайка! Зачем бегал? Кашáркам испугался? Ай-ай!..

Это был известный всем пастух Кашарка. Он пас промысловое стадо курдючных овец на пустыре и на близких увалах, покрытых колючками и клочьями жесткой травы, похожей на ползучий камыш. Я остановился, задыхаясь от волнения, и засмеялся — засмеялся от счастья, что нет нигде ни призраков, ни зверей.

— Айда сюды! — приветливо и ласково повизгивал он, взмахивая длинным рукавом. — Айда, песням пел... Ты слушай да барантам любовайся...

Я уже давно знал Кашарку: каждый вечер он пригонял своих овец с тяжелыми, как мешки, курдюками, усаживался у забора, сложив ноги калачиком, укладывал свой колпак между коленями и начинал петь фистулой бесконечную песню с жалобными переливами, с визгливыми выкриками и обеими руками ворожил над шапкой. Лицо его, бронзовое, скуластое, с реденькими волосками на щеках и подбородке, скорбно морщилось, но в узеньких щелочках век глаза смеялись. Овцы бродили по пустырю и щипали пыльную колючку. Так он сидел долго, играя руками, качаясь над опрокинутым колпаком, и с плачущей улыбкой выводил сипленьким фальцетом замысловатые рулады. Я долго стоял около него и слушал эту бесконечную, тоскливую его жалобу, и мне мерещилось, что я плыву над безжизненными волнами песков, как пылинка, падаю в заросли колючек и, плутая в них, уношусь куда-то в мутную даль с тоской

и болью в сердце. Потом Кашарка легко вскакивал на ноги, подпрыгивал и смеялся, хитро поблескивая узкими глазами.

— Якши, Кашарка!.. — радостно хвалил он себя. — Добрам песням пел... Хлебам кушал будет... Карсак не кушат хлебам... только рыбам кушат...

И он, широко взмахнув над собой колпаком, призывно вскрикивал. Овцы бежали к нему со всех сторон, сбивались в густую овчинную кучу, а он смеялся и что-то весело бормотал им. Гололобый, загорелый, пыльный, он раскидывал руки коромыслом и шел в ворота, а за ним, поднимая пыль, сплошным кипящим гуртом торопились овцы.

Он нравился мне своей радостной и обещающей улыбкой. Нравилось мне в нем и желание его дружить со мною: он не притворялся, не подлаживался к моему возрасту, не играл со мною, как большой пес с кутенком, а чувствовал себя как ровня. Наши мужики и даже резалки относились к карсакам насмешливо и потешались над ними. А Кашарка и Карманка как будто не замечали этого и держались с ними так же дружелюбно и сердечно, как и со мною. Я подходил к ним доверчиво и знал, что они меня встретят приветливо и никогда не обидят. Я чувствовал, что им приятно приласкать меня, что они тоже меня любят и верят, что я не буду смеяться над ними и не скажу им дурного слова.

И вот когда я увидел Кашарку на бархане, я обрадовался, и эти пустынные ямы и взметы как-то ожили и уже не казались страшными. Я быстро взобрался на высокий гребень, а Кашарка радостно засмеялся и, схватив меня за руки, пошлепал ими несколько раз: так карсаки здороваются друг с другом, выражая этим взаимную верность.

Пологий и длинный склон бархана покрыт был клочьями колючей травы, охапками седого бурьяна и изрыт ямками, а здесь, наверху, изборожден мелкой рябью. Овцы разбрелись по этим зеленым и седым клочьям и общипывали остистые листочки. Налево барханы были еще более пологи и тоже покрыты зе-

леными пятнами травы. Направо гребни взметов поднимались все выше и выше и торчали острыми ребрами и крутыми подковами. А прямо перед нами взбаламученные песчаные волны толпились беспорядочными шквалами, потом переходили в спокойную зыбь и таяли в широкой долине, заросшей кудрявой щетиной какого-то красного кустарника. И в этой долинке, как застывшие пузыри, торчали кибитки, а между ними и поодаль, в кустарнике, бродили длинноногие горбатые верблюды.

Кашарка сел на корточки, показал длинным рукавом на кибитки, потом взмахнул им направо и налево, плаксиво сморщился и, обхватив руками колени, запел. Пел он долго и лукаво поглядывал на меня, потом показывал рукавом и вдаль, и на промысел, и на кибитки, и на овец. Узенькие глазки наполнялись слезами, и он умоляюще поднимал руки кверху. Он что-то рассказывал мне этой своей надрывной песней, но ему, вероятно, было все равно, понимаю я его или нет: он просто выливал в своей дикой мелодии то, что переживал в эти минуты. Эта рыдающая песня с неожиданными выкриками и угнетала меня и тревожила сердце. В ней звучали и боль и отчаяние, и слышалась удаль вольного человека, который мчится на быстром коне. Я невольно вздрагивал и смеялся, подчиняясь этому призывному крику. И чудилось мне, что переливы, взлеты и замирающие вздохи сливаются с волнистой пустыней, с запутанными гребнями, взметами, осыпями и фиолетовыми гнездами подков и с кружевной рябью на плисовых склонах барханов. Я много раз слушал такие песни, и всякий раз мне мерещились эти застывшие волны песков, уходящих в маревые дали.

Кашарка оборвал свою мелодию каким-то птичьим клекотом, хлопнул рукавами, радостно засмеялся и, очень довольный, спросил, поблескивая белыми зубами:

— Якши песням? Добрам пел?

Я тоже засмеялся и похвалил его: «Якши!» Уродуя русские слова, сбиваясь, путаясь и помогая языку жестами, вскриками, всем телом, он рассказывал то-

ропливо и горячо, словно рад был, что дождался такого гостя, который будет слушать его с открытым сердцем. До сих пор вижу я этого парня, искреннего, бесхитростного, с поэтической душой, и слышу его играющий голос.

Рассказывал он о том, что кругом — пески, что пески эти сейчас спят, но они просыпаются — и барханы начинают расправлять крылья, как птицы. Шайтаны вырываются из сухих насыпей, где они прячутся, вихрями поднимаются до неба, бушуют, бесятся и с гулом и визгом носятся в непроглядных тучах песка. Барханы дымятся, горят и оживают: они начинают волноваться, как море, и бурей рвутся к берегам. Море в ужасе убегает от этого урагана нечистой силы и исчезает за горизонтом. И там, где плескались знакомые морские волны, золотом блестят сухие пески и вьюжится песчаная мгла.

И в этих зловещих песках кочуют карсаки. Вот их кибитки, верблюды, а там, за барханами, по берегам Эмбы, — тоже кибитки, и бедный народ ловит рыбу тайком, потому что рекой и морем владеют русские купцы. Здесь карсаку негде пасти баранов — нет травы, а те места, где по ерикам растет пышная трава, тоже захвачены русскими купцами для своих промыслов. Карсаков начальство отгоняет в барханы. А раньше, давно, все зеленые, плодородные пространства принадлежали им, карсакам, и они пасли большие стада овец и табуны лошадей. Старики рассказывают и поют об этой поре как о вольной жизни: кибитки были уютные, верблюды сытые, люди до отвала ели баранину, и на быстроногих конях молодые батыры устраивали бега, нападали сообща на карсачьих князей и угоняли их скот. Были славные битвы, в которых народные батыры совершали незабываемые подвиги.

А сейчас вот эти бедные кибитки беззащитны, старики чахнут от голода, малайки — тощие, не видят крошки хлеба и кусочка мяса; они хлебают рыбью болтушку, и у них раздутые животы. Они умирают как мухи. Женщины и девушки — скучные и

блекнут, не расцветая. И у него, Кашарки, такие же хилые дети, но они счастливее других, потому что он, Кашарка, приносит им с промысла кусочек хлеба. И хорошо тем карсакам, которые работают, как Карманка, на плоту: они тоже приносят хлеб в свои кибитки. Но таких счастливцев очень немного. Да и платят им за труд хозяева промыслов столько, сколько сами пожелают: денег не дают, а бросают горбушку хлеба, плохую воблу и кусочки чая.

Но народ живет верой в настоящего батыра, который защитит от гонений и притеснений. Разъезжает он всюду на быстром коне и говорит людям о будущей счастливой доле — о том, что карсаки опять будут хозяевами своей богатой страны. И он, Кашарка, и его друг Карманка, и все карсаки ждут каждый год, что этот молодой красавец батыр, народный герой, прискачет и к ним, в эти пески, и зажжет их сердца огнем своих орлиных глаз.

Я слушал этот взволнованный лепет Кашарки и сам волновался. Таких сказок я не слыхал в казарме. Наши рабочие говорили о своей работе, о заработках, о долгах в хозяйскую лавочку, были равнодушны друг к другу и не ждали ничего хорошего в будущем. Только Гриша-бондарь да рыбак Карп Ильич с Балберкой отличались от других своей жизнью и думами да Харитон с Анфисой жили, как хотели.

Несколько дней я переживал рассказ и песню Кашарки, и меня опять манили безлюдные пески. Мне чудилось, что там, на гребне бархана, стоит он в своем балахоне и зовет меня слушать его песни и сказки. И каждый вечер я караулил его на бурьянном пустыре за камышовым забором в тот час, когда он прогонял свое стадо и садился на траву, чтобы затянуть заливистую песню и поиграть руками над своим колпаком. Но здесь он был уже другой — он дурачился, скоморошничал, хотя приветливо смеялся морщинками и подмигивал мне узенькими глазками.

XXVIII

Осенняя путина продолжалась до холодов, и казарма пустовала с утренней темноты до позднего вечера. Только в полдень и непроглядными вечерами, по звонку, резалки и рабочие приходили в казарму, чтобы похлебать болтушки и выпить горячего калмыцкого чаю. После торопливой перекуски все бросались на нары, как избитые, и лежали неподвижно, забываясь на четверть часа.

С севера подули суховеи, и пески задымились ядовито-желтой мутью. Колючая пыль знойно обжигала лицо, засаривала глаза, и они слезились и наливались кровью. Кожу на лице и руках саднило, губы трескались и сочились кровью. Эта пыль проникала и в казарму. Воздух в ней тоже был мутный, знойный и ядовитый. По ночам казарма стонала и надрывалась от кашля. Песок покрывал одеялки и подушки тонким слоем, и волосы на голове сбивались в тугой войлок. Хлеб старательно завертывали в полотенце, в тряпки, прятали под одеяло, но песчаная пыль въедалась глубоко в хлебный мякиш. Похлебка и чай варились вместе с песком, и на дне чашек и кружек оставалась жидкая бурая кашица. Все переживали это бедствие трудно и казались больными. Я не раз видел, как некоторые резалки на плоту слабели, прерывали работу и в ужасе смотрели перед собой кровавыми глазами, а потом истошно вскрикивали и плакали. Все были как немые, и лица горестно тупели. Даже Прасковея с Оксаной стали печальны. Но Наташа и в эти дни не менялась: работала с обычным неторопливым упорством, с застывшим страданием в лице. Мать переносила песчаную пытку молча, а Марийка жалобно посматривала на нее и со страдальческой улыбкой облизывала сухим языком кровь на губах. Я чувствовал, что мать тоже страдает, но даже эти неиспытанно-страшные дни были для нее милее, чем подъяремная жизнь в деревне под безжалостной властью отца. И я гордился ею и волновался от нежности к ней, когда ее задушевный голос

красиво напевал какую-нибудь припевку или полюбившуюся ей песню наших деревенских крашенинников:

Наступит день красы моей —
Увижу божий свет!
Кругом-то — море, небеса...
А родины уж нет!

Марийка словно просыпалась и с изумлением вскрикивала: «Настя! краса моя!» Она подхватывала напев и вторила матери с радостным порывом. Прасковея поднимала голову и подзадоривала:

— Молодчина, Настя! Никогда не вешай носа! Дорожи, Марийка, такой подружкой!

И, звякая ножом о багорчик, лихо подбадривала всех:

— Ну-ка, товарки! Запевай другую — поразливистей!

И сама заводила своим низким голосом:

Ах ты, море, море синее,
Море синее — Каспийское!..
Унеси ты, море, мое горе —
Утопи в лазоревых волнах...

Подхватывала Оксана высоко и звонко. С ее голосом сливались в радостной готовности голоса матери и Марийки. Сначала женщины молчали и отмахивались, вздыхая, потом с натугой подпевали вполголоса.

А море быстро уходило от нашего берега. С песков к мутному горизонту неслись тучи рыжей пыли. Мне было жалко расставаться с морем, и я бежал по мокрой отмели, чтобы догнать его. Баржа опять свалилась набок. Вода лизала гнилые доски разбухшего ее брюха, и в черной ребристой дыре болтались на ветру какие-то обломки и лохмотья.

Дня через два море призрачно искрилось где-то очень далеко и казалось ненастоящим, как мираж. И там, где недавно весело играли белые паруса рыбачьих посуд, теперь до самого неба бушевала песчаная пурга.

С прибрежного плота все опять перешли на дворовый плот. Закрытый камышовыми стенками,

сумеречный и душный «сухой плот» не продувался ветром, и только в квадратных дырах вихрилась рыжая муть. В эти дыры въезжали одна за другой высокие арбы, опрокидывались назад, задирая оглобли кверху, сбрасывали рыбу на пол и уезжали в другую дыру, напротив. Девки, наглухо закутанные платками, с узкой щелкой для глаз, надрывно кричали на лошадей: «Н-нё! да нё же, несчастная!» — и хлестали худые их крупы концами вожжей.

С этих дней начались новые перемены в моей жизни. На одной арбе ездила Галя, подруга Оксаны; у нее загноились и распухли руки, и она уже не могла действовать ножом. Перевязанные тряпками пальцы были неподвижны. Приказчик перевел ее на доставку рыбы. Она лихо скакала на своей арбе, и маленькая гнедая лошадка бежала у нее бойко, словно чувствовала строптивый и горячий нрав своей новой погонщицы. Держалась она всегда очень смело и независимо: казалось, что никого и ничего не боится и готова поозоровать каждую минуту. Одно мне в ней было не по душе — это неласковое обращение с женщинами. Отвечала она всем с рывка, словно со всеми была в ссоре и всех презирала. И когда резалки обидчиво протестовали, она враждебно отшивала их от себя.

— Какая есть, такая буду. А если не по нраву — отвернитесь.

Оксана и Прасковея только молча улыбались и никогда не упрекали ее. Она почему-то запросто, породственному привязалась к кузнецу, хотя он был самый отпетый ругатель и нелюдимый бирюк. Он не пил, не бродил по поселку и никогда ни с кем не ссорился, но из своей темной берлоги бросал, как камни, тяжелые слова гулякам, которые являлись в казарму без пиджаков и сапог. Присматриваясь к нему и проверяя свои впечатления отношением к нему Гриши и Прасковеи, я чувствовал, что кузнец — хороший человек, что он никого не обидит и сам дорожит строгостью своего поведения. Дружил он только с кузнецами других промыслов, и я видел,

как в черной и дымной кузнице толкались эти закопченные бородатые и безбородые парни. Он что-то показывал им и объяснял с несвойственной ему живостью. Я не раз подходил к дверям кузницы, но войти в железную тьму, пахнущую окалиной, боялся. Кузнец не кричал на меня и не прогонял, но его красные белки казались мне страшными, и я с оторопью уходил прочь.

Однажды подрядчица сварливо приказала мне влезть на арбу к Гале и взять у нее вожжи.

— Нечего зря болтаться. Такие, как ты, по людям работают. В деревне-то, должно, и запрягать и править лошадью умел. Валяй вместе с Галькой, а то она и арбу по дороге бросит.

Мать испугалась и в смятении крикнула со своей скамьи:

— Не пущу в такую непогодь! Ослепнешь, задохнешься, песком занесет...

Но Галя засмеялась и успокоила ее:

— Ничего! Он храбрый молодчик. Вдвоем не страшно.

Я был очень доволен, что буду ездить на арбе и, как в деревне, держать вожжи в руках.

А мать даже соскочила со скамьи с гневным блеском в глазах:

— И не моги, сынок! И не думай! Пропадешь. Подрядчица только на даровщину горазда...

— Ну, ты... пискунья! — набросилась на нее Василиса. — Мальчишка пускай хлеб зарабатывает, а не ползает тараканом.

Мать с неслыханной смелостью крикнула:

— Не твой хлеб ест! Ты заработанный хлеб отняла у него...

Я вскочил на ступицу колеса, вцепился в край ящика и впрыгнул в слизистое дно арбы. Галя звонко крикнула на лошадку, взмахивая вожжами, и пропела по-мальчишечьи:

Я — девчонка сходная:
Горько — не заплачу я,
С гадким я — холодная,
С милым я — горячая!

Колючий песок кружился по двору вихрями, пронзительно бил в лицо и засыпал глаза. Я уже до этого успел приспособиться к ветру: щурился, оставляя узенькую щелочку между веками, а когда на ресницах оседала пыль, становилось легче —песок сам защищал глаза. Галя опускала платок ниже глаз и быстро вскидывала голову, чтобы взглянуть на дорогу. А дорога заметалась песчаной поземкой, покрывалась рябью и сугробиками. И только бегущие навстречу лошади с арбами и белоголовые девчата на арбах были нашими вешками, Арбы катились одна за другой, и мне казалось, что в ящиках лежит не рыба, а песок. Девки визгливо кричали на своих лошадей. За нами тоже бежали лошади, с хвостами на отлете. Они часто скрывались в облаках песчаной мглы и опять появлялись, как призраки. А там, где на днях синело море, бушевали клубастые облака ржавого цвета.

Сначала я мучительно терпел ожоги и, надвинув на нос козырек картуза, храбро покрикивал на лошадь. Но когда выога захлестнула нас под барханами, я не выдержал и уткнулся в угол вонючего ящика. Галя засмеялась и шлепнула меня вожжами по спине.

— Эге, хлопчик! Не надолго же тебя хватило! А ну дай я завяжу тебе лицо фартуком.

Но я опять вскочил на ноги: насмешка Гали была больнее ожогов и ослепляющей пыли. Я не маленький, чтобы окутывали мне голову фартуком. Рабочие не завязывали своих лиц: они только низко надвигали на лоб картузы. Правда, у них были бороды, их забивало песком, и мне было смешно, когда мужики трепали их, как куделю, а песок вылетал из волос, как дым. Не сладко было носить бороды в такие песчаные дни. Карманка тоже морщился от улыбки, когда бородачи выбивали пальцами песок из густой заросли на лице: у него не было бороды, в реденькой шерсти на щеках и подбородке песок не задерживался. И я догадался, что бороды у карсаков потому не растут и узенькие глаза потому щурятся, что они живут в барханах и приспособились к песчаным бурям.

Я храбро подставил лицо навстречу вихрям — и чуть не задохся от сухой пыли, но, прижмурив веки, лихо крикнул на лошадь. Чтобы обезоружить Галю, я обнял ее за поясницу и настойчиво потребовал:

— Дай-ка вожжи-то, Галя! Я ведь дома хорошо с лошадями обходился: на гумно один ездил, и за водой на реку, и боронил...

Она засмеялась:

— Ишь ловкий какой! Валяй! Погляжу, какой ты наездник.

Я подхватил вожжи, и мне сразу стало хорошо. Может быть, лошадь, почуяв вожжи в руках такого мужчины, как я, побежала бойко, взмахивая головой. И мне было лестно, когда Галя поощрительно пошлепала меня по плечу и удивленно крикнула:

— Ой, люди добрые! Да он же настоящий чумак!

Девчата, закутанные в платки, и бородатые рабочие гнали своих лошаденок и вожжами и кнутом, мелькали мимо нас в мутной выоге и кричали что-то невнятное. Я с гордостью держал вожжи в руках и правил, как самосильный возчик. Когда порывы ветра бросали песок в лицо, я отворачивался, отплевывался и опять бодро орудовал вожжами, властно покрикивая на лошадь. Сначала Галя следила за мною и, посмеиваясь, командовала:

— Правее держи, хлопчик! На морду встречного коня налетишь.

Она не раз пыталась вцепиться в вожжу, но я локтем отбивал ее руку и кричал сердито:

— Не мешай, Галя! И без тебя знаю... Дорогу-то песком заметает — лошади трудно.

Из-под платка смеялись мне лукавые глаза. А лошадь поворачивала ко мне уши и послушно бежала туда, куда я направлял ее.

До рыбачьего стана было верст пять, но мне показалось, что ехали мы очень долго. Я изнемог от жгучей непроглядной бури, на зубах хрустела песчаная каша, глаза плакали и закрывались от режущей пыли. И как я ни щурился, как ни смигивал песок, он засорял глаза. Но я не сдавался: мне обязательно

нужно было доказать Гале, что я хоть и без платка, а с честью выдержу эту чертову дорогу и не хуже ее могу управлять лошадью.

Мы выехали в широкую долину в зарослях лозняка и седого камыша по берегу реки. Стало сразу легко на душе, когда передо мною прохладно зазеленели клочья колючек и жирные пятна толстой ползучей травы, похожей на пырей. Всюду трепалась на ветру серая полынь. Песчаная пыль здесь уже не била в глаза, а проносилась очень высоко и улетала к морю. Оно блистало совсем рядом и морщилось рябью и овчинными волнами, которые быстро убегали от берега в запыленную даль.

Рыбачьи станы разбросаны были по обеим сторонам ерика; тут тоже на просмоленных сваях сползали в реку плоты, а около них колыхалась рыбачья посуда. Поодаль от плотов пластались длинные бараки. Таких ериков по побережью было много — и больших и маленьких.

Перед плотом стояли несколько одноколок, одна за другой, и ждали своей очереди. Мы остановились позади последней. Из-за плота выезжали арбы, нагруженные рыбой. Девки разудало покрикивали и взмахивали вожжами.

Галя похвалила меня за то, что я хорошо правил лошадью — не струсил перед песчаной вьюгой, и велела слезть с одноколки. А когда наша арба въедет на плот, мне сразу же нужно вскочить на нее, сесть на доску впереди и с вожжами в руках быть начеку: при выкрике «долой!» рысью выехать с плота на дорогу.

Я охотно спрыгнул с арбы, чтобы размяться и умыться в речке, а главное, чтобы увидеть Балберку и Карпа Ильича с Корнеем. Вода в ерике была бурая, но не мутная и пахла горькой гнилью камыша и водорослей. Но когда я умывался, она показалась мне очень приятной и свежей, словно с лица и глаз сняла душную пленку. От самого берега широкой полосой тянулась густая заросль чилима, и в темной глубине рогатые орехи шевелились, как живые. Я вытянул длинную коричневую веревку в узлах и махрах

я нарвал целую пригоршню этих орехов. Они не лезли в карман, больно кололись, но я мужественно терпел их злые уколы: мне хотелось привезти их на плот и подарить матери с Марийкой и Прасковее с Оксаной.

На плоту лежали кучи живой рыбы — сазаны, лещи, судаки и вобла, — а бородатые рабочие в высоких сапогах и рогожных фартуках захватывали ее сетчатыми черпаками и бросали в деревянные ящики одноколки. Я подбежал к краю плота, к прорезям с кишащей рыбой, но ни Балберки, ни Карпа Ильича, ни Корнея здесь не было. Должно быть, они убежали в море или вверх по реке. И только в тот момент, когда наша лошадь подходила к самому плоту, меня кто-то схватил за руку.

— Рыбак рыбака видит издалека.

Карп Ильич стоял передо мной, в бахилах, большой, тяжелый, как выкованный из железа, и улыбался мне глазами и бородой. Я очень обрадовался и прижался к нему.

— А я, дядя Карп, страсть по тебе соскучился! Однова встретил Балберку и хотел с ним к тебе поплыть, да Балберка не взял.

— Зато он поклон от тебя привез. Помнишь обо мне — это хорошо.

— Я все помню и никогда не забуду.

— Все помнить не годится: злое — вон из памяти, а доброе храни. Оно, доброе-то, с тобой расти будет. Помнишь, как я тебе рассказывал о нашем гармонисте?

— Еще как помню-то!..

— Ты что же это, книжник, в возчики нанялся?

Он кивнул кожаным картузом на арбу и подмигнул мне.

— Нет, меня не нанимают: хотят, чтоб я бесплатно работал. А я не хуже карсаков рыбу считаю и с лошадью справляться привык.

— Ну, ничего, потерпи — скоро подрастешь. Оно тебе и в рыбаки еще рано. А вот, говорят, ты бунтовать гораздый? Тут про тебя у нас Матвей Егоров рассказывал: ты с его парнишкой будто в море

побежал за какими-то сокровищами, а потом будто вместе с резалками мятежом занялся. Бунтовать ради баловства — это дурость и озорство, а за свое кровное подраться не мешает. Сразу видно, что рыбак из тебя будет хороший. Зимой на житье к вам на промысел приедем, вот тогда чтением займемся. Зимой здесь рыбу не ловят. Ну, прощай! Матери поклонись — с душой бабенка. В обиду ее не давай. За Григорья держитесь: он всем родня.

Он похлопал меня по плечу и пошел вразвалку к рыболовным посудам, которые стояли у плота и колыхались от ветра. Вдали, за посудами, желтели песчаные бугры и до самого неба клубилась ядовитая пыль.

Хотя Галя сидела рядом со мною на доске впереди арбы, но уже вожжей в руки не брала, а просто каталась, наглухо закутавшись в платок. А я лихо погонял лошадь на рыбный стан и со стана, несмотря на вязкие перекаты песка на дороге. Лошадь охотно бежала на промысел, где была ее конюшня. Уже после второй поездки у меня растрескались губы, потекла кровь, и мне хотелось кричать от боли. Но я мужественно бодрился, чтобы Галя не заметила. Кожа на руках высохла, покоробилась и тоже начала трескаться. Глаза заслезились, веки распухли.

Мать жалобно просила меня больше не ездить на стан. Прасковея подошла ко мне, когда я распутывал супонь, чтобы снять гужи с оглобель и опрокинуть назад арбу.

— Больше не езди, Федяша, хватит на этот день. Пропадешь — хворать будешь. Беги скорее к жиротопне и намажь себе и губы, и лицо, и руки жиром.— И набросилась на Галю: — Ты что же это парнишку-то испортила, Галька? Рада, что даровой помощник явился? Это ты, девка, брось! Здесь надо знать, как от песков защищаться.

Но Галя не рассердилась на Прасковею, а засмеялась:

— Да разве с ним сладишь? Он и вожжи из рук вырвал, и в угол меня загнал. Настоящий парубок!—

И серьезно пояснила: — Спасибо ему: дал рукам моим отдых. Болят они, мочи моей нет.

Но я возмутился: я не маленький, чтобы и мама и Прасковея опекали меня. Эка, беда какая, растрескались губы и цыпки на руках! У меня эта чепуха бывала каждое лето в деревне. А веки распухли и глаза покраснели не только у меня, но и у рыбаков и у резалок. Вон у нее самой, у Прасковеи, песок-то во всех складках и кофты и платка, да и глаза как заплаканные. Карманка одобрительно кивал мне своим колпаком и морщился от улыбки. А Прасковея строго осматривала мое лицо и сердито спрашивала:

— Ты для кого это надрываешься? Для подрядчицы? Сколько она тебе за работу отвалила? Твоя работка на пользу не нам, а волкам.

Я был поражен этой ее правдой и почувствовал себя как воришка, которого схватили за шиворот. Но, взглянув на Галю, у которой лукаво смеялись глаза в щелке между платками, и на ее завязанные руки, я сразу почувствовал, что и я прав не менее Прасковеи:

— Чай, я для Гали работаю. Руки-то у нее, видишь, какие? Она носит их, как ребенка.

Прасковея не сдержала улыбки.

— А все-таки не езди, Федяшка. Да я и не пущу тебя.

Я вынул из кармана несколько орехов рогатого чилима и сунул ей в руку.

— Ой, не забыл и гостинца привезти! Ну, да это не поможет тебе.

Остальные орехи я отдал матери и Марийке.

Галя возилась с супонью, но не могла затянуть ее: ремень выскальзывал из больных рук, завязанных тряпицами. Подъезжала другая арба, и девка орала требовательно:

— Эй вы, арбешники! Очищайте место! Чего прохлаждаетесь?

Глаза у Гали были страдальческие: должно быть, руки ее разболелись еще мучительнее и она не в силах была справиться с ремнем.

— Помогай, чумак! — крикнула она растерянно.— Без тебя дело не обходится.

Я бросился к ней, выхватил супонь и и по привычке вскинул ногу к колодке хомута.

— Полезай на арбу, Галя! — распорядился я с уверенностью взрослого человека, который взял на себя ответственность за доставку рыбы. — А то лучше пошла бы в казарму да руки перевязала. Я один справлюсь за тебя.

Резалки засмеялись, но Прасковея сердито крикнула:

— Отойди от арбы, Федя! И не думай ехать!

Подрядчица кричала издали:

— Отъезжайте скорее! Чего копаетесь? Долой! Мальчишка!..

Я легко вскочил на арбу и задорно крикнул:

— Но-о, сивая-красивая, гнедая-молодая! Поехали с орехами, прискакали с судаками!..

Мать бежала ко мне с платком в руке, но не успела бросить его в протянутую руку Гали: лошадь рванула арбу и вынесла ее во двор. Мельком увидел я, как грозила мне багорчиком Прасковея.

Мы с Галей сделали только один конец: она ездить уже не могла и ушла в казарму, а меня оттащила от арбы мать.

Когда я пришел домой, тетя Мотя всплеснула руками и молча, с угрюмым лицом, подтолкнула меня к закуте. Она налила в жестяной таз горячей воды и велела скинуть рубаху.

— Всего-то песком забило... Не волосы, а колтун. Глаза надо промыть. С мылом. Ослепнешь. Гляди-ка, беда какая: заплыли глаза-то, кровью налились!.. Тут по неопытности не один человек глаза потерял. Кровью плакали. Ах, дураки какие! Парнишку-то испортили. На стан, что ли, ездил?

— На арбе... Гале помогал: руки у нее совсем отнялись.

— Знаю. Вон на нарах лежит. Не то мне кашеварить тут, не то вас лечить.

Она заботливо вымыла мне голову, несколько раз промыла глаза теплой водой, но вдруг невыносимая режущая боль ослепила меня. Я не вытерпел и закричал. Кое-как взобрался я на свои нары и уткнулся

в подушку. Кожу на лице саднило. Когда ночью пришла мать, я уже не мог открыть глаз, а когда пробовал поднять веки, глаза обжигало, как кипятком. Губы тоже разрывала боль, и я ощущал на языке пресный привкус крови.

— Ну, наработался! — всполошилась она. — И чего ты лезешь куда не надо? Вот ослепнешь, чего я буду делать-то?..

Когда она завязывала мне глаза, я услышал голос Гриши:

— Эх, Васильич, сплоховал, выходит? Видал, видал, как ты лихо носился на арбе. Понадеялся на свои силенки, а песок-то тебя и посек. Здесь, милок, песок сильнее всех храбрецов: от него нигде защиты нет. Хоть ты и не сдавался, а хвалить тебя за это не буду: обжегся, срезался, захвастался.

Прасковея строго перебила его:

— Такие парнишки гибнут как мухи в этих песках... А его надо было по затылку от арбы-то... Чилимом хотел улестить, хитряга. А сам на арбу — и был таков!

— Молодчина! — возразил Гриша. — Хороший рабочий будет — товарища в беде не оставит.

А Прасковея совсем разгневалась, но в голосе ее я чувствовал улыбку.

— Хорошим человеком тоже надо быть умеючи. А хороший рабочий даром свои силы не тратит: он умеет беречь себя. Надо сызмалу учиться и за себя постоять, и друзей не подводить. С этого дня я за ним в оба глядеть буду. Матери с ним, должно, не сладить. Я и вчуже прижму его потуже.

Мать рада была придраться к случаю и побранила меня:

— То-то вырвался на волю... ни отца, ни дедушки нет. Страсть боюсь, как бы вереды себе не нажил. Вот возьмет тебя в руки тетя Прасковея — не будешь вольничать.

Гриша весело отразил их угрозы:

— Ну чего вы напали на парня? Диви бы озорник был. Артельный мужик! Мы с ним друзья-товарищи еще с тех дней, когда вместе на барже плыли.

Помнишь, Васильич, как тюлени-то Харитонову гармонью слушали?

Я не утерпел и засмеялся, засмеялся и Гриша. И мне было приятно, что он и Прасковея поднялись к нашим нарам и, как родные, забеспокоились обо мне. Они работали от утренней тьмы до позднего вечера, устали, проголодались, им спать надо, каждый час у них на счету, а вот пришли ко мне, чтобы участливо приободрить меня и показать, что они встревожены моей невзгодой и готовы защитить меня от всякого лиха.

XXIX

Казарма глухо гудела, камышовые стены, обмазанные глиной, дрожали от песчаного бурана. Было душно и сухо, все кашляли и дышали с натугой. Это были мучительные дни: люди изнемогали на плоту, страдали от жажды, и лица у резалок искажались отчаянием.

Я пролежал сутки с повязкой на глазах, а когда сорвал ее, долго не мог привыкнуть к пыльному свету, словно глаза разъедал дым. Не выходил я и вторые сутки — не пустила тетя Мотя. Но на третий день я уже с удовольствием убирал казарму: мне нужно было двигаться — тело требовало работы.

У Гали распухли руки до локтей, а пальцы покрылись гнойными язвами. Она лежала на нарах и сердито стонала. Тетя Мотя смазывала ей раны какой-то дряныо и сама стонала. Не поднялся со своих нар и Гордей: у него тоже разнесло ногу, и она не лезла в сапог. Лежал он молча, и мне казалось, что он спал беспробудно. Но раза два он садился на край нар и гладил разбухшую, посиневшую ногу. Я не мог видеть его страданий и забирался на свои верхние нары. Пробовал читать там «Руслана и Людмилу», но в глазах начиналась резь.

Кузнецова девочка Феклуша таяла с каждым днем; она лежала совсем чахленькая, желтая, с лицом старушки. Только глаза ее стали большие и скорбно-задумчивые да носик строго обострился. Она

никогда не замечала меня, а с отцом и матерью не разговаривала. Когда они приходили с работы, она отворачивалась, словно ей невыносимо было видеть их. И они были равнодушны к ней: я ни разу не замечал, чтобы кто-нибудь из них приласкал ее или участливо наклонился над нею и спросил, что у нее болит и не хочет ли она чего-нибудь поесть. Только к тете Моте она относилась с покорной кротостью и бормотала ей что-то нежным голоском. А тетя Мотя ухаживала за ней с печальной озабоченностью, как за умирающей. Я тоже был уверен, что девочка скоро умрет, что жить ей не хочется, что все ей противно, что витает она в каком-то другом, не нашем мире.

Но в эти дни песчаной непогоды, когда казарма стонала и вздрагивала от бурных порывов ветра, я вдруг услышал, что она напевает песенку. Песенка часто обрывалась, потому что девочке трудно было дышать — не то от пыли, не то от болезни. А какая у нее была болезнь, я не знал, да и не знал, вероятно, никто. Я даже испугался, когда услышал этот детский голосок. В это время я подметал пол в казарме и сгребал мокрый песок в кучу у порога. В казарме было сумеречно, мутно: окна между нижними и верхними нарами пропускали тусклый желтый свет, скучный до лихоты. Я тоже задыхался, тосковал, и мне неудержимо хотелось убежать из казармы. И опять испугал меня голосок Феклуши:

— Иди-ка сюда, Федя! Чего-то я тебе скажу. Я все жду да жду тебя, а ты хоть бы глазком повел...

С девочками я в деревне не водился — это не было принято в нашей мальчишечьей среде. В Астрахани я поневоле сдружился с Манюшкиной Дуняркой. Мы жили в одной комнатке, вместе сучили чалки, вместе сидели за столом и вместе проводили вечера за рукодельем. Но Дунярка нравилась мне своей независимостью, беспокойным нравом, предприимчивостью и жизнерадостностью. И когда я вспоминал наше путешествие к волжским пристаням, к кремлю, на рынок и в городской сад, в душе чувствовал к ней уважение: она казалась мне смелее и храбрее любого

мальчишки. Я больно переживал разлуку с нею и тосковал по ней даже здесь, на промысле.

А Феклуша казалась мне совсем маленькой и была похожа на калечку. Но когда я вглядывался в ее страдальческое личико, она казалась мне взрослой, умудренной жизнью девушкой.

Тетя Мотя ласково прогудела мне:

— Иди, иди к ней, милок! Ребячье-то сердце дорого стоит.

Феклуша встретила меня без улыбки, но протянула ко мне желтенькие ручки и пристально вгляделась в мое лицо.

— Ты не гнушайся мной, Федя. У меня душенька-то как стеклышко. Я словно летаю над людями-то — легонькая-легонькая... Тебе жалко меня, чую. А ты не жалей — жалеть меня не надо. Жалеют бессчастных, а я — как ангель, как облачко над землей.

Она не говорила, а напевно причитала и играла пальчиками, словно плела какой-то невидимый узор.

— Сколько тебе годочков-то? Мне уж одиннадцать. Только ножки у меня не ходят да кровки мало. Это мне Матреша сказала: она, Матреша-то, все видит, все знает. А ты вот этакий крепенький, как соленый огурчик. Страсть я люблю огурчики соленые! Да только во сне их вижу. Лежат они передо мною в рассольце и словно бы смеются, а взять их никак нельзя: встрепенутся и юркнут на дно.

И она впервые улыбнулась. Я сидел на краю нар и чувствовал себя сначала неловко, словно связанный, не знал, о чем говорить и как себя вести с нею. Но она будто вдруг расцвела и затрепетала. Всегда неподвижная, молчаливая, угасшая, она вспыхнула, когда я подошел и сел перед нею на нары. Голосок Феклуши, тоненький, как ниточка, распевал не замолкая, словно она давно ждала этого часа, когда можно наговориться всласть. Глаза ее поголубели и стали глубокими.

— Я ведь лежу давно, еще с весны. Тятяша с мамынькой на ватаге уж три года работают. Год от году работают, а никак не отработаются. Мамынька-то вся измаялась — руки изъело, нутрё огнем горит,

и все-то просит бога, чтобы скорее прибрал ее. Бывало, обнимет меня и плачет; а сейчас окоченела вся — сердце застыло. И меня уж она не видит. Жалко мне ее — не человек она стала. Бросится из пары и как мертвая лежит, а я ей шепчу: «Мамынька, обними меня: я отдышу тебя». А тятяша — хороший, сердцем радошный. И все-то сулит мне: «Погоди, говорит, вот в праздник на руках тебя поношу: сядешь мне на палец, как муха, и гляди на весь свет». Сулить-то он сулит, а ни один разочек до меня не дотронулся. Боится, надо быть: как бы не раздавить меня. А я вот лежу, ко мне ангели прилетают и крылышками своими со мной играют. Веселенькие такие, чистенькие. Подхватят меня на свои шелковые крылышки — и давай меня по воздуху носить... А мне стыдно и горько: не с ангелями мне по воздуху хоровод водить, а взять бы да заместо мамыньки поработать: отдохнуть бы ей, оклематься маленько... Молю об этом ангелей-то, а они смеются и крылышками хлопают. Глупенькие — ничего не понимают. А один из них, который побольше, на тебя чуток похожий, и говорит мне — говорит и бровки хмурит: «Чего это ты, Феклушка, чепушишь-то? Мало тебе, что ты в няньках ночей не спала да на своих хозяев силенки свои истратила — простудилась в зимнюю стужу, грудью заболела, чуть не умерла, ножонки потеряла. Мало, говорит, этого, хочешь догореть, как лучинка?»

Тетя Мотя вдруг с ласковым неудовольствием обличила ее:

— Да чего ты там выдумываешь, Феклуша? Ведь это я тебе выговаривала... а ты на каких-то ангелей сваливаешь.

Феклуша с негодующей живостью запротестовала и даже на локте поднялась:

— И не перечь, Матреша: ангеля-то я как сейчас вижу.

— Ну и тоже, — серьезно согласилась тетя Мотя. — Чего плохого, ежели меня разок за ангеля приняла?

Феклуша опять легла на свое постельное барахло,

Дышала она трудно; должно быть, ей не хватало воздуха. Но и я задыхался: в горле першило, и я кашлял сухим, взвизгивающим лаем. На зубах хрустел песок, а мои больные глаза слезились, как от дыма. Феклуше тоже хотелось кашлять, но она только хныкала, мучительно глотала что-то и не могла проглотить.

— Страсть мне хочется, Федяша, на вольный воздух выйти... И волны морские люблю: живые они, веселые и все-то играют да смеются. А чайки как кипень белые. Я и тут слышу, как они песенки поют да зовут меня: «Иди к нам! Лети к нам!..» Уж больно я свет божий люблю! Все люблю: и казарму, и людей всех, и себя люблю... И чего я такая счастливая, Федяша? Ты думаешь, я умру? Как же это я умру-то, коли ангели бесперечь ко мне прилетают? Когда здоровой-то была, я как кубарь вертелась. А передо мной — только зыбка да робенок, корыто да посуда, помои да пеленки. Ножки уж больно мерзли. Ведь гола-боса была. Беги туда, беги сюда, покорми свинью, почисти хлев... Ну и прохватило меня. И грудь как огнем обожгло, и ножки отнялись... Меня теперь никто не обижает, никто меня не видит, а я все вижу!..

— Да будет тебе, Феклушка! — не вытерпела тетя Мотя, и я увидел в глазах ее слезы.

Феклуша с сияющими глазами залепетала торопливо:

— Ты, Матреша, ничего не видишь, а я все вижу. Ангели-то мне дар дали. Люди о себе ничего не знают, а я все об них знаю.

Она замолчала и закрыла глаза от утомления. Мне показалось, что она забылась, и я хотел отойти от нее, но она легко, незаметно для меня, взяла мою руку и улыбнулась.

— Я и тебя всего наскрозь вижу, Федяша. Ты вот читать умеешь: у тебя — тоже дар. Передай мне этот свой дар-то: я сразу все пойму.

Я вскочил с ее нар и с радостью крикнул ей:

— Сейчас я тебе «Руслана и Людмилу» прочитаю...

Она даже ахнула от изумления и восторга:

— А, батюшки! Словечки-то какие! Руслан... Людмила... Как песня хорошая!..

И я, волнуясь, звонко прочитал ей весь пролог наизусть:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...

Она слушала, вся прозрачно-восковая, и мне чудилось, что глаза ее стали огромными. Она шептала, повторяя мои слова, и блаженно улыбалась. И когда я произнес нараспев: «Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных...» — Феклуша вскрикнула сквозь слезы:

— Да ведь я там бывала, Федяшка! И все знаю... И все до званья вижу... Это — про наши волны-то... Как складно говоришь ты! Как распрекрасно!

Так каждый день я читал ей и «Руслана», и «Песню про купца Калашникова», и стихи Кольцова. А когда принялся за «Робинзона» и прочел ей несколько страниц, она слабо отмахнулась:

— Не надо про этого чужого... И имя у него какое-то несуразное. Страсть не люблю я неудашных да неприкаянных. Ты бы мне песни этого Лексея прочитал.

Что печально глядишь?
Что на сердце таишь?
Не тоскуй, не горюй,
Из очей слез не лей..
Мне не надобно их,
Мне не нужно тоски...

Я ведь памятливая — все в уме держу. Плохое — как лист с дерева падает, а хорошее — теплое гнездышко вьет. Вот и учи меня азбучке.

Неожиданно дотронулась она тоненьким пальчиком до моих век и заботливо, как взрослая женщина, посоветовала:

— Ты, Федяша, глазки-то свои береги. Ослепнешь — и потухнет божий свет. А какое житье без божьего света? Без солнышка и травка не растет.

Я вспомнил о Луконе-слепом и возразил ей:

— А у нас в деревне парень есть слепой. Он лучше меня все знает и чует. Даже какая птичка летит — угадает. «Я забыл, говорит, какой свет-то, а все мне открыто».

— Нет, Федяша, когда, бывало, мне в жмурках глаза закрывали, я сейчас же платок срывала: с ума сходила, словно казнили меня. Оно ведь и печка греет, а от нее угар бывает. Только от солнышка радуга, летом — зелень, цветочки, небеса, а зимой — снег белый кипень и лед голубой. А песни-то какие хорошие: «Не белы-то снеги выпадали...», а то: «Я по травке шла, я венок плела...» Да мало ли таких песен-то!.. Береги, Федя, глазки свои пуще всего. Пески здесь злые: они глаза выедают. Ты лучше к тятяше работать иди — в кузницу: там у него целый день огонек играет. На мехи становись. Я ведь тоже ему помогала на мехах-то.

Так я проводил время с Феклушей до тех пор, пока у меня перестали гноиться и слезиться глаза и сошла опухоль с век. Тетя Мотя заставляла меня промывать их соленой водой.

За эти дни я свыкся с Феклушей и привязался к ней, как к родной. Я тоже, вероятно, пришелся ей по душе. Она уже не молчала и не лежала пластом на своем тряпье. Ее слабенький голосок все время лепетал радостно или раздумчиво, и мне было приятно слушать ее воркованье, словно она размышляла вслух. Она говорила обо всем, что приходило ей в голову, но рассуждала, как зрелая, много испытавшая на своем маленьком веку женщина. Может быть, эта постоянная неподвижность заставляла ее задумываться и создавать сказочную жизнь, а может быть, и тетя Мотя внушала ей недетские мысли — только она не похожа была на девочку ее возраста. Она не играла в куклы, и не было у нее никаких безделушек, которыми бы она развлекалась. А когда я спросил ее, почему у нее нет каких-нибудь игрушек, она обидчиво ответила, сдвинув бровки:

— Чай, я не маленькая. Не о куколках да игрушках думаю я, Федяша, а о том, как бы окле-

маться. Оклемаюсь, окрепну малость, стану на ноги, выйду сама на волю, на наш двор соляной, подойду к девчатам и мельницу покручу. Я всегда себя на соляной мельнице испытывала. Покручу, покручу — выдюжу, ну и спокойна сердцем-то: так и знаю, что у тяташи на мехах весь день продежурю.

Она приглаживала свои волосы цвета соломы, щупала короткую косичку — туго ли заплела ее — и мечтала, всматриваясь в доски верхних нар сияющими глазами:

— А оклемаюсь я беспре́менно, Федяша. Я ведь здоровая, ничего у меня не болит, только грудка как стеклышко, да ножки как веревочки. И сердце стучит, как ручничок о на̀ковальню.

Она взяла мою руку и умоляюще сказала:

— Сделай милость, Федя! Пойди ты к тятяше в кузницу и скажи ему, не бойся: «Дядя, мол, Игнат, поставь меня на мехи, я, мол, за Феклушку тебе поработаю, покамест она оклемается». — Она поискала что-то под одеялкой и с лукавой искоркой в глазах прошептала: — Гляди-ка, чего я делаю-то... Я ведь без работы и дня не проживу. Ты не думай, я рукодельничаю от скуки, чтобы время убить. От скуки работа пустая. А мне страсть охота чего-нибудь делать пользительное. Вот я и рукодельничаю. Придет мамынька, я ей и отдам — может, и обрадуется. Сама ей на руки надену.

Она вынула длинные варежки из старой мешковины, пропитанные рыбьим жиром. На одном конце они были широкие, на другом — узкие, с двумя дырками: одна, побольше, для кисти, другая, сбоку, маленькая, для большого пальца.

— Видишь, какая я ловкая да дошлая! Вот наденет мамынька эти рукавички — одни пальцы будут голенькие, а руки-то будут спрятаны, и ни молоки, ни грязь не просочатся: я их жиром протравила — Матрешу упросила из жиротопни в черепочке принести. Увидят наши резалки эти рукавички у мамыньки, ахнут, диву дадутся и сами себе сошьют. И чего они сами не додумались до этого — ума не приложу.

— Да им и думать-то неколи, — возразил я. — Они от темна до темна на плоту, а придут в казарму — с ног валятся. Вот ты и обшила бы их. Только эти рукавички-то смердят больно.

Она грустно вздохнула, но на мое возражение не обиделась.

— Я уже думала, да силушки нет: и руки дрожат, и в головке все вертится. Эти рукавички я долго кроила да шила. На полнитки в день меня только хватало.

Она закрыла глаза и утомленно замолчала.

Меня подхватила рука тети Моти и отвела от нар Феклушки.

— Иди-ка к себе, грамотей! Совсем замаялась девчонка-то: видишь, лежит, как на исходе души.

Гордей сидел на краю нар. Нога у него разбухла и обуглилась. А Галя крикнула мне болезненным, но требовательным голосом:

— Ко мне иди, чумак! Совсем меня забыл. А я тоскую. Ведь нас с тобой недоля связала одной верёвочкой. Шагай сюда, наездник, и мне читай свои стихиры! Я — ревнивая.

Галя мне нравилась и своим курносым лицом, и лукавыми большими глазами, и постоянно небоязливым задором, но особенно своей теплой и ласковой внимательностью ко мне. Хотя она и не нежничала и не привечала меня, как малыша, но в ее милых глазах и мимолетном улыбающемся взгляде я видел добрые искорки. Она не стонала, не металась от боли в руках, только над переносьем прорезáлись глубокие морщинки. Завязанные руки она носила вытянув вперед, и крепко прижимала к себе локти. Несколько раз на дню она мыла их горячей водой с мылом и не звала на помощь тетю Мотю: она не хотела показать себя слабой и несчастной. Только однажды, когда я подошел к ней, она сначала испугала меня яростным взглядом, а потом сразу же улыбнулась и приказала:

— Бери ковшик и лей мне на руки! Мы с тобой друзья не поневоле, а по сердцу.

И я ухаживал за нею старательно, счастливый ее вниманием. Она намазывала распухшие кисти рук рыбьим жиром, и я завязывал и ту и другую руку чистыми тряпицами.

— Вот как, чумак, работают за двугривенный в день! А сейчас эти двугривенные подрядчица высчитывает и с меня и с Гордея. Не болей! Болезнь в контракт не входит.

Она пошла к своим нарам, как здоровая, — плывущим шагом, с сердитой независимостью. Длинная золотая коса ее сползла с головы: поправить ее больными руками она не могла. На ходу она с участливой насмешкой предупредила Гордея:

— Не торопись, мужик, ногу терять — пригодится.

Гордей пробормотал что-то невнятное и вдруг злобно прохрипел:

— Матрена, давай горячих углей!..

Тетя Мотя в ужасе всплеснула голыми руками.

— Да ты чего это, Гордей, с ума сходишь? Аль умирать торопишься? Антонов огонь наживешь.

— Давай, давай! Угли-то болезнь выжгут.

Я остановился перед ним, ошеломленный его страшными словами. Никогда я не слышал, чтобы люди лечились горячими углями. Знал я, что в деревне лечили простудных больных в бане, в жгучем пару, хлестали их вениками до обморока, а после веников смазывали тело крепкой водкой. От этого снадобья кожа сдиралась лоскутками. Знал, что больных животом поили керосином, а чахлых заставляли пить настой из черных тараканов. Но жарить живое мясо — это было для меня чем-то невероятным и потрясающим. Я верил насмешливой поговорке: «Что́ русскому здорово, то немцу — смерть», — зная выносливость нашего человека. И все же Гордей поразил меня спокойной своей настойчивостью: он был убежден, что раскаленные угли — целительное средство для его раны. Это было видно по его глазам: они горели у него под надвинутыми бровями пронзительным огоньком и жесткой волей. Перечить ему в эту минуту было нельзя, и тетя Мотя подчинилась ему с сокрушенной покорностью. Она поднесла

ему на заслоне кучку красных камышовых углей, горящих синеньким огоньком, но не вытерпела и отвернулась. А Гордей схватил щепотью половину углей и высыпал их на свою рану да еще придавил и подул на них, чтобы ярче горели. У него затряслась борода и лицо исказилось от боли, но он молча уставился выпученными глазами на угли и, захлебываясь, дул на них.

— Давай еще!.. — яростно прохрипел он. — Свежих давай!.. Чего ты мне золу суешь?

Нога Гордея судорожно задрожала, а он держал ее обеими руками.

Тетя Мотя с ужасом в лице всхлипнула и с натужной торопливостью зашаркала валенками к плите.

— Ну тебя к лешему, безумный!.. — в отчаянии простонала она. — Мочи нет... Душа закатилась...

— Парнишка! — зарычал он на меня. — Шагай сюда! Привыкай! Не то еще с человеком бывает. Бери вот тряпицу, завязывай! Не дрожи — не на морозе.

Я не помню, как я схватил тряпку, как закрутил ему коленку.

Феклушка лежала неподвижно и молча: должно быть, спала, а Галя, бледная, с изумлением глядела на Гордея.

— Ну и мужик! Для такого характера и сатана не пугало.

Гордей ничего не ответил, а полез на свои нары и распластался на рухляди. Нога его судорожно подпрыгивала, и толстая пятка ползала по дерюге, сбивая ее в комок.

XXX

Осень прошла с бурями и холодами, с волчьим воем и свинцовыми туманами — дикая, чужая осень. Небо было низкое, лохматое, и тучи взбалмошно неслись куда-то вдоль берега и в пески или из-за песков к далекой полосе моря. В мутном воздухе вихрями летала сухая рыбья чешуя, тускло поблескивая перламутром. И днем и ночью на зубах хрустел пе-

сок. А когда ветры утихали и наступала глухая тишина, с моря необъятной махиной наплывал туман, и в нем исчезали и постройки, и люди, и трудовое движение. Мир растворялся в этой седой пучине, и я был одинок в ней, ощущал только себя.

Я уже недели две работал в кузнице на мехах и успел закоптеть и насквозь пропахнуть дымом и железной окалиной. Меня и пугала возня в кузнице, и приводил в ужас своей помрачительной бранью большой кузнец — и тянула к себе дымная тьма с лиловой игрой огня в горне, с ослепительными брызгами искр, которые летели лучистыми звездами из-под звонких ударов молотка.

Вышло так, как советовала мне Феклушка: я робко подошел к двери кузницы, но в дымной тьме сначала заметил только кучку красных углей, а потом двух человек, которые ковали железную полосу и, казалось, вырывали ее друг у друга. Добродушный бас кузнеца деловито приказывал:

— Бей по самой маковке! Не с плеча, а с подъема. Рукам воли не давай, а держи их в узде, как необъезженных коней. Руки, брат, озорничать любят, ну а когда их приноровишь к ремеслу, они черта в человека перекуют.

Против него за наковальней стоял, в кожаном фартуке, тот самый парень, который был в лодке вместе с Матвеем Егорычем.

Он сразу узнал меня и весело удивился:

— Ого, удалой моряк явился!

А кузнец с неожиданной приветливостью сказал:

— Вот это к добру: грамотей на подмогу пришел. Феклушка хлопотала за тебя: «Он меня, говорит, заместит... работник!»

Мне было приятно, что эти занятые люди встретили меня так ласково и душевно. Не кузнец, а этот светлолобый парень взбодрил меня: словно я с ним дружил когда-то, а теперь встретился, как с близким человеком. Я вошел в черный сарай с ворохами железа на полу, с кучей разных клещей у чурбака с носатой наковальней и, чтобы доказать, что я пришел не попусту, а по делу, смело похвалился:

— Я, дядя Игнат, умею на мехах-то стоять: еще в деревне в кузнице помогал.

— Охотник на приключения... — засмеялся парень. — Только гляди: тут не до игры.

— Я ведь тоже не играть пришел, а работать, — обиделся я. —Еще жалованье мне похлопочете, ежели работа моя вам покажется.

Тут уж захохотал и кузнец, а парень завыл от удовольствия и задрал картуз на затылок. Его рот широко открылся, и сверкнули крупные зубы. Серые глаза его совсем опьянели от веселого любопытства.

Но кузнец строго приказал мне:

— Валяй! Становись к мехам! Книжник ты известный, а какой меходув — сейчас погляжу. К людям я такой: для меня ты дорог не тем, на что похож, а тем, на что гож. А гожему человеку цены нет. Моя Феклушка никогда пустого слова не скажет, а вот и ей не поверю насчет тебя, грамотей. Почую в тебе охоту к делу — на плечах понесу перед честным народом. Только ведь меходув-то у меня есть — вот он стоит: он и молотобоец и меходув.

Парень все еще улыбался во весь рот и подмигивал мне. Он снял с плеча огромный молот на длинной ручке и без усилий протянул его ко мне.

— Ну-ка, подружись с этой кувалдой. Поднимешь, положишь на наковальню — вот тогда и я скажу, какой ты парень стойкий да бойкий.

Я видел, что парню охота поозоровать со мною, что ему хочется похохотать над моим мальчишечьим слабосильем. Мне было уже давно известно, что взрослым доставляет большое удовольствие стравить на драку ребятишек. И чаще всего это было не от зла, не от черного сердца, а от доброты души, от веселого нрава, от неуменья подойти к подростку. Обычно в эти минуты я настораживался, чувствуя опасность в шутках взрослых, и всегда был готов к самозащите, но вдруг распалялся гневом и бурно лез на рожон. Тут было и оскорбленное самолюбие, и униженная гордость, и инстинктивное желание дать сдачи обидчику. Так и в этот раз я потерял самообладание и взъярился:

— Ты меня не дразни, я не собачонка. С кувалдой-то и дурак сладит, а ума не даст ему и кума.

Парень залился хохотом, он стонал и смотрел на меня сквозь слезы. А кузнец угрюмо усмехался в бороду, зеленые глаза его посвежели и стали прозрачными.

— Ловко отковал подкову! — одобрил он, внимательно пронизывая меня глазами. — Это тебе в зачет, ежели в обиду себя не даешь. А вот перед молотобойцем-то Степаном ты — еще огрызок, и лягаться стригунку не под стать. Как же мне с тобой компанью вести?

А Степан все еще смеялся и вытирал рукою слезы.

— Ничего, дядя Игнат!.. Это парень нашенский: с приключениями парнишка.

Хотя я и чувствовал себя жутковато около этих прокопченных людей, но не хотел показать, что струсил перед ними. С деловитой серьезностью прошел в темный угол к мехам и попробовал поднять широкие крышки. Меха оказались легкими, и я, как, бывало, в кузнице у Потапа, сразу дал непрерывную струю воздуха в горн.

Мне очень хотелось, чтобы кузнец был доволен мной, чтобы Степан удивился моему уменью обращаться с мехами, чтобы ко мне отнеслись они как к настоящему работнику и поняли, что я пришел в кузницу не из праздного любопытства. Водиться мне не с кем было: Гаврюшка исчез бесследно, парнишки моего возраста жили в поселке, но этот народ был чужой, неизвестный, опасный. Я издали видел, как шайки малолетков бродили по улице, бросались комками земли и преследовали друг друга. Книжек у меня не было, а своего «Руслана» и «Робинзона» я знал наизусть. Мой топорик ненужно лежал под подушкой, и я не знал, что с ним делать. Перед тем как пойти в кузницу, я приспособился точить на точиле около плота ножи для резалок и карсаков. Но это занятие не увлекло меня: скучно было стоять перед точилом, и я мерз на холодном

ветру или в промозглом тумане. Мне нужна была работа постоянная, как долг, как радость, чтобы ощущать, что я здоров, что сердце бьется у меня бойко и весело. Попросту говоря, мне ненасытно хотелось жить.

Мехи оказались легкими, и хоть мне приходилось подпрыгивать, чтобы вскинуть крышки вверх, но от этого я чувствовал удовольствие. А для того, чтобы дать сильную струю воздуха, я повисал то на одной, то на другой руке.

— Так, так! Ладно! — одобрительно басил кузнец. — Да он, выходит, умелый меходув.

— С приключениями парень! — согласился Степан. Это присловье у него, должно быть, означало высшую похвалу. — Одно плохо — ростом опоздал: прыгает блошкой перед гармошкой.

Он подхватил старый ящик, который стоял у стены, и положил его передо мною.

— Раз, два — и вырос! Сразу стал на ящик старше.

С этого дня я начал работать в кузнице. Вставал я затемно, вместе с другими, и по звонку возвращался в казарму тоже ночью, закопченный, покрытый ржавой пылью, уставший, с ломотой в руках и пояснице. Мать встречала меня с горестным лицом и со страхом в глазах, и мне казалось, что она готова заплакать. И каждый раз взмахивала руками, словно хотела подхватить меня, унести в свой уголок.

— Да кто это тебя в такую кабалу погнал? Для кого это ты надрываешься? Ни мне, ни себе никакой спорыньи. Спокою от тебя не знаю — все время сердце ноет. Простудишься, надломишься — и захвораешь.

Но я резонно доказывал ей:

— А ежели ты захвораешь, кто тогда работать будет? Чай, с голоду-то умирать неохота. Дядя Игнат мне жалованье выхлопочет.

Но она еще больше тревожилась от моих возражений и однажды отважилась упрекнуть кузнеца:

— Не заманивай ты, Игнатий, парнишку-то. Сгубишь его у меня, как свою девчонку...

Кузнец добродушно ухмыльнулся и ответил не ей, а мне:

— А ты, Федор, скажи матери-то, какой ветерок занес тебя ко мне на порог.

Мне было стыдно и перед кузнецом и перед резалками, которые сидели вокруг стола и ужинали, а особенно перед Прасковеей, что мать, как клушка, заслонила меня от кузнеца, словно цыпленка. Но ни Прасковея, ни женщины даже не взглянули на нас. Только кузнечиха огрызнулась, звякая чашками и кружками в своем кутке:

— Спрячь его к себе под мышку и не суйся в чужой курень! Бездомный кутенок сам лезет в первую подворотню. Этакого шатуна давно бы в люди надо отдать, а он у тебя без дела болтается.

Но мать неожиданно вскипела и, с враждебным блеском в глазах, вызывающе вскинула голову.

— Я и без тебя знаю, что делать со своим дитем. Не учи, ежели своего робенка уморила.

Кузнец смотрел на мать с добродушной ухмылкой: ему, должно быть, казалась потешной ее горячность. Он лениво прикрикнул на жену:

— Не твое дело! Застынь!

Феклушка поднялась на локте и тоненьким голоском, по-бабьи, пропела:

— Это я, тетенька Настя, упросила Федяшку к тятяше на мехи пойти. Мне-то сейчас мочи нет, а он здоровенький. «Поди, говорю, Федяша, в кузницу — встань заместо меня...»

И этот ее милый голосок словно поразил всех: в казарме стало вдруг тихо, а женщины с изумлением повернулись к Феклушке. Что-то трепетное и неуловимо хорошее пролетело по казарме и ласково дотронулось до сердца каждого. И мне показалось, что кто-то даже вздохнул облегченно. Мать застыла на месте и с дрожащей улыбкой смотрела на девочку.

Я не утерпел и крикнул:

— Я и без Феклушки пошел бы! Она только поторопила меня. А чтобы я не боялся дяди Игната, хвалила его. «У тятяши, говорит, душа всех краше».

Меня оглушил общий хохот. Сначала я не понял, почему люди уставились на меня и тряслись от смеха, потом обиделся и надулся. Я хотел показать себя кузнецу самосильным работником, человеком, который с радостью берется за любое дело и всегда готов броситься на помощь не только больной Феклушке, но и взрослым, как Галя, — а меня вдруг ошарашили хохотом. Что же потешного в том, что я хоть и «отрок», как меня смешно называла Раиса, но смело стараюсь защищать свое достоинство? А маленьким своим умишком я понимал, что люди привыкли жить по какому-то общепринятому укладу, который принуждает каждого быть покорным, незаметным, применяться друг к другу, но держаться особняком, ютиться в своем углу и не высовываться оттуда — из опаски. как бы не подняли на смех да как бы не ударили по башке. Одним словом, жили впритирку, заподлицо, как говорят плотники. И этот уклад создавался сам собою, ватажным духом, и был нерушим. И только Прасковея с Гришей да Оксана с Галей — городские люди — тревожили всех своей смелостью и непокорливостью.

Несмотря на то, что работали от темна до темна, все, как и раньше, пели песни на плоту и так же, как и в прошлые дни, с плота уходили густой толпой, с пляской, словно срывались с цепи. И на плоту, и в мастерских, и в казарме жил свой ватажный, беспокойный, самоуправный дух, который похож был на вольность. Мне нравилась эта разбитная артельная жизнь; каждый из этой сотни людей был сам по себе — вел себя по своему нраву: одни — смирно, безгласно, другие — разудало, озорно, третьи — степенно и расчетливо, с трезвой раздумчивостью. А такие, как мать с Марийкой, мечтательно ждали каких-то необыкновенных событий и праздничных дней. Они льнули к Прасковее и к Грише-бондарю, всегда веселому, уверенному в себе человеку, который знал какую-то недоступную всем правду. Мне казалось, что он весь светился свойственной ему душевной красотой. И несмотря на то, что все надрывались на работе и ели отвратительную болтушку и сырой, горький

хлеб, а в конце месяца многие не получали ни копейки на руки, — никто не унывал и не жаловался. А в те дни, когда было невмоготу и у людей не было гроша за душой, бунтовали, ругались и грозили разнести в щепки контору, вывезти на тачке управляющего, подрядчицу, плотового. Но от этих угроз только мстительно веселели. Может быть, потому, что я был еще мал годами и бурно рос, здоровый и закаленный первобытной сельской жизнью, я чувствовал в этой артельной тесноте огромную семью, где нет ни лохматого деда, ни домостроя, а люди живут как-то свободно, по своему ватажному негласному уговору: пусть на нарах в барахле — свалка, а в казарме — толчея, но каждый живет, как ему хочется, а в галдеже, в тесноте я постоянно ощущал что-то вроде бесшабашной жизнерадостности. И ни смерть Малаши, ни болезнь Гордея и Гали, с которых подрядчица делала вычеты за невыход на работу, не нарушали этого вольного духа и молодой беззаботности. Смех, шутки, громкие разговоры, песни не утихали даже ночью, после работы.

В эти дни я нечаянно встретил Гаврюшку. Дело было так. Кузнец послал меня на соседний промысел в кузницу, к своему дружку Тарасу — с напильником, который он сделал сам.

До соседней кузницы было недалеко. Она задней дощатой стеной выходила на улицу. Кузнец несколько раз посылал меня туда с записочками. С этим своим приятелем у него были какие-то странные отношения: мне казалось, что оба они ненавидят друг друга, но дружбу порвать не могут. Тарас был щупленький нервный парень с жиденькими усами и бритым подбородком, сутулый и казался очень недобрым. Только черные глаза всегда лихорадочно блестели. Встречал он меня тоже неприветливо, как подручного своего врага, но обязательно срывал с моей головы картуз, ворошил мои кудри и неласково говорил в нос:

— Ну, опять припрыгал? Надоел ты мне, как моя совесть. Только кудри твои и спасают тебя. Рвать их жалко. Ну-с, так что пишет твой верблюд?

И он нетерпеливо прощупывал карандашные строчки на грязной бумажке, и глаза его наливались смешливой слезой, а лицо искажалось самолюбивой обидой.

— Хо, норовит переплюнуть меня... Ах, верблюд, верблюд! Да таких рук, как у меня, сроду нигде не найти. На рашпиле он срезался: закалку не разгадал, и у него получилась лутошка. А еще грозится поразить меня тонкой насечкой... Эту тонкую насечку надо уметь сделать, как на хрустале. Ежели мои руки не добились этого скорописного письма на стали, так с его верблюжьими копытами и думать нечего. Погоди, друг, я тебя руки грызть заставлю!

Он мусолил маленький карандашик и малограмотно царапал им на той же бумажке несколько слов с ядовитой злинкой в лице.

— На, кудряш, верблюжий паж, неси ему этот гостинец! Только не слушай, как он будет лаяться.

Он глядел на меня с насмешливым презрением, но худая рука его, покрытая окалиной, мягко подталкивала меня в спину.

— Ну, валяй, курносый, да скажи своему верблюду, что тогда со мной сравняется, когда призадумается.

А Игнат прочитывал ответ и хохотал, сдвигая шапку на затылок, потом на лоб.

Но каждое воскресенье они обязательно встречались и уходили куда-то вместе, как задушевные друзья.

И вот с маленьким напильником, голубым от закалки, с мельчайшими насечками, я шел к сопернику моего кузнеца, чтобы поразить его чудом тончайшей работы.

Перекладывая с ладони на ладонь этот трехгранный шершавый напильник, я только в эти минуты понял, почему Игнат каждый день старательно тюкал молотком у тисков, несколько раз свирепо вырывал из зажимов железку и, ругаясь, бросал на пол.

По песчаной улице бежал Гаврюшка с книжками в ремешках, одетый хорошо — в серое суконное пальто и брючки навыпуск. На коротко остриженн-

ную голову аккуратно надет был картузик. Лицо его похудело еще больше. Он сначала не узнал меня, чумазого, закопченного, в грязном фартучке, которым я очень гордился: в нем я чувствовал себя настоящим работником.

В порыве радости я бросился к нему навстречу. Он остановился и угрожающе вскинул руку с книжками. Глаза у него стали пронзительными, а лицо побледнело. Он не струсил: должно быть, привык ко всяким неожиданностям по дороге из школы. Я ликующе крикнул: «Гаврюшка! Это — я...» — Он вспыхнул и покраснел. Я видел, что он тоже хотел рвануться ко мне навстречу, но что-то удержало его. Он только ошарашенно смотрел на мое лицо и фартук.

— Вот так да! Не думал не гадал... А ты, как черт из жиротопни, на меня налетел. Кто из тебя помело сделал?

И он засмеялся, успокаиваясь. Но я не понял — не то ему была приятна встреча со мною, не то весело стало оттого, что все обошлось благополучно. А я был счастлив, что так внезапно столкнулся с ним: ведь он был мой друг, которого я потерял с первого же дня нашего необыкновенного сближения.

— Где ты пропадал-то, моряк? — с обидой напал я на него, задыхаясь от волнения. — Уж я искал тебя, искал... А ты словно скрозь землю провалился. Разве так товарищи водятся?

Но он вместо ответа опять засмеялся, обдумывая что-то.

— А у меня каждый день — приключения. Не успеешь продрать глаза — сейчас же приключения. Даже дома, когда меня мамаша взаперти держала, и то без приключений не обходилось. Папаша уехал на Эмбу, а мамаша в школу меня не пускала и велела из дому не выходить. «К дедушке, говорит, поедешь — у него жить будешь: он из тебя человека сделает, и наследником его будешь. А с отцом больше не увидишься». Ну, я с ней заскандалил. «В жизнь, говорю, папаши не променяю на твоего дедушку. Я не вобла: с багорчиком ко мне не подступишься». Ох и война была! Она на меня с ременным поясом, а я,

как кубарь, — в разные стороны. Села она на пол и давай реветь. С неделю она так меня терзала. Дело, думаю, швах. Она уже мне чемодан приготовила и в Гурьев кибитку наняла. А ночью я вылез в окно — и шасть бегом на Эмбу, к папаше. Трое суток по промыслам шатался, насилу нашел. Ну а теперь мы с ним не разлучаемся. Только нынче он запил, горе мое. Видишь, опять в школу хожу. А сейчас опять приключение — тебя, такого черта чумазого, встретил. Хочешь, пойдем пешком на баржу? Одному мне не справиться: вдвоем приключения интереснее.

Я с достоинством возразил:

— Мне сейчас неколи: я в кузнице подручным работаю. На мехах стою. А сейчас вот на другой промысел иду, к кузнецу. Мой-то с ним хоть и дружит, а в драке: кто лучше на подпилке насечку даст. Вот и несу подпилок-то, чтобы досадить ему. Ежели на баржу пойти, так в воскресенье только.

Он с завистью оглядел меня с головы до ног и грустно протянул:

— С тобой сейчас каши не сваришь. Рабочим стал. Значит, и деньги свои зарабатываешь?

Это было у меня больное место: где бы я ни работал, нигде я не получал ни копейки за свои труды. Чтобы не испытывать свою гордость, я промолчал и вцепился в его книжки.

Он с пренебрежением протянул мне учебники в ремешках и брезгливо буркнул:

— Дрянь: задачник, грамматика, хрестоматия... Я сам бы с охотой работал, да папаша советует учиться. Без ученья, говорит, сейчас человеку ходу нет. Без ученья — человеку затмение: он слепой. Жизнь, говорит, это сплошные задачи, потруднее, чем твоя арифметика. А в приключениях без географии да без разных наук не обойдешься, как в море без компаса. Моряк должен знать еще и звезды. Он, папаша-то, всегда правду говорит. Только в нашей школе одна противная чепуха: из двух бассейнов идет вода... какой бассейн опростается скорее? А на какой черт мне этот бассейн и эта вода? Да из бассейна никогда вода и не выльется. В Астрахани из бассей-

нов воду водовозы берут из года в год. Я учителю сказал, а он в угол меня поставил.

— А я бы сейчас же в школу пошел, — позавидовал я ему. — И учился бы тоже.

— Тоже... Там, брат, учитель-то с попом линейкой по рукам хлещут. Мне не один раз доставалось. И ребятишки сволочи: всё сынки управляющих да торгашей. Папаша пьет, а они со мной садиться за одну скамейку не хотят: «От тебя, говорят, сивухой воняет». Набил я одному морду, а он учителю наябедничал, и меня на час в угол на колени поставили. А за папашу я жизни не пожалею. Лучше его никого на свете нет.

Я даже припрыгнул от внезапной мысли, которая потрясла меня своей простотой и силой.

— Вот что, Гаврюшка: давай с тобой на крепость стакнемся.

— Какая еще крепость? — удивился он. — Мы и так давно стакнулись.

— Нет, нам другое согласие нужно: ты меня рифметикс-грамматике учи, а я с тобой на всякие приключения пойду.

— А драться с моими врагами пойдешь?

— Чай, при согласье-то — заодно. Я и в деревне на кулачках дрался, с кем хошь поспорю.

— Идет! По рукам!

Гаврюшка загорелся и будто сразу вырос и похорошел.

— Значит, дружба заодно на всю жизнь?

— До смерти!

Мы крепко сжимали друг другу руки и не хотели разрывать их. Я с горячим сердцем выражал свою верность ему, любя его до слез. В его взволнованном лице я тоже видел преданную дружбу. И не я, а он воодушевленно предложил:

— Давай сейчас же кровью нашу дружбу свяжем и будем кровные братья.

— А где взять кровь-то?

— Да проще не надо. — Он выхватил из кармана штанишек перочинный ножик и с треском открыл блестящее лезвие. — Вот. Друг у друга выпустим кровь

на ладони и сразу же соединим руки; наша кровь и сольется.

Я первый доверчиво протянул ему грязную руку и даже поднял рукав.

— Секи! Ножик-то в руке у тебя — сам просится...

Но он смущенно улыбнулся и, боязливо озираясь, жалобно вздохнул.

— Ну, хорошо...

Рука его с ножиком дрожала, а лицо пожелтело и страдальчески сморщилось.

— Струсил ты, что ли? — беспощадно упрекнул я его, но он не возмутился, а тихо, с болью пробормотал:

— Жалко. Рука не поднимается.

— Эх ты... а еще драться норовишь с врагами! Секи, тебе говорят! Вот в самую серединку секи!

Подчиняясь моему окрику, он с отчаянием приложил кончик ножа к моей ладони и крепко сощурился. Чтобы помочь ему, я другой рукой слегка ударил по его руке. Острая боль пронзила мою ладонь, но я мужественно перенес ее и виду не показал, что мне больно. Я выхватил у него ножик и ткнул в его ладошку. Он не вскрикнул и не пошевельнулся, и это мне понравилось. На наших ладонях выступила кровь. У него надувалась густая капля, а у меня кровь стекала струйкой.

— И тебе не больно? — с участием спросил он.

— Чай, я не робенок, — с достоинством ответил я. — Да хоть бы и больно было — мы терпеть должны: это ведь кровное дело, верность на всю жизнь.

Мы крепко прилепили наши ладони и три раза сдавили их пальцами.

— Клянемся? — вскрикнул он с одушевлением.

— Клянемся! — ответил я с убеждением.

— Обещаемся?

— Обещаемся!

— Оба, как один?

— Оба, как один!

Должно быть, у нас обоих горели глаза. Я никогда еще не переживал таких глубоких душевных порывов, как в эти минуты. Мы оба вдруг почувствовали,

что стали сильными, большими, что мы связаны любовью и преданностью друг другу навсегда. В тот момент я готов был без колебаний пойти с Гаврюшкой куда угодно, даже к его зловещей матери, и грудью выступать перед нею в его защиту. Его враги — сынки здешних господ и богатеев — совсем не беспокоили меня: они были где-то далеко и казались мне похожими на наших деревенских барчат и на изнеженных парнишек на волжском пароходе. В них много гонора, но они трусы. Сейчас я переживал огромную победу. Я не один, у меня есть верный и испытанный товарищ, с которым мы теперь спаяны кровью и который не боится никаких приключений: ведь он смело убежал ночью из дому и один блуждал в песках по ерикам, разыскивая отца.

Наши ладони были в крови. Ранка у меня была глубокой, потому кровь струилась из нее густо и капала на песок. Хотя мне было больно, но я стряхивал ее с руки небрежно и старался не обращать на нее внимания. Я досадливо схватил горсть песку, чтобы закупорить ранку, и деловито натянул картуз на глаза.

— Ну, мне надо по делам, — вспомнил я о своем поручении. — До вечера-то еще далеко: мне на мехах стоять да стоять...

— А кто тебя неволит? — недовольно возразил Гаврюшка. — Сам лезешь в эту кабалу.

— Без работы нашему брату нельзя, — убежденно отразил я его упрек. — Мамка одна работает, а я не хочу сидеть на ее шее.

— Да ведь ты даром работаешь: тебе даже и хлеба не дают.

— Кузнец сулил похлопотать.

— Погоди: мы же поклялись друг за друга стоять. Я сегодня же папаше скажу. Добьюсь, чтобы тебе платили.

Мы уговорились встретиться в первое же воскресенье и пойти по поселью на неизбежные приключения. Гаврюшка был уверен, что без драки не обойдется, и потребовал, чтобы я приготовился. Нам очень трудно было расставаться: мы расходились и

опять возвращались друг к другу, но почему-то конфузились и опять расходились.

Как обычно, Тарас встретил меня с недружелюбной насмешкой в лихорадочных глазах. Он ковал раскаленную полосу с ядовитой злостью, словно вымещал кому-то за свою черную работу. Я остановился по другую сторону наковальни с напильником в руке, но он сделал вид, что забыл обо мне. Когда он всунул в красную кучу углей в горне свою поковку и стал дергать за веревочку коромысло, которое двигало мехи, я положил напильник на наковальню и прошел в темный угол, к дутью. Работал только один мех, и веревкой приводилась в движение нижняя, опрокинутая часть, надувая воздухом верхний, большой мех. Я быстро отцепил веревку и стал работать обеими камерами. Горн зашумел, завыл, а я, подпрыгивая, старался как можно выше подбрасывать доски мехов. Мне было приятно и смешно, что я так смело и незаметно овладел мехами и неожиданно поразил Тараса сильной струей воздуха в горне. Он отпрянул от горна и сердито отшвырнул веревку в сторону.

— Эй ты, наездник без коня! Аршин с кукишем! Кто тебе позволил самоуправничать? Аль без тебя не справятся с работой? — Но грозный его окрик вдруг рассыпался смехом. — Ну и башка! Здорово подсёк! Оно и верно: руки надо себе отрубить за такой срам. Я мастер, рукоделец, часы могу сковать на наковальне, а меня в норку загнали и петлю из гнилой веревочки повесили. В люди зазорно показаться. А я в порту работал в Астрахани — на тонком уменье. Сбегу отсюдова: нет мне здесь ходу, размахнуться негде, как удавленнику. К веревочке прицепили, веревочкой играть заставили... Твой кузнец — верблюд: он ничего не чует, а только ругается и хохочет. Башка у него дельная и руки радостные, досужие. А верблюд. У него сердце не болит, душа не тоскует, мозги не кипят. А тут в башку лезет всякая дума... Я бы дерево выковал этими руками, птиц бы разных из горна выпустил, сказки бы своими руками рассказывал. А тут... — Он злобно сорвал веревку с коромысла и бросил ее в огонь. — А тут — гнилая веревочка!

И вдруг, пораженный, впился глазами в напильник.

— Это ты подбросил, чертенок малосольный? Разве можно валить на наковальню всякое бросово? По затылку тебя еще не колошматили за такие дела? Это ты у верблюда научился? Ты должен на лбу зарубить, что наковальня должна быть чистой, как зеркало. А ежели бы я сейчас по этой штуке молотком ударил? Ведь она как стекло рассыпалась бы.

Он схватил напильник, поднес близко к глазам и затрясся от молчаливого смеха. Внимательно рассматривая насечку напильника, он вертел его в быстрых пальцах, опять близко подносил к глазам, а потом задумчиво и медленно положил его на наковальню. Я не утерпел и съязвил из своего угла:

— А сам-то зачем кладешь на нáковальню?

Он опять схватил напильник и поманил меня пальцем.

— Шагай сюда, трус-воробей!

— Я не трус, — обиделся я и вышел из черного угла, заложив руки за нагрудник, как это делали и Гриша и кузнец.

Тарас глядел на меня со смехом в глазах и скалил белые зубы сквозь спутанные усы. Бритый его подбородок с яминкой упрямо выпирал вперед, и от этого нижняя челюсть казалась большой и тяжелой, а нос коротким и приплюснутым.

— Ну, сказывай, пискун: зачем тебя послал ко мне твой верблюд?

— Чай, сам видишь — не слепой, — недружелюбно ответил я насупившись.

Меня злила его насмешливая снисходительность, а прозвища, которыми он наделял меня, было больно и обидно слушать. Особенно неотразимо было это презрительное слово «пискун»: голосок у меня тогда был тоненький, звонкий и совсем не годился для такого самосильного парня, как я. Слово «пискун», которое я услышал впервые от Тараса, и оскорбляло и обезоруживало меня. Оскорбляло меня и его пренебрежительное отношение к моему кузнецу. Игнат ни

разу не говорил о нем плохо и считал его большим мастером, их неразрывная дружба была на виду у всех; а вот он, Тарас, издевался над Игнатом и называл его верблюдом. И мне было непонятно, как это можно дружить, а за глаза охалить своего друга. Поэтому я распалился и самоотверженно заступился за своего кузнеца:

— Дядя Игнат не верблюд. Он мастер не хуже тебя, а может, и лучше. А ежели бы тебя назвать тюленем усатым, ты бы на дыбы встал.

Я ждал, что он рванется ко мне и схватит за ухо, и приготовился отпрыгнуть от него. Но он равнодушно огрызнулся:

— Как, как? Тюлень, говоришь, усатый? Игнат — верблюд, а я, Тарас, — тюлень усатый? Каждый брат получил в аккурат. Это кто же тебя пестовал, визгун, так со старшими лягаться?

Он вертел в руках ребрастый напильник с бархатными насечками и с завистливым восхищением изучал его со всех сторон — осторожно проводил по его граням ржавым пальцем, подходил к двери и рассматривал на свету, дул на него тихонько, с задумчивой чуткостью проводил им по ногтю.

— Человек-то живым мясом родится, а делается трудом. И у обезьян руки есть, да не две, а четыре, — ну а толку от нее, опричь забавы, никакого. Мозги у нее до дела не доходчивы: пустяшного шильца не сделает. Значит, и разговору у нее нет. Кто же человека-то сделал да возвеличил? Пойми своей курчавой башкеркой: труд да догадливость. Заруби себе на носу, визгун: труд да дошлый умишко — вот и человек. — Он подумал, почесал подбородок и опять впился глазами в напильник. —Эх, руки-то какие драгоценные! Какую, подлец, работу сделал! Ах, верблюд долгоногий! Да ведь перед таким мастерством солнышко запляшет! Насечка-то какая — ведь только в увеличительное стекло разглядывать надо! Да ты понимаешь своим куриным мозгом, парнишка, что за человек твой верблюд?! Искусник неисповедимый! У меня в душе сейчас звезды сияют, а здесь — грязь

да зола — назола!.. Больше не работаю. Довольно! Пойдем к твоему верблюду.

— А ежели тебя оштрафуют? — предупредил я его. — У нас подрядчица только и норовит, с кого бы штраф содрать.

Он сверкнул глазами и отмахнулся от меня:

— А шайтан с ним, со штрафом-то! Штраф — паршивая копейка, а я капитал в один миг нажил.

Он бережно положил напильник в карман и вышел из кузницы.

Закинув голову назад, он широко пошагал по песчаной улице и бормотал сам с собою. Он забыл обо мне и, как видно, совсем не заметил каравана покорно-кротких верблюдов, которые тянули арбы на высоких колесах.

Вдруг он остановился, пораженный какой-то мыслью, и затеребил реденькие усы.

— Дурак! Ошалел от простого рукоделья. Эх ты, Тарас-пустопляс! — Он швырнул картуз на затылок, и лицо его вдруг стало задорным. — Иди, кудряш, к своему верблюду и слово в слово передай: дядя, мол, Тарас сказал: долг платежом красен. Напильником его, мол, не поразишь, это для верблюда — чудо, а для настоящего мастера и терем с резьбой — не диво.

И он торопливо пошагал обратно, взмахивая руками, и ссутулился еще больше.

Игнат хохотал, слушая мой рассказ, крутил головой и подвывал:

— Уж он улестит! Уж он доконает! Он, горбатый черт, сейчас в своей кузнице погром устроит. Досада ему в работе — штурмом забушует. Редкий мастер, верно. С душой мастер. Какие поковки делал в Астрахани! Не на заказ, не по указке, а для себя, для друзей, чтобы залюбовались... А вот здесь багры, подковы да разные болты кует. И даже подручного себе не умеет взять. Напилок напилком, а насечкой-то я его сразил... Любовался, говоришь? Страсть любит чистую работу! Тонкость, узор любит. И бесится, как в горячке: «А я лучше сделаю!» Такого бунтаря сроду не сыскать.

— С приключениями парень, — удивился Степан

и некстати засмеялся.— Должон при такой оказии запивать. Тоскливый человек.

В кузнице было навалено много железа: должно быть, без меня кузнецу поручили делать большую работу. Оба — и Игнат и Степан — подозрительно поглядывали на эту свалку ржавых полос, стержней, болванок и не решались приняться за дело.

Игнат спохватился и надвинул картуз на глаза.

— Ну-ка, ребята!.. К мехам, Федяшка! Готовь молот, Степан!

Я до изнеможения раздувал мехи, Степан бухал молотом, а Игнат звенел своим ручником. Раскаленное железо брызгало с наковальни красными брызгами, и я, несмотря на усталость, чувствовал себя хорошо: бодро, взволнованно, весело.

XXXI

Это солнечное, очень прозрачное осеннее воскресенье навсегда осталось в моей памяти. Воздух был теплый, мягкий, а небо синело ласково, глубоко, словно улыбалось задумчиво, и в этой синеве высоко плыли белые нити паутин. Море сияло зеркальной полоской очень далеко на горизонте, а белый песок с застывшей рябью переливался искрами. Стаи чаек белыми хлопьями летали вдали и над песком и над морем.

По улице поселка гуляли и толпились хороводами девчата и молодые женщины в разноцветных платьях и парни в пиджаках и рубашках. И близко и далеко разливались песни, где-то играла гармония. Шайками и врассыпную носились между взрослыми мальчишки.

Гриша повел нас в гости к Харитону с Анфисой. Он почему-то тихо, с оглядкой, поговорил с Прасковеей, с Наташей и с матерью, а потом с лукавой улыбкой поманил меня пальцем и спросил шепотом:

— Ну как, Васильич, есть у тебя охота погостить у Харитона?

Я так обрадовался, что подпрыгнул на месте.

— Только про это — молчок! Беги на улицу и жди нас.

Одет он был в черный длинный пиджак, а под жилеткой синела рубашка с отложным воротником и гарусной веревочкой с шариками на концах, завязанной махровым узлом. На ногах под узкими брюками навыпуск блестели начищенные ваксой штиблеты. Таким нарядным городским щеголем я его еще никогда не видел. Поэтому я не мог оторвать от него глаз.

— Ты чего это уставился на меня, Васильич? Аль в диковинку?

— Больно уж ты, дядя Гриша, шиковато нарядный. Как барин.

— А мы с тобой богаче бар-то. У нас руки — неразменная монета.

В казарме было сумеречно: на стеклах лежал густой слой песочной пыли, похожей на грязный иней. От дыма и чада першило в горле. Девки и безмужние бабы еще с утра ушли на улицу. Кузнец пошел, должно быть, к Тарасу, во всем будничном, низко надвинув засаленный картуз на глаза. На своих нарах неподвижно лежали только Феклушка да Гордей. От него начало дурно пахнуть, и этот тошнотный запах не могли заглушить ни дым, ни рыбное варево.

Мать с праздничным лицом наряжалась кропотливо, с одушевлением и часто поглядывала в осколок зеркальца. Наташа одевалась старательно, но равнодушно. Прасковея, стройная, крупная, одетая по-городски: в длинной серой юбке с брыжжами на подоле в три ряда, в плисовой кофточке с крыльями на плечах, мастерила из своих толстых золотистых кос какую-то замысловатую корону. Во рту у нее торчали черные шпильки.

Мне показалось, что у ворот я ждал их очень долго.

Длинная улица в пыльных клочках колючек расцветала вдали пестрыми платками, кофтами и черными картузами. Дальше, на площади, которая скрывалась за домами направо, был толкучий базар, и там по праздникам люди топтались по целым дням. Трактиры битком набивались рабочими, и из открытых дверей вырывались пьяные песни, крики и глухие звуки «заводной машины». Стоны, завывания и

уханье барабана и сейчас доносились оттуда, заглушенные далью.

Шли мы по улице медленно, степенно, празднично, как принято было в деревне и в той рабочей части Астрахани, где мы жили у Манюшки. Даже походка у всех была другая: Гриша шагал вразвалочку, но по живости нрава перекидывался с женщинами шуточками и улыбочками. Иногда шалил со мною: подхватывал меня рукою под мышку и пробовал вскинуть кверху. И я был доволен, что он только чуть-чуть отрывал меня от земли.

Прасковея выступала, как хозяйка, с насмешливой самоуверенностью, зная себе цену. Она держала левой рукой подол длинной своей юбки, и круглое в рябинах лицо ее казалось мне очень хорошим.

Мне было приятно идти с ними: я любил их и чувствовал, что и они меня любят. Гриша казался мне неугомонно-веселым и радостно-кудрявым, но я всегда чувствовал, что в душе у него таится какая-то неведомая мне, беспокойная дума. Эту его силу и тайную думу знает только Прасковея: они часто секретничают, куда-то незаметно уходят, а в казарме мимолетно переговариваются глазами и сдержанными усмешками.

Вот в чем было мое счастье: меня окружали хорошие, надежные люди, которые и за себя умеют постоять, и дружбу завязать, и в артели жить, как в свой семье. Они не кичились, не считали себя лучше и умнее других, не распоряжались, а жили, как все, теряясь в общей массе людей. Но я замечал, что и Гришу и Прасковею народ уважал и считал их опытными, знающими все распорядки на промысле.

Когда мы проходили мимо хороводов, Гришу окликали, громко здоровались с ним, а он снимал картуз и помахивал им над головой. У него, должно быть, всюду были дружки и приятели. Так мы прошли через площадь, потолкались на базаре, а потом возвратились назад и свернули в узенький проулочек, к берегу, между низенькими и слепенькими мазанками с маленькими палисадничками и пыльными ветлами перед окошечками. В каждом дворике, за камы-

шовым плетнем, на маленьких вешалах вялилась рыба, поблескивая чешуей. За калитками лаяли собаки и кудахтали куры. Гриша и Прасковея шли уверенно: значит, они не раз бывали у Харитона с Анфисой. Землянки и мазанки торчали здесь густо, выползая на горбы старых барханов и сползая во впадины. С давних пор в этих конурах жили осевшие ватажники, которые работали по-прежнему на промыслах. Бабы держали овец, коз, кур и торговали на базаре бараньим топленым салом и яйцами, а на дому тайно держали кабачки. Те, кто был поудачливее, хищничали по ерикам.

Гриша рассказывал дорогой:

— Народ здесь разный. Есть скаредный и неверный — обманом живут, по-воровски рыбу ловят, рабочих спаивают, обирают их догола, на карсаков шайками нападают и овец режут. А есть свойские ребята, надежные. Одно только хорошо здесь: все ненавидят и полицию и сыщиков. Да и полиция их боится: не то что арестовать кого-нибудь, а сама оберегает их. Ведь и полицейскому жизнь дорога.

Из проулка мы вышли на прибрежный песок и побрели вдоль носатых бударок, которые длинным рядом тянулись по берегу, упираясь бортами одна в другую.

В круглой котловине, в зарослях колючек и высокой полыни, сгрудились в тесную кучу и мазанки, и землянки, без улочек и проулков. По узенькой тропочке, среди мусора и свалок камыша, мы гуськом пробирались между хижинками и сарайчиками. Всюду на песке играли чумазые детишки, на скамейках у стен сидели бабы и мужики и грызли семечки. С разных сторон доносились пьяные песни, глухие и невнятные: должно быть, в подпольных кабачках гуляли промысловые рабочие.

Гриша провел нас к мазанке, которая прижималась к крутому склону старинного бархана, заросшего какой-то злой травой и бурым кустарником, похожим на хворост. У соседней землянки сидела желтоволосая женщина с ребенком на коленях и бородатый рабочий в сапогах с широкими рыбацкими

голенищами. Гриша снял картуз и крикнул по-приятельски:

— С благополучием, Артем Петрович!

Рабочий тоже снял картуз и неодобрительно возразил:

— С полицией благополучия не бывает, Григорий. Нынче ночью сыщика поймали... из Астрахани, говорят. Маленько будто покачали его. А он словно бы со страху куда-то в пески убежал. Вот сыщика-то полиция и ищет. Да разве сыщика сыщешь?

И он равнодушно отвернулся.

Из маленькой двери землянки выглянул Харитон, в пиджаке, в брюках навыпуск. Видно было, что он обрадовался нам. Анфиса встретила нас в тесной комнатке, недавно выбеленной и светлой. Окошечки были совсем маленькие. Старая деревянная кровать белела чистым покрывалом и пухлыми подушками. Анфиса бросилась к женщинам и, вскрикивая, обнималась с ними и целовалась. На столе, покрытом блестящей клеенкой, кипел самовар и лежала вкусная связка кренделей. Волшебная гармония, блистая колокольчиками и серебряными ладами, висела на ремне над кроватью.

Анфиса хватала за плечи и Наташу, и мать, и Прасковею, прижимала к себе, отталкивала и счастливо смеялась.

— Наташенька, какая ты стала милая! Ах, не хмурься, пожалуйста! Ты — сильная, тебя не изломаешь... А ты, Настя... ну совсем изменилась! Куда робость твоя девалась! Это вас Прасковея Пятница живой водой напоила. Знаю, все знаю... Словно вместе с вами живу...

А Гриша вполголоса говорил с Харитоном, и оба они подозрительно посматривали на окна.

— За деньги все можно, — засмеялся Харитон. — А где полиция деньги не любит? В нашей Нахаловке всяко фараонам платят — и рублем и дубьем. У меня дружки в полиции. Сам надзиратель заходит ко мне за мздой, а я играю ему на гармонии. Выпьет полштофа — и все секреты свои полицейские выкладывает. Да я раньше всех узнал о сыщиках: двоих прислали.

Ну а у нас сыщиков не любят. Свои сыщики уважают нашу окраину, а тот сдуру, не зная броду, сунулся в воду. Не без того, что и наши полицейские его подвели: они ведь насчет чужих ревнивые. Знаю также, что наш хозяин, именитый промышленник, прибывает сюда не нынче-завтра. Пьянствовать будет, разгул устроит.

— А я и не знал, что ты с полицейскими снюхался, — осудительно проворчал Гриша.

— Полезно, друг. А ежели говорю тебе — значит, не таюсь. Пригодится, Гриша. Сам увидишь.

— Не чисто, Харитон.

— Чище не может быть, друг. И крючки кое на что годятся. Ты послушал бы да поучился у наших жителей: они целую науку на этот счет имеют.

Анфиса тараторила с женщинами. А мне было обидно, что обо мне все забыли, и хотелось до боли, чтобы Анфиса заметила меня и улыбнулась. Я несколько раз перехватывал ее взгляд и сам улыбался ей, но она, как слепая, отводила свои лихорадочные глаза — большие, немигающие, голубые, странно тревожные и манящие.

Прасковея по-хозяйски, без стеснения, села за стол, взяла чайник и жестяную коробочку с синими китайцами, заварила чай и поставила чайник на конфорку.

— Ох, давно я не пила китайского чайку! Уж полакомлюсь в семейном доме, — важно сказала она необычно певучим и низким голосом. — Садитесь, товарки! Анфиса, угомонись, родная, не жадничай: не ты одна охотница до радости, дай и другим порадоваться. Вон и Федяшка наш на отшибе скучает. Иди сюда, работничек!

Анфиса ахнула, всплеснула руками и, как белая птица, подлетела ко мне.

— Милый мой мальчик! Не сердись на меня. Я одурела от счастья... Боже мой, да ведь это ты, который с нами на барже плыл! Ведь это же твой сынишка, Настя! Прямо не верится! Ты такая молоденькая, как девочка, а он — смотри, какой большой!

Она ласкала меня своими мягкими душистыми руками, прижимала к себе и мешала идти к столу. Но я неудержимо ухмылялся от счастья.

— Лен, ковыль, стружки! — вскрикивала она, тормошила меня, играла моими волосами. — Мягкие, шелковые... И уши маленькие — живчик!

Гриша подмигнул мне и с притворной строгостью упрекнул Анфису:

— Ты за кого же принимаешь нашего Васильича? Он — рабочий человек: меходув и грамотей. Ты поберегись с ним: кусается. Во всех наших делах — забияка.

— Вот как! — удивилась Анфиса и с игривым изумлением оглядела меня с головы до ног. — А глаза-то как у младенца.

Она подтолкнула меня к приставной скамейке, а сама упорхнула к кровати и выхватила откуда-то свернутую в квадратик газету.

— Ну-ка, прочитай, грамотей, чего тут напечатано об Астрахани. Вот это самое, — ткнула она пальцем в крупные буквы газетного листа. — Громче читай, чтобы все слышали.

Харитон брезгливо отмахнулся от газеты.

— Дикость одна. Куролесит купчишка, а она хохочет. Живоглот потешается, а ей лестно. Законный супруг!

— Эй ты, парнишка, соловей-разбойник! — прикрикнула на него Анфиса и погрозила ему пальцем. — Опять за свое? Не забывай, несчастный: ревность-то твоя мне сердце щекочет. Как же не хохотать?

Гриша почему-то встревожился и раздумчиво последил за Анфисой.

— Да, брат... человек в любви — не хозяин. Как рыбак в море: утром — благодать, а ночью — пропадать.

— И рыбак борется со штормом, — хмуро и зло осадил его Харитон.

— Читай! — приказала мне Анфиса и села рядом со мною. — Для веселья читай! Я люблю и со зла посмеяться.

Мать сидела против меня с застывшей улыбкой и молчала. Наташа глядела на Анфису с враждебным любопытством, словно открыла в ней что-то новое, что больно уязвило ее. А Прасковея невозмутимо разливала чай и раздавала стаканы озабоченно, как драгоценность.

Аромат янтарного чая опьянял меня, и я, страдая, ждал минуты, когда Прасковея протянет мне необыкновенное угощение.

— Ну, читай же ты, забияка! — капризно крикнула Анфиса. — Я хочу послушать, как это у ребенка получается.

Она дышала около моего уха горячо и нетерпеливо.

— «Избыток бурных сил у нашего купечества — своенравное проявление богатой русской натуры...» — начал читать я, спотыкаясь оттого, что с самого начала обрушились на меня странные, незнакомые слова.

Эти слова запомнились мне на всю жизнь: они были загадочны, звучали как заклинание. Вероятно, поэтому они и врезались в память. Так бывало со мною в деревне, когда я читал поучения святых отцов. Я читал, как купец Бляхин во время бесшабашного кутежа разворошил и напугал всю Астрахань: он бушевал в гостинице, выбил все стекла, перебил посуду, вместе с шайкой пьянчужек поломал мебель, выгонял на улицу постояльцев. Потом согнал с биржи всех извозчиков, вытащил из публичных домов полуголых девок и, разъезжая по городу, врывался в дома, заставлял девок вспарывать перины и выбрасывать их в разбитые окна. Вся полиция поднялась на ноги, и даже вице-губернатор пустился вдогонку за ним. Настигли его в женском монастыре, где он со своей оравой вламывался в кельи и срывал рясы с монашек. Он бушевал, как безумный, и орал: «Отдайте мне жену! Где моя жена? Какая же вы полиция, ежели не можете найти мою жену, которую у меня украли нигилисты?..»

Анфиса хохотала, извивалась около меня и вскрикивала, задыхаясь:

— Ах, какой же негодяй! Ах, дьявол бешеный! Вот это — характерец! Это я... это я такую бурю подняла... Из-за меня всю Астрахань разгромили. Ой, задыхаюсь! Харитоша! Ликуй! Обездолил купчика...

Харитон выхватил у меня газету и изорвал ее в клочья. Он впился жгучими глазами в Анфису и спокойно, но хрипло сказал:

— Довольно дурачиться. Стыдно при товарищах шутоломить. Они пришли к нам не для твоих представлений. Можешь перелететь к этому пьянице и громиле, если тебе охота: он скоро прибудет, ежели сыщиков сюда погнал.

Анфису как будто подрезало: она замолкла и съежилась.

Прасковея строго и веско осадила Харитона, вскинув на него осуждающие глаза:

— Ну, ты не очень-то власть свою показывай, мужчина! На ее месте я и сама похвасталась бы, как от тоски по мне именитый воротила на весь город бунтовал.

Она ударила кулаком по столу и густо засмеялась.

— Вот здорово! Ворвался к монашкам и ризы преподобные с них содрал...

Гриша усмехался, покачивая головой:

— Я не прочь потешиться над дурачеством купчишки. Это у них, самодуров, в обычае. Только парнишке читать такую газетку — не по возрасту: рано еще его в такие дела впутывать. А падать духом не надо, Анфиса. Не бойся, никакая сила тебя отсюда не выдерет. Хоть ты и взбалмошная, а люблю тебя за норовистый характер.

Анфиса вскочила со скамьи, подбежала к кровати и выхватила из-под нее бутылку с водкой, а из-за печки принесла — как наперстки, на пальцах — зеленые рюмки.

— Харитоша, откупори и разлей по рюмкам. Угомони свое сердце. Да и гостей приласкай. А я пьяна от радости: словно праздник светлый у меня сегодня...

— Эх, хорошо-то как у вас, Анфиса! — растрогалась Прасковея. — После нашей казармы — как в раю: уютно, приветливо и на душе светло...

— С милым рай и в шалаше, — рассмеялась Анфиса.

Мне тоже было хорошо: эта милая комнатка будто приласкала меня. Она улыбалась, как Анфиса, а воздух был мягкий и пахучий. Мать чувствовала себя радостно: она раскраснелась, глаза ее горячо блестели, и она любовалась и комнаткой и Анфисой. Наташа посветлела и заулыбалась.

— И когда мы будем жить как люди? — вздохнула Прасковея. — Я всю свою жизнь только и тратила силы на гиблую работу. А ненавистные люди смотрели на меня как на рабу, душу мою терзали и даже последнего утешения лишили — погубили ребенка.

Наташа покосилась на нее недружелюбно.

— Не ты одна в кабале, Прасковея. Мы средь зверей живем, а звери эти и тело и душу рвут. Со зверями надо зверюгой быть.

Анфиса заволновалась и вся устремилась к Прасковее и к Наташе.

— Подруги мои родненькие! Не надо печали... Жизнь и для нас дана. Мы живем, и сердце наше бьется, и солнце светит, греет и радует. И никто у меня жизни не отнимет, а зверей я отгоняю веселой душой и дерзостью.

Гриша неодобрительно глядел на Прасковею и удивленно шевелил бровями.

— На кого жалуешься, товарка? — негодующе, но мягко напал он на нее. — На волков не жалуются, а бьют их. Тебе не к месту говорить такие речи. Тот, кто дерется, — не жалуется, а бьет сплеча. В этом и жизнь наша. Без драки живут только раки: они пятятся. А мы деремся за жизнь человеческую. Анфиса хорошо сказала, от души: зверей нужно отгонять веселой дерзостью.

Прасковея вспыхнула, и в глазах ее блеснула злость.

— Не учи меня, бондарь! Я и так ученая. А плакать не собираюсь. Душа-то не только одной злостью

живет, а и думкой о счастье. Без этой думки человеку одна погибель. Я не за копейку, не за кусок хлеба страдать хочу, Григорий, а за вольную долю, чтобы не распинали нас разные злодеи да супостаты.

Харитон с огоньком в глазах встал, протянул руку к Прасковее и хорошо улыбнулся.

— Дай мне твою руку, Прасковея! Крепко-накрепко пожимаю ее и льну сердцем к сердцу. От души сказала и душу мою обняла. Вот оно, счастье-то! Пойми! А завтра оно разольется как море. Анфиса, иди сюда!

Анфиса бросилась к нему на шею, и он поцеловал ее.

— Молодчина, Анфиска! Такая ты мне и нужна.

Все рассмеялись взволнованно.

Харитон разлил водку по рюмкам и сам передал их женщинам.

Мать с испугом отмахнулась, отказалась и Наташа, но Харитон грозно прикрикнул на них:

— Это что такое? Не позволю! В такой час рвать дружбу? Прасковея, Гриша! Вы кого привели сюда — друзей-товарищей или монашек?

Наташа взяла рюмку и с сердитой улыбкой отразила обличительные вопросы Харитона:

— Не грозись, Харитоша: в другой раз топиться не буду.

— Вот! Это называется — удар сплеча. Но после Анфисы целовать тебя, Наташенька, не буду, а сыграю для тебя на гармонии.

Мать млела от радости и лепетала:

— Люди-то какие!.. Господи! Счастливые-то какие!..

Харитон стоял с рюмкой в руке и оглядывал всех блестящими глазами.

— Ну, друзья... тут о счастье тосковали. А дорогая наша Прасковея думкой об этом счастье жизнь свою как свечу зажгла. Мы все горим. А все вместе — уже не свечками, а полымем. О каком же счастье наша думка? О таком счастье, чтобы всем нам, всему рабочему люду, было хорошо, чтобы вольной доле своей он хозяином был, чтобы турнул всех

богачей и устроил свою жизнь без кабалы, без насильников, без царей, без полиции... А за это драться надо не щадя живота, скопом. На то мы и называемся рабочим классом. Вот и выпьем за нашу скрепу и за нашу свободу.

— Жди этой вольной доли! — проворчала, усмехаясь, Наташа. — А насильники — как колючки под ногами.

— Колючки люди выжигают, — уверенно сказал Гриша, — а победа бывает в драке. Не забывай, Наташа, как вы дрались на плоту. Ну, вот и выпьем за нашу драку и за счастье! Счастье само не приходит, а добывается.

Гриша и Харитон выпили до дна, а женщины только пригубили.

Харитон вынул из кармана пиджака бумажку, сложенную вчетверо, и оглядел всех настороженными глазами. Он поднял руку и сдвинул брови:

— А вот послушайте, как надо бороться за наше дело. У нас верные друзья есть, из Астрахани наезжают. Они нас на путь истинный наставляют и рука с рукой идут с нами. — Он оглянулся на окно и предупредил: — Вы поглядывайте на улицу-то для всячины. Тут псы разные и крысы забегают. А ты, меходув, как насчет язычка? У нас вон на улице шустрый песик есть — нет для него другого удовольствия, как тявкать.

Гриша подмигнул мне и засмеялся.

— Ну, ты, Харитон, нашего Васильича не трогай. Он не из болтунов. На секреты он у нас — могила, а на общее дело — герой. Правильно я говорю, Васильич?

Я был так потрясен недоверием Харитона и так оскорблен сравнением меня с песиком, что отпрянул от стола. Должно быть, я сильно покраснел, потому что лицу стало жарко.

— Чай, я не дурак, — вознегодовал я. — Аль я не знаю, как надо держать язык-то за зубами? Вы сейчас сами болтали не знай что, а я и виду не показал.

— То-то, брат Харитон! — с гордостью похвалился Гриша, кивая на меня кудрями. — На него надежа,

как на каменную гору. Ты нас с ним не обижай, Харитон.

— Порядок требует, — строго пояснил Харитон.— А обижаться в нашем деле нельзя.

— И заушать нельзя. Надо человека подбодрить, почуять, чем он хорош. Большое, хорошее блекнет, сходит на нет от маленького навета.

Мать слушала его самозабвенно и любовалась им.

— Хорошо-то как!.. — лепетала она. — Верно-то как!..

— Ах, не делай себя стариком, Гриша! — простонала Анфиса с умоляющим лицом. — Не учи, милый! Ты — артист, а не поп.

Бумажка в руках Харитона была грязная и измятая, исписанная печатными фиолетовыми буквами. Держал он ее бережно, заслоняя от нас другой рукой, и лицо у него было строгое и озабоченное. Твердый и тонкий нос и бритый подбородок стали как будто еще острее. Это была, вероятно, одна из тех прокламаций, которые тогда распространялись подпольщиками из Астрахани передачей из рук в руки верными людьми. Многого я не понял, многое пролетело мимо ушей: она показалась мне скучной. Помню, что в ней говорилось о тяжелой жизни рабочих на ватагах, что с работниц и рыбаков дерут по три шкуры, что платят за труд копейку, а требуют работы на рубль и заставляют гнуть спину от ночи до ночи. Говорилось также о штрафах, о болезнях, о том, что рабочих не лечат, а дни болезни не оплачиваются.

Все это я хорошо знал, и слушать это мне было неинтересно. И я удивлялся, почему взрослые люди так жадно ловят каждое слово Харитона, когда они могли бы сами рассказать об этом лучше и ярче. Они не забыли бы о смерти Малаши, о гибели сынишек Прасковеи и тети Моти, о неизлечимой ране на посиневшей ноге Гордея, о язвах на руках кузнечихи и Гали, об этих же штрафах и вычетах, которые сдирает хищная баба — подрядчица Василиса. Но все слушали с непонятным для меня волнением, словно ждали, что сейчас произойдет что-то необыкновенное. А когда Харитон предупредительно поднял

руку и стал читать раздельно и повелительно, напряженное ожидание их и сдержанные вздохи вдруг взволновали и меня. В бумажке кто-то призывал держаться теснее друг к другу, бороться сообща и дружно против штрафов и вычетов, работать не семнадцать часов, а только десять, требовать непромокаемых перчаток для работы, сапог, штанов и курточек, требовать в приварок мяса, масла, зелени, а сухую воблу не принимать. Надо, чтобы больных лечили и построили больницу в поселке. Ежели хозяева откажут, то всем вместе, как один человек, стоять на своем твердо, не поддаваться на уговоры и угрозы, а тех, кто не подчинится артели, выбросить из казармы, как недругов. Ежели вызовут полицию, сплотиться еще крепче, ничего не бояться. Сейчас и хозяева и подрядчики решили еще сильнее прижать рабочих на промыслах, а зимою хотят многих выгнать на улицу. Этого нельзя допускать: надо приготовиться к драке. Когда объявит контора о расчете — сразу же сговориться, чтобы отразить это нападение на рабочих людей: на работу не выходить и никого на плот, в лабазы, в мастерские не допускать. Везде выставить своих верных людей. Не надо забывать, что с весны ожидается холера. Она всегда начинается на промыслах, где люди живут хуже животных, недоедают, не отдыхают и питаются всякой дрянью, от которой и свиньи отворачиваются.

Харитон опять сложил бумажку, щелкнул по ней пальцем, спрятал во внутреннем кармане и оглядел всех с пронзительной усмешкой в прищуренных глазах.

— Вот оно как! Написано пером, а по башкам бьет багром.

Женщины молчали, но в глазах их горело нетерпеливое ожидание. Даже Наташа повернулась к Харитону с недоверчивой, скупой улыбкой. Мать взволнованно поглядывала и на Прасковею и на Гришу, и глаза ее, широко открытые, потемнели от беспокойства.

— Тут говорить нечего, — решительно сказал Гриша. — Все верно. Надо только за дело приняться.

С рабочими разговор вести будем мы с Харитошей, а резалок вы уж, товарки, в работу возьмете. Прасковея — вожачка: так ей на роду написано.

Прасковея взглянула на Гришу осудительно и передернула плечами.

— Это вы оба вожаки, а мы уж так — по бабьему делу у вас на посылках будем.

Она выпрямилась и отодвинула стакан в сторону.

— Ты спряталась бы куда-нибудь, Анфиса, когда приедут именитые промышленники. Разгул-то они из году в год устраивают: набрасываются на молодятину, как жадные тюлени на селедку. Это не диво: привыкли к этому. А диво будет, ежели ни одна бабенка, ни одна девка не пойдет, хоть их и силой погонят. С этого и драка начнется. Листок-то надо бы переписать да из рук в руки передавать: он по сердцу людям будет. Кто грамотный, своим дружкам прочитает.

Харитон с размаху положил ладонь на стол, и лицо у него стало строгим и колючим. Он опять оглянулся на окно и тихо, словно по секрету, проговорил:

— О листке никому ни слова: вы ничего не знаете и никакого листка не видали. Говорите все, что слышали, и сами думайте, что делать. Самовольничать нельзя. Без нашего совету ничего не начинайте. Дел-то невпроворот: тут и купцы нагрянут, надо, чтобы ни одну женщину не загнала Василиса на поганое гульбище. Тут и с подрядчицей опять начнется драка. Не легкое дело с нашим народом стенкой идти: деревенщины много, затурканных много. Ну, да ватажная жизнь здорово их помяла: и штрафы, и вычеты, и хозяйская лавочка; и подрядчица много насобачила. А о нас с Анфисой не заботьтесь: никакие сыщики нас не разыщут. Сюда ни сыщикам, ни полиции ходу нет.

Анфиса сняла со стены гармонию и подала Харитону.

— Порадуй-ка гостей, Харитоша! Споем, потанцуем. А листочек дай-ка мне, а то он прожжет твой

кармашек, да и улететь может куда не надо... пускай вместе с другими прикорнет до своего часа.

Харитон засмеялся, вынул бумажку из кармана и сунул в руку Анфисы.

— Вот она какая у меня заботливая да приветливая!

Он заиграл что-то очень красивое, с узорчатыми переливами. Я сразу же забыл и о чае, и о кренделях, и обо всем на свете: меня ослепили эти переливы и чудесные напевы. Не знаю, долго ли продолжалось это мое блаженное забытье, но очнулся я от прикосновения ласковых рук Анфисы. Она обнимала меня и смеялась.

— Смотрите, смотрите: ведь он плачет, а не чувствует этого... милый мой мальчик!

XXXII

Моряна разгулялась в эту ночь буйно и грозно: дребезжали окна от ударов, дрожали стены, вопила печная труба, и где-то близко выли стаи волков. Мне чудилось, что они окружили нашу казарму и царапались лапами в дверь и в стены. Но люди спали крепко, храпели на всех нарах и невнятно бормотали во сне. Спала и мать. Наташа лежала рядом, и я не слышал даже ее дыхания. Но проснулся я от жуткого воя волков и долго не мог успокоиться. Кряхтел и стонал Гордей: должно быть, нога у него болела нестерпимо. Олена тоже стонала, и стоны ее были похожи на рыданье. Наташа села на своей постельке, и в мутном мерцании привернутой лампы я видел, как она, опираясь, локтями о колени, обхватила растрепанную голову ладонями и закачалась из стороны в сторону. Мне стало страшно: на нарах вверху и внизу, в грязных ворохах дерюг, одеялок и разного тряпья лежали люди. Было душно, болела голова, и дурманный смрад, густой и вязкий, судорожно сжимал горло.

Я подполз к Наташе и схватил ее за руку.

— Не надо, Наташа, не качайся!

Она повернула ко мне лицо и спокойно, дружелюбно прошептала:

— Не спишь? И я не сплю. А чего бы тебе не спать-то? В твои годы ребятишки крепко спят.

— Я от волков проснулся: слышишь, как воют? Они, должно быть, на дворе и перед окошками.

— Не волки страшны, Федя, а люди.

— Я знаю.

— Ничего ты не знаешь: ты еще невыросток. Откуда тебе знать-то?

— Аль я слепой? И в селе у нас и здесь, на ватаге, — все люди перед глазами. Ты думаешь, я не понимаю? Я все чую. Я и сам, чай, много помаялся.

Она тихо засмеялась и обняла меня.

— Чудной ты какой-то! Сам с вершок, а слова с горшок.

Около нее мне было приятно: в ней чувствовал я доброе сердце, умную опытность и неподатливую силу. С женщинами в казарме и на плоту она не дружила, сторонилась всех, словно никому из них не доверяла и не уважала никого. Даже с Прасковеей и Гришей держалась с молчаливой настороженностью, а к матери относилась как к безобидной простушке. Но меня она любила: я видел это по ее глазам и по приветливой, хоть и скупой, улыбке. Очень внимательно присматривалась она и к Феклушке. А один раз, в воскресенье, когда кузнечиха ушла с Улитой в церковь, она долго сидела у девочки, и они о чем-то шептались, не отрываясь друг от друга. Потом она уже каждый вечер подходила к ней, не обращая внимания на отца и мать, совала ей что-то в худенькие ручки, медленно склонялась над ее головой. Отходила она от нее растроганная, с гневными глазами.

— Люди и собак холят, — бормотала она, вскакивая на свои нары, — а тут своего ребенка затоптали.

Я видел, что она с любопытством прислушивалась и приглядывалась к людям. Хотя по-прежнему она была молчалива, но скупая и удивленная улыбка вздрагивала на ее лице. И еще одно я почувствовал: она привязалась ко мне и стала говорить со мною,

как со взрослым, в такие моменты, когда нас никто не слышал.

Вот и в этот ночной, волчий час Наташа прижимала меня к себе своей тяжелой рукой, и мне казалось, что ей тоже жутко, как и мне.

— Вольницей нас зовут, — шептала она насмешливо. — А мы — как арестанты. Забросили нас в пески, в дикое место, где и не растет-то ничего, загнали в бараки, как скот, запрягли в работищу, и живем мы под палкой, в голоде, в болезнях. Вот тебе и вольница! У нашей воли много горькой соли. И все — беззащитные. Даже ты, недоросток, не спишь по ночам, маешься. И Феклушка вон как старушка. Вам играть бы надо, звенеть бы своими ребячьими годочками, а вы в большие тянетесь.

— А куда же денешься? — заспорил я. — С кем играть-то, да где, да во что? Ты вон девка молодая, а не пляшешь и не поешь.

— Как же я буду петь да плясать, Федя? Я каменная стала. Не песня, не радость у меня на душе, а нож за пазухой. Была у меня радость: любил меня хороший человек, а мою любовь сгубили...

— Аль я не знаю? — с участием ответил я. — Я ведь все чую.

Она неожиданно прижала мою голову к своей щеке.

— Парнишка ты милый! С тобой у меня и сердце-то как маков цвет распускается. И думаю я: моя-то беда — ядовита, да спрятана, а вот люди наши, как одры, чужой воз везут и надрываются. Харитон, Гриша, Прасковея знают, где человеку место. Прасковея-то как повернула... на плоту-то! Не то еще будет. Они не одни... Их много. И все они за руки держатся.

Сквозь дрему в последних вспышках сознания слова Наташи превращались в порхающие тени. И эти тени незаметно шли передо мною нарядными девчатами и парнями, которые держались за руки, смеялись и пели под звуки гармонии. Смеется Гриша и манит меня рукой: «Васильич!..» Прасковея рядом с ним в хороводе, с высоко поднятой головой. Она смотрит куда-то вдаль радостно и гневно.

Шагает, блистая гармонией, Харитон и лихо бегает своими пальцами по ладам. Праздник, веселье, весна... К берегу бегут в солнечных искрах волны и заливают сами себя зелеными гребнями. Жалобно кричат чайки. Они стонут, просят о помощи, и мне больно от их крика и тягостно.

Я проснулся, как отравленный, колыхаясь в дурманном тумане, с тяжелой тревогой в сердце.

Какая-то женщина стояла на лежанке печи, мутно освещенная привернутой лампой. Пахло дымом и гарью. Раскосмаченная голова поднималась из-за нар и опять опускалась. Женщина с лицом Олены, искаженным болью, с ужасом в глазах, стонала и надрывно вскрикивала:

— Не гляди, Федя! Ляг! Не гляди!.. Тебе не надо глядеть...

Сердитый голос матери прикрикнул на меня:

— Ляг сейчас же! И головы не подымай!

Каким-то внутренним чутьем я угадал, что Олена пришла сюда, на лежанку, родить, а мать помогает ей. По голосу матери видно было, что она хлопочет около Олены охотно, участливо, с обычной своей горячностью и находчивостью.

Тетя Мотя возилась около плиты и растроганно бормотала сама с собой. Гордей лежал пластом и уже не спускался с нар: нога у него стала черная. В казарме говорили, что у него «антонов огонь». Что такое антонов огонь — никто мне не мог объяснить, и я представлял себе это так, что нога Гордея мерцает по ночам, как гнилушка, и обугливается.

Все спали, все привыкли и к стонам больных, и к храпу, и к бреду во сне. Я заметил только, что Гриша, накинув на плечи свой длинный пиджак, с фартуком и картузом в руке, вышел из казармы зыбко, на носках, чтобы не оскорблять стыдливости женщин и не мешать такой трудной, мучительной повинности Олены, как родить младенца. Я тоже лег и закрыл голову одеялом.

Голосок матери, ласковый, певучий, ворковал озабоченно, с какой-то странной радостью, переплетаясь со стонами и криками Олены. Участливо бор-

мотала и тетя Мотя. Лилась и плескалась вода, дребезжало железное корыто.

Так продолжалось до утреннего звона колокола, и я, измученный, с непонятным отчаянием в сердце, заплакал, задыхаясь под подушкой. И в тот самый момент, когда дробно зазвенел колокол на дворе, Олена закричала так страшно, что я невольно вскочил на колени. И сразу же услышал, как заорал ребенок. Мать тоже вскрикнула и засмеялась.

— Гляди-ка, тетя Мотя, парнишка-то в сорочке родился!..

— В казарме родился, милка, — проворчала тетя Мотя. — Мой тоже в казарме, в этой же... и тут же, на этом месте...

Звонил колокол, дробно, настойчиво; кричал во все горло младенец; плескалась вода; возбужденно говорила что-то мать, и тихо, утомленно, покорно лепетала Олена.

И вдруг я почувствовал, что на лежанке стало пусто, я понял, что Олену увели на ее нары, а ребенка, должно быть, положили рядом с нею.

Я спрыгнул на пол и пробежал в куток за печь, чтобы умыться. Всюду на нарах началась возня, люди зевали, озирались. Кто-то из мужиков хрипло пробормотал:

— Ну вот... новый звонок появился! Уходить надо из бабьей казармы... а у рыбаков задохнешься от табачища.

Мать оделась быстро и, вся возбужденная, горячая, с радостно-удовлетворенной улыбкой, ловко и прытко соскальзывала и поднималась на наши верхние нары то с жестяным чайником, то со сковородкой, на которой поджаривались ломти хлеба на бараньем сале. Она испытывала особое удовольствие потчевать этими обжаренными ломтями и Наташу и Гришу, а сейчас подбежала к Олене и совала ей это лакомство. Перед нарами Олены стояли Прасковея, Оксана и Галя. Подходили и другие женщины и смотрели на Олену с ребенком. У Прасковеи было необычно умиленное лицо: лучистые морщинки дрожали у глаз и на углах рта. Она развернула и встряхнула

перед собой белой рубашкой, как раз для моего роста, потом опять торопливо свернула ее и, опираясь коленкой на край нар, положила сверток на живот Олены.

— Это — на зубок. Рубашонка-то сынка моего... Новенькая еще была: один только разок и надел.

И сразу же отошла к своим нарам. А Оксана и Галя пристально глядели на Олену с младенцем, который кряхтел и урчал у ее груди, перешептывались и улыбались. Потом обе торопливо пошли к своим нарам. С обмотанными руками, Галя была одета по-домашнему и не собиралась на плот, а Оксана в штанах гибко и легко вскочила на нары и порылась в своих вещичках и под подушкой у Гали. Они посоветовались о чем-то, посмеялись, подталкивая друг другу. Оксана опять подбежала к Олене и бросила ей какие-то белые тряпки. Олена протянула к ней руки и заплакала навзрыд.

— Да ты чего это... дуреха? — дрогнувшим голосом крикнула Оксана. — Все до тебя ласковы, все сердцем милые, а ты слезы льешь!

— От радости, Оксанушка, — рыдая, лепетала Олена. — Меня и сродники так не привечали.

Я чувствовал тоже, что люди в казарме — и резалки и рабочие — как-то присмирели, словно боялись нарушить истовую сосредоточенность. Произошло событие самое простое и обыденное — родился новый человек. Все ждали со дня на день, что Олена родит, и относились к этому так же равнодушно, как и к болезни Гордея и Гали и к затяжному недугу Феклушки. Будоражились насчет расценок, толковали о скором приезде хозяина и гадали, как он здесь покажет себя. Но вот сегодня ночью родила Олена, и во время ее родовых мук все проснулись и безропотно молчали. Казалось, что это событие поразило всех в тот именно момент, когда задребезжал утренний колокол на дворе, а вместе с ним закричал и ребенок. Все стали мягче, добрее, и как будто всем стало вольготнее. А когда завтракали за столом и у себя на нарах, к Олене подходили то одна, то другая резалка с кружкой в руке, с чашкой болтушки и участливо, с певучими причитаниями угощали Олену,

и она отвечала им такими же причитаниями, хоть и болезненно, но счастливо.

Днем, в час обеда, оглушило нас другое событие. После звонка резалки обычно шли в казарму с песнями и пляской. Но теперь они брели молча и как-то нехотя. Кузнец в недоумении таращил глаза на белоштанную толпу и басил:

— Это чего, Степан, бабы-то наши — как овцы без пастуха? Словно и в дверь-то боятся идти...

Степан опустил свой тяжелый молот и, вглядываясь в толпу, без обычной шутливости соображал:

— Двери настежь, а народу нету ходу. Не иначе, в казарме несчастное приключение. Не Гордей ли помер?

— Кончай работу! — распорядился Игнат. — Запирай кузницу! — И, сняв картуз, заворошил волосы с тревогой в красных глазах. — Уж не девчонка ли моя?..

Степан с добродушным негодованием отмахнулся от него.

— Зачем девчонка? Уж ежели на то пошло — так это обязательно Гордей. Я знал, что он сгорит: от антонова огня спасенья нет.

Я побежал к толпе, которая встревоженно и боязливо тормошилась перед камышовыми сенями казармы и растерянно гомонила. Ни матери, ни Прасковеи, ни Наташи не было в этой толпе. Только Оксана с Марийкой стояли впереди, спиной к двери, и, сдвинув брови, упрямо загораживали вход. В казарме глухо выкликала женщина, — должно быть, Олена.

В казарму я не пошел: мне было жутко видеть Гордея, который обугливался у меня на глазах. Я побежал через плотовой двор на берег — поглядеть морской прибой. Теплый ветер дул бурными порывами и вихрями поднимал песок на улице. На плотовом дворе носилась в воздухе сухая чешуя. Грязные тучи плыли низко, тяжело и синей мглой оседали на далекие песчаные курганы. Необъятный грохот волн бушевал по всему побережью. Волны неслись из туманной дали клокочущими белыми гребнями. Баржа

опять гуляла на своей ржавой цепи. Чайки стаями носились над волнами, жалобно повизгивали, летели навстречу ветру, но, должно быть, им не под силу было справиться с тяжелыми своими крыльями, и они трепетали на одном месте, а потом, подхваченные ветром, быстро неслись к берегу и опять взлетали кверху.

Море уже затопило весь плот, и волны кипели между столбами и били в закрытые двери лабаза.

Но жиротопня по-прежнему дышала на холме, и дым, прибитый ветром к земле, мутной полосой улетал в заросли бурьяна. Старик Ермил с черпаком в руках дежурил у печи, среди бочек. Он увидел меня, ткнул в сторону моря своим черпаком и что-то невнятно крикнул дряблым, глухим голосом. И я понял, что он не велит мне подходить к берегу. Потом он изобразил рукою волны и широким взмахом показал на поселок и на наш промысел: эта моряна взберется, мол, на берег и затопит плоты и жилье. И по седобородому закопченному лицу его видно было, что он улыбается: не то он был доволен, что моряна хлынет на наш плотовой двор и на улицу и зальет бондарню, и запасы соли, и нашу кузницу, и казармы, не то хотел испугать меня, словно чародей, который вызвал эту бурю.

Но я неудержимо бежал навстречу ветру, к бушующему прибою. Мне чудилось, что волны зовут меня, приветственно машут своими пенистыми наплесками и смеются. Там было раздолье, несусветная чехарда шквалов, бунт моря, которое всей своей махиной ринулось на берег.

Навстречу мне летели мелкие брызги и туманная сырость. Густо пахло морем — водорослями, рыбой и солодом. Очень далеко, у горизонта, в разных местах призрачно маячили рыбачьи посуды: они исчезали и появлялись, как черные бакланы на волнах. Я подбежал к самому краю берега, но в этот момент огромная волна с грохотом ринулась на меня водопадом, окатила песчаную отмель и с разбегу рванулась на песчаные осыпи, к моим ногам. Я не успел отскочить назад, и вода, бушуя, вцепилась в мои

сапожонки и облила штанишки. Потом так же быстро, с шумом и с грохотом, отхлынула обратно. Но навстречу ей загибалась другая страшная волна, сожрала ее всю до капли и с ревом бросилась на песчаную отмель, словно хотела накрыть меня и проглотить, как первую волну. Штанишки сразу намокли и холодно прилипли к ногам, а в сапоги налилась вода. Море было живое, оно, лохматое, бежало к берегам, яростно играло, плясало, кувыркалось и рвалось на берег.

Ветер свистел в ушах, щипал лицо и отталкивал меня назад. Но я крепко стоял на песчаном холмике и смотрел на мутные волны, которые вздымались у берега. Моряна гнала воду бурно, словно где-то далеко прорвалась плотина и вода ринулась на нашу косу.

XXXIII

Опираясь на черпак, облитый жиром, сам пропитанный жиром, стоял позади меня старик Ермил. Грязно-седая борода его сбилась в клочья, как пакля, и торчала в разные стороны, опаленная огнем, а глаза слезились и были туманны, без зрачков. Скомканная старенькая шапка на голове похожа была на бабий волосник. Лицо его было синее от копоти и испачкано жиром. На прибой он не обращал внимания, а пристально всматривался в клокочущую даль, словно видел там что-то необычное и смутившее его. Он жевал беззубым ртом, встряхивал серой бородой, невнятно бормотал что-то про себя и не замечал ни брызг, ни ударов ветра. Это был крупный старик, такой же, как кузнец Игнат, но уже дряхлый, с больными ногами.

— Забунтовал Иван Буяныч... С ума сводит морского хозяина. Карахтерный мужик! И здесь, на земле, атаманом был — никого не боялся, и там, с морским хозяином, карахтер свой неукротимый показывает. Когда в море убегал с ребятами, смеялся — страсть посмеяться любил!

Мне было непонятно, кто такой был морской хозяин и кто такой — Иван Буяныч. Ежели это был дружок жиротопа, то каким образом он, живой, очутился в море и почему-то скандалит там с каким-то хозяином?

— Шуми, шуми, Иван Буяныч, бунтуй! — бормотал жиротоп и задыхался кашлем от смеха. — А чего добился, неуемный? Только штормов стало больше, а рыбы — меньше: распугал, угнал на зюдь. Попал в плен к Хвалыну, и связали тебя морской травой.

Мне не терпелось узнать, что случилось с этим Иваном Буянычем и как он попал в плен к Хвалыну, хозяину моря? Чтобы проверить, не безумный ли старик жиротоп, я выпалил:

— А Гордей-то, солильщик, сейчас помер. В казарме лежит.

Он даже не взглянул на меня и не отнял ладони ото лба.

— Гордей-то? Чего же скажешь! И Гордей — не чародей. Значит, отвел свой урок.

Он, как и другие люди, с которыми я жил, говорил готовыми словами, и у него, должно быть, на всякий случай жизни были в большом запасе складные присловья и поговорки. Удивляться и тревожиться не было ему нужды: он прожил большую и трудную жизнь, как и множество других людей, и привык глядеть на всякие события спокойно, безучастно, как на неизбежность: день сменяется ночью, человек рождается и умирает, подует моряна — пригонит море к берегам... И на каждый случай у него — готовая, накопленная веками мудрость. Мудрость эта несложная, но успокоительная: думать ему не о чем — все до него обдумано и решено многими поколениями людей. Но и у него, оказывается, есть своя тайна, которая бередит его душу.

— Ты, рыбачок, стой встречь ветру плечом да виском. Парус убери — посуду уложишь.

— А какой это Хвалын-то? Аль в море тоже есть хозяева? Как же это живой человек Иван Буяныч в глыбь полез?

Старик зачем-то сорвал мой картуз и неустойчиво пошагал на курганчик. Он сел на тупой и каменно-твердой вершинке и велел мне сесть рядом с собою. Осмотрев вторично мой картуз и изнутри и снаружи, он неодобрительно покачал головой и разочарованно сунул его мне в руки, а шапку свою положил под бедро.

— Звали-то его Иван Гурьяныч, это мы его величали Иван Буянычем. Рыбак был лихой. Кровь с молоком. Косая сажень ростом. Богатырь. Карсаки — самые непобедимые борцы. А он клал их на спину, как кутят. Они, карсаки-то, бегуны отчаянные. А он как ветер летел по степи — на коне не догнать. Весельчак был, плясун, какого не сыскать ни в одном стане. Молодой, а везде бывал, весь Каспий знал и всем друг был и товарищ — от Астрахани до Баки, от Баки до Кара-Бугаса, от Эмбы до Дербента. А рыба словно сама к нему шла: рыбье слово знал, а спроть штормов имел заклятье. Дева Моряна его хранила и тайности ему открывала. Бывало, захватит буря рыбачьи посуды, побьет их, и люди тонут, а он бежит к берегу невредимый, с богатым уловом и издали смеется да форсит, как в праздник: «Принимай, братцы, севрюжину да осетра благородного! Севрюга — для друга, осетры — для сестры. Исстари так велось у наших дедов-прадедов, вольных рыбаков. Хоть мы, рыбаки, сейчас в неволе, а я храню добрый обычай: осетра да севрюжку — в общий котел!» Вот какой был Иван Гурьяныч. Страсть любил встречать штормовую моряну. Как затрубит да забунтует она: ночь, полночь, — срывается с нар и орет, как удалой атаман: «Сарынь на кичку! Грянула моряна-буряна! Эх, погуляют посуды мои, как лебеди, по волнам, а Хвалын в самоловные снасти мои красную рыбу погонит». Ребята — за ним, как встрепанные. Поднимают паруса, и улетают, как морские орлы, наперерез шторму, и пропадают из глаз. А ежели суховей отгонит море, а посуда лежит на песке, Иван Буяныч места не находит: тоскует, мечется, как рыба на берегу. А потом соберет свою вольницу, и начинают гулять. К ним тогда никто не подходи...

Управители сами ему ведро водки выставляли и обхаживали его, как грозного атамана. Ничего не скажешь: такие ловцы, как он да его молодцы, — дороже золота, об них по морю слава идет.

— Я тоже знаю таких рыбаков — Карпа Ильича да Корнея, — похвалился я. — Их на льдах носило, и посуду што́рма разбивала. А они вот живые.

Жиротоп отмахнулся от меня и сморщился от беззубого смеха, выжимая слезы из распухших век.

— Это Карпушка-то? Карп, он карп и есть — сазан. А сазану осетром не быть. У меня Карпушка-то с Корнеем подручными были. Вместе с ними я все море обмерил. Карпушка-то у Ивана Буяныча и борта не нюхал. Я тоже был лихой моряк — силач, красавец. Промышленники страсть как за мной охотились. А Иван Буяныч меня даже однова в свою артель вовлек. Щегольнул я перед ним по пьяному веселью своей моряцкой бывалостью, а он меня схватил за ноги да башкой в песок и воткнул. Ловцы хохочут, а мне зазорно: честь-то моряку дороже жизни. Рыбаку в зазоре не видать моря. Ну, я, конечно, осатанел — и страх и почтенье потерял: сковал его ноги руками-то и поставил его рядом с собой, как пешню. Застыли оба и торчим: друг друга за ноги держим. Я — вверх тормашками, башка — в песке, а он — ни с места, и сапоги к песку припаялись. Слышу, моряки от хохота как верблюды ревут и уже его в потеху взяли.

Жиротоп задыхался, всхлипывал, кашлял, и слезы скатывались у него по усам и бороде крупными каплями. Он смеялся, вспоминая прошлое, и как будто даже помолодел. Должно быть, он дорожил памятью об этом событии: никто не смел и пальцем дотронуться до именитого рыбака-атамана, всякий принимал его обиды и шутки как награду, и всякий норовил поймать его властный и умный взгляд и первым выполнить его приказ. И я представлял его себе сильным и веселым мужиком, похожим на Гришу, и тяжелым, в бахилах, как в железе, похожим на Карпа Ильича или Корнея. Но я хохотал, когда старик рассказывал, как Иван Буяныч схватил его за ноги и воткнул в песок. Вероятно, Ермилу было приятно, что

я заливаюсь звонким смехом, потому что он поглядывал на меня с лукавым добродушием: вот, мол, как я его, славного атамана, пригвоздил!..

— Не всякого он, браток, в свою ватагу брал. Привечал того, кто ему по нраву был.

— А долго вы так торчали-то? — не переставая смеяться, потянулся я к нему и незаметно обхватил его костлявые колени. — Чай, ведь на голове-то, дедушка, стоять не мило.

— Куда там!.. Думал, позвонки сломаю. Ну, видит он, что клешни-то мои не разорвать — взаклад я ноги-то его взял, — диву дался, обомлел весь. Рванул меня вверх — не берет, хотел сапогом лицо мне раздавить — я с сапогами-то его скипелся. И главное дело, ребята со смеху катаются, а ему — ущерб. Другой на его месте отшвырнул бы ноги-то мои да на меня бы и грохнулся, а он сам захохотал и похлопал сапогами моими, как ножницами: «Таких, говорит, мне и надо. В моей ватаге будешь. Хоть ты и Ермил, а меня вразумил... То-то! Дальше моей ватаги не шагнешь. У нас все шито-крыто: никакие ветры наши утайки из шайки не выдуют. И выходит — судьба: ты меня спроть шерсти погладил без робости, а я хотел показнить тебя за дерзость — и сам в клещах очутился. Ну и спаялись. Казнить человека без разума — себя казнить. Спасибо за науку. Почуешь себя дураком — умнее станешь. То-то!» Обнялись мы с ним и с того дня не разлучались. Зато и натерпелся я от него, неукротимого! Как только штормовая моряна — так и в море. Ребята были на подбор: ни черта, ни бога не боялись, сами черти от них как воробьи разлетались. Неделями по морю носились, а они только бесились пуще. Сам-то Иван Буяныч — как гром с грозой, у всех на виду и день и ночь бушевал. А глядя на него, и моряки, и я с ними как железом наливались. Эх, и люди были! В эти штормы Иван Буяныч словно на свободе гулял: гроза грозой, а веселый, лихой да удалой был! Заметит, что кто-то из ребят духом ослаб, — коршуном на него: сцапает, вскинет над палубой и орет: «В море выброшу, тухлятина!» И знали, что не попусту грозит: не пожалеет,

выбросит. Толковали про себя на берегу: бывали такие оказии: струсит человек, обомрет — и летит за борт. А никому и в разум не придет, чтобы сболтнуть нечаянно: только моряна да ватага знали.

Этот рассказ старика так меня захватил, что я дрожал от волнения. Это было похоже на сказку, даже сильнее сказки: это была сама жизнь, а не досужий вымысел. Сказочные богатыри всегда казались мне призраками, созданными людьми для утешения, чтобы легче было переносить безотрадную и подъяремную жизнь. А такие богатыри, как Руслан или Гуак, мерещились мне как причудливые образы сна: одеты они в старинные одежды, которых не бывает в жизни, и кони их небывало тонконогие, с шеями, похожими на крендели. Они витают где-то вне жизни, подобные Егориям-победоносцам. А вот Иван Буяныч — наш, живой человек, такой же, как Карп Ильич или Гриша-бондарь. Да и жиротоп рассказывает о нем как о своем атамане-дружке, с которым он плавал по морю не один год. Этот Иван Буяныч стоял передо мной — такой же большой, коренастый силач, как дядя Ларивон, с такой же длинной бородой, такой же ласковый и страшный.

Жиротоп глядел сквозь слезы на гривастые валы и на прибой, словно зорко следил за чем-то вдали. Но я ничего не видел, кроме всклокоченных волн, которые неслись к нам от горизонта кипящими шквалами, необъятно шумели и, вздымаясь на отмели, обрушивались с грохотом и гулом.

Старик морщился и мигал от брызг и водяной пыли. Обняв колени узластыми руками, он будто забылся и шептал что-то непонятное, усмехался и озадаченно крутил головой.

— Вот уже двадцать пять годов... — пробормотал он, вздыхая. — Убежал в море... Морянка была... такая же вот свеженькая, как сейчас. Случилось это с ним, когда был выпимши. Любил под парусом один встречь ветру по шквалам гулять.

Я нетерпеливо ждал, что будет дальше с Иваном Буянычем, но жиротоп опять замолчал и задумался.

Мне было досадно, что он замолк на самом интересном месте: куда побежал один Иван Буяныч? Что с ним случилось? Почему двадцать пять лет о нем ни слуху ни духу? Тут уж была какая-то тайна и быль переплеталась со сказкой.

— Дедушка! — с жалобной настойчивостью крикнул я, встряхивая его колени. — Дедушка, рассказывай, чай!.. Иван-то Буяныч утонул, что ли? Аль, может, разбойник был?

Ермил вздрогнул и опамятовался, словно я ударил его. Но, очевидно, вспомнив, что перед ним парнишка, оттолкнул меня, а потом сразу схватил за плечо и дрябло засмеялся.

— Чего болтаешь-то, сатаненок? Это Иван-то Буяныч разбойник? Да такого человека искать — не сыщешь. Последнюю рубашку товарищу отдаст. А заболей — все бросит и сам будет отхаживать. Однова шквалом человека сбросило в море, буря была неисповедимая. Он кинулся в волны и спас его. Ну-ка, в шторму-то попробуй броситься в море — верная смерть. А он и не подумал о себе. Как был в бахилах, так и кинулся в пучину-то. Хоть и бесстрашный народ, через всякие беды прошел, а вся команда в одночасье онемела. И сейчас в ум не возьму, как это он не утонул и человека вызволил. А ведь посуду-то как щепку бросало, и его с товарищем вверх швыряло, шквалами заливало, а то и прочь отбрасывало...

Старик разволновался, вспоминая об этой буре, и задыхался, хватая воздух открытым ртом. Тусклые глаза его застыли в ужасе. Но я понял, что эта тяжелая одышка и страх в глазах — не оттого, что он заново переживал это далекое событие, а от старческой слабости. Он долго кашлял — хрипло, со свистом, изнурительно — и, измученный, прилег на песок. Отдохнув немного, он поднялся и опять обхватил руками свои колени. А мне как-то не верилось, что этот одряхлевший старик был когда-то лихим моряком, ловким, бывалым и сильным парнем, который боролся со штормами и ватажничал с какими-то удалыми богатырями.

— Молчок, сверчок! Проживи с мое, поборись с бурями да с бедами — и ты такой будешь, как вон та баржа-старица. А старость для нас — напасть да бесславье. Иван Буяныч только одного и боялся — дряхлости. Старость — зазор, мол, да наказанье для человека. Судьба — неправедный судья: она всех в один невод гонит и в одном чану солит. А я, мол, поперешный уродился — наперекор люблю жить: хоть и внаем иду, а в неволе не буду, хоть встречь буре бегаю, а ей не поддамся. Я Деву Моряну люблю и Хвалыну предан, а спорю с ним с открытой удалью. Говорок уж больно красный был, да и мастер разные чудеса разводить.

Хотя старик и кашлял и обрывал свой рассказ, но в хриплом, клокочущем его голосе слышалась внутренняя сила и убежденность. Захваченный его рассказом, я даже перестал замечать его дряхлость. Так молодо старики не вспоминают о прошлом: все они сокрушаются о глупости молодых лет, стонут и стараются показать свою беспомощность и греховность, словно хвастаются своими старческими недугами. А жиротоп Ермил досадовал на свою одышку и кашель и шутил над своей старостью. Он, должно быть, любил вспоминать свою молодость и гордился ею: сильный был, ловкий, удалой моряк, который не боялся ни бурных непогод, ни гибельных опасностей. А ватажная вольница была надежной защитницей от всяких напастей, где каждый стоял друг за друга, где каждый ценился по его силе, умельству и верности и где никто не знал ни усталости, ни уныния, а веселились да гуляли, как богатыри. И вот теперь он, должно быть, видел во мне не просто парнишку, а человека, перед которым охота ему заново вспомнить дни молодости. Я видел, что глаза его свежели и весь он как будто становился бодрее, сильнее, коренастее. Он, вероятно, был одинок, покинут и забыт всеми, как не нужная никому человеческая головешка, и рад был всякой живой душе, которая доверчиво подходила к нему. Я почувствовал в нем человека, который сохранил в себе страстную привязанность к морю, любовь к сильным и мужественным людям

и, очевидно, не хотел знать молодости без удали и подвигов. Вот волнуется море, бушует, бьется в берега, а он смотрит на него не отрываясь и улыбается. О наших людях он ничего не говорил — ни доброго, ни худого: они будто не интересовали его, — а к смерти Гордея отнесся безучастно. Он жил только образами своей вольной юности и считал и себя и своих былых друзей людьми особой породы, а люди, с которыми он жил сейчас, казались ему, должно быть, незначительными, бедными духом, не способными ни на какие отважные дела. Я одно уловил в его глазах — любовную зависть к своему другу Ивану Буянычу, который поднял бунт против судьбы-злодейки и бесстрашно ушел в безвестные дали.

— Поведал он нам такую свою былину, какую люди зовут небывальщиной, — вспоминал старик. — Шутейными небывальщинами никогда он нас не морочил, слов зря на ветер не бросал и лжу хуже холеры считал. Холера от грязи да мерзости, а лжа от коварства. За лжу готов был убить человека, хвальбишек на позор пускал. Однова на стану такого враля нагишом через народ прогнал. А тот от стыда и на глаза не явился — сгинул. И вот что с Иваном Буянычем было. Заиграла свежая морянка и погнала волны на берега. А у Ивана Буяныча в такие часы кровь закипала. Пробушуется — и явится тверже камня. И вот стал он замечать в такие буйные разы, что кто-то голос подает с моря, как верблюжий рев: то ли человек гибнет, то ли озорует. Да и человеку-то в этой волне быть несуразно. И далеко будто голова маячит — скроется и опять покажется, и рукой кто-то машет. Сердце у него голубем забилось, и обуяла его сила. И не помнил, как снялся с песку и стрелой полетел под парусом. Плыл-плыл — пусто кругом, одни шквалы бушуют, а голос ревет и ревет. И вдруг почудилось ему, что посуду завертело в водовороте, как соринку, да так завертело, что и свету невзвидел, только небо вихрем закружилось. Уж на что наш Иван Буяныч неробок был — бесстрашный человек, да не выдержал: схватился за голову и на дно посуды рухнул. И думка в голове: откуда бы

в этих местах водоворотам да пропастям быть? Тут на норде-то и тюленям мелко. А кругом штормовая буря, шквалы бушуют. Долго ли, коротко ли так его волчком крутило — очнулся и обневедался: нет ни посуды, нет ни шквалов, ни водоворота, а стоит он на чудной улице, и вся она радугой сияет: это раковины да жемчуга на земле рассыпаны. По обе стороны невода́ сверху вниз спускаются в крупных ячеях, а за ячеями — зеленая вода как хрусталь переливается, в ячеях — пленки, как мыльные пузыри, всеми цветами играют. И по одну сторону за неводами зеленая пучина, и по другую — зеленая пучина. И в пучине этой морской стаями рыбы гуляют. Тут и осетры, и белуги, и стерлядки, тут и частикй — сазаны, лещи, вобла... Чешуей блещут... И всякая прыткая мелюзга кишит и резвится. Поднял Иван Буяныч голову, видит: наверху зеленая зыбь плывет, легкая, как лазоревое марево. А вдоль по улице по обе стороны трава плетями да космами вверх тянется, а в них рачки да всякие вертуны порхают. Стоит Иван Буяныч и не знает, что делать, и мысли не соберет: куда попал? что за чудо с ним случилось? во сне вся эта диковина или наяву?.. И одно думает: все в своей жизни испытал, всякие виды видал, а такого с ним дива еще не было. Думает, дивуется, оглядывается и видит: за ячеями толпятся косяки всякой рыбы и особливо благородные осетры да севрюги, — стоят, как люди, смотрят на него, плавниками помахивают, изгибаются, кланяются, а между ними шныряют серебряные сельди да шемая. И диво: подступили к нему два тюленя, подхватили под руки и приветливо этак повели по улице — в низинку. Дивуется Иван Буяныч: чует, что легкий весь, словно бестелесный, и шагает плавно, не слышит, как ноги на раковинки наступают. Рыбы за ячеями его провожают, радуются, как гостю дорогому. «Где я? — спрашивает он тюленей-то. — Живой я али мертвый? И куда вы меня ведете?» А они молчат и знай ведут его под руки. И чудится ему, что он не идет, а плывет — плывет и не колышется. И вот доставили его в сад прельстительный. Сад для глаза невидан-

ный: и древеса кругом, на земные не похожие, — непроходные да длинные, как канаты, и кудри ихние где-то высоко зеленью дымятся. Из травы морской грибы большущие глядят, и цветы вроде пены колышутся. И везде-то всякая длинноногая да длинноусая тварь порхает. Никак Иван Буяныч надивиться не может: впереди будто вода туманится — сплошная пучина, а идет он — вода расступается, словно тает, и за ячеями стеной хрустальной поднимается. Очутился он перед дивными хоромами — из коральцев, из пемзы, из грецких губок. А стены-то облицованы рыбьей чешуей да ракушками, и весь дворец перламутром горит. И встречает Ивана Буяныча старик с длинной седой бородой во всю грудь, с седым руном на голове, — да не вышел, а словно выплыл. Длинный на нем балахон, ног не видать, с длинными рукавами до земли. И по всему синему плису искорки пересыпаются. А на голове огромадная раковина, вроде как корона сияет. Окружают его слуги — тюлени невиданного роста, осетры, лососи и всякая благородная рыба. Почудилось Ивану Буянычу, что прибой загудел и тюлень замычал, — а это он, хозяин морской, заговорил, и пузыри у него из бороды посыпались — посыпались и закружились над ним, как живые. «Знаю, говорит, тебя, удалой моряк, буйный рыбак, Иван Буяныч. Я — хозяин морской, Хвалын бессмертный. Давно, говорит, ты мне полюбился за храбрость твою, за смелость, за приверженность к морю моему. И никому, как тебе с твоей ватагой, я посылал богатые уловы, и все из драгоценной рыбы. И знаю карахтер твой, Иван Буяныч: норовистый, борцовый, своевольный у тебя нрав. Ты не только спроть штормов моих выходишь с открытой грудью, да еще у тебя кровь удалая играет. Другие от страха головы теряют: и волной их смывает на добычу моим тварям, и посуду их разбивает. А у тебя и снасти невредимы, и сам шутками дух у товарищей подымаешь и песни с ними поешь. Сперва, говорит, разгневался я на тебя, озорника, за дерзость твою: как это ты с моим нравом не считаешься, наперекор мне на рожон идешь! А потом телохранитель мой, Усан

Тюленьич, открыл мне, что сестра моя Дева Моряна души в тебе не чает и хранит тебя от моего гнева. И внушает она тебе безумные мысли — с судьбой своей бороться, с ее вековешным врагом, чтобы тобой завладеть и в облачные свои владенья унести. А того не ведает, дура, что спроть судьбы человечьей ей силы и власти не дано. Сила-то да власть — во мне. Говори, что тебе дороже всего на свете, чем жизнь человеческая хороша и какого счастья человек добивается?» Не сробел Иван Буяныч и сердцем распалился. «Я, говорит, ваше степенство, Хвалын бессмертный, тебя даже очень уважаю и к тебе привержен. Также и за благости твои низко тебе кланяюсь. Только рабом твоим не буду, хоть и пленник твой. Я свободу люблю превыше всего на свете. А жизнь хороша буйной молодостью. А счастье для меня — силой да мощью своей радоваться да распоряжаться по своему хотенью. Тебе хорошо здесь, на дне морском, властвовать да рыбами помыкать, а погляди, чего у нас на земле делается: одни люди мучаются, свету не видят, а другие из них кровь пьют и жиреют, как твои тюлени. Вот как судьба-злодейка людей без вины пытками терзает и в бездолье старостью казнит. А я, говорит, не хочу ей, судьбе, старой хрычовке, подчиняться и бунтовать буду бесперечь. Дай мне силу да молодость нетленную, я бы и землю всю и море на свой лад переделал: всю эту нашу людскую бестолочь, человечье убойство и кровопийство изничтожил...» Ну, тут и Хвалын бессмертный распалился, и все вокруг него заволновалось, забеспокоилось: того и гляди вода хлынет через все ячеи и все снесет водоворотами. Муть поднялась, потемнело кругом. И рыбы и всякая морская живность в разные стороны бросились. А Хвалын бородой трясет, дрожит весь от гнева, и из глаз зеленые искры брызжут. Заревел он, как верблюд: «Как, говорит, ты смеешь такие дерзкие слова изъяснять! На мою вековешную власть хочешь посягнуть? За такой твой человечий бунт я всю землю залью и всю людскую тварь утоплю!» А Иван Буяныч решил: все едино погибать — лучше уж погибнуть смело да

буйно. В буйстве да удали и смерть не страшна. Смеется он и говорит неустрашимо: «Зря ты, Хвалын бессмертный, злобишься. Я ведь подумать могу, что ты это в раж вошел от страха передо мной. Кто ярится да бесится, тот в себя не верит и всего боится. А я вот и глазом не моргнул от твоего самодурства. Сам же ты заставил меня думы мои заветные тебе высказать...»

Тут тюлень-великан нагнулся к Хвалыну и чего-то ему шепнул. Хвалын сразу повеселел. «Верно, говорит, Иван Буяныч, зря горячку я спорол. Я сам люблю норов свой показать да поиграть в буряну. Вот я хочу испытать силу твою да хитрость в моей вотчине. Поборись перед моим лицом с этим вот моим телохранителем — Усаном Тюленьичем. Поборешь его — сейчас же на волю отпущу и награжу, а ежели он тебя сомнет — таким ты у меня останешься на веки вечные». Как прорычал это Хвалын — душа в пятки ушла у Ивана Буяныча: тюлень-то весь хоть шерстью покрытый, а склизкий да жирный — схватить его не за что. Да вспомнил Иван Буяныч, что у тюленей одно при́тишное место есть. Он всю жизнь на них охотился. А при́тишное у них место — ноги: тюлени-то ни сидеть, ни стоять не могут. Одно было только чудно́: тюлень-великан рядом с Хвалыном стоял, как солдат. А когда тюлень-великан к Ивану Буянычу словно по воздуху поплыл да задними ластами, как рак своим хвостом, захлопал, вспомнил Иван Буяныч, что сам без весу остался. Бороться ему — не с руки. Видит, глаза у тюленя мстительные, зубами щелкает: ведь у них, у тюленей-то, один враг — человек. И по правде сказать: истребляли у нас тюленей этих без всякой жалости. На земле-то с этим чудищем легко справиться, а здесь — верная смерть. Ну, конечно, Иван Буяныч на такое коварство обиделся! «Ты, говорит, ваше степенство, Хвалын бессмертный, неправедно делаешь, как наши промысловые хозяева». Хвалын опять взъерошился: «Как так неправильно? Ты — силач, и мой Усан Тюленьич — силач. Оба ловкие, кто — кого?..» — «Неправедно, ваше степенство, Хвалын бессмертный:

твой Усан Тюленьич — в водяной вотчине, а я — земной человек. Как же я у тебя здесь без веса-то бороться буду? Гляди-ка!» И Иван Буяныч подпрыгнул и, как пузырь, кверху поднялся и опять плавно опустился. «Нехорошо, говорит, не честно, ваше степенство, самодурство свое показывать. Я хоть и пленник твой, а вроде как бы гость у тебя. Такого коварства и у судьбы-злодейки нет». Этими словами он донельзя поразил Хвалына: тот даже в конфуз вошел. И, скажи пожалуйста, Иван-то Буяныч — не будь плох — шарахнулся к Усану Тюленьичу, взмахнул руками, хлопнул в ладоши да в морду ему волком заревел. А тюлени страсть какие пугливые! Перевернулся великан вверх тормашками, задрожал весь и стрелой юркнул к Хвалыну. Спрятался за его спиной и других тюленей до смерти испугал. Трясется там, и слезы из глаз ручьем льются. Тюлени-то ведь беда как слабы на слезу! А Хвалын оглядывается, переступает с ноги на ногу и бороду свою теребит: «Ну, говорит, Иван Буяныч, правда твоя истинная: сконфузил ты меня. Знал я давно, что сильнее и хитрее человека никого на свете нет. А вот сейчас сам вижу, что человек-то и на дне моря хитростью могучий. Будем жить с тобой в любви да дружбе. Ты — гость мой дорогой. Обещаю тебе вековечную молодость — судьбу-слепуху, ведьму-старуху от тебя отведу. Только ты должон в вотчине моей пожить и на спокое красоту свою молодую как жар-цвет негасимый сохранить. А сейчас пойдем в мои чертоги — пировать да веселиться». Махнул он рукавом своим парчовым, и вся его челядь — и рабы, и тюлени, и вся тварь морская — хороводом закружилась, а Ивана Буяныча осетры к Хвалыну подвели и рядом с ним в чертоги с почетом понесли. А чертоги-то немыслимой красотой сияют, и несметные в них богатства рассыпаны — и злато-сéребро, и камни драгоценные, и раковины-радуги, и жемчуга... А столы от разных яств да напитков ломмя-ломятся. И видит Иван Буяныч: выходит из хором красавица неписаная, с распущенными волосами, как лен, до самой земли, в шелка, словно туманом, одетая. А за ней толпа де-

виц, одна другой краше. И все они не идут, а плывут на легких облачках. Посадили Ивана Буяныча рядом с Хвалыном, девица-красавица по другую руку от Хвалына села, а подруги, как пчелы, ее окружили. И вкруг столов тьма-тьмущая рыбы всякой кишит и тюлени толпятся. В глазах зарябило от золотой да серебряной чешуи, бляшек да мехов дорогих. Долго ли, коротко ли пировали, только Хвалын захмелел, а на Ивана Буяныча морские напитки и не подействовали. Тут музыка штормом грянула, и Хвалын плясать пошел. «Хочу, говорит, с гостем своим дорогим да с сестрицей Моряной нетленной усладиться — русскую плясать. Лучше да забористей русского трепака никакой пляски нет. А девчата пускай музыкой потешаются». Девицы заиграли на гуслях и запели веселые пригудки. А Моряна поплыла, как пава, и ветерок от нее на Ивана Буяныча подул ароматный. Распалилось у него сердце, залюбовался на такую красавицу: пустился свое мастерство показывать, а плясун-то он был отменный. Вес-то он потерял, зато волчком невзвидимо вертелся, а подпрыгивал до самого кумпола. Хвалын такого плясуна сроду не видал — совсем осатанел: «Как это допустимо, рычит, чтобы меня, морского хозяина, который небо шквалом обмывал, посуды да корабли в щепки разбивал, этот рыбак Иван Буяныч за можай загоняет? Не потерплю!» И прямо бешеный стал — такие коленца стал выделывать, что чертоги затряслись и тварь вся с ума сошла. А Моряна-красавица оттеснила в сторону Ивана Буяныча и ветерком его обдула. «Я, говорит, люблю тебя, Иван Буяныч, и душу твою веселю. И ты меня донельзя любишь. Ты, говорит, Хвалыну уступи: пускай он думает, что тебя переплясал. Он тоже тебя давно жалует. Только не терпит, когда ему перечат. Он тебя к себе заманивает, а ты опасайся. Молодость-то он при тебе оставит, да за это навек тебя заполонит. Я-то тебя сейчас вызволю, а ты потом не соблазняйся отдать ему себя за вековешную молодость. Молодость-то хороша в вольности, а в неволе — хуже старости. А ежели, говорит, не выдержишь и соблазнишься — добра не

жди: человек здесь истомится без солнца да от беструдья — и захочется тебе размахнуться, забушует твоя силушка, и тоска заноет в сердце по земле-кормилице да по друзьям-товарищам. Взволнуется тогда наше море, да я тебе уж ничем помочь не смогу: ведь я тоже солнышком да воздухом живу, просторы голубые обожаю». Мигнула она ему, кивнула своим девушкам, и они его туманцем обволокли и, как пушинку, на самый высокий кумпол, на круговые галдарейки, вынесли. А вверху голубое марево волнуется. Обняла его Моряна белыми руками, такими легкими, что Иван Буяныч совсем их не почуял. И вдруг, скажи на милость, новое чудо: закружились роем девицы-красавицы, вихорем их хитоны и длинные волосы залетали, и тихонько запели они дивную песню. И тут же из глаз скрылись, а наместо их водоворот закрутился, и весь-то он из пузырей сотканный. Завертело Ивана Буяныча, кинуло его куда-то ввысь, а он и память потерял. А когда очнулся — насилу очухался: лежит он в своей посуде, парус на ветру бьется, и волны на отмели пляшут. Посуда лежит на боку, на песке, и солнышко ликует, а чайки над посудой вихрем кружатся, как эти девушки, Морянины подружки...

Вот какое диво с Иваном Буянычем произошло. Рассказывал он об этом своем приключении, а мы, верь не верь, уши развесили — обо всем забыли.

— А может, это ему во сне привиделось? — робко спросил я, зачарованный этой сказкой.

Но жиротоп сердито покосился на меня и передразнил:

— Привиделось!.. Во сне!.. Чего ты понимаешь? Сколь ден ты на свете ползаешь? Привиделось! А зачем, скажи, Иван Буяныч так же вот побежал на паруснике, и больше мы его не видели? Долго он тосковал после этого случая, прямо больной стал, руки опустились... Седеть начал — пойми! И вот... так оно, должно, и сбылось. От судьбы своей убежал, другую судьбу нашел. На свете, браток, всякое чудо бывает. А глядишь, это чудо-то для ума человеческого — вовсе не чудо, а только загадка. Вот оно как,

браток! Вникай, учись уму-разуму, трудись, мудрых людей умей отличать и не забывай меня, старика, а особливо Ивана Буяныча. Держи в памяти всяк час, что Иван-то Буяныч и в морской вотчине своего добьется — и молодости вековешной и слободы ясной... Ну, я пошел в свою жиротопню...

Он заковылял с черпаком на плече к жиротопне, а я долго сидел на песчаном кургане и смотрел на бегущие ко мне волны и на бурные взметы прибоя внизу. И мне чудилось, что там, далеко, роятся девицы-красавицы, подружки вечно молодой Моряны, что мерцает где-то на горизонте чудесный белопарусник и Иван Буяныч радостно несется к нашему берегу. Такой странной сказки я еще никогда не слышал, и я впервые поверил в ее быль, потому что старик Ермил, лихой моряк в молодости, дружил с этим сильным и смелым жизнелюбцем Иваном Буянычем и рассказал о нем простыми, обиходными словами. Я верил, что это было именно так, как рассказывал он, и видел, как живых, и Ивана Буяныча, и волосатого, седого Хвалына, и красавицу Моряну, и осетров, и тюленей. И все-таки это была сказка, полная чудес, каких в жизни не бывает, но о которых мечтают люди. Верит в свои мечты и Феклушка — в ангелов, которые прилетают к ней каждый день. Гриша мечтает о своих действах и верит, что он каждый год превращается в Стеньку Разина, а Харитон и Прасковея мечтают вместе с Гришей о какой-то борьбе за счастье, за вольную долю. Кашарка тоже поет песни на курганах о молодом батыре-освободителе. И у всех у них лица светлеют, глаза блестят радостью и верой в свою правду.

Нет, в нашей жизни тоже есть красота, и люди творят эту красоту постоянно. Да, резалки и рабочие надрываются на работе, с них дерут шкуру и подрядчица и контора, они задыхаются в казарме и едят болтушку с сырым хлебом, болеют они и гибнут, — но Харитон играет на гармонии, как волшебник, а Балберка мастерит птицу, которая летает, как ему хочется, и нарядных людишек, которые оживают и веселятся по его желанию. Гриша — веселый умница

и артист, как его называют ватажники: он умеет действом своим поднимать дух у людей и заставляет их верить в свои силы и в близкое счастье.

Так, приблизительно, думал я в эти минуты, а если не думал, то чувствовал, взволнованный волшебным рассказом жиротопа Ермила.

XXXIV

Настали студеные дни. Море почему-то не ушло от нашего берега, и целый день его масленая, блистающая гладь окрашивалась в разные цвета, а при заходе солнца горела золотом и красным пламенем. Это был последний месяц осенней путины, когда люди надрывались на работе до упаду.

Парусники караванами бороздили море, разбегались к промыслам с пришвартованными прорезями. Наш плот был завален рыбой и блистал живым серебром. Бондаря работали на дворе — собирали новые огромные чаны. Звенели и грохотали, как барабаны, топоры и молотки. Вдоль старых лабазов рабочие копали котлованы для этих чанов и ставили столбы для новых лабазов.

Море ослепительно сверкало, и плавилось огненным разливом, и играло роями искр, таких пронзительных и колючих, что больно было смотреть. Далеко, у самого горизонта, часто появлялись пароходы с баржами. С берега на шаланды грузили бочки с рыбой, а с барж выгружали ящики, тюки, лес и клепки с палками для обручей.

Я проводил на песчаном берегу весь обеденный час, и мне было приятно отдыхать от утомительной работы на мехах и дышать пахучим воздухом моря после удушающего угарного дыма и железной окалины. Я смотрел в мерцающий горизонт и вспоминал, что там, где-то недостижимо далеко, находится Астрахань, что в Астрахани — отец, который ездит извозчиком па пролетке. Мы послали ему несколько писем, а он прислал нам только одно. Оно было короткое, в нем были только одни поклоны, но конча-

лось словами: «Я послал батюшке по почте два рубля, а он пишет, чтобы я высылал ему по трешнице, а то грозится вытребовать нас по этапу». И сам грозил матери: «Живи чинно, благородно, а чтобы вольность допускать — и в мыслях чтобы не было, — убью». А обо мне — ни слова: меня у него тоже, должно быть, в мыслях не было.

Грустно вспоминалась Раиса, которой я так и не написал письма: марки не было. А Дунярка стояла живой перед глазами и, голенастая, озорно смеялась и жеманно приседала: «Чихи́рь в уста вашей милости!..»

Однажды я увидел на горизонте дым, который густел, поднимался выше и выше и расплывался мутным облачком. Потом вынырнула легкая шкунка, такая же, как у купца Бляхина. Она бежала бойко, и в прозрачном воздухе хорошо было видно, как острый ее нос разреза́л воду и отшвыривал ее в обе стороны. Завыл гудок, и гул разнесся по всему побережью.

Вместе с двумя рабочими в высоких и широких сапогах прошел управляющий в пальто и шляпе. Очень худой, он горбился и наклонял голову, словно искал что-то на песке. У плота стояла большая бударка, заново просмоленная, с синими веслами. Шкуна остановилась далеко, подплыть к берегу она не могла — мелко было для нее. Лодка отчалила от плота, и рабочие торопливо замахали веслами. Управляющий не сидел, а стоял у кормы и пристально смотрел на шкуну.

Неожиданно ко мне подбежал Гаврюшка и сунул мне в руку книжку — грязную и растрепанную.

— Держи! Из школы принес. А ты все на мехах стоишь? Прокоптился весь, как черт; воняет от тебя, как от жиротопа. Брось дурака валять, все равно тебе ни копейки не заплатят. Папаша сказал, что у кузнеца подручный есть, а тебе болтаться там нечего.

Я показал ему на шкуну и похвалился:

— Это купец Бляхин прибежал. На этой шкуне он нас в море настиг. Эх, и потеха была!..

Гаврюшка, пораженный, впился в мое лицо своими горячими глазами и завистливо ухмыльнулся. Он понюхал легонький ветерок с моря и живо подхватил:

— Значит, бой был? Рассказывай, как было... Вот это приключение! А ты еще молчал...

Мне приятно было видеть его удивление и зависть: у меня, оказывается, больше было приключений, чем у него. Хоть он и жил на морском берегу, а в море не был и ничего не видел. Чтобы окончательно взять над ним верх, я сразил его:

— А видал ты, как тюлени гармонию да песни слушают? Со смеху подохнешь!

Но он не удивился, а спокойно отразил мой вызов:

— Это что... Папаша рассказывал, как они пляшут под музыку.

Это уже было очевидное хвастовство: ясно было, что Гаврюшка хотел меня перещеголять. Ему было завидно, что я был свидетелем и участником приключений, о которых он и мечтать не мог.

— Вот и врешь. А еще отец хвалил тебя, что ты правду говоришь! Признавайся: отец не рассказывал тебе, что тюлени под музыку пляшут. Сам выдумал. Мало ли кто небылицу в лицах наболтает... А я сам видал.

Он смущенно замигал и отвернулся, но не хотел сдаваться и огрызнулся:

— Ерунда какая-то с тюленями... Ты не испытал, какие ночью приключения бывают. Я один отважился к папаше на Эмбу пробраться. Помнишь, я тебе рассказывал? А кругом волки воют — того и гляди сворой набросятся. С одной палкой-то в руках драться с ними не всякий горазд. А на бударке в бурю с волнами бороться — шутка?

Мне было жалко его: он хотел показать себя передо мною героем, но говорил обиженно, словно оправдывался.

— Ну ладно, живет... — примирительно уступил я ему. — У нас с тобой еще всякие приключения будут. Вот зимой мы на чунках в море по льду поскачем. Этого я еще сроду не испытал. — Но не удержался и упрекнул его: — Ты вот сулил учить меня, а пря-

чешься. Приключения, приключения... а в казарму ко мне прийти храбрости нет.

— А зачем ты меня злишь? Хочешь, сегодня вечером к тебе приду?

— Придешь, как же... Посул всегда надул.

— А я приду.. Я только боюсь, что хозяин папашу прогонит. Вот прибежал хозяин-то, а папаша хмельной.

— Ничего не прогонит, — утешил я его. — Хозяин сам сюда на разгул прибежал. Все знают, зачем он сюда, на ватаги-то, приезжает. И пьет, и с холостыми бабами гуляет.

Гаврюшка задумчиво поглядел на море — сверкающее, ласковое, на лодку, которая вдали стала очень маленькой, и лицо его судорожно задрожало. Он переживал какое-то большое горе. Должно быть, ему было тяжело возвращаться домой, где мать держала его взаперти, и он прямо из школы прошел сюда, на берег, чтобы побыть одному на свободе. Он любил меня и рад был встретиться со мною: я видел это по его лицу, которое вспыхнуло, когда он подбежал ко мне. А в эту минуту я почувствовал, что он хочет пожаловаться мне на свою тоску, но ему стыдно было показать слабость. Только сейчас я узнал, что друзей у него не было, что наша клятва в верности друг другу — для него не игра.

Лодка отплыла от шкуны обратно. В ней сидели два человека. Даже издали было видно, что на них хорошие черные пальто. Один в шляпе, другой в картузе.

Позади них, у кормы, стоял сутулый управляющий.

Гаврюшка плаксиво крикнул:

— Ой, папаша идет!.. Беда будет...

И пустился бежать навстречу Матвею Егорычу, который шел степенно, широкими, тяжелыми шагами. Огромные его сапоги с высокими голенищами казались железными. Он надвинул кожаный картуз на самые брови и разглаживал бороду и усы то одной, то другой рукой. По походке не видно было, что он пьяный, да и лицо у него было, как всегда, сурово сосредоточенное. Гаврюшка подлетел к нему, схватил его

за руку и начал что-то надрывно говорить ему, но отец не обращал на него внимания. Потом вдруг остановился и задумался.

Дробно зазвонил колокол на земляной крыше выхода — звонил не так, как обычно, а долго и тревожно. Я понял, что он оповещал ватагу о приезде хозяина и гнал всех из казармы встречать своего владыку. Мне хотелось поглядеть, как выйдут на берег гости и чем кончится борьба Гаврюшки с Матвеем Егорычем, но надо было бежать и навстречу резалкам и рабочим, которые соберутся у конторы. Все ждали приезда хозяина как большого события на ватаге. Те рабочие, которые обивали пороги трактиров, ликовали: хозяин здесь обязательно загуляет и выставит ведро водки. Баб и девок он соберет в свою большую горницу, заставит их услаждать себя песнями и плясками и будет оделять деньгами. Но Прасковея и Гриша были встревожены и озабочены: они уговаривали девчат и холостых женщин не соблазняться хозяйским гульбищем, потому что ничего, кроме бесчестья, они не получат, а кончится вся эта бестолочь слезами.

На плотовом дворе шевелилась большая толпа — вышли обе казармы. Подрядчица металась в разные стороны и, красная от волнения, надсадно кричала:

— От ворот до крыльца в две стенки протянемся! По ту сторону — мужики, по эту сторону — бабы с девками. Зарубите на носу: раздельно. Девки и холостые — в первом ряду, семейные и постарше — позади. А когда будет проходить благодетель, все ему низкий поклон отдайте, а потом сразу же песню величальную запойте! Ну, скорей! Пойдемте за мной! Чтобы все были на месте, чтобы чинно, благородно... А ежели кто засамовольничает, отобьется — штрафом зарежу или совсем с промысла прогоню... Ну, пошли, пошли!

Но приказчик стоял поодаль, заложив руки за спину, и как будто не слышал криков подрядчицы. В толпе перекликались и пересмеивались резалки и позвякивали ножами и багорчиками. Прасковея стояла высокая, сердитая, откинув голову назад. Около

нее сбились в кучу Оксана с Галей, мать с Марийкой и Наташей. Подошел к ним Гриша и, посмеиваясь, начал говорить с Прасковеей горячо и весело. Прасковея улыбнулась и посветлела, а женщины дружно захохотали.

— Ну, девки! Ну, ребята! — с озорной злостью крикнула Прасковея. — Пошли, что ли, величать нашего благодетеля! Поблагодарим его за каторгу, за хлеб горький да сырой да за смерть Малаши и Гордея. В кои-то веки придется покрасоваться перед ним!

Приказчик махнул рукой и пошел впереди толпы — один, словно хотел быть подальше от этой канители. Подрядчица с ужасом в лице оглядывалась на толпу, отбегала в сторону и юрко проверяла, не отстал ли кто. Несмотря на свою толщину, она легко и прытко егозила перед толпой, пятилась, подпрыгивала и выкатывала глаза.

Приказчик прошел к воротам, выглянул из-за верей и торопливо зашагал к конторе.

— Идут! — крикнул он с испуганной улыбкой.

Толпа как-то сама собою разделилась на мужчин и женщин и растянулась от самых ворот до высокого крыльца конторы. Между живыми стенками — черной и белоштанной — образовался проход шириной сажени в две. Я пробрался к Грише и стал рядом с ним, но он поставил меня перед собою.

— Ты уж, Васильич, стой передо мной защитой. Тут нас с тобой не согнешь. Одна-то спина от поклонов горбатится.

Он с огоньком в глазах оглядел толпу и шутливо крикнул:

— Ребята, не играй в прятки, держись в порядке! Башки не ломай, а ешь глазами начальство. У лести нету чести. А мы с Васильичем, как верблюды, головы вверх задираем.

В разных местах засмеялись и, должно быть, тоже стали заниматься шутками: по обоим длинным рядам перекликались веселые и злые голоса.

Гриша озабоченно спросил кого-то за своей спиной:

— Как там наши ребята-то?

Голос Харитона тихо ответил:

— Шевелятся. Вот не знаю, как резалки отличатся... Бабы любят кланяться да причитать.

— Ну, на этот счет и мужики не уступят. Чертова привычка! На резалок я больше надеюсь.

Кузнец в кожаном фартуке стоял неподалеку от нас и бормотал в бороду, а молотобоец Степан скалил зубы. Лицо у Прасковеи было бледное и недоброе. Рядом с ней стояла мать с красными пятнами на щеках, но ни Оксаны, ни Марийки с Наташей около них уже не было.

Вдруг стало тихо, и люди застыли, повернув головы в сторону ворот. Пустобаев в поддевке шел вразвалку, с тяжелой важностью, огромный, с опухшим лицом и заплывшими глазами. Рядом с ним шагал купец Бляхин, в длинном пальто, в котелке, с русой стриженой бородкой, с блуждающими пьяными глазами. Он поворачивался то в одну, то в другую сторону и щелкал пальцами.

— Подрядчица у тебя молодец! — подтолкнув локтем Пустобаева и вглядываясь в резалок, сказал он громко. — Опытная подрядчица: знает, какой товар хозяину показать. Бабенки ядреные.

Пустобаев шел молча, грузно и безучастно, как владыка, который волен казнить и миловать каждого из этой густой толпы.

И тут произошел неожиданный конфуз: хозяину не отвешивали дружного поклона, только кланялись ему поодиночке, и больше пожилые бабы да кое-кто из мужиков, а все глазели на гостей с тревожным любопытством. Некоторые с запоздалым испугом сгибались, а потом растерянно озирались. Прасковея смотрела в сторону, словно ей противно было видеть этих упитанных богатеев и стыдно стоять здесь в унижении. Мать робко прижималась к ней, и видно было, что ей трудно бороться с собою: ее с детских лет приучили кланяться и подставлять голову под удары.

Подрядчица закричала где-то в стороне:

— Кланяться надо, кланяться господину хозяину! Конфузите вы меня, баранта чертова!

Голос Оксаны озорно успокоил ее:

— Хозяин и без тебя знает, что здесь народ воль-

ный, а не баранта. Ты у себя в красном фонаре распоряжайся девками, а здесь — ватага, а не позорный дом...

Обе толпы зашевелились, в разных местах засмеялись, волной прошел смутный разноголосый говор. Прасковея вспыхнула и посвежела, заулыбалась и мать. Хозяин остановился, откинул обеими руками полы поддевки и с усмешкой в зорких и властных глазах осмотрел людей.

— Эх, какие озорницы эти ватажницы! — с удовольствием засмеялся Бляхин. — Значит, отчаянная пляска будет... и песни забористые. Не здесь ли и моя Анфиса?

Управляющий преданно уставился чахоточным лицом в глаза хозяину и ждал приказаний. Матвей Егорыч, опухший от хмеля, но с трезвыми глазами, стоял заложив руки за спину. Гаврюшка будто ссохся за это короткое время и пережил какое-то потрясение. Он прижимался к отцу и не видел меня, хотя я стоял близко от него. И я почувствовал, что если бы сейчас хозяин или управляющий вздумали распекать его отца, он защитил бы его собою или кинулся на обидчиков с кулаками. Я улыбался и кивал ему, но он стоял как слепой.

Хозяин знающе поглядывал на лица резалок и рабочих и расчесывал толстыми пальцами бороду и усы. Глаза его смеялись, но он притворялся грозным. Задыхаясь от толщины, он сопел, отдувался, покрякивал.

— Ну? Что же? Здорово живете, ватажники, вольная команда!..

Харитон насмешливо и громко поправил его:

— Ведь это на каторге вольная-то команда, хозяин.

Пустобаев не смутился, поискал глазами Харитона и добродушно спросил:

— Аль ты был на каторге-то, что знаешь, где место вольной команде?

Харитон так же насмешливо ответил:

— Ты сам, хозяин, сказал, что здесь каторга.

Я почувствовал, как пальцы Гриши сжали мои плечи. Он поперхнулся и кашлянул. Хозяин подхватил под руку Бляхина и похвастался:

— Ну? Какой у меня народ-то? За словом в карман не лезет.

— От-чаянный народ! — согласился Бляхин. — Вольница! Смелее рыбаков никого нет. Кто с морем спознался — и черт не страшен, не только хозяин. По себе знаю.

Матвей Егорыч смотрел в землю и встряхивал плечами. А управляющий вытянул шею в сторону Харитона и, стараясь сохранить свое достоинство, пригрозил:

— Это кто там смеет дерзости говорить хозяину? Хозяин здоровается с вами, а вы грубите ему. Узна́ю, кто себе это позволил, — немедленно уволю.

— Это кто-то из бондарей, —заиграла вкрадчивым голоском Василиса, выпрыгнув из толпы женщин и подобострастно приседая перед купцами. Я никогда еще не видел на ее лице такой умильной и нежной улыбки. — Бондаря все у нас смутьяны. Они и резалок будоражат.

Хозяин затрясся всем своим тучным телом, и хохот заклокотал, зашипел и засвистел у него в горле.

— Напоролся, управляющий? — задыхаясь, хрипел он. — Подрядчица тебе свинью подложила. Ежели бондаря все бунтари, значит всех их по шеям? А кто же бочары будет делать? Сам ты, что ли? А я люблю эту вольницу... за легкий дух люблю. — Он схватил за рукав Гришу и рванул к себе. — Вот Гришка здесь. Знаю его не один год. Талант! Душу он мою покорил игрой своей. Нет, управляющий, бондарей я тебе обижать не велю. Гляди, купец, на этого кудрявого красавца, на Гришку моего гляди! Наш! Русский удалец! Такого волшебника ты никогда не видал. Григорий! Неделя тебе сроку: показывай нам свое искусство!

Гриша без всякой робости ответил, улыбаясь:

— Милости прошу, Прокофий Иваныч. Все бондаря в готовности.

Бляхин все время всматривался в толпу резалок и жадно искал кого-то глазами — должно быть, Анфису.

Хозяин круто повернулся, отбросил назад полы поддевки и спрятал под нею свои руки. Он пошагал

к крыльцу конторы, а за ним неохотно побрел и Бляхин. Управляющий обогнал их и, сутулясь, вбежал по ступенькам на крыльцо. Матвей Егорыч вместе с Гаврюшкой неторопливо шел позади всех, а за ним подрядчица. Хозяин тяжело поднялся на высокое крыльцо, оглядел людей и со всего размаху бросил в толпу горсть серебряных монет.

— Клюйте на радостях, детки! Не деритесь только, не грызитесь по-собачьи!

Прасковея и Гриша закричали на весь двор:

— Не берите! Не собирайте! Мы — не нищие!

И скрылись в толпе, махая руками.

А кузнец грозил кому-то здоровенным кулаком.

Всюду зазвякали ножи о багорчики — знакомый настойчивый сполох, и этот железный треск словно оттеснил всех от крыльца. Харитон пошел спокойно, заложив руки в карманы. А толпа суматошилась, люди смешались в одну плотную массу, кричали, смеялись, ругались. Видно было, как женщины и мужики нагибались, хватали монетки и скрывались в гуще людей. Я подбежал к матери и по растерянному ее лицу увидел, что она не утерпела, подняла денежку.

— Покажи, мама! — крикнул я. — Дай руку!

Она послушно раскрыла ладонь, и новый двугривенный больно ослепил меня. Я схватил его и остервенело бросил к крыльцу.

— Да ты чего это... Федя? Чай, это двугривенный. Сальца бы я купила... али сахарку...

Я дрожал от стыда и негодования, и мне было страшно, как бы не заметили проступка матери Прасковея или Гриша.

— Нищие мы, что ли? — сквозь слезы засовестил я ее, подхватив слова Прасковеи и Гриши. — Пойдем отсюда скорее!

Но мать тоже дрожала, и я чувствовал, что ей было мучительно стыдно.

— Ты уж, сынок, никому не говори... а то я с ума сойду...

— А ты гляди! Чего ты сделала-то? Словно маленькая... украдкой!

Она шла рядом со мною и виновато молчала. Я обернулся назад, остановился и помахал рукой Гаврюшке, чтобы он бежал ко мне, но он отрицательно покачал головой, не отрываясь от отца. Лицо его попрежнему было озабоченное и печальное. Опираясь на перила, хозяин надвинул картуз на лоб и внимательно оглядывал двор. Управляющий сутулился около его плеча и что-то объяснял ему, показывая пальцем в разные стороны. Бляхин, задрав котелок на затылок, внушал что-то подрядчице. Матвей Егорыч с Гаврюшкой стоял поодаль, у самой лестницы, и смотрел на пеструю толпу резалок и рабочих, которые шли на плот. Дробно зазвонил колокол на земляной крыше выхода, заросшей колючками. Этот колокол висел на столбе под перекладиной, и парень в бахилах, похожий на тюленя, сосредоточенно дергал его язык за веревочку. Меня всегда тянуло взбежать на эту горбатую земляную насыпь и научиться звонить так же дробно и певуче.

XXXV

По случаю приезда хозяина работы прекратили еще засветло: колокол зазвонил на плотовом дворе весело и заливисто. В казарму резалки шли без обычной пляски и песен, но с криками и смехом, позвякивая ножами и багорчиками.

— Ну, отдыхай, ребята! — распоряднлся Игнат и стал старательно выгребать угли из горна. — Хозяин желает распотешиться.

Мы сняли фартуки, но не вышли из кузницы. Игнат раздумывал что-то, гмыкал и усмехался. Степан догадливо следил за ним и посмеивался.

— Он и гостя притащил, чтобы дым столбом да на полные паруса... Все промысла на дыбы поднимет. Страсть купечество любит, чтобы весь люд радовался, когда гульба идет, да чтоб полиция им везде дорогу очищала!

Игнат угрожающе оборвал его:

— Дела будут... не иначе. Наша вольница — народ с диковинкой: то из него веревку вей, то неукротимо

бушует, как шторма. Ну-ка, валяйте куда вам надо, а я к Тарасу. У нас одна с ним назола: кто кого доконает.

Степан неожиданно вознегодовал и напустился на Игната:

— Ни в жизнь ему тебя не перешарашить. Не быть решке орлом. Я его и на порог не пущу.

Игнат довольно усмехнулся: преданность молотобойца была ему по душе, но не удивила, а озадачила его.

— Дубина! Надо кланяться, не ломая башки, чтоб душа к душе как железо приваривалась. За верность твою исполать, а за то, что ты дубовыми руками душу за шиворот норовишь схватить, первый в ногах у Тараса валяться будешь.

В казарме, как обычно, была суета: одни резалки толпились у длинного умывальника за печкой, другие переодевались, причесывались, прихорашивались, посматривая в крошечные зеркальца, иные, уткнувшись в подушках, спали. Олена с младенцем сидела на нарах у самой стены и кормила его, а он корчился и истошно кричал: должно быть, у него болел животик и цвело во рту. Кричал он с первого дня появления на свет. На работу Олена вышла уже через день после родов, а ребенка оставляла одного на нарах. Галя с больными руками не могла его нянчить и уходила из казармы на соляной двор. Ухаживала за ним тетя Мотя. Потом он очутился у Феклушки, и она с материнской нежностью копошилась с ним, как с куклой. Ребенок замолкал у нее на руках, а она радостно смеялась. Все чаще и чаще она садилась на своих нарах, прислонялась спиною к стене, клала подушку на колени и осторожно, ласково, но уверенно устраивала удобное гнездышко для младенца.

В этот неожиданный перерыв в работе, похожий на праздник, женщины принялись за уборку казармы: постельки вынесли на двор, чтобы выбить пыль и песок, нары мыли горячей водой, протирали окна, скребли железными лопатками пол, ошпаривали его кипятком, смывали грязь метлами, а потом промывали мешковиной. И работа проходила быстро, дружно, легко и

весело, с крикливыми шутками и песнями. И как всегда, с увлечением, бойко хлопотала мать и звонко, сердечно напевала пригудки. Вместе с ней, не отрываясь от нее, так же расторопно хлопотала и Марийка. Она так привязалась к матери, что терлась около нее и в обеденный перерыв, и вечером после работы, — обнимала ее и повадилась забираться по ночам на наши нары, чтобы посидеть плечом к плечу с матерью.

Наташа могуче скребла и мыла пол с молчаливым упорством, и казалось, что только она одна выполняла эту грязную работу, а другие женщины мешали ей. Даже Галя не могла усидеть на месте: она вынесла на улицу и свою постельку, и постельки Оксаны и Прасковеи. Злая, жгучая, как крапива, в дни своей болезни, она в эти минуты общей веселой хлопотни впервые закричала:

— Сорвалась баржа с мели, а собака с цепи! Хватит сидеть сиднем и тютюшкать свою двойню! Вот захочу — и завтра же на плот пойду. Лучше руку отрублю, чем дам себя скрутить какой-то паршивой коросте.

Оксана протирала стекла и подбодряла ее:

— Ой, Галька, радость моя! Люблю тебя такую, когда ты мальвой расцветаешь.

— Оксана, дивчина милая! — лихо открикивалась Галя. — Не хочу твоего хлеба и чаю с коржиками: хоть все мое — твое, но горький да сырой хлеб стал еще горчее. Меня кормит и родненькая Прасковея. Когда я только рассчитаюсь с вами, подруги мои любые?

— Я драться буду, Галька! — в негодовании кричала Оксана. — Мы поклялись быть заодно. Не ты ли меня годовала, когда я без памяти лежала на твоих руках?

Прасковея мыла пол, скамьи и нары и молчала все время. Но когда забунтовала Галя, она с мокрой тряпкой в руке угрожающе подошла к ней. Галя в эту минуту несла к двери пухлую охапку постельного добра и одежду.

— Вот что, Галенька... чтоб я больше таких разговоров не слышала! Ни одной болячки чтоб не было на душе! Значит, не руки у тебя болят, а сердце. Общий кусок хлеба вкусней да сытней, а чай — слаще меда.

К моему удивлению, эта отчаянная Галя вдруг всхлипнула и укрощенно пролепетала:

— Знаю, Прасковея... винюсь... не буду... Ведь я же без тебя и Оксаны жить не могу...

— Ну вот и хорошо! — улыбнулась Прасковея и поцеловала ее. — Не об этом сейчас надо думать. Надо друг за друга держаться. Вот ворвется бандура Василиса и прикажет собираться вечером на гульбище к хозяину. Ни слова ей, как будто ее и нет! Не забывайте, как мы на плоту работу бросили и на управителей страху нагнали. Выдержим — верх наш будет. Слышите, товарки? Уговор — святое дело.

И она пошла обратно с улыбкой уверенного в своей силе человека.

Когда казарма была вычищена и прибрана, в ней стало просторно, светло и празднично. Как всегда, Улита топила баню. Она пришла оттуда, как из церкви, благостная, просветленная, помолилась на печку и запела:

— В баньку пожалуйте, бабыньки! Хорошая банька — с паром, со щелоком... Обмойте и тело и душеньку от всякого тлена.

Кто-то крикнул ей озорно:

— Вот ты, Улита, в баньке-то вымылась — собирайся к хозяину на пир. Только нарядись почепуристей, чтобы плясать пофорсистей.

В разных местах захохотали и начали подшучивать над нею. Но Улита с кротким терпением отмалчивалась.

После бани, распаренные, приятно изнуренные, все посмирнели и легли на нары.

Пришел Гриша, без шапки, всклокоченный, красный, с широко открытыми глазами, которые переливались горячей влагой. Он был очень взволнован, словно пережил какое-то потрясение. Быстрыми шагами он прошел в свой угол и сразу же сел на край нар, не замечая перемены в казарме. Озираясь и вороша свои взлохмаченные кудри, он вздохнул и уставился в потолок. Вдруг он вздрогнул, вскочил с места, прошел в куток и стал умываться. Женщины с любопытством следили за ним и тихо

пересмеивались. Прасковея с затаенной усмешкой проводила его глазами; она расчесывала гребешком свои густые золотые волосы и делала вид, что равнодушна к приходу Гриши.

Тетя Мотя недовольно ворчала:

— В баню бы шел, Григорий... Попарился бы хорошенько — душу-то и укротил бы. Действо твое до добра не доведет. И летось и сейчас вот — как безумный... Чего это только с человеком делается?

Гриша вдруг опамятовался и изумленно крикнул:

— Неужто банька, Матреша? А мне и невдомек... Бегу, со всех ног бегу!

С мокрыми руками и лицом он бросился в свой угол на нижних нарах и заликовал:

— Батюшки мои! Красота-то какая! Кто же это мне так постель-то прибрал да чистоту навел? Вот спасибо, милые товарки!

— А ты догадайся! — подзадорила его Оксана, но Галя зло пошутила:

— Ребятки без догадки на любовь не падки.

Прасковея низким голосом урезонила их:

— Не замайте его, девчата. Видите, человек не в себе? Он сейчас любит только свою персиянку.

Но Гриша опять забылся: он, как слепой, ощупью открыл сундучок, выхватил оттуда свое бельишко и, глухой к шуткам женщин, вышел из казармы, забыв закрыть и сундучок и дверь. Мать, грустная и задумчивая, долго смотрела ему вслед. После бани многие спали, а некоторые занялись починкой белья. В казарме стало свежо и прохладно, но дверь никто не закрывал: вероятно, все отдыхали и наслаждались тишиной. Закрыла дверь тетя Мотя.

— Дорвались до нар-то — и подняться лень, — ворчала она. — Один, безумный, куролесит, другие, как пьяные, свалились и простуды не боятся после банного пара-то...

Пришла из бани Василиса, красная, разваренная, с белой чалмой на голове и с томным страданьем в лице, расслабленно провалилась в дверь своей комнаты. Она глухо постонала там и затихла: вероятно,

блаженно растянулась на кровати. Оксана перевязывала руки у Гали и посмеивалась:

— Добралась свинья до лужи — и байдуже!..

Галя уже не пеленала свои руки, как прежде: она обвязывала только ладони и половину пальцев. Она задорно любовалась ими и угрожающе обещала:

— Теперь я и на драку готова. Мои пальчата-хлопчата не унывают: хоть сейчас можно по щекам бандуры прогуляться...

Василиса звала Улиту разомлевшим голосом, но Улиты в казарме не было: она, как всегда, дежурила в бане, мыла и парила резалок. Для нее церковь и баня были одинаково сладостны: и из церкви и из бани она приходила умиленная и счастливая.

— Улита! — с капризной настойчивостью стонала подрядчица. — Где она, банная мочалка? Я же приказала ей идти за мной!.. Матрена! Глухая ты, что ли?

И когда тетя Мотя потащила свои тяжелые ноги к комнате подрядчицы, Галя сорвалась с нар и погрозила ей белой повязкой. Потом подхватила ее под руку и, как больную, бережно повела обратно. Оксана смеялась, а Прасковея с серьезным лицом одобрительно посмотрела им вслед.

Подрядчица в чалме, закутанная в голубую длинную шаль, выплыла из своей двери и опухшими глазами оглядела казарму.

— Да вы подохли, что ли? Зову, зову — никто не откликается. Матреша! Иди сюда! Ты мне нужна... Причесать меня надо да одеться поможешь.

Но Галя стояла перед тетей Мотей и заслоняла ее от подрядчицы.

— А вы, девочки и все холостые, нарядитесь получше: вечером вместе со мной пойдем к хозяину. Он очень даже любит молодежь — сам повеселиться горазды̆й, хоть и пожилой годами. Надо ему сделать удовольствие — поплясать, песни попеть, да чтобы как можно больше разудалости... Всех одарит, всех обласкает. А друг его, купец Station Бляхин, прямо сатанеет от веселья. На жену-то свою, беглянку, целую облаву теперь устроит. Уж вы, девчата, не конфузьте меня.

А то нынче при встрече-то я готова была сквозь землю провалиться. Хозяин приказал заплатить вам за этот день полностью, да сверх этого — пол-урока за вечер. Вот как раскошелился!.. И не в подарок это считается, а как работа. Строгий приказ вечером по звонку идти в хозяйские хоромы, как на урок, под моим началом да по моему выбору: выкликать буду. Никуда не отлучайтесь!

Но никто ей не ответил: одни спали или притворялись, что спят, другие копошились в каких-то тряпках, иные старательно причесывались и закручивали волосы на затылке. Тетя Мотя так и не отошла от плиты: ее не пускала Галя. Василиса, должно быть, почувствовала в этом молчании не покорную готовность подчиняться ее приказанию, а скрытую вражду и немой отпор. Как опытная подрядчица, она хорошо знала женщин и умела их подбирать при найме: брала тех, кто не спорил с нею, кто готов был заключить контракт на любых условиях, чтобы не остаться без работы. Такие работницы и рабочие были самые безропотные и послушные. И хотя они иногда жаловались и ругались насчет штрафов и харчей, она умела их укрощать: не нравится — можете уходить в пески!.. Но в этом году с людьми случилось что-то несуразное: резалки, как по сговору, бросили работу на плоту в самое горячее время, когда каждая минута дорога, и задрали головы, а на угрозы и ухом не повели. Я уже знал, что между подрядчицей и ватажниками день ото дня копится непримиримая вражда и ненависть. Старые резалки и Гриша держались с ней дерзко и смело, а около них толпились и другие, молодые. И всем было видно, что подрядчица не спускает с них глаз и ищет случая, чтобы расправиться с ними. Но они никак не давались ей в руки: к ним ни в чем нельзя было придраться. Если бы не ввязался в скандал плотовой, эти три смутьянки посидели бы в полиции, их поучили бы там арапниками. Да и управляющий был на ее стороне. А этот пьяница ее же, Василису, обохалил перед бунтовщицами. Сегодня, тоже назло ей, встречали хозяина без поклонов и величания, хотя она и строго-на-

строго приказала выполнить этот обычай, как и в прежние годы. Хозяин этого как будто и не заметил, но такая встреча, конечно, его покоробила. Он, как и прежде, бросил в толпу горсть серебра — уже никак не меньше пяти рублей, — а мало кто наклонился. И вот те же Прасковея с Оксаной и Гришка с бондарями бросились в толпу и кричали, чтобы никто не смел собирать деньги. «Мы — не нищие!» И опять она оказалась при пиковом интересе: с Гришкой благодушно разговаривал сам хозяин и хвалил его как мастера и как артиста и сконфузил самого управляющего, который пригрозил выгнать смутьянов.

А сейчас Василиса пронзительно вглядывалась и в Прасковею, и в Оксану, и в других женщин, но все они спокойно и безмятежно заняты были своим делом. И эта немая отчужденность испугала и встревожила ее. Даже безропотная и послушная Матрена не ответила на ее приказание и спряталась за охальной Галькой. А Галька ведь тоже из шайки этих смутьянок: она за словом в карман не лезет.

Мне было очень интересно наблюдать с высоты своих нар за этой борьбой подрядчицы с женщинами. Я чувствовал, что Прасковея с Оксаной и Галей не теряли даром времени — всех девчат и холостых прибрали к рукам. Должно быть, они подчинили их себе и уговорами и силой ватажной артельности. Этот ватажный дух мы с матерью впервые испытали еще на барже, в маленькой артели рыбаков, которыми верховодил Карп Ильич, и здесь — в казарме и на плоту, где были свои правила общежития: товарища не выдавать, товарищу помогать, не наушничать, от артели не отбиваться... И все проникались этим духом сразу же, потому что одному, вне артели, прожить нельзя, пропадешь: артель раздавит тебя, как неверного человека и врага, а начальство превратит тебя в сыщика, в гадину, а потом выбросит на улицу, потому что оно имеет дело только с артелью.

День ото дня я с радостью замечал, что матери по душе эта ватажная жизнь: как ни изнурительна была работа на плоту, как ни голодно было нам, но

мать будто выздоравливала и наслаждалась не испытанной раньше вольностью. В глазах ее уже не было ни страха, ни обреченности, ни былой скорби: в них уже играли вспышки девичьего задора и беспокойного изумления. И у меня иногда болело сердце от мысли: что будет с нею, когда мы возвратимся в Астрахань, к отцу? Ведь я был уверен, что отец не потерпит этого ее пробуждения и заставит ее и окриками и кулаком рабски подчиниться ему, как в деревне. А что будет, сжели мы вернемся в село, в дедушкину семью? Я не разговаривал с нею об этом — боялся расстроить ее, да и самому мне было страшно думать о таком будущем.

Прасковея укладывала свои длинные косы золотым кокошником и скалывала их шпильками. Вместе с тощенькой Оксаной, которая тоже была занята своими волосами, они сидели лицом к лицу на прибранной постели Прасковеи молча и не обращали внимания на Василису. Я понимал, что они нарочно не замечали подрядчицу, делали вид, что слова ее к ним не относятся, что здесь они — дома и никто ими распоряжаться не смеет. Но они разговаривали глазами так открыто, что мне, парнишке, все было понятно: они молчали вызывающе, с гордым сознанием своей силы и неуязвимости.

— Матреша!.. — с притворным дружелюбием заворковала Василиса. — Пойди-ка, милая, ко мне. Без тебя мне не справиться — жирная болезнь душит. Улиты нет, угодницы, ты уж послужи по привычке.

Галя, не оборачиваясь, грубо ответила:

— У Матреши свое дело. На ее горбу сто человек, а твоя жирная болезнь от даровщинки пухнет.

На нарах вверху и внизу захохотали, но сейчас же смех заглох в подушках, а Прасковея с Оксаной даже не улыбнулись. Василиса, должно быть, решила не ссориться с женщинами: она судорожно улыбалась, хотя внутри у нее бушевала злоба.

— А ты караулить ее, что ли, приставлена? Покамест без хлебца да без копейки сидишь — у нее крошки собираешь?

— Не твой хлеб ем, подрядчица. Мои крошки ты в свой карман хапаешь. Вот и мои руки обглодала.

— Не надо враждовать, девочки,— опять заворковала Василиса.— Для такого прекрасного дня нельзя таить зла на сердце. В кои-то веки хозяин на свой промысел солнышком появился. Хозяин к нам, в свою семью прибыл, как отец. На ласку и любовь и он распахнется щедро, девочки.

— Мы тебе не девочки,— враждебно оборвала ее Оксана,— а здесь не красный фонарь. Ты тут девушками не распоряжайся.

— Мое дело маленькое, Оксаночка,— ворковала Василиса.— Это воля хозяина.

— А над нашей волей и он не хозяин.

Подрядчица вздохнула и скрылась в своей комнате.

Для меня этот день был полон событий. Неожиданно в казарму вбежал Гаврюшка и взволнованно крикнул:

— Федяшка здесь? Скорей за мной!

Он призывно махнул рукой и скрылся за дверью.

Я схватил свою стеганую курточку и кубарем скатился с нар.

На нашем соляном дворе, у мужской казармы, стояла толпа рыбаков в огромных сапогах с широкими голенищами выше колен. Среди них я увидел Карпа Ильича с Корнеем и Балберкой. По одному, по два рыбаки входили в черную дыру распахнутой сенной двери. Я хотел побежать к моим друзьям, но Гаврюшка вцепился мне в рукав.

— Пойдем скорее... на берег пойдем! Ведь мы больше с тобой не увидимся...

— Это чего ты говоришь-то?— удивился я.— Аль опять тебя мать в горнице запирает?

Гаврюшка вдруг ослабел, и лицо у него задергалось. По щекам текли крупные слезы. Чтобы скрыть их, он отвернулся и украдкой провел пальцем по лицу.

— Да нет...— задыхаясь и обрывая слова, сказал он.— Папаша сам... сам отсылает меня с мамашей... к дедушке... Его ведь, папашу-то, хозяин выгнал. Может быть, он не выгнал бы, да папаша с ним зуб за зуб стал цапаться. Я с ним тогда за руку

в контору вошел — все слышал... А дома мамаша биться начала, в обморок падать. А потом ему в ноги шлепнулась: пусти да пусти! Папаша сначала не соглашался, а потом махнул рукой: «Поезжайте, говорит, а потом видно будет. А я здесь, говорит, останусь или в Дербент побегу». Я бросился к нему и кричу: «Папаша, я с тобой останусь, не поеду с мамашей! Не гони меня!» А он смотрит на меня — и сам не свой. Сидит сейчас один и не пьет. Молчит и думает.

Мы прошли с ним на берег. Над зеркально-спокойным морем вихрями летали чайки. Шкуна стояла далеко на якоре, кормою к нам, а баржа с разорванным боком уже не казалась загадочной и жуткой: заброшенная, ненужная, она разваливалась на моих глазах. Хотя низкое солнышко и пригревало немного, но ветерок с моря обжигал лицо студеной влагой, словно щеки покрывались ледяной паутиной.

Жиротоп Ермил стоял около своей печи, среди бочек, в дыму и клубах пара. Он не обращал на нас внимания и, опираясь на черпак, задумчиво смотрел в море.

Мы пошли вдоль берега, по гладкому песку к отвесным обрывам барханов. Прозрачные волны обмывали песок, ворчали и смеялись, сверкая искрами на солнце, и как будто заигрывали с нами.

— А мы же заклялись с тобой... — с упреком напомнил я Гаврюшке о нашей кровной связи друг с другом. — Ежели заклялись, никакая сила заклятву не снимет.

Гаврюшка, пораженный, остановился и растерянно посмотрел на меня, прося глазами о помощи. Но вдруг радостно вспыхнул:

— Конечно, никто клятву не снимет — ни мамаша, ни папаша, ни черт-дьявол. Мы же кровью связались. На всю жизнь. Ты думаешь, я останусь у этого дедушки? И от Кащея бессмертного убегали, даром что он колдун был. Я обязательно убегу — или с дороги, или из его дома. Все равно с мамашей жить не буду. Я тебе оставлю все мои учебники, и книжки, и тетради, чтобы ты помнил и ждал меня. Вот только

не отомстили мы моим врагам. Вся эта суматоха помешала.

Он вздохнул, и у него опять задергалось лицо.

— Тебе хорошо, Федюк: ты — свободный, сам работаешь... что хочешь, то и делаешь. А я скованный по рукам и ногам. Ну, да я тоже своей воли добьюсь! Сумел же я из запертой комнаты удрать да к папаше на Эмбу с приключениями добраться.

— Знамо, удери, — одобрил я его решение.—Придерешь сюда — у нас в казарме жить будешь. А ежели отец уедет, к нему с рыбаками убежишь. Я Карпа Ильича или Балберку уговорю.

— А я с ними рыбу ловить буду.

— Ну да... Мы вместе с тобой к ним в артель войдем. Только ведь зимой-то рыбу не ловят: море замерзает.

Гаврюшка разгорячился и стал мечтать смелее и увереннее. Он уже размахивал руками, и глаза его блестели от возбуждения.

— Чудак-рыбак! А на что зимой чунки? Я на чунках-то как ветер летаю. Через Каспий я в день до Дербента доскачу. Папаша говорит, что без борьбы да без драки счастья не добудешь, а человек без борьбы — баран. А я не хочу быть бараном.

Я думал, что Гаврюшка живет в своих светлых горницах привольно, что он может есть до отвала вкусную рыбу в помидорной подливке, которая однажды одурманила меня своим видом и ароматом, что он как сыр в масле катается, что он, как барчонок, пользуется всеми благами жизни. Но теперь я понял, что ему живется хуже, чем мне: он — как мышь в ловушке. Его держит в неволе мать и хочет запереть навсегда у какого-то деда-богача, словно в тереме у карачуна. Он похож был на муху, которая бьется в тенетах. Я видел, что он завидует мне и считает меня вольным и самосильным. И мне было приятно сознавать, что только во мне он находит для себя поддержку.

Может быть, потому и пил горькую отец Гаврюшки, что когда-то изменил рыбацкой артели и ушел от своих товарищей ради купецкой дочери,

соблазнившись богатством. Гаврюшку мне было жалко: он любил отца и верил, что только вместе с ним он будет счастлив. Я больно чувствовал, как он страдал и мучительно искал выхода из тупика. Мне было приятно, что он не примирился со своей участью и решил сам постоять за себя.

Мы подошли к высокому обрыву, о который плескались волны и постоянно подмывали его, свернули в узкую долину, густо заросшую кустарником, полынью и колючками, и по крутому склону поднялись на песчаную осыпь. Гаврюшка спрыгнул в расселину между горой и старой насыпью песка и скрылся за отвесным выступом песчаника.

— Иди за мной! — крикнул он издали. — Не отставай, а то здесь заплутаешься.

Расселина шла длинной щелью и становилась все у́же и глубже. Я увидел Гаврюшку наверху, на площадке, среди зарослей бурой, сбитой в клочья травы и голых корявых кустов.

— Вот мы и пришли, — с гордостью заявил он. — Ты и не знал, а я здесь давно уже крепость построил. А в крепости — хоромина. Вот когда меня мамаша соберет к Кощею бессмертному, я сюда и скроюсь, и никакая сила меня не найдет.

Свою крепость он действительно хитро устроил: расселины и канавы расходились в разные стороны, виляли, обрывались оползнями, карабкались на вершину горы и упирались в глухую стену. Если бы Гаврюшка не указывал мне, по какой канаве идти, я обязательно заблудился бы в этом лабиринте лазеек. И он был очень доволен, что я подошел к нему только с его помощью. Он стоял на площадке, закрытой со всех сторон кустами и высокой полынью. В обрыве чернела нора, в которую можно было вползти только на четвереньках.

— Валяй за мной! — приказал Гаврюшка и быстро исчез в дыре. — Ну, ползи же, не бойся! — глухо крикнул он из глубины. — Здесь у меня хорошо.

Я с опаской посмотрел на крепко спрессованный песок и подумал: вот залезем в эту пещеру, а обрыв-то вдруг и обвалится да нас и задавит. Гав-

рюшка, должно быть, заметил мою нерешительность, высунулся из норы и засмеялся.

— Чего ты трусишь, чудак-рыбак? Это не просто песок, а камень. Я тут ломиком пласты отламывал.

Я вполз в дыру и сразу же очутился в темной пещере. Когда глаза мои привыкли к полумраку, пещера замерцала зеленоватым светом. Она была вся круглая, будто сложенная из желтых и серых пластов. Они сходились вверху куполом. Пол был ровный и гладкий, посредине стоял, как сундук, каменный столик, а дальше, тоже в виде сундучка, — скамейка. В пещерке было уютно, тихо и глухо, но все время шелестели какие-то шорохи.

— Это знаешь что? — лукаво спросил меня Гаврюшка, заметив, что я прислушиваюсь к этому странному шороху, и пояснил: — Это — снаружи, с воздуха. Здесь все слышно: и волны, и ветер, и как шевелится трава, и как шаги шуршат... Ежели будут подкрадываться враги, я сейчас услышу их, когда они еще далеко. У меня снаружи камни сложены, а вот и праща.

Он вынул из столика рогатку, натянул резинку, нацелился на сияющую дырку и щелкнул, выстрелив в нее камешком. Я был так поражен этим сказочным убежищем, что сидел как немой и только осматривал стены и потолок, которые чудились мне кристаллами самоцветов.

— Вот когда я скроюсь здесь, ты мне пищу будешь приносить. Потом, когда подумают, что я утонул или волки меня в песках съели, тогда ты откроешь тайну папаше и приведешь его сюда, и мы с тобой поселимся здесь, как робинзоны.

— Вот так да! — наконец выдохнул я, ошеломленный необыкновенным сооружением Гаврюшки. — Как же ты это сделал-то? И сам, один?

Гаврюшка смотрел на меня как герой и победитель. У него блестели глаза и на щеках темнели красные пятна.

— Я приключения люблю. А у меня жизнь такая, что без приключений и дня не проживу. А потом я ведь знал, что меня к деду Кощею повезут. Самые

большие приключения еще впереди. Я давно эту пещеру облюбовал. Она была маленькая, — должно быть, волк ее вырыл. Ну а я ее и обработал. Вот тут, в этой печурке, в столе, — мои книжки, учебники. Будешь приходить ко мне и читать. Я тебя учить буду арифметике и грамматике.

И Гаврюшка открылся передо мною в эти минуты с новой стороны: это был предприимчивый, доблестный, смелый парень, с которым не пропадешь. Он не падает духом, какая бы опасность ни грозила ему, а всегда готов к самозащите и к борьбе. Вспомнил я первое наше столкновение во время моряны, наше путешествие на лодке, его бегство из запертой комнаты и трехдневные розыски отца где-то далеко на Эмбе, его отважную борьбу с бурей на лодке и, наконец, его сегодняшний бесстрашный поступок, когда он побежал навстречу отцу, чтобы охранить его от гнева хозяина. А вот эта крепость потребовала от него многодневного труда, и это — не забава, а серьезное дело, от которого зависит его судьба в будущем. Нужно было все предусмотреть, все рассчитать, многое продумать и обеспечить себе надёжное убежище от преследований, от холода, от врагов и зверей. И если он плакал по дороге сюда, то слезы его не были слабостью и отчаянием, а злым ожесточением против насилия и несправедливости. Так приблизительно думал я, с уважением изучая Гаврюшку. Такого друга я до сих пор еще не имел в своей жизни.

— Но я добьюсь, чтобы папаша остался на промысле, — решительно объявил Гаврюшка. — Я сам пойду к хозяину и скажу ему: «Вы не имеете права гнать с волчьим билетом моего папашу, потому что он лучше всех знает рыбное дело, да и честнее его человека вы не найдете». Скажу и не побоюсь: «Он вам служил много лет верой и правдой. Он и пил, да дело разумел. Почему, скажу, вам можно пить, а ему нельзя? Он не от безделья пьет, а от горя». Я ведь теперь знаю, что сказать хозяину: вместе с папашей в хозяйской горнице до конца стоял и все слышал. А когда хозяин начал стучать кулаком по

столу и орать на папашу, я не побоялся и выскочил вперед. Хозяин чуть не съел меня глазами. «Это что, говорит, за сверчок под ногами?» А когда другой купец захохотал и захлопал в ладоши, хозяин щелкнул меня по лбу и пробурчал: «Ах ты щенок! Злой какой!» — и вынул из кармана полтинник; а я отскочил и сам ел его глазами. Купец хохочет, глаза лопаются: «Не продажный!» — кричит.

И Гаврюшка рассказал мне, что произошло после многолюдной встречи хозяина.

В просторной комнате оба богатея развалились в креслах, а около стола уже захлопотали женщины в белых фартуках: ставили закуски, бутылки, белый хлеб и всякие сладости. А тощенький управляющий стоял перед ними почтительно, как слуга. За ним стоял Матвей Егорыч с Гаврюшкой, а поодаль от них — подрядчица. Гаврюшка видел, как принесли в прихожую несколько ящиков и круглых корзин и решет, обшитых сверху коленкором.

Хозяин стал расспрашивать управляющего о делах — об улове, о сортовой рыбе и одобрительно мычал, когда управляющий доложил ему, что идет постройка нового лабаза и новых больших чанов, что резалок и рабочих маловато и все они заняты сверхурочно до позднего вечера. И тут же рассказал, как резалки однажды взбунтовались против подрядчицы и бросили работу. Он, управляющий, хотел вызвать полицию, но вмешался в этот скандал Матвей Егорыч и с пьяных глаз разыграл с ними комедию; правда, он увел их обратно на плот, зато сконфузил перед ними подрядчицу, о чем она со слезами жаловалась на него. Управляющий недоволен плотовым: Матвей Егорыч хоть и мастер своего дела, но пьет и часто не выполняет приказаний управляющего — вот хотя бы в случае с бунтом резалок. Вместо того чтобы послать за полицией и арестовать смутьянок, он с ними начал балагурить, надавал им обещаний и вместе с ними пошел на плот. Хозяин спросил:

— Ну, так что же резалки-то — опять сели на скамьи?

— Да, конечно, работали.

— Значит, и без полиции обошлось?

— Это так, Прокофий Иваныч, но нельзя спускать рабочим их своеволия, нужно было хорошенько проучить их арапниками, чтобы впредь неповадно было.

— Дело, дело, управляющий! Правильно: недопустимо, чтобы у меня на промысле бунты устраивали. А еще хуже, управляющий, ежели полиция будет рыскать по промыслу, расправы устраивать над рабочими да арестовывать их. Подумал ты, какая слава пойдет по Каспию да по Волге? У купца первой гильдии Пустобаева на промыслах бунты происходят, полиция распоряжается — порет рабочих арапниками и отправляет их в острог. И выходит, что плотовой мудрее тебя: он о хозяйском интересе позаботился в первую очередь, честь моего торгового дома соблюл да и в убыток не ввел. А ну-ка подрядчица, говори: почему у тебя резалки взбунтовались?

Подрядчица заулыбалась и застрекотала умильно, но с возмущением:

— А штрафы им не нравятся, Прокофий Иваныч, и всякие строгости. Они очень хотели бы и контракты порвать.

Бляхин опять захохотал, подошел к столу и налил себе стаканчик водки, выпил и опять налил.

— Ну и девки у тебя, Прокофий! Окаянные! Сто сот стоят. Василиса опытная — по Астрахани знаю.

А хозяин зверем посмотрел на него и застучал пальцами по толстой коленке.

— Да. Окаянные. Вот и двугривенные мои — как сор на земле лежали. Кто-то там действительно мутит их. И хозяина не величали, как в прошлые годы. Говори, плотовой: в чем тут загвоздка?

Бляхин опять загорланил:

— Брось, Прокофий! Эти твои загвоздки с бухубараху не решишь. Всякими загвоздками только в трезвом виде занимаются. А мы с тобой пьяные. Василиса!

Подрядчица подскочила к нему, стала приседать и играть глазами.

— Счастьем считаю послужить вам, Кузьма На-

зарыч, себя выверну, а все сделаю для вашего удовольствия.

— На кой черт ты мне нужна вывернутая! Ничего, кроме мерзости, внутри у тебя нет. Ты лучше устрой нам сегодня пир горой и девок пригони.

Подрядчица вся таяла от улыбочек и угодливо тряслась перед ним.

— Сколько прикажете, столько и приведу. Я знаю, кого вербовала.

Подрядчица, как курдючная овца, выбежала из горницы, а хозяин ткнул пальцем в дверь и приказал Матвею Егорычу:

— Ты, Матвейка, догляди за этой бандурой: как бы она нам гнилой товарец не подсунула да как бы обеими лапами в карман не залезла. Она давно наловчилась бабьим мясом торговать.

Гаврюшка почувствовал, как вздрогнул отец и как невольно сжал его руку. Матвей Егорыч вежливо, но с достоинством ответил:

— Я, Прокофий Иваныч, знаю, как доглядеть и готовить сортовую рыбу и паюсную икру, а не бабье мясо. С этой человечьей падалью дела не имею. У меня седой волос в голове, и вам я, кажется, уж не Матвейка.

Хозяин вскочил, вытаращил глаза и затопал ногами.

— Матвейка! С кем говоришь?

Но Матвей Егорыч не смутился, только отшагнул от хозяина подальше.

— Прошу на меня, Прокофий Иваныч, не кричать: я вам не шестерка. Я плотовой, отменный мастер на всем взморье. Горжусь этим.

Управляющий укоризненно покачал головой, отступил в сторону и с усмешкой сказал:

— Вот вам, Прокофий Иваныч, доказательство: не без его влияния и работницы безобразничают. С ним работать очень трудно. А почему он с вами непочтителен? Потому что пьян. На него и жена жалуется.

Хозяин повернул к нему опухшее лицо и затрясся от хохота.

— Да бабы-то всегда на мужьев жалуются. Образованный, а не знаешь этого. У тебя у самого, красавца, жена-то сбежала и письма мне жалобные пишет.

Хозяин вцепился в локотники кресла и весь устремился к Матвею Егорычу. Глаза его помолодели.

— Хорошо, Матвей Егоров! Хвалю! Самолюбец! Не побоялся за себя постоять перед хозяином. По праву гордишься, плотовой: моя рыба и икра славятся по всей Европе. К царскому столу мои балыки, осетры, икра подаются. А все-таки, отменный мой плотовой, я вытурю тебя с волчьим билетом — за дерзость и неблагодарность. Я тебя человеком сделал, а ты нос задираешь, своим норовом живешь, с бабами бунты устраиваешь, управляющего, подрядчицу в грош не ставишь. Да вот и на меня псом лаешь.

Матвей Егорыч спокойно и вежливо возразил:

— Волчий билет для меня, Прокофий Иваныч, вроде как мыльный пузырь: не долетит до меня — лопнет. Волком я не буду: меня везде работа ждет. А человека-то вы с моим тестем давно во мне искалечили. Пью я, верно: от этого и пью. Может быть, вы, Прокофий Иваныч, достойнее и благороднее меня в тысячу раз, а вот мальчика моего не стесняетесь: всякие при нем непотребности выражаете. С тем и прощайте, хозяин. Пойдем, Гаврюха! Концы нам отдали, и от пристани мы отчалили.

В этот момент Гаврюшка и напал на хозяина. Когда они с отцом выходили из комнаты, хозяин так стукнул кулаком по столу, что зазвенела посуда.

— Дурак! Огрызок человечий! Бродягой сделаю! Заставлю шататься по России. Пристанища не будет тебе ни на земле, ни на море... В ногах у меня будешь валяться, а я тебя растопчу!

По дороге Гаврюшка смеялся и плакал.

— Папаша! Я с тобой на край света пойду... Лучше тебя никого нет... Я тебя так люблю, так люблю... Папаша!

И целовал его руку.

— Ничего, Гаврюха, свет не клином сошелся. Человек везде найдет себе место: работы человеку много. Я еще никогда так не радовался, как сейчас... словно камень с себя свалил.

И когда рассказывал об этом Гаврюшка, он как будто стал сильнее и выше. Глаза его горели, и он весь сиял от гордости за отца.

XXXVI

Я жил среди взрослых людей, делил вместе с ними и горе и веселье, думал их думами, возмущался и бунтовал вместе с ними. Я хотел работать, чтобы помогать матери и добывать свой хлеб, а меня подрядчица пыталась заставить работать даром. Я гордился, когда приказчик дал мне рыбину за мою работу на арбе и когда кузнец однажды повел меня в хозяйскую лавочку и сунул мне в фунтике немного муки и осколок сахару. Этот подарок мне был особенно дорог: ведь Игнат сам нуждался, и у него на руках была больная Феклушка.

Я уже хорошо знал, кто был наш враг, кто выматывал силы у резалок и вынуждал их быть послушными и безгласными рабынями. Даже меня, парнишку, обижали и издевались надо мною, и мстительная злоба впервые отравила мое сердце. Она росла вместе с жалостью к матери, к Наташе, к Марийке, к Феклушке, к Гале... Я остро ненавидел и подрядчицу, и управляющего и мучил себя вопросами: почему эта отвратительная баба распоряжается целой толпой женщин, обворовывает и обманывает их? почему управляющий за справедливое возмущение резалок хотел пригнать полицию, чтобы избить их арапниками? почему эти жадные и подлые люди властвуют и держат всех под гнетом, как арестантов? Я не мог ответить на эти вопросы: они были непосильны для моего ума, но я чувствовал правду и догадывался о жестоком смысле людских отношений.

Я чувствовал, что в нашей жизни копится что-то тревожное, и видел, что все ожидают неизбежной

борьбы. Женщины собирались кучками, беспокойно перешептывались, опасливо поглядывали на дверь в комнату подрядчицы, и лица у них были озабоченные и задумчиво-злые.

Мать с Марийкой все время подбегали к Прасковее и Оксане и молча, преданно ловили каждое их слово. Они волновались, им было жутковато, но каждая из них по-своему выражала свои чувства: мать часто хваталась за сердце от смутного ожидания, а Марийка с жарком в доверчивых глазах ликовала, словно готовилась к какому-то бурному празднику, который она ждет давно. Наташа тоже сидела на нарах Прасковеи и невозмутимо занималась вышиванием. Галя опять повеселела, в синих умных глазах ее откровенно играла вызывающая решимость. Те женщины, которые терялись в общей массе и были для меня ничем не приметны и странно безлики, сейчас казались мне новыми, словно вымылись и посвежели. Они, как близкие подруги, подходили к Прасковее и вполголоса разговаривали с нею и с Оксаной. Все горячились, спорили о чем-то, а потом смеялись и отходили возбужденные.

Гриша пропадал в бондарне, где готовил с товарищами свое действо и какую-то необыкновенную обряду. Об этом я узнал из разговоров женщин. Галя со свойственной ей несдержанностью и озорством как-то посмеялась злорадно:

— Купец-то чертом запрыгает, когда Анфиса перед ним персиянкой объявится. Уж полюбуюсь, как он волком налетит на нее...

— А зубы поломает, — уверенно закончила Прасковея. — Там ему устроят представление. Бондаря — народ удалой, на штуку горазды́й.

Улита сидела на краю нар и с молитвенной скорбью что-то шептала, приложив ладонь к груди. Однажды она подошла к женщинам и сказала нараспев:

— Прасковеюшка, девушки милые, не надо бы зло-то копить. Чую я, не дело вы замыслили... Хозяину, благодетелю, надо честь воздать. Мы, бывалоче, хозяев-то чинно, благородно величали, ублажали их. А вы бы с охоткой откликнулись на угоще-

ние-то. Сторицей хозяин вас одарит, а владычица только порадуется.

Все с враждебным удивлением уставились на нее, а Прасковея с брезгливой строптивостью посоветовала:

— Отойди-ка, Улита, божья сирота! С нами не связывайся. О своей душе думай, а в чужие не лезь. Ты грехов боишься, а мы их любим.

Улита сокрушенно вздохнула и возвратилась на свое место.

Вечером, после ужина, резалки стали группами выходить из казармы. Подрядчицы не было: она еще засветло помчалась в хозяйские горницы, чтобы все приготовить к вечеринке. Когда, запыхавшись, разряженная, она ввалилась в казарму, все нары были пусты, только кое-где сидели семейные да пожилые женщины вроде Улиты, кузнечихи, тети Моти и Олены с младенцем. Я читал «Родное слово» Ушинского. Эта книжка поразила меня своей свежей простотой, задушевностью и радостью жизни, и я не мог оторваться от нее. Опять я услышал пенье жаворонков, звон кос среди золотых ржей, взволнованных солнечным ветром, стрекотанье кузнечиков, увидел пылающие подсолнечники, далекие перелески, голубое бархатное небо, зеленый лужок, над которым носились быстролетные касатки. И такой милой и родной показалась мне деревня, такой новой и желанной, что я волновался до слез. Задыхаясь от счастья, я дрожащим голосом повторял стихи Тютчева, как причитанье:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом...

Подрядчица, пораженная, застыла посреди казармы и с бешенством в глазах стала оглядывать нары.

— А резалки где? — хрипло спросила она. — Куда их черт унес? Они все должны быть в казарме в этот час.

Но ей никто не ответил. Это еще больше взбесило ее.

— Матреша, иди гони их всех в казарму, чтобы сейчас же все были на месте! Я знаю, кто здесь смутьянит. Я так с ними расправлюсь, что запомнят на всю жизнь. Ну? Иди гони их! Чего топчешься, как овца?

Тетя Мотя необычно сердито ответила ей из-за печки:

— Где это я их найду? Они у меня не спрашивались. Я не погонялка твоих резалок. У меня своих делов по горло.

— Не злобись, матушка! — с кротким смирением утешила подрядчицу Улита. — Придут они. Опричь казармы никуда не денутся.

Внезапно Василиса набросилась на меня:

— Где твоя мать? Иди ищи ее! Сейчас же приведи!

Я отодвинулся от нее и враждебно пробурчал:

— Иди сама и ищи... Куда это я пойду?

Она остервенело бросилась ко мне, но я быстро схватил книжку и выскочил из-за стола. Феклушка поднялась на локте и неслыханно громко крикнула:

— Как это тебе, подрядчица, не стыдно? Не моги парнишку трогать!

А тетя Мотя, тяжело передвигая ноги, встала между мной и Василисой и с укором покачала головой.

— Я молчала, подрядчица... все переносила и терпела... а ежели дело до кулаков доходит, молчать да терпеть не буду. Гляди, как бы до беды не дошло. Иди, милок, к себе на нары, иди от греха!

Василиса опамятовалась и, размахивая руками, грузно поплыла к своей двери.

— Ах вы сволочи!.. Уж теперь я вас доконаю. Навербовала гадюк на свою шею. Как же я покажусь хозяину-то? Какой ответ держать буду? Уж я придумаю вам наказаньице... Уж отплачу...

Семейные сидели как прибитые и молчали.

Казарма пустовала до позднего вечера — до того часа, когда обычно звонил колокол к окончанию работы.

Подрядчица убегала из казармы, опять бурно влетала и хваталась за голову. И мне было непонятно, как она, такая разбухшая, может легко бегать между казармой и хозяйской хороминой.

Женщины пришли все вместе, веселой, говорливой толпой. Мать с Марийкой вбежали первые, потом Оксана с Галей, а после всех молча вошли Прасковея с Наташей и Гриша. Сначала мне почудилось, что он пьяный: он почему-то прищелкивал пальцами при каждом шаге, а глаза его смеялись. Он быстро, как озорной парень, подошел к тете Моте, облапил ее и поцеловал в обе щеки.

— Матреша, труженица наша, кормилица! Всех-то нас ты любишь, всем-то ты нам служишь, а сердце у тебя только жарче разгорается...

Тетя Мотя как будто ждала этой Гришиной ласки: она не растерялась, а спокойно вытерла пальцами губы и сама поцеловала Гришу.

— Ты вот с Прасковеей угнал бабенок-то в свою бондарню да ломался там перед ними со своими бондарями, а мы с Федяшкой — терпи, от подрядчицы отбивайся...

— А я их всех запер там, — засмеялся Гриша и опять щелкнул пальцами. — Зато они под Харитонову гармошку поплясали. Подрядчица два раза толкалась к нам в бондарню, да я ее отшивал: вход, мол, посторонним строго воспрещается, а таким, мол, сводням, как ты, в алтарь двери закрыты.

Веселые поцелуи Гриши так всем понравились, что в разных местах резалки поощрительно зашлепали в ладоши и завистливо закричали:

— Гриша! Мальчишка! Чем же это Мотя тебя покорила? Аль мы перед ней красотой не вышли? Хоть бы по разочку нас поцеловал...

— Я вам нынче душу свою подарил, девчата, — отшутился Гриша, повернувшись к нарам на каблуках и постукивая пальцами по груди. — Аль вам мало этого? А на действе весь перед вами изольюсь.

Мать стояла на коленях около меня на нарах и вся светилась, не сводя глаз с Гриши. Она улыбалась странно, словно была не в себе. С этой немой,

неугасающей улыбкой она и раздевалась как во сне и, не замечая меня, улеглась на постель.

Прасковея с дружеской строгостью в голосе приказала:

— Ну-ка, товарки, сейчас же раздевайтесь — и в постели! А ворвется подрядчица — молчите, спите крепко. Я с ней одна справлюсь.

Наташа прошла к Феклушке, наклонилась и пошепталась с ней немного. Кузнечиха бормотала что-то, словно клянчила, чтобы Наташа и ее приласкала.

Когда все улеглись на своих нарах, Прасковея тихонько, но внушительно предупредила:

— Помните, товарки, и на носу зарубите: никому ни гу-гу про Харитона, как он читал вам листок про нашу жизнь и чего говорили там. А что мы делать будем, никто чтобы и не догадывался. Не дай бог, ежели подрядчица али еще какая-нибудь шкура пронюхает, тогда нам и костей не собрать. Зарок дайте, чтобы ни одного слова с языка не сорвалось. Мы тем и живы, что друг за дружку держимся.

Галя с угрозой пообещала:

— А ежели кто сболтнет да узнаю об этом — удушу и вздохнуть не дам.

Кто-то насмешливо огрызнулся:

— Уж всем известно, какая ты, Галечка, душегубка.

Кое-где засмеялись, довольные шуткой подруги, а Марийка утешительно откликнулась:

— Не буянь, Галька! Никто себе не враг. Волки давятся костью, а мы — злостью.

Гриша сидел на нарах, обняв столбик, словно отдыхал от душевной горячки. Потом торопливо прошел за печку, в куток тети Моти, и жадно выпил целую кружку воды. Он опять сел на прежнее место, обхватив рукою столбик, и беззаботно пошутил:

— Вот какой я чудодей, товарки! Прибежали вы в бондарню, как в овчарню, а там краше хоро́м. И вольница разудалая своим бытьем живет, и на всю Волгу, на весь Каспий слава идет о силе молодецкой. И всех хозяев, всех подрядчиц — всех волостелей, бояр и купцов в Волге утопили вместе с персиянкой. Ну, персиянка-то — полонянка. На кой черт она

Стеньке нужна, ежели любовь без языка? Такая любовь без души, без радости. Она — воровское дело. В Волгу ее! Так-то, товарки! Всем нам нужно жить дружно. Харитон правду читал. Сейчас подрядчица-то обмерла, а хозяин с гостем, должно быть, всю посуду перебили. А может, вдрызг оба перепились. — Гриша встал и потянулся. — Сейчас Василиса-краса, белые телеса, как ее Онисим прозвал, ворвется сюда и будет вас, как сваха, сватать... купцам на утешение. Будьте готовы: она сторицей отомстит.

Он вскочил на нары и скрылся в своем углу.

Я не утерпел и крикнул со своей вышки:

— Она, подрядчица-то, пригрозилась со всех двойной штраф содрать. «А завóдней, говорит, в пески выгоню».

— О! Не спит Васильич-то! — удивился Гриша.— Выходит, ты один воевал с подрядчицей, за всех отдувался?

Я еще не успокоился от обиды и запротестовал:

— Она прогоняла и тетю Мотю и меня за резалками, а мы не пошли. Я сказал: «Сама ищи да гони, ежели тебе надо». А она на меня как собака бросилась. А тут и тетя Мотя — на нее.

— Молодцы, вояки! — захохотал Гриша; засмеялись и резалки. — Такую бочару опрокинули!

— Да будет тебе, Федяшка, болты-то болтать! — проворчала из своей закуты тетя Мотя, но я чувствовал, что она добросердечно улыбалась.

Мать словно проснулась: она с изумлением оглядывала меня и тоже смеялась. Галя в восторге крикнула:

— Я знала, чумак, что ты в грязь лицом не ударишь!

Прасковея хоть и не смеялась, но ее низкий голос весело и вызывающе успокоил всех:

— Она уж, Василиса-то, ученая. Она хорошо знает, что на свой кулак встретит не один кулак. А уж если парнишка да Матреша рукава засучили, драка будет несусветная. Сейчас она меж двух огней — хозяин и мы. Держитесь, товарки! Она коварная, а мы все ее повадки знаем.

Подрядчица пришла, вся измятая, рыхлая, с зловещей яростью в глазах. Она остановилась около своей двери и сложила толстые руки на груди.

— Как было приказано?.. Сам хозяин распорядился, чтобы вечером к нему в горницу собраться... по моему выбору. На то и работы оборвали... без вычетов... и сам обещал наградить. А вы что же наделали? Ослушались хозяина-то... Самого хозяина перед гостем в конфуз ввели. И меня перед ними оплевали.

Галя не утерпела и огрызнулась:

— На тебя, такую тумбу, плевков не хватит.

— Он грозный сейчас, — продолжала Василиса.— Такой грозный, что и сказать нельзя. А я распиналась за вас. Хоть ночь-полночь, а приведу, мол... Сдурели, мол, от радости, что хозяин отдых дал. Сряжайтесь сейчас же, минуты не медлите! Я сейчас вызывать буду.

Оксана хладнокровно перебила ее:

— Никто не пойдет. Не трудись вызывать. Вербуй девок в веселом доме. Там есть еще такие, которые не удавились.

— Как это никто не пойдет? — оторопела Василиса. — Раз хозяин приказал, отказываться нельзя.

Гриша с насмешливым простодушием спросил:

— Это тоже за работу считается, подрядчица, — услаждать песнями и плясками хозяина?

Голос Гриши словно обжег Василису: она с искаженным лицом рванулась в его сторону.

— Это не твое дело рассуждать. Хозяин волен своими работницами распоряжаться как ему угодно.

Прасковея хладнокровно, не повышая голоса, возразила:

— Работницы ни тебе, ни хозяину своего тела и души не продавали. Насильничать над нами никто не волен. Ведь в контракте не сказано, чтобы мы хозяину пятки чесали.

Подрядчица уже не владела собою: она задыхалась, бросалась в разные стороны со сжатыми кулаками и кричала, как безумная, путаясь в словах:

— Теперь я знаю, знаю, кто мутит... Жабры отломаю... Гришка-бондарь... Прасковейка...

— Меня вспомни, ежели сестру забыла, — спокойно подсказала ей Оксана.

А Галя насмешливо предупредила:

— Ой, раздулась же! Вот-вот лопнет.

Марийка звонко засмеялась:

— Веселись, Василиса-краса, жирные телеса, еще на полчаса!

Подрядчица захлебнулась и стала пятиться назад, озираясь по сторонам.

— Вы еще меня... узнаете... Завоете со страху...

— Да и так до тошноты знаем, — брезгливо ответила Оксана и нарочно громко зевнула.

Подрядчица вышла из казармы, как пьяная.

Утром, как всегда, вышли на работу затемно. Подрядчица не ночевала в своей комнате: должно быть, обслуживала хозяина с гостем. Разнарядку давал смирный, неразговорчивый приказчик Веников. Относились к нему все дружелюбно и с первого же дня оценили его молчаливую деловитость, распорядительность и безобидность. Никогда не слышали от него ни окриков, ни угроз, ни ехидства, как бывало при Курбатове. На плоту он всегда был на виду, но казалось, что ему здесь скучно, что лень ему проверять работу резалок, сортировщиков и солильщиков, что занят он только своими мыслями. Но как-то само собою выходило, что рабочие и резалки понимали его без слов и привыкли разговаривать с ним одними взглядами. И все хорошо знали, что подрядчицу он терпеть не может и делает вид, что не замечает ее. Но когда она срывалась с цепи, начинала придираться к резалкам и крикливо хозяйничать, он останавливался, с насмешливым удивлением всматривался в нее и нехотя говорил:

— В чем дело? По штрафам, что ли, соскучилась?

Подрядчица фыркала, обжигала его ненавистью в глазах и бесилась:

— Над резалками я хозяйка, а не ты, сазан снулый.

Но он с убийственным спокойствием обрезал ее:

— До штрафов не дойдет: не по закону. За распорядком я слежу. Твое дело — резалок и рабочих на плот приводить.

В день, когда Гриша с бондарями должны были играть свое действо, я заболел: у меня был жар и сердце билось часто и гулко. Матери я не пожаловался на недомоганье, чтобы не тревожить ее. Я слез с нар, чтобы умыться, и увидел за окном белый, сияющий свет. В казарме тоже было необычно светло и прозрачно. На улице до боли в глазах блистал снег, пушистый и мягкий. Видно было, как тихо падали густые хлопья. Тетя Мотя пытливо оглядела меня и недовольно спросила:

— Ты чего это разомлел-то весь?

Но я не ответил ей: лень было отвечать, да и вопрос ее показался мне неприятным и ненужным. Феклушка необычно живо и радостно пропищала:

— Ты, Федяшенька, не болей. Видишь, погода-то какая на улице? Так бы и летала там вместе со снежинками!

Но и ее голос был неприятен и бередил досаду в сердце. Я умылся, взял кружку разваренного калмыцкого чаю и опять поднялся на свои нары. Чай был очень горячий и противный. Я отставил кружку в сторону и опять залез под одеяло. В голове, как далекий колокол, гудел дряблый звон. Этот звон кружился передо мною, касаясь моих рук странным, скользким жгутом, который разбухал, вырастал больше меня и испарялся. Потом опять возникал, опять кружился, разбухая, и опять таял. Толпились передо мною одни головы. Они наплывали на меня, роились, прыгали и смеялись. Наплывал огромной глыбой Матвей Егорыч и мычал: «Люденок!..» Где-то рядом, невидимый, торопливо бормотал Гаврюшка. И вдруг я падал, замирая, с крутой осыпи бархана под заунывный лепет Кашарки... Стонала умирающая баржа на цепи...

Так я пролежал до самого обеда. А когда услышал плясовую песню на улице, мне стало обидно до слез.

«И чего поют, чего бесятся? Большие, а дурее маленьких...» — горько думал я, и мне было до боли жалко себя.

Толпа говорливо, со смехом ввалилась в казарму и рассыпалась по своим местам. Пронзительно разрезая людскую суматоху, орал Оленин младенец.

Мать вскочила на нары и испуганно вскрикнула:

— А, батюшки! Да что же это ты? Аль свалился? Беда-то какая! Чего же мне делать-то с тобой? Добегался, доработался себе на голову.

А я, желая показать, что совсем не болен, а просто чуть-чуть угорел от спертого воздуха в казарме, отмахнулся от нее и улыбнулся.

— Да чего ты, мамка, заахала? Аль впервой у меня голова-то заболела? От этой нашей духоты и верблюд угорит...

Она приложила ладонь к моему лбу и со страхом в глазах отшатнулась к стене, а потом лихорадочно стала ощупывать меня холодными руками.

— Весь-то в жару... Уж не горячка ли у тебя?

— Да ничего нет! — нетерпеливо крикнул я. — Ты сама-то вон вся продрогла. Вот пройдет голова — на Гришино представление побегу.

Она в тревожном раздумье опять пощупала мой лоб и как будто успокоилась немного.

— Холодно нынче, куда ты побежишь? Без меня не выходи: я тебя потеплее одену, вместе пойдем.

Говор, смех, звяканье посуды, топот, суета, обычные в этот час, казались мне оглушительными.

«Чего они все орут? — мучительно негодовал я. — Зачем так стучат и топают ногами? Мне же больно, тошно от этого, а им и горя мало...»

Как-то незаметно я уснул и проспал, должно быть, долго, потому что в пустой казарме уже горела лампа и дымный полусумрак сгущался в дальних углах, а вокруг закопченного пузыря мутно синел чад. Кричал ребенок на нарах Олены. Тетя Мотя растапливала плиту. Значит, скоро зазвонит колокол. Хотя жар у меня не прошел, но я чувствовал приятную легкость в теле. Проснулся я от какого-то смутного беспокойства, словно кто-то встряхнул меня и

прошептал украдкой, едва слышно, без слов, но настойчиво. В ушах шумел далекий прибой.

Почему-то вспомнился Гаврюшка. Что он сейчас делает? Должно быть, бьется, как рыба на плоту. Может быть, плачет около отца и упрашивает не отправлять его к деду Кощею, может быть отбивается от матери и готовится удрать в свою пещеру... Я был уверен, что он проберется к хозяину и обличит его в несправедливости. Он — храбрый парень и не струсит перед этим самодуром. Не его ли душа прилетала, чтобы позвать меня на помощь? Он сейчас, должно быть, думает обо мне и рвется встретиться со мною: ведь, кроме меня, у него нет друга. И я решил, что это во мне шептала его кровь, которая смешалась с моей кровью, когда мы клялись в обоюдной верности.

Бессознательно я оделся, натянул сапоги и даже вытащил из-под изголовья свою деревенскую шубенку. А когда надевал шапку, удивился: зачем я оделся, куда собрался идти?

А идти нужно было, сейчас же бежать, иначе будет поздно. Но куда я должен был пойти — никак не мог вспомнить. Я спрыгнул на пол и, застегивая шубу на ходу, наткнулся на тетю Мотю. Она ощупала мое лицо и шею и всполошилась:

— Ты куда это помчался-то? Ведь горишь весь. Не выходи на улицу — совсем простудишься.

— Надо мне, тетя Мотя.

Феклушка даже не взглянула на меня, занятая младенцем. Она стала совсем другая — посвежела, на щеках вспыхнули красные пятнышки, лицо дышало любовной озабоченностью.

Тетя Мотя сама проводила меня до двери и сочувственно напутствовала:

— Ну, выйди, подыши немножко. Душно в казарме-то. Я и сама словно в чаду. А открыть дверь нельзя — ребеночка с Феклушкой застудишь. Только сейчас же воротись, а то мать-то меня со свету сживет. Скоро колокол зазвонит.

И тут сразу же я вспомнил, что сегодня будут показывать действо, что я решил побежать в бон-

дарню раньше всех и устроиться впереди. Я боялся, что мать меня не возьмет, потому что жар у меня не прошел, да и тетя Мотя с Прасковеей заставят меня лечь в постель: они исподтишка следят за мною строже матери.

Я вышел на наш двор и задохнулся от свежего, ядреного воздуха. Ночь была живая: голубел снег на земле, и воздух пушисто опускался призрачным ливнем. Было тихо и странно глухо. Фонари на соляных мельницах мерцали, как искры, и хруст соли на жерновах шелестел едва слышно, как зерно в решете. Там, где была кузница, размытым пятном дрожало красное сияние, но ручник Игната не звенел по наковальне: должно быть, кузнец готовился уходить в казарму. Было приятно дышать свежим воздухом, вкусным, терпким, душистым, как молодой шипучий квас.

Я пошел к открытым воротам, чтобы пробежать на плотовой двор, в бондарню. Гриша не выгонит меня и сам выберет мне место на штабеле новых бочар, где-нибудь на высоком ярусе. Но тут же передо мной выросла мутная большая тень и тяжело прошла мимо, похрустывая широкими сапогами по снегу. Я узнал Матвея Егорыча. Шел он задумчиво, опустив голову в кожаном картузе и заложив руки за спину. Мне очень хотелось спросить у него о Гаврюшке, но я почувствовал, что он сейчас угрюмый и может отшвырнуть меня. Может быть, он и Гаврюшку оттолкнул, а теперь бродит по промыслу, отвергнутый хозяином, чужой всем ватажникам. Вероятно, ему всучили волчий билет и он ищет себе безлюдное место, чтобы завыть там надрывно и жутко. Что такое «волчий билет»? Почему он так страшен для людей? И я представлял его себе не бумагой, не обычным паспортом с орлом наверху, а вроде ядовитой печати на лбу, какую наваривал в деревне становой на дверях и окнах моленной. Должно быть, это такой же знак проклятия, который был выжжен богом, как тавро, на лице Каина, и он сейчас, изгнанный с земли, бродит на луне с вековечной ношей на плечах — с телом убитого им Авеля.

Но Каин — злодей: брата убил, а Матвей Егорыч правдой перед хозяином защищался и себя в обиду не дал. Гаврюшка с гордостью рассказывал об этом. И мне Матвей Егорыч чудился таким же бесстрашным и сильным своей правдой, как наш деревенский Микитушка.

Вместо того чтобы бежать в бондарню, я пошел вслед за Матвеем Егорычем. Он свернул к сеням нашей казармы. Перед дверью он нерешительно остановился, осмотрелся и неуклюже вошел в сени. Дверь в казарму с визгом отворилась, вспыхнул туманный свет и погас. Я постоял немного, не смея войти сейчас же за Матвеем Егорычем, чтобы он не подумал, что я догоняю его. Сверху вместе с хлопьями снега волнами плыл далекий шум моря, шорохи соляных мельниц и невнятная песня женщин, красивая и грустная. И вдруг где-то далеко в песках жалобно завыли волки. Мне стало страшно, и я опрометью бросился в казарму.

Матвей Егорыч, трезвый, сидел на скамье с краю стола. Черный картуз, как железный, лежал, опираясь на козырек, рядом с ним на конце скамьи. Тетя Мотя, очень взволнованная, пожелтевшая, с болью в слезных глазах, стояла напротив, дрожащими руками поправляла платок и прятала под него поседевшие волосы. Оба они настороженно взглянули на меня и сейчас же успокоились.

— Иди, Федя, на свои нары, разденься и ляг! — тихо приказала мне тетя Мотя. — И никому ничего не болтай.

А Матвей Егорыч впологолоса говорил, сплетая и расплетая пальцы:

— Он, меня, конечно, хочет приковать к себе: ему невыгодно расставаться со мной. Думал волчьим билетом меня устрашить. А я кандалы порвал. А какую я жизнь вел, Матреша? Каторжную жизнь. Убежал бы на край света... Пью и тоску залить не могу...

Тетя Мотя со стоном упрекнула его:

— Не вовремя казнишься, Матвей. Молодость свою не воротишь и грехов не замолишь, только себя губишь...

— А я к рыбакам в артель пойду. До упаду ворочать буду... в бурю, в штормы... Раздолье! Молодость-то не в годах, а в силе.

Тетя Мотя всхлипнула и опять простонала. Скорбно всматриваясь в Матвея Егорыча, она вдруг выпрямилась, и я впервые увидел, как лицо ее, измятое, истомленное, равнодушно-покорное, постаревшее раньше времени, ожесточилось от гнева.

— Умел грешить, Матвей, умей и наказанье нести. Ты и сейчас только о себе думаешь. Не спасешься, Матвей. Кого убил — не воскресишь и сам не подымешься. Не тоска тебя терзает, а обида да норов. И не сила в тебе бунтует, Матвей, а судьба неудачная. Где она, сила-то твоя, ежели парнишку своего на погибель отдаешь? Так у тебя и смолоду было: топчешь людей, а они души в тебе не чаяли. Не было и не будет тебе счастья, Матвей. Душа-то у тебя хорошая, да гордыня неуемная.

Матвей Егорыч слушал ее виновато, крепко обхватив голову руками.

— А чего же мне, по-твоему, делать-то сейчас?

— Совесть свою спроси, Матвей! — упавшим голосом ответила тетя Мотя. Она через силу подошла к нему и погладила его по волосам. — Душа-то твоя живая, Матвей. Не убьешь ее. Гордыню свою укроти, а душу вином не заливай. Не зальешь! О народе подумай. Некуда тебе идти. Ты своему делу владыкой будь. Людей поддержи — не давай их в обиду. Страдает народ-то, болеет, умирает без пути. Озлобился народ. Добром это не кончится. Парнишку своего к сердцу прижми, а врагу в жертву не отдавай. Послушай его сердчишко-то — и себя найдешь.

В эти минуты тетя Мотя казалась мне такой измученной думами и пережитыми испытаниями и в то же время такой мудрой и крепкой своей всепрощающей добротой, что Матвей Егорыч рядом с ней представился мне слабым и разбитым человеком. Зачем он пришел к ней? Почему именно перед ней он раскрывал свою душу? Она, оказывается, все знает, каждого чует, даже о Гаврюшке знает не хуже меня. Не помня себя, я сорвался с места и крикнул:

— Гаврюшка все равно отсюда не уедет! А то с дороги убежит. Он с Матвеем Егорычем не расстанется. Он и хозяину всю правду скажет.

Мой крик как будто испугал Матвея Егорыча: он встал, надел картуз и вышел из-за стола. С суровой усмешкой он пытливо оглядел меня и проворчал:

— Так, так... Люденыши тоже бунтуют...

Тетя Мотя набросилась на меня:

— Ты чего же это непрошеный в чужие дела суешься?

— Ничего не чужие, — горячо запротестовал я. — Мы с Гаврюшкой кровью поклялись друг за друга стоять.

Матвей Егорыч с притворным негодованием, но со смехом в глазах пожаловался тете Моте:

— Я знаю этого люденка. Правдолюбы с Гаврилой. И всегда под ногами путаются. — И угрожающе шагнул ко мне. — Он, Гаврило-то, ежели хочешь знать, все карты мне смешал. Пробрался к хозяину и брякнул ему: «Не смеешь, говорит, папашу моего прогонять. Он всех лучше!» А хозяин ему: «Как! Даже лучше меня?» — «И лучше тебя», говорит. Уж не ты ли его подзудил на такую дерзость? Да-с... Особый народ растет, не то что мы с тобой, Матреша... — Он вздохнул и покорно, как виноватый, пробормотал: — Пойду... За доброе слово спасибо, Матреша. Может, дети наши оправдают нас. А сами себя не оправдаем.

Он широкими шагами вышел из казармы. Тетя Мотя захлебнулась слезами и закрылась фартуком.

XXXVII

В бондарне стало просторно и чисто. Бочки расставили вдоль стен в несколько ярусов, ступеньками. Народу навалило много, и все расселись на этих бочках снизу доверху. Стружки были выметены, на полу разгребли опилки, и при свете нескольких ламп они желтели пышно и нарядно. Здание мастерской было большое, и теперь, когда освободили его от вер-

стаков, клепок, обручей и бочек, стало очень просторно и воздушно. Народ не только громоздился на горках из бочек, но густой толпой стоял и у задней стены. Впереди красиво составлены были из бочек колонки, а на них — конечки из дощечек. Вдоль всего сарая шли двумя рядами столбы, которые поддерживали перекрытия.

Мы с матерью забрались на самый верхний ряд, недалеко от сооружения с колонками. Ниже нас плечом к плечу сидели на крутой горке рабочие и работницы. Все непоседливо ворошились, шутили, кашляли, смеялись, спорили... Кое-где покрикивали нетерпеливо:

— Григорий! Стенька Разин! Выходи, показывайся!.. Выводи свою шайку повольничков!.. Душа горит, ребятушки!..

Курить строго-настрого запретили, чтобы уберечься от пожара: везде было сухое дерево и валялись стружки. И если где-нибудь вспыхивала цыгарка, с разных сторон орали на нарушителя запрета. Толпа у входа распахнулась посередине, и все с любопытством повернулись к двери. Нежданно явились гости — огромный бородатый хозяин в дорогой шубе и Бляхин в пухлом пальто с пелериной. За ними почтительно сутулился управляющий и плыла расфуфыренная подрядчица. Матвей Егорыч с Гаврюшкой свернули в сторону и втиснулись в тесный ряд рабочих. Говорили, что Гриша нарочно в этот вечер действо устроил: Прасковея условилась с ним пойти наперекор хозяину и отбить охоту у подрядчицы гнать женщин на пьяную вечеринку.

Гостям поставили бочки между столбами, а хозяин добродушно провозгласил:

— Эх, люблю с этой забубенной безотцовщиной душу наизнанку вывернуть!

Хозяин и Бляхин были под хмелем: лица у обоих припухли, а глаза осовело ловили что-то перед собою и не могли поймать. Бляхин яростно взмахнул рукой и фыркнул, как лошадь. Кое-где несдержанно засмеялись, а какой-то озорной голос объявил:

— Захрапели сыты кони за кобылами в погоне...

Гулко прокатился хохот, но сразу же оборвался. К хозяину подскочил управляющий и что-то доложил ему, озираясь по сторонам. Но хозяин небрежно оттолкнул его толстой рукой и, отдуваясь, прохрипел:

— Чего ты мне дурость толкуешь? На какую надобность? Я ее, твою полицию, терпеть не могу! Сроду на моих промыслах полиция не воняла. Поганить мою честь не велю!

Управляющий еще больше ссутулился и зыбко, на носках, возвратился на место. Подрядчица подобострастно улыбалась и, зорко оглядывая густые ряды людей, наклонилась к управляющему, но он со злостью отпрянул от нее.

За колонками тихо, будто очень далеко, молодой голос запел: «Вниз по матушке по Волге...» Запев мягко слился с хором: «по широкому раздолью...» Голоса были хорошие, стройные: должно быть, певцы давно уже спелись и знали, как действует на людей далекая, разливная и удалая песня. Она приближалась, становилась все громче и громче, и, когда уже могуче и раздольно гремела где-то рядом, из-за колонок вышла артель невиданных, сказочных людей. Все они одеты были в золотые и серебряные панцири и подпоясаны тоже золотыми поясами. Я сразу заметил, что эти богатырские латы сделаны из клепок, а пояса из обручей. На плечи накинуты были длинные и широкие плащи, пунцовые и синие. Шапки тоже были необыкновенные: верхушки у них спускались на плечи длинными красными лоскутами с кисточкой. Сапоги тоже были красные, с серебряными крапинками и пересыпались искрами.

Это было чудо, какого я еще никогда не видал. Мать так и застыла с широко открытыми глазами, пораженная зрелищем.

Витязи положили руки на плечи друг другу и быстро образовали круг. Песню они оборвали, и на середину круга вышел молодой богатырь в красном плаще и серебряных латах. Он распевно и складно пригласил товарищей поплясать на радостях: атаман

Степан Тимофеич поведет их на молодецкие дела — на стругах по матушке Волге погулять, супостатов воевод прогонять, вольную волю кабальным людям добывать... Все разом крикнули: «Сарынь на кичку!» — и запели плясовую песню. Вышел еще один парень в синем плаще, и оба лихо пустились плясать. Они подхватили свои плащи, замахали ими, завертелись волчками, высоко подпрыгивали, дробно и ладно били ладонями по голенищам, разудало взвизгивали и угрожающе кричали: «Сарынь на кичку!..» Вся масса людей впивалась глазами в плясунов, невольно повторяла их движения, топала ногами, и этот гул еще больше горячил плясунов: они начали выделывать ногами, руками и плащами такие замысловатые фигуры, что опилки из-под сапог брызгами летели в разные стороны, а желтая пыль задымилась над их головами. Бляхин вскочил, скинул пальто и начал пьяно перебирать ногами. Он бросил в сторону шляпу и рявкнул:

— Девки! Бабята! Выходи плясать с купцом Бляхиным! Озолочу!

Его схватил за руку хозяин и усадил на место.

— А я тебя поколочу. Не мешай!

Из-за колонок вышел кудрявый красавец в красном плаще с серебряными искрами, властный, величавый. Он опирался на длинную золотую саблю. За ним шел такой же нарядный и сверкающий товарищ. Это были Гриша и Харитон. Гриша уверенно и строго вошел в круг и грозно крикнул: «Сарынь на кичку!» И все подхватили его крик и замахали шапками. Плясуны исчезли. Гриша начал говорить торжественно, словами песни, что славные казаки рвутся на славные подвиги, что весь крестьянский люд по Волге ждет их и будет встречать хлебом-солью, что все холопы и кабальные стеной пойдут вместе со Степаном Тимофеичем и добудут себе волю. Храбрая вольница поплывет на своих расписных ладьях вплоть до Астрахани, проводить суд и расправу над лиходеями. А из Астрахани на своих ладьях повольница Разина поплывет в море Хвалынское, в царство персицкое, казну золотую и дань добывать для народа

русского. А когда казаки возвратятся с данью и казной — поднимут весь люд и пройдут по земле русской всех ворогов и супостатов без всякой пощады гнать. И опять призывно крикнул он, высоко вскинув саблю: «Сарынь на кичку!» Тут прибежал молодой парень в холщовой рубахе и лаптях, бросился в ноги атаману и так же песенно стал жаловаться, что у него боярин отнял невесту. Он убил боярина и ищет защиты у Степана Тимофеича. «Прими меня, атаман, в свой казачий стан! Буду верным твоим слугой и разбойничком». А Степан Тимофеич гневно ответил ему, что у него в стане нет разбойников, что он разбойников избивает, как душегубов. Он — атаман вольных казаков, бьется с лиходеями за правду, за волю народную. Он берет в свою ватагу парня, но парень должен присягнуть перед кругом в верности. Не в ноги кланяться должен вольный человек, а быть храбрым казаком. Он поднял за шиворот парня и приказал ему бороться с одним из казаков. Парень несмело и неуклюже схватился с молодым витязем и после напряженной борьбы повалил его. Степан Тимофеич хлопнул его по плечу и похвалил за доблесть. Он взял за руку своего есаула — Харитона, приказал ему сейчас же вооружить парня и с отрядом казаков разгромить поместье боярина. Есаул ушел с парнем и несколькими витязями, а вместо них вошли другие витязи, которые приволокли толстенного человека с длинной бородой из кудели, в поповской желтой хламиде. Позади шла кучка мужиков в кандалах. Степан Тимофеич взмахнул плащом, как парусом, схватил за бороду человека в балахоне и громовым голосом певуче стал обличать его, что он — грабитель, кровопивец, что он последний кусок хлеба, последнюю рубаху отнимает у бедных людей, что поборы и дани с них берет под кнутом и пыткой — сколько людей смертью лютой сгибли! — и тьму-тьмущую в железо заковал и продал их, как скотину...

— Заковать его в железы ржавые! — приказал Степан Тимофеич, указывая на бородача мечом. — Снять железы с бессчастных невольников, отпустить их на волю али в стан наш принять, будь на то их

хотенье да охота добрая. А его, волка лютого, по рукам, по ногам заковать и сбросить с утеса высокого...

Толстенный лиходей пал на колени перед атаманом и завыл о пощаде, но Степан Тимофеич властно и грозно махнул рукой, и толстяка начали тузить по брюху и по бокам. С колодников сняли цепи, запутали ими купца-грабителя и потащили в помещение за колонками. Казаки сняли шапки и приветственно замахали Степану Тимофеичу.

Вдруг вся мастерская загрохотала, заорала, замахали сотни рук, началась суматоха, и мне показалось, что везде обрушились бочки и люди в ужасе хватались друг за друга. Но ниже нас тоже вскочили люди, затопали ногами и закричали:

— Сарынь на кичку! Григорий!.. Гриша! Так его, подлеца!.. Дави!..

Но казаки и раскованные невольники окружили атамана, запели какую-то веселую песню и понесли его на руках.

Мать, сама не своя, вытянулась вперед и большими глазами ловила каждое движение атамана и его молодцов. И когда его подняли на руки, она порывисто встала, словно хотела броситься туда и догнать сверкающую золотом ватагу.

У меня болела голова, истомой горело тело, в ушах взвизгивало и обжигало виски. Но невиданное зрелище было так ослепительно и празднично, что я, как заколдованный, был во власти этих витязей, которые говорили песенными словами и ходили плавно и величаво в плащах, похожих на крылья. Это была какая-то сказочная жизнь, песня наяву. Это были не Гриша, не Харитон, не бондаря, а особые, желанные люди, созданные мечтой о счастье, — такие, как Руслан и Гуак. Должно быть, то же самое переживали и все резалки и рабочие: они замерли, и издали было видно, как самозабвенно устремлялись они к этим песенным людям, которые купались в золоте и серебре, в красных, синих и зеленых всплесках плащей. А хозяин сидел грузно и пьяно. Бляхин всхрапывал, уронив голову на грудь.

Но вот атаман и есаул вылетели на своих крыльях опять на площадку вместе с группой казаков. Есаул Харитон начал словами песни говорить атаману, что астраханская крепость взята штурмом. Народ радуется, а воины присоединились к Степану Тимофеичу. Воевода и его шайка захвачены в плен. Теперь в Астрахани хозяин Степан Разин, Тимофеич-свет. Взята и казна и богатые сокровища. За колонками закричала толпа. Вбежали несколько человек и поклонились атаману и есаулу, и все вместе стали величать Степана Тимофеича. Они называли его батюшкой, кормильцем, благодетелем и благодарили за освобождение людишек от кровососов, грабителей, от голода и нужды, от плетей и палок. Теперь они — вольные люди и хотят быть его казаками. Среди них были и карсаки в балахонах и бараньих колпаках. Атаман говорил с ними ласково, складно, таким хорошим голосом, что у меня сладко задрожало в груди. Он распорядился привести к себе воеводу с пленниками. Есаул крикнул и властно поднял, а потом вскинул свой плащ на плечо. Казаки привели воеводу в таких же латах, но без плаща и без шапки. Его ввели под руки: должно быть, он был ранен. Он не поклонился атаману, но народ разгневался и надавал ему тумаков, приговаривая, чтобы он оказал Степану Тимофеичу почтение. Воевода зачванился, стал ругать атамана вором, а казаков — разбойниками и потребовал, чтобы Разин принес повинную голову. Атаман захохотал, а казаки и народ астраханский забунтовали. Есаул заговорил стихами, гневно взмахнул плащом, притопнул ногой, назвал воеводу злодеем и палачом. Он шагнул к воеводе и сказал ему, что он — только пленник, а все его люди вместе с персицкими обдиралами, с немецкими и аглицкими капитанами перебиты. Воевода испугался и застонал, завыл и беспомощно повис на руках казаков. Атаман встал и добродушно спросил народ астраханский, каким судом судить этого супостата. А народ и казаки закричали и замахали руками: «Смерти предать супостата и ворога!» Атаман поднял саблю и со смехом начал трунить над пленником:

он, воевода, не лебедь белый, а волк. И ежели он думает, что имеет высокую власть, — поднять его на колокольню и сбросить оттуда, пускай полетает в свое удовольствие. Воеводу с криком радости уволокли. А атаман статно и величаво прошелся по площадке, обнял левой рукой есаула, а правой оперся на саблю и долго говорил о том, что Русь поднимается против своих угнетателей, что народ хочет жить вольно, трудиться на себя, а не на бояр и помещиков, что богачам-душегубам не будет места на крестьянской земле. Один закон будет для всех — правда и вольность. А так как Астраханью да морем Хвалынским персицкий царь да ханы хотят владеть, надо идти походом на ладьях с пушками спроть флота персицкого, разбить его, потопить и так погромить разбойников, чтоб впредь неповадно было обиды русским людям наносить и уводить их в полон, на рабство. Степан Тимофеич приказал есаулу в Астрахани власть держать. Сам он побежит с казаками к Дербенту и Баке — на ратные подвиги. Он говорил так страстно, красиво, воодушевленно, что вся масса людей потрясенно слушала его, захваченная его грозной силой и верой в победу. В руках у Харитона сверкнула гармония, и он заиграл что-то разливное, радостное, прибойное, рассыпая шквалами ликующие трели ладов и колокольчиков. Атаман браво пошел к колонкам, а за ним, в такт музыке, в ногу пошагали и казаки с песней под гармонию.

Люди всюду вскочили со своих мест и закричали, забушевали вслед им, как буря.

— Гриша!.. — выкрикивали всюду и мужчины и женщины и махали руками. — Гриша! Харитоша!.. Парнишки родные!..

Даже хозяин поднялся с места и рявкнул:

— Гришка! Мошенник! Хоть ты и купечество шельмуешь, а нет тебе цены, подлецу... Душу вывернул! Сам бы с тобой пошел на персюков. Они до сих пор у нас на бирже ворочают...

Но голос его тонул в криках и грохоте ног. Купец Бляхин сидел по-прежнему расслабленно и озирался с тупым удивлением.

Я искал на противоположной стороне Матвея Егорыча с Гаврюшкой и долго не мог найти их в массе взволнованных людей. А когда народ немного успокоился и стал садиться на свои места, я заметил сначала Гаврюшку, который стоял ко мне спиной, а за ним — плотового. Он сидел, низко наклонившись, обхватив голову руками, и раскачивался из стороны в сторону. Гаврюшка хватал его за руки и что-то настойчиво и растерянно говорил ему. Матвей Егорыч поднял голову, отодвинул левой рукой Гаврюшку и усадил его рядом с собой. Лицо его было как у больного, а глаза бессмысленно блуждали, словно его ошарашили до бесчувствия.

Я не помню, что было потом. Остались в памяти только блеск лат, взмахи плащей, какая-то суета, крики и хохот зрителей. Может быть, я забывался в жару и терял сознание, а может быть, мне было многое непонятно и я уставал от непрерывного сверкания серебра и золота и дремал. Но последняя картина очень ярко горит в моей памяти до сих пор. Все действо о Степане Тимофеиче Разине звучало стихами — то плавными и нарядными, как протяжная песня, то сильными и гордыми, как богатырская поступь, то веселыми и простыми, как хороводные речитативы. Они переходили в песни, в пляску и молодецкую удаль.

Вот на широкой площадке — настоящая бударка. Ближе к носу сидят с веслами в руках казаки, а на корме — рулевой. В середине полулежит кудрявый атаман, а к нему прижимается девица в красной душегрейке, в зеленых шароварах и в какой-то сверкающей искрами шапочке. На лицо ее до подбородка падает с шапочки платочек, а на груди лежат две косы. Казаки поют песню:

Как по Волге-реченьке,
По волнам раздольны-им
Плывут струги расписные,
В стругах — буйна вольница.

Перед гребцами стоит есаул и смотрит вперед. Он мрачен и задумчив. Один из казаков спрашивает его: почему он такой печальный? Ведь сейчас вся Волга

и вся крестьянская земля живет вольной волей и тьмы-тем людей — в ратных доспехах. Нет силы, которая пошла бы на брань против воинов-мужиков. Есаул угрюмо и зло отвечает, что против ратных сил сермяжных идет царское войско. А без вожака-атамана эти тьмы-тем будут разбиты, пленены и преданы лютой казни. Не хочет думать об этом наш храбрый атаман Степан Тимофеич. Тут есаул Харитон повернулся к атаману, сорвал с себя плащ, бросил его к своим ногам и стал без робости обличать Стеньку Разина. Вот он пьет зелено вино и попал в плен к полонянке — персицкой царевне. И так обезумел от любви, что забыл о ратных подвигах и великой беде — о туче грозовой, которая на них надвигается. Есаул сорвал с себя саблю и угрожающе поднял ее, шагнув к атаману. Атаман в гневе крикнул на него и сам схватился за саблю. Но персиянка обняла его голыми руками и опрокинула назад. Есаул поднял саблю на полонянку и дрожащим от негодования голосом обещал убить девицу-красавицу, как самого злого ворога. Нет ничего коварнее и погибельнее для витязя и доблестного казака, чем угар и хмель сладостной любви к девице из вражьего стана, из хором персицкого султана. Это — змея подколодная, ведьма, колдунья, которая поймала в свои прельстительные сети такого мужественного казака, как Степан Разин. Она очаровала его своей неописанной красотой, которая для ратного мужика — отрава смертная. То-то слух пошел в народе, что честной атаман предался врагам и бросил своих казаков и мужиков на кровь и смерть.

Казаки вскочили на ноги, окружили есаула и закричали наперебой, упрекая атамана в баловстве, в пьянстве, в слабости, в измене. Для него, Стеньки, ворожья змея дороже своего народа. Эта змея оплела его и зельем опоила.

Стенька схватился за голову и простонал, как от страшной боли. Потом оторвал от себя руку персиянки и как зверь бросился к казакам. И опять он превратился в грозного витязя. Он гордо поклонился им и мужественно покаялся. Нет, не изменился и не

изменил он товарищам верным и народу русскому. Любовь — великая сила, как огонь. А этот огонь сжигает неразумных и слепых. Но святая любовь душу закаляет и делает человека гордым в подвигах. Любовь чужачки — сладка, как мед, но сжигает, как полымя. Он схватил персиянку, поцеловал ее, а она опять обвила его шею голыми руками. И тут я услышал стихи, которые так скорбно говорил у себя за столом Матвей Егорыч:

Эх ты, Волга, мать моя кормилица!
Не отдам тебе себя, добра молодца.
Не волен я в своей волюшке:
Роковая моя судьба — воля народная,
А отдам я тебе драгую любовь —
Драгую красу — царевну персицкую...

И он вскинул ее выше головы и бросил за борт. Мать крикнула пронзительно:

— Что ты делаешь, Гриша? Убил ты ее!..

В разных местах взвизгнули женщины. И вдруг опять всюду грянула буря. Громовой голос рявкнул:

— Так ее, змею проклятую!.. Туда и дорога!..

В тот момент, когда Гриша бросил Анфису, я тоже замер от ужаса: ведь она разобьется об пол и умрет. Но сразу подскочили два человека и подхватили ее на руки. Платочек слетел со лба Анфисы и открыл ее лицо. Она испуганно улыбалась.

Рабочие и резалки срывались с мест и бежали к площадке. Казалось, что все прыгали и сползали вниз вместе с бочками. Около нас тоже свалилось много людей, но мы с матерью сидели в каком-то странном оцепенении.

И вдруг купец Бляхин заревел, как зверь:

— Анфиса!.. Милая!.. Ведь это ты!.. Долой с дороги, хамье!.. Я — к Анфисе моей!.. Дайте мне ее сюда!.. Нашел!.. Накрыл, теперь не скроешься, беглянка!..

Но Анфисы на прежнем месте уже не было: она пропала у меня на глазах. А мать вскрикивала плачущим голосом:

— Схватит он ее... Где она, Федя? Пропадет она, в лапы ему угодит...

Бляхин, всклокоченный, бешеный, расталкивал толпу, которая теснилась вокруг Гриши с Харитоном, и с оскаленными зубами рвался вперед. Озверелый, с безумно выпученными глазами, он разбрасывал рабочих и работниц, размахивал кулаками, но рабочие хватали его за руки и толкали назад.

Харитон, посмеиваясь, снисходительно крикнул в толпу:

— Дайте дорогу купцу, ребята! Ему размяться хочется — засиделся, заспался.

Бляхин прорвался к тому месту, где он увидел Анфису, но она исчезла. Он с ревом кинулся, барахтаясь в толпе, к колонкам и скрылся за бочками. Там что-то загрохотало, и мне почудилось, что началась драка.

— Где она?.. Вы ее спрятали, подлецы!..

Он вылетел оттуда и едва не упал, — должно быть, кто-то вытолкнул его без всякого почтения.

— Прокофий! — орал он, задыхаясь от ярости. — Прокофий! У тебя не слуги, а негодяи и воры... Прикажи выдать мне ее!

Хозяин отстранил его тяжелой рукой, вынул бумажник, сунул управляющему деньги и ткнул пальцем в сторону Гриши. Управляющий проскользнул к нему и протянул ему несколько бумажек. Но Гриша с удивлением взглянул на них, засмеялся и покачал головой. Управляющий строго проговорил что-то и опять сунул ему бумажки, но Гриша отвернулся. В эту минуту Бляхин остервенело бросился к колонкам и стал бить в них ногами. Колонки закачались, сверху упало несколько досок, и вдруг все сооружение рухнуло с грохотом. Одна из бочек упала на Бляхина, отскочила от него, и он, едва держась на ногах, врезался в толпу рабочих. Его встретили дружным хохотом и под руки отвели на место.

— Григорий! — хрипло крикнул хозяин. — Замолчи, народ! Чего орете, как сто ослов... Григорий! Иди со своими разбойниками ко мне — за мой стол. Угодил! Зови резалок — да тех, которые поозорнее. Всех бунтарок зови. Люблю вас, чертей бесшабашных! Солено, дерзко изображал... Купца на коленях

держал, в цепи заковал. Дерзко! А за воеводу не бранюсь. Эти воеводы — лишний народ... вредный... Они и нам, купцам, воли не дают. Слышишь, Григорий?

Гриша улыбнулся и почтительно отвечал:

— Завтра раным-рано на работу, Прокофий Иваныч. От бессонья работа не спорится. Покорно благодарим за гостеприимство, а невозможно, Прокофий Иваныч. Все устали — моготы нет. Увольте!

— Дурак! Ведь сам знаешь, что от устатка водка сладка.

— Покорно благодарим, Прокофий Иваныч, только мы люди непьющие.

— Ну, баб гони!

— Не волен, Прокофий Иваныч: бабами не распоряжаюсь.

— Ну и болваны!..

Он подхватил под руку Бляхина и пошел к выходу. Впереди очищал дорогу управляющий, а позади семенила подрядчица. Бляхин, вероятно, перегорел: он брел рыхло, расслабленно, как больной.

Я искал издали Гаврюшку с отцом, но толпа заслонила их от меня. Когда ушел хозяин, толпа ринулась к Грише и Харитону, и они скрылись в разноцветной толчее, только мелькали их шапки с красными лоскутками. Все кричали, как на сходе, не поймешь что, все старались протискаться поближе к Грише и Харитону, и лица у всех были радостные, возбужденные, улыбающиеся. Люди, которые толкались позади, неохотно выходили из мастерской. В толпе я заметил и Карпа Ильича с Корнеем, а маленький Балберка на глаза не попадался.

Когда толпа поредела, я увидел на старом месте Матвея Егорыча. Он сидел, обхватив голову руками, как прежде, но плечи его вздрагивали. Перед ним стоял Гаврюшка и плакал. Он что-то говорил отцу, хватал его за руки и тянул к себе. Вдруг Матвей Егорыч быстро встал, прижал к себе Гаврюшку и показал на сиденье: жди, мол, меня. Он широкими шагами пошел к толпе, уверенно стал разгребать ее и, к моему удивлению, очень легко пробрался

к Грише, с размаху обнял его и поцеловал крест-накрест — три раза. Потом поднял руку и напевно срывающимся голосом проговорил:

Не волен я в своей волюшке:
Роковая моя судьба — воля народная.

Он отмахнулся и, потрясенный, так же стремительно вышел из толпы. Гаврюшка подбежал к нему, и они, не оглядываясь, пошли к двери.

Я не помню, как пришел в казарму, и не помню, что потом было. После пережитых волнений и невиданного зрелища я сразу ослабел, почувствовал себя совсем больным. В глазах все кружилось, расплывалось и плескалось волнами, и я погружался в горячий туман. Помню только, как в смятении вскрикнула мать:

— Матушки, да ведь ты совсем расхворался! А я-то, дура, и не вижу ничего... Господи, да ты и на ногах не стоишь!

Болел я долго и метался без памяти. Что у меня была за болезнь — никто не знал. Мать рассказывала потом, что я горел, как в огне, стонал жалобно, как маленький ребенок, и кашлял хрипло, надрывая грудь. И все время не приходил в сознание. Мать работала, но часто отпрашивалась у приказчика, чтобы проведать меня. За мной ухаживала тетя Мотя: клала мне мокрый утиральник на грудь, обмывала лицо и поправляла постельку, которую я сбивал в кучу, мечась в жару. Часто Феклушка с ее помощью влезала ко мне на нары и копошилась надо мною, как сиделка. Я был в каком-то призрачном небытии — плавал в каком-то мучительном хаосе, невесомый, как паутинка, или проваливался в бездонную муть и таял, как тоненький, надрывающий душу звук туго натянутой струны. Иногда на короткое мгновение я ощущал себя в тоске и отчаянии, и меня смертельно мучили кошмарные видения.

И когда я проснулся однажды утром, меня поразила приятная тишина и прозрачная пустота в казарме. По всему телу разливалась радостная теплота и трогательная благодарность кому-то, похожая на счастье. Я тихо смеялся и плакал от наслаждения,

беспричинно ликовал в душе и глядел на все с умилением, словно воскрес в родном, бесконечно дорогом мире, где все желанно, мило и неожиданно ново. И не умом, а всем телом понял я, что очень трудно перешел какой-то страшный рубеж и вырвался в другую жизнь, как будто родился заново. Чувствовал я только одно — счастье воскресения, невыразимую радость жизни. Но вместе с этой радостью и счастьем я испытывал обиду: почему никто не замечает меня? почему все меня позабыли?

— Тетя Мотя!..

Голосишко у меня был слабенький, дрожащий, но бодренький и счастливый, словно я хотел крикнуть: «А вот и я!.. Встречайте меня!..»

Тетя Мотя изумленно ахнула и запричитала сквозь слезы:

— Голубчик мой! Оклемался!.. Минула смерть-то, только подолом задела. А я тебя и прокараулила, недотепа... Мать-то как обневедается!

А Феклушка засмеялась и пропищала, захлебываясь:

— Феденька! Здоровенький! Я ведь знала, что ты на ноги встанешь. Мне ангели еще давно сказали.

— Тетя Мотя, я поесть хочу... Дай мне хлебца с солью да чайку!..

Тетя Мотя захлопотала, заахала, загремела посудой, а Феклушка сидела на своей постели и что-то шила.

— Я тоже, Федяша, выздоравливаю. Ножки-то еще подламываются, а хожу. — Она засмеялась. — Как ребеночек хожу аль как старушка дряхленькая. А к тебе вот подняться еще не могу. Только тетя Мотя меня подсаживала. Младенчик-то у Оленушки помер. То-то тихо стало... И я его не выходила. Ведь ты, Федяша, хворал-то страсть как долго! Сейчас уж святки. А что было у нас, что было! И рассказать — не раскажешь...

Тетя Мотя с трудом влезла на боров печи и протянула мне кусок хлеба, круто посыпанный солью, и кружку чаю. Потом поцеловала меня и сунула мне в руку кусочек сахару.

XXXVIII

За время моей болезни произошли большие события. На другой же день после действа к хозяину вызвали Гришу с Харитоном и Прасковею с мамой и Наташей. Но Харитон на работу не пришел. Бляхин долго расспрашивал, куда скрылись Харитон с Анфисой. Ему, Бляхину, все известно: каждый шаг их расписан. На его допросы отвечали молчанием или скупыми словами: «Наше дело сторона. Для хороших людей и мы хороши...» Бляхин бушевал, грозил скрутить их в бараний рог. А один раз даже бросился с кулаками. Но Гриша сердито осадил его: «Потише, господин купец!» Тогда Бляхин набросился на маму. Он увидел, должно быть, в ней робкую, запуганную женщину и решил ее оглушить.

— Мне известно, что ты ехала сюда вместе с Анфисой и близка с ней. Говори: где она? Поможешь найти — награжу, отопрешься — сгною в клоповнике.

Прасковея сжала ей руку, а Гриша поспешил на помощь:

— Вы не грозите, купец. Вы над нами не властны.

А мать, бледная, ответила:

— Мало ли людей-то было на барже. А хорошим людям везде найдется место.

Хозяин, развалившись, сидел в кресле, барабанил пальцами по коленке и слушал с угрюмым, отравленным лицом. На большом столе, покрытом белой скатертью, стояли бутылки с напитками, на тарелках красовалась всякая аппетитная закуска. Ни управляющего, ни подрядчицы здесь не было.

Гриша учтиво упрекнул Бляхина:

— Вы нас, ваше степенство, зря вызвали. На нашем месте вы сами сказали бы: друзьев не выдают, свинью им не подкидывают, а верность в дружбе — самое великое дело.

Хозяин пробурчал:

— То-то, Гришка, ты Стеньку Разина разыгрываешь. Верность! Ловко насчет купцов проезжаешься. «Не моя воля — воля народная...» И не твоя и не

народная, а моя воля. Как я хочу, так и закручу. Полиция мне нынче претензию заявить посмела, что ее не допустил я на твое представление. Я погани не терплю, а она напустила бы погани. И ты мне погани не разводи. Какие это листки по секрету раздаются? Вот... у тебя в бондарне нашли.

— Мало ли у кого листки бывают! Письма-то почтальон разносит.

— Это не письмо, дубина. Дураком не прикидывайся. Смотри, Гришка! Мне уж все о тебе да об этой рябой дылде доложили. На бунты народ подбиваете? Бунтари какие объявились!..

Он затрясся от смеха, запыхтел, скомкал бумажку, бросил ее на пол и раздавил сапогом.

— Видал? Вот тебе и представление! Любишь играть в лицедейство — от этого мне вреда нет, а только развлеченье. А за бунты шкуру спущу. Ребятишек секут за баловство, а комаров давят, когда они над ухом жужжат. У Пустобаева ни бунтов, ни полиции на промыслах сроду не бывало и не будет. Бунтари голодраные! Эка, бунт какой учинили — к хозяину на пир не пошли, на гривенники не позарились! А мне это — развлечение, хохочу от забавы... Валяйте! Тут и управляющий и подрядчица с ума сходят, а не понимают, что всякому дураку позоровать охота.

Хозяин повернулся к Бляхину, который наливал себе водки в стакан, и угрюмо съязвил:

— Ты, Кузьма, не бесись. Все равно тебе Анфису не видать, как своего хвоста.

— Черта с два! — бешено взревел Бляхин. — В песках, в норе, на дне моря найду! Свяжу, в цепи закую, а приволоку в свой дом и запру за семью замками!

Пустобаев шлепнул ладонями по коленкам и зарычал в восторге:

— А ловко они тебя в море-то отшвартовали! Ох, мочи нет, уморил! И поделом: не нападай на чужую баржу, как разбойник. Баржа моя, добра в ней было на многие тысячи, а ты ее сжечь хотел да всех людей потопить. Кого бы ты в убыток ввел? Меня.

И молодцы рыбаки: хозяйскую посуду спасли и тебе, самоуправцу, шишки набили, да и за Анфису горой стали. Дудки, брат! Деньги спроть любви — не сила. На любовь закона нет: любовь все законы попирает. Блуд купишь, а любовь не скрутишь. Я это лучше тебя знаю. Ну, бунтари, идите! Да глядите, чтоб у меня на промысле полиции не было.

Прасковея смело выступила вперед и низким своим голосом предупредила:

— Бунт мы не устраиваем, хозяин, а подрядчица заодно с управляющим.

— Это как — подрядчица?

— Вам это известно, хозяин. Она штрафами нас донимает. Ко всему придирается, чтобы отнять последнюю копейку. И управляющий не лучше ее. Заболела резалка — пропадай с голоду. А надо бы больных-то лечить, а докторов да фельдшеров нет. И люди мрут: умерла женщина от горячки, умер солильщик от антонова огня, и ребенка его уморили. У меня сынишка сгорел... Вот и у нее, у Насти, парнишка без памяти мечется. Может быть, тоже сгорит.

Мать не выдержала и заплакала.

— Вот оно как обернулось! — притворно удивился хозяин. — Ты, Кузьма, пригнал их сюда, чтобы за жабры их взять, а они от тебя отплевались да еще мне нотацию читают... Ловко! А с подрядчицей — верно... беспорядок. Она в мой карман лапы запускает. Ну, а лечить я вас не умею — не доктор. Больницы не я строю, а казна.

Гриша, улыбаясь, хитро поддел хозяина:

— Неужто, Прокофий Иваныч, ваш промысел в худой славе останется? По вашим порядкам все равняются.

— Гришка! Дерзишь? Дурной славы о моих промыслах нет.

— Такие толки идут по всем промыслам, Прокофий Иваныч. Вот холеру ждут весной, а больницы нет. Разве вам в честь, ежели слава пойдет, что холера-то на самом большом промысле Пустобаева людей валит?

— Гришка, не забывайся, прохвост! — рассвирепел хозяин, выкатывая красные белки. — Убирайтесь вон, к чертовой матери!

А Гриша смотрел себе под ноги и тонко улыбался.

— Это не я, а все толкуют, Прокофий Иваныч. Ведь хороший хозяин и скотину лечит. Кому же выгодно самосильного рабочего морить?

Хозяин вывалился из кресла и вскочил на ноги.

— Языки развязали, черти соленые... Вон отсюда, чтоб не смердили! Слава моя не в казарме гуляет, а в моем царстве. Не хотите ли сестер милосердных? Кому охота околевать — туда и дорога, а кому жизнь своя дорога — и без доктора не околеет.

Когда Гриша и женщины выходили из двери в прихожую, Бляхин заорал:

— Стой! Я с вами по-другому поговорю!

И бросил на стол стакан. Он ударился о графин и разлетелся по столу мелкими осколками. Бляхин, взъерошенный, с дикими глазами, с мокрой бородой, широко прошагал к двери и грубо вцепился в руку матери. Она в ужасе вскрикнула и схватилась за Наташу.

— Ты, молодка, со мной останешься! — распорядился Бляхин, прилипая к ней пьяными глазами. — В залог возьму до тех пор, пока эти хари не приведут сюда Анфису.

Он так больно впился в руку матери, что она закричала, стараясь отодрать его пальцы и в отчаянии безумными глазами умоляя товарищей.

Хозяин трясся всем телом от хохота.

— Кузьма!.. Бешеный!.. Что отчубучил!

Гриша мгновенно и как-то незаметно сдавил руку Бляхина и с угрозой сказал вполголоса:

— Вот это, господин купец, никак не годится.

Бляхин крякнул от боли и взглянул на свои пальцы: они окоченели, как мертвые.

Наташа и Прасковея подхватили мать и вывели ее в прихожую.

Прасковея вскинула голову и через плечо с негодованием бросила:

— Волки от голода бесятся, а богатые от наших обид и слез дуреют.

Наташа с ненавистью подхватила:

— Не на меня напали...

Гриша, уходя, с учтивой улыбочкой, взволнованно проговорил:

— Именитые люди, а позволяют себе такие дикости...

— Мерзавец! — прорычал Бляхин, встряхивая руку. — Он мне, Прокофий, жилы порвал: кисть омертвела.

Хозяин трясся от хохота.

Приказчик уже знал, что произошло у хозяина, и держался на другом конце плота. Но когда подрядчица с хищной усмешкой нацеливалась на мать, он быстро шел ей навстречу и хладнокровно предупреждал ее:

— Рыба не клюет...

— Зато я тебя заклюю, снулый черт!

— Пока еще клюква твоя не поспела, госпожа подрядчица. А поспеет — сорвем.

В этот день хозяин с Бляхиным катались по поселью на тройке рысаков с бубенчиками. Пьяные, они орали песни, пили прямо из бутылок и бросали их в окна домишек и в кур на улицах, а на базарной площади кидали в толкучку мелкое серебро и медь и помирали с хохоту, когда толпа бросалась собирать монетки и в драке опрокидывала лотки и ларьки. Ночью пробрались они и в Нахаловку, в те узенькие проулочки, где жили Харитон с Анфисой, но на них напала какая-то шайка. Фаэтон опрокинули, порубили колеса, обрезали постромки, а их так поколотили, что они едва очухались.

Рассказывали, что на других промыслах люди забеспокоились. У всех было общее недовольство: замаяли штрафы, харчи были голодные — обычная ржавая вобла, которая годами лежала в сараях как отбросы, сырой кислый хлеб, похожий на колоб, червивая крупа... Все были в постоянном долгу в хозяйской лавочке, где ватажники покупали в кредит приварок по безбожным ценам. Редко кто из рабочих

получал на руки жалкие гроши. Люди голодали, тощали, валились с ног, и в каждой казарме лежали больные, которые лишались заработка. Заразные — тифозные, дизентерийные — оставались без ухода и заражали других. Каждый день хоронили в поселье по нескольку покойников. Много было сирот — подростков и малышей; они бродили по улицам, нищенствовали, копались в рыбных свалках или на базаре и питались отбросами. А где они ютились — никто этим не интересовался.

И вот в эти дни, когда купцы разъезжали по поселью на тройке и кутили, полиция куда-то спряталась. Она боялась мешать именитым толстосумам, перед которыми пасовали и астраханские власти. Но на промыслах рабочие и работницы начали волноваться, забеспокоилось и население. Кто-то незаметно и ловко разбрасывал «подметные листки» и в мастерских, и на плотах, и в казармах. Листки читали с оглядкой, по уголкам. Неграмотные отдавали их грамотеям, а те собирали около себя кучки людей и читали им вполголоса. Боязливые уходили подальше от греха, некоторые ворчали, а кое-кто грозился пожаловаться начальству. В соседской мужской казарме избили двух пожилых солильщиков за такие угрозы.

Разгул купцов продолжался несколько дней. Кое-кто из старых рабочих и работниц гордились хозяином и его гостем:

— Размахнулось купечество... знай наших! Эх, и любит русский купец себя показать! Лютый на всякие щедроты. Бывало, так же вот нагрянут на свои промысла, развернутся — море по колено! Рекой вино льется. Народ велят сгонять, угощенье выставляют. Величают их, а им лестно. В лавках весь красный товар скупят и велят расстилать по улицам. И на тройках по сукнам да по ситцам как птицы несутся.

Но над этими стариками смеялись и бондаря и резалки:

— Эка, хвалитесь чем! Ведь они не по сукнам скачут, а по нашим спинам. Вино-то у них кровкой пахнет.

И злобно ругались:

— Взять бы их, кровососов, да на вешалах, как воблу, перевешать! Мы спины на них гнем, дохнем с голоду да с надсады, а они с жиру бесятся.

Когда купцы лихо проносились на тройке по улицам, жители прятались в дома. Стекол не вставляли — боялись, что гуляки опять их выбьют. Дыры в окнах затыкали подушками и мешками. Как только купцы с ревом и звоном бубенчиков врывались на базарную площадь, лавки торопливо закрывались, а лоточники разбегались в разные стороны. Только в трактире по-прежнему играла «машина» и разноголосо кричали и пели пьяные голоса. Трактирщику сваливали большие деньги за разгром. Он очень был доволен этим разгромом, потому что содрал с купцов втридорога и ждал, что они опять ввалятся к нему и опять разбушуются.

И вдруг на промысле настала тишина. Тройку уже не подавали к крыльцу, а по ночам окна уже не горели ярким светом, и не было слышно ни песен, ни пляски, и не орали пьяные голоса. Через день хозяин, угрюмо-трезвый, прошел вместе с управляющим по всем участкам работ и строго проверил каждый закоулок. Все видели, что рыбное дело он знает очень хорошо и замечает даже мелкие непорядки. На плоту он прошел по рядам резалок и остановился перед скамьей Прасковеи с Оксаной, всматриваясь в их работу.

— Хорошо работают — споро. И смутьянить мастерицы. Сразу видно: сидят, как наездницы. Эта рябая со мной разговаривала как ровня — с запросом.

Прасковея переглянулась с Оксаной и ответила недобрым голосом:

— Я не торговка, хозяин. А хотим мы, чтобы вместе с волосами не отрывали головы.

Хозяин остро вглядывался в нее и усмехался.

— Ну, ежели тебе не по нраву здесь, можешь идти на все четыре стороны.

— Нет, хозяин, отсюда не уйду: у меня на этой каторге сгорел ребенок и мук я много приняла. Лучше меня никто не знает, чего людям надо.

— Дерзко говоришь, ненавистно. Ты, как видно, не только своих резалок мутишь, а шуруешь и на других промыслах?

Прасковея не струсила и смело отрезала:

— Мутить мне нужды нет, хозяин: мутит всех каторга, голод, болезни и живодерство. Одна подрядчица чего стоит! Недаром она человечиной торговала.

Подлетела Василиса и с бешеной дрожью в лице закричала:

— Вы вот сами видите, Прокофий Иваныч, какая она подлая!

Но хозяин грубо оттолкнул ее и пробурчал:

— Отойди! Про тебя верно сказала насчет человечины. Не в бровь, а в глаз.

Он еще раз прошелся по плоту и остановился перед скамьей Улиты и кузнечихи. Улита встала со скамьи и низко ему поклонилась, встала с поклоном и кузнечиха. Хозяину это понравилось, но он небрежно кивнул им головой и сердито ткнул пальцем в руки кузнечихи.

— Болячки, гной... И это все в рыбу. Снять! Вылечит свои лапы — может опять сесть на скамью.

Кузнечиха заплакала. Но хозяин отвернулся и зашагал дальше. Управляющий почтительно шел за ним. Подрядчица семенила за управляющим. Хозяин на ходу показал пальцем на руки еще одной резалки:

— Снять!

И так он обошел все скамьи и тыкал пальцем то в одну, то в другую резалку:

— Снять!

Управляющий повторял вслед за ним:

— Встань и иди в казарму!

Поднялись со скамей тринадцать женщин и одна за другой уныло ушли с плота.

Управляющий попробовал предупредить хозяина, что путина еще не закончилась и люди нужны до зарезу. Но хозяин повернулся к нему спиной и рявкнул:

— Подрядчица!

Василиса испуганно подбежала к нему.

— Я тебе, подрядчица, весь жир собью! Почему у тебя бабы работают гнилыми руками? Пакостишь

товар. Про ватаги Пустобаева дурная слава пойдет. Лечи свою бабью команду! Строго следи! А ты, управляющий, слепой верблюд. Должно быть, и на плоту не бываешь? Вон та рябая под орех нас разделывает.

Подрядчица застрекотала обидчиво:

— Я, Прокофий Иваныч, не подряжалась лечить резалок: это дело хозяйское. Больницы здесь нет: она в Ракуше. А доктор здесь визитами живет. Вот вы сняли работниц, а они поурочно работают. Они будут бунтовать, что их заработка лишили. А жрать-то им надо?

— Раз навербовала — корми. Значит, сама довела их до этого. Гляди у меня: сколько ты уморила людей-то? Это у Пустобаева на промысле люди дохнут! Управляющий, чтобы этого не было!

Управляющий беспомощно пожал плечами и виновато запротестовал:

— Что же я могу сделать, Прокофий Иваныч? Порядки одинаковы на всех промыслах.

Хозяин вскинул на него похмельные глаза и буркнул:

— Дурак! Матвей на твоем месте такой глупости не сказал бы.

Он зашагал дальше и остановился около Гали. Пальцы у нее были еще перевязаны.

— Снять!

Но Галя обозленно огрызнулась:

— Не встану и не уйду!

Хозяин не ожидал такого отпора и, посапывая, молча вгляделся в Галю. А она, бледная, продолжала ожесточенно работать.

Управляющий строго приказал:

— Раз господин хозяин требует — надо подчиняться. С больными руками нельзя работать.

Галя враждебно упорствовала:

— Сдыхать от голода я не хочу. Меня и так две недели кормили товарки. Пускай подрядчица или контора перчатки защитные выдает. У нас у всех, резалок, больные руки. Не пойду.

Подрядчица подскочила к ней.

— Работай, работай... Заплатишь убыток хозяину, да не одна ты заплатишь: ваша рыба все равно в брак пойдет. А за упрямство особо оштрафуем.

Хозяин сердито топнул сапогом.

— Отойди! Не твое дело. Лапы отрублю. Грабь, да с умом! Не охально!

И, усмехаясь в бороду, с любопытством уткнулся глазами в Галю.

— С норовом девка, с отшибом. И лихая работница — вижу. Лучше нашей бабы во всем свете нет работницы. А озлится — ничего не страшится. Таких, как эта крапива, здесь — не одна. А рябая позаковыристее будет. Недаром они у тебя, подрядчица, бунтуют. Может быть, и еще какая-нибудь не прочь поерепениться? Ну-ка? Давайте драться. Подраться с драчунами люблю. Начинайте с подрядчицы, а кому охота — с меня.

Пустобаев задорно оглядел резалок. Но никто из них не оторвал лица от работы: все замкнуто молчали. Подрядчица злорадно ухмылялась, а управляющего, должно быть, мутило от рыбьего запаха и от неприятного вида разделанных рыб и слизистых внутренностей в ушатах и на скамьях: он пожелтел и болезненно морщился.

— Ну, так что же? — поддразнивал хозяин резалок. — Вот так бунтарки! Только на щенка лаете...

Оксана вскочила со скамьи и ударила ножом о багорчик. С искаженным от ненависти лицом она крикнула:

— Вот эта собака съела у меня сестренку! Заманила ее в свой публичный дом и растерзала ее молодость. Удавилась сестра-то — не перенесла. И я не знаю, где могила ее. Что же, хозяин, прощать ей прикажете? Благодарить за ее злодейство?

Подрядчица беззлобно засмеялась.

— А зачем ты завербовалась ко мне, ежели я такая злодейка?

— Нарочито завербовалась — жить без тебя не можно. Так же, как и Прасковея, у которой ты ребенка съела. Таких, как мы, много — все, у которых руки до кости обглодала...

Хозяин волчьими глазами впился в Оксану, потом медленно перевел их на подрядчицу и на управляющего и равнодушно промычал:

— Да-с... тут не только рыбой пахнет. Бешеных собак щелчком не отгонишь. А с таким управляющим промысел в свалку обратится.

И он тяжело понес свое тучное тело к выходу.

Анфиса с Харитоном пропали бесследно. Говорили, что Бляхин поставил на ноги полицию и всех сыщиков, чтобы найти Анфису: розыски шли и день и ночь не только по поселью, но и по округе — по ерикам и по становищам карсаков. Бляхин, трезвый и угрюмый, в бобровой шубе, прогуливался по веранде и тосковал. К нему торопливо подбегали какие-то люди в кургузых пальтишках и докладывали ему что-то, а он лениво отмахивался от них. Потом он будто бы ездил в полицию и возвратился как больной.

Шкуна маячила далеко в море и дымила от скуки.

С севера подул холодный ветерок, и море стало медленно отползать от берега. В песках и на берегу лежал мокрый снег, а море казалось черным. Хозяин пропадал в конторе и был не в духе. Толковали, что он призвал к себе управляющих других промыслов и расспрашивал их, как держат себя ватажники, чем они недовольны и что думают управляющие делать, чтобы усмирить бунтарей. Велел он явиться к себе и Матвею Егорычу и во время разговора добродушно шутил с ним. Он будто бы извинялся перед ним за свою горячность и не велел думать об уходе. Но Матвей Егорыч сказал ему, что с управляющим и подрядчицей ему работать зазорно: управляющему надо не на промысле быть, а конторщиком в городе. Рыбного дела он не знает, рыбы боится, но любит командовать, и между ними постоянная вражда. Подрядчица — жадная, хищная баба. Ее надо посадить в тюрьму, а не поручать ей вербовать женщин. Работницы и рабочие так озлоблены, что каждый день можно ожидать бунта. А скандалы уже были, и если бы он, Матвей Егорыч, не вмешался, путина была бы

сорвана. Но управляющий с подрядчицей его же обвинили в потворстве резалкам. На штрафах далеко не уедешь: штрафы — это хабара подрядчицы, и она постоянно ищет повод для этого шкуродерства, но для промысла это — позор и убыток. Подрядчица штрафы и вычеты сдирает самоуправно. Он, Матвей Егорыч, хорошо знает, как тяжело живется ватажникам: он сам еще смолоду испытал это на себе, и считает, что к рабочим надо относиться по-человечески: отменить всякие штрафы, улучшить харчи, прислать врача и больницу построить. Времена меняются: рыбное дело развивается, промысел вырос, прибыль увеличилась в несколько раз, а распорядки прежние. Сейчас и рабочие и работницы другие, чем прежде: они уже научились за себя стоять, видеть несправедливости. Теперь меньше стало покорных и безгласных одров. Среди людей есть уже грамотные, которые умеют беспокойно думать. А подрядчица, к слову сказать, сама учит их уму-разуму, да и контора ей помогает. Так что ему, Матвею Егорычу, при таких порядках оставаться здесь совесть не позволяет.

Хозяин пыхтел, сдерживая гнев, но старался говорить хладнокровно: порядки, мол, везде — и по Волге и по Каспию — одинаковы, и менять их не приходится: это не в интересах промышленников.

— А с такой дурной совестью тебе пристани нигде не найти! — набросился он на Матвея Егорыча. — Я и без тебя знаю, кто чем дышит и кто кого душит. И правда мне твоя ни к чему: милосердие и человеколюбие при моем деле не к лицу мне, как румяна быку. Совесть твоя для меня — не барыш. Свет держится не человеколюбием и не совестью, а дракой. И со своей совестью ты мне не слуга, а ненавистник. Вот. И парнишка твой такой же: явился ко мне как судья — комар-правдолюбец. Но ты—именитый рыбознатец и в моем деле великий мастер. Гнать тебя — делу вредить, до зарезу нужен. А насчет души и совести — этим товаром и попы не торгуют. Вот и выходит: ничего, кроме ошейника, у тебя нет.

Хозяин уже отмяк, и мясистое его лицо добродушно улыбалось.

— Отпускать тебя, Матвей, не хочу, а сделаю управляющим и совесть твою служить мне заставлю. Этот дохлый мозгляк на промысле — как крыса в курятнике.

Матвей Егорыч встал, поблагодарил хозяина за честь и отказался от почтенной роли управляющего. Он согласился сохранить за собой место плотового до весенней путины. Но хозяин опять взбесился, лицо его набухло от прилива крови.

— Своевольничаешь, Матвей! Захотел бродягой быть, галахом? Ну и будешь бродягой. Иди с глаз долой!

Дня через два жена Матвея Егорыча уехала в Гурьев, а Матвей Егорыч с Гаврюшкой ушел куда-то пешком, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу.

В день отъезда хозяина случилось еще одно происшествие, которое взволновало всю ватагу. Среди бела дня прошла мимо плота к хозяйским покоям Анфиса, прилично одетая, в пальтеце, в серой шали. Она приветливо помахала рукой резалкам. Прасковея и мать даже вскочили со скамьи от неожиданности.

— Чего это она? — вскрикнула Оксана.— Неужли к купцу воротилась?

Но Прасковея, провожая глазами Анфису, соображала.

— Нет... чего-то не так... по походке видно. Ежели что случится, на помощь ей побежим, девки... в обиду не давать. Ах, смелая какая!

Бляхин в это время прохаживался по веранде. Он запахнулся в шубу и шагал расслабленно вперед и назад, тупо вглядываясь в пол. Он не сразу заметил Анфису, а когда увидел ее перед верандой, отшатнулся к стене и ударился о нее плечом.

— Анфиса! Ты? Дорогая! Пришла! Спасибо, спасибо!

И он, распахнув шубу, бросился к ней по лесенке. Анфиса вскинула руку, будто защищаясь, и строго предупредила его:

— Кузьма Назарыч, не подходите ко мне! Я одна пришла: верю, что вы меня не обидите. Ежели бы я вас боялась, я не явилась бы сюда.

Бляхин как будто не слышал, что она крикнула ему: путаясь в полах шубы и спотыкаясь, он торопился к Анфисе, протягивая к ней руки, смеялся и стонал. Но она пятилась от него, отмахиваясь рукой, и вдруг гневно крикнула:

— Опомнитесь, Кузьма Назарыч! Стойте! Иначе я не буду с вами разговаривать и уйду.

Он остановился и бессильно опустил руки.

— Анфиса! Что ты со мной делаешь!.. Ты должна возвратиться. Ты — моя законная жена.

— Я признаю один закон, Кузьма Назарыч, — любовь. Меня насильно за вас отдали: продали и на аркане к вам привели. Вы же не спрашивали у меня согласия.

— Но, Анфиса... церковь освятила и узаконила наш брак.

— Поп за деньги любой брак освятит. А насильно мил не будешь. Ежели вы порядочный человек, ежели не злодей — больше меня не преследуйте. Оставьте меня в покое. Все равно вам меня не взять. Я пришла просить вас, Кузьма Назарыч: не тревожьте меня, забудьте навсегда. Я люблю другого, а вас видеть не могу. Вы мне — враг, потому что за человека меня не считаете, насильничаете и посылаете охотиться за мной и своих сыщиков и полицию. Силой вы меня, живую, не возьмете. Уезжайте, не мучайте меня... да и себя на смех не выставляйте. Вот вам мои последние слова. Прощайте!

И она круто повернулась и пошла обратно. Бляхин бросился за нею и бешено завыл:

— Анфиса! Не отпущу тебя! Ты принадлежишь мне... только мне! Ты не уйдешь! Я задушу тебя — хоть мертвая, а будешь моя. Кто сильней меня, чтобы бороться со мной?

Анфиса быстро обернулась к нему и, вскинув голову, безбоязненно ответила:

— Я сильней вас, Кузьма Назарыч. Вы — богач, а я богаче вас... правдой своей, душой, характером...

Она даже шагнула к нему и повелительно приказала:

— Не подходите ко мне, Кузьма Назарыч! Все кончено. И пальцем меня не трогайте, берегитесь! Здесь у меня защитников много.

И она пошла уверенно и спокойно. Не отрывая от нее глаз, Бляхин глухо, безнадежно, как больной, проговорил:

— Возьми денег, Анфиса. С голоду пропадешь в этой трущобе.

Она через плечо ответила:

— Я работаю, Кузьма Назарыч. Трудовая копейка дороже милостыни. А полиции скажите, чтоб она меня не тревожила. И будьте благородны, пришлите мне паспорт. Ежели вы любите меня, вы не допустите, чтобы за мной охотилась всякая дрянь... не допустите, чтобы по этапу меня с ворами да бродягами отправили.

Он что-то промычал и горестно повернул к веранде.

Шла она гордо, с достоинством женщины, которая выдержала тяжелую борьбу и стала еще сильнее. Она свернула на плот и звонко поздоровалась с резалками. Лицо ее было очень бледно, глаза горячо блестели, но улыбалась она радостно и светло.

К ней бросились Прасковея с Оксаной и Галей, мать с Марийкой и Наташа, которая впервые легко и стремительно сорвалась с места. Все они, толкаясь плечами, мешая друг другу, сдавили Анфису и стали целовать ее и кричали все вместе счастливо и растроганно.

Так об этих событиях рассказывали по вечерам, сидя за столом в казарме, женщины. Каждый вечер после работы они передавали все новые подробности. А я сидел вместе с ними, еще слабенький после перенесенной болезни, худенький и, как они говорили, прозрачный, как стеклышко, и жадно слушал их рассказы. И мне казалось странным, как они могли знать, о чем говорил хозяин с Матвеем Егорычем, как держал себя плотовой и как вел себя хозяин. Каждая из них — и Прасковея, и Оксана, и мать, и

Галя — добавляли от себя особенно острые подробности, досказывали, что говорил хозяин, как отвечал ему Матвей Егорыч, словно они подслушивали их и следили за их лицами и движениями. Как-то я спросил об этом Прасковею, но женщины рассмеялись над моей наивностью, а она разъяснила:

А кто это не знает? Все до званья знают. Есть стены, а в стенах — люди. У нас народ такой, что ничего мимо ушей не пропустит: не только то, что хозяин и управляющий говорили, а и то, что они думали. Сейчас нам без этого и шагу шагнуть нельзя.

Последние загадочные слова совсем поставили меня в тупик.

Мне особенно было горько, что Гаврюшки уже нет на промысле, но я полюбил его еще больше за то, что он поставил на своем — и от матери отбился и отца победил.

XXXIX

После отъезда хозяина снятых резалок опять возвратили на плот: до конца путины оставалось недели две, и каждая работница была на счету, да и то вся артель едва справлялась с работой. Нового плотового не присылали, и управляющий поставил на его место Веникова. Плотовой на промысле — сила большая. Он — правая рука управляющего, как знаток рыбного дела и опытный специалист по обработке рыбы. Он следит за приемкой, за количеством доставляемой рыбы, безошибочно определяет ее сорт и размер, подбирает опытных резалок и укладчиц на каждый сорт рыбы, знающих солильщиков и мастеров-икряников. Его зоркий глаз с одного взгляда определяет крепость тузлука, степень просола рыбы и достоинство балыка, икры и частиковых сортов. Он следит за хранением красной рыбы в ледниках и за укладкой «частика» в чанах и бочарах. Управляющий без плотового и шагу не может шагнуть: хоть он и доверенный хозяина, хозяйский глаз, хозяйская власть, но ни одного решения, ни одного приказа без плотового провести не может. Приказчик — подручный плотового. У него

мелкие обязанности: следить за порядком работы на плоту и на дворе, за доставкой рыбы в прорезях, при моряне, или в арбах, когда ее привозят с ериков на лошадях.

Матвей Егорыч считался редким плотовым, и слава о нем шла по всему Каспийскому побережью. Его переманивали к себе промышленники северного берега и Волги, но на Жилой Косе он работал с молодых лет, строил этот промысел, сделал его самым лучшим и большим в этих местах и на ериках Эмбы; на арендованных угодьях построил несколько малых промыслов, которые обслуживали старый, а старый рос, расширялся и вытеснял соседние промысла, как сильный и богатый конкурент. Бывший рыбак, сметливый распорядительный парень, он обратил на себя внимание хозяина и смело принял от него должность плотового. В те времена Пустобаев часто приезжал на рыбные промыслы и сам хозяйничал в дни путинного сезона. Потом он доверил все дело Матвею Егорычу и был очень доволен его смышленостью и предприимчивостью. Молодой плотовой объезжал большие и хорошо поставленные промысла в Ракуше, в Гурьеве, на ериках Волги, изучал работу опытных мастеров и год от году совершенствовал дело у себя. В Гурьеве он встретился с купеческой дочкой, которая влюбилась в пригожего и разбитного парня и убежала с ним на Жилую Косу. Хозяину понравился дерзкий поступок плотового, и он даже устроил свадебный пир в своих покоях. Слушая рассказ о похищении богатой девицы, он хохотал до слез. Но с этого дня и началась несчастная жизнь плотового. Девица оказалась очень нравной, избалованной, привыкшей к роскошной жизни, а здесь пришлось жить бедно, в трудовой среде. Удовольствий никаких не было, каждая копейка была на счету. Донашивались платья, которые она привезла с собой из Гурьева, растаяли деньжонки, подачки отца, а ей хотелось одеваться и щеголять барыней. И вот однажды, когда она захотела поехать с Матвеем Егорычем к своему отцу, чтобы просить у него прощения, он наотрез отказался. С этого дня жизнь его зачадила: каждый день жена

устраивала ему скандалы. И он понял, что любви к ней у него не было, что соблазн его стать богатым был роковой ошибкой, что он поступил подло — изменил и себе, и своим былым товарищам. Раскаяние и совесть не давали ему покоя, и он запил. Родился ребенок, и мать почему-то невзлюбила его. Мальчик привязался к отцу. Потом, когда он подрос, она вдруг стала ухаживать за ним и внушать ему отвращение к отцу. Но Гаврюшка бессознательно тянулся к Матвею Егорычу, который обращался с ним запросто и любовно. Он водил его с собою по промыслу и рассказывал ему разные увлекательные истории о приключениях рыбаков.

Говорили также за столом, в часы вечернего отдыха, что у Матвея Егорыча была хорошая, тихая любовь к какой-то резалке еще до женитьбы, что у этой девушки родился от него ребенок. Но эта любовь кончилась тоже тихо и незаметно. Рассказывали об этой его трогательной любви шепотом, с оглядкой, и имени девушки не называли, словно чувствовали, что она где-то здесь, и боялись, как бы не услышала она их пересудов. Жалели не только ее, но и самого Матвея Егорыча и, жалея, осуждали его. С каждым годом он стал держать себя на плоту и в лабазах все свирепей, и его боялись как огня. И чем ни безропотнее, чем ни боязливее становились резалки и рабочие, тем он больше свирепел и стал пускать в дело кулаки. Только с бондарями оживлялся и веселел. Объясняли это просто: в годы своей молодости он тоже играл Стеньку Разина в действе.

И теперь, когда он ушел с промысла со своим сынишкой неизвестно куда, все жалели о нем и говорили про него только хорошее.

Путина подходила к концу, и работа на плоту в эти последние дни проходила волнами: то она затихала от безрыбья, то вдруг рыбой заваливали весь плот.

И вот в один из холодных и ветреных дней разразилась смута, которая с нашего промысла, словно по сигналу, перебросилась и на соседние. Началось как будто с пустяков, а взрыв произошел ошеломительно,

словно что-то копилось, назревало долго и, наконец, прорвалось.

Хотя плот был защищен по длине камышом, но в широкие пролеты врывался пронзительный ветер и гулял по всему плоту. Резалки напялили на себя фуфайки, деревенские кацавейки, а некоторые набросили на плечи одеяла. В шубах работать было неудобно: они связывали руки. На плоту всегда было много воды: рабочие непрерывно целыми бочками выливали ее на бунты рыбы и выхлестывали из ведер на пол, чтобы смывать грязь и слизь, поэтому башмаки и чулки резалок всегда были мокрые. А в эти ледяные дни ноги и руки коченели, и женщины дрожали от холода. Раздавался топот, словно все начинали плясать. А когда руки деревенели, резалки бросали ножи и багорчики и дули на ладони и пальцы, чтобы немного согреть их. Каждый день одна за другой женщины застывали на скамьях, как в столбняке, и по отупевшим лицам их скатывались крупные слезы. Ножи и багорчики падали на пол. Иногда женщины в обмороке сваливались со скамей, как мертвые. Дополнительных уроков своих резалки не выполняли. Харчи были совсем несытные: черный сырой хлеб не лез в горло, сухая вобла в жиденькой кашице разваривалась в противную бурду, на приварок картошки не выдавали, а пшена отпускали так мало, что каша без масла была похожа на болтушку. В казарме лежали больные. Марийка слегла от простуды — заболела грудь. Она металась в жару и кашляла. Упала на плоту и заболела кузнечиха. Мать тоже была больна, но перемогалась. В дни моей болезни в казарме лежало несколько женщин. А на плоту кашляли все, и этот общий лай врывался в казарму.

Рабочим было легче, и простуда не косила их: тачковозы, солильщики и сортировщики работали в шубах и в ватниках и все время были на ногах. Карманка по-прежнему кротко и доверчиво улыбался, как идол.

При хозяине подрядчица вела себя прилично: и одевалась нарядно и делала вид, что к работницам относится требовательно, но ласково. После отъезда

Пустобаева она не сбросила своих нарядов, и в эти страдные дни одела шубку на меху и пыжиковую шапочку. В первые дни она гуляла по плоту, довольная, сытая, благодушная и даже шутила с резалками; должно быть, купцы щедро наградили ее, а может быть, и свистнула она у них, одуревших от пьянства, не одну пачку ассигнаций. Но уже на второй неделе она стала сварливо придираться к резалкам: вероятно, обидно ей было, что гуляки уехали и лишили ее удовольствия ухаживать за ними и очищать их бумажники. Жадность ее была ненасытная и требовала постоянной поживы. Когда работницы прерывали работу, отогревая дыханием окоченевшие руки, она вынимала из кармана шубки книжечку и отмечала в ней что-то карандашиком. Когда уносили в казарму упавшую со скамьи резалку — тоже пристально царапала карандашиком. Работницы сначала посматривали на этот ее карандашик с испугом в глазах, потом со злобной насмешкой, а иные, посмелее, уже нарочно бросали работу, когда она проходила мимо, и назло ей ехидно дули на пальцы, вскакивали со скамьи, топали ногами и кричали:

— Пиши, госпожа наша подрядчица! Да не карандашом, а вот ножиком пиши... кровью моей пиши!

Подрядчица с холодной властностью молча ставила в книжечке какие-то значки и проходила мимо. Она как будто дразнила резалок, и этот обломок карандаша грозил им неизбежной расправой. Веников занят был приемкой рыбы и ее сортировкой.

Оксана, больная и лихорадочно взвинченная, задыхалась от кашля и тряслась от холода. Она бросала нож и багорчик и прятала руки под мышки, но темные глаза ее горели злым упрямством. Властное чванство подрядчицы и ее карандашик распалили ее до бешенства. Она мстительно следила за Василисой и ядовито отмечала:

— Третий раз... четвертый раз... Я у ней в книжке-то уже за два дня одинадцать раз записана. Это она наши грехи отсчитывает. Вот я сейчас ей покажу фокус.

Прасковея чувствовала себя нездоровой, но старалась держаться бодро. Ее тоже раздражала назой-

ливая охота подрядчицы за резалками, прерывающими работу от холода. Всем было ясно, что подрядчица хочет отнять у них заработок, а чтобы они не буянили, доконать их своей книжечкой.

Оксана встала со скамьи и пошла к Василисе, которая стояла невдалеке и зорко обводила глазами плот.

Прасковея строго позвала Оксану:

— Девка! Воротись!

Но окрик ее словно подстегнул Оксану: она быстро подскочила к подрядчице.

— Покажи-ка, подрядчица, что ты карандашиком в своей книжке пишешь, — попросила она вкрадчиво.

— Это тебя не касается. Почему оставила скамью?

— Да ты так пронзительно чиркала своим огрызком, что у меня мурашки по коже заползали.

Она быстро выхватила книжечку и спрятала ее в карман ватника.

— Вот и нет у тебя капкана. В ловушки с нами не играй!

Подрядчица ошеломленно схватила ее за ватник.

— С ума ты, что ли, спятила? Возврати книжку!

Оксана отшвырнула ее руку.

— И не подумаю. Не увидишь книжки, как своего затылка. Ты уже давно привыкла надругаться над девками, насобачилась еще в красном фонаре. Ну, да теперь отольются тебе, волчихе, овечьи слезы. Не я одна посчитаюсь с тобой. Ты нас всех до калечья довела. Душегубка! — И Оксана в исступлении начала хлестать Василису по щекам. — Вот тебе, гадюка! Вот тебе, шлюха!

Прасковея, Галя, Наташа и несколько резалок бросились к ней с криком:

— Брось, Оксана! Угомонись! Отдай ей эту паршивую книжку!

Но Оксана, бледная, дикая, начала рвать на клочки записную книжку и топтать ее башмаками.

— Вот ее ловушка... вот чем она нас стращала...

И быстро пошла к своей скамье. Рассыпанные по мокрому настилу белые клочки топтали резалки.

Подрядчица застыла на месте и с красными пятнами на лице смотрела вслед Оксане. Женщины стали расходиться по местам, а Василиса все еще стояла, как в столбняке.

Потом она убежала в контору. Веников сделал вид, что ничего не заметил, и продолжал работать с сортировщиками. Рыбу на тачках развозили по плоту, и она серебристыми кучами лежала перед скамьями. Кое-где скамьи пустовали, а кое-где на скамье работала только одна резалка. В этот день скопилось очень много необработанной сортовой рыбы. Веников молча и замкнуто обходил плот, растерянно смотрел на кучи принятой рыбы, которая коченела, обмерзала и становилась негодной для обработки. На плоту стояла необычайная тишина, все подавлены были тяжелым ожиданием. Веникова вызвали в контору, и он пошел нехотя и угрюмо.

Оксана побрела в казарму, едва держась на ногах.

Вечером, после работы, Прасковея с Гришей, не ужиная, ушли куда-то и возвратились поздно, когда все спали.

На другой день была получка. Заработок, как обычно, выдавала подрядчица на плоту. Она вызывала по фамилиям работниц и рабочих и объявляла, сколько кому причитается, сколько выработано поурочно. Больным пропущенные дни не оплачивались. Тут же она объявила резалкам, на кого из них наложен штраф за нерадивость, за испорченную рыбу, которая по их вине осталась лежать на плоту: контора и она, подрядчица, не могут взять на себя убытков из-за плохой работы резалок, которые нарочно, назло ей, Василисе, бездельничали на плоту. Начался горластый скандал: многие резалки не только не получили на руки ни копейки, но еще остались в долгу. Рабочие, которые обычно держались в стороне, на этот раз вмешались в скандал.

Прасковея подходила то к одному, то к другому рабочему и о чем-то толковала с ними. Галя крикнула, чтобы никто денег не брал на руки, а нужно пойти в контору и сказать управляющему, что подрядчица шкуру дерет, что контора своего слова об

отмене штрафов не сдержала. Рабочие забушевали: одни орали, чтобы денег никто не брал, другие спорили с ними. Резалки стучали ножами и багорчиками, кричали, что их обсчитывают, что больных заставляют голодать, что надо всем друг за дружку стоять. Улита хотела подойти к подрядчице за получкой, но ее оттолкнули.

Подошел Веников и стал успокаивать толпу, но на него набросились так же враждебно, как и на Василису. Он замахал рукой, подошел к столу подрядчицы и взял лист бумаги, по которому она рассчитывалась с резалками и рабочими. Она хотела вырвать у него этот лист, но он спокойно отвел ее руку. Все замолчали и сгрудились около Веникова. Он, как всегда, хладнокровно сказал Василисе, чтоб она воздержалась от штрафов, пока сам управляющий не узнает, в чем дело. Но подрядчица послала его к черту и вырвала у него лист. Веников молча пошел в контору, а подрядчица встала, спрятала лист в карман и обозленно объявила:

— Ну и убирайтесь к дьяволу! Ничего не получите. А будете скандалить — полицию вызову. Смутьяны да бунтари давно уж по острогу тоскуют.

Прасковея напомнила ей:

— Это на промысел Пустобаева — полицию? Хозяин за это не помилует: он страсть не любит полицию.

Подрядчица фыркнула и сверкнула глазами на Прасковею.

— Я лучше тебя знаю хозяина.

Все резалки и рабочие говорливо пошли в казарму. Осталась Улита да трое старых солильщиков. Улита смиренно, как нищенка, ждала, когда швырнет ей деньги подрядчица, а старики неодобрительно оглядывались на уходящую толпу, цокали языком и укорительно качали головой.

Утром, как и всегда, все, кроме больных, вышли на работу. Даже Оксана, едва перемогаясь, натянула штаны, накинула на плечи шубу и пошла рядом с Прасковеей и Галей. Но на плоту никто не сел на скамьи, и на злые окрики подрядчицы не обращали

внимания. Когда рассвело, Прасковея, Наташа и Оксана, тесно прижимаясь друг к другу, пошли в контору.

Подрядчица помчалась вслед за ними.

— Вы это куда? Как вы смеете с плота уходить? Жаловаться? Дуры! Кому жаловаться?

Она обогнала их, с разбегу влетела на крыльцо и скрылась за дверью. Женщины нерешительно остановились перед ступеньками крыльца, поговорили о чем-то и, словно раздумывая, одна за другой поднялись по лесенке и вошли в контору. Они не показывались очень долго, и на плоту женщины и мужчины, сбившись в тесную толпу, дрожали и от волнения и от холодного ветра.

Из конторы женщины шли бойко и бодро, но лица у них были злые. Потом вышел на крыльцо управляющий в шубе и каракулевой шапке пирожком, а за ним — скромный Веников и подрядчица. Она наскакивала на управляющего и взволнованно доказывала ему что-то, размахивая руками. Но управляющий смотрел на плот и не обращал на нее внимания.

А Прасковея втиснулась в толпу и с ожесточенной усмешкой крикнула:

— Ну, товарки, ничего не вышло! И управляющий и подрядчица заодно: «Я, говорит, в ее расчеты с вами не вмешиваюсь. Рыба вас, говорит, не будет ждать, а путина горой навалится».

Оксана нетерпеливо вскрикнула, как от боли:

— Мы сказали, что не будем работать: пускай эта гадюка выплатит нам все до копеечки!

Прасковея обняла ее и строго успокоила:

— Угомонись, Оксаночка! Иди в казарму, ляг. Я не хочу, чтобы ты слегла и сгорела.

— Не до болезни мне сейчас. Я добьюсь, чего желаю. Не гони меня, Прасковея, а то я с ней рассчитаюсь по-своему.

Прасковея закончила:

— А на нас он ногами топал. «Ежели, говорит, не будете работать, полиция заставит вас арапниками: она — наготове. А смутьянок, говорит, арестуем и отправим в уездный замок».

Оксана опять болезненно крикнула:

— Пока подрядчица не расплатится — не будем работать! С нас взять нечего, а путина не ждет!

Галя вскинула обе руки и повелительно потребовала:

— Не смейте работать! Никто! Да мало этого: надо эту гадину на тачке в свалку вывезти. Пускай покрасуется.

В толпе началась перепалка: одни кричали, чтобы все расселись по скамьям, но за работу не принимались, другие звали в казарму, чтобы не околевать здесь от холода, а третьи прятались за спины друг друга и ругались: заварили, мол, кашу, а теперь расхлебывай... Тачковозы стояли позади резалок и тоже переругивались. Пришла подрядчица и, к удивлению всех, просто и по-свойски, будто ничего и не случилось, пригласила всех сесть на скамьи и начать работу.

— Ну, хватит дурить, девчата! Поругались — и довольно. Покапризничали, посвоевольничали, отвели душу — и дело с концом. Рыба-то вон вся закоченела. Сами же зло себе делаете: хозяин убытки на вас же взвалит. Вам худо, а мне — вдвойне. Так и быть: штрафы на этот раз снимаю, а недовыработки и рыбные отходы на себя принять не могу. Это не моя, а ваша вина.

Прасковея деловито спросила:

— Значит, хозяйские убытки — на нас? На кого же все-таки — на одних резалок или вместе и на рабочих?

Подрядчица так же деловито ответила:

— Раз все в одной артели, значит все должны и расплачиваться.

Прасковея строго оглянула всех и улыбнулась.

— Слышали, товарки? А вы, ребята? Согласны принять на себя хозяйские убытки?

Тут сразу началась такая суматоха, такой разразился гвалт, что ничего нельзя было понять. Тачковозы и солильщики орали, как на сходе, громче всех и все вместе. Они грозили кому-то кулаками, рвались

вперед с озлобленными лицами, а женщины кричали и на мужчин и друг на друга.

Никто не заметил, как на плот прихлынули бондаря с Гришей и Харитоном впереди. Почувствовали их по хорошему запаху деревянной стружки. Гриша и Харитон продрались в середину к Прасковее и стали с ней озабоченно совещаться.

Кто-то из резалок с веселой ненавистью крикнул:

— Удрала... Глядите, удрала наша подрядчица! Опять к управляющему побежала. Со страху и шапчонка на ухо съехала.

В разных местах захохотали, а кто-то из мужчин лихо свистнул. Но Гриша сердито прикрикнул на них:

— Не валяйте дурака, люди! Эка, забаву себе нашли... Дело надо решать, а дело очень даже серьезное. Всем и каждому придется драться. Хоть мы, бондаря, и не от подрядчицы работаем, а пришли вот к вам на подмогу. Мы тоже решили вместе с вами работу бросить. Стойте крепко и от своего не отступайтесь. Управляющему некуда деться: или промысел закрывай, или нас ублаготвори. А дело наше правильное. В обиду себя давать нельзя.

Толпа одобрительно зашумела, но кто-то из мужчин ехидно крикнул:

— А кто бока будет подставлять? Ежели прогонят — куда с семейством пойдешь? К волкам али по миру? Вам, холостым, Григорий, — сполагоря: бродяжить-то вам не привыкать стать.

Харитон, с хмурой усмешкой и горячими глазами, обрезал:

— Мы все такие же бродяги, как и ты: у нас одна судьба. А нам с Григорием и кой-кому из женщин придется хуже всех, ежели вы струсите и от артели отобьетесь. Тут одна всем дорога — стеной стоять, как в кулачном бою. Бойцы-то сильны дружностью, а нет дружности — бойцам печенки отбивают да ребра ломают. Мы вот не боимся, чего бы там ни случилось, и сейчас вот... Видите, все распорядители сюда идут. Мы-то не уйдем, товарищей не бросим, а впереди станем. Крепко держитесь как один, рука

в руку, и сами увидите, что сила-то на нашей стороне. По одному нас легко раздавить, а перед большим народом у них душа в пятки уходит.

От конторы шел управляющий. Он сутулился еще больше, а лицо стало еще острее и язвительнее. Веников удрученно глядел в землю, а Василиса, одряблевшая, бледная, бормотала что-то и грозила ему кулаком.

— На тачки их, чертей!.. — мстительно выкрикнула Галя, но на нее шикнула Прасковея.

Все заворошились, подтянулись, плотнее прижались друг к другу и с тревожным ожиданием замолчали.

Управляющий остановился в пролете, а подрядчица прошла немного вперед и стала в стороне. Веников уныло застыл рядом с управляющим.

— Ну, так что же вы... решили бездельничать? — с притворным спокойствием спросил управляющий. — Побунтовать желаете? Кто же это вас надоумил?

Галя смело ответила:

— Госпожа наша подрядчица. Она на это ловкая.

Гриша крикнул на нее:

— Молчи! Не тебя тянут за язык.

Управляющий с усмешкой покосился на Гришу.

— Вот и бондаря на подмогу пришли. Это что же... подметные листочки взбудоражили?

Гриша вежливо поправил его:

— Какие там листочки, господин управляющий! Тут зараза хлеще: и верблюды ревут, когда их дерут, а люди вольны и за себя постоять.

— Поэтому и ты со своей артелью работу бросил и привел бондарей, чтобы баб подзудить? Опытный атаман!

— Неужто вы не знаете, управляющий, кто кого подзуживает? Побыли бы в нашей шкуре, почуяли бы хозяйские зубы.

Прасковея решительно, с гневной дрожью в голосе, потребовала:

— Перестаньте, управляющий, людей обсчитывать. Кровные деньги, через силу заработанные, мы не отдадим. Да за болезни пускай подрядчица не

вычитает: по вашей же милости люди с ног валятся. Лечить их надо, а не добивать. Сами же вы людей с плота в гроб загоняете. Сколько сейчас в казарме резалок лежит? Ей, подрядчице-то, все равно: сделали урок аль не сделали, абы клок мяса вырвать.

Оксана крикнула надрывно:

— Она человечиной питается: раньше в своем красном фонаре — девками, а сейчас — резалками. Напорется! Не кончится это добром...

— Ого! — рванулась к управляющему подрядчица. — Слышите, как они грозят? Они еще с ножами на меня полезут. Без полиции не обойдется.

— Не пугай! — вызывающе крикнула Галя. — Не испугаешь! У самой от страху глаза на лоб лезут.

И верно, подрядчица дрожала, как в ознобе, лицо посерело, а руки судорожно елозили по суконной шубке.

Управляющий оглядел толпу. Холодно, властно и угрожающе выпрямился.

— Ну, довольно! Принимайтесь за работу! Я пришел к вам не шутки шутить. Будете дурака валять — все убытки на вас навалю.

Подрядчица злорадно засмеялась:

— Вот, то-то!.. А то, вишь, бунт какой подняли! Смутьянов надо выгнать с плота да из казармы, а то от них житья не будет.

Она как будто обожгла людей: все оглушительно закричали, забушевали, замахали руками и с ненавистью в глазах рванулись к ней. Она с оторопью отскочила к управляющему. Гриша вышел вперед и поднял обе руки.

— Тише, народ!

Бондаря дружно, со смехом и шутками, оттеснили толпу назад.

Громче всех кричала Галя:

— На тачку эту гадину! И управляющего с ней заодно!

Управляющий неожиданно усмехнулся и примирительно сказал:

— Хорошо! Начинайте работать! Ваши претензии я рассмотрю и завтра объявлю.

Прасковея повернулась к толпе и призывно крикнула:

— Слышите, товарки? Глядите, ребята! Управляющий зубы заговаривает — обмануть хочет. Пускай он сейчас ответ нам дает.

Кузнец Игнат, засунув руки за нагрудник, пробасил простодушно:

— Куй железо, пока горячо. Моя баба совсем свалилась. Словами сталь не наваривают.

Оксана выбежала из толпы и, как безумная, бросилась с ножом и багорчиком к подрядчице.

— Мне силы нет терпеть... Душу мою эта гадюка истерзала...

Подрядчица, с ужасом в выпученных глазах, спряталась за спину управляющего, а Оксану подхватили под руки два бондаря и втиснули в толпу резалок.

— Все равно я ее зарежу!.. — хрипло кричала Оксана. — Все равно нам вместе на земле не жить!..

Веников подошел к управляющему, изнуренный и подавленный, и что-то начал говорить ему дрожащими губами. Но управляющий воткнул в него бешеные глаза.

— Вы кому служите — хозяину или бунтарям?

Прасковея махнула рукой и решительно скомандовала:

— По казармам, люди! Работать не будем... Пускай управляющий с подрядчицей сами с путиной справляются.

Потом все произошло как-то нежданно-негаданно. Коренастый рабочий с черной бородой и злыми глазами выскочил из-за толпы с тачкой, к нему, подмигивая, подскочили двое парней, а к ним рванулась и Галя. Они подхватили подрядчицу и втиснули ее в грязную тачку. Она истошно завопила, задохнулась и застыла с открытым ртом.

— Ну-у, ребята! Покатили стерву в прорву!

Резалки с хохотом и визгом кинулись за тачкой и зазвякали ножами и багорчиками. Кто-то пронзительно запел плясовую.

Выкатилась другая тачка, но управляющий, путаясь в полах шубы, пустился бежать к кон-

торе. Шапка слетела с его головы, но он даже не обернулся и только кричал срывающимся голосом:

— Полиция! Полиция!

Кто-то из тачковозов взвизгивал фистулой:

— Держи-и!.. Хватай его за пятки!

К тачке подошел Веников и сказал:

— Везите и меня заодно.

Но молодой тачковоз добродушно мотнул головой:

— Нет, Влас Лексеич, от тебя отказываюсь: ты к рабочему человеку понятливый.

— Вот что, ребята, — предупредил Веников. — Слышите, резалки? Григорий, Прасковея! Уходите скорей по казармам или все по скамьям садитесь. Сейчас полиция набежит: управляющий вызвал. Хлестать будут фараоны направо и налево. Эх, Матвей Егорыча нет! Разве он допустил бы до этого безобразия!

Подрядчица голосила на тачке, дрягалась, порывалась встать, но ее толкали обратно... Резалки смеялись. Управляющий скрылся в конторе.

На плот прибежал какой-то парень и что-то испуганно сказал Грише.

Гриша приложил ладони трубкой ко рту и закричал:

— Ребята, товарки, назад! Бросьте ее к черту вместе с тачкой! Полиция!

Тачковоз опрокинул тачку и накрыл ею Василису, а сам, не оглядываясь, пошел обратно. Резалки тоже повернули назад. Они поминутно оборачивались и хохотали. Тачка колыхалась на подрядчице, как панцирь на черепахе. И когда Василиса вылезла из-под нее, растрепанная, грязная, с улицы в ворота вбежали шестеро полицейских с нагайками в руках.

Резалки и рабочие сбились в тесную толпу и молча, с испуганными лицами, смотрели на них. Кое-кто оторвался от толпы и опрометью выбежал в задний пролет. Прасковея и Гриша стояли рядом, и оба, настороженно-серьезные, пристально следили за полицейскими. Бондари стояли плечом к плечу и будто потешались над измазанной рыбьей чешуей и слизью подрядчицей, которая, уже без шапочки, семенила наперерез полицейским и яростно грозила кулаками.

Передний бородатый полицейский с озверевшим лицом, вероятно, решил, что эта раскосмаченная баба, вся заляпанная грязью, одна из бунтарок, которая угрожает кулаками ему. Он с оскаленными зубами налетел на нее и ударил нагайкой. Она завизжала и шарахнулась от него. Остальные полицейские побежали на плот.

Толпа стояла неподвижно и молчала. Полицейские начали стегать людей направо и налево. Завизжали женщины. Люди стали разбегаться. Бондари и Игнат со Степаном стиснули полицейских и стали хватать за руки.

Гриша укоряюще стал уговаривать их:

— Зачем же, господа полиция, драться-то? Никто вас не обидел и никто не бунтует, — сами видите.

— Не разговаривать! Знаем вас, разбойников... Не впервой! Отдай назад!

Бородатый полицейский, должно быть старшой, хрипло рычал:

— Всех арестую, сукины дети!.. Сгною!..

Голос Гали крикнул:

— Места у вас для всех не хватит!

— Кто это, какая стерва насмешки строит? Лупи их, чертей! Гони в полицию!

Но бондари и тачковозы, подмигивая друг другу, сдавили их еще плотнее, и полицейские, кряхтя и крякая, изо всех сил старались вырваться из толпы, но их плющили еще сильнее.

— Раздайся! — задыхаясь, рычал бородач. — Отдай назад! В кандалы закую!

Харитон крикнул что-то бондарям и вытащил бородача из толпы.

— Здорово, Овчинин! Напрасно вас побеспокоили.

— Как это напрасно? Ты-то чего затесался сюда, гармонист?

— Как чего, господин старшой? Я же здесь работаю. Я — свидетель. Никакого здесь бунта нет. Всю суматоху подрядчица устроила. Зря вас пригнали. Бабы работали чинно, благородно, а она их обсчитала. Ну, и повздорили. Артельное дело. Люди стоят, расчета требуют. Зачем же вас тревожить?

— А все же приказ начальника я исполнить должон: забрать и представить бунтарей.

— Да где они? Кого же ты, друг, забирать будешь?

Прасковея кротко предложила:

— Начинай с первой бунтарки — с подрядчицы. Погляди, какая она красавица...

Подрядчица влетела с бешеным ревом, на лице у нее вздулся длинный кровоподтек от уха до подбородка. Она, как ведьма, набросилась с кулаками на сконфуженного, но грозного бородача:

— Как ты смел, чертова борода, бить меня? Я жалобу на тебя подам начальнику!

Старшой сдвинул брови и вытаращил на нее глаза.

— Ну, ты меня не охаль при исполнении службы... Ты первая бросилась на меня с кулаками, а сейчас оскорбляешь перед народом. Я тебя сейчас в полицию уведу. Кто здесь бунтовал?

Подрядчица надсадно орала:

— Все!.. А вот эти... — она тыкала пальцем на Прасковею, на Гришу, на Харитона, на женщин, — вот эти зарезать меня готовы.

Харитон опять засмеялся.

— Овчинин, скажи по совести: готов я людей резать? Или вот он, Григорий? Верно, мы режем — только обручи для бочар. А бабы-то! Ну, и отколола со зла! Что же, Овчинин, я готов пойти к начальнику, только без этой ведьмы: боюсь, что она по дороге меня укусит или драться начнет...

Веников подошел к полицейскому и вежливо снял картуз.

— Я здесь вроде плотового. Скажу правду. Подрядчица сама работу сорвала. Обидела резалок и рабочих. Привычка драть шкуру с безобидных.

— Сволочь! — заорала подрядчица, хватаясь за красный рубец на щеке. — Так-то ты за хозяйское дело стоишь? А тебя, полицейский, гнать со службы надо... сорвать твои побрякушки... Людей не разбираешь...

Бородач разозлился:

— Это то есть как побрякушки? Это царские-то медали — побрякушки? Ну, ты и есть настоящая подлюка! Это я тебя сейчас арестую. Идем и ты, гармонист... и ты... — указал он на Гришу. — Из баб ты! — вдруг наобум ткнул он в мать своей толстой лапой.

Она сжалась от страха и покорно вышла к полицейскому. Но Прасковея шагнула к ней, оттолкнула назад и твердо сказала:

— Это я пойду, а она не годится.

И вдруг со всех сторон женщины наперебой закричали:

— И я!.. И я!.. Все пойдем!..

— Чего? — рявкнул бородач. — Оравой? Пастух я, что ли, чтобы баранту гнать? Пошли! Ты, Саврасов, и ты, Купцов, получше наблюдайте за этой шкурой, да держите нагайки наготове.

Гриша с Прасковеей и Харитоном, под конвоем полицейских, пошли к воротам, подрядчицу вели отдельно. Но она бунтовала, порываясь ускользнуть:

— Пойдем к управляющему! Как вы смеете тащить меня!

Все пошли толпой вслед за арестованными.

Подрядчица возвратилась первая. Лицо у нее раздулось и перекосилось. Резалки встретили ее в казарме молчаливыми переглядками. Она скрылась в своей комнате и вскоре вышла чисто одетая и с перевязанным лицом. В глазу ее еще кипело бешенство.

— Ага, достукались, мокрохвостки! Теперь-то я вас прищемлю! А смутьянки в тюрьме насидятся.

Больная Оксана вскочила с нар и, вся в жару, кинулась к подрядчице с ножом наотмашь.

— Ах, ты еще издеваешься над нами, гадюка!.. Не жить тебе больше!..

Подрядчица бросилась к двери, а Галя и несколько резалок схватили Оксану и поволокли назад к нарам.

Гришу с Прасковеей держали до ночи, но и их отпустили.

Поздно вечером пришел в казарму Веников и сообщил, что управляющий посылал нарочного в

Ракушу с телеграммой хозяину, а хозяин в ответ приказал отменить штрафы и вычеты. До поздней ночи в казарме плясали и пели песни. А через два дня арестовали Гришу и больную Оксану. Харитон с Анфисой опять бесследно скрылись. Говорили, что они уехали в Гурьев.

На других промыслах работать начали в тот же день.

XL

Зима стояла яркая, солнечная, со жгучими морозами, с ледяным небом и ослепительными снегами в песках. Лиловые холмы издали казались мягкими, бархатными, с синими оттенями. Море замерзло только в январе и засверкало зеркальным льдом от самого промысла. Плот на берегу был занесен снегом, и над сугробами торчали только верхушки черных столбов, а на столбах белым ометом лежал снег, свешиваясь пухлыми махрами по краям. Выше плота в несколько рядов лежали вверх дном лодки, засыпанные снегом, похожие на застывшие волны. Далекая баржа с сугробами снега на палубе казалась уже не баржей, а старым, свалившимся набок сараем.

Низкое мохнатое солнце разливалось по льду сверкающей полосой до самого горизонта. Ребятишки гурьбой катались на чунках и на самодельных коньках.

Однажды я, утопая по пояс в снегу, с большим трудом пробрался в Гаврюшкину пещеру и нашел там в печурке его книжки, перевязанные ремнем. Под ремнем торчала сложенная вчетверо бумажка. Я развернул ее, и у меня забилось сердце: эту записку он положил для меня.

«Любезный Федяшка, я с папашей ухожу пешком в Ракушу, а там мы на шкуне или на паруснике побежим в Астрахань. Папаша все время веселый. С ним я пойду на край света. Мамаша злая, уехала к дедушке Кощею. И наплевать. Я все-таки отбрыкался от нее. Эти книжки оставляю тебе на память.

В школу поступать не думай: там враги. Учитель любит ставить на колени, поп бьет ладонью или линейкой по затылку, а мальчишки — все сыновья богатых торговцев скотом да рыбой. Они тебе житья не дадут. Одно плохо: что мы с тобой им не отомстили. Прощай.

Остаюсь твой заклятый друг *Гаврила*».

Эти книжки я хранил как дорогой клад. Целыми днями я корпел над ними и до одурения ломал голову над задачниками, но с наслаждением читал и перечитывал «Детский мир» Ушинского. К столу, ковыляя и балансируя ручонками, подбиралась Феклушка, словно училась ходить, садилась рядом со мною и обнимала меня. Она слушала мое чтение, замирая от восторга.

— Гоже-то как с тобой! Все-то небывалошное говоришь... А я страсть люблю небывалошное!

А по вечерам резалки лепились вокруг стола и наперебой вспоминали недавние события. И каждый раз они рассказывали новые подробности. Я видел, что им было приятно переживать все сызнова. Каждая нетерпеливо и возбужденно перебивала подругу:

— А помнишь, как управляющий с перепугу шапку потерял?

— А подрядчица-то на тачке как свинья визжала...

— Нет, а вы вспомните, как полицейский стегал ее арапником. Нас стращала, а сама первая отведала горячих.

И грустно вздыхали:

— Оксана-то, милая... Говорят, заграбастали ее за то, что с ножом два раза на подрядчицу налетала.

— Да ведь она в жару была, девки, без памяти. И больную не пожалели.

— Кто это жалеть-то ее стал бы? Полицейские? Им абы схватить да заушить. А когда мы пошли выручать ее, что с нами сделали? С арапниками на нас... и разогнали...

Мать со слезами и болью в голосе спрашивала:

— А Гришу-то за что? Ведь светлее его и человека нет. За какую провинность страдает?

Прасковея после пережитых событий стала неразговорчивой и жесткой. Она косилась на мать и недружелюбно ворчала:

— Не светил бы — не страдал бы. Светит огонь, а от огня пожар бывает. Вот и приняли его за поджигателя. И меня уволокут... так же вот, как нашу Оксану.

Улита молитвенно мяукала:

— Прости ее, господи, грешницу. Как это можно, с ножом на человека!..

— Это Василиса-то человек? — окрысилась Галя. — Эх ты, овца!

— Вот за злобу да непокорность господь и наказует.

Но Улиту никто уже не мог слушать без смеха, словно она и голосом и словами изображала потешную дурку. Фыркали от смеха и сейчас. Но Прасковея с брезгливым сожалением взглянула на нее и угрюмо съязвила:

— У Улиты молитвы на всех хватит. Вот пойдет к попу на исповедь и за меня первую заступницей будет — предаст ему на милость мою грешную душеньку.

Галя со жгучей злобой пригрозила:

— А за такую ее услугу я из нее всю душу выдавлю.

Тетя Мотя с засученными рукавами заслонила собою Улиту и строптиво упрекнула женщин:

— Улиту не обижайте, девчата: она всех жалеет и любит и никому зла не делает, всем легкости хочет.

Прасковея бросила на тетю Мотю досадливый взгляд.

— Праведницы-то, Матреша, всегда от чистой души помогают попам грешные души спасать. Молятся за них богу, а толкают к черту.

Во время вечерних разговоров я узнал, что из заработанных денег на руки всем выдали только по трешнице за месяц работы, а остальную часть оплатили квитками в хозяйскую лавку. Василиса как ни

в чем не бывало расхаживала по плоту, но уже не придиралась к резалкам. Чаще всего она ехидно ухмылялась и язвила, поглядывая на Веникова, по-прежнему спокойного и невозмутимо благодушного:

— Эй ты... снуляк! Праведный судья! Доколь будешь глаза мне мозолить? Ведь я уж знаю, что тебя управляющий пинком угостил.

Веников нехотя, но строго одернул ее:

— Судишь по себе, подрядчица. А вот нарушать порядок не смей и рабочих не мути. Пока я здесь — со мной шутки плохи.

— Ха-ха, я не я буду, ежели тебя не слопаю. Гришку слопала, Оксанку слопала... Оба — зубастые. А тебя слопаю, как лягушка мушку.

Галя крикнула:

— Она добивается, чтобы ее на тачке опять прокатили! Разденем и прокатим до самой жиротопни!

Путина кончилась, и резалок перевели в лабазы, на переборку соленой рыбы. Это была самая неприятная работа: соль быстро разъедала руки, и кожа на пальцах у всех трескалась и покрывалась язвами. Я видел раны у матери на ладонях и пальцах и слышал ее стоны по ночам. Стоны слышались на всех нарах. Марийка была нежнее всех и часто плакала. Она, как подросток, поднималась к нам на нары, обнимала мать и ревела на ее груди. Мать прижимала ее к себе, как ребенка, качала ее и тоже плакала. После ареста Гриши и Оксаны и исчезновения Анфисы и Харитона Наташа опять ушла в себя и одеревенела. Прасковея тоже присмирела и замолчала, но глаза у нее стали твердые, насмешливые и холодные. За вечерним столом она только неприветливо отвечала на вопросы или язвила, и я ни разу не слышал, чтобы она жаловалась на боль в руках или сокрушалась о судьбе Гриши и Оксаны. Она тоже напряженно думала о чем-то, но в задумчивости ее чувствовалось удовлетворение. Я видел, что на душе у нее тяжело. Гриша был самым близким ей человеком, а с Оксаной она сжилась, как с подругой. Все знали, что полиция схватила их по проискам Василисы, и резалки с тех пор старались не

замечать ее, но в лице Прасковеи застыла такая ненависть, что я съеживался от ее взгляда.

Кузнечиха совсем расхворалась и лежала неподвижно, как мертвая, Феклушка сидела около нее, бережно поправляла одеялку и что-то шептала, наклоняясь над матерью. А Игнат пропадал до поздней ночи: вероятно, вместе с Тарасом забирались в трактир и спорили за кружкой пива о своих кузнечных делах, как непримиримые соперники.

Только Галя озорничала, как и в прежние дни, и с злым задором покрикивала:

— Какого черта вы стонете? На то и соленая рыба, чтобы наши лапы разъедать. Знали, на что шли. Веселей держись, девки! Нет худа без добра: бунтовали дружно, клок радости вырвали... Чего же еще вам надо? А придет час — и еще забунтуем. Одно мне гадко — подрядчица рядом. Дуже мне хотится затравить ее... чтоб она завыла и повесилась. За Оксану я ей дышать не дам.

Прасковея сердито усмиряла ее:

— Не глупи, Галька! Ты не одна в казарме. Не думай натворить какой-нибудь ерунды. И сама пропадешь, и людей под полицейские арапники подведешь.

— А мне охота и тебя, Прасковея, подзадорить, — весело злилась Галя. — Ты поводырка, ну и грудь вперед, а голову кверху. Атаманствуй!

И вот однажды она начала озоровать перед дверью в комнату Василисы: барабанила в нее кулаками и отбегала к своим нарам. Василиса выглядывала из двери, как сычиха, и опять пряталась, запираясь на задвижку. Галя опять подходила и опять бухала в дверь кулаками. На нарах сдавленно смеялись. Прасковея притворилась глухой и слепой. Наконец подрядчица распахнула дверь и яростно закричала:

— Что это за бесчинство такое? Какая это дура охальничает?

На нарах глухо прогудел женский бас:

— Бандура!

Но все молчали, занятые своими делами, делая вид, что ничего не видели, не слышали. Только Галя с Марийкой, которую она переселила к себе на место Оксаны, запели новую, сложенную ими пригудку:

Ветер воет, море злится,
Не белеют паруса.
Василиса веселится —
Квасит в тачке телеса...

Подрядчица с размаху захлопнула дверь.

Мне показалось это так смешно, что я залился хохотом, а глядя на меня, засмеялись и мать и другие женщины. Только тетя Мотя безмолвно и равнодушно возилась у огромной плиты.

Так продолжалось несколько ночей: Галя и Марийка поочередно подбегали к двери подрядчицы и били в нее кулаками и пинками. Василиса бесилась, но ей ни разу не удалось захватить ни Галю, ни Марийку у двери. В казарме стало беспокойно и весело. Это озорство понравилось всем: в нем чувствовали не простую игру, а расчетливую, упорную борьбу с подрядчицей. Даже я, подросток, понял, что Галя с Марийкой всерьез решили выжить ее из казармы.

Однажды она вышла из комнаты и заревела. Жирное тело ее тряслось от рыданий, и она долго не могла вымолвить ни слова. Потом жалобно запричитала:

— Зачем вы меня мучаете, девки? Вы мстите мне, знаю. Вы меня сожрать готовы.

Марийка с неслыханной злобой оборвала ее:

— Жрать такую гадину и голодные собаки не будут.

Захлебываясь от слез, Василиса мычала:

— Перестаньте меня терзать! Вы и так свое взяли. Вас целая орава, а я одна. Неужели у вас сердца нет?

— А у тебя оно есть? — насмешливо спросила Галя. — Кто сгубил Оксану? Григория? Кто неопытных девушек в петлю загонял? Кто убил Гордея, Малашу, младенца Олены? За всю казарму кричу: житья тебе здесь не будет!

Василиса взбесилась и затрясла кулаками:

— Хорошо же! Я вас укрощу... Мало вам, что двух забрали, — еще заберут. В полиции-то мне почет: она знает, кому служит.

Но и бешенство ее не взбудоражило резалок, только Галя с Марийкой запели свою озорную припудку. Игнат, который обычно молчал, когда оставался в казарме, неожиданно вышел из своего кутка в одних подштанниках, босиком и, насупившись, встряхивая тяжелой бородой, промахал к подрядчице.

— Ты кому грозишь, подрядчица? — пробасил он угрюмо. — Ватаге грозишь — мне грозишь. А кузнец Игнат шутить не любит. И знать должна, что нам с тобой в одной берлоге не житье.

Василиса попятилась под его взглядом, но огрызнулась:

— Не очень пугай, не боюсь. Я живу там, где положено.

Игнат угрожающе шагнул к ней, но она быстро юркнула в дверь и заперлась на задвижку. Кузнец повернулся и, не глядя ни на кого, молча возвратился к себе в куток.

В эти дни в казарме стало как-то уютнее: все посемейному сблизились, чувствовали себя легко и вольготно в тесной, многолюдной толчее. Раньше семейные держались особняком, в сторонке от артели «холостых», и, как чужие, сторонились от столкновений с подрядчицей, но с натугой подчинялись артели. Таких семейных пар было в нашей казарме четыре, их никто не замечал и не трогал. Но последние события больно ударили и по ним и взбудоражили их: штрафы и вычеты вывели их из терпения. Всегда покорные и смирные, они возмутились и забунтовали. Это были деревенские люди, впервые попавшие на ватагу. Я понимал их и знал, что иначе они себя вести не могли: ведь в деревне каждая изба жила своей жизнью, по старому укладу, по дедовским обычаям беспрекословного, безгласного подчинения старикам. Прясло каждого двора было священно и неприкосновенно, и семьи ютились в своих избах, как в берлогах. Выброшенные из деревни бедностью и

разорением, они и на ватагах жили по своим привычкам — обособленно, как бирюки, и оберегали себя от артельного духа — от ватажной вольности, от безотцовщины.

После каждой получки они с оглядкой, как скряги, считали серебро и медяки, прятали их в кисет и засовывали глубоко в сундучок. Они отказывали себе в приварке и ели только болтушку из общего котла. И когда им выдавали при расчете квитки в хозяйскую лавку, они свирепели: деньги, мол, давай, а не бумажки в обираловку! Но им безжалостно заявляли, что, если они не желают получать квитки, — их добрая воля довольствоваться той долей денег, которую они получили на руки, а квитки возвратят в контору.

И вот сейчас, когда им пришлось платить штрафы за больные руки и терять заработок за прогульные дни, они тоже забушевали вместе с другими.

Даже Олена после смерти Гордея и младенца стала другой: она будто проснулась или выздоровела от долгой болезни. В эти дни она с хлопотливой живостью толкалась в толпе женщин, смеялась над озорством Гали и Марийки, норовила сесть за столом рядом с Прасковеей, любуясь ею. На нее все смотрели с изумлением, ахали, смеялись, перешептывались и не понимали, что с ней произошло. А Прасковея как-то пошутила, усмешливо вглядываясь в нее:

— Разбудили мы тебя, Оленушка, своей дракой. Значит, не напрасно дрались — покойницу воскресили.

Олена вспыхнула от счастья, что Прасковея приветила ее, и вскрикнула, удивляясь самой себе:

— И не говори, Прасковьюшка милая! Словно я и не жила. А тут словно меня волной выбросило и словно я опять девкой стала — и плакать, и плясать хочется...

Прасковея, как бы про себя, серьезно заключила:

— Ну, эта спасенная душа дороже многих.

Вспоминая эти далекие вечера, давно ушедшие вместе с отрочеством в глубины прошлого, я очень

ярко представляю их себе, как неугасимый сон, и сохраняю в душе и образы близких мне людей, и их голоса, и даже мелкие подробности нашей жизни. Впечатления детства и отрочества остаются в памяти как самые живые и неувядаемые видения. Может быть, это потому, что дети и подростки входят в мир как пытливые исследователи неведомых областей, полных чудес и испытаний, как борцы за свое право быть людьми. Для них все ново и неожиданно в жизни: она пылает солнцем и радостью и омрачается жуткими ночами и опасностями.

Мне было непонятно, почему не схватили Прасковею: ведь она была поводыркой резалок. Она и хозяину не стеснялась говорить правду в лицо и обвинять его в бесчеловечных порядках на промысле, она и к управляющему ходила вместе с Наташей и матерью, чтобы он обуздал подрядчицу и отменил всякие вычеты и штрафы и чтобы не морили больных, а лечили их. Она была на виду, и начальство считало ее смутьянкой и атаманшей. Мои расспросы тревожили мать, и она удивлялась:

— И ума не приложу... Гришу взяли, а она осталась. Гриша-то словно из-за ее плеча выглядывал, а она первая всех на ноги поднимала.

И мне казалось, что мать была в обиде за Гришу и досадовала на Прасковею.

Только Наташа ответила мне, не задумываясь:

— А на Прасковею они капкан приготовили. Забунтует народ — она за всех распинаться будет. Тут ее и прихлопнут. Гришу-то с Харитоном заправилами считали, а Прасковея — баба: куда она годится без мужиков-то?

Соображения Наташи были убедительны, и я очень боялся, что Прасковея действительно попадет в капкан.

Как-то вечером я учился кататься на чунках. Эти чунки всегда стояли в сенях, на них тетя Мотя возила камыш для топки и лед для котла. Из казармы вышла Прасковея и задумчиво зашагала к воротам. Мне было обидно, что она перестала замечать меня,

словно я умер для нее во время своей болезни. Я бросил чунки и догнал ее на улице.

— Тетя Прасковея, я с тобой пойду...

Она безразлично отозвалась:

— Иди, коли охота.

Я горячо схватил рукав ее шубы и с трепетом прижался к ней.

— Тетя Прасковея, зачем ты меня разлюбила? Аль я чем прогневал тебя?

Должно быть, я поразил ее своим взволнованным вопросом: она остановилась, повернулась ко мне, помолчала, потом опять пошла и засмеялась задумчнво и растроганно.

— Аль любишь меня?

— Еще как! Чай, сама знаешь.

Она наклонилась и взяла меня за подбородок.

— Ну вот ты выздоровел — долго жить будешь. А я страсть боялась, как бы ты не умер. Здесь ребятишки-то редко выздоравливают. А гневаться мне на тебя не за что, милый! Забот у меня много было, Федя: и хлопотать за всех надо, и свою голову подставлять, и всех надо в руках держать... Может, и меня скоро утащат. Они с меня и днем и ночью глаз не сводят.

Я крикнул с досадой:

— Валялся я тогда без памяти... А то бунтовал бы вместе с вами.

Она закрыла мне рот ладонью и засмеялась.

— Чего ты орешь! Здесь и камыш слышит. Не торопись: еще надерешься да намаешься. Вырастешь — не так, как мы. бунтовать будешь, ежели характер свой не переменишь. А то, что видел да испытал здесь, — на всю жизнь запомни. Рабочему человеку худо живется. Долго еще ему придется драться... Ну, да он добьется своего: не мы, так подрастут такие, как ты, и сильнее, разумнее будут. Лучше нашего жизнь устроите.

Я с жаром подхватил:

— Я ни за что не забуду. Еще злее стану. Ты не бойся, тетя Прасковея: ежели что, я тебя спрячу, и никакая полиция тебя не найдет.

Она ахнула и расхохоталась.

— Ну и Федяшка! Уморил! Да где же ты меня спрячешь, такую колоду?

Я остановил ее, заставил наклониться и прошептал ей на ухо:

— У меня пещера есть... в буграх. Гаврюшка ее оставил мне... сам сделал... Никто и не догадается... В жизнь никто не найдет...

Лавка находилась на плотовом дворе, между «выходами» и лазабами, чтобы защитить ее от воров. Для нее была выстроена кирпичная кладовая с железной дверью и двумя маленькими оконцами, закованными толстыми решетками. Открывалась она только в обеденный перерыв и вечером, после работы. Она завалена была разным товаром — от бакалеи до мануфактуры. На полу стояли бочки с топленым салом и селедкой, мешки с мукой и крупой. Копешками серебрилась вобла. А на полках лежала всякая всячина. Было тесно от этой пахучей свалки товаров, и люди толкались, напирая друг на друга, мешая пройти к прилавку. Толстолицый сиделец с бесцветной бороденкой и сонными глазками стоял за высокой конторкой и лениво принимал квитки от покупателей, щелкая костяшками на счетах. Рыхлая, обрюзглая жена его и сын лет шестнадцати отпускали покупки. В лавке рабочие и работницы постоянно кричали, ругались и уходили злые и обиженные.

Прасковея сумела как-то быстро пробраться к прилавку и сердито приказала что-то парнишке, потом протискалась к сидельцу и бросила ему один за другим два квитка. Сиделец лениво пробурчал в толпу:

— На полтора квитка отпусти, Ваня, вот этой резалке — по заказу, а на полквитка отрежь два аршина ситцу.

Прасковея враждебно оборвала его:

— Я не просила у тебя ситцу. Пускай добавят муки и сахару.

Продавец зевнул и скучно ответил:

— А куда же нам девать ситец-то? Его продавать надо.

— Да мне-то какое дело? Я покупаю то, что мне нужно.

— Ну а хозяин продает то, что ему не нужно. Отрежь, Ваня, два аршина ситцу.

И он протянул руку к другому покупателю.

Какой-то малорослый рабочий в рыбачьих сапогах и кожаном картузе, расталкивая плечами людей, крикнул с угрожающей усмешкой:

— Дождутся, дай срок, что эту грабиловку в пыль разнесут! Давно бы с квитками расправиться надо. Без разбоя не обойдется.

Сиделец равнодушно напомнил ему:

— А на разбойников есть полиция и кандалы. Не забудь, что кое-кто из таких бунтарей в тюремном за́мке сидит.

Прасковея не выдержала и осадила его:

— Ну, ты не хрюкай, сытый боров! Ты и мизинца не стоишь тех, на кого намекаешь. Тебя-то вот, грабителя, и надо в кандалы заковать.

Но сидельцу, очевидно, было лень отвечать на грубость Прасковеи: он только прищурился и ухмыльнулся.

Приземистый парень, стараясь казаться пожилым, видавшим виды моряком, одобрительно закивал Прасковее. Это был Балберка.

Я бросился к нему и радостно схватил его за руку. Он обернулся, удивленно взглянул на меня, как на чужого, и сказал равнодушно:

— А-а, это ты? Пусти-ка, дай мне до прилавка добраться.

Я обиделся на его неприветливость и хотел отскочить назад, но он вдруг наклонился к моему уху и прошептал, захлебываясь от восторга:

— Ну и бой-баба эта Прасковея! Вы ее там в обиду не давайте. Приходи в воскресенье — пойдем с тобой мою чайку запускать.

И он нырнул в тесную людскую толчею.

По вечерам обычно рассаживались вокруг стола под лампой девчата и безмужние молодухи. Все они

после работы мылись, принаряжались и садились каждая на свое место: мать — рядом с Наташей, по правую руку Прасковеи, Галя с Марийкой — по левую; напротив — Олена, помолодевшая, посвежевшая. К общему удивлению, она оказалась певуньей и плясуньей. В глазах у нее появился озорной огонек, и хоть она часто пугливо оглядывалась назад, на свои нары, словно чудился ей Гордей и мерещился младенец, лицо ее вспыхивало торжеством: теперь, мол, я вольная птица, хочу — пляшу, хочу — плачу, хочу — хохочу... Она вся распахнулась и быстро прилепилась к Прасковее.

А Прасковея шутила ласково:

— Нашего полку не убыло: выпорхнула птичка из клетки, а я ее за крылышки подхватила.

— Куда ты, Прасковеюшка, туда и я, — вздыхала от счастья Олена. — Раньше я с тоской глядела на тебя: рядом была, а — далеко... тянулась к тебе, а глубже в безлюдь тонула. А сейчас я с тобой на всякое лихо готова. И страсть мне хочется свою молодость дожить!

— Не покайся! — предупредила ее Прасковея. — Со мной спознаться — беды не миновать.

— А мне все одно. Я горе да недолю до дна испила. Меня так пугали да мяли, что и горечь-то всякая — только луковка, да и себя жалеть перестала. Одна осталась охота — свое взять. Галя вот озорует, а меня зло берет, подрядчицу отсюда надо грязной метлой вытурить.

И все молча дивились на Олену: какой она оказалась лютой бабенкой! То ее и не видно и не слышно было, словно в мешке сидела, а сейчас перед ней и Галя — робкая озорница.

— А ты не суди, не ряди, — подзудила ее Галя с сердитым смехом в глазах, — покажи-ка сама, как надо злыдней давить.

Олена так разгорячилась, что даже со скамьи вскочила.

— Да уж сделаю... завтра же ее в казарме не будет.

Мать не сводила с нее изумленных и завистливых глаз и любовалась ею. Должно быть, ей самой хотелось быть такой же, как Олена.

Неожиданно и Наташа забеспокоилась:

— Эту лиходейку давно мне охота за горло схватить. Сколь она девок погубила!

Я обычно сидел за узким краем стола, опираясь локтями на Гаврюшкины книжки, и, положив голову на ладони, слушал. И всегда Прасковея приказывала мне, не поднимая лица от работы:

— Читай чего-нибудь, Федяшка! Только у тебя в книжках-то и есть несбытошное.

Но читать мне было нечего: «Родное слово» и «Детский мир» я уже знал наизусть. А Гриша однажды отрезвил меня от поэтических чар. Слушая мое чтение, он с улыбкой отмахнулся:

— Эта книжка твоя здорово детишкам башкерки забивает: все и везде хорошо, и не думай, что тебе, мол, плохо. Утешает и морочит она, как вон Улита: «Хорошо летом в поле...» Хорошо сытому да барину, а бедняку — худо. Тоже вот и в городе. Книжник-то барчатами хвалится: «Кутья стоит на покути, а узвар пошел на базар. Мы с мамашей и бабушкой пошли в церковь...» А где, скажи-ка, у рабочего человека кутья-то? Он не в церковь идет, а продавать себя за кусок хлеба. Брось ты эту побалушку, Васильич, — один обман в ней для нашего брата.

Мне и самому уже не нравилось «Родное слово». Гриша был беспощаден в своей правде: он безжалостно рассеял мои сны и возвратил меня к безотрадной действительности.

Однажды вечером в комнате подрядчицы стекла в обеих рамах оказались выбитыми, а переплеты сломанными. Василиса вошла в комнату и заорала во все горло. Она сразу же вылетела из казармы и даже оставила открытой дверь в свою комнату.

Тетя Мотя угрюмо прошаркала туда своими валенками и прихлопнула дверь. Возвращаясь, она сердито бормотала, задерживая свой взгляд на Олене:

— Достукаетесь, озорницы окаянные! И греха не оберетесь...

Женщины за столом переглядывались, сдерживая смех. Но кое-где осудительно и тревожно ворчали семейные.

Олена успокоила тетю Мотю:

— Не серчай, Матреша: мы и знать ничего не знаем и ведать не ведаем. А у ней руки-то стали короткие. Ведь ей тоже неохота с нами быть: она барыней жила в хоромах. Хорошо ли ей, белуге, с селедками якшаться?

Прасковея, не отрываясь от рукоделья, мягко пояснила:

— Говорят, и зверь седеет, когда его травят, а человека страданье учит. Мы другие стали, Матреша,— и умнее, и смелее. А ты нас любишь и сердцем с нами, непутевыми, скипелась. И мы тебя любим, как сестрицу родную.

Тетя Мотя всхлипывала, вытирая фартуком глаза.

— Кого же мне еще любить-то, для кого жить-то еще? Милые вы мои, хорошие мои!..

Когда мы ложились спать, в казарму явился Веников. Он заходил к нам очень редко и всегда как будто стеснялся беспокоить нас. Но сейчас он был хмур и разгневан. Не здороваясь, он распахнул дверь подрядчицы и сразу захлопнул ее.

— Зря вы, девчата, окно выломали: холодище прет к вам в казарму, замерзнете к утру-то. Больше чтоб этого не было, не озоруйте, а то возня с вами. Полицейский приходил: подрядчица заявила в полиции, что вы обворовать ее хотели, да она помешала. Через окно лезли. Ну, я доказал ему, что она сдуру наклепала на вас, а окно, мол, вышибли пьяные. Она на меня с кулаками и всякими словами костила. А сейчас бросьте озоровать, девчата, чтобы не было для вас беды. От Василисы все можно ждать. Я скоро уйду с этого промысла — не ко двору пришелся. А без меня все может случиться.

Прасковея села на своей постели и сердечно поблагодарила его.

— Мы тебя очень даже уважаем, Влас Лексеич. Матвей Егорыч плохого человека к нам на плот не поставил бы. Ты сам был недавно рыбаком, наш брат.

Только сделай милость, Влас Лексеич, убери ты от греха эту волчиху. Все равно ей тут не жить.

Веников подобрел и усмехнулся.

— Эх, девки, девки! Жалко с вами расставаться... да и затравят вас. И будет у вас опять драка. Боюсь только, что кой-кому из вас несдобровать. Хоть бы тебе, Прасковея. На тебя сам управляющий нацелился, да и полиция глаз не сводит. Берегись, товарка! Чинить окно некогда: плотники у меня новым лабазом заняты. Только слушайтесь меня: озорство свое бросьте. А затем прощайте!

XLI

Море так и не ушло от берега и блестело зеркальным льдом до самого горизонта. Солнце, оранжевое, мутное, окруженное огненно-радужными венцами, пылало низко и казалось очень далеким и чужим.

По улицам проходили караваны длинноногих верблюдов, запряженных в розвальни. Гордо вскидывая головы на изогнутых шеях, они дышали паром и брезгливо поглядывали на глиняные стены казарм и лабазов. На тяжелых возах сидели безбородые карсаки в колпаках и овчинных балахонах. Из труб казарм и домов поднимался кудрявый дым и расплывался рыжей мутью над посельем.

Я брал в сенях чунки и рогатину, которую мне сделал Степан-молотобоец, и убегал на прибрежный лед. Море замерзло, после того как ударили жгучие морозы. Лед, прозрачно-синий, был гладкий, как стекло, и расцветал в трещинках колючими цветочками инея. По всему простору льда катались на коньках и на чунках ребятишки в аккуратненьких шубейках и шапочках. Это были парнишки из «хороших семей» — дети управляющих и плотовых, лавочников и кабатчиков. Ребятишки рабочих и нахаловцев держались отдельно. Одеты они были кое-как: на одних желтели деревенские старенькие шубы, на других болтались отцовские стеганые пиджаки, подпоясанные веревкой. Так как коньков у них не было, ребятишки с разбегу

скользили на валенках или катались на чунках. Я долго любовался, как некоторые из ребятишек ловко подталкивали себя рогатинками и носились по льду легко и быстролетно. Лед был такой блестяще-гладкий, что ребятишки отражались в нем, как в зеркале.

Я много раз пытался кататься, стоя на чунках, но неудачно: как только я становился на дощечки чунок и упирался в лед рогатинкой, чунки вылетали из-под ног вперед, и я падал навзничь. Раза два я очень больно ушибал голову. Потом понемногу приноровился: изучая издали, как держатся на чунках ребятишки, я понял, что нужно наклоняться вперед, а ноги сгибать в коленках. Но и этого было мало: надо было самому находить точку опоры и уметь сохранять равновесие.

К толпе чужих ребятишек я пристать не решался: не было охоты драться, да и нарываться на насмешки не хотелось. Там было много озорников, которые могли отнять у меня и чунки и рогатину. Понемногу я наловчился подталкивать себя рогатиной, но ездил сначала тихо и робко.

Однажды в воскресенье я отважился пойти в мужскую казарму — к Балберке. Все трое рыбаков уже давно сюда переехали с Эмбы. На зимний лов снаряжали рыболовные команды с главного промысла. Они уже ездили караваном вскоре после ледостава. Я редко их видел и только издали, когда они снаряжались на ловлю и хлопотали около саней.

Когда я затворил за собою дверь, меня ошарашил многолюдный гул голосов, ругань и смех. В казарме стоял густой махорочный дым, и я сразу задохнулся от едучего, отвратительного чада. Я хотел было сейчас же удрать обратно, но меня оглушил громовой хохот. Почудилось, что кто-то огромный схватил меня за горло и больно ударил по голове. В первое мгновение я одурел, ослеп и потерял способность двигаться. Недалеко от меня зычный голос закричал:

— О! Гляди, ребята! Парнишка к нам забрался... Держи крысенка, а то выскочит!

Какой-то хриплый бас рявкнул:

— Ну, рыбаки, пошли в трактир кровь разогревать после ледяной недели!

Ко мне подошел Балберка и взял меня под руку.

— Это — мой дружок, ребята. Мы вместе с ним сюда на промысел прибежали. Корней! Дядя Карп! Федярка к нам в гости пришел.

А я задыхался и кашлял.

Навстречу шел Карп Ильич, суровый, коренастый, с сизым лицом, обожженным морозом. Он без улыбки подал мне широкую толстопалую руку и сказал, как взрослому:

— Верно говорится: старый друг милей новых двух. Человек растет доброй памятью. Так нам и не пришлось с тобой книги читать. Ну-ка, Корней, встречай дорогого гостя.

Корней сидел на краю нар и штопал какую-то овчинную одежину... Он подмигнул мне, приветливо тряхнул всклокоченной головой и засмеялся глазами.

— Нашпиртовано по-моряцки. Это, брат, не бабья казарма. Что, горло-то пилой режет? Привыкай! Моряк и в аду не чихает: он такой прокурат, что ему и ад не рад.

И он засмеялся, довольный своей шуткой.

— Как поживаешь, добрый молодец? Нам с тобой и встречаться не приходится: осенью мы в море да на Эмбе, а сейчас — на далеком льду. Может, с нами поедешь? Будешь книжки читать на приманку: рыба косяком прихлынет из интересу, а мы ее — за жабры.

Он победоносно поглядел на Карпа Ильича и Балберку.

Карп Ильич не знал, что со мной делать, и теребил свою бороду.

— Чем же угощать-то тебя?

Я живо успокоил его:

— Чай, я не за угощеньем пришел, а с докукой: мне нужно на чунках ездить, а никак совладать с ними не могу. Балберка-то мастер на них летать.

Балберка, польщенный, засмеялся, а Карп Ильич спохватился, хлопнул себя ладонями по бедрам и вытащил из-под нар свой сундук.

— Ну, а я все-таки тебя ублажу. Видал у меня книжки-то на барже? Таскаю я их с собой, как свои грехи.

Балберка тоже юркнул под нары и вытянул свой, знакомый мне, окованный блестящей жестью сундучок. Пока оба они искали ключи и возились с сундучками, Корней любопытствовал:

— А тут вы без нас бунтовали, говорят? Смелое дело. Гляди, как ватага-то людями вертит! Потешились мы, как вы подрядчицу на тачке прокатили. Эх, нас тут не было! Охотник я с начальством драться.

— Подрядчица-то грозилась полицейских с арапниками пригнать, — живо сообщил я. — Пригнать-то пригнала, а полицейский первую ее своим арапником отпорол: думал, что бунтарка.

Корней захохотал и закрутил головой от удовольствия.

— Слыхали, слыхали, как с ней чинно обошлись... Это вот наш Макар ее потешил.

Рослый человек с черной бородой сморщился от цигарки и скучно проговорил:

— Только полицейским она не понравилась: подрядчица должна грозной тумбой стоять, а тут — свинья под тачкой. Ох, и похохотали же мы!

Балберка смеялся визгливо, схватившись за живот и приседая. Лицо у него все сморщилось, и глаза пропали. Он задохнулся и едва выговорил:

— А ты бы сел на тачку-то... Пускай бы она там понежилась...

— А кому бы тогда арапник-то достался? —ехидно спросил тачковоз. — Тебя — арапником, а она бы праведницей была. Думать надо!

В казарме смеялись.

Карп Ильич вынимал из сундука старенькие книжки с кудрявыми уголками и хмурился.

— Баловство — не слава. И хвастаться этим непригоже, Макар. Ты ведь не скоморохом был, не на потеху — на подвиг шел для народа.

Макар ухмыльнулся и сплюнул сквозь зубы. Он в последний раз затянулся дымом, бросил цигарку

на пол, с сожалением посмотрел на нее и растер сапогом.

— Чего толкуешь, рыбак! — с досадой отмахнулся он от Карпа Ильича. — Подвиг... потеха... В таком разе без раздумья душа играет. И подвиг бывает потехой красен. Для вражины и потеха в наказанье. Потеха-то, может, еще сильней бьет, чем угроза да суд.

И он крикнул, как атаман:

— Ну, ребята, проворней! Пошли! Гармонист!

Он быстро накинул полушубок, нахлобучил на голову шапку и пошел к двери. От нар оторвались человек десять и, одеваясь на ходу, потянулись за ним. Молодой парень с русым пухом на щеках вскинул гармошку к уху и лихо заиграл переборы.

Я кашлял не переставая: едучий дым рвал горло, глаза слезились. Мне было нехорошо. Если наша казарма смердила духотой и я всегда чувствовал себя отравленным, то в этой, мужской казарме дышать было просто невмоготу. Несколько бородатых мужиков сидели за столом и играли в просаленные карты.

Корней дружески подмигивал мне и улыбался.

— Ну, как, паренек? Нашпиртовано, говоришь, у нас? Привыкай! Народ здесь лабазный, а рыбаки, как бакланы, морской воздух любят. Балберка! Бери свою рогатину и поучи дружка-то с чунками обращаться. Видишь, разомлел он... Да и тебе размяться надо: не миновать кульером быть. В Гурьев аль в Астрахань побежишь.

Как мне ни тяжко было в этом их табачном аду, но книжки манили меня к себе своей волшебной силой: они были живые, и, казалось, дышали.

— Читать читай, да на веру не бери, — поучительно ворчал Карп Ильич. К каждой книжке он относился по-разному: то с суровым благоговением, то с насмешливым негодованием, то с добродушной снисходительностью. — Всякая книжка человеком писана, а человек человеку — рознь. Макар вон — потешник, а Корней — своему слову хозяин и глупости враг. Балберка — чудодей-выдумщик, а жизни не пожалеет за товарища. Какой человек, такая и книга его. Вот, гляди: «Похождения пошехонцев». Потерянный чело-

век писал, бессовестный зубоскал, шут. За рюмку водки отца и брата продаст. Весь народ русский оплевал, дураком сделал. Любопытствовал я в Астрахани, у образованных людей спрашивал, кто эту дурость написал. Хотел найти его да проучить, а никто ничего не знает. Спрятался, подлец: чуял, что несдобровать.

Карп Ильич уже тряс передо мною другой книжкой:

— А вот — «Епанча, сорочинская шапка». О каких народах книжка — неизвестно. Для какой надобности напечатана — невдомек. Правда-то — вот жизнь наша. А эта книжка «Вадим» называется. Правильная книжка. Писал человек — об народе думал. Вот ее и возьми для поучения.

Он погладил меня по спине и растроганно напутствовал:

— Маманьке поклон передай. Таким, как она, петь песни хочется, а на деле — слезы. Ну, и мы пойдем, Корней: надо харчи в лавке забирать. В ночь на лов тронемся. Да! — Он вдруг схватил меня за плечо, и в глазах его вспыхнул гнев. — Григорий-то... человек-то какой был! Вот она, правда-то, как человеком распоряжается! А Харитон — правду под мышку вместе с гармонией — и в другие места... Ничего, дружок! Знай: правда с хорошими людьми живет. Видал, какая красота в правде-то? Как Григорий с Харитоном в действе-то своем доблесть показывали да правде служили? Народ правду лучше знает, чем эти вот книжники.

Он сгреб свои книжки в кучу и бросил их под нары, как сор.

Балберка захватил свой сундучок, взял знаменитую свою рогатину, и мы вышли из казармы. «Вадима» я засунул в карман шубенки. На снежно-солнечном воздухе, ядреном и морозно-жгучем, я опьянел, и у меня закружилась голова. Балберка засмеялся.

— Что, брат? Без вина стал пьяным? У нас народ — как черти в банном пару.

Балберка шел важно, по-рыбацки: шагал широко, расчетливо, немного насупившись. Должно быть, он и зимой не расставался со своими сапогами с широкими и высокими голенищами. Он провалился в них до самого паха, и мне казалось, что ему очень трудно

тащить их. Пропитанные рыбьим жиром, они, как железные, не сгибались в коленях, но Балберка ловко подбрасывал их в шагу, и как будто не он, а сами сапоги толкали его вперед, вспахивая снег. А я не сводил глаз с чудодейственного сундучка на чунках, сверкающего серебристой жестью.

На прибрежном льду, сквозь который виден был песок и раковинки, Балберка остановился, с размаху воткнул рогатину в лед и предупредительно погрозил мне пальцем. Словно боясь растревожить своих болванцев, он на носках подошел к сундучку, осторожно повернул ключик в замке, и внутри запели глухие звоны. Вполголоса он сообщил с загадочной улыбкой:

— Вот увидишь: чаек зимой не бывает, они все улетают в Персию, — а тут вдруг — на! — чайка-то и выпорхнула...

Он откинул крышку сундучка, выхватил из гнезда белую чайку, вскочил с ней на ноги, и она, непостижимо для меня, мгновенно расправила настоящие крылья и задрожала в его руке, порываясь взлететь в морозную высь.

— Гляди! Следи, куда она полетит и где сядет... Хоп!

Он размахнулся и бросил чайку вверх. Она плавно взвилась очень высоко и закружилась над нами, то взлетая еще выше, то опускаясь, черные глазки ее зорко всматривались вдаль. Она летала над нами долго, а Балберка следил за нею и беззвучно смеялся. Он взмахивал руками, делал ими круги и покрикивал.

— Ну, ну!.. Шире!.. Не бойся, не замерзнешь!.. Аль разомлела в темноте-то? Погуляй, полетай на воле-то!

А я не мог оторвать глаз от этой чудесной птицы, которая летала в голубом воздухе, вспыхивающем колючими искорками, и дивовался на нее, как на живую. Это не змей, который держится на нитке, взвешенный ветром. Чайка Балберки сама парит над нами, ныряет в воздухе и взмывает в высоту.

И теперь, вспоминая этот незабвенный час, я с гордостью думаю о нашем русском человеке: как он даровит, как его пытливый ум и беспокойная мечта окрыляли его на смелые творческие искания. Рыбак

Балберка, неуклюжий, чудаковатый, который старался показать себя перед людьми испытанным моряком, суровым «морским волком», все время мятежно размышлял над созданием планера, который плавал бы в воздухе долго и красиво, сохраняя в полете энергию первого толчка. Сейчас работа авиамоделистов — обычное дело, а тогда это не только мне, но и взрослым казалось чудом. Этот милый Балберка сам наслаждался своим изобретением и следил за своей чайкой, позабыв все на свете.

Ребятишки, которые вдали катались на коньках и носились на чунках, застыли на месте и, пораженные, наблюдали за полетом белой птицы. Некоторые из них подбежали к нам на коньках, но потом остановились, не решаясь приблизиться.

Чайка понемногу стала снижаться, словно устала от полета, и Балберка, не отрывая от нее глаз, переходил с места на место и уговаривал ее:

— Хорошо, милка... Полетала и хватит... Пора в свое гнездышко. Только помни: спускайся ко мне на руки, а на лед не смей — ушибешься, крылышки поломаешь.

И чайка будто подчинялась его ласковому голосу: она ныряла все чаще и трепетала, теряя равновесие. Вдруг она повернула прямо на Балберку, пронеслась мимо него и невесомо села на прибрежный снег. Балберка пожурил ее:

— Чего же ты вольничаешь-то? Слушаться надо! Разобьешься — лечить тебя придется. Больше не озоруй!

Он осторожно поднял ее, незаметно сложил ей крылья, и она в его руках опять показалась мне живой. Мелькнули передо мною знакомые перегородочки в сундучке и те же плясуны, лежащие кучкой друг на друге, сверкнули рыбки-блесны и какая-то сплетенная из проволок и тоненьких палочек диковина. Я спросил у него, что это за изделие, но он опасливо закрыл его ладонью.

— Не зыркай глазами, куда не нужно. Это — секрет. Сглазишь, спугнешь думку — все в голове у меня и разоришь. Добро, что ты еще шемайка: ребячий глаз без вереды. Только, гляди у меня, никому ни гу-гу!..

Он захлопнул крышку сундучка, и опять в замке раздался певучий звон.

— Ну вот...

Он хлопнул меня по спине, схватил за плечи и легко завертел волчком на льду. Он уже не старался казаться суровым и тяжелым рыбаком, а превратился в веселого парня, которому хочется играть и баловаться. Стал он легкий, расторопный, как мальчишка, лицо посвежело, и глаза стали лукаво-задорные. Он схватил свою рогатину, отставил сундучок в сторону и вскочил на чунки. Сильным упором рогатины промеж ног он рванул себя вперед и полетел по льду быстро и легко. Не успел я очухаться, как он уже мчался далеко. Ноги его туго спаяны были с чунками, и он, нагнувшись вперед, летел, как на крыльях, по сияющему ледяному полю. По солнечной дороге он убегал все дальше и дальше, стал совсем маленьким и черненьким, как один из его болванцев, и похож был на страшную птицу, которая летела в огненной полосе и взмахивала коротенькими крыльями.

Я забыл о своих чунках и смотрел на воздушный бег Балберки, как на чудесный полет его чайки. В этом низкорослом угловатом парне все для меня было неожиданно ново и необыкновенно, словно он, всегдашний, неловкий, неразговорчивый, прятал себя настоящего в мешковатой одежде, как свои волшебные изделия в сундучке, а подлинный Балберка — вон он, быстролетный парень, который мчится к солнцу по солнечной дороге, радостно смеется, когда бросает ввысь свою чайку и следит за ее полетом. Мальчишки на коньках и на чунках тоже завороженно смотрели на его далекую фигурку, на плавные взмахи его рук и мелькание рогатины и мысленно скользили за ним, недостижимым кудесником, который вот-вот растает в пылающем блистании льда. Вдруг он широким полукругом промчался в сторону, в небесно-голубой блеск ледяного поля, и повернул обратно. Мальчишки сбились в кучу и застыли в завистливом оцепенении. Должно быть, у них так же гулко билось сердце, как и у меня. Балберка летел ко мне как ветер; низко нагибаясь при каждом упоре рогатины, он

как будто несся с горы. И когда он сделал широкий круг около меня, тормозя рогатиной по льду и разбрасывая белые брызги позади себя, я неудержимо смеялся от счастья. Он остановился рядом со мною, соскочил с чунок и тоже засмеялся. Дышал он во всю грудь, но совсем не устал, а только разгорячился. Он радовался и весь стал стройным и красивым, словно родился заново, как сказочный недотепа Иван.

— Вот как на чунках-то бегают! Я так могу целый день скакать без устали. Ну-ка, я тебя поучу, как на чунках держаться надо.

Так провозился он со мной с час. К своему удивлению, я инстинктивно нашел какую-то устойчивую точку на чунках, сразу врос в них и поехал уверенно и быстро.

В этот же вечер Балберка с артелью рыбаков уехал на подледный лов куда-то очень далеко.

XLII

Подрядчица перебралась на квартиру в поселок. Она с неделю не брала вещей: хотела опять поселиться в своей комнате, но окно не чинилось и стекол не вставляли. Дыру забили досками. Дверь законопатили паклей, и тепло в казарме держалось до утра. Василиса не добилась своего: ее выжили без всякого скандала — выжили морозом и молчаливой враждой. Должно быть, она поняла, что бороться со всей казармой безнадежно, а житье в комнате не обещает ничего хорошего: резалки не оставят ее в покое. И даже в лабазах, где работали женщины, ее встречала общая ненависть. Ни криков, ни столкновений не было, но люди старались не замечать ее и на ее злое ворчание отвечали глухим безмолвием или запевали насмешливую пригудку:

Василиса веселится —
Квасит в чачке телеса,
А ночами ей не спится:
Донимают чудеса...

Она бродила по лабазам с застывшей яростью на лице. И всем было ясно, что она обдумывает какую-то коварную месть. Со всеми она расправиться не могла: впереди — весенняя путина, и она отвечала своим карманом за сохранность работоспособной артели. Все ждали от нее какой-нибудь подлой выходки. Особенно боялись за судьбу Прасковеи и Гали. Веников однажды не явился на работу, и в этот день Василиса победоносно расхаживала по лабазам и придиралась к работницам, но к Прасковее и Гале не подходила.

Работницы плечом к плечу стояли перед длинными столами и перебирали соленую рыбу. Эта работа на морозе была самой ненавистной: просоленную рыбу нужно было очищать от соли и грязи и укладывать в бочары. Руки коченели от холода и разъедались тузлучной солью.

Резалки плясали перед столами от стужи, грели руки под мышками или подносили их ко рту и дули на омертвелые пальцы. На подрядчицу они не обращали внимания: они не замечали даже ее окриков и придирок, измученные этой проклятой работой. У каждой женщины урок был большой, а выполнить его при таких холодах не могла ни одна резалка. Все страдали от простуды, все задыхались от кашля. Несколько женщин слегли и метались в жару.

Однажды мама заплакала за работой, отвернулась от стола и молча вышла из лабаза. Я выбежал за нею и увидел, что она шатается, как пьяная. Я схватил ее за руку, но она даже не повернулась ко мне. Лицо ее было в слезах, какое-то чужое, жалкое, а широко открытые глаза смотрели с покорным изумлением в одну точку.

Я испугался и крикнул:

— Мама, заболела ты, что ли?

Она тихо и жалобно пролепетала, показывая мне свои покрытые мокрой солью руки:

— Гляди-ка, Федя, какие у меня руки-то стали... Обмерли руки-то...

Потрясенный, я дрожащим голосом успокоил ее:

— Ничего!.. Придешь в казарму, мылом вымоешь. Тетя Мотя тебе пальцы жиром натрет.

— Слягу я, Федя: мочи моей нет.

И опять заплакала сиротливо, горестно. Горло у меня перехватила судорога, и я крикнул мстительно:

— Это подрядчица... Она всех замучила... Я убью ее!

Сердитый голос Наташи оборвал мою угрозу:

— Эка, какой страшный! Подрядчица-то поди досмерти испугается. Она здесь — только собака. Порядки-то, чай, не подрядчица вводила: везде такая каторга.

Она подхватила мать под руку с другой стороны и почти понесла ее.

— И как это, Настя, ты переносила эту ватажную пытку? Маленькая, камышинкой тебя перешибешь, а ведь сила-то какая! Другие вон и головы не поднимали — подкашивало их. Уж на что опытная девка Галька, и та рук своих не уберегла. А ты — новенькая, свеженькая, словно заколдованная.

Мать совсем ослабела и едва передвигала ноги, но улыбалась сквозь слезы.

— Вольность-то, Наташа, дороже всего. Я век бы здесь надрывалась, только бы не у свекра жить да не под мужниными кулаками. А ты иди... я дойду... у меня — сынок... а то вычтут с тебя да штрафы наложат.

— А, черт с ними! Я на них, на этих палачей, плюю. Мне хочется все промысла поджечь... чтобы званья не осталось. Верно, Настя! Живи так, как хочется. Без любви, без вольности и жизни нет, а только ад. Я вот однова пережила... насильников... Не уберегла себя для хорошего человека... Думала, не перенесу... утопиться хотела, да Харитон спас и приютил. А ты сколько дней да годов под насильниками мучилась! И перед тобой я хоть и на лошадь похожа, а выходит — слабенькая.

В казарме было тепло, как в бане, — так мне показалось с холоду. Мать все время тряслась, не стояла на ногах. Тетя Мотя заохала, захлопотала над ней.

Вместе с Наташей они раздели ее, вымыли ей руки начисто, и я увидел впервые, как жутко разъела соль ее пальцы: они казались мертвыми, не двигались, скрючились, изорванные кровавыми трещинами и покрытые серой чешуей. Тетя Мотя натерла их рыбьим жиром и завязала тряпицами. Наташа подсадила маму на нары и уложила ее в постель, потом сама промыла свои руки и смазала жиром. Ей, должно быть, тоже нездоровилось: она села на нары около печки и опустила голову на руки. Феклушка неустойчиво, едва передвигая ноги и раскинув руки, подошла к ней, села с ней рядом и прислонила желтоволосую голову к ее плечу.

На нарах лежали больные женщины и стонали подетски жалобно. Некоторые надрывно кашляли и задыхались. Кузнечиха по-прежнему лежала неподвижно и молча. Я взобрался на свои нары и приложил руку ко лбу матери. Она пылала в жару, но не переставала дрожать. Я сидел около нее и не знал, что делать. Она открыла лихорадочные глаза и болезненно улыбнулась.

— Иди, Федя, читай... аль на чунках покатайся... а я полежу, отдохну. Ты не беспокойся... Я не простудилась, — видишь, не кашляю. Это у меня так, от натуги... Иди, милый!

Я прошел в кузницу и застал там Тараса. Угли в горне покрылись золой: должно быть, Игнат уже давно бросил работу. Он стоял перед наковальней, опираясь на ручник, а Тарас сосал окурыш у тисков, кашлял и морщился не то от дыма, не то от злости. Степан тоже курил цигарку и был чем-то озабочен.

— Вот оставил дверь настежь и пошел встречь ветру, — язвительно усмехаясь, говорил Тарас. — Сколь ден чеканил я этот светец — две лодки крест-накрест с парусами, а на носу да на корме — по фонарю! Тонко, аккуратно, вязью все отделано. Залюбуешься. Это я хотел в казарму повесить, чтобы ребятам было веселее. Ну и накрыл меня управляющий, истовый такой старичишка, а нос как у коршуна. Выхватил у меня работу мою, оглядывает, пальцем по ней щелкает, чмокает, головой покачивает. «Ты,

говорит, кому же подрядился такое невозможное изделие чеканить? У нас, говорит, надобности в таких замыслах нет». — «У вас, говорю, нет, а у меня есть. Я своему мастерству — хозяин. Для своей команды в казарму повешу: пускай глядят на эту красоту и радуются». — «А чей, говорит, материалец?» Тут я разозлился и ляпнул ему: «Я краденым, говорю, материалом не пользуюсь: на кровные денежки купил». И хочу взять у него светец, а он бросил его позадь себя и святую свою бородку теребит. «Краденый это материал аль нет — я следствие наведу, а покамест это твое искусное изделие в моей горнице похраню. Но вот время рабочее ты у меня, у доверенного хозяйского, украл. Вместо багров, крючьев да подков ты непотребными для промысла делами занимаешься». А я еще больше бешусь: «Я все ваши заказы, говорю, выполняю, а то я по доброй своей воле делаю». — «А угольки, говорит, а огонек? А что такое твоя добрая воля? Добрая, говорит, твоя воля — тоже кража; ведь добрая-то твоя воля тоже хозяину принадлежит. Я твоей доброй волей должен с пользой распорядиться. Избыток твоей силы транжирить не позволю: мастер нам ни к чему — нам коваль нужен». Бросил я и клещи и молоток, выплеснул ведро воды в горн, сбросил фартук и заорал: «Ну и ищите себе коваля, а я вам не по плечу!» И ведь какой коварный старичишка! Ты здесь, Игнат, вроде верблюда, куешь и маешься паскудно, а Степка да этот ваш пупыр только пыхтят да зубы скалят. Ты еще не спорил с таким благочестивым бесом: я буйствую, а он колет меня глазками да голоском, слово шильями: «Нет, говорит, кузнец, уйти ты не можешь: дальше полиции не шагнешь. А полиция-то мне же тебя и представит. По закону! По контракту! И за прогул взыщу и штрафик за нарушение распорядка наложу. То-то, милый! То-то, слуга мой неверный!» И ушел и мой светец утащил. А я плюнул на все, расхлебянил дверь и ушел. Вот тебе и мастер! Вот тебе, чертов верблюд, и наши с тобой споры. Для кого? Для чего? Пойду куда глаза глядят... — Тарас растер валенком окурок, плюнул и обозленно засмеялся. — Одна у меня

отрада была: с тобой, верблюдом, вперегонки играть. Пойми: два умника, два беспутных мастера, два дуботола чертей тешили... Думали свет удивить: всякими выдумками друг друга по башкам колошматили. А вот старичок-то, распорядитель-то мой, умнее и сильнее всех чертей оказался. «Дальше, говорит, полиции не шагнешь и у меня же в когтях будешь». И светец мой утащил. Вот к кому мы друг друга подгоняли да мозги трудили...

Степан, чем-то обиженный, наморщил лоб и безнадежно махнул рукой.

— У нас все самостоятельные-то люди — бродяги... а то с арканом на шее. Вот плотовой был, Матвей Егорыч... где он? В бродягах оказался. Григорий-бондарь где? В остроге. Харитон-гармонист где? В бегах.

Это было все верно, и я взволновался. Игнат оглушительно стукнул ручником по наковальне и накинулся на Тараса:

— Что? Испугался, хвост поджал, барбос бездомный? Я лаюсь, огрызаюсь, а свое дело делаю невидимо. Ты-то чего размахался да расхвастался? Перед всем миром светец хотел зажечь... Вот, мол, я какой искусник! Почитайте, мол, меня да на руках носите! Для кого, для кого!.. Хо-хо! Ты — для старичка-паучка, а я — для себя... для души веселья...

Он повернулся к Степану и грозно нахмурился.

— Самостоятельными людями тоже надо уметь быть. А дураками быть им не положено. Григорий — умница, а на рожон полез, как дурак.

Тарас судорожно дернул щекой и, не глядя на Игната, протянул ему руку.

— Ну, прощай, верблюд. Тебе только по песку зыбучему и ходить. Мы с тобой такие друзья, которые никогда не столкуются. Пойду сам счастья искать по городам да заводам. Все мои пути-дороги туда идут.

Он бойко вышел из кузницы и торопливо пошагал через двор на улицу.

— Ну-ка, Федяшка, становись на мехи! Давно не был. Чай, уж забыл, как мехами-то орудовать.

Я охотно пробрался к мехам и крикнул на ходу:

— Я, дядя Игнат, не надолго: у меня мама слегла!

— О! Это дело сурьезное. Сейчас для баб — самый урез. Всегда полказармы лежит. А моя баба, кажется, на каюк пошла. И Феклушка ей не помога со своими ангелями... Шагай домой!

Степан по-прежнему был задумчив и чем-то обижен.

Ночью нас разбудил набат: глухо бухал большой церковный колокол, а наш, будильный, тявкал плаксиво и испуганно. Стекла дребезжали и завывали, как далекий пароходный гудок. Я свесил голову с нар и увидел в промороженных окнах полыхающее мутное зарево. У окон тормошились в исподних юбках женщины, и даже больные поднимались на локоть и спрашивали тревожно:

— Где горит-то? Не на нашем ли промысле? Больно уж огонь-то бушует близко... Помилуй и спаси, господи!

— На соседнем, должно... камыш... один порох... долго ли до греха?

— Сейчас — как в зной, в мороз-то: все сухое, горючее. А дерево вспыхнет нежданно-негаданно...

Первым оделся Игнат и молча вышел из казармы. Семейные мужчины — солильщики — тоже ушли один за другим. Начали торопливо сряжаться и резалки. Мама лежала в жару и не поднимала головы: не то она спала, не то была без памяти. Она дышала часто, горячо и что-то шептала. Внизу торопливо одевались женщины. Прасковея и Галя словно и не спали: они сряжались легко, были бодрые и веселые. Галя с сердитой насмешкой упрекала кого-то:

— Это у нас Улита за наши грехи молится: господи, помилуй — помашу кадилой! А я от радости заплясала бы, коли б все промысла загорелись. Для кого это: господи, спаси? Для живоглотов-то?

Прасковея шутливо совестила ее:

— Перестань, бесстыдница! Для нашей сестры и поохать, и с богородицей повопить — утеха. Промысла-то ведь все заштрахованы: хозяева карман набьют, а виноватый из рабочей артели найдется. Не бунтуй! Всем по-своему хочется душу потешить.

Наташа лежала с открытыми глазами и прислушивалась к набатному звону.

Я нетерпеливо и быстро оделся и слетел с нар.

— И ты тоже? — удивилась Галя и засмеялась. — Пострел везде поспел. Ну, коли связала нас судьба — пригортайся близче.

Прасковея основательно и неторопливо надела шубу и закутала голову шалью. Она с серьезным видом предупредила Галю:

— Ты не шути с ним: это — мой спаситель. Ежели что случится, ты уж, Федя, вместе со мной и Галю укрой.

— Ладно! — согласился я. — Не говори только об этом, а то весь базар узнает.

— Ох, верно! — спохватилась Прасковея. — Чего же это я разболталась-то? Ну, да я ведь секрет-то не выдала.

— Это какие секреты у вас от меня? — ревниво спросила Галя.

Прасковея загадочно улыбнулась.

— Есть секреты, которые дороже жизни.

— А ты меня любишь, чумак?

— Еще как!..

— Почему же секреты от меня таишь?

— Этот секрет не для тебя. Я и маме его не открою.

— Крепыш! — засмеялась Прасковея.

В казарме была тревожная тишина, словно все готовились к какой-то беде. Хотя стекла были вышиты морозными узорами, которые вспыхивали перламутровыми перьями, и сквозь них ничего не было видно, женщины теснились перед ними на коленях и гадали, где полыхает этот пожар, не перекинется ли он на нашу казарму, да нет ли поджога, потому что народ-то уж больно озлобился. Тетя Мотя вместе с Оленой ушли раньше нас. Марийка убежала вдогонку за ними, а Прасковея с Галей почему-то совсем не торопились.

Когда мы вышли во двор, морозно-мутный воздух до самого неба пылал оранжевой пургой, а снег показался раскаленным докрасна. Налево, над улицей,

багровым вихрем кружился густой дым, и глухо рокотал далекий прибой. Чудилось, что где-то бунтует большая толпа и сотни голосов кричат так же грозно и воинственно, как, бывало, у нас в деревне во время кулачного боя.

Горели лабазы соседнего промысла и кузница Тараса. Огромные снопы пламени взлетали очень высоко и исчезали в дыму. Камыш уже сгорел на крышах, ярко играли языки огня на стропилах и на деревянных переплетах стен. Сквозь эти переплеты видно было, как внутри падали ослепительные бревна и взрывались вихрем искр. Во всю ширину улицы густо толпился народ, и люди казались нарядно одетыми при полыхающем свете пожара. Не видно было ни пожарных, ни рабочих, которые тушили бы огонь. Орали где-то надрывные голоса, но не видно было никакого людского беспокойства.

Прасковея усмешливо пояснила:

— Да у них и насосы-то замерзли, а в бочках — лед, и они полопались. Тут каждый год промысла горят, и случая не было, чтобы пожарные огонь тушили. Хозяевам это на руку: за старые сараи они с казны получат, как за новые. На этом промысле управляющий — старичишка ехидный, хитряга несусветный. Я три года здесь работаю, а у него уже четвертый пожар, и обязательно найдет поджигателя из ватажников.

Все промысла по берегу отделялись друг от друга узкими проулками, а в этих проулках земля с давних пор отдавалась в аренду рабочим, и они строили себе глинобитные избушки и землянки. В нашем проулке я увидел кучки обитателей этих самосадок с ведрами и баграми в руках. Горящие «галки» и угли падали сверху, как дождь, и относились нагретым ветерком и на наш промысел, и — через улицу — на лабазы и сараи, крытые камышом. Но на крышах были сугробы снега, и «галки» и искры сразу же потухали там или слетали на сугробы улицы. В толпе было весело и празднично: лица у всех были взволнованны, глаза горячо блестели. У меня тоже стало почему-то радостно на душе, хотелось подбежать близко к кузнице и бросать в огонь пригоршни снега. Уши обжи-

гал мороз, а лицу было жарко от пылающих стен, по которым летали и играли языки пламени. Огонь трещал, как сало на сковороде, стрелял и взрывался вихрями искр. Люди здесь не вздыхали, не причитали от ожидания несчастья, как в казарме, а перебрасывались шутками, смеялись и не отрывали глаз от бушующего огня. Они изнурились за день, прозябли, но все сорвались с постелей и опрометью понеслись на пожар. На дворе и на улице рабочие и работницы кидали в огонь лопатами снег, несколько человек баграми сбрасывали бревна со стен кузницы. Но над ними смеялись в толпе и кричали:

— Эй вы, тушители! Чего снег-то зря переводите? Вы лучше поплюйте в огонь-то!

— Ребята! Не в огонь плюйте, а в управляющего: он у вас из огня деньги делает.

Маленький крючконосый старик с подстриженной седой бородкой, в распахнутой шубе с пушистым воротником и в каракулевой шапке, юрко бегал среди рабочих и пронзительно распоряжался, взмахивая рукавами. Полицейские в полушубках начальственно носились перед толпой, хрипло орали и расталкивали людей в разные стороны:

— Отдай назад! Чего глазеете?.. Тушить надо! Свои строенья охраняйте!

А в толпе добродушно советовали:

— Ты, полиция, пожарных сюда гони! Где пожарные-то? Из кишки водой тушить надо, а не снегом играть.

— У них вода-то с испугу замерзла. Пожарные только летом на пожар ездят.

— Ты нас не гони, полиция: не туда прешь! Ты вон огонь арестуй... вишь, он как бушует... и власти не признает...

Рядом с нами кто-то угрюмо говорил:

— Этот мошенник на старости лет на кузнеца сваливает: «Поджег, говорит, и скрылся».

Другой голос с веселой злостью отвечал:

— Вот бы кого в огонь надо бросить! Он у нас не одного рабочего сгубил. Пойдемте, друзья, печенку ему отобьем.

— Аль по острогу стосковался? У него вся полиция подкуплена.

— А мы к нему гурьбой — тушить, мол, пришли. Улестим!

Толпа вдруг дрогнула, заколыхалась, рванулась и двинулась в нашу сторону. Меня подхватила Прасковея и побежала обратно на улицу. Толпа бежала за нами.

— Беги скорее! — испуганно крикнула Прасковея. — Беги, а то сомнут и раздавят!

Я пустился что есть духу по дороге. Но толпа осталась позади: она словно напоролась на что-то и остановилась. Я оглянулся и увидел, как рухнул пылающий сруб кузницы и в вихре искр и пламени исчезли горящие лабазы. Над ними рвались к небу огненные «галки». Мимо меня, тяжело дыша, пробежало несколько человек.

— Казармы спасай! — задыхаясь, крикнул кто-то из них. — Черт с ними, с лабазами да с сараями! Надо казармы охранять: сгорят — на улице очутишься.

И вдруг я заметил густой дым под застрехой нашего лабаза, где работали резалки. Огненные крылья взмахивали и в проулке, в камышовой стене дворового плота. Как загорелись эти постройки, мне было непонятно. Мы с Прасковеей и Галей побежали к своей казарме. Во дворе бегали женщины и визгливо кричали.

— Беги в казарму — к матери! — приказала мне Прасковея и грубо толкнула Галю. — Иди, Галька, да всех успокой: чтобы никто с нар не трогался. Казармы отстоим. Я здесь сама людями распоряжусь.

Каретник уже весь был в дыму, из-под крыши взмахивало красное и мутное пламя. Из нашей казармы выбегали со стонами и плачем женщины с пожитками. Галя крикнула повелительно:

— Чего всполошились? Несите свою хурду обратно! Ишь захотелось на морозе околеть!..

В казарме была несусветная суета: женщины связывали свои постельки, надевали шубы и кричали не

поймешь что... Кое-кто уже тащил узлы к двери. Я крикнул, надрывая горло:

— Ничего не будет... Оставайтесь!.. Не сгорим!

Галя, как хозяйка, вошла в казарму и сварливо крикнула:

— Это еще чего выдумали! Кто это вас с места согнал? Чтóбы никакой суматохи не было! Ишь заревели да захныкали! И больных всех растревожили.

Одни недоверчиво топтались на месте, другие виновато возвращались на свои нары.

Мать сидела на постели и в ужасе смотрела на меня широко открытыми глазами. Волосы у нее растрепались, грудь дышала порывисто и судорожно.

— Сгорим, Федя... Огонь везде... Мне бабушка Наталья являлась... Не миновать беды... Не ходи ты никуда, Федя... со мной будь...

Я разделся и уложил ее на постель.

— Гриша тоже являлся... Ничего не говорил, только глядел на меня с улыбочкой...

В казарме все успокоились, но разговаривали тревожно. Наташа сидела на нарах в ногах у Феклушки и шепталась с нею. Кузнечиха по-прежнему лежала пластом и не шевелилась.

XLIII

У нас на промысле сгорели лабаз и плот. На месте их торчали только черные, в крупной сизой чешуе, столбы. И от этого на дворе стало пусто. Пахло горелой рыбой.

Мать утром встала здоровая и бодрая, словно болезнь стряхнула с нее и изнурительную усталость и печаль. Только руки у нее были завязаны.

Работы для резалок прекратились, и все толпились в казарме. Веникова уже не было на промысле: говорили, что управляющий его отправил куда-то далеко, на Эмбу.

Рыбаки возвратились с моря, привезли полные возы рыбы и свалили ее на дворе. Через день я встретил Балберку. Как обычно, он был неуклюже важен

и шагал тяжело и расчетливо. Он сообщил мне, что утром, после завтрака, побежит на чунках в Гурьев с какими-то бумагами от конторы. Я вышел на берег с чунками, чтобы проводить его. На чунках я уже стоял твердо и сразу находил точку опоры и упругое равновесие. Я уже не боялся упасть, и ноги мои уже не уставали.

Когда я увидел Балберку с сумкой за плечами, с его высокой рогатиной и легкими чунками, я помчался к берегу стрелой. Вслед за Балберкой шли Карп Ильич и Корней. Все они одеты были в коротенькие меховые шубейки. Балберка уже готовился стать на чунки, когда я подбежал к нему. Карп Ильич что-то отечески внушал ему, а Корней похлопывал его по сумке и ободряюще говорил:

— Ничего, ничего... Аль такому бегуну впервой скакать-то?

Карп Ильич хмуро возразил:

— Волков сейчас много... Ты, Яфим, в оба гляди... сохрани бог! Засветло на стан норови. А потом, главное дело — пурга, буран. Он хоть и не предвидится, а раз на раз не приходится.

Балберка досадливо дернул головой и пробурчал:

— Да знаю... Чай, мне не внове.

Он смущенно улыбнулся и неуклюже обнялся и с Карпом Ильичом и с Корнеем. И, как будто впервые заметив меня, дружески подмигнул мне:

— Ну, как ты на чунках-то? Аль со мной собрался? Как, дядя Карп, и ты, дядя Корней: можно ему в Гурьев со мной кульером бежать?

И сам засмеялся своей шутке.

Корней пошевелил усами, белыми от инея, и щелкнув рукавицами, тоже подмигнул мне:

— А всам-деле, тоже бегун на чунках стал. В Балберкиных руках был. Пожалуй, в пристяжку годится.

Карп Ильич положил мне руку на шапку и хмуро отшутился:

— Он еще ни одной книжки мне не прочитал. Вот потрудится со мной чтением, да подрастет маленько, да с нами на лов сбегает, тогда и кульером пустить

можно. Ну, с богом, Яфим! Оберегайся там, оглядывайся! А ежели к бурану дело повернет, на стану отсиживайся. Валяй, мир доро́гой!

Балберка вскочил на чунки и сразу же, одним ударом рогатины, отбросил себя от нас на ледяное поле. Я тоже вскочил на чунки и начал толкать себя вслед за Балберкой. Но он размеренно и плавно заработал своей тяжелой рогатиной, гибко наклоняясь и разгибаясь, и через минуту летел уже недостижимо далеко впереди. Провожал я его не долго: он быстро удалялся от меня и скоро стал маленьким, как заяц. Я с сожалением и завистью глядел ему вслед до тех пор, пока он не исчез из моих глаз.

Через неделю обе казармы опять забунтовали: подрядчица при расчете сделала вычеты с больных, а со дня прекращения работ после пожара — со всех работниц и рабочих.

Мать после болезни была страшно возбуждена: она стала нервно-порывистой, разговорчивой, непоседливой, словно переживала какую-то большую радость. Ей не сиделось на месте, и она подбегала то к Прасковее, то к Олене, то к Марийке с Галей, то к другим резалкам, с которыми раньше и словом не обмолвилась, и страстно говорила с ними, горячая, нетерпеливая, охваченная какой-то беспокойной мыслью.

Она рвалась куда-то, что-то ей нужно было сделать сейчас же, взбулгачить товарок, поднять всех на ноги... И тихие, незаметные женщины ежились, испуганно замыкались, а потом с изумлением слушали ее, заражались ее пылом и волновались. Прасковея следила за нею и улыбалась про себя, не отрываясь от рукоделья. Потом она неторопливо принарядилась и надела шубу.

— Ну-ка, Галя, Олена, Наташа! Собирайтесь! Одевайся, Настя! Пойдем в мужскую казарму, а потом на другие промысла.

Я тоже оделся и выбежал на воздух. Не ожидая их, бегом пустился к мужской казарме. И опять, как в первый раз, я одурел и задохнулся от махорочного дыма и едучей горечи в горле. Многие из рыбаков лежали на нарах и дымили цигарками. Так же, как

и раньше, кучка рабочих играла в карты за столом, где-то в дыму пиликала гармошка. Карп Ильич с Корнеем сидели рядом на своих нарах и с угрюмой озабоченностью толковали о чем-то, опираясь локтями о колени.

Мне показалось, что они встретили меня неприветливо: глаза их безразлично скользнули по мне и задумчиво уткнулись в пол. Карп Ильич с трудом выпрямился, как старик, и сурово сказал:

— Вот и Балберки нашего нет, моряк, ни слуху ни духу. Не знаем, что и думать. Далеко ли до Гурьевато! Пешком можно за это время туда сходить и воротиться. На чунках-то три дня — много. Боюсь, как бы волки его не растерзали.

Корней неуверенно негодовал:

— Какие там волки! Первый раз, что ли, он на чунках-то бегает? Прихворнул где-нибудь по дороге. Не явится завтра — сам побегу.

Я верил в отвагу и ловкость Балберки и был убежден, что он жив и ему не страшны никакие опасности.

— Чтобы Балберка сплоховал — и думки у меня нет! — горячо запротестовал я.

— Верить товарищу надо: этим дружба держится, — поучительно сказал Карп Ильич, но в глазах его темнело угрюмое беспокойство. — А полагаться на одну веру нельзя. Дружба заботой да подмогой крепка. На розыски надо бежать. Управляющий злобится, а верхового не послал. Лошадь-то пожалел, а о человеке не подумал.

— Не прибудет завтра — стрелой полечу, — повторил Корней, набивая трубочку.

— Ну, а ты с какими вестями прибежал? — спросил Карп Ильич и нехотя улыбнулся.

— Резалки сюда к вам идут: Прасковея с мамой и еще две... — торопливо ответил я. — За подмогой к вам. Подрядчица и контора совсем их замаяли.

— Что же, это — общее дело, помогать надо, — согласился Карп Ильич и задумался. — Только с умом, без ножей да без булги.

Я обиделся за наших женщин и заспорил:

— Это не резалки на булгу-то идут, а подрядчица бушует.

Корней, попыхивая трубочкой, поддержал меня:

— Это у нее в привычке: разбойница, собака. Она с полицией заодно, и правого и виноватого умеет в капкан загнать. Григория-то с девчонкой она затравила.

В казарму вошли наши женщины и весело поздоровались, а Галя негодующе крикнула:

— Ну и коптильня у вас, мужчины! Не продохнешь. Не я у вас хозяйка, а то бы живо к рукам прибрала.

Кто-то приветливо крикнул ей:

— Очень даже рады такой раскрасавице!

Прасковея прошла на середину казармы и проникновенно проговорила:

— Мы, ребята, к вам с докукой пришли. Помогайте! Да и вы одинако с нами страдаете. Вычеты замучили, а сейчас не платят и за безработицу. Ведь не по нашей вине: пожар-то не мы устроили. Да и больных голодом морят. Пойдемте с вами в контору: надо своего добиваться.

В казарме стало глухо и тягостно. Кто-то закряхтел, кто-то вздохнул и невнятно забормотал, гармония захлебнулась и замолкла. Только лохматый картежник прохрипел, выпучив глаза на женщин:

— А в полицию да под арапник кто пойдет?

Галя насмешливо отрубила:

— Трусы да наушники.

— Это кто — трусы да наушники?

— Тот, кто в полицию пойдет.

Прасковея оборвала Галю:

— Не дури, Галка! Мы не для шуток пришли.

Олена обиженно пробурчала:

— Им и горя мало. Они вон в карты играют.

Кто-то из картежников засмеялся:

— Садитесь — и для вас место найдется. По копейке на́ кон.

Мать шагнула вперед и с сияющей надеждой в глазах и задушевной почтительностью проговорила по-деревенски певуче:

— А я уж к тебе, Карп Ильич, и к тебе, Корней... Поддержите нас. Сообча бы надо — всем трудно. Вы оба всякие беды испытали. Век не забуду, как вы меня приветили. И сейчас души своей не убьете.

Ее приятный и сердечный голос, должно быть, всем понравился: на нее с любопытством уставились многие рабочие, а картежники даже прервали игру. Карп Ильич подтолкнул Корнея, и они встали с нар. Корней сдержанно улыбался, а Карп Ильич по-отцовски проговорил ей на ходу:

— Вот ты какая стала, Настенька! Пришла на баржу робкая, словно в полон тебя взяли, а сейчас в драчуньях ходишь. Подружки-то у тебя хожалые. Это хорошо: смелым везде дорога. Верно, обчее наше дело. За правду и голову сложить не жалко. Я пойду с вами... и Корней не откажется: нас ведь с ним разлучит только могила.

Он оглядел все нары, повернулся к игрокам и внушительно поднял палец.

— Так-то, друзья-товарищи. Мы, рыбаки, народ гордый — честью своей дорожим. А кто из вас шкуру свою лижет, лежите и не шевелитесь, только бороды спрячьте, чтобы не совестно было.

Лохматый картежник ударил по столу ладонью, смахнул карты и медяки на пол и тяжело поднялся со скамьи.

— Это кто же, Карп, шкуру свою лижет? Ты, голова, говори-говори, да думай. Не срами морскую нашу казарму.

Карп Ильич сурово смерил его с ног до головы и очень спокойно, не сводя с него глаз, ответил:

— Да вот хоть ты, Левонтий, а с тобой, должно, и твои картежники. Кто о полиции да об арапниках вспомнил? Штормы не боишься, а перед арапниками оробел. Кто же, выходит, морскую команду срамит?

И Карп Ильич укорительно усмехнулся, а Корней повернулся к игрокам спиной. Левонтий засопел и вылез из-за скамьи.

— Это я шутейно: бабенок хотел подзадорить... — с трудом обуздывая себя, примирительно пояснил он. — Страсть они любят народ булгачить!

Галя с негодованием отплатила ему:
— Лохматый, бородатый, а дурак.
Вся казарма дружно захохотала.
Прасковея сердито набросилась на него:
— Что это за бабенки? Что это за разговор? Эти бабенки храбрее вас, мужиков. Не вы к нам, а мы к вам пришли. А пришли уважительно: верим, что и себя и нас в обиду не дадите.
Коротко остриженный парень, с широкими челюстями, большеротый, в стеганой куртке и больших валенках, подошел к женщинам и ударил себя в грудь.
— В огонь и в воду с вами, девчата!
И крикнул, хватаясь за голову:
— Эх, как они нас оконфузили! Сквозь землю надо провалиться.
— Я тоже иду! — решительно прохрипел Левонтий, но Карп Ильич утихомирил его:
— Я, Левонтий, знаю тебя. Ты в таких делах — не коновод: всю обедню испортишь. А насчет тебя я в надежде. Ты в казарме останься и покалякай здесь с ребятами. Чтобы все на ногах были при надобности. Да чтобы никто нашу рыбацкую артель не опозорил. Паршивую овцу из стада вон!
Мать со слезами на глазах проговорила растроганно:
— Люди-то вы какие хорошие, Карп Ильич! Люди-то какие!
— В нашей рабочей команде все должны быть хорошие, — поучительно ответил Карп Ильич.
Они оделись и вместе с женщинами вышли из казармы, а я побежал в кузницу. Игнат звенел своим ручником, а открытая дверь в дымную тьму и огонек горна всегда манили меня приветливо. В кузнице я не был уж несколько дней: езда на чунках так захватила меня, что я пропадал на льду с утра до вечера. Из нашей казармы гурьбой выбегали резалки и уходили в ворота. Шли один за другим и рабочие из мужской казармы.
Игнат встретил меня молча и хмуро, словно я ввалился некстати. Степан стоял на мехах и тоже

был не в духе. Игнат ковал большой бондарный топор с вогнутым лезвием. Он чеканил широкую лопасть, уже красную, остывающую, и оттягивал лезвие. Вдруг он быстро, словно брезгливо, бросил топор вместе с клещами в широкое ведро с водой и отмахнулся от густого облака пара.

— Ну, так как же нам с тобой быть-то, меходув? — спросил он меня, задумчиво всматриваясь в открытую дверь. — Везде полное расстройство: то бунты, то пожары, то безделье... И ты от нас отбился. Ну, с тебя спрос невелик: даром работать дураков нет. А вот главное — не с кем мне теперь спорить и драться и тебя на посылках гонять. Тарас-то... слыхал? Сцапали его. Где-то по дороге схватили и связали. А сейчас — в полиции. Обвинили в поджоге. Так с нашим братом обходятся.

Я так обомлел от этой новости, что с минуту смотрел на Игната, как в столбняке. Должно быть, я был похож на дурачка, потому что кузнец встревоженно поднял брови и сдвинул шапку на затылок. Потом сразу же успокоился и опять надвинул шапку на лоб: он, вероятно, решил, что мне, малолетку, еще не дано постигать смысл таких ошеломительных событий.

Я опамятовался и забунтовал:

— Это не Тарас... Это старичишка сам поджег.

— Это кто тебе сказал?

— А на пожаре народ говорил.

Степан засмеялся и вышел из закуты, от мехов. вглядываясь в меня с веселым любопытством.

— Он все на свете знает. С приключениями.

Но Игнат угрожающе стукнул ручником по наковальне.

— Этому парню надо уши надрать, чтобы не болтал зря.

— Да кто поджег-то? Тарас, что ли? — возмущенно крикнул я. — Тарас не такой. Он — гордый.

Степан уже задыхался от хохота.

Игнат по-прежнему напирал на меня:

— А кто говорит, что Тарас? Ты еще комар: чего ты понимаешь? Мало ли что люди болтают...

— Ничего не болтают, — упорствовал я. — Они правду говорят: на том промысле управитель-то — ехидна, коварный старичишка. Аль я забыл, как тут Тарас-то его костил?

Игнат развел руками и обратился к Степану со смехом в глазах:

— Чего с ним делать-то, Степан?

— Его ничем не проймешь, дядя Игнат, — едва выговорил Степан, борясь с хохотом. — Он обоих нас на лопатки кладет.

— Придется его в полицию отправить, а то он нас с тобой потопит.

— В полицию-то трусы ходят, — ошарашил я Игната, повторяя слова Гали, и с бурей в душе выбежал из кузницы.

За эти сутки мы пережили большие потрясения. Управляющий скандалил в конторе с нашими делегатами, но в конце концов согласился платить за прогул половину урочного заработка. Толпа долго стояла у крыльца конторы, шумела, но отмены вычетов по болезни не добилась. Не было Гриши и Харитона, некому было ободрить людей и решить, что делать дальше. Вечером Прасковея, молчаливая и озлобленная, ушла куда-то и не ночевала в казарме. Не пришла она и утром. Женщины всполошились и растерянно, с испуганными глазами начали судачить и ссориться. Те резалки, которые до сих пор были незаметны и безлики, сбились в кучу и стали ругать Прасковею, Оксану и Галю как озорниц и смутьянок. Они подходили к Улите и шептались с нею с покаянными лицами. Мать с Наташей сидели на нарах Олены и тоже о чем-то перешептывались.

Олена как будто мстила за свою былую рабскую приниженность: она стала крикливой, размашистой и нарочно лезла на скандал. Она с недоброй усмешкой прислушивалась к женщинам, которые шушукались около Улиты, и прицеливалась, чтобы огорошить их. Эта ее недобрая усмешка отражалась и на лице мамы, я знал, что она в душе тоже негодует на

сплетниц и злопыхательниц и готова накричать на них вместе с Оленой.

Так и случилось. Олена с ядовитой вкрадчивостью и с угрозой в глазах вмешалась в шушуканье резалок.

— Аль приспичило, товарки, в грехах каяться? Была масленица, а сейчас великий пост? Кто это из вас хороводился около Прасковеи, когда она себя не жалела и за всех распиналась? И чего это вы перед Улитой юлите, когда Прасковея из казармы вышла?

И она засмеялась, прощупывая глазами женщин, а они трусливо отводили от нее свои лица. Мама тоже смеялась с гневным огоньком в глазах и вторила Олене:

— А вот придет Прасковея-то, куда вы глаза свои спрячете? Под нары, что ль, полезете? Ну, уж мы вас не пощадим, наушницы!

Олена, издеваясь, посоветовала:

— Какая вам спорынья с Улитой шушукаться, девки? Шли бы лучше к подрядчице наушничать-то: все-таки она вам маленько вычетов скостит. Эка, невидаль какая, ежели подруг потопите! Улита только попу исповедуется, а подрядчица с полицией знается. — И вдруг накинулась на них: — Убирайтесь на свои нары, наушницы, покамест целы!

Женщины трусливо озирались, ежились и, огрызаясь, расползались по своим местам. Улита сокрушенно и елейно бормотала:

— Не надо бы, Оленушка, злобиться-то. Всякому хочется с душеньки своей тягость снять.

Семейные, как всегда, молчали и держались особняком.

Галя прибежала иззябшая, с обожженным от мороза лицом, очень взволнованная.

— Забрали нашу Прасковеюшку на дальнем промысле, а с ней еще троих... — со злым спокойствием сказала она, ни к кому не обращаясь. — Не допустили меня полицейские, а я им скандал устроила. Меня тоже грозили забрать.

Больше она ничего не сказала, бросилась на свои нары и завернулась в одеялку.

А на другой день половину нашей казармы погрузили на сани и на верблюдах отправили в снежные пески, верст за десять — на Кайпак, на маленький промысел. Мы с мамой тоже попали в эту артель... С нами вместе поехала и Наташа, а Олена, Галя и Марийка остались пока на месте, но их тоже отправляли куда-то.

— Ну, всех расшвыряли, — грустно сказала при прощании Галя. — С испугу управители готовы нас по одному к волкам загнать. Ну, да не робей, чумак! — засмеялась она, целуя меня. — Мы свое взяли и еще подеремся, придет время...

Она раза три обнимала мать и говорила необычно ласково:

— Ну, а тебя, Настя, уже не охомутаешь — чую. Хорошая душа у тебя. Чур, не забывать и дружбы не рвать! Прасковею помни, Настя... Гришу!

Я простился с Феклушкой весело. Она обняла меня и жалобно улыбнулась.

— А я, Феденька, всяк час о тебе буду думать. Ангели-то мне будут весточки об тебе приносить. Они во сне тебе будут являться. Весной приедешь, а я уж буду бегать на резвых ножках...

Тетя Мотя всплакнула, прощаясь с нами, а меня долго держала между колен, нежно смотрела на меня и гладила по волосам.

— Жили-то мы как хорошо, Федя! Любила-то я как тебя! Вы с Феклушей были у меня как дети.

— Я тоже тебя люблю, тетя Мотя, и никогда не забуду.

Она так расчувствовалась от моих слов, что захлебнулась слезами.

Так как я с кузнецом и Степаном расстался недружелюбно, то прощаться к ним не пошел, а они даже из кузницы не выглянули. Мне было грустно и очень тянуло помириться с ними. Но обида на них еще ныла в сердце и отравляла память о них враждой.

Но я успел сбегать в мужскую казарму, чтобы увидеть рыбаков и узнать о судьбе Балберки. Я столкнулся с Корнеем в сенях. Он оглядел меня чужим

взглядом и хотел пройти мимо, но я схватил его за руку.

— Я, дядя Корней, распрощаться с тобой пришел и с дядей Карпом. Нас в пески, на ерик, увозят.

— На ерик, говоришь? Такое дело. Мы тоже с артелью на свой ерик отправляемся. Да только задержаться пришлось. Балберки-то нашего нет, а где пропал — ничего не известно. Боюсь, что его волки съели, а то замерз по дороге и кто-нибудь его подобрал. Дядя-то Карп сам на розыски на чунках побежал. Ну, путь-доро́гой! Поезжай!

И он, прихрамывая, широко зашагал мимо верблюдов и саней к воротам. Я шел за ним, угнетенный его неприветливостью.

В памяти у меня осталась только дорога среди бесконечной белизны, которая сливалась с туманным небом на горизонте. И мне чудилось, что мы плывем в какой-то сказочной стране, по неземным волнам, в неизнаемые края. Впереди плавно и зыбко шагали пегие уроды с высоко вздернутыми на гусиных шеях овечьими головами. И мне казалось, что они скользили не по снежному полю, а колыхались в странном, безжизненном мире, какой мерещится только во сне. Я закрывал глаза, но этот мир не потухал, а горел оранжевым пламенем и выюжился метелью лучистых искр.

Помню, остановились мы перед низким бараком, занесенным сугробами снега. Здесь кто-то жил, потому что перед дверью была откопана площадка, а к ней прорыт узкий глубокий проход. Невдалеке пластались лабазы, а внизу, на реке, утопая в снегу, торчали столбы берегового плота.

Эта зима угасла в моей памяти, словно скучный, тусклый сон. Мерещилась только снежная пустыня и узкая длинная берлога, набитая людьми.

Уже долго спустя, когда мы с матерью вспоминали свою ватажную жизнь, я узнал, что Балберку нашел Карп Ильич в Гурьеве, в больнице: у него обморозились ноги и пальцы на руках. А Прасковею выпустили из острога, и она опять возвратилась на тот же промысел. Но Василиса зимою пропала: ее

нашли недалеко от промысла, на снегу, со связанными руками и ногами, замороженную, твердую, как камень. Кто с ней расправился — никто не знал, а если и знали, то держали язык за зубами.

XLIV

Вероятно, мы плыли с Жилой Косы так же спокойно и уютно, как из Астрахани. Мерцают в памяти горячие, солнечные дни, безбрежное море в блистающей зыби и чистая, небесная тишина. Может быть, это — видения, которые мерцали в памяти о прежних днях, когда мы плыли на Жилую Косу, а может быть, они переплетались с картинами последнего плавания. Но жуткие события на «Девяти футах» так потрясли меня, что переживания зимы на Кайпаке погасли бесследно, словно я не жил последние месяцы.

Помню, что мы — мать, Наташа и Марийка — стояли у борта баржи, разморенные солнцем и смоляной духотой палубы. А палуба была забита людьми и пожитками. У борта было вольготно: с моря дул свежий ветерок, и зеленая глубина зыби, густой, как масло, приятно дышала влажной прохладой. В сверкающем мареве на горизонте, в лиловой дымке, мерещился призрачный город с башнями, с высокими шпилями колоколен, а над ним темнело размытое облако дыма. Мать в тревожной задумчивости смотрела на волны зяби и не поднимала головы. Я чувствовал, какая смута у нее в душе, и знал, что ей тяжело возвращаться к отцу, что она его не любит, что жизнь в Астрахани, а может быть, и опять в деревне, ничего не сулит ей, кроме унижения и неволи. После ватаги, где она испытала радость личной свободы и могла распоряжаться собою, как ей хотелось, и где она переживала счастье задушевной дружбы с Прасковеей, с Гришей, с Оксаной и незабываемые моменты борьбы,—жить опять под гнетущей властью отца, а потом батрачить и покорно нести иго самовластия дедушки для нее было мучительной казнью.

Марийка радовалась, что она возвращается в Астрахань, и восторженно болтала всякую чепуху около Наташи, неудержимо смеялась и напевала веселые песенки без слов. А Наташа смотрела на нее снисходительно и усмехалась, как много пережившая женщина, которая заранее знает, что ожидает Марийку впереди. Но и она, Наташа, изменилась: в ней уже не было той угрюмой безнадежности, которая угнетала ее осенью. За это время она поняла, что можно драться за свое достоинство со всякими лиходеями, что силы у нее для такой борьбы есть, что она достаточно умна и чует людей, с которыми можно идти рука об руку, что она не одинока. Поэтому она стала светлее и добрее. Но по-прежнему осталась молчаливой и задумчивой, словно еще не додумала чего-то до конца.

Марийка все время мечтала о том, как она пересядет с парохода на пароход и птичкой упорхнет в свой Камышин. Она щебетала, не стояла на месте, приплясывала и напевала пригудки. Несколько раз она подхватывала меня, вертела, заставляла танцевать с нею и звонко смеялась. И подрезанные волосы на лбу, и ликующее личико, и вздернутый нос, и маленький рот делали ее похожей на подростка, хотя ей было уже двадцать лет. Она обнимала Наташу, целовала и ласкалась к маме и нежно говорила ей, прижимаясь щекой к ее щеке:

— Настенька, милая, почему ты такая грустная? Неужли нет тебе радости, что улетела из этого чертова ада? Ах, родненькая моя, как мы с тобой жили, душа в душу!.. Я этого не забуду. Я всю жизнь буду тебя любить и помнить. И ты, и Наташа, и Прасковея с Галей — словно вы сестры мои кровные. Жалко расставаться — вместе страдали, вместе дрались, вместе душу отводили... А никогда, кажется, я не была такая счастливая, как сейчас: словно из тюрьмы вырвалась. Вот и Федяшка... так с ним век бы и не разлучалась. Помнишь, как ты вместе с нами на плоту воевал?

И она растроганно смеялась и тормошила меня.

Мать чаще всего отходила в сторону с Наташей, и

они толковали о чем-то тихо, раздумчиво, озабоченно. В глазах матери опять затемнела печаль. Наташа, большая, сильная, хоть и хмурила брови, но слушала ее участливо. Однажды я стоял у борта недалеко от них и услышал, как она сказала матери недобрым голосом:

— Ватага меня на ноги поставила. Прасковея, Григорий и Галя с Оксаной... Харитон и Анфиса... да мало ли кто! Вся жизнь наша, хоть и каторжная, а неуемная... душу мою очистила. Чего я тебе могу сказать, Настя? Ты сама много испытала да узнала. Не поддавайся! С размаху бей! Опустишь голову, покажешь себя сиротой несчастной — и пропала. Нас никто не защитит, сама на себя надейся. Не думай, что мы, женщины, слабые: нет, поверь в себя и гляди прямо, смело гляди...

Я не слышал ответа матери, но печаль в ее глазах не потухала.

Прасковея, Галя и Олена остались на промысле, а почему остались, — я не знал. Вспоминались слова Прасковеи, что на ватаге ее держит могилка сынишки. У Олены тоже там могилы, но ведь эти ее могилы как будто освободили ее от бабьей неволи... Для моего незрелого ума решать загадочные вопросы человеческой судьбы было не под силу. Очевидно, у Прасковеи, у Гали и Олены были серьезные основания оставаться на Жилой Косе. Остались там и Карп с Корнеем. Вероятно, из-за Балберки они решили работать летом на ериках.

И вот в этот последний день — жаркий, пылающий солнцем и ослепляющий вихрями вспышек и пронзительных искр на зыби, с синим, горячим небом и зеленой глубиной моря, — я смотрел на странный город на воде в маревой дали, как на сказочный Остров-Буян, и думал безответно: зачем здесь, в открытом море, живут люди в пловучих дворцах, а ведь вдали, на горизонте, туманятся песчаные острова, где есть, вероятно, жилье? Впереди нас грязный пароход шлепал колесами и бурно гнал нам навстречу две волнистые дороги в кружевах белой пены. Толстый канат от баржи длинной струной, опавшей

в середине, тянулся к железным дугам на корме парохода, стряхивая с себя сверкающие брызги. Над нами реяли чайки. К борту подходили люди и всматривались в этот невиданный город. В оживленном говоре я схватывал отдельные слова и фразы:

— Вот и «Девять фут»...

— Нынче ночью — в Астрахани.

— А там дальше «Двенадцать фут», на Петровск, на Баку.

— Слышь, будто холера идет из Персии.

— Не дай бог! Рабочий человек первый погибает...

Навстречу нам, разрезая воду острым носом и разбрасывая ее в обе стороны, неслась маленькая черная шкуна, оставляя за собой бурую пелену дыма. Она круто свернула к нашему пароходу и пошла рядом, борт в борт. Пароход неохотно, с натугой начал медленно поворачивать к пловучему городу. Мне почудилось, что баржа дрогнула и закряхтела и по всей палубе пролетел горячий вихрь. Народ отпрянул от бортов, а те, кто сидел и лежал на своих пожитках, взбудоражились и вскочили на ноги. Близко и далеко закричали женщины.

На носу надсадно заорал красноличый и длинноусый лоцман в рыбачьих сапогах и кожаном картузе:

— Ну, чего всполошились? Все на места! Нас на «Девять фут» потянули — на карантин. Осмотр будет: нет ли холерных. А раз ежели нет, беспрепятственно дальше поплывем. Эх, стадо баранье!

С кормы бежали и мужики и бабы с испуганными лицами, на носовой площадке сбилась густая толпа. Все взволнованно спрашивали друг друга о чем-то, смотрели на шкуну и пароход, который заворачивал все круче влево, натягивая канат. Люди кричали, жадно прислушивались, лица искажались страхом и злобой, и вдруг какая-то сила толкала их вперед. Они давили друг друга, напирая на лоцмана.

— Какой к дьяволу карантин? На дороге перехватывают...

— Загоняют в стойло...

— А чего мы будем делать без харчей-то? Харчи-то поели...

— Неспроста, ребята! Слушай! Они за это деньги получают... Подкупленные...

Лоцман делал страшные глаза, поднимал руки и сам орал:

— Чего прете? Чего? В ответе я, что ли? Чай, не я тут хозяин: вон они, кто распоряжается. Видите, самого капитана взяли на прицеп...

Толпа как будто напоролась на препятствие и отхлынула назад, потом привалила к борту и вдруг замолкла, пристально наблюдая за пароходом. С капитанского мостика махнули флажком, и человек в белом кителе глухо заорал в рупор. Лоцман скомандовал кому-то:

— На ворот! Собирай канат!..

Двое парней в кожаных картузах схватили деревянные рычаги, всунули их в широкие дыры кабестана и забегали вокруг него, накручивая канат на вогнутый вал. С кормы парохода конец каната сбросили в море. Два других парня в таких же кожаных картузах тянули канат с вала и складывали его в круг.

Пароход сделал широкую дугу и направился к нам. Я уже знал, что он подойдет к барже, пришвартуется к ней бортом и поплывет с ней вслед за шкуной, которая дымила впереди. Море плескалось волнами и крутилось водоворотами, разукрашенными белыми разводами пены.

Когда пароход пристал к барже, люди замахали руками, заохали, и казалось, что все сейчас бросятся через борт на палубу парохода. На мостике невозмутимо стоял у блестящей разговорной трубы загорелый капитан, весь белый, с бородой во всю грудь. Он не обращал внимания на толпу и отдавал какие-то приказания своим матросам.

Незаметно пароход заработал колесами, и баржа поплыла за шкуной к далекому городу на воде. Капитан равнодушно прошел к штурвальной будке, где стояли двое матросов в кожаных картузах и поворачивали колесо штурвала. Толпа, должно быть, устала орать и волноваться, а может быть, все поняли, что из бунта их ничего не выйдет: гвалт понемногу стал

затихать, а потом вся эта длинная, сбитая плечом к плечу масса людей у борта обмякла и умолкла, но смотрела и на шкуну и вдаль угрюмо и тревожно. Кое-кто завязал мирный разговор с матросами парохода, и даже раздавался смех и с той и с другой стороны.

Призрачный город на горизонте, который мерещился мне сказочным островом в дворцах с башнями и острыми шпилями, оказался длинным караваном барж и нефтянок с какими-то сложными сооружениями на палубах. Все они стояли в два ряда, а между ними тянулась широкая улица, которая таяла в мутной дали. А прямо, на горизонте, дымными пологими холмами, как пепельные облачка, тонули в море песчаные острова.

Наша баржа остановилась бок о бок с другой огромной баржей, а за ней стоял пассажирский пароход. На барже вся палуба сплошь была забита людьми, которые копошились в свалке узлов и рухляди. Там плакали ребятишки, стонали женщины, словно их истязали. Несколько человек с серыми лицами подошли к борту, уставились на нас и захрипели:

— Пропадать приплыли?.. Мы уж с неделю здесь маемся...

— Всехуморят... Холеру напускают... Морить пригнали...

— Ради Христа, дайте хоть глоточек водички... Умираем... С голоду подыхаем... Жажда сожгла... Детишки при смерти...

— У нас уж много унесли... хватают... Чего делают!

— Хлебца кусочек!.. Неделю уж не ели... Водички... хоть глоточек, ребятушки!..

Что-то страшное и зловещее хлынуло на нас с этой баржи. Мать схватилась за Наташу и больно сжала мое плечо. Наташа, бледная, сама прижалась к маме и что-то шептала про себя. Все у нас были ошарашены и растерянно бормотали сдавленными голосами:

— Пропадает народ-то... Глядите... И мы пропадем... Чего делать-то, люди?

— Все перемрем... аль с ума сойдем...

— Не с ума сойдем!—надсадно крикнул кто-то.— Холеру на нас напустят! Всю Россию сейчас холерой уморят... Ловят везде... И нас вот в капкан поймали. Слыхали? Уж много с этой баржи уволокли.

И этот голос словно хлестнул всех кнутом: народ опять заволновался, и разноголосо закричали по всей барже.

Мать вдруг будто проснулась и торопливо побежала к своему месту. Она лихорадочно порылась там и опять прибежала с бутылкой, которая у нас постоянно стояла с водой между узлами. Она дрожащей рукой протянула ее разлохмаченной женщине с разбухшими глазами. К ней подбежали другие женщины, такие же страшные, как она, а за ними мужчины с вытаращенными глазами. Они все протягивали руки к бутылке и орали:

— Кидай! Кидай, не бойся! Мне!.. Мне!.. У меня ребеночек... умирает без воды...

— И у меня умирает... Мне!..

Захлебываясь слезами, мать беспомощно опустила руку с бутылкой, но я вырвал ее и бросил в толпу на той барже. Множество рук рванулось навстречу бутылке, она исчезла в чьих-то пальцах и нырнула в толпу. Я кричал во все горло:

— На всех, на всех!..

К борту подошел матрос с шальным лицом, со сбитой, как войлок, бородой и зарычал на меня:

— Мальчишка! Голову оторву! Чего ты с людьми-то сделал? Обезумели все...

Наташа сердито оборвала его:

— А ты не ори и не грози, матрос! Парнишка пожалел людей-то... Ты лучше скажи там, кому надо, чтобы у нас воды призаняли да напоили всех.

Матрос засмеялся без смеха в лице.

— Мы и без тебя воду у вас вычерпаем. А вот вы-то как запоете, когда воды не будет? Из Астрахани нам ни воды, ни еды не привозят, а гробов — сколь хошь... Знай умирай!

Наташа недоброжелательно стала к нему боком и, сдвинув брови, оборвала его:

— Чай, мы не век тут валяться будем...

— Век не век, а поваляют вас донельзя. Тут люди уж по неделе чахнут. Воды много, а в рот не льется. Мертвецов на острове сваливают.

Наташа по-прежнему стояла к матросу боком и не глядела на него, а мать прижимала меня к себе.

— На смерть нас сюда привезли, — шептала она, как в бреду. — На смерть! На погибель!

Наташа одернула ее:

— Ничего не на смерть... Чего ты ревешь? С какой стати будут морить-то нас? Холерных ищут, чтобы в Астрахань холеру не завезти. Начальство и в Астрахани, должно, такое же дурацкое, как и на Жилой. А ты, матрос, людей не расстраивай! Бородастый, а болван. Трус ты, а не матрос.

— Ишь храбрая какая со своим умом-то! Ты лучше полюбуйся, сколько гробов нагрохали. Во-он они!

Он зашагал вразвалку вдоль борта, странно вскидывая то одну, то другую руку, и щелкая пальцами. Мне он показался малоумным.

И опять у борта столпились и мужчины и женщины с больными лицами и протягивали к нам руки:

— Хлебца-то... хоть крошечку!.. Будьте милостивы!.. Вы ведь свежие...

— Беда! Как над народом-то надругаются!.. С полицией к смерти готовят.

Мать, обомлевшая, хваталась за сердце и вся устремлялась к этим истерзанным людям. Она ринулась назад и с болью в голосе пролепетала, задыхаясь:

— Побегу, моченьки моей нет! Побегу, Наташа! Ведрами буду им воду носить. Детишки-то... слышишь, Наташа?.. плачут... горят без водички-то... Тащи, сынок, хлеба сюда! Чего есть, то и тащи!

Но Наташа дернула ее к себе за руку и даже встряхнула сердито.

— Ну-ка, угомонись, Настя! Угорела ты, что ли? Никуда ты не пойдешь. Стой и молчи! Без тебя обойдутся. Все равно одна с бедой не сладишь. Ведь и мы в эту беду попали. Не знай, что будет. Себя с Федяшкой береги!

Я слетал к своим пожиткам, выхватил из мешка краюху нашего ватажного хлеба и с разбегу бросил ее на ту баржу.

— Ловите!

Там началась свалка. Кричали женщины, и ругались мужики, и мне показалось, что в этой свалке началась драка.

— Ну, гляди, что ты наделал! — гневно уставилась на меня Наташа. — А еще грамотей! Когда-то я с тобой как с умником калякала...

— Чай, им есть хочется, — смущенно пробормотал я. — Хлеба-то ведь нет у них.

— Неудашные вы какие-то с матерью...

Истовый старичок, гладко причесанный, опрятный, в суконной бекешке, проницательно смотрел на толпу, которая теснилась рядом с нами, и говорил, как проповедник, слабым, но отчетливым голосом, расчесывая седенькую бородку двумя пальцами. Он невозмутимо, учительно внушал что-то стоящим перед ним людям на нашей барже, а на свалку позади него даже не обернулся. Я пробрался ближе к нему и прислушался.

— Пускай, пускай ввергают в это водное узилище, — чеканил он слова. — А кого устрашит это узилище? Во тьме мы живем, тьмой облекаемся и душу свою во тьме угнетаем. И тьма наша — тоже узилище, не в пример пагубное, душу нашу убивающее. А ведь покорствуете? Чего же вы страху покоряетесь? Душа-то, чай, дороже чрева. Старец Авва́кум и в узилище, в железах, многи годы претерпевал, а душа его в свете и радости купалась, и силой своей он повергал и властителей и палачей. И костра не устрашился: на костре-то величал он, ликуя, истину и жизнь. Холера! Голод! Жажда! Я вот стар стал, а через все мытарства прошел: и холерой страдал, и голодом, и жаждой томили меня рабы жестокости, и плетьми меня секли... А вот живу и жизнь человеческую славлю. Не имейте страху, встречайте душой неколебимой всякие муки — и обретете радость велию. Чего только не перенес наш

русский народ! Удивления достойно. И мощи он великой средь всех народов...

Так, кротко и ласково, журчали его слова, и речь эта растрогала наших ватажников: они застыли в молчании и задумчивости. Успокоилась и мать. Но Наташа недружелюбно поглядывала на него и усмехалась.

— И здесь свой Онисим нашелся...

К старику яростно подбежал мужик с горящими глазами, в рваной рубахе, грязный, какой-то истерзанный. Вместо крика у него вырвался изо рта свистящий хрип:

— Не слушайте! Врет старичишка. И нам так же врал. «Душу, говорит, спасайте, терпите». А сам украдкой калач грызет да винцом запивает. Сволочь! Едешь на день, бери харчей на неделю. Вот кто-то от вас горбушку сюда бросил, сердцем возмутился... А где у этого старичишки сердце-то? В кармане!

И он так же порывисто и яростно убежал куда-то за будку.

А старичок невозмутимо продолжал убежденно проповедовать ладным говорком.

Весь этот день мы стояли между баржей и нашим пароходом и измучились от жары. Я видел, как приходили люди в белых халатах на соседнюю баржу и уводили под руки слабых и больных. На палубе мы лежали вповалку, и народ долго не мог успокоиться и заснуть: все были в тревоге и ждали прихода людей в белых халатах. Говорили, что они забирали всякого, кто валился с ног от голода и жажды или казался им нездоровым. Таких людей они называли «подозрительными». Я очень боялся, как бы белохалатники не утащили на своих носилках мать: она так расстроилась, слушая стоны и рыдания на другой барже, что упала духом и, ослабевшая, лежала, как больная. Я сидел на узле и пробовал читать прочитанные книжки и караулил ее. А Марийка не унывала: даже среди общей растерянности и тревоги она носилась по барже и с жадным любопытством ныряла то в одну, то в другую толкучку. Она

изредка подбегала к нам и торопливо рассказывала, что слышала.

— Ты, Настя, бодрись, не лежи, а то накроют и утащат. Все лежачие у них — подозрительные. Они уносят даже и здоровых, кого облюбуют. Тут нас будут томить две недели. Карантин называется. А по-моему — морильня, мухоловка. Я ни за что в подозрительные не попаду: плясать и песни петь буду назло им. Нынче еще два парохода пришли, из Баки и из Новопетровска. И на обоих — холерные. А сейчас с той баржи троих утащили. Все приплыли здоровые, а здесь холеру на них напустили...

Она оживленно болтала и радостно волновалась: должно быть, она еще переживала счастье возвращения в свой родной Камышин. К вечеру на нашу баржу пришли два человека в белых халатах. Один — толстенький, со стриженой черной бородкой, в очках; другой — с рыжими густыми усами, которые клочьями спускались к подбородку. У обоих глаза были опухшие и красные, словно они давно не спали. И шли они как-то рыхло, как будто у них болели ноги. За ними шли двое парней, тоже в белых халатах, и брызгали из насоса на палубу и на людей с их пожитками вонючей водой. Усатый человек строго кричал:

— Все на свои места! Не шататься по барже! Эй, кто тут лоцман, матросы! Гоните всех на место!

Человек в очках, с бородкой — должно быть доктор — устало проходил мимо сидящих людей и, поднимая руку кверху, недовольно приказывал:

— Встаньте! Все, все! Кто чем болен? Поноса нет? Рвоты нет?

Все люди послушно вставали и глядели на доктора. Мать нервно прижимала руки к груди и с ужасом в глазах ждала приближения этих двух призраков. Наташа стояла заложив руки за спину, спокойная, ясная. Марийка, уткнув руки в бедра, посмеивалась, притопывая ногами. Мужики и бабы одергивались и испуганно озирались.

Доктор подошел к нам и подозрительно посмотрел на маму. Он взял ее руку, подумал и спросил вяло:

— Дрожишь-то чего? Не бойся—не съем. Откуда? С ватаги? Ну, народ там сильный, привычный ко всяким невзгодам. Только не нервничай: ослабнешь—худо будет.

Он остановился, оглядел толпу и нехотя проговорил:

— Кто из вас желает помочь нам? Людей у нас совсем мало, а больных много. Ни днем, ни ночью не отдыхаем. Мы вот с фельдшером и вот с этими санитарами на себе людей носим.

Наташа с готовностью отозвалась:

— Я пойду.

Доктор удивленно поднял брови, поправил очки и недоверчиво спросил:

— Не шутишь?

— А чего мне шутить-то? Раз надо — надо. Все одно без дела валяться.

Доктор подобрел и улыбнулся.

— Хорошая девушка. С нами пойдешь.

Неожиданно Марийка шагнула к доктору и весело крикнула:

— Я тоже пойду вместе с Наташей!

Фельдшер подергал свои усы, и в лице его промелькнуло что-то вроде улыбки.

— Эх, бабы!.. девчата наши!..

Мать дрожащим голосом виновато сказала:

— Я бы тоже пошла, да у меня вот сынок... Один останется.

Доктор отмахнулся:

— Семейных не надо.

Вместе с фельдшером они пошагали дальше, но их остановила толпа мужиков. Все эти ватажники были с других промыслов и держались поодаль от нас. Семейные и рабочие из нашей мужской казармы почему-то оказались на кормовой палубе. Доктор вскинул голову и строго спросил:

— Что угодно?

Наш тачковоз Макар, скрестив руки на груди, обличительно заговорил:

— Господин доктор, холерных у нас нет, зачем же ты нас пригнал сюда? Вот и из насоса каким-то тузлуком поливают. Это для какой надобности?

— Это — дезинфекция: она всякую заразу убивает.

— Какая же у нас, господин, зараза? Это у вас здесь зараза. Вы нарочно нас затащили, чтобы холеру напустить.

— Это какой негодяй сказал вам?

— Да все говорят. Вон на той барже тоже холерных не было, а сколь человек заболело! Ежели без харчей да без воды держите да людей морите, как же тут не подохнешь?.. Мы не согласны.

— А вы думаете, мне очень нужно держать вас здесь? — раздражительно закричал доктор. — Мне хоть сейчас плывите. Я только лечу, спасаю от болезней и смерти. Вас — тысячи, а нас — только шесть человек. Поймите, все — на наших плечах. А есть нечего, воды нет... я сам едва держусь на ногах. Что же я могу сделать, когда начальство ничего из Астрахани не присылает?

Макар с ехидной кротостью подсек его:

— А гробики-то зачем везут? Пищи не представляют, водицу не везут, а гробики целыми штабелями привозят. Это чего же? Подыхай с голоду, гори от жажды, а вот вам — пожалуйте — и гробики!.. Ловко подделано! — И Макар торжествующе захихикал, переглядываясь с товарищами, но хохоток его был такой угрожающий, что у меня заныло сердце.

Доктор, должно быть, тоже почувствовал угрозу в этом смехе Макара и подался к нему всем телом.

— Ты что же это, всех так мутишь?

А Макар, уверенный в поддержке друзей, с прежним наглым простодушием поправил доктора:

— Мне мутить нечего. Вы сами народ мутите. Харчей не даете? Не даете. Воды лишаете? Лишаете. А гробы для чего? Для мертвецов. Аль не правда, господин доктор?

Я видел, что доктору было трудно спорить с Макаром и лицо его опечалилось, как у смертельно изнуренного человека.

— Хлопочу, хлопочу, ребята... — вздохнул он. — Требую. Но что я могу сделать с Астраханью, ежели я сам подчиненный, а здесь надрываюсь по целым суткам?

Макар совсем добил его:

— Оно, конечно... морить здоровых людей — дело не шуточное.

Лицо и шея доктора налились кровью.

— Ну, ты отпетый прохвост. Настоящий разбойник.

— Нет, господин, мы тачки возим, с рыбой дело имеем. Это у вас тут душегубством занимаются.

Наташа с ожесточенным лицом решительно подошла к Макару и набросилась на него:

— Ты чего это, Макар, разоряешься? Нечего дурака валять! Ишь шайкой напали, как галахи! Ты лучше иди людей спасать. Большой дубина, а трус. Мы вот с Марийкой без боязни идем, хоть и женщины, а вы все только за свои бороды прячетесь. Собирайся, Марийка!

Доктор благодарно кивнул ей головой и пошутил:

— Не боитесь, что я вас уморю?

— А мы поглядим да руками пощупаем.

— Вот это — умный ответ.

Наташа с Марийкой — одна маленькая, другая могучая — взяли свои узлы, поцеловали мать и меня и пошли за доктором. Мать долго стояла и смотрела им вслед с болью и завистью в лице, но они не оглянулись.

Макар зло усмехался, о чем-то оживленно говорил со своими дружками, угрожающе поглядывал в сторону доктора и вздергивал головою. Потом рванулся вперед, задрал картуз на затылок и браво пошел на кормовую часть. С этой минуты я больше не видел его до самого отплытия.

Эти дни остались в памяти как видения кошмарного сна, как то, чего не бывает в жизни.

XLV

Первую ночь мы не сомкнули глаз. Тьма наступила сразу, как нахлынувший черный туман. Очень ярко вспыхнули звезды, мерцая разноцветными переливами. Море растаяло в этой глухой тьме, только украдкой шелестели и шептались всплески воды за бортом. Желтые огоньки на мачтах судов частыми созвездиями искрились в восточной стороне, и тьма там казалась твердой и скалистой. Оттуда доносился странный рокот, наплывали тяжелые вздохи, и жутко тревожили душу далекие вскрики и стоны. Вокруг нас на палубе лежали люди, возились и вздыхали на своих пожитках, а кое-где сидели попарно или кучками и гомонили невнятно, вполголоса. Иногда на соседней барже жалобно плакал ребенок или вдруг раздавался мучительный бред, похожий на рыдания: «Пить!.. пить!.. хоть капельку!.. Смерть приходит...»

Может быть, потому, что я жил инстинктивной радостью роста, я не испытывал страха смерти. Мне было только жутко от таинственного мрака. В этом мраке мне мерещились какие-то зловещие тени. Они скользили всюду — и на караванах судов, поглощая огоньки, и на соседней барже, и в море, и над нами. И мне чудилось, что это они тревожили людей, мучили и душили их. Не холера ли это?

Я прижимался к матери и чувствовал себя в безопасности от ее горячей близости.

Лежал я и смотрел в бездонную черноту неба, в мерцающие звезды. Что там — в этой необъятной и неощутимой вышине? Что такое небо? Что такое звезды? Я чувствовал только леденящую пустоту, непостижимую бездонность, и сердце мое замирало от ощущения таинственной неизвестности. А здесь, рядом, в смятении и мать и много людей, обреченных на страдания. Зачем? Уж не правда ли, что кто-то жестокий и свирепый загнал нас сюда, чтобы заразить холерой или уморить голодом и жаждой? Почему не дают ни хлеба, ни воды?

Где-то во тьме раздумчиво, вполголоса говорили трое ватажников.

— Вот и неурожай два года сподряд пережили, — вздыхая, жаловался один. — Горелой травой да крапивой питались... и скотина вся подохла... и люди мором мерли... Я все семейство похоронил. Сам в горячке провалялся. А за какие грехи бог наказывает?

Другой голос угрюмо заспорил:

— Какой там бог! Мы всё на бога валим. А попы нам велят каяться... В каких это грехах? Вот помещиков да мироедов бог не наказывал в голодные-то годы, а поп их в грехах не обличал. Бог! Грехи! Трудящий человек по нужде своей всегда горбом своим отвечает. На бедного Макара все шишки валятся. Богатые-то в эти годы пировали да на нас ездили.

Последние слова он несдержанно выкрикнул и мстительно выругался. Я слышал его тяжелое дыхание.

— Бу-удет тебе, Климов! — упрекнул его другой товарищ. — Все у нас как-то несуразно: начнем калякать как люди, а кончим — как псы.

— А чего зря на бога все сваливать да грехи для себя искать! У нас своя правда, а у богача да попа своя. Вот и в этом нашем побыте: что тут за народ, на баржах-то да пароходах?.. Хоть бы нас взять. Рабочие люди. А рабочий народ правов не имеет: он холеру разносит, ему в черной работе кости ломать положено. А наши купцы... видали, как они на Жилой-то пьянствовали да куролесили?.. На чьей спине плясали, когда мы надрывались на плотах да на море? Вот и сейчас... Захватили, загнали, как скотину, и подыхай без харчей, без питья, чтоб холера нас здесь сожрала. Да еще полицию нагнали, чтоб бунта не было. Видали полицию-то? Вон она, на той барже — всю надстройку заняла. Вот вам и грехи! Я знаю, откуда наказанье-то для нас: десять годов из меня силы выматывают.

— Чего же сделаешь? — сокрушенно вздыхал первый голос. — Плетью обуха не перешибешь.

— Зато кулакам да ножам разгул, — насмешливо отозвался Климов. — Нас, дураков, мало еще учили.

Может, даст бог, поучат покруче. Ну, да год от году люди умнее становятся. И хорошие ребята появляются... и бабы не отстают. На промыслах-то этим годом здорово жару задавали.

Рабочий, который совестил Климова, недовольно возразил:

— А толк-то какой? Своими боками и поплатились: опричь острога счастья не выискали. Озорство одно.

— Значит, по-твоему, шкуру с тебя дерут — это тебе благость? Мало тебя еще дубили, башка еловая! Так из нас, дураков, веревки и вьют. А надо всем сообча в драку идти... У Пустобаева начали за ум браться и взбулгачились. А потом и другие промысла на дыбы встали. А ты — озорство! острог! грехи!.. Где у тебя мозги-то?

— Думай не думай, — тянул первый голос, — а есть-пить надо. Вот и здесь: как вырвешься из этой беды?

В это время откуда-то со стороны огней волной нахлынула тревога: сначала перекликались женские голоса и плач, переплетаясь с мужскими выкриками, и вдруг целая толпа застонала, забунтовала, завопили женщины, заплакали дети. Словно случилось какое-то несчастье. Потом все затихло, только одиноко рыдали женщины.

На той барже запищали детишки угасающими голосками: «Пи-ить... пи-ить!..» Где-то за будкой стонал человек. Кто-то растерянно крикнул: «Холера!.. И у нас — холера!..»

Климов с угрожающим спокойствием сказал:

— Вот те и карантин! Недаром гробов навезли из Астрахани. Сам видал... Горой на докторском пароходе навалили. — И он злобно засмеялся. — Людей-то — тыщи! Конечное дело: всех не напоишь, не накормишь... Начальство знает, как с народом обращаться... Пойду на ту баржу, погляжу, как человека ломает.

Кто-то из его товарищей в страхе запротестовал:

— И не моги, Климов! Как это можно! Холера-то прилипчива: к нам занесешь.

— Ну-у, ко мне холера не пристает: я сколь раз с холерными дело имел. В прошлом годе в Астрахани из бараков на себе носил — и хоть бы что!

— Не ходи, Климов, сделай милость! Страсть я боюсь! Не приведи бог! Ведь раз на раз не приходится. Глядишь, вот здесь-то она тебя и облюбовала...

— А я ее шпиртом прогоню да еще со стрючковым перцем.

Его черная тень прошла мимо нас и исчезла во тьме.

Я совсем не думал, что нам с матерью грозит холера или смерть. Мне только было больно, что на другой барже плачут женщины и мучительно пищат детишки: «Пить, пить!» Пугало непонятное слово «карантин». Мне оно представлялось какой-то страшной, бесформенной железной клеткой, куда загоняют людей и держат там без еды и питья.

Я взял мать за руку, и мы пошли вдоль палубы. В середине баржи, между бортом и будкой, было пусто: люди сбиты были только на носу и на корме.

Крики холерного на той барже прекратились: вероятно, больного унесли на докторский пароход. У нас было тихо и спокойно: все лежали на своих постельках и, должно быть, спали. На нашем пароходе тускло горели фонарики и туманно светились оконца в каютах. Пахло нефтью и какими-то другими запахами, которые бывают только на пароходах и баржах. По сходням с парохода поднимались несколько человек, среди которых я заметил нашего лоцмана и фельдшера в белом халате и колпачке. Остальные были похожи на полицейских. Фельдшер строго говорил вполголоса:

— И как можно скорее... Без воды мы не можем оставить больных. Выдавать своим пассажирам не больше кружки в сутки. Не известно, сколько простоите. За порядком будет наблюдать полиция.

Лоцман взволнованно протестовал:

— Да у нас у самих вода-то на дне. Для вас это капля в море. Чего мы будем перекачивать-то? Мы и по стакану не выдадим из того, что у нас осталось. Чего думают в Астрахани-то?

Человек с погонами, которые искрились при сумеречном свете фонариков, сердито осадил его:

— Не рассуждать! Делай, что велят!

Мать сжала мою руку и в страхе прошептала:

— И мы будем без воды, батюшки! Сгорим при такой жаре.

А дни стояли знойные, душные. Небо было сухое, раскаленное и очень прозрачное. Воздух ослепительно горел солнцем и даже с моря не дышал свежестью: оно густо застыло в блистающей неподвижности. Только чайки вихрями носились над нами и над морем и кричали так же скорбно, как женщины и дети на соседних баржах. Палуба накалялась нестерпимо жарко и обжигала лицо, как огнем. Трудно было дышать, болела голова, и я чувствовал себя больным. Мать сидела под платком, который держала на вытянутых руках, чтобы заслониться от солнца, но очень скоро уставала и падала на подушку, вся красная, потная, с припухшими глазами, и мне казалось, что она лежала без памяти. Есть не хотелось, но мучительно терзала жажда. В первый же день нам налили только по кружке, и мы пили глотками нагретую воду.

Чтобы немного освежиться, я шагал вдоль борта на носу и смотрел на море, но снизу поднималась банная духота. Сквозь пролеты огромного руля соседней баржи, похожего на ворота, я увидел, как вышла шкуна, а за нею на буксире, утопая в воде до бортов, плыла большая посуда. Чем она была нагружена, я сначала не мог различить. Мне показалось, что на нее наложили штабели толстых березовых бревен: видны были только обрубленные комли с белыми клочьями кормы, а весь штабель покрыт рогожами в потоках извести. Но когда посуда повернулась вслед за шкуной, я обомлел: это были не бревна, а гробы, поставленные штабелями один на другой. Я отпрянул от борта и невольно закричал:

— Мертвецов везут! Гробов много на посуде... Шкуна потянула...

Люди бросились на нос и столпились у борта. Они сразу же застыли, пристально вглядываясь в посуду, которая быстро удалялась в море — в ту сторону, где

туманилась на горизонте холмистая песчаная полоса. Женщины в расстегнутых кофтах и рабочие в рубашках без пояса и без рубашек стояли молча, как в столбняке. Мать сидела на своем месте и звала меня рукой. Глаза ее скорбно потемнели. Я уже давно знал, что такие глаза бывают у нее только в моменты потрясения.

— Ты что это народ-то взбулгачил, окаянный? — упавшим голосом сказала она, дергая меня вниз за штанишки. — Где у тебя голова-то? Люди и так убиты, а ты их мертвецами ошарашил.

Она боязливо поглядела на толпу и вдруг тихо, с обычным надломом в певучем голосе, призналась:

— А я вся сжалась, и сердце замерло, когда ты о гробах крикнул. Как ты меня испугал! Ведь я подумала, что для нас гроба-то!

Толпа долго стояла у борта и смотрела на посуду с гробами.

На нашем буксире заболел матрос, и его пронесли на докторский пароход. Я видел, как он весь корчился в судорогах, синий, с помертвевшим лицом. И впервые мне стало страшно.

Как только скрылись угрюмые матросы с больным, люди заорали, замахали руками, зарыдали женщины. Среди общего гвалта и бестолочи слышались крики:

— Отчаливать надо!.. Капитана давай!..

Мать тоже убежала в толпу, а я стоял у борта, недалеко от своих пожитков, и не мог двинуться с места. Я ждал, что толпа начнет ломать будку, ринется с обломками досок на сходни и через соседнюю баржу бросится на холерный пароход. Не спасутся и Наташа с Марийкой...

На другой барже было тихо и спокойно: там люди лежали вповалку, и никто не встревожился от нашего бунта.

Вдруг из будки той баржи выбежали несколько полицейских с револьверами в руках и рядком остановились вдоль борта у сходней.

— Долой, по местам!.. Морды!.. Расходись!..

Несколько злых голосов надсадно закричали:

— Пускай нас отчаливают! Делать нам здесь нечего... Поймали, как мышей в ловушку, и уморить хотите... А не отчалите — сами отчалим и пароход погоним.

— Мы вам отчалим! — гремел бородатый полицейский, угрожая револьвером. — Мы вам покажем, как бунтовать! Галахи поганые! Кому говорю? Расходись!

Толпа, оторопело поглядывая на револьверы, стала разбредаться в разные стороны.

На третий день воды нам уже не выдали. Жара казалась мне нестерпимой: воздух горел ослепительно, палуба накалилась так, что босиком ходить по ней было нельзя, и над ней дрожало знойное марево. От солнца негде было спрятаться и нечем заслониться. Все обливались потом, и трудно было дышать от духоты, насыщенной горячими парами смолы и отвратительным запахом карболки. Море зеркально сияло вдали, а у баржи колыхалось лениво и густо. Болела голова, и до отчаяния хотелось пить. Тело тосковало от изнурения, и мерещились какие-то бредовые видения, безликие и скорбные. Рабочий, голый до пояса, достал ведро с веревкой, бросил его за борт, зачерпнул воды и выплеснул на палубу. Но это не освежило воздуха: стало удушливо-влажно и угарно от пара. Рабочий поднес ведро ко рту, но сразу же опустил его и брезгливо выплюнул воду. Ужасно было слушать далекие стоны. Это на докторском пароходе истязала людей холера. Говорили, что воды и там не было, не было и лекарств, много было лишь карболки и извести.

Люди приходили в себя только по ночам, когда море дышало на нас едва ощутимой прохладой. Мы с матерью, ослабевшие, лежали на своей постельке, смотрели на очень яркие и лучистые звезды и вспоминали о нашей ватажной жизни. О Кайпаке не говорили: он представлялся мне скучным, серым днем среди снегов и желтой пыли, которая поднималась весной частыми ветрами с окружающих песчаных холмов. Людей на Кайпаке было мало — только с десяток резалок и с полдюжины солильщиков и

тачковозов. Больше всего было карсаков, которые жили вместе с нами в турлучной казарме. Мы были заброшены на ерик с заболоченными берегами, как в пустыню, оторванные от главного промысла. Управляющий разогнал по ерикам всех «смутьянов» и «бунтарей», чтобы не было больше скандалов на промысле. Прасковею отправили на какой-то далекий ерик, где работали только карсаки, Галю — на малый морской промысел в устье Эмбы. На большом промысле остались только семейные и все «смирные» женщины. Оставалась здесь и Марийка. Кузнечиха умерла вскоре после нашего отъезда на Кайпак, а с Феклушкой я больше не встречался, потому что нас отправили на лодке по ерику на взморье и прямо погрузили на баржу. На эту баржу грузили ватажников и с других промыслов. Трюмы были забиты бочками с рыбой и икрой.

Мать чаще всего вспоминала о Грише и говорила о нем печально, ласково и задумчиво. Мы наперебой открывали в нем только хорошее. Особенно восхищался я его игрой в действе, которое представлялось мне как чудесное видение, как сказка наяву. И я чувствовал, что матери приятно было слушать мои восторженные рассказы.

Так в эти звездные и тягостные ночи мы забывались в разговорах о пережитом на Жилой Косе и не так мучительно испытывали огонь внутри. Чтобы потушить этот огонь и не думать о воде, я подробно рассказывал о болванцах Балберки — о летающей чайке, о танцорах — и сочинял небылицы о проделках этих болванцев и о полетах чайки. Я сам увлекался своими рассказами и был доволен, что и мать слушала меня с удовольствием. Рассказывал я и о приключениях Балберки во время его путешествий на чунках по морскому льду и о том, как я учился у него бегать с рогатиной. Вспоминал и о Матвее Егорыче и особенно о нашей дружбе с Гаврюшкой. Мать смеялась, когда я рассказывал о нашем походе на лодке и как я сбежал из-за стола из горницы плотового, не дотронувшись до рыбы с помидорной подливкой. И о пещере рассказывал, и о Гаврюшкиной борьбе за отца

и за свою свободу. Но когда я рассказал ей быль про Ивана Буяныча, она вся трепетала от волнения и, как маленькая, просила заново рассказывать то одно, то другое место.

— Он на Гришу похож... такой же хороший...— восторженно шептала она.— А Ермил-то... старичишко-то... и не подумаешь, что лихой рыбак был...

Много раз мы, перебивая друг друга, говорили о бунтах на плоту, о схватках с подрядчицей, и я чувствовал, что мать вспоминает об этих событиях как о самых счастливых днях своей жизни. Часто она растроганно повторяла:

— А я, Федя, словно и себя-то до того не знала. Словно настоящая-то в эти дни и была...— И заканчивала грустно:— Уж и не знаю, как теперь жить-то буду...

На четвертый день у нас слегло пять человек. При обходе фельдшера с двумя санитарами он приказал унести заболевших на пароход. Так как носилок не было, он велел санитарам увести их под руку. Одна из женщин была семейная, а четверо остальных— одинокие. Когда санитары хотели поднять женщину, муж полез на них с кулаками.

— Не дам!— хрипло закричал он.— Пускай тут валяется, а в гроб заколачивать не дам!

Фельдшер попытался усовестить его: он уверял, что больные будут лежать в каютах и за ними станут ухаживать женщины, которые работают добровольно. Забунтовали и другие рабочие:

— Не дадим! Знаем мы, как вы лечите да ухаживаете. Вы гробы-то кучей на лодках увозите. Кто распорядился людей в морилку тащить?

Фельдшер махнул санитарам рукой, и они ушли. А немного спустя явились полицейские, а за ними— опять фельдшер с санитарами. Когда санитары подхватили двух больных под мышки, они начали отбиваться и стонать:

— Братцы! Не отдавайте на смерть!..

Несколько рабочих бросились к санитарам и попытались отбить у них больных. Полицейские замахали плетками. Мужики защищались руками и

падали на пол, но полицейские стегали их и лежачих. Люди разбегались к бортам, к будке и, бледные, оторопевшие, растерянно смотрели на расправу с рабочими. Высокий полицейский с коричневыми усами, закрученными кверху, гаркнул на всю баржу:

— Отставить! Волоките этих скотов в трюм, к крысам!

Больных и избитых рабочих увели, как преступников.

Мужчины и женщины по одному собирались в кучки и озирались. Все ворчали злобно, но укрощенно.

Высокий рабочий с бритым подбородком и жиденькими усишками, ядовито усмехаясь, с деланной строгостью проговорил:

— Бабы! Ребята! Начальство воспрещает хворать и лежать. Лежачего не бьют, а забирают в морилку. Губернатор повелел ловить в море людей, как сельдей, и не давать им ни пить, ни жрать, ни лежать, а только без попа говеть. Его превосходительство просит не беспокоиться: гробов на всех хватит.

И он с ненавистью посмотрел на ту баржу, где скрывались в будке полицейские. Я по голосу догадался, что это был Климов.

Мне хотелось только смочить язык и проглотить хоть каплю воды. Не было слюны, а в горле застыл клейкий комок, который мешал дышать. Хотелось плакать в отчаянии. Вдруг мать вцепилась в меня обеими руками и куда-то потащила, и ноги мои бессильно поползли по палубе. Позднее я узнал, что со мной случился обморок, и я рухнул на пол. Очнулся я на своем месте. Мать махала на меня платком, и лицо мое обдувал прохладный ветерок. На лбу у меня лежала тяжелая мокрая тряпка, а на голове матери тоже был накинут мокрый платок. Она догадалась схватить ведро и вытянуть морской воды.

В этот день случилось еще два события.

Обезумевшая работница бросилась в море у всех на глазах. Вслед за нею прыгнул Климов, вытащил ее на пароход и на руках перенес на баржу. После

этого женщина лежала все время неподвижно, как мертвая.

Климов шутил:

— Кто из баб на очереди? Бросайтесь без зазрения совести! Очень даже освежает. Советую, ребята, покупаться!

Но ему ответили угрюмым молчанием.

На корме двое рабочих умерли от солнечного удара, и они лежали до вечера на солнцепеке. Вечером тела отнесли сами пассажиры на докторский пароход.

Ночью мне стало совсем легко, словно мой обморок очистил кровь. Ни голода, ни жажды я почему-то совсем не испытывал. Мне неудержимо хотелось ходить по барже, сойти на наш буксир, где приветливо горели фонарики, и пробраться через соседнюю баржу на докторский пароход. Но мать бродила за мной и крепко сжимала мою руку.

XLVI

Поздно ночью я услышал сдавленные крики и хлопотню далеко за будкой. Я вскочил с постели и хотел броситься туда, но мать вцепилась в меня и зашептала:

— И не моги! Ни за что одного не пущу! Смерть везде и беда.

Словно только она одна могла защитить меня от смерти и беды.

Должно быть, ей и самой хотелось узнать, что происходит за будкой. Она легко поднялась и пошла вместе со мною. На палубе перед буксиром толпились люди, а на пароходе происходила свалка. Несколько человек бросились по мосткам на помощь своим товарищам. Меня поразила странная сдержанность толпы и безгласная борьба на пароходе. Я увидел там Макара и Климова. Макар вцепился в горло пожилому матросу и глухо хрипел:

— Молчи! Заохаешь — живой не будешь: удавлю.

Он швырнул его на пол и спокойно приказал:

— Ребята, карауль его!

Климов распоряжался, как атаман:

— Капитана не тревожить! Я его запер. Макар, ступай к машинисту, чтобы пары давал! Ребята, бегите чалки отдайте! Хватайте шесты и отталкивайтесь!

Несколько человек из толпы бросились на другую сторону баржи. Я рванулся от матери и обежал вкруг будки. Сходни на соседнюю баржу были уже сброшены, а чалки, вероятно, сняты раньше, потому что наша баржа уже отвалила от соседней сажени на две. С шестами в руках стояли рабочие и посмеивались. Баржа плавно отваливала все дальше и дальше, и воздушный пролет между баржами стал широкий, а море как будто поднималось выше. К борту той баржи подбежали полицейские и засуетились у борта. Они заорали, замахали руками, а усатый дылда выстрелил из револьвера. Рабочие смеялись, покрикивали:

— Сарынь на кичку! Полиция, морите дураков, а не моряков!

Сверкнул огонек, и выстрел гулко разнесся по морю. Начали стрелять и другие полицейские. Я присел перед бортом, и у меня сильно забилось сердце. Кто-то охнул среди рабочих. Одни побежали согнувшись, а другие легли у борта. На опустевшей площадке корчился человек и стонал:

— Братцы!.. Спасите, братцы!..

Ко мне подбежала мать и упала на меня.

— Чего это ты озорничаешь? Господи! Сердце у меня разорвалось... Не убегай ты от меня, Христа ради, — с ума сойду!..

Стрельба прекратилась, но рев полицейского (должно быть, усача) надсадно грозил и тюрьмой, и виселицей.

При свете фонарика видно было, как по палубе полз на четвереньках человек и надрывно стонал. Мать охнула и побежала к нему, сразу забыв обо мне. Она повозилась над ним, ласково уговаривая, потом с трудом подняла его на ноги и повела дальше, на корму. К ним подбегали люди, сочувственно охали,

и мне казалось, что в ночном сумраке шевелилась большая толпа. Надрывно закричала женщина.

Я опять перебежал на ту сторону. Драки на пароходе уже не было, а везде, даже на капитанском мостике, хлопотали наши рабочие. Потрепанные матросы не мешали им, но добродушно грозили полицейской погоней, а уж в Астрахани не миновать, мол, тюрьмы. С баржи из толпы трунили над ними:

— Матросами называетесь, а сами в капкан полезли и народ туда же за собой потащили...

— Мы ни при чем: матрос должен капитана слушаться.

— Не матросы вы, а страм один. Нам спасибо скажите, что насильно спасли вас. Здесь холера-то в союзе с полицией.

Рабочие на промыслах всегда славились как хорошие моряки. Многие среди них вербовались из пароходных команд. Поэтому они на буксире взялись за дело уверенно. Так как пароход все время стоял на парах, они, очевидно, ворвались в машинное отделение и заставили кочегаров работать у котла, потому что из трубы шел густой дым. Заработал и машинист: колеса зашлепали, и вода забушевала, как прибой. За штурвалом стояли тоже рабочие с нашей баржи.

Созвездия огней стали удаляться, и между ними и нами чернела бездонная тьма. На капитанском мостике я увидел Климова; он забежал в штурвальную будку и стал горячо доказывать что-то рулевым, размахивая руками. Потом со смехом выбежал оттуда, разудало сшиб картуз на затылок, спустился вниз и скрылся в машинном отделении. Рабочие, которые были на пароходе, стояли около причальных канатов, — должно быть, сторожили их, чтобы матросы не отчалили пароход от баржи. Но матросы смирно сидели на ватажных бочках и курили. Мне казалось, что они с удовольствием смотрят на хлопотню наших рабочих, что они сами готовы были взбунтоваться и удрать из этого проклятого карантина. Ведь одного из них уже схватила холера, могли заболеть и другие. На капитанской площадке появился Макар и,

попыхивая цигаркой, подошел к перильцам, прямо к толпе. Он стал как будто выше ростом, коренастее и держал себя как вожак.

— Располагайтесь кто как хочет: до самой Астрахани поплывем спокойно. Мы, друзья, знали, что делали. Да и с матросами столковались. Только один из них, старая собака, на рожон полез. Погони не будет: доктор шкуну-то с мертвецами на пески погнал. Она только утром воротится. Три дня я трубил под его начальством. Человек хороший, ничего не скажешь. Мы там с нашими девками да с санитарами хлопотали. Они тоже без пищи да без воды.

Недовольный и недоверчивый голос перебил его:

— Все они хорошие, вплоть до полиции... А кто загнал нас в свою морильню?

— Это не он, — веско поправил Макар. — Это губернатор. Дóктора-то самого загнали сюда без ничего. Носилок даже нет. Этого губернатора, подлеца, надо на мачте вздернуть.

Он самодовольно усмехнулся и предупредил:

— В Астрахани мы к первой пристани подойдем. Глядите, не мешкайте. Все гужом на берег, чтобы в лапы к фараонам не попасть.

Пароход уже бойко работал колесами, и внутри его что-то брякало и звенело металлом. Труба гулко выбрасывала густой дым.

Уже не слышно было жалоб на жажду, и не было ни стонов, ни криков отчаяния. Пришли даже женщины, которые особенно тяжело страдали в знойной духоте. Лоцман тоже, должно быть, скрылся, но его подручные, которые отличались от пассажиров кожаными картузами, толкались тут же.

Я забеспокоился о матери и пришел на корму. Люди там лежали вповалку — не то спали, не то были больны. Мать я нашел поодаль, у самого борта, против будки, где тускло желтел фонарь. Она сидела около раненого, рядом с женщиной, которая бормотала что-то, словно причитала над покойником. Мать тихо уговаривала ее и ощупывала раненого. Он глухо мычал, лежа пластом на голом полу. Мать замахала мне рукой.

— Иди, Федя, к себе. Лежи там и жди меня. От вещей-то не отходи. Я еще посижу здесь, поухаживаю за человеком. Иди отсюда и не гляди. Тебе здесь нечего делать. Дяденьке-то очень плохо. Тетенька-то горюет — не в себе. А я уж потружусь, отгоню смерть-то...

Ей самой было тяжко, и если она не обмерла, не распласталась днем на палубе, то поддерживал ее безумный страх перед людьми в белых халатах, которые обязательно унесли бы ее к себе на пароход, заваленный гробами, и разлучили бы со мной навсегда. А сейчас она ожила, встрепенулась, заволновалась и вся отдалась уходу за неизвестным раненым человеком. Она сама нуждалась в помощи, в уходе, но увидела, что помощь ее нужна другому, которому грозит смерть, — и сразу же свершилось чудо: откуда-то из глубины вырвались свежие силы, расторопность, бодрость и кипучая страсть исцелить человека, облегчить его страдания. Я уже знал, что мешать ей в это время нельзя, и если бы ее оторвали от этих ее горячих хлопот, она почувствовала бы себя несчастной.

Густой, непроницаемый мрак, как бездонная пустота, окутывал баржу со всех сторон. Море растворилось в этой черной пустоте, исчезла и баржа, и мне чудилось, будто я неощутимо рею в безбрежном пространстве, как невидимая пылинка. Только небо было усыпано яркими звездами и туманилась «Моисеева дорога» — Млечный Путь. Огоньки «Девяти фут» мерцали уже призрачно: они потухали и опять вспыхивали, как искорки, вдали.

Я лег на свою постельку на палубе и долго смотрел на звезды, родные с детства, и в таинственно-странную глубину черно-синего неба. И никогда я еще не переживал такого ощущения смутного ужаса перед этой великой бездной мира: что там, в этих глубинах? что это за таинственная фосфорическая пыль, которая дымится полосою по небу от края и до края?

Кипела вода под колесами парохода, а с невидимого моря навстречу нам дул легкий, прохладный ветерок. Ходили хлопотливые люди по барже,

слышались глухие голоса. Пароход шел, пришвартованный сбоку баржи. Его не пускали вперед: вероятно, боялись, как бы не взбунтовались матросы и как бы опять не потянули нас на «Девять фут».

Я не удивлялся, почему не чувствовал мучительно-изнуряющей жажды, почему мне не хочется ни есть, ни пить. Вокруг меня лежали женщины и мужчины — лежали спокойно и молча. До меня долетал их шепот от безделья и скуки. Не потому ли люди пришли в себя, освежились, что вырвались на свободу, что ад остался позади, а там, недалеко впереди — Волга, воду которой можно будет пить не отрываясь?

Должно быть, я очень ослабел за эти четыре дня от мучительной солнечной жары, голода, жажды, страха и от чужих страданий: я не мог пошевельнуться, не было сил поднять руку, повернуть голову, — я как будто дышать перестал, погрузившись в этот изнурительный покой.

Вспыхивали и угасали видения, похожие на бред, и я кружился в мерцающем вихре, колыхался и падал в звездную бездну. Являлись милые лица и бередили в душе радостную любовь к ним и слезную печаль разлуки. Гриша, как живой, выплывал из хаоса теней, улыбался мне, блистая белыми зубами, и звал меня: «Васильич!..» Он незаметно превращался в витязя, одетого в сверкающие доспехи, и что-то певуче говорил, взмахивая красным плащом, как крыльями, и исчезал в тумане. Стройная и строгая Прасковея молча кивала головой и улыбалась. За ней пролетали Оксана с Галей... Они прошли через мою жизнь и угасли, но навсегда останутся в моей памяти как дорогие друзья, которые научили меня видеть мир и людей по-новому. Промелькнул и кузнец Игнат со Степаном — тоже друзья, которых я утратил зимою. Но больно горели в сердце Гаврюшка и Феклуша. Всхлипывая, протягивала ко мне руки тетя Мотя, Балберка мчался на чунках и бросал в воздух свою белую чайку, Карп Ильич, мудрый рыбак, что-то внушал мне и помахивал книжкой... Плотовой Матвей Егорыч, скромный и добрый Веников... И жуткими тенями пролетали и подрядчица, и хозяин Пу-

стобаев, и купец Бляхин... Шустро семенил старик Онисим. И слышался пророческий голос жиротопа Ермила: «Ух, как расшумелся Иван Буяныч!.. Он явится на диво людям — молодой явится, смелый и счастье принесет...» А чайки вились крылатыми вихрями и кричали мне: «Вставай, Федя! Лети, плыви! Раздолье-то какое!..»

Я проснулся, разбуженный матерью. Она склонялась надо мною и радостно говорила:

— Вставай, Федя! Погляди-ка, раздолье-то какое! Волга! На, выпей водички! Вкусная-то какая... как квас ядреный!

Меня ослепило солнце, но той обжигающей духоты, которая убивала нас на «Девяти футах», уже не было: дул свежий ветерок в запахах травы и прибрежного ила. Я подхватил жестяной чайник из рук матери и стал пить из острого его носика чудесную, пахучую воду. Но при первых глотках ощутил жгучую боль в груди, словно вонзилась заноза где-то глубоко внутри. Я не пил двое суток и сначала страдал от жажды нестерпимо: мне хотелось кричать, плакать, бежать на пароход и упасть на колени перед матросами, чтобы дали мне глоточек воды. Зеленая морская зыбь, которая блистала за бортом, манила, дразнила меня. И когда рабочий вытащил на веревке из-за борта ведро этой воды и с отвращением выплюнул ее изо рта, я почувствовал что-то вроде тошноты. На другой день мать нашла кусочек хлеба, круто посолила его и велела жевать до тех пор, пока он не пропитается слюной. Я с болезненной досадой отмахивался от нее, но она очень проникновенно уговаривала: соль прогоняет жажду, и скоро перестанешь мучиться. Я разломил пополам кусочек хлеба, густо покрытый солью, и потребовал, чтобы съела и мать. И действительно, в этот день мне было легче. Но вчера я совсем не чувствовал мучительной жажды. Может быть, просто перемучился, хотя взрослые страдали до безумия, как та женщина, которая бросилась в море. Вероятно, те больные, которых увели на холерный пароход с полицейскими, не были больными, а ослабели от обжигающей жажды.

Я быстро вскочил на ноги и подбежал к борту. Мимо тихо и плавно уползали назад низкие берега, заросшие лозняком и камышом, а дальше виднелись ватажные плоты и деревянные домики. Волга, широкая, разливная, мутная, быстро текла в водоворотах, в кружевах пены, в блистающей ряби.

Белели парусники, взмахивали весла на черных бударках, далеко впереди грузно стояли на якорях баржи. И опять я, как в прошлом году, почувствовал, что Волга — живая: она дышит, звенит и поет необъятную, разливную песню. И вместе с восторгом в сердце ныла смутная тревога.

— Вот мы опять в Астрахани, — вздохнула мать, и мне стало жаль ее до слез: вероятно, угнетало ее какое-то тяжелое предчувствие. — А потом поедем домой, в деревню... Я осталась бы еще на год на Жилой — сжилась с людьми-то, сердцем скипелась... Да вот видишь, отец вытребовал. Дедушка-то грозится по этапу пригнать нас домой...

Я чутко отвечал душою на все настроения и думы матери, да и самому мне не хотелось ехать в деревню: ведь там опять придется жить под жестокой властью деда, опять утомительные, ненавистные «стояния» в моленной, опять грязная работа по двору, опять мужичья недоля, опять староста Пантелей, мироед Митрий Стоднев, становой с плеткой... Правда, там мой товарищ Иванка Кузярь, бабушка Паруша, тетя Маша, Луконя-слепой... Но все это казалось мне после ватажной жизни скучным, маленьким миром. Я чувствовал, что стал другим: вырос, повзрослел, и деревенская жизнь для меня была уже бедной, глухой, безрадостной...

Пароход теперь шел впереди и тянул нас толстенным канатом. Колеса играли весело, бушевала под ними вода и двумя волнистыми дорогами плыла к нам, блистая голубым небом и темной глубиной. Очень далеко впереди мерцала белая башня собора с букетом главок, крыши домов, облаками висел дым над пристанями. Люди равнодушно увязывали свои пожитки, и лица у всех были как у больных — похудевшие, серые, с синими пятнами под глазами, с об-

метанными губами. А глаза были мутные, потухшие, с застывшим страданием в глубине.

— Давай собираться, Федя, — опять вздохнула мать и пошла к нашим вещам.

А я стоял у борта и не мог сдвинуться с места: я как-то замер, одеревенел, и меня уже не интересовали ни берега, ни волжские просторы, ни мерцающие городские дворцы. Словно сквозь сон я услышал, как мать звала меня помочь ей завязывать вещи, и пошел к ней лениво и бездумно.

XLVII

Я не помню, как мы добрались до двора Павла Ивановича, не помню, сколько времени прожили в той же комнате Манюшки. Помню только веселого, форсистого отца, который ко мне был по-прежнему равнодушен, но с матерью, по вечерам, когда возвращался с «биржи», шутил, любовался ею.

— Волосник-то скинула, Настенка! Он в городе да на ватаге ни к чему... — снисходительно соглашался отец, посмеиваясь в бороду. — Деревенское обличие здесь не ко двору: народ тут ходит подбористый, одетый прилично. Надо тебе городской наряд сшить, чтобы в праздник пройтись не зазорно было...

— Да что ты говоришь, Фомич? — недовольно возражала мать. — Чего это я буду делать с этим нарядом в деревне-то?

— А что, хуже других мы с тобой? Чай, и мы в селе-то шиковито можем одеться.

Но мать ходила грустная и задумчивая.

Дунярка по-прежнему сучила вместе с Манюшкой чалки, а вечерами шили с ней бисером лестовки и какие-то коврики из парчи. Она немножко выросла, стала хорошиться и украшать волосы ленточками. И живая была такая же, как прежде, и еще больше стала похожа на Манюшку: и голосок стал певучий и льстивый, и так же искусно притворялась она добренькой и восторженной.

— А уж как я тосковала-то по тебе, Феденька! Ночей не спала — все плакала. Потом с мамынькой стала ходить по купчихам. Подлые они, жирные... Да мне наплевать: я у них хоть досыта наедалась. И обращению научилась. Теперь я страсть стала ловкая обманывать их: говорю-говорю им всякую небыль, а они рот разевают да хохочут. Ну, разомлеют и одевают меня, как куколку. А мне того и надо! Я покажу тебе, сколько у меня нарядов-то. Я и мамыньку за пояс сейчас заткну.

И вдруг однажды сообщила мне шепотом, с ужасом в глазах:

— А Тришу схватили... в остроге сидит. А Раиса скрылась. И где она пропала — никто не знает. Муж-то ее, машинист, с кругу спился. С парохода его прогнали и с квартиры вытурили. Сейчас в галахах ходит. Только Раисой и держался. Она ведь его не любила, а так... думала, что человека спасает. А навек-то Тришу любила.

Раиса купила для Степаниды хибарку где-то за городом. В сенях уже не смердило гнилой рыбой, не было и вешалов на дворе.

Однажды отец возвратился на своей пролетке вскоре же после выезда на «биржу». Не распрягая лошадь, он пробежал по двору, смешно путаясь в полах своей хламиды, и ворвался в комнату, бледный и испуганный. Я впервые видел его в таком смятении.

— Настасья! Федька! Сейчас же собирайтесь! Все связывайте! С первым же пароходом побежим вверх. Беда! Бунты в городе. Подожгли больницу. Не приведи бог что делается! Спроть холеры бунтуют... над докторами самосуд идет. Вся полиция на ногах, конница скачет, а народ как безумный... Скорей, скорей от греха!

Дунярка крикнула, взмахнула руками и выбежала из комнаты.

Срядились мы с лихорадочной быстротой, погрузили узлы на пролетку, кое-как втиснулись с матерью среди пожитков, и отец, без кучерского кафтана, вскочил на козлы и, озираясь по сторонам, погнал лошадь. Позади что-то выкликала Офимья, но отец, не

оглядываясь, нахлестывал лошадь кнутом. Ехали мы не центральными улицами, а по окраине, где всегда было пустынно. Отец оборачивался к нам и, все еще бледный, говорил с одышкой:

— Слышите?.. Стреляют... Солдат пригнали: я видел, когда они шли. Гул-то какой оттуда идет!

Но за дребезгом пролетки я ничего не слышал. Отец показывал кнутом в сторону города, но никакой суматохи я не заметил. Только над домами, очень далеко, поднимался рыжим облаком дым. В конце одного переулка, который шел к Кутуму, я увидел несколько человек, которые бежали в нашу сторону, словно за ними была погоня. Отец захлестал лошадь изо всех сил и даже вскочил на ноги. Лошадь скакала галопом.

На пристани вся площадь была забита людьми и кучами пожитков. Все, должно быть, ждали погрузки на пароход.

Отец подъехал к самой пристани и быстро сбросил вещи на булыжную мостовую. Он велел мне подержать лошадь под уздцы, а сам, подмигнув матери, сквозь зубы предупредил:

— Я сейчас билеты куплю. У меня тут дружки есть: зараз достану, без всякой череды. Меня здесь все знают: и кассира не раз прокатывал, и начальника, а с матросами — свой человек. Мигну — и готово!

Он и перед нами не забыл похвастаться, хотя еще не остыл от волнения и страха. И верно, он скоро возвратился самодовольный и оттолкнул меня от морды лошади.

— Ну, а теперь я к хозяйке поеду, получу расчет и прибегу. Еще первого гудка не было. К этому часу поспею.

Он вскочил не на козлы, а в пролетку, чтобы показать, что седоков не принимает. Нахлестывая лошадь, он быстро скрылся из глаз.

Мать все время молчала и тяжело думала о чем-то. А я от скуки рассматривал людей, которые грудились около нас. Они поразили меня с первого взгляда. Сидели они все окоченело, как больные, серолицые,

с черными, обметанными губами, худые, и глаза у всех были тусклые, как у слепых. Никто из них не разговаривал. Казалось, люди обмерли: ничего не видят и не слышат, и им все равно, что с ними сделают — погонят ли их на пароход, или оставят здесь, на солнцепеке. Рядом с нами сидел коренастый мужик в рыбачьих сапогах, словно лишенный ума. Около него лежала женщина, как тяжелобольная. Хотя глаза ее были закрыты, но я видел, что она не спала: она шевелила губами и царапала пальцами дерюгу узла, на который положила голову в платке, надвинутом на глаза.

Мать тоже стала с тревогой всматриваться в них. Она перевела глаза на других людей и опять на соседей. Потом наклонилась к моему уху и прошептала:

— Гляди-ка, люди-то какие убитые... Это — оттуда... И мы бы такие стали, ежели бы не вырвались.

Она робко и участливо обратилась к мужику:

— Вы откуда прибыли-то?

Мужик, словно глухой, сидел тупо и не шевелился. Мать опять спросила:

— Не оттуда ли, не с Девяти ли фут? Как это вы отстрадались-то?

Мужик с натугой перевел бессмысленный взгляд на мать и с трудом промычал:

— Не говори... Такой беды сроду с нами не было. Сколь народу сгибло! Сгорели без воды, без пищи... Не успевали гробы на пески увозить.

— А мы вырвались... Взбунтовались на барже и пароход захватили.

Мужик долго сидел молча, сосредоточенный в себе, и все время старался разорвать руки, которые закоченели, связанные пальцами.

Наконец он расцепил их и опять медленно приподнял голову.

— Счастлив ваш бог. Знаю. Вы с нами борт в борт стояли. У вас пароход был, а наш в первый же день убежал.

Должно быть, ему очень трудно было говорить: он обрывал свою речь одышкой, сжимал и разжимал

пальцы, потом бессильно отмахнулся и опять замолчал.

Отец не приходил долго, и мы маялись на солнечной жаре. Явился он в тот момент, когда заревел первый продолжительный гудок парохода. Он сразу же схватил большой тюк и приказал матери:

— Тащи узлы-то! За мной иди! А ты, сынок, сиди здесь и карауль!

И яростно заругался:

— Шарлоты! Хозявы! Тот, пьяница-то, хоть без памяти лежит, а Офимья-то, богомолка, и расчет не хотела давать. За полицией бежать собралась. А потом не расчет, а начет хотела сделать... — Он мстительно засмеялся. — Свету я невзвидел и по башке ее съездил. Ну, она и разомлела. Не она, а я начет на нее наложил.

И вот мы на пароходе, уже не на палубе, не в людской свалке, а в третьем классе, на нарах. Отец успокоился, довольный тем, что устроился не среди голытьбы, а по-человечески, а может быть, ликовал, что сумел так победоносно разделаться с Офимьей. Он уж добродушно ворковал:

— Ну-ка, Настенка, доставай чайник, посуду! Пойду за кипятком — чайку попьем. — И опять засмеялся. — Батюшка-то... жадный какой! По трешне ему посылал помесячно, а у него глаза разгорелись: посылай ему по пятишне, а то по этапу, мол, пригоню. Я и отпиши ему: я, мол, родимый батюшка, из кожи лезу, чтобы тебе трешну посылать, а пятишну взять мне негде. Не знаю, мол, как придется, а месяц от месяцу я, мол, концы с концами не свожу, не то ли что трешну, а целковый без натуги не могу посылать. Хитрый старик: пачпорт-то наш скоро прочислится, он и грозит, что пачпорт не вышлет и благословения не даст, ежели пятишну не буду высылать. Все одно к одному пришлось: тут и холера разразилась, и бунты начались — долго ли до беды! Да и пачпорта нет. Приедем — разделюсь.

Он наклонился к матери и, подозрительно озираясь, признался:

— Я деньжонок-то прикопил... Тут и чаевые, и от

хозяйской прибыли экономия. Не пропадем, Настенка! Поживем самосильно, а там, ежели трудно будет, опять на сторону двинемся. В пачпорте-то тогда уж батюшка не волен будет.

Мать молчала покорно и задумчиво. А мне было грустно, что так быстро прошел этот год, полный больших событий и душевных связей с чудесными людьми. Я стал не только старше возрастом, но и узнал многое в человеческой жизни.

Что ожидает меня в деревне? Какие там встретят нас события? Жизнь и уклад там прежние, а мы — уже другие. Мы с матерью испытали, что такое свобода, привыкли распоряжаться собою, как нам хочется. Я предчувствовал, что в деревне не будет нам покоя: нас ждет там тяжелая борьба. Но погасить во мне вольный ватажный дух уже ничто не может: хоть я и мал годами, но уже знаю, в чем радость мятежной жизни, и храню как дорогой дар те волнения, которые пережиты на Жилой Косе, и те заветы, которые дали мне люди, богатые душой.

1948—1950

ПРИМЕЧАНИЯ

«Вольница». — Впервые напечатана в журнале «Новый мир», 1950, № 7, 8, 9.

Отдельной книгой вышла в 1951 году в издательстве «Советский писатель», в Гослитиздате, а также во многих областных издательствах.

Повесть переиздавалась на русском, украинском, литовском, латышском, эстонском языках, за границей переведена на болгарский, венгерский, польский, румынский, словацкий и японский языки.

«Вольница» — вторая книга автобиографической трилогии («Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година»).

Борьба трудового крестьянства с мироедами и барами, начало революционных событий в деревне — этот драматический конфликт, возникший в «Повести о детстве», в «Вольнице» продолжается на другом материале. Герои проходят суровую школу жизни вместе с ватажными рабочими. Именно союз с рабочим классом научил русского крестьянина, как надо бороться со своими врагами. Так было в жизни. Эта жизненная правда в повестях Гладкова стала правдой искусства.

В основу «Вольницы» легли события, свидетелем и участником которых был сам Гладков. В 1892 году, когда Гладкову было девять лет, его родители, вынужденные покинуть деревню из-за малоземелья и все усиливающейся эксплуатации, уезжают на заработки в Астрахань. Они, а вместе с ними и маленький Гладков, скитаются по рыбацким ватагам Волги и Каспия, работают в невероятно трудных условиях рыболовных промыслов того времени. Еще в деревне Гладкову пришлось наблюдать, как от горькой нужды и непрерывных унижений зачастую гибли одаренные люди, каким издевательствам и рабству подвергалась

женщина-крестьянка, как полицейские и урядники по наущению кулаков-мироедов избивали и заковывали в кандалы отважных борцов за правду, мечтавших о том, чтобы народу жилось привольно, радостно. Мальчик еще тогда начинал понимать, что нужно бороться с врагами, но он не знал, что надо уметь бороться, чтобы побеждать. На ватаге он узнал рабочих людей, которые встают за правду не в одиночку, как в деревне, а дружно, всей артелью, «скопом, плотной стеной», ибо «перед большим народом» у поработителей «душа в пятки уходит». Гладков впервые встретил революционеров-организаторов, овеянных романтикой подвига, увидел пропагандистов и агитаторов, подлинных «мастеров правды», и он понял, что рабочий класс — сила великая.

В «Вольнице» впервые в литературе показана трудная жизнь рабочих на каспийских рыбных промыслах дореволюционного времени. Также впервые в литературе Гладков показал в повести жизнь женщин-резалок, труд которых был особенно изнурителен, оплата труда особенно мизерная, а издевательства, которым они подвергались со стороны всякого рода подрядчиков, приказчиков и господ, особенно унизительны.

Тема «Вольницы», ватажной жизни, впервые была затронута Гладковым в повести «На ватаге, на Жилой», которая была написана им в 1901 году. Это раннее произведение он посылает Горькому, и вскоре получает от него совет: «Писать вам нужно. У вас есть умение наблюдать жизнь, есть любовь к людям. Надо только писать кратко, сильно — так, чтобы читателя точно палкой по башке. Исправьте рукопись сообразно с пометками на полях и пришлите мне: я напечатаю ее в «Мире божьем».

Письмо Горького, по словам Гладкова, необычайно взволновало его, тогда еще совсем молодого человека, только начинающего свой жизненный и творческий путь. Повесть «На ватаге, на Жилой» так и не была напечатана, но тема, замысел, идея произведения долгие годы продолжали жить, крепнуть, созревать в сознании писателя, пока не появилась замечательная книга «Вольница», заслужившая справедливое признание не только в Советском Союзе, но и за рубежом.

СОДЕРЖАНИЕ

Вольница 7
Примечания 613

Федор Васильевич
ГЛАДКОВ

Собрание сочинений, т. 7

Редактор *И. Израильская*
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
Т. Гончарова
Корректор *Л. Чиркунова*

Сдано в набор 7/XII 1958 г. Подписано
в печать 11/II 1959 г. Бумага 84×108 1/32
19,25 печ. л.=31,57 усл. печ. л. 30,16 уч.-изд. л.
Тираж 75 000. Заказ № 3681.
Цена 12 р.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.

